

# ГАНС ХРИСТИАН АНДЕРСЕН

СКАЗКИ. ИСТОРИИ  
(СБОРНИК)

# Ганс Христиан Андерсен Сказки. Истории (сборник)

*Издательский текст*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=28723263](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=28723263)*

*Сказки. Истории: Издательство АСТ; М.; 2018*

*ISBN 978-5-17-106209-5*

## **Аннотация**

В книгу вошли сказки и истории великого датского писателя Х. К. Андерсена, принесшие ему мировую славу.

# Содержание

Ханс Кристиан Андерсен и его сборники	8
«Сказки, рассказанные детям» и «Новые сказки»	
Сказки, рассказанные детям	66
Огниво	66
Маленький Клаус и Большой Клаус	76
Принцесса на горошине	93
Цветы маленькой Иды	95
Дюймовочка	106
Скверный мальчишка	122
Русалочка	125
Новое платье короля	156
Ромашка	163
Стойкий оловянный солдатик	169
Дикие лебеди	175
Райский сад	198
Сундук-самолет	219
Аисты	228
Оле-Лукойе	236
Эльф розового куста	253
Свинопас	260
Гречиха	267
Новые сказки	270
Ангел	270

Соловей	274
Жених и невеста	288
Гадкий утенок	292
Ель	305
Снежная королева	317
Рассказ первый	317
Рассказ второй	319
Рассказ третий	326
Рассказ четвертый	336
Рассказ пятый	345
Рассказ шестой	352
Рассказ седьмой	356
Красные башмаки	362
Пастушка и трубочист	371
Хольгер датчанин	378
Штопальная игла	384
Тень	389
Старый дом	408
Капля воды	420
История одной матери	423
Бужинная матушка	431
Лен	442
История года	448
С крепостного вала	461
Истинная правда	463
Лебединое гнездо	467

«Всему свое место!»	470
Через тысячу лет	482
Под ивою	485
Пятеро из одного стручка	507
Старая могильная плита	512
Ханс Чурбан	517
Иб и Кристиночка	523
Последняя жемчужина	538
«Пропащая»	542
На краю моря	552
Свинья-копилка	555
Бутылочное горлышко	559
Последний сон старого дуба	574
Дочь болотного царя	582
Ветер рассказывает о Вальдемаре До и его дочерях	634
Ребятчья болтовня	650
На дюнах	654
Навозный жук	703
Что муженек ни сделает, все хорошо	714
Философский камень	721
Снеговик	745
Муза нового века	752
«Блуждающие огоньки в городе!»	761
Серебряная монетка	780
Епископ Бёрглумский и его родич	786

Буря перемещает вывески	795
Скрыто – не забыто!	801
«День переезда»	806
Судьба репейника	812
И в щепке порою скрывается счастье!	818
Самое невероятное	822

# **Ханс Кристиан Андерсен**

## **Сказки. Истории**

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2018

# Ханс Кристиан Андерсен и его сборники «Сказки, рассказанные детям» и «Новые сказки»

По-разному складываются творческие судьбы писателей, имена которых вошли в мировую литературу. Одни, прожив короткую блистательную жизнь, навсегда оставляют след в памяти современников и потомков. Другие, встретив глубокую старость, по-прежнему – авторы одного произведения, написанного в молодости. Третьи, проведя в мучительных поисках истинного призвания долгие, отпущенные им годы, понимают, наконец, что главное их творение уже создано.

Последнее целиком относится к литературной судьбе великого датского писателя Ханса Кристиана Андерсена. Почти всю жизнь он считал себя романистом, драматургом, поэтом, автором путевых очерков, а уже потом – сказочником. И хотя сказки принесли ему европейскую и даже всемирную славу, он глубоко переживал неудачу некоторых своих романов и, в особенности, пьес. Только в конце жизни Андерсен окончательно разочаровался в себе как в драматурге и романисте: «... драматические работы редко приносят мне радость... – писал он. – Для романов у меня нет достаточно



знаний...»<sup>1</sup>

Тогда же писатель трезво оценил свой истинный талант, талант сказочника, признавшись, что счастье пришло к нему в образе Музы, одарившей его богатством сказок. Он понял, что сказки его – «блестящее, лучшее в мире золото, то золото, что блестит огоньком в детских глазках, звенит смехом из детских уст и из уст родителей»<sup>2</sup>.

Свою жизнь Андерсен неоднократно называл сказкой. Принято (особенно в немецком литературоведении) считать, что стимулом подобного восприятия действительности писателем послужили слова известного немецкого же естествоиспытателя и врача, друга Гёте – Карла Густава Каруса, который 2 марта 1846 г. написал в памятной книжке Андерсена, что прекраснейшей сказкой является сама жизнь человека. Однако выражение «сказка жизни» встречалось у датского писателя много раньше, еще в 1830 г., в финале его сказки «Мертвец». И связано оно, как и название мемуаров «Сказка моей жизни», с некоторой идеализацией пережитого. Писателю казалось сказочно прекрасным то, что он – выходец из самых бедных слоев датского народа – стал всемирно знаменитым, видел множество стран и был другом многих выдающихся людей своего времени.

Ханс Кристиан Андерсен, почти ровесник XIX в., свидетель его крупнейших событий, родился 2 апреля 1805 г.

---

<sup>1</sup> Andersen H. C. Der Dichter und die Welt. Weimar, 1917, s. 369.

<sup>2</sup> Andersen H. C. Nye Eventyr og Historier. København, 1967, s. 125.

в небольшом провинциальном датском городке Оденсе на острове Фюн в семье бедного башмачника и прачки – Ханса Кристиана Андерсена-старшего и Анн Мари Андерсен. В доме его родителей часто не бывало хлеба, не говоря о новой одежде и обуви. Но и в этой нищенской жизни были свои радости. «...Мир, такой же богатый, как и в «1001 ночи», открылся предо мной», – писал позднее Андерсен о сказках и преданиях детства. Воображение впечатлительного мальчика питали и книги, которые читал ему отец, мечтавший поступить в гимназию, повидать дальние страны. Свою любовь к чтению, желание учиться и путешествовать бедный башмачник передал сыну. Андерсен рано научился читать, а побывав однажды в театре, начал сочинять пьесы и стихотворения. Но попасть в городскую школу сыну башмачника было трудно, и его отдали в школу для бедных, где учили письму, арифметике и закону Божьему. Между тем в семье Андерсена назревали трагические перемены. Шел 1813 год. Наполеоновские войны, в которых Дания участвовала на стороне Франции, эхом отозвались в стране: все вздорожало, жить становилось труднее и труднее. Отец будущего сказочника решил пойти в солдаты, заменив за соответствующее вознаграждение сына богатого крестьянина. Деньги, которые башмачник получил за рекрутство, быстро разошлись. Вернувшись домой в 1814 г., он через два года умер от чахотки. Андерсену в ту пору было 11 лет. Одаренный мальчик, которого многие в городе называли «маленький Уильям Шекс-

пир», в полной мере испытал горечь и унижения бедности в стране, переживавшей национальную трагедию.

Случай помог Андерсену, жившему в крайней нищете, определить свое призвание. В 1818 г. в Оденсе приехали из Копенгагена несколько актеров, и некоторые из них стали кумирами Ханса Кристиана. Он решил уехать в Копенгаген, попытать счастья в театре, тем более, что к тому времени ему удалось скопить 13 риксдалеров. Наивному мальчику казалось, что с ними он завоюет мир, центром которого он считал столицу Дании. И вот утром 6 сентября 1819 г. четырнадцатилетний Андерсен впервые увидел шпили, колокольни и башни Копенгагена.

Этот день писатель всегда считал самым знаменательным в своей жизни. Когда в декабре 1867 г. его избрали почетным гражданином Оденсе, он просил отложить там празднества в его честь до 6 сентября 1869 г., когда исполнится полвека с того дня, как он прибыл в столицу Дании. Но тогда – в 1819 г. – он даже в самых смелых мечтах не представлял себе, что его ожидает всемирная слава. В театр мальчика не взяли, так как у него пропал голос – ведь он ходил в тоненьком пальтишке, в рваных башмаках и постоянно бывал простужен!

Деньги быстро подошли к концу, и ему пришлось жить на жалкие гроши, которые порой собирали для него по подписке доброжелатели. Все же в 1821 г. Хансу Кристиану удалось сыграть роль тролля в балете «Армида», а когда к нему

вернулся голос, его приняли в хоровую школу. Он начал писать комедии, и к его мечте о судьбе актера присоединилось желание стать поэтом. В 1822 г. Андерсену посчастливилось опубликовать сборник «Юношеские опыты», куда вошли некоторые из его ранних незрелых и подражательных пьес, новелл и стихотворений. Но ему часто не хватало знаний, и государственный советник Йонас Коллин, принимавший в нем участие, выхлопотал для Андерсена право бесплатно учиться в гимназии провинциального городка Слагельсе, а затем Хельсингёра и ежегодную стипендию. Йонас Коллин, один из заслуженнейших государственных деятелей Дании того времени, сыграл огромную роль в жизни юноши. Влиятельный человек, член дирекции Королевского театра, секретарь фонда *usus publicus*, он немало помог Андерсену, который, при всей сложности их отношений, называл его «вторым отцом», а дом Коллина считал своим вторым родным домом. И очень дружил с детьми Коллина – Эдвардом и Ингеборг, к младшей же его дочери Луисе он долго испытывал чувство безнадежной любви. Но это все в будущем.

А пока в гимназии Ханс Кристиан был сыт и кое-как одет. Но ему, семнадцатилетнему юноше, не имевшему самого элементарного образования, пришлось сидеть рядом с учениками второго класса, мальчиками двенадцати-тринадцати лет, которые его всячески дразнили. Да и учеба давалась Андерсену нелегко! Ханс Кристиан был в отчаянии; его беды усугублялись недоброжелательным отношением к нему рек-

тора гимназии Симона Мейслинга, поэта-неудачника, вымещавшего злобу на учениках, особенно на детях бедных родителей. Коллин, знавший о трудной жизни Андерсена, помог ему вернуться в Копенгаген. Там он мог встречаться с литераторами, там жили боготворимые им писатели-романтики Адам Готлоб Эленшлегер и Бернар Северин Ингеман.

Так кончились школьные годы будущего писателя. Подготовившись с помощью частных учителей, Ханс Кристиан в 1828 г. сдал при Копенгагенском университете экзамен на аттестат зрелости. Влача по-прежнему жалкое существование, он был счастлив, вырвавшись из ада гимназии, где жестокий ректор запрещал ему писать стихи, а он все же тайком сочинял не только стихи, но и пьесы, романы и сказки, которые сохранились в отдельных отрывках. Теперь же в Копенгагене Андерсен, избавившись от тирании Мейслинга, всецело занялся литературой. Он создал бесчисленное множество стихотворений, путевой очерк «Прогулка пешком от Хольмского канала до восточной оконечности острова Амагер в 1828–1829 гг.», пьесу «Любовь на башне Св. Николая, или Что скажет партер», несколько романтических сказок. Андерсена начинают печатать, его пьесу с успехом ставят в Королевском театре. Но это вовсе не избавило Ханса Кристиана от нужды. Вплоть до 1839 г., т. е. в течение почти половины его жизни, литературные заработки Андерсена были очень скудны. Однако с 1829 г. благодаря путевому очерку и пьесе он приобретает некоторую известность и почти всеце-

ло посвящает свою жизнь творчеству. С 1830 г. биография писателя неотделима от его сочинений. В этом причина того, что лучше известны события детских и юношеских лет Андерсена. Жизнь Андерсена с этого времени – непрерывный литературный труд; счастье путешествий по Дании и за границей; калейдоскоп впечатлений и встречи с новыми друзьями (в их числе – писатели и поэты Гюго, Дюма-отец, Мюссе, Гейне, композитор Шуман, скульптор Торвальдсен, актриса Рашель и другие выдающиеся люди его времени); любовь к знаменитой шведской певице Йенни Линд, которую современники называли «шведским соловьем». Познакомились они в 1840 г., и Андерсен полюбил ее последней любовью. Но Линд любила только его книги и не ответила писателю взаимностью. Андерсену пришлось довольствоваться лишь ее дружбой, и утешала его, быть может, только всемирная слава.

Умер Андерсен в августе 1875 г. На похороны великого сказочника 8 августа пришли бедняки и знать, студенты, депутаты города Оденсе, иностранные послы и датский король. Один из очевидцев писал тогда, что в тот день копенгагенцы, бросив все свои дела, хоронили Ханса Кристиана Андерсена. Гроб с телом «короля сказок», как его называли, несли на руках по улицам столицы. В стране был объявлен национальный траур.

В могилу наш король сошел,

И некому занять его престол, —

писала одна из датских газет.

\* \* \*

В развитии жанра литературной сказки, неразрывно связанной с именем Андерсена, значительную роль сыграло романтическое течение. В творчестве романтиков, особенно немецких, сказка стала каноном высокой поэзии, новым литературным жанром.

Литературная сказка Андерсена, в отличие от произведений его предшественников в этом жанре — Эленшлегера и Ингемана, тесно связана с народными сказками и преданиями. Именно Андерсен, человек, воспитанный на фольклорной традиции и вместе с тем поэтически одаренный художник, стал основоположником датской и мировой литературной сказки. Он стал сказочником XIX в., сказочником своей эпохи.

Андерсен пережил глубокое увлечение произведениями немецких и датских романтиков. Его главным вдохновителем был прежде всего Гофман с его сочетанием сказочного и действительного. Под влиянием Гофмана написаны незаконченные романы Андерсена «Аллея в Сорё» (1822) и «Фрагменты незавершенного исторического романа» (1824–1825), а также путевой очерк «Прогулка пешком на Амагер...».

В произведениях Эленшлегера Ханса Кристиана восхищало возрождение старинных преданий севера, а в книгах Ингемана их национальный колорит. «Датская литература, – писал впоследствии сказочник, – высокая и поросшая лесом гора...», где «простираются могучие первобытные леса Эленшлегера..., а Ингеман ведет тебя при лунном свете по благоуханным буковым лесам, где поет соловей, а ручеек нашептывает древние легенды»<sup>3</sup>. Однако, признавая в конце 20-х годов лучшими литературными образцами Гофмана, Шамиссо и Тика, Эленшлегера и Ингемана, Андерсен в книге «Прогулка пешком на Амагер...» (которая является его литературно-художественным манифестом этого периода) подвергает резкой критике преувеличения и ужасы, свойственные немецкой и датской романтической литературе того времени. Оставаясь в русле традиций этой литературы, Андерсен занимает свое особое место в датском романтизме. В начале 30-х годов писатель обращается к творчеству Гейне, проявляет интерес к писателям-реалистам Бликкеру и Бредалю, а позднее и Хейбергу. В конце жизни Андерсен увлекается творчеством Бальзака и Ибсена, открывает для себя русскую литературу от Карамзина до Пушкина, восхищается А. К. Толстым и И. С. Тургеневым. Величайшим гением для него был Пушкин. Преодолевая влияние различных писателей, Андерсен искал свой путь, создавая оригинальную, ни с чем не сравнимую литературную сказку, став ее творцом.

---

<sup>3</sup> Andersen H. C. En Digters Bazaar. København, 1842, s. 576.



Литературная сказка Андерсена – качественно иное явление, нежели сказки немецких и датских романтиков. Отличается она, естественно, и от фольклористической, промежуточной сказки<sup>4</sup> братьев Гримм и скандинавских собирателей фольклора.

Чрезвычайно начитанный в европейской и датской романтической литературе, сказочник, как уже говорилось, испытал влияние немецкой романтической традиции, ярким примером чего являются сказки «Затонувший монастырь» и «Мертвец». Как и для немецких романтиков, особенно Гофмана и Шамиссо, сказка была для Андерсена не просто занятной историей, которую ему хотелось поведать читателям развлечения ради. В литературной сказке он нашел возможность выразить свое отношение к действительности, свое мировоззрение, общественные и эстетические идеалы. В таких сказках, как «Цветы маленькой Иды» и «Тень», чувствуются настроения немецких романтиков, научивших Андерсена сочетать элементы фольклора с современностью, вводить в повествование автора, а также известному приему – упоминанию героев различных литературных произведений и т. д.

Вместе с тем о сказке Андерсена следует судить, учитывая все особенности литературного развития этого писателя, сына своей страны и своего века. Литературная сказка датского

---

<sup>4</sup> Так в отличие от фольклорной, народной, мы называем запись устной народной сказки.

писателя отличается от сказки Гофмана, Шамиссо, Брентано и Тика. Она сложна и синтетична, в ней ясно ощутимы старинная фольклорная традиция и современные Андерсену локальные датские и европейские реалии. Его произведения отражают многие научно-технические идеи XIX в. В отличие от немецких романтиков, он не только автор, обрабатывавший народные сюжеты и сочинявший оригинальные литературные сказки, но в каком-то смысле и собиратель фольклора. Он широко вводил в свои произведения фольклорные источники – народные сказки и предания, а иногда поверья и пословицы. Причем в его творчестве в большинстве случаев все эти источники могут быть прослежены и установлены.

Тесная связь с народной сказочной традицией отличает произведения Андерсена от литературных сказок его соотечественников и предшественников Эленшлегера и Ингемана. Эленшлегер как-то справедливо заметил, что Андерсену было свойственно субъективное, оригинальное понимание сказки<sup>5</sup>. Эта оригинальность понимания заключалась прежде всего в особом отборе материала для сказочной обработки, в новом восприятии действительности, в своеобразной трактовке проблемы Добра и Зла. Если Эленшлегер был в первую очередь поэтом и драматургом, а Ингеман романистом, то Андерсен известен прежде всего как сказочник. Эленшлегер и Ингеман не предназначали свои произведения для детей, не создавали сборники литературных ска-

---

<sup>5</sup> См.: Øehlenschläger A. Erindringer. København, 1951, Bd. IV, s. 144.

зок, объединенных общностью идейно-художественного замысла. Андерсен уже в своих первых произведениях обращался непосредственно к детской аудитории. Он опубликовал четыре сборника литературных сказок: «Сказки, рассказанные детям» (1835–1842), «Новые сказки» (1844–1848), «Истории» (1852–1855), «Новые сказки и истории» (1858–1872). Основное же отличие Андерсена от его датских предшественников заключалось в сочетании фантастики с будничностью и современностью: «Огонь трещит в печке, – писал сказочник в феврале 1836 г., – ко мне приходит моя Муза, рассказывает множество сказок и приводит героев из обыденной, окружающей нас среды. Она говорит мне: «Взгляни на этих людей, ты их знаешь, нарисуй их, они должны жить!»<sup>6</sup>

Кое-какие нити, несомненно, связывают Андерсена, воспитанного на датской народной традиции, с учеными Германии и Скандинавии. Прежде всего это – неоднократно высказанная им восторженная приверженность фольклору. Так, к 1825 г. относится высказывание Андерсена о том, что поэзия народа – это язык души и сердца, с помощью которых познается народная культура, а позднее он писал: «Народное предание живет в веках; в нем таится сила, противостоящая власти времени»<sup>7</sup>. Народную сказку писатель сравнивал

---

<sup>6</sup> Andersen H. C. og Wulff H. En Brevveksling. Odense, 1959, Bd. I, s. 223–224.

<sup>7</sup> Цит. по: Woel C. M. H. C. Andersens Liv og Digling. København. 1949, Bd. I, s. 19.

с героями датских и норвежских народных сказок Простак-Хансом и Эсбеном Аскеладдом, который верхом на коне въезжает на Хрустальную гору и завоевывает принцессу. Народная сказка, презируемая, по словам датского писателя, своими «собратьями, пробивается все же вперед, поднимается до уровня подлинной Поэзии – королевской дочери, завоевывает ее и полкоролевства в придачу»<sup>8</sup>. Андерсен иногда записывал датские народные сказки и предания, иногда же обрабатывал услышанные. Порой писатель бывал информантом отдельных фольклористов, в частности Тиле; и он постоянно рассказывал народные предания и сказки.

Андерсен, несомненно, многое заимствовал у фольклористов Скандинавии, и прежде всего отдельные сюжеты и мотивы. Он едва ли хорошо знал сказки братьев Гримм, а если и знал, то познакомился с ними значительно позднее, когда уже были написаны многие из его произведений. Зато в одной из юношеских тетрадей будущего сказочника 20-х годов сохранилась запись о том, что ему понравился сборник «Датские народные предания», изданный Тиле<sup>9</sup>. С многими преданиями, в том числе о Хольгере Датчанине, о короле Кристиане IV и т. д., Андерсен познакомился именно по сборнику Тиле.

---

<sup>8</sup> *Andersen H. C. Om eventyrdigtning.* – In: *Dansk litterær Kritik fra Anders Sørensen Vedel til Sophus Clausen.* København, 1964, s. 162.

<sup>9</sup> См.: *Andersen H. C. Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus.* København, 1945, vol. I, s. 41.

Трудно точно установить, где и когда узнал Андерсен народные сказки, использованные им в его творчестве, можно лишь предположить, что сказки «Одиннадцать лебедей», «Человек и его тень», опубликованные в сборнике Винтера<sup>10</sup>, писатель также слышал еще в детстве. Ведь Винтер вырос неподалеку от Оденсе, в Виссенберге, и сказки его сборника – примерно те же, что рассказывали Андерсену в детстве. Хорошо знал писатель и сборник Кристиана Мольбека «Избранные сказки и истории»<sup>11</sup>, хотя не пересказал ни одну из восьми сказок, напечатанных этим писателем. Однако стихотворение, посвященное сборнику, позволяет понять, какие сказочные, поэтические образы и реалии заинтересовали его у Мольбека. «Здесь предстанет перед тобой замок с тысячей зал, на стенах которых висят говорящие картины. Повсюду сады, горы, глубокие доли с золотом и жемчугом, рассеянными у родника... Багряный лес в особенности очарует тебя. И эльфы, познакомься с ними хорошенько! Подходи смело, здесь живет сказка, ее называют сказкой Мольбека в датской стране!»<sup>12</sup>

Конкретных сведений о знакомстве Андерсена со сборниками Свена Херслеба Грундтвига, издавшего в 50–60-х годах свод датских народных сказок, и норвежского ученого Перра Кристена Асбьёрнсена (кроме вышеупомянутого выска-

---

<sup>10</sup> *Winther M. Danske Folkeeventyr. København, 1823, I. Samling.*

<sup>11</sup> *Molbeck Chr. Udvalgte Eventyr og Fortællinger. København, 1843.*

<sup>12</sup> *Andersen H. C. Samlede Skrifter. København, 1879, Bd. XII, s. 251.*

зывания об Эсбене Аскеладде) нет.

Но ряд опубликованных этими фольклористами сказок («Миг в царстве небесном», «Нищий», «Большой брат и Маленький брат» и др.)<sup>13</sup> сюжетно совпадают с народными сказками, услышанными Андерсеном, возможно, в устной передаче и лежащими в основе его литературных сказок. Разумеется, он знал гораздо больше народных сказок и преданий, нежели использовал в своем творчестве. Но отбирал из них самые лучшие, отмеченные датским народным колоритом.

Вместе с тем многое отличает братьев Гримм и скандинавских фольклористов от Андерсена. Первые были не литераторами, а учеными. Народная сказка стала для них объектом изучения, что не помешало ей превратиться в любимое чтение детей и взрослых. Главная цель братьев Гримм и скандинавских фольклористов заключалась в спасении, сохранении народных сказок, в их собирании. Основная установка ученых – точная передача услышанного. Андерсен же прежде всего писатель. Он ввел народную сказку в художественную литературу Дании; он создал новый жанр – жанр литературной сказки. Опираясь на фольклор, он художественно преобразовывал отдельные его произведения в соответствии со своими взглядами и представлениями о жизни и литературе. Необычайно одаренная личность Андерсена, полет его фантазии, жизненный опыт нашли в лите-

---

<sup>13</sup> Grundtvig S. Gamle danske Minder i Folkemunde. København, 1856; Asbjørnsen P. Chr., Moe J. Norske Folkeeventyr. Oslo, 1842.

ратурных сказках этого художника яркое воплощение. И если сказку Андерсена порой принимают за народную, на это есть свои причины. Литературная сказка, имеющая своими истоками фольклор, по-своему подражает сказке народной. Общим для обоих этих жанров остается причудливое сочетание реального и нереального, правдивого и лживого, возможного с невозможным, вероятного с невероятным.

Литературная сказка создается на основе народной, по крайней мере вначале. Она использует темы, сюжеты, образы, структуру, приемы, язык, отдельные обороты народных сказок, контаминирует их. Многим авторам литературных сказок, в том числе и Андерсену, близки также эстетические нормы народных сказок.

«Эпические законы» народной сказки, ее основные признаки, как указывал датский фольклорист Аксель Олрик, имеют в известной степени значение и для авторского художественного творчества<sup>14</sup>. Однако жизнь народной сказки (соответственно и фольклористической), перевоплощенной в литературную, подразумевает уже совсем иную форму существования, иные законы. Известно, что «эпические законы» народной сказки, упоминаемые еще Грундтвигом и сформулированные в Дании Олриком, введены в научный обиход и развиты в трудах многочисленных ученых<sup>15</sup>. Меж-

---

<sup>14</sup> Olrik A. Nogle grundsstninger for sagnforskning. København. 1921, s. 81.

<sup>15</sup> Olrik A. Epische Gesetze der Volksdichtung. – Zeitschrift für deutsche Altertum, 1909, Nr. 51. S. 7.

ду тем законы литературной сказки, в частности скандинавской, установлены сравнительно недавно и могут быть прослежены при сравнении сказок Андерсена с ее источниками<sup>16</sup>.

Братья Гримм и Асбьёрнсон, обрабатывая народные сказки, переводили их на литературный язык, что для Германии и отчасти для Норвегии, где существовало множество различных диалектов, было важным делом. Благодаря этим ученым немецкие и норвежские народные сказки сделались всеобщим достоянием. Андерсен же, как говорилось, стал автором литературных сказок, проникнутых духом фольклора; в них действуют новые, современные герои, вещи, предметы, явления природы.

Уже в первых стихотворных сказках конца 20-х – начала 30-х годов «Каменный крест на острове Мён», «Невеста морского короля», «Снежная королева», «Русалка с острова Самсё», «Хольгер Датчанин», «Водолазный колокол» (из путевого очерка «Прогулка пешком на Амагер...») Андерсен расширил границы датской литературной сказки, вводя темы современности, социальной критики и бытовые реалии. Это же справедливо по отношению к прозаическим сказкам «Эльфы в Люнебургской роще», «Король говорит: «Это – ложь!»» (из путевого очерка «Теневые картины путешествия на Гарц, в Саксонскую Швейцарию и т. д. и т. д. летом 1831 года»). Первые прозаические сказки Андерсена, в том чис-

---

<sup>16</sup> См.: Брауде Л. Ю. Скандинавская литературная сказка. М.: Наука, 1979.



ле и сказка «Затонувший монастырь», – сказки индивидуальные, литературные, с четко окрашенной романтической позицией автора. Изменив содержание фольклорных источников, писатель рассказывал о современном ему обществе, восхвалял народную фантазию, личные достоинства человека, не зависящие от его происхождения. Как и предшественники великого сказочника, он прибегал к элементам фантастики, одухотворял вещи и предметы. Однако волшебные фигуры отдельных героев приобретают у него бытовой, жизненный характер. Положительными героями Андерсена становятся сильные и благородные представители народа – крестьяне и ремесленники, противопоставленные злым и ничтожным коронованным особам. В фантастические предания Андерсен вводил обыденные картины, а сказочные персонажи характеризовал с помощью бытовых деталей. Однако эти литературные сказки, отличающиеся, кроме того, от всегда прозаических народных своей стихотворной формой (не характерной и редкой для Андерсена), малоинтересны в художественном отношении.

Отчетливое представление об обработке сказочником народных сюжетов и мотивов дает его прозаическая литературная сказка «Мертвец», в основе которой – известные датские народные сказки. Из них писатель взял основной сюжет, историю бедняка Иоханнеса, троекратное повторение отдельных событий, образ чудесного попутчика-помощника. Но литературная сказка Андерсена – сложное, синтети-

ческое явление, где, кроме основного сюжета и его вариантов, использованы также отдельные образы народного предания – эльфы, блуждающие огоньки, указание места действия (Богенсе и Эльведгор). Этой сказке свойственно также сочетание признаков народной сказки и предания, что является одной из художественных особенностей литературной сказки Андерсена. Сторонник правдивого искусства, сказочник переосмыслил фантастические образы, приблизив их к реальности: эльфы в его сказке танцуют французские танцы, блуждающие огоньки играют в пятнашки. Андерсен как бы приземляет могущественного короля, и тот предстает, хотя и с державой в руке, но в домашних туфлях и шлафроке. В народной сказке герой, положительный или отрицательный, наделен обычно каким-то одним качеством, в частности добротой. Это свойство, воспринятое датской романтической литературой из фольклора и характерное для нее, встречается и у Андерсена. Однако его герой, Йоханнес, не только добр, но и благороден, отважен и любознателен, в то время как король – слаб и ничтожен. В сказке «Мертвец» писатель соединяет несколько вариантов народных сказок, однако у него все подчинено определенной писательской идее, которая поднимает это произведение на качественно новую ступень. В противопоставлении доброго и благородного бедняка ничтожному королю и его злой дочери – основная идея сказки Андерсена. Любопытно, что образы короля и принцессы по сравнению с аналогичными образами

народной сказки психологически заострены. В фольклорных сказках герой всегда женится на принцессе, хотя о любви там нет и речи. У Андерсена же появляется мотив романтической любви Йоханнеса к королевской дочери; он мечтает о ней. Сказочник выступает и против всякого рода преувеличений, лживости, неестественности и надуманности мелодрамы, но отдает дань и романтически-ироническим приемам, упоминая популярных в то время писателей – Гоцци, Миллера, Клаурена и художника Хогарта, а также героев известных литературных произведений – Вертера, Зигварта, принцессу Турандот. Писатель вносит в сказку и ряд романтически-пространных описаний природы, которых не было в народном источнике. Одновременно он стремится передать национальный датский колорит, красоту родных мест.

Современная Андерсену критика не обратила внимания на то, что сказка его стала литературной. Однако неодобрение некоторыми датскими писателями изменений, которые внес сказочник, – свидетельство их бессознательного понимания этого факта. Так, Мольбек говорил, что ни в одной народной сказке нельзя встретить такого описания летнего вечера, как у Андерсена: «В детстве ему не приходилось слышать, чтобы народные сказки рассказывали таким образом»<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Цит. по: *Woel C. M. H. C. Andersens Liv og Digtning. Bd. I, s. 281.*



В 20-е годы Андерсен был сравнительно далек от общественнополитической жизни Дании. Его взгляды формировались под влиянием устной народной традиции, а также современной ему датской и западно-европейской литературы.

В 30-е годы мировоззрение Андерсена — демократа и гуманиста — складывалось под сильным воздействием эпохи Просвещения. В этот период усиливается пробужденный Июльской революцией интерес сказочника к современности, к европейской общественной мысли, к растущему в Дании движению за конституционные свободы. (Как известно, движение это привело к тому, что в 1849 г. Дания превратилась в конституционную монархию.) Андерсен становится членом «Общества правильного применения свободы печати» и публикует в издаваемой Обществом газете «Федреландет» истории «Эта басня сложена про тебя!», «Талисман» и «Жив еще старый Бог!». Наряду с этим четко проявляется основное противоречие в его политических взглядах, противоречие между демократическими устремлениями и верой в короля, «отца народа». Расплывчатый идеал Добра, Любви, Человеческого Достоинства и Справедливости, за который Андерсен ратовал в произведениях 20-х годов, уже в начале 30-х принимает более конкретные формы. В произведениях этого периода и особенно в истории «Оборвыш на

троне французских королей» Андерсен, несмотря на присущую ему осторожность, высказывал интерес к свободолобным идеям и симпатии к народу. Воспевая в стихотворениях 30-х годов Июльскую революцию и «древо свободы», выросшее во Франции, он ясно давал понять, что стоит на стороне бедняков, угнетенных, борцов за свободу. В своих романах этих лет – «Импровизатор», «О. Т.» и «Только скрипач» – он рисовал суровую судьбу бедняка, лишения, выпадающие на его долю, говорил о скудных лучах счастья, редко озаряющих его жизнь. Андерсен искал возможность справедливо разрешить проблему борьбы Добра и Зла, и такую возможность предоставила ему сказка. В сказках Андерсен давал волю доброжелательному отношению к бедняку, сажал на трон даровитых и умных тружеников, позволял им участвовать в правлении государством. Прикрываясь детской наивностью и внешне безобидным юмором, он высказывал свободолобные и прогрессивные идеи. В сказках писатель говорил правду, а сатирически изображая птиц и животных, разоблачал светское общество.

В сказках Андерсен воплощает свой этический идеал, создает новую действительность, где торжествуют Справедливость, Добро, Любовь и Человеческое Достоинство.

Эти принципы легли в основу первых сборников Андерсена «Сказки, рассказанные детям» и «Новые сказки», куда вошли наиболее известные его произведения. Хотя сборники отличаются друг от друга содержанием, общественно-по-

литической, литературно-эстетической направленностью и характером использованных в них художественных средств, они имеют и нечто общее. Литературные сказки, включенные в эти сборники, как и все сказочное творчество Андерсена вообще, можно подразделить на сказки, построенные с помощью использования народных и иных источников, а также на сказки, придуманные самим писателем. И те и другие могут быть волшебными, авантюрными, бытовыми, шуточными или сатирическими. Отдельные же индивидуальные особенности литературной сказки Андерсена проявляются не только в его самостоятельных творениях, но и в обработках фольклорных сюжетов и мотивов. Писатель «изменял народную сказку, и это изменение было частью структуры его собственных, андерсеновских сказок»<sup>18</sup>, – писал В. Б. Шкловский.

В разные периоды творчества у Андерсена преобладали литературные сказки либо одного, либо другого вида. Причем внутри каждого из них существовали более или менее значительно обработанные, более или менее самостоятельные литературные сказки.

Создание обоих видов литературных сказок идет у Андерсена почти параллельно, хотя обращение к фольклору и к другим источникам наиболее характерно для него в 30-е годы, а создание самостоятельно придуманных произведений – в 40-е и далее. В начале своей творческой деятельности

---

<sup>18</sup> Шкловский В. В. Тетива. М.: Сов. писатель, 1970. С. 189.

писатель в основном обрабатывал народные сказки. Позднее он чаще трансформировал народные предания, представляющие благоприятный материал для свободной фантазии. С годами мастерство Андерсена росло, и он постоянно придумывал сказки, не утратившие связи с народной сказкой, проникнутые ее настроением и подчиняющиеся в какой-то мере и ее законам.

Сборник «Сказки, рассказанные детям» занимает значительное место в раннем творчестве Андерсена. Сам он, не придавая будущим сборникам большого значения, видимо, в шутку писал незадолго до выхода в свет первого выпуска сказок (1 января 1835 г.): «Они сделают мое имя бессмертным; я попытаюсь завоевать грядущие поколения»<sup>19</sup>. Эти сказки сразу же после выхода в свет получили широкий отклик. «В то время как отдельные люди, чьим мнением я особенно дорожу, ставили их выше всего остального, что мной напечатано, другие полагали их крайне незначительными и советовали мне не писать более подобных вещей»<sup>20</sup>, — вспоминал впоследствии Андерсен.

Публике и критике в произведениях сказочника не хватало традиционных нравоучений, и ему советовали следовать французским образцам.

Современники Андерсена не поняли, что выход сборни-

---

<sup>19</sup> *Andersen H. C. Brevveksling med Henriette Hanck. – In: Anderseniana. København, 1941. vol. IX, s. 108.*

<sup>20</sup> *Andersen H. C. Eventyr og Historier. København, 1943, Bd. V, s. 382.*

ка молодого писателя – выдающееся событие в истории датской, да и всей мировой литературы, что писатель нашел в сказках свое истинное призвание. Более того: не оценив новаторства этих произведений, их резкого отличия от принятых морализаторских канонов, критики усмотрели в них лишь «безнравственность» и «аморальность». И в дальнейшем сказки не были оценены по достоинству в немногочисленных рецензиях на очередные выпуски сборника. Критики ограничились их пересказом и указанием на то, что сказки Андерсена хорошо известны и не нуждаются в подробной характеристике.

Андерсен назвал первый сборник «Сказки, рассказанные детям», объяснив это название следующим образом: «В первом выпуске я, подобно Музеусу, но по-своему, пересказал старые сказки, слышанные мною в детстве, голос рассказчика еще слышался мне и казался самым естественным. Но я хорошо знаю, что ученая критика станет порицать этот язык. Таким образом, чтобы настроить читателя на определенный лад, я назвал их «Сказки, рассказанные детям», хотя считал, что они предназначаются и для детей, и для взрослых»<sup>21</sup>. Словом «рассказанные» Андерсен подчеркивал необычность стиля и формы этих сказок; он писал их, словно рассказывая знакомым детям. И хотя сборник назывался «Сказки, рассказанные детям», третьему выпуску Андерсен предпослал обращение «К взрослым читателям...»,

---

<sup>21</sup> *Andersen H. C. Samlede Skrifter, Bd. I, s. 280.*



предполагая, что сказки «Новый наряд короля» и «Русалочка» больше подходят именно этим читателям.

«Сказки, рассказанные детям» – первый сборник литературных сказок Дании, тесно связанных с отечественным фольклором и оригинальных по своему языку и стилю, отличается прогрессивностью общественных и литературных взглядов их автора. Любопытно, что появлению сказок предшествовало не только путешествие Андерсена в 1833 г. во Францию, где все еще напоминало о недавних событиях Июльской революции. Поездки по родной стране в 1830, 1832, 1834 и 1835 гг., когда писатель возобновил знакомство с богатейшей сокровищницей народных обычаев, сказок и поверий, также доставили ему материал для литературной обработки.

Из всех жанров фольклора, привлекавших внимание Андерсена, основные – народные сказки и предания. Особенно отчетливо ощущается сходство с народными источниками в сказках «Огниво», «Маленький Клаус и Большой Клаус», «Принцесса на горошине», «Дорожный товарищ» и «Свинопас». В них, да и в некоторых других, можно встретить типичных для народных сказок лиц (героев): солдата, бедных крестьян, свинопаса, старших и младших (богатых и бедных) братьев, короля, королеву, принца, принцессу и др. Есть там животные, птицы и насекомые. Из фантастических персонажей скандинавских народных сказок у Андерсена в его первом сборнике (правда, сравнительно редко) фигури-

руют тролли, русалки и ведьмы. Писатель следует и некоторым внешним стилевым особенностям народной сказки, ее эпическим законам: инициальные и финальные формулы (сильно видоизмененные), редкие медиальные формулы («снип-снэп-снурре...»), частично неопределенные топографические и хронологические формулы (действие может происходить далеко-далеко, на всем свете, на дороге, в лесу, на берегу моря, в бедной лачуге, в королевском замке, в селении, в маленьком городке. События совершались много-много лет тому назад, после грозы и т. п.). Ведьмы у Андерсена так же неизменно стары, как и в народной сказке. Его произведениям свойственны фольклорная троичность (три собаки, три горницы), ступенчатость (все увеличивающиеся глаза собак и ценность монет), повторы, избранные немногочисленные эпитеты («богатый», «бедный» и характерные для Андерсена эпитеты «настоящий», а также «простой»). Писатель пользуется и приемами анимизации, одушевляя явления природы.

Вместе с тем существуют и определенные различия между сказкой Андерсена и народной (соответственно и фольклористической), так как сказочник с самого начала поставил перед собой задачу творчески самостоятельно обрабатывать известные сюжеты.

Его сказки, ставшие авторскими и получившие имя великого писателя, имеют свою творческую историю, почти о каждой содержатся интересные сведения в письмах и днев-

никах художника, а также в примечаниях к сказкам, написанных им незадолго до смерти<sup>22</sup>. Кроме того, в отличие от фольклорного текста, продолжающего творческую жизнь до тех пор, пока он живет в народе, и имеющего, как правило, множество вариантов, литературная сказка Андерсена более стабильна и обычно существует в одной редакции.

Сказки Андерсена значительно длиннее народных (хотя могут быть и очень кратки, емки, как, например, «Принцесса на горошине», «Скверный мальчишка»). Это объясняется тем, что литературная сказка, подобно всякому литературному произведению, в отличие от народного, всегда предполагает письменную форму существования. А так как такую сказку уже не нужно запоминать, она может быть какой угодно длины.

Элементы трансформации народной сказки, уже заметные в сказке «Мертвец», получают дальнейшее развитие. Можно сказать, что в сборнике «Сказки, рассказанные детям», оно идет по двум линиям. С одной стороны, Андерсен чрезвычайно расширяет традиционные рамки сказочного жанра. В первом томе сборника наряду с изменением волшебной среды и ее приближением к реальной жизни появляется и новый мир, построенный по желательным для Андерсена законам. С другой стороны, писатель ограничивает фантастику сказок, облакает волшебные фигуры и образы в прозаические

---

<sup>22</sup> См.: Andersen H. C. Bemærkninger til de to første Bind. – Andersen H. C. Eventyr og Historier, Bd. I–II. København, 1943.

одежды, как бы «приземляет» их. Причем если в первом томе Андерсен идет в основном по этому, последнему пути, то во втором томе, начиная с 1838 г., происходит расширение рамок сказки главным образом за счет создания особого волшебного мира, который можно назвать андерсеновским. И в сказках второго тома писатель творит этот новый мир, вводя в свои произведения и реально-бытовой комментарий, и элементы научной фантастики.

В сборнике «Сказки, рассказанные детям» наряду с традиционными героями (у Андерсена редки стереотипные персонажи – три сына, падчерица и т. д.) живут и действуют подмастерья, сапожники, кожевники, пономарь, бабушка, трактирщик, пастух, студент, советник, поэт, дети и т. д. Встречаются там и такие необычные для скандинавской народной сказки животные и пресмыкающиеся, как крот, ящерицы, а из насекомых – майские жуки, мотыльки.

С другой стороны, могущественные короли народных сказок у Андерсена «приземлены». Они сами открывают городские ворота и кувыркаются от радости. Если сравнить фантастику народных сказок с фантастикой датского писателя, значительно более свободной, нежели в народной сказке, и всецело подчиненной его воле, становится особенно заметно различие между обоими этими жанрами. У Андерсена очеловечены не только животные, но и его немногочисленные волшебные персонажи. Тролли, которые редко появляются у сказочника, превращаются в путешественников, а

мать ветров журит сыновей за проказы и наказывает их, как расшалившихся детей. «Скверный мальчишка» Амур – ребенок, страдающий от голода и непогоды. В отличие от народной сказки «Одиннадцать лебедей», где героине помогает волшебница, Элиза встречает в лесу обыкновенную старушку. Самые фантастические события носят у Андерсена реальный характер. Пещеру старого тролля освещают тысячи светляков, окружают же его не таинственные существа, а пауки (хотя и огненные), зеленые мухи и черные кузнечики.

Уже в самых первых оригинальных, придуманных Андерсеном сказках 20-х годов выступали персонажи из мира природы и вещей. Ослепительно-белая ромашка (в одноименной сказке) с желтым, круглым, как солнышко, сердечком олицетворяет скромную милую девушку с золотым сердцем; детская игрушка – одноногий оловянный солдатик – бесстрашного и стойкого воина; кухонная утварь – обывателей.

Фантастика Андерсена вообще довольно умеренна. У него почти нет нарушений пределов времени и пространства, действие не происходит в тридесатом царстве и небывалых странах, отсутствуют, за редким исключением, и разные диковины. Правда, в отличие от народной сказки, где герои с трудом переходят из одного мира в другой, у Андерсена сказочный принц попадает в Райский сад. Изменен и один из важнейших законов народной сказки, закон троичности. Писатель не стремится создать впечатление об особой сложности предприятия, успех которого достигается лишь с

третьего раза. И Элиза в сказке «Дикие лебеди» не третья, младшая сестра, которая побеждает только благодаря этому. Снижена у Андерсена и ступенчатость. Его герои не сражаются с трехглавыми, шестиглавыми, девятиглавыми змеями, они не приходят в лес с деревьями из золота, серебра и драгоценных камней. Герои сказочника попадают в горницы с золотыми, серебряными и медными монетами.

По сравнению с народной сказкой Андерсен изменяет характер инициальных и финальных формул. Он переосмысляет традиционный зачин «жил-был» и создает новый. Сохраняя указание на неопределенность времени и места («жил-был однажды...»), располагающее слушателей к необычайно интересному рассказу, а зачастую и восприятию чудесных событий, писатель расширяет инициальную формулу, когда пишет: «Много лет назад жил-был король, который так любил красивые новые платья!» Часто в зачине вместо короля или принца у Андерсена появляются необычные для народной сказки герои. «Жил-был поэт...», «Жили-были двадцать пять оловянных солдатиков...». Но сказочник уже не просто констатирует существование героя и не просто помещает его во времени, хотя и не уточненном. Большею частью он либо в инициальной формуле дает место действия, либо сразу же вводит читателя в суть происходящего: «В открытом море вода такая синяя...»; «Шел солдат по дороге: раз-два! раз-два!». Культивируя одну из основных функций финальных формул, установку на «правдивость»

событий, о которых идет речь («Знай, что это истинная история!»), как бы констатируя тот или иной факт, датский сказочник и здесь остается оригинальным. В его концовках отсутствует морализация. Существенно, что, наряду с обычными неопределенными топографическими формулами как в зачинах и концовках, так и в самом тексте, у Андерсена встречаются конкретные указания места действия – Копенгаген, Королевский сад, Турция. Или театр, кунсткамера, аптека, Круглая башня.

Авторская индивидуальность находит яркое выражение в образе рассказчика. Закономерное отличие литературной сказки Андерсена заключается именно в постоянном присутствии рассказчика, посредника между миром сказки этого автора и ее создателем. Реплики рассказчика слышатся то в инициальных, то в финальных формулах, а то и в самом тексте. Он постоянно дает объяснение происходящим событиям, оценивает людей, их вкусы, объясняет их поступки. «За городом, у самой дороги, стояла дача; ты, верно, и сам когда-нибудь видел ее!»; «Да, веселая была эта ночь!»; «Помарь ел рыбу, «потому что любил ее»; «фи! какой скверный мальчишка этот Амур!»». Причем если в русской литературной сказке второй половины XIX в. различают два основных типа сказочника – рассказчика из народа и самого автора, то Андерсену свойственна большая дифференциация этого образа. Роль рассказчика из народа исполняет у него и студент (это характерно для Дании, где основными соби-

рателями фольклора были студенты), и старик-сосед, и фантастическое существо Оле-Лукойе, и цветы. В сказках второй половины 30-х годов в роли рассказчика начинают выступать отдельные действующие лица, что было связано с изменением композиции сказок Андерсена. Писатель строил свои произведения в простой народной манере и лишь в сказки «Сундук-самолет» и «Оле-Лукойе» вставил одну или несколько историй. Авторский голос также постоянно звучит на страницах сказок Андерсена. Порою он говорит от своего собственного имени. В некоторых сказках автор и рассказчик сливаются воедино, отождествляются, что придает происходящему оттенок достоверности.

Литературная сказка Андерсена, в отличие от народной, наполняется бытовыми подробностями, точными зарисовками природы и описанием человеческих чувств. При этом в ткани сказочного повествования они не ощущаются как чуждые, неожиданные, инородные вкрапления или помехи. В обработанных писателем сказках еще нет тех бытовых полотно, которые появятся в его оригинальных сказках. Пока он лишь подробно рассказывает о бедности героев, о том, что они едят и пьют, как одеваются. Поэтичные описания в сказках Андерсена резко отличают их от народных. Воспевание природы, культ ландшафта, присущий романтикам, характерен и для датского писателя. Но в его обработках и пересказах народных произведений это пока еще реальные картины природы. Сказочник восхваляет красоту природы Дании,



острова Фюн и родного города Оденсе. В сказках встречаются описания оденсейских, особенно финских природных достопримечательностей.

Народной сказке, как известно, не свойственно описание настроения героев, показа их внутреннего мира. Герои фольклорной сказки не ведают душевной борьбы и любовного смятения. И хотя они по-своему любят и страдают, но описания чувств этих героев, их сомнений и колебаний в народной сказке отсутствуют. Линия действия такой сказки ясна, и в этом плане, например, андерсеновское «Огниво» близко народной. Романтическая же литературная сказка исходит как раз из внутренней жизни героя. В литературных сказках Андерсена герои испытывают глубокие потрясения, они колеблются и сомневаются. И хотя многие критики, начиная с Сёрена Киркегора и Георга Брандеса, не считали Андерсена, автора пяти романов, великим романистом, некоторые из его сказочных произведений напоминают камерные, любовные мини-романы, облеченные в форму сказки. В датских народных сказках, где часто встречается мотив самоотверженной любви – сестры к братьям, сына к отцу, отца и матери к детям, – не дается изображения такого возвышенного, самозабвенного чувства, какое испытывает Элиза к братьям, а король к неизвестной немой девушке, на которой он женится («Дикие лебеди»).

Для мировоззрения Андерсена характерна глубокая и органическая социальность; из многих сказок писателя явству-

ет, что жизнь, лишенная духовных интересов, искажает человеческую психологию. В сказке «Принцесса на горошине» король и королева маленького, почти игрушечного государства, где король сам отпирает ворота, необычайно дорожат своими королевскими правами, и потому им необходима только настоящая принцесса. За маленьким сказочным государством, король которого, по существу, выступает в роли дворника, видится маленькое королевство Дания. Но его властители истосковались по настоящему величию. И то, что к ним забрела изнеженная чувствительная принцесса, поднимает королевскую семью в собственных глазах. Так удивительно, социально-психологически интерпретировал Андерсен народный источник, указать который пока не смог ни один андерсеновед. Ключом к решению этой загадки является, скорее всего, то, что буквального сходства искать не следует. Датский писатель вовсе не стремился к точному копированию фольклорных текстов. И по всей вероятности, свободно воспроизвел сюжет многочисленных датских народных сказок, где богатый крестьянин или просто состоятельный человек предъявляет к будущей невесте неперенные требования: поменьше есть, а то и воздухом питаться, не болтать зря и т. д. Не менее вольно в плане социально-психологическом трактует писатель старую датскую народную сказку «Нищий» и ее варианты «Эсбен-трубочист», «Оборванец» и др. Сам Андерсен говорил, что в таком виде, в каком эту сказку рассказывали ему в детстве, он пересказать

ее подобающим образом не мог. Поэтому, воспользовавшись целиком первой частью сказки, писатель убрал из нее черты грубости, эротики и создал в своей знаменитой сказке «Свинопас» резкую сатиру на королевскую власть и придворные нравы. Но самое главное – то, что гордую принцессу Андерсен сделал ничтожной и никчемной. Ее образ обрастает множеством чисто мещанских черт. И если в народной сказке принц исправляет принцессу, то у Андерсена он отвергает ее.

Датский писатель – носитель прогрессивных демократических традиций датской культуры – создавал сказку своего времени. То, что в произведениях Андерсена отразились политические и литературно-эстетические взгляды писателя, и делает его сказку авторской, андерсеновской. Изменяя народные источники, он создавал произведения, отмеченные глубокими симпатиями к народным героям, которые добиваются счастья и богатства. Используя частично народную сказку «Принцесса и двенадцать пар золоченых туфель», а также различные варианты этой фольклорной истории о солдате, который женится на королевской дочери, Андерсен подчеркивает социальный смысл свадьбы простолюдина и знатной девушки. Героем литературной сказки «Огниво» оказывается народ. Обработав известный фольклорный источник, убрав отдельные черты присущей ему жестокости, Андерсен делает основной темой сказки «Большой Клаус и Маленький Клаус» не вражду двух братьев, пусть даже бога-

того и бедного, а сословное неравенство и борьбу богача и бедняка.

В многочисленных сказках середины 30-х годов уважаемые в обществе люди, даже короли и принцессы, с точки зрения Андерсена, вовсе не достойны уважения. Положительными героями, людьми в андерсеновском смысле слова выступают чаще всего бедняки и обездоленные – носители большого человеческого достоинства («Дюймовочка»). Во второй половине 30-х годов эта тема особенно развита в сказках «Стойкий оловянный солдатик» и «Ромашка». Их герои – воплощение мужества, постоянства и внутренней человеческой красоты.

В основе литературных сказок Андерсена, имеющих как бы несколько уровней, лежат не только народные сказки, но и народные предания, поверья, пословицы, а также литературные произведения, иногда иностранные. Порой мотивы народных сказок и преданий выступают в одной и той же литературной сказке. Причем в произведениях Андерсена, построенных на преданиях, поверьях, пословицах и т. д., еще более свободно реализуется индивидуальная авторская воля. Такого рода литературные сказки являются как бы переходной ступенью между андерсеновскими обработками народных сказок и его оригинальными литературными сказками. Датские народные предания и поверья с их сухой, лаконичной, зачастую афористичной формой, лишенной каких бы то ни было художественных элементов, предоставляют талант-

ливому писателю широкое поле деятельности.

Весьма плодотворными для создания литературной сказки Андерсена в 30-е годы оказались народные поверья. Очаровательное датское поверье о старом боге снов Оле-Лукойе, который усыпляет малышей, рассказывая им сказки, помогает Андерсену написать новое произведение, содержащее множество аллюзий на современное ему буржуазное общество. В основе сказки «Русалочка» лежит народное поверье о том, что лишь верная любовь человека подарит русалке бессмертную душу. Вместе с тем «Русалочка» – оригинальная литературная сказка, в центре которой тончайшие описания движений человеческой души. В литературных сказках, основанных на народных преданиях, пессимистические нотки объясняются обычно тем настроением ужаса, страха перед потусторонним миром, который царит в этих народных произведениях. Пессимистический исход сказки «Русалочка» связан у Андерсена и с его романтическим представлением о невозможности счастья, о неосуществимости прекрасной мечты и истинной любви.

Отчетливей же всего подобная идея проявляется в сказках, основанных на иностранных сюжетах, расширивших круг источников литературной сказки Андерсена. В произведениях «Скверный мальчишка» и «Эльф розового куста», где сказочник использовал античный и итальянский сюжеты, трактуются этические проблемы.

В сказке «Новое платье короля» Андерсен дает обработ-

ку испанской новеллы XIV в., в которой повествуется о том, что приключилось с одним королем и тремя обманщиками. Андерсен, решив, по его словам, придать своему произведению сатирический характер, изменил чудесное свойство платья, которое в испанском источнике разоблачало незаконнорожденных. В его знаменитой сказке «Новый наряд короля» ткань, выдуманная обманщиками, становилась невидимой для всякого человека, который занимает не свое место или непроходимо глуп.

\* \* \*

Новым этапом на пути Андерсена-сказочника явился сборник «Новые сказки», самое выдающееся его произведение 40-х годов. В этот период и начинается, по словам Андерсена, великое признание сказок. Однако популярность сказок и похвалы в их адрес отнюдь не означали, что они были оценены по достоинству. Правда, актуальность этих произведений отмечалась в декабре 1845 г. немецкой прессой, справедливо назвавшей их «сказками нашего времени». Датский писатель и журналист Мейр Арон Гольдшмидт, всегда строго судивший произведения Андерсена, нашел на этот раз верные слова для характеристики его своеобразной художественной манеры, когда писал в 1849 г.: «Он находит поэзию там, где другие едва осмеливаются искать ее, в предметах, которые считают некрасивыми, в погребке, где ель ле-

жит в обществе крыс и мышей, в мусорном ведре, куда служанка выбросила пару старых воротничков, и т. д.»<sup>23</sup> Современники сказочника, да и многие исследователи его творчества почти не обратили внимания на изменение названия сборника «Новые сказки». Между тем Андерсен назвал эти сказки «новыми», потому что они значительно отличались от произведений 30-х годов не только своим настроением, источниками и содержанием, но и характером художественных средств.

В сборник «Новые сказки», в отличие от сборника «Сказки, рассказанные детям», вошли в основном произведения, придуманные самим Андерсеном. Обработанных фольклорных сюжетов в его творчестве 40-х годов гораздо меньше, чем в 30-х («Снежная королева», «Холм лесных духов», «Прыгуны», «Хольгер Датчанин», «Тень»).

В сказке «Снежная королева» писатель сохранил фабулу народного предания и стихотворной сказки 20-х годов. Из их простого ядра вырастает глубоко философское произведение, в котором Андерсен проводит идею победы подлинного чувства над холодным разумом. В сказке «Тень» писатель показывает ученого, образ, естественно, не свойственный народной сказке, как, впрочем, и образ поэта. В этом глубоко философском литературном произведении сказочник неизмеримо далек и от изданной Винтером народной

---

<sup>23</sup> Цит. по: Woel C. M. H. C. Andersens Liv og Digting. København, 1950, Bd. II, s. 307–308.

сказки «Человек и его тень», и от повести Шамиссо «Необычайные приключения Петера Шлемиля». «Тень» – повесть о современном Андерсену обществе, где мудрый и благородный человек погибает и где ценится лишь хорошее платье. Андерсен расширяет рамки своих произведений и по сравнению с народными. Сказка «Хольгер Датчанин» содержит намеки на тогдашние политические события, в частности на сложные отношения Дании со Швецией. Одним из важных средств расширения мира сказки Андерсена в 40-х годах является введение в нее элементов национальной истории и ряда исторических персонажей: Людвиг Хольберга, Тихо Браге, Бертеля Торвальдсена и т. д.

Обличение мещанства и аристократии («Гадкий утенок», «Счастливое семейство», «Штопальная игла», «Воротничок», «Ель», «Пастушка и трубочист», «Тень»), судьбы искусства в буржуазном обществе («Соловей», «Старый дом»), жизнь большого города («Девочка со спичками») – вот далеко не полный перечень новых актуальных тем в творчестве Андерсена этого периода. Во всех этих произведениях, наряду с правдивым изображением жизни бедняков, ощущается стремление к религии как единственному средству спасения несчастных, нищих, заблудших и высокомерных. В сказках «Девочка со спичками» и «История одной матери» Андерсен утверждает, что лучший исход для бедняков – смерть. Единственное, что может спасти Карен, тщеславную героиню сказки «Красные башмаки», – ее примирение с Богом.



Однако сентиментально-религиозные нотки присущи только отдельным и сравнительно немногим произведениям Андерсена.

40-е годы XIX в. – период появления таких мудрых социальных сказок Андерсена, как «Гадкий утенок», «Снежная королева» и «Тень», сказок, в которых своеобразная новаторская художественная манера писателя приобретает более углубленный характер. С одной стороны, в них по-прежнему, как в 30-х годах, заметно «приземление» фантастических образов, уменьшение элементов волшебства, но одновременно появляется еще больше животных, растений и предметов. Создание особого, андерсеновского мира происходит в этот период в основном путем огромного расширения диапазона сказки, куда широким потоком хлынула будничная жизнь. Одним из важнейших законов литературной сказки, как уже указывалось, является то, что автор ее – индивидуальный творец. Интересен поэтому индивидуальный, специфический путь Андерсена, создателя оригинальной сказки, представляющей собой не правило, а скорее исключение.

Некоторые из особенностей творчества датского сказочника стали ясны уже при сравнении его сказок с народными и ярко проявились в самостоятельно придуманных сказках писателя. В обработках народных и других источников он по-своему использовал этот материал; в оригинальных сказках – предметом художественного освоения Андерсеном

становится весь мир, который он как бы ассимилирует, вводя в литературную сказку.

Среди его оригинальных, самостоятельно придуманных сказок различаются прежде всего произведения о явлениях природы, растениях и животных, вещах и предметах, построенные внешне как бы по законам фольклора. Затем реальные истории со сказочными мотивами борьбы Добра и Зла, характерные для творчества писателя 50–70-х годов.

В путевом очерке «Базар поэта», своеобразном творческом манифесте начала 40-х годов, Андерсен теоретически осмысляет отношение к источникам своей литературной сказки. Он утверждает, что окружающий человека мир прекрасен, что любое его явление, любая вещь может стать предметом сказки. Как бы иллюстрируя это положение, писатель включает в путевой очерк сказки, герои которых – ожившая скульптура, бронзовый кабан, украшающий фонтан во Флоренции, роза с могилы Гомера, собственные сапоги Андерсена. Одновременно в письмах, дневниках и т. д. он непрестанно говорит о новых источниках своих сказок, о том, как они рождаются: «Теперь я рассказываю только о том, что теснится в собственной груди... у меня множество материалов, больше, чем для какого-либо другого жанра творчества! Часто мне кажется, будто каждый дощатый забор, каждый цветок говорит мне: «Ты только взгляни на меня, и тогда моя история перейдет к тебе; и стоит мне захо-

теть, как у меня сразу же появляются истории»<sup>24</sup>. А в сказке «Бужинная матушка», опубликованной в 1845 г. в журнале «Гей», писатель заявил, что именно из действительности вырастают прекраснейшие сказки.

Природа, ее явления, вещи и предметы – основные элементы, за счет которых происходит расширение оригинальной литературной сказки Андерсена. В ней он воссоздает луга, леса, сады Дании, необозримые просторы Лапландии. Герои сказок – ели, березы, цветы, олени, кошки, соловьи, утята, утки, куры, индюки, улитки, навозные жуки, мотыльки и т. д. При этом произведения писателя сохраняют неповторимый датский колорит.

Расширение мира сказки датского писателя за счет многочисленных вещей и предметов, естественно, усиливает элемент бытописания, помогающий воссоздать картины жизни того времени. Литературная сказка Андерсена – своего рода этнографический музей, так как писатель еще более подробно рисует обстановку дома в Дании конца XVIII – начала XIX в., нежели в 30-е годы в сказке «Сундук-самолет» («Старый дом», «Пастушка и трубочист»), каморки сторожа («Старый уличный фонарь»). Быт у писателя чаще всего не сельский, как могло бы быть в сказке, связанной с народной, а городской, зачастую мещанский. Бытописание, точное воспроизведение примет того времени, нашедших отражение в обстановке, мебели, утвари, также придает

---

<sup>24</sup> Цит. по: *Topsøe-Jensen И. Н. С. Andersen i Livets Aldre. København, 1955, s. 35.*

произведениям писателя своеобразный национальный колорит.

В сказках Андерсена, созданных в 30-е годы при обработке народных и других источников, встречались и даже вели беседы на политические темы спички, корзинка для провизии и котелок. Самостоятельно придуманные сказки датского писателя наполнились множеством вещей и предметов. Штопальная Игла, Воротничок, Мяч, Подвязка, Ножницы, Уличный Фонарь и другие – лишь немногие герои оригинальных сказок, сохраняющие присущие им «естественные» черты. Но вместе с тем они одушевлены и так же очеловечены, как растения, животные и явления природы. Однако антропоморфизм был свойствен в какой-то мере и народной сказке. Более того, своеобразие немецкой народной сказки, сохраненной братьями Гримм, состоит в том, что в ней человеческими свойствами – говорить, мыслить и действовать – наделены не только животные и растения, но совершенно неодушевленные предметы, которые к тому же передвигаются с места на место. В немецких народных сказках, по словам Гейне, можно было встретить чудесные и вместе с тем абсолютно понятные вещи: «иголка с булавкой уходят из портняжного жилья и сбиваются с дороги в темноте; соломинка и уголек переправляются через ручей и терпят крушение». Но немецкая народная сказка о растениях и животных, вещах и предметах обыгрывает исконные их свойства. Она объясняет, например, отчего совы видят ночью или почему у боба

вокруг «туловища» темный пояс, т. е. объясняют родовую особенность, свойственную всем совам и всем бобам.

Андерсену, как и творцам немецкой народной сказки, открылась внутренняя жизнь животных, растений и предметов, «которые приобрели свой определенный, только им присущий характер, представляющий очаровательную смесь фантастической прихоти и чисто человеческого склада ума»<sup>25</sup>. Но у датского писателя растения, животные, вещи и предметы часто резко меняют свою основную функцию. Андерсен приписывает им новые качества. Они живут и действуют в определенной среде, причем каждое дерево, каждая кошка и утка, каждое кресло индивидуализированы, а кроме того, как в сказках «Ель», «Снежная королева», «Старый дом» и т. д., наделены определенной психологией. Одна из основных особенностей литературной сказки Андерсена – то, что она социальна. За его героями, как взятыми из народных сказок, так и новыми, заимствованными из реальной жизни (деревьями, цветами, птицами, насекомыми, предметами быта, домашней утварью и т. д.), всегда стоит человек. Причем не как единичное явление, а как человек в окружающем его обществе. Для ели социальная среда, которая ее не удовлетворяет, – лес, а для ромашки – поле. Для излюбленных Андерсеном персонажей – кур и уток – такой средой является птичий двор. Двор этот – своего рода придворное или мещанское общество, где куры и утки – глупые и на-

---

<sup>25</sup> Гейне Г. Собр. соч.: В 10 т. Л.: ГИХЛ, 1957, т. IV, с. 22.

дутые придворные дамы или бургерши, полные сословной спеси. В народной сказке животные чаще всего выполняют свойственную им функцию – птицы летают, рыбы плавают. У Андерсена же они живут в своем особом мире, антропоморфизированном писателем. Чего стоит, например, портретная галерея обитателей птичьего двора, где все заискивает перед уткой-иностранкой и преследуют уродливого утенка. Сколько мнимого достоинства в словах этой утки, когда она, делая вид, что оказывает величайшее одолжение, милостиво разрешает принести ей угриную головку. «Этот не удался! Хорошо бы его переделать!» – безапелляционно изрекает «знатная» утка при виде гадкого утенка. В своей мешанской ограниченности и глупом самодовольстве не отстают от утки и кот с курицей, которые советуют утенку класть яйца или мурлыкать, чтобы его не одолевала дурь, желание плавать.

С помощью анимизма и антропоморфизма датский писатель достигает большого осмысления и обобщения жизненного материала, философичности и лиризма. Одной из важных особенностей литературной сказки Андерсена является ее эмоциональность. Боб в сказке братьев Grimm не индивидуализирован и не вызывает сочувствия. Сказки датского писателя переполняет целая гамма чувств и настроений – восхищение, жалость, ирония и т. п.

Андерсен все очеловечивает и все поэтизирует. За историей ели открывается история человеческой жизни, элегиче-

ское сочувствие по поводу того, что она прожита бесплодно. И вместе с тем напоминание о более активном отношении к действительности (как и в сказке «Пастушка и трубочист»). Тоской и жалостью, ощущением горестности судьбы наполнена сказка «Гадкий утенок», где по-своему преломилась судьба самого Андерсена, исключительность его личности, философия искусства. В образе утенка в прекрасном единстве сочетаются и скромность, и волнения, и колебания, и надежды. Здесь целая философская концепция жизни, сходная с позицией самого Андерсена: сначала надо много-много перестрадать, а уже потом добьешься счастья. Вместо силы волшебства у писателя действует сила поэзии. И в этом еще одна черта его сказки, его сказочной фантастики. Если бы Андерсен рассказал про бедного мальчика, у которого рано умерли родители и который терпит всяческие невзгоды, но в конце добивается счастья, это была бы просто повесть. Историю гадкого утенка делает сказкой ее классическая аллегоричность.

Очеловеченные писателем явления природы и предметы позволяли ему, как говорилось выше, высказывать в аллегорической форме истины, которые были бы зачастую невозможны в любом другом жанре творчества. Подобно соловью из одноименного произведения, писатель в форме сказки рассказывал правду о копенгагенском мещанстве, о жителях капиталистического города, где все топчут и ненавидят друг друга. Как и удивительные существа из капли воды (в

одноименной сказке), попирающие друг друга, олицетворяют, по мнению Андерсена, жителей Копенгагена.

Литературная сказка датского писателя, связанная с действительностью, тем не менее фантастична. Но фантастика эта своеобразна и также ограничена авторской индивидуальностью. Она как бы амбивалентна – двужначна. В ней происходит двойной процесс: обычное, реальное становится чудесным, волшебным, фантастическое – приземленным. Очеловечением растений и животных, одушевлением и очеловечением внешне неодушевленных вещей и предметов, с одной стороны, приданием обыденности, будничности возвышенным сказочным персонажам – с другой, Андерсен создает свой особый мир, все явления которого двойственны; они волшебны и вместе с тем – не волшебны.

Обычная традиционная фантастика, казалось бы, почти сведенная на нет во многих сказках Андерсена, есть, вместе с тем, повсюду, во всех его произведениях, где животные, растения, вещи и предметы переживают неслыханные приключения. От того что героями сказки Андерсена становятся и сказочной жизнью живут реальные люди, цветы, деревья, снежинки, капли воды, утки, соловьи, олени, иглы, воротнички, мячик, кубарь и т. д., сама сказка не теряет своей необычности, волшебства, фантастичности. В произведениях, для которых характерно сплетение фантастического с реальным, необычное становится обычным, а обычное перестает быть повседневным и превращается в сказочное. Крях-



тят и стонут кресла в сказке «Старый дом», обыкновенная штопальная игла путешествует и воображает себя брошкой, носятся с матримониальными планами воротничок и кубарь. Так что самые невероятные происшествия изображаются у Андерсена как совершенно реальные и достоверные, лишенные налета мистицизма и волшебства. В свою же очередь, привычные явления наделяются новыми, еще неизвестными свойствами, делающими их глубоко поэтичными и по-своему сказочными.

Из двойственной природы сказок Андерсена, герои которого предстают зачастую в виде растений, домашних животных и предметов, из сочетания необыкновенных человеческих черт, присущих всем героям сказочника, с их естественными свойствами возникают юмор и легкая ирония. Общественные пороки и недостатки рисуются в особо смешном свете, когда они придаются штопальной игле, воротничку, кубарю, мячику и т. д. Сатира писателя становится острее, когда мещанской ограниченностью наделяются утки, куры, кошки, улитки и т. д. Человеческие черты и поступки, приписываемые неодушевленным предметам, домашним животным и растениям, производят комическое впечатление. Помолвка мячика со стрижом, влюбленность кубаря в мячик невольно вызывают улыбку. Не случайно Андерсен говорил, что мастер, овладевший жанром сказки, должен уметь вложить в свои произведения «трагическое, ко-

мическое, наивное, ироническое и юмористическое»<sup>26</sup>. Порой юмор сказочника носит несколько завуалированный характер, это едва заметная ирония. Например, когда он с застенчивой улыбкой говорит о том, что друзья перестали навещать обедневшего солдата: ведь надо было так высоко к нему взбираться! Или когда он лукаво замечает, что крестьянин терпеть не мог пономарей. И потому некий пономарь вынужден был навестить жену крестьянина, когда мужа не было дома.

Двойной адресат сказок Андерсена – еще одна чрезвычайно важная особенность его творчества. Именно сочетание сказочного и реального у датского писателя делает его произведения двуплановыми, интересными и детям, и взрослым. Андерсен, как известно, назвал свой первый сборник «Сказки, рассказанные детям». Но уже выпуску 1837 г., куда входили «Русалочка» и «Новое платье короля», он предпослал обращение «Ко взрослым». В дальнейшем сказочник сам говорил, что его произведения предназначались как для детей, так и для взрослых. Сохранив сказочную среду и доступный детям язык, Андерсен вложил в свои произведения мысли, которые были понятны их родителям. В самом деле, дети поддаются очарованию вымысла, их привлекает победа Добра над Злом, увлекательные сюжеты сказок, их яркие фигуры, быстрая смена эпизодов, подробные описания, при всей андерсеновской точности и лаконичности художествен-

---

<sup>26</sup> Andersen H. C. Samlede Skrifter. Kjøbenhavn, 1877, Bd. V, s. 490.

ных средств, познавательность, юмор. Взрослые находят в сказках Андерсена глубокую философию, более реальный и более общий смысл, который легко свести к афоризму, половице, крылатому выражению, придуманным самим писателем и широко бытующим по сей день: «А ведь король-то голый!» (перефразировка: «Да ведь он совсем голый!»); «Не беда появиться на свет в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца»; «Принцесса на горошине» и т. п. Детей эти сказки учат познавать окружающий мир; взрослых – разбираться в жизни с ее радостями и разочарованиями, любовью и смертью, несправедливостью и ложью. Андерсен для детей и Андерсен для взрослых – это, по существу, два разных писателя в одном лице и в одном и том же произведении: первым понятен в основном его юмор, вторым – ирония и сатира. Что касается авторской морали, то она подается совершенно ненавязчиво. Писатель учит, воспитывает, но делает это так тонко и художественно, что дидактическое поучение у него обычно отсутствует или почти незаметно. В сказках Андерсена будничные вещи и предметы так же, как в детской игре, свободно вторгаются в повествование. Вместе с тем эти произведения, при всей их ненавязчивой морализации и «детскости», отличаются серьезностью.

Двойственный адресат сказок Андерсена отразился и на их языке, в котором детская форма изложения делает ряд описываемых событий особенно забавными в глазах взрослых читателей. Живой и эмоциональный язык датского пи-

сателя, близкий к разговорному, также является одной из индивидуальных особенностей его творчества. В сказке слышатся детский голос, интонации ребенка. Разговаривая с ним, как с равным, писатель объясняет ему все, преобразившись в рассказчика. Андерсену совершенно чужды подделки под детский язык. Он писал свои сказки так, как рассказывал их знакомым детям. И в этом – новая и оригинальная особенность сказки Андерсена. Сам способ его рассказа был настолько исключительно его собственный и живой, что немедленно очаровывал детей. Писатель, как вспоминал его друг Эдвард Коллин, не говорил: «Дети сели в карету, и она покатила». Он рисовал целую картину: «Вот сели они в карету, прощай, папа, прощай, мама, кнут щелкнул – щелк, щелк – и помчала...»<sup>27</sup> Андерсен совершенно естественно использовал детский и народный язык, который хорошо знал еще с оденсейских времен. До последних дней его творчества сказки писателя сохранили особую разговорную форму, обусловившую их близкий к народному язык. Особую живость сказкам придавали вводимые писателем пословицы и поговорки, зачастую придуманные им самим.

Умение Андерсена углублять и обобщать важные проблемы, его возросшее литературное мастерство и своеобразие художественной манеры, живой разговорный язык и оригинальная композиция произведений делают сказки 40-х годов непревзойденными в творчестве писателя, обуславлива-

---

<sup>27</sup> См.: Андерсен Г. Х. Собр. соч.: В 4 т., т. IV, с. 448.

ют их популярность не только среди народа Дании, но и за рубежом.



Пять романов и повесть «Счастливчик Пер», более 20 пьес, бесчисленное множество стихотворений, 5 книг путевых очерков, мемуары «Сказка моей жизни», обширная переписка, дневники – таков, кроме сборников сказок, итог творчества Андерсена – романиста, драматурга, поэта, путешественника, мемуариста и человека. Работа над этими произведениями способствовала созданию оригинальной литературной сказки Андерсена, в которой есть и драма, и роман, и философия...

Великий датский писатель свершил в области литературной сказки подвиг, подобный тому, который его современники – европейские романтики и реалисты – осуществили в сфере других литературных жанров. В начале XX в. крупный немецкий исследователь Рихард Бенц утверждал, что литературные сказки немецких романтиков утратили популярность и что властителем дум в этом жанре стал датчанин Андерсен<sup>28</sup>. Сказка Андерсена стала эталоном величайшего мастерства. «Новая литературная сказка, – писал известный австрийский ученый наших дней Рихард Бамбергер, – строит-

---

<sup>28</sup> См.: Benz R. Die Märchendichtung der Romantiker. Gotha, 1908.

ся не на основе творчества немецких романтиков, а на основе творчества датчанина Ханса Кристиана Андерсена... короля всех сказочников. Кто соразмеряет с искусством Андерсена каждую вновь появившуюся сказку... тот никогда не ошибется»<sup>29</sup>. Андерсен – основоположник традиции литературной сказки в Дании, традиции, насчитывающей уже немногим меньше 150 лет, и не только в своей родной стране, но и за ее пределами. Продолжателями Андерсена в скандинавском ареале и в Финляндии были выдающиеся сказочники – классики Сакариас Топелиус, Сельма Лагерлёф и современные нам писательницы, всемирно знаменитые Астрид Линдгрен и Туве Янсон.

Андерсен, как никто другой из его соотечественников, жив и поныне, хотя в 1980 г. во всем мире торжественно праздновалось его 175-летие. В 1955 г. все человечество по призыву Всемирного совета мира отмечало 150-летие со дня рождения великого сказочника. 1975 год, когда исполнилось 100 лет со дня его смерти, был провозглашен Международным годом Андерсена. Великим праздником отмечалось 200-летие со дня его рождения, 2 апреля 2005 г. Многие литературные события современности до сих пор связаны с его именем. В 1958 г. была учреждена Международная золотая медаль Ханса Кристиана Андерсена, получившая название «Малой Нобелевской премии», которая раз в два года присуждается лучшему современному автору, чаще всего ска-

---

<sup>29</sup> *Bamberger R. Jugendlektüre. Wien, 1965, s. 135.*

зочнику, а также художнику-иллюстратору. Ею награждены Астрид Линдгрен, Туве Янсон и Джанни Родари, Элеонор Фарджон, Эрих Кестнер и Джеймс Крюсс, художники Татьяна Маврина, Иб Спанг Ольсен и др. С 1967 г. по решению Международного совета по детской и юношеской литературе – 2 апреля, в день рождения Андерсена проводится Международный день детской книги.

Интерес к творениям писателя, главным образом к его сказкам, не угасает. Порой сказки Андерсена печатаются без указания имени автора и, пройдя путь из литературы в народ, становятся как бы народными.

Андерсен и его творчество постоянно в центре внимания литературоведов не только в Дании, но и за рубежом. В XX в. сказки и истории Андерсена становятся достоянием науки, поставившей их изучение на качественно новую ступень. На Западе выходит ряд интересных монографий об Андерсене, ежегодный сборник «Андерсениана», издаваемый с 1933 по 1955 г. «Обществом Ханса Кристиана Андерсена» в Дании, а с 1955 г. – Домом-музеем Ханса Кристиана Андерсена в его родном городе Оденсе.

Детальное рассмотрение существующей андерсенианы позволило бы одновременно создать историю скандинавского литературоведения, потому что творчеством Андерсена занимались представители различных литературных направлений XIX – XX вв. Ему отдали дань крупнейшие литераторы романтической ориентации, такие как Й. Л. Хейберг,

К. Хаук и П. Л. Мёллер, философ Киркегор. Статья Брандеса, заложившего основы социально-активного, критического, позитивистского литературоведения в Скандинавии, послужила началом серьезного изучения сказок Андерсена. Не случайно он сам высоко оценил работу своего земляка, считая, что тот «с таким умом и искренностью молодости» проник в самую суть его фантазии.

Классическим примером генетико-биографического метода датского литературоведения служит книга (и другие работы) Брикса, прослеживающего отзвуки родственных и личных отношений Андерсена в его сказках. В традиционно-академическом и сравнительно-историческом плане написаны исследования Рубова, Грёнбека, Бредсдорфа, Кофода. В духе юнгианской теории дается психологическое исследование интеллектуальных предпосылок самых значительных сказок Андерсена в нашумевшей психоаналитической работе Э. Нюборга<sup>30</sup>. С социально-политических позиций рассматривает сказки Андерсена Х. Рю<sup>31</sup>. Много новых публикаций появилось в связи с юбилеем Андерсена в 1975 г. (сто лет со дня смерти).

В России работ об Андерсене несравненно больше, нежели статей (не говоря уж о книгах) о других скандинавских писателях и сказочниках. Это позволяет в ряде случаев об-

---

<sup>30</sup> *Nuborg E.* Den indre linie i H. C. Andersens eventyr. København, 1962.

<sup>31</sup> *Rye H.* Andersen og Folk. Land og Folk, 1953, den. 2. april; см. также *Jørgensen C. J.* Eventyret og virkeligheden. Tiden, 1955, N 4.



ращаться к уже опубликованным исследованиям, в которых рассматриваются проблемы, оказавшиеся в поле зрения российских ученых. Прежде всего – весьма важна теоретическая проблема создания литературной сказки в творчестве Андерсена. А также вопрос об особенностях поэтики и классификации сказки, характеристики ее законов.

*Л. Брауде*

# Сказки, рассказанные детям

## Огниво

Шел солдат по дороге: раз-два! раз-два! Ранец за спиной, сабля на боку; он шел домой с войны. На дороге встретила ему старая ведьма – безобразная, противная: нижняя губа висела у нее до самой груди.

– Здорово, служивый! – сказала она. – Какая у тебя славная сабля! А ранец-то какой большой! Вот бравый солдат! Ну, сейчас ты получишь денег, сколько твоей душе угодно.

– Спасибо, старая ведьма! – сказал солдат.

– Видишь вон то старое дерево? – сказала ведьма, показывая на дерево, которое стояло неподалеку. – Оно внутри пустое. Влезь наверх, там будет дупло, ты и спустишься в него, в самый низ! А перед тем я обвяжу тебя веревкой вокруг пояса, ты мне крикни, и я тебя вытащу.

– Зачем мне туда лезть? – спросил солдат.

– За деньгами! – сказала ведьма. – Знай, что когда ты доберешься до самого низа, то увидишь большой подземный ход; в нем горит больше сотни ламп, и там совсем светло. Ты увидишь три двери; можешь отворить их, ключи торчат снаружи. Войди в первую комнату; посреди комнаты увидишь большой сундук, а на нем собаку: глаза у нее словно чайные

чашки! Но ты не бойся! Я дам тебе свой синий клетчатый передник, расстели его на полу, а сам живо подойди и схвати собаку, посади ее на передник, открой сундук и бери из него денег вволю. В этом сундуке одни медяки; захочешь серебра – ступай в другую комнату; там сидит собака с глазами как мельничные колеса! Но ты не пугайся: сажай ее на передник и бери себе денежки. А захочешь, так достанешь и золота, сколько сможешь унести; пойди только в третью комнату. Но у собаки, что сидит там на деревянном сундуке, глаза – каждый с Круглую башню. Вот это собака! Злющая-презлющая! Но ты ее не бойся: посади на мой передник, и она тебя не тронет, а ты бери себе золота, сколько хочешь!

– Оно бы недурно! – сказал солдат. – Но что ты с меня за это возьмешь, старая ведьма? Ведь что-нибудь да тебе от меня нужно?

– Я не возьму с тебя ни полушки! – сказала ведьма. – Только принеси мне старое огниво, его позабыла там моя бабушка, когда спускалась в последний раз.

– Ну, обвяжывай меня веревкой! – приказал солдат.

– Готово! – сказала ведьма. – А вот и мой синий клетчатый передник!

Солдат влез на дерево, спустился в дупло и очутился, как сказала ведьма, в большом проходе, где горели сотни ламп.

Вот он открыл первую дверь. Ох! Там сидела собака с глазами как чайные чашки и таращилась на солдата.

– Вот так молодец! – сказал солдат, посадил пса на ведь-

мин передник и набрал полный карман медных денег, потом закрыл сундук, опять посадил на него собаку и отправился в другую комнату. Ай-ай! Там сидела собака с глазами как мельничные колеса.

– Нечего тебе таращиться на меня, глаза заболят! – сказал солдат и посадил собаку на ведьмин передник. Увидев в сундуке огромную кучу серебра, он выбросил все медяки и набил оба кармана и ранец серебром. Затем солдат пошел в третью комнату. Фу-ты пропасть! У этой собаки глаза были ни дать ни взять две Круглые башни и вертелись, точно колеса.

– Мое почтение! – сказал солдат и взял под козырек. Такой собаки он еще не видывал.

Долго смотреть на нее он, впрочем, не стал, а взял да и посадил на передник и открыл сундук. Батюшки! Сколько тут было золота! Он мог бы купить на него весь Копенгаген, всех сахарных поросят у торговки сладостями, всех оловянных солдатиков, всех деревянных лошадок и все кнутики на свете! На все хватило бы! Солдат повыбросил из карманов и ранца серебряные деньги и так набил карманы, ранец, шапку и сапоги золотом, что еле-еле мог двигаться. Ну, наконец-то он был с деньгами! Собаку он опять посадил на сундук, потом захлопнул дверь, поднял голову и закричал:

– Тащи меня, старая ведьма!

– Огниво взял? – спросила ведьма.

– Ах черт, чуть не забыл! – сказал солдат, пошел и взял

огниво.

Ведьма вытащила его наверх, и он опять очутился на дорожке, только теперь и карманы его, и сапоги, и ранец, и фуражка были набиты золотом.

– Зачем тебе это огниво? – спросил солдат.

– Не твое дело! – ответила ведьма. – Получил деньги, и хватит с тебя! Ну, отдай огниво!

– Как бы не так! – сказал солдат. – Сейчас говори, зачем тебе оно, не то вытащу саблю да отрублю тебе голову.

– Не скажу! – уперлась ведьма.

Солдат взял и отрубил ей голову. Ведьма повалилась мертвая, а он завязал все деньги в ее передник, взвалил узел на спину, сунул огниво в карман и зашагал прямо в город.

Город был чудесный; солдат остановился на самом дорогом постоялом дворе, занял самые лучшие комнаты и потребовал все свои любимые блюда – теперь ведь он был богачом!

Слуга, который чистил приезжим обувь, удивился, что у такого богатого господина такие плохие сапоги, но солдат еще не успел обзавестись новыми. Зато на другой день он купил себе и хорошие сапоги и богатое платье. Теперь солдат стал настоящим баринном, и ему рассказали обо всех чудесах, какие были тут, в городе, и о короле, и о его прелестной дочери, принцессе.

– Как бы ее увидеть? – спросил солдат.

– Этого никак нельзя! – сказали ему. – Она живет в огромном медном замке, за высокими стенами с башнями. Никто,

кроме самого короля, не смеет ни войти туда, ни выйти оттуда, потому что королю предсказали, будто дочь его выйдет замуж за простого солдата, а короли этого не любят!

«Вот бы на нее поглядеть!» – подумал солдат. Да кто бы ему позволил?!

Теперь-то он зажил весело: ходил в театры, ездил кататься в Королевский сад и много помогал бедным. И хорошо делал: он ведь по себе знал, как плохо сидеть без гроша в кармане! Теперь он был богат, прекрасно одевался и приобрел очень много друзей; все они называли его славным малым, настоящим кавалером, а ему это очень нравилось. Так он все тратил да тратил деньги, а вновь-то взять было неоткуда, и осталось у него в конце концов всего-навсего две денежки! Пришлось перебраться из хороших комнат в крошечную каморку под самой крышей, самому чистить себе сапоги и даже латать их; никто из друзей не навещал его – уж очень высоко было к нему подниматься!

Раз как-то, вечером, сидел солдат в своей каморке; совсем уже стемнело, а у него не было даже денег на свечку; он и вспомнил про маленький огарочек в огниве, которое взял в подземелье, куда спускала его ведьма. Солдат достал огниво и огарок, но стоило ему ударить по кремню, как дверь распахнулась, и перед ним очутилась собака с глазами точно чайные чашки, та самая, которую он видел в подземелье.

– Что угодно, господин? – пролаяла она.

– Вот так история! – сказал солдат. – Огниво-то, выходит,

прелюбопытная вещица: я могу получить все, что захочу! Эй ты, добудь мне деньжонок! – сказал он собаке. Раз – ее уж и след простыл, два – она опять тут как тут, а в зубах у нее большой кошель, набитый медью! Тут солдат понял, что за чудное у него огниво. Ударишь по кремню раз – является собака, которая сидела на сундуке с медными деньгами; ударишь два – является та, которая сидела на серебре; ударишь три – прибегает собака, что сидела на золоте.

Солдат опять перебрался в хорошие комнаты, стал ходить в щегольском платье, и все его друзья сейчас же узнали его и ужасно полюбили.

Вот ему и приди в голову: «Как это глупо, что нельзя видеть принцессу. Такая красавица, говорят, а что толку? Ведь она век свой сидит в медном замке, за высокими стенами с башнями. Неужели мне так и не удастся поглядеть на нее хоть одним глазком? Ну-ка, где мое огниво?» И он ударил по кремню раз – в тот же миг перед ним стояла собака с глазами точно чайные чашки.

– Теперь, правда, уже ночь, – сказал солдат. – Но мне до смерти захотелось увидеть принцессу, хоть на одну минуточку!

Собака сейчас же за дверь, и не успел солдат опомниться, как она явилась с принцессой. Принцесса сидела у собаки на спине и спала. Она была чудо как хороша; всякий сразу бы увидел, что это настоящая принцесса, и солдат не утерпел и поцеловал ее, – он ведь был brave воин, настоящий солдат.

Собака отнесла принцессу назад, и за утренним чаем принцесса рассказала королю с королевой, какой она видела сегодня ночью удивительный сон про собаку и солдата: будто она ехала верхом на собаке, а солдат поцеловал ее.

– Вот так история! – сказала королева.

И на следующую ночь к постели принцессы приставили старуху фрейлину – она должна была разузнать, был ли то в самом деле сон или что другое.

А солдату опять до смерти захотелось увидеть прелестную принцессу. И вот ночью опять явилась собака, схватила принцессу и помчалась с ней во всю прыть, но старуха фрейлина надела непромокаемые сапоги и пустилась вдогонку. Увидав, что собака скрылась с принцессой в одном большом доме, фрейлина подумала: «Теперь я знаю, где их найти!» – взяла кусок мела, поставила на воротах дома крест и отправилась домой спать. Но собака, когда понесла принцессу назад, увидала этот крест, тоже взяла кусок мела и наставила крестов на всех воротах в городе. Это было ловко придумано: теперь фрейлина не могла отыскать нужные ворота – повсюду белели кресты.

Рано утром король с королевой, старуха фрейлина и все офицеры пошли посмотреть, куда это ездила принцесса ночью.

– Вот куда! – сказал король, увидев первые ворота с крестом.

– Нет, вот куда, муженек! – возразила королева, заметив



крест на других воротах.

— Да и здесь крест, и здесь! — зашумели другие, увидев кресты на всех воротах. Тут все поняли, что толку им не добиться.

Но королева была женщина умная, умела не только в каретах разъезжать. Взяла она большие золотые ножницы, изрезала на лоскутки штуку шелковой материи, сшила крошечный хорошенький мешочек, насыпала в него мелкой гречневой крупы, привязала его на спину принцессе и потом прорезала в мешочке дырочку, чтобы крупа могла сыпаться на дорогу, по которой ездила принцесса.

Ночью собака явилась опять, посадила принцессу на спину и понесла к солдату; солдат так полюбил принцессу, что начал жалеть, отчего он не принц, — так хотелось ему жениться на ней.

Собака и не заметила, что крупа сыпалась за нею по всей дороге, от самого дворца до окна солдата, куда она прыгнула с принцессой. Поутру король и королева сразу узнали, куда ездила принцесса, и солдата посадили в тюрьму.

Как там было темно и скучно! Засадили его туда и сказали: «Завтра утром тебя повесят!» Очень было невесело услышать это, а огниво свое он позабыл дома, на постоялом дворе.

Утром солдат подошел к маленькому окошку и стал смотреть сквозь железную решетку на улицу: народ толпами валил за город смотреть, как будут вешать солдата; били бара-

баны, проходили полки. Все спешили, бежали бегом. Бежал и мальчишка-сапожник в кожаном переднике и туфлях. Он мчался вприпрыжку, и одна туфля слетела у него с ноги и ударилась прямо о стену, у которой стоял солдат и глядел в окошко.

– Эй ты, куда торопишься? – сказал мальчику солдат. – Без меня ведь дело не обойдется! А вот если сбегаешь туда, где я жил, за моим огнивом, получишь четыре монеты. Только живо!

Мальчишка был не прочь получить четыре монеты, он стрелой пустился за огнивом, отдал его солдату и... А вот теперь послушаем!

За городом построили огромную виселицу, вокруг стояли солдаты и сотни тысяч народу. Король и королева сидели на роскошном троне прямо против судей и всего королевского совета.

Солдат уже стоял на лестнице, и ему собирались накинуть веревку на шею, но он сказал, что, прежде чем казнить преступника, всегда исполняют какое-нибудь его желание. А ему бы очень хотелось выкурить трубочку, – это ведь будет последняя его трубочка на этом свете!

Король не посмел отказать в этой просьбе, и солдат вытащил свое огниво. Ударил по кремню раз, два, три – и перед ним предстали все три собаки: собака с глазами как чайные чашки, собака с глазами как мельничные колеса и собака с глазами как Круглая башня.

– А ну, помогите мне избавиться от петли! – приказал солдат.

И собаки бросились на судей и на весь королевский совет: того за ноги, того за нос да кверху на несколько сажень, и все падали и разбивались вдребезги!

– Не надо! – закричал король, но самая большая собака схватила его вместе с королевой и подбросила их кверху вслед за другими. Тогда солдаты испугались, а весь народ закричал:

– Служивый, будь нашим королем и возьми за себя прекрасную принцессу!

Солдата посадили в королевскую карету, и все три собаки танцевали перед ней и кричали «ура». Мальчишки свистели, засунув пальцы в рот, солдаты отдавали честь. Принцесса вышла из своего медного замка и сделалась королевой, чем была очень довольна. Свадебный пир продолжался целую неделю; собаки тоже сидели за столом и таращили глаза.

# Маленький Клаус и Большой Клаус

В одной деревне жили два человека; обоих звали Клаусами, но у одного было четыре лошади, а у другого только одна; так вот, чтобы различить их, и стали звать того, у которого было четыре лошади, Большим Клаусом, а того, у которого одна, Маленьким Клаусом. Послушаем-ка теперь, что с ними случилось; ведь это целая история!

Всю неделю, как есть, должен был Маленький Клаус пахать на своей лошадке поле Большого Клауса. За то тот давал ему всех своих четырех, но только раз в неделю, по воскресеньям. Ух ты, как звонко щелкал кнутом Маленький Клаус над всей пятеркой, – сегодня ведь все лошадки были будто его собственные. Солнце сияло, колокола звонили к обедне, люди все были такие нарядные и шли с молитвенниками в руках в церковь послушать проповедь священника. Все они видели, что Маленький Клаус пашет на пяти лошадях, и он был очень доволен, пощелкивал кнутом и покрикивал:

– Эх вы, мои лошадушки!

– Не смей так говорить! – сказал ему как-то раз Большой Клаус. – У тебя ведь всего одна лошадь!

Но вот опять кто-нибудь проходил мимо, и Маленький Клаус забывал, что не смел говорить так, и опять покрикивал:

– Ну вы, мои лошадушки!

– Перестань сейчас же! – сказал ему наконец Большой Клаус. – Если ты скажешь это еще хоть раз, я возьму да хвачу твою лошадь по лбу. Ей тогда сразу конец придет!

– Не буду больше! – сказал Маленький Клаус. – Право же, не буду!

Да вдруг опять кто-то прошел мимо и поздоровался с ним, а он от радости, что пашет так важно на пяти лошадях, опять щелкнул кнутом и закричал:

– Ну вы, мои лошадушки!

– Вот я тебе понукаю твоих лошадушек! – сказал Большой Клаус.

Взял он обух, которым вколачивают в поле колья для привязи лошадей, и так хватил лошадь Маленького Клауса, что убил ее наповал.

– Эх, нет теперь у меня ни одной лошади! – проговорил Маленький Клаус и заплакал.

Потом он снял с лошади шкуру, высушил ее хорошенько на ветру, положил в мешок, взвалил мешок на спину и пошел в город продавать шкуру.

Идти пришлось очень далеко, через большой темный лес, а тут еще непогода разыгралась, и Маленький Клаус заблудился. Едва выбрался он на дорогу, как совсем стемнело, а до города было еще далеко, да и домой назад не близко; до ночи ни за что не добраться ни туда, ни сюда.

При дороге стоял большой крестьянский двор; ставни в доме были уже закрыты, но сквозь щели светился огонь.

«Вот тут я, верно, найду себе приют на ночь», – подумал Маленький Клаус и постучался.

Хозяйка отперла, узнала, что ему надо, и велела идти своей дорогой: мужа ее не было дома, а без него она не могла принимать гостей.

– Ну, тогда я переночую на дворе! – сказал Маленький Клаус, и хозяйка захлопнула дверь.

Возле дома стоял большой стог сена, а между стогом и домом – сарайчик с плоской соломенной крышей.

– Вон там я и улягусь! – сказал Маленький Клаус, увидев эту крышу. – Чудесная постель! Надеюсь, аист не слетит и не укусит меня за ногу!

Это он сказал потому, что на крыше дома в своем гнезде стоял живой аист.

Маленький Клаус влез на крышу сарая, растянулся на соломе и принялся ворочаться с боку на бок, стараясь улечься поудобнее. Ставни закрывали только нижнюю половину окон, и ему видна была вся горница.

А в горнице был накрыт большой стол; чего-чего только на нем не было: и вино, и жаркое, и чудеснейшая рыба; за столом сидели хозяйка и пономарь, – больше никого.

Хозяйка наливала гостю вино, а он уплетал рыбу, – он был большой до нее охотник.

«Вот бы мне присоседиться!» – подумал Маленький Клаус и, вытянув шею, заглянул в окно. Боже, какой дивный пирог он увидал! Вот так пир!

Но тут он услышал, что кто-то подъезжает к дому, – это вернулся домой хозяйкин муж. Он был очень добрый человек, но у него была странная болезнь: он терпеть не мог пономарей. Стоило ему встретить пономаря – и он приходил в бешенство. Поэтому пономарь и пришел в гости к его жене в то время, когда мужа не было дома, а добрая женщина постаралась угостить его на славу. Оба они очень испугались, услышав, что хозяин вернулся, и хозяйка попросила гостя поскорее влезть в большой пустой сундук, который стоял в углу. Пономарь послушался, – он ведь знал, что бедняга хозяин терпеть не может пономарей, – а хозяйка проворно убрала все угощение в печку: если бы муж увидел все это, он, конечно, спросил бы, кого она вздумала угощать.

– Ах! – громко вздохнул Маленький Клаус на крыше, глядя, как она прятала кушанье и вино.

– Кто там? – спросил крестьянин и вскинул глаза на Маленького Клауса. – Чего ж ты лежишь тут? Пойдем-ка лучше в горницу!

Маленький Клаус объяснил, что он заблудился и попросился ночевать.

– Ладно, – сказал крестьянин, – ночуй. Только сперва нам надо с тобой подкрепиться с дороги.

Жена приняла их обоих очень ласково, накрыла на стол и вынула из печки большой горшок каши.

Крестьянин проголодался и ел с аппетитом, а у Маленького Клауса из головы не шли жаркое, рыба и пирог, которые

были спрятаны в печке.

Под столом, у ног Маленького Клауса, лежал мешок с лошадиной шкурой, с той самой, которую он нес продавать. Каша не лезла ему в горло, и вот он придавил мешок ногой; сухая шкура громко закрипела.

– Тсс! – сказал Маленький Клаус, а сам опять наступил на мешок, и шкура закрипела еще громче.

– Что там у тебя? – спросил хозяин.

– Да это все мой колдун! – сказал Маленький Клаус. – Говорит, что не стоит нам есть кашу, – он уже наколдовал для нас полную печку всякой всячины: там и жаркое, и рыба, и пирог!

– Вот так штука! – вскричал крестьянин, мигом открыл печку и увидел там чудесные кушанья. Мы-то знаем, что их спрятала туда его жена, а он подумал, что это все колдун наколдовал!

Жена не посмела сказать ни слова и живо поставила все на стол, а муж с гостем принялись уплетать и жаркое, и рыбу, и пирог. Но вот Маленький Клаус опять наступил на мешок, и шкура закрипела.

– А что он сейчас сказал? – спросил крестьянин.

– Да вот, говорит, что наколдовал нам еще три бутылки вина, они тоже в печке, – ответил Маленький Клаус.

Пришлось хозяйке вытащить и вино. Крестьянин выпил стаканчик, другой, и ему стало так весело! Да, такого колдуна, как у Маленького Клауса, он не прочь был заполучить!



– А может он вызвать черта? – спросил крестьянин. – Вот на кого бы я посмотрел; ведь мне сейчас весело!

– Может, – сказал Маленький Клаус, – мой колдун может сделать все, чего я захочу. Правда? – спросил он у мешка, а сам наступил на него, и шкура заскрипела.

– Слышишь? Он отвечает «да». Только черт очень уж безобразный, не стоит и смотреть на него!

– Ну, я его ни капельки не боюсь. А каков он на вид?

– Да вылитый пономарь!

– Тьфу! – сплюнул крестьянин. – Вот мерзость! Надо тебе сказать, что я видеть не могу пономарей! Но все равно, я ведь знаю, что это черт, и мне будет не так противно! К тому же я сейчас набрался храбрости, это очень кстати! Только пусть он не подходит слишком близко!

– А вот я сейчас скажу колдуну! – проговорил Маленький Клаус, наступил на мешок и прислушался.

– Ну что?

– Он велит тебе пойти и открыть вон тот сундук в углу: там притаился черт. Только придерживай крышку, а то он выскочит.

– А ты помоги придержать! – сказал крестьянин и пошел к сундуку, куда жена спрятала пономаря.

Пономарь был ни жив ни мертв от страха. Крестьянин приоткрыл крышку и заглянул в сундук.

– Тьфу! Видел, видел! – закричал он и отскочил прочь. – Точь-в-точь наш пономарь! Вот гадость-то!

Такую неприятность надо было запить, и они пили до поздней ночи.

– А колдуна этого ты мне продай! – сказал крестьянин. – Проси сколько хочешь, хоть целый четверик денег!

– Нет, не могу! – сказал Маленький Клаус. – Подумай, сколько мне от него пользы!

– Продай! Мне страсть как хочется его получить! – сказал крестьянин и принялся упрашивать Маленького Клауса.

– Ну ладно, – ответил наконец Маленький Клаус, – пусть будет по-твоему! Ты со мной ласково обошелся, пустил меня ночевать, так бери моего колдуна за мерку денег, только насыпай пополнее!

– Хорошо! – сказал крестьянин. – Но ты должен взять и сундук, я и часу не хочу держать его у себя в доме. Почем знать, может, черт все еще там сидит.

Маленький Клаус отдал крестьянину свой мешок с высушенной шкурой и получил за него полную мерку денег, да еще большую тачку, чтобы было на чем везти деньги и сундук.

– Прощай! – сказал Маленький Клаус и покатил тачку с деньгами и с сундуком, в котором все еще сидел пономарь.

По ту сторону леса протекала большая глубокая река, такая быстрая, что едва можно было справиться с течением. Через реку был перекинут новый мост. Маленький Клаус встал посредине моста и сказал нарочно как можно громче, чтобы пономарь услышал:

– К чему мне этот дурацкий сундук? Он такой тяжелый, точно набит камнями! Я совсем измучусь с ним! Брошу-ка его в реку: приплывет он ко мне домой сам – ладно, а не приплывет – и не надо!

Потом он взялся за сундук одною рукою и слегка приподнял его, точно собираясь столкнуть в воду.

– Постой! – закричал из сундука пономарь. – Выпусти сначала меня!

– Ай! – вскрикнул Маленький Клаус, притворяясь, что испугался. – Он все еще тут! В воду его скорее! Пусть тонет!

– Нет, нет! Это не черт, это я! – кричал пономарь. – Выпусти меня, я тебе дам целую мерку денег!

– Вот это другое дело! – сказал Маленький Клаус и открыл сундук.

Пономарь мигом выскочил оттуда и столкнул пустой сундук в воду. Потом они пошли к пономарю, и Маленький Клаус получил еще целую мерку денег. Теперь тачка была полна деньгами.

– А ведь лошадка принесла мне недурной барыш! – сказал себе Маленький Клаус, когда пришел домой и высыпал на пол кучу денег. – Вот Большой Клаус-то разозлится, когда узнает, как я разбогател от своей единственной лошади! Только пусть не ждет, чтобы я сказал ему всю правду!

И он послал к Большому Клаусу мальчика попросить мерку, которою мерят зерно.

«На что она ему понадобилась?» – подумал Большой

Клаус и слегка смазал дно меры дегтем, — авось, мол, к нему что-нибудь да пристанет. Так оно и вышло: получив мерку назад, Большой Клаус увидел, что ко дну прилипли три новенькие серебряные монетки.

— Вот так штука! — сказал Большой Клаус и сейчас же побежал к Маленькому Клаусу.

— Откуда у тебя столько денег?

— Я продал вчера вечером шкуру своей лошади.

— С барышом продал! — сказал Большой Клаус, побежал домой, взял топор и убил всех своих четырех лошадей, снял с них шкуры и отправился в город продавать.

— Шкуры! Шкуры! Кому надо шкуры! — кричал он по улицам.

Все сапожники и кожевники сбежались к нему и стали спрашивать, сколько он просит за шкуры.

— Мерку денег за штуку! — отвечал Большой Клаус.

— Да ты в уме? — возмутились покупатели. — У нас столько денег не водится, чтобы их мерками мерить!

— Шкуры! Шкуры! Кому надо шкуры! — кричал он опять и всем, кто спрашивал, почем у него шкуры, отвечал: — Мерку денег за штуку!

— Да он нас дурачить вздумал! — закричали сапожники и кожевники, схватили кто ремни, кто кожаные передники и принялись хлестать ими Большого Клауса.

— «Шкуры! Шкуры!» — передразнивали они его. — Вот мы покажем тебе шкуры! Вон из города!

И Большой Клаус давай бог ноги! Сроду его так не коло-  
тили!

– Ну, – сказал он, добравшись до дому, – поплатится же  
мне за это Маленький Клаус! Убью его!

А у Маленького Клауса как раз умерла старая бабушка,  
она не очень-то ладила с ним, была злая и жадная, но он все-  
таки очень жалел ее и положил на ночь в свою теплую по-  
стель – авось отогреется и оживет, – а сам уселся в углу на  
стуле: ему не впервой было так ночевать.

Ночью дверь отворилась, и вошел Большой Клаус с топо-  
ром в руках. Он знал, где стоит кровать Маленького Клауса,  
подошел к ней и ударил по голове того, кто на ней лежал.  
Думал, что это Маленький Клаус, а там лежала мертвая ба-  
бушка.

– Вот тебе! Не будешь меня дурачить! – сказал Большой  
Клаус и пошел домой.

– Ну и злодей! – сказал Маленький Клаус. – Это он меня  
хотел убить! Хорошо, что бабушка-то была мертвая, а то бы  
ей не поздоровилось!

Потом он одел бабушку в праздничное платье, попросил у  
соседа лошадь, запряг ее в тележку, хорошенько усадил ста-  
руху на заднюю скамейку, чтобы она не свалилась, когда по-  
едут, и покатил с ней через лес.

Когда солнышко встало, они подъехали к большому по-  
стоялому двору. Маленький Клаус остановился и пошел  
спросить себе чего-нибудь закусить. У хозяина постоялого

двора было много-много денег, и сам он был человек очень добрый, но такой горячий, точно весь был начинен перцем и табаком.

– Здравствуй! – сказал он Маленькому Клаусу. – Чего это ты нынче спозаранку расфрантился?

– Да вот, – отвечал Маленький Клаус, – надо с бабушкой в город съездить; она там, в тележке, осталась – ни за что не хочет вылезать. Пожалуйста, отнесите ей туда стаканчик меду. Только говорите с ней погромче, она глуховата!

– Ладно! – согласился хозяин, взял большой стакан меду и понес старухе, а та сидела в тележке прямая, как палка.

– Вот, внучек прислал вам стаканчик медку! – сказал хозяин, подойдя к тележке, но старуха не ответила ни слова и даже не шевельнулась.

– Слышите? – закричал хозяин во все горло. – Ваш внук посылает вам стакан меду!

Еще раз прокричал он то же самое и еще раз, а она все не шевелилась; тогда он рассердился и запустил ей стаканом прямо в лицо, так что мед потек у нее по носу, а сама она опрокинулась навзничь. Маленький Клаус ведь не привязал ее, а просто прислонил к спинке скамейки.

– Что ты наделал? – завопил Маленький Клаус, выскочил из дверей и схватил хозяина за ворот. – Ты мою бабушку убил! Погляди, какая у нее дыра во лбу!

– Вот беда-то! – заохал хозяин, всплеснув руками. – И все это из-за моей горячности! Маленький Клаус, друг ты мой, я

тебе целую мерку денег дам и бабушку твою похороню, как свою собственную, только молчи об этом, не то мне отрубят голову, а ведь это ужасно неприятно!

И вот Маленький Клаус получил целую мерку денег, а хозяин схоронил его старую бабушку, точно свою собственную.

Маленький Клаус вернулся домой опять с целой кучей денег и сейчас же послал к Большому Клаусу мальчика попросить мерку.

– Как так? – удивился Большой Клаус. – Разве я не убил его? Надо посмотреть самому!

И он сам понес мерку Маленькому Клаусу.

– Откуда это у тебя такая куча денег? – спросил он и просто глаза вытаращил от удивления.

– Ты убил-то не меня, а мою бабушку, – сказал Маленький Клаус, – и я ее продал за мерку денег!

– С барышом продал! – сказал Большой Клаус, побежал домой, взял топор и убил свою старую бабушку, потом положил ее в тележку, приехал с ней в город к аптекарю и предложил ему купить мертвое тело.

– Чье оно и где вы его взяли? – спросил аптекарь.

– Это моя бабушка! – ответил Большой Клаус. – Я убил ее, чтобы продать за мерку денег!

– Господи помилуй! – воскликнул аптекарь. – Вы сами не знаете, что говорите! Смотрите, ведь это может стоить вам головы!

И он растолковал Большому Клаусу, что он такое наделал,

какой он дурной человек и как его за это накажут. Большой Клаус перепугался, опрометью выскочил из аптеки, сел в тележку, хлестнул лошадей и помчался домой. Аптекарь и весь народ подумали, что он сумасшедший, и потому не задержали его.

– Поплатишься же ты мне за это, поплатишься, Маленький Клаус! – сказал Большой Клаус, выехав на дорогу, и, как только добрался до дому, взял большущий мешок, пошел к Маленькому Клаусу и сказал:

– Ты опять одурачил меня? Сперва я убил своих лошадей, а теперь и бабушку! Все это по твоей милости! Но уж больше тебе меня не дурачить!

И он схватил Маленького Клауса и засунул в мешок, а мешок завязал, вскинул на спину и крикнул:

– Пойду утоплю тебя!

До реки было не близко, и Большому Клаусу становилось тяжеленько тащить Маленького. Дорога шла мимо церкви; оттуда слышались звуки органа, да и молящиеся красиво пели хором. Большой Клаус поставил мешок с Маленьким Клаусом у самых церковных дверей и подумал, что не худо было бы зайти в церковь, прослушать псалом, а потом уж идти дальше. Маленький Клаус не мог вылезти из мешка сам, а весь народ был в церкви. И вот Большой Клаус зашел в церковь.

– Ох, ох! – вздыхал Маленький Клаус, ворочаясь в мешке, но, как он ни старался, развязать мешок ему не удавалось. В



это самое время мимо проходил старый, седой как лунь пастух с большой клюкой в руках; он погонял ею стадо. Коровы и быки набежали на мешок с Маленьким Клаусом и повалили его.

– О-ох! – вздохнул Маленький Клаус. – Такой я молодой еще, а уж должен отправляться в царство небесное!

– А я, несчастный, такой старый, дряхлый и все не могу попасть туда! – сказал пастух.

– Так развяжи мешок, – закричал Маленький Клаус. – Полежай на мое место – живо попадешь туда!

– С удовольствием! – сказал пастух и развязал мешок, а Маленький Клаус мигом выскочил на волю.

– Теперь тебе смотреть за стадом! – сказал старик и влез в мешок.

Маленький Клаус завязал его и погнал стадо дальше.

Немного погодя вышел из церкви Большой Клаус, взвалил мешок на спину, и ему сразу показалось, что мешок стал гораздо легче, – Маленький Клаус весил ведь чуть не вдвое больше против старого пастуха.

«Ишь как теперь легко стало! А все оттого, что я прослушал псалом!» – подумал Большой Клаус, дошел до широкой и глубокой реки, бросил туда мешок с пастухом и, полагая, что там сидит Маленький Клаус, закричал:

– Ну вот, вперед не будешь меня дурачить!

После этого он отправился домой, но у самого перепутья встретил... Маленького Клауса с целым стадом!

– Вот тебе раз! – вскричал Большой Клаус. – Разве я не утопил тебя?

– Конечно, утопил! – сказал Маленький Клаус. – Полчаса тому назад ты бросил меня в реку!

– Так откуда же ты взял такое большое стадо? – спросил Большой Клаус.

– А это водяное стадо! – ответил Маленький Клаус. – Я расскажу тебе целую историю. Спасибо тебе, что ты утопил меня, теперь я разбогател, как видишь! А страшно мне было в мешке! Ветер так и засвистел в ушах, когда ты бросил меня в холодную воду! Я сразу пошел ко дну, но не ушибся – там внизу растет такая нежная, мягкая трава, на нее я и упал. Мешок сейчас же развязался, и прелестнейшая девушка в белом как снег платье, с венком из зелени на мокрых волосах, протянула мне руку и сказала: «А, это ты, Маленький Клаус? Ну вот, прежде всего бери это стадо, а в миле отсюда, на дороге, пасется другое, побольше, – ступай, я тебе его дарю».

Тут я увидел, что река была для водяных жителей все равно что дорога: они ездили и ходили по дну от самого озера и до того места, где реке конец. Ах, как там было хорошо! Какие цветы, какая свежая трава! А рыбки шныряли мимо моих ушей точь-в-точь как у нас здесь птицы! Что за красивые люди попадались мне навстречу и какие чудесные стада паслись у изгородей и канав!

– Почему же ты так скоро вернулся? – спросил Большой

Клаус. – Уж меня бы не выманили оттуда, если там так хорошо!

– Я ведь это неспроста сделал! – сказал Маленький Клаус. – Ты слышал, что водяная девушка велела мне отправиться за другим стадом, которое пасется на дороге всего в одной версте оттуда? Дорогой она называет реку – другой дороги они ведь там не знают, – а река так петляет, что мне пришлось бы сделать здоровый круг. Вот я и решил выбраться на сушу да пойти напрямик к тому месту, где ждет меня стадо; так я выиграю почти полмили!

– Экий счастливец! – сказал Большой Клаус. – А как ты думаешь, получу я стадо, если спущусь на дно?

– Конечно! – сказал Маленький Клаус. – Только я не могу тащить тебя в мешке до реки, ты больно тяжелый. А вот, коли хочешь, дойди сам да влезь в мешок, а я с удовольствием тебя сброшу в воду!

– Спасибо! – сказал Большой Клаус. – Но если я не получу там стада, я тебя изобью, так и знай!

– Ну-ну, не сердись! – сказал Маленький Клаус, и они пошли к реке.

Когда стадо увидело воду, оно так и бросилось к ней: скоту очень хотелось пить.

– Погляди, как они торопятся! – сказал Маленький Клаус. – Ишь, как соскучились по воде: домой, на дно, знать, захотелось!

– Но ты сперва помоги мне, а не то я тебя изобью! – сказал

Большой Клаус и влез в большой мешок, который лежал на спине у одного из быков. – Да положи мне в мешок камень, а то я, пожалуй, не пойду ко дну!

– Пойдешь! – сказал Маленький Клаус, но все-таки положил в мешок большой камень, крепко завязал мешок и толкнул его в воду. Бултых! И Большой Клаус пошел прямо ко дну.

– Ох, боюсь, не найдет он там ни коров, ни быков! – сказал Маленький Клаус и погнал свое стадо домой.

# Принцесса на горошине

Жил-был принц, и хотелось ему взять за себя тоже принцессу, только настоящую. Вот он и объездил весь свет, а такой что-то не находилось. Принцесс-то было вволю, да были ли они настоящие? До этого он никак добраться не мог; так и вернулся домой ни с чем и очень горевал, – уж очень ему хотелось достать настоящую принцессу.

Раз вечером разыгралась непогода: молния так и сверкала, гром гремел, а дождь лил как из ведра; ужас что такое!

Вдруг в городские ворота постучали, и старый король пошел отворять. У ворот стояла принцесса. Боже мой, на что она была похожа! Вода бежала с ее волос и платья прямо в носки башмаков и вытекала из пяток, а она все-таки уверяла, что она настоящая принцесса!

«Ну, уж это мы узнаем!» – подумала старая королева, но не сказала ни слова и пошла в спальню. Там она сняла с постели все тюфяки и подушки и положила на доски горошину; поверх горошины постлала двадцать тюфяков, а еще сверху двадцать пуховиков. На эту постель и уложили принцессу на ночь. Утром ее спросили, как она почивала.

– Ах, очень дурно! – сказала принцесса. – Я почти глаз не сомкнула! Бог знает что у меня была за постель! Я лежала на чем-то таком твердом, что у меня все тело теперь в синяках! Просто ужасно!

Тут-то все и увидели, что она была настоящею принцессой! Она почувствовала горошину через сорок тюфяков и пуховиков, — такую деликатною особой могла быть только настоящая принцесса.

И принц женился на ней. Теперь он знал, что берет за себя настоящую принцессу! А горошину отправили в кунсткамеру; там она и лежит, если только никто ее не украл. Знай, что история эта истинная!

# Цветы маленькой Иды

– Бедные мои цветочки совсем завяли! – сказала маленькая Ида. – Вчера вечером они были такие красивые, а теперь совсем повесили головки! Отчего это? – спросила она студента, сидевшего на диване.

Она очень любила этого студента, – он умел рассказывать чудеснейшие истории и вырезать презабавные фигурки: сердечки с крошками танцовщицами внутри, цветы и великолепные дворцы с дверями и окнами, которые можно было открывать. Большой забавник был этот студент!

– Что же с ними? – спросила она опять и показала ему свой завядший букет.

– Знаешь что? – сказал студент. – Цветы были сегодня ночью на балу, вот и повесили теперь головки!

– Да ведь цветы не танцуют! – сказала маленькая Ида.

– Танцуют! – отвечал студент. – По ночам, когда кругом темно и мы все спим, они так весело пляшут друг с другом, такие балы задают – просто чудо!

– А детям нельзя прийти к ним на бал?

– Отчего же, – сказал студент, – ведь маленькие маргаритки и ландыши тоже танцуют.

– А где танцуют самые красивые цветы? – спросила Ида.

– Ты ведь бывала за городом, там, где большой дворец, в котором летом живет король и где такой чудесный сад с

цветами? Помнишь лебедей, которые подплывали к тебе за хлебными крошками? Вот там-то и бывают настоящие балы!

– Я еще вчера была там с мамой, – сказала маленькая Ида, – но на деревьях нет больше листьев, и во всем саду ни одного цветка! Куда они все девались? Их столько было летом!

– Они все во дворце! – сказал студент. – Надо тебе сказать, что как только король и придворные переезжают в город, все цветы сейчас же убегают из сада прямо во дворец, и там у них начинается веселье! Вот бы тебе посмотреть! Две самые красивые розы садятся на трон – это король с королевой. Красные петушки гребешки становятся по обеим сторонам и кланяются – это камер-юнкеры. Потом приходят все остальные прекрасные цветы, и начинается бал. Гиацинты и крокусы изображают маленьких морских кадетов и танцуют с барышнями – голубыми фиалками, а тюльпаны и большие желтые лилии – это пожилые дамы, они наблюдают за танцами и вообще за порядком.

– А цветочкам не может достаться за то, что они танцуют в королевском дворце? – спросила маленькая Ида.

– Да ведь никто же не знает об этом! – сказал студент. – Правда, ночью заглянет иной раз во дворец старик смотритель с большою связкою ключей в руках, но цветы, как только слышат звяканье ключей, сейчас присмирят, спрячутся за длинные занавески, которые висят на окнах, и только чуть-чуть выглядывают оттуда одним глазом. «Тут что-



то пахнет цветами!» – бормочет старик смотритель, а видеть ничего не видит.

– Вот забавно! – сказала маленькая Ида и даже в ладоши захлопала. – И я тоже не могу их увидеть?

– Можешь, – сказал студент. – Стоит только, как опять пойдешь туда, заглянуть в окошки. Вот я сегодня видел там длинную желтую лилию; она лежала и потягивалась на диване – воображала себя придворной дамой.

– А цветы из Ботанического сада тоже могут прийти туда? Ведь это далеко!

– Не бойся, – сказал студент, – они могут летать, когда захотят! Ты видела красивых красных, желтых и белых бабочек, похожих на цветы? Они ведь и были прежде цветами, только прыгнули со своих стебельков высоко в воздух, забили лепестками, точно крылышками, и полетели. Они вели себя хорошо, за то и получили позволение летать и днем; другие должны сидеть смирно на своих стебельках, а они летают, и лепестки их стали наконец настоящими крылышками. Ты сама видела их! А впрочем, может быть, цветы из Ботанического сада и не бывают в королевском дворце! Может быть, они даже и не знают, что там идет по ночам такое веселье. Вот что я скажу тебе: то-то удивится потом профессор ботаники – ты ведь его знаешь, он живет тут рядом! – когда придешь в его сад, расскажи какому-нибудь цветочку про большие балы в королевском дворце. Тот расскажет об этом остальным, и они все убегут. Профессор придет в сад,

а там ни единого цветочка, и он в толк не возьмет, куда они девались!

– Да как же цветок расскажет другим? У цветов нет языка!

– Конечно, нет, – сказал студент, – зато они умеют объясняться знаками! Ты сама видела, как они качаются и шевелят своими зелеными листочками, чуть подует ветерок. Это у них так мило выходит – точно они разговаривают!

– А профессор понимает их знаки? – спросила маленькая Ида.

– Как же! Раз утром он пришел в свой сад и видит, что большая крапива делает листочками знаки прелестной красной гвоздике; этим она хотела сказать гвоздике: «Ты так мила, я очень тебя люблю!» Профессору это не понравилось, и он сейчас же ударил крапиву по листьям – листья у крапивы все равно что пальцы, – да обжегся! С тех пор и не смеет ее трогать.

– Вот забавно! – сказала Ида и засмеялась.

– Ну можно ли набивать ребенку голову такими бреднями? – сказал скучный советник, который тоже пришел в гости и сидел на диване.

Он терпеть не мог студента и вечно ворчал на него, особенно когда тот вырезывал затейливые, забавные фигурки, вроде человека на виселице и с сердцем в руках – его повесили за то, что он воровал сердца, – или старой ведьмы на помеле, с мужем на носу. Все это очень не нравилось советнику, и он всегда повторял:

– Ну можно ли набивать ребенку голову такими бреднями? Глупые выдумки!

Но Иду очень позабавил рассказ студента о цветах, и она думала об этом целый день.

«Так цветочки повесили головки потому, что устали после бала!» И маленькая Ида пошла к своему столику, где стояли все ее игрушки; ящик столика тоже битком был набит разным добром. Кукла Софи лежала в своей кроватке и спала, но Ида сказала ей:

– Тебе придется встать, Софи, и полежать эту ночь в ящике: бедные цветы больны, их надо положить в твою постельку, – может быть, они и выздоровеют!

И она вынула куклу из кровати. Софи посмотрела на Иду очень недовольно и не сказала ни слова, – она рассердилась за то, что у нее отняли постель.

Ида уложила цветы, укрыла их хорошенько одеялом и велела им лежать смирно, за это она обещала напоить их чаем, и тогда они встали бы завтра утром совсем здоровыми! Потом она задернула полог, чтобы солнце не светило цветам в глаза.

Рассказ студента не шел у нее из головы, и, собираясь идти спать, Ида не могла удержаться, чтобы не заглянуть за спущенные на ночь оконные занавески; на окошках стояли чудесные мамины цветы – тюльпаны и гиацинты, и маленькая Ида шепнула им:

– Я знаю, что у вас ночью будет бал!

Цветы стояли, как ни в чем не бывало, и даже не шелохнулись, ну да маленькая Ида что знала, то знала.

В постели Ида долго еще думала о том же и все представляла себе, как это должно быть мило, когда цветочки танцуют! «Неужели и мои цветы были на балу во дворце?» – подумала она и заснула.

Но посреди ночи маленькая Ида вдруг проснулась; она видела сейчас во сне цветы, студента и советника, который бранил студента за то, что тот набивает ей голову пустяками. В комнате, где лежала Ида, было тихо, на столе горел ночник, и папа с мамой крепко спали.

– Хотелось бы мне знать: спят ли мои цветы в постельке? – сказала маленькая Ида про себя и приподнялась с подушки, чтобы посмотреть в полуоткрытую дверь, за которой были ее игрушки и цветы; потом она прислушалась, – ей показалось, что в той комнате играют на фортепьяно, но очень тихо и нежно; такой музыки она никогда еще не слыхала.

– Это, верно, цветы танцуют! – сказала Ида. – Господи, как бы мне хотелось посмотреть!

Но она не смела встать с постели, чтобы не разбудить папу с мамой.

– Хоть бы цветы вошли сюда! – сказала она.

Но цветы не входили, а музыка все продолжалась, такая тихая, нежная, просто чудо! Тогда Идочка не выдержала, потихоньку вылезла из кровати, прокралась на цыпочках к дверям и заглянула в соседнюю комнату. Что за прелесть бы-

ла там!

В той комнате не горело ночника, а было все-таки светло, как днем, от месяца, глядевшего из окошка прямо на пол, где в два ряда стояли тюльпаны и гиацинты; на окнах не осталось ни единого цветка – одни горшки с землей. Цветы очень мило танцевали: они то становились в круг, то, взявшись за длинные зеленые листочки, точно за руки, кружились парами. На фортепьяно играла большая желтая лилия – это, наверное, ее маленькая Ида видела летом! Она хорошо помнила, как студент сказал: «Ах, как она похожа на фрекен Лину!» Все посмеялись тогда над ним, но теперь Иде и в самом деле показалось, будто длинная желтая лилия похожа на Лину; она и на рояле играла так же, как Лина: поворачивала свое продолговатое лицо то в одну сторону, то в другую и кивала в такт чудесной музыке. Никто не заметил Иды.

Вдруг маленькая Ида увидела, что большой голубой крокус вскочил прямо на середину стола с игрушками, подошел к кукольной кровати и отдернул полог; там лежали больные цветы, но они живо поднялись и кивнули головками, давая знать, что и они тоже хотят танцевать. Старый Курилка со сломанной нижней губой встал и поклонился прекрасным цветам; они совсем не были похожи на больных – прыгнули со стола и принялись веселиться вместе со всеми.

В эту минуту что-то стукнуло, как будто что-то упало на пол. Ида посмотрела в ту сторону – это была масленичная верба: она тоже прыгнула со стола к цветам, считая, что она

им сродни. Вербка тоже была мила; ее украшали бумажные цветы, а на верхушке сидела восковая куколка в широкополой черной шляпе, точь-в-точь такой, как у советника. Вербка прыгала посреди цветов и громко топала своими тремя красными деревянными ходульками, — она танцевала мазурку, а другим цветам этот танец не удавался, потому что они были слишком легки и не могли топать.

Но вот восковая кукла на вербе вдруг вытянулась, завертелась над бумажными цветами и громко закричала:

— Ну можно ли набивать ребенку голову такими бреднями? Глупые выдумки!

Теперь кукла была точь-в-точь советник, в черной широкополой шляпе, такая же желтая и сердитая! Но бумажные цветы ударили ее по тонким ножкам, и она опять съежилась в маленькую восковую куколку. Это было так забавно, что Ида не могла удержаться от смеха.

Вербка продолжала плясать, и советнику волей-неволей приходилось плясать вместе с нею, все равно — вытягивался ли он во всю длину, или оставался маленькою восковою куколкой в черной широкополой шляпе. Наконец уж цветы, особенно те, что лежали в кукольной кровати, стали просить за него, и вербка оставила его в покое. Вдруг что-то громко застучало в ящике, где лежала кукла Софи и другие игрушки. Курилка побежал по краю стола, лег на живот и приотворил ящик. Софи встала и удивленно огляделась.

— Да у вас, оказывается, бал! — проговорила она. — Что же

это мне не сказали?

– Хочешь танцевать со мной? – спросил Курилка.

– Хорош кавалер! – сказала Софи и повернулась к нему спиной; потом уселась на ящик и стала ждать – авось ее пригласит кто-нибудь из цветов, но никто и не думал ее приглашать. Она громко кашлянула, но и тут никто не подошел к ней. Курилка плясал один, и очень недурно!

Видя, что цветы и не глядят на нее, Софи вдруг свалилась с ящика на пол и наделала такого шума, что все сбежались к ней и стали спрашивать, не ушиблась ли она? Все разговаривали с нею очень ласково, особенно те цветы, которые только что спали в ее кроватке; Софи несколько не ушиблась, и цветы маленькой Иды стали благодарить ее за чудесную постельку, потом увели с собой в лунный кружок на полу и принялись танцевать с ней, а другие цветы кружились вокруг них. Теперь Софи была очень довольна и сказала цветочкам, что охотно уступает им свою кроватку, – ей хорошо и в ящике!

– Спасибо! – сказали цветы. – Но мы не можем жить так долго! Утром мы совсем умрем! Скажи только маленькой Иде, чтобы она схоронила нас в саду, где зарыта канарейка; летом мы опять вырастем и будем еще красивее!

– Нет, вы не должны умирать! – сказала Софи и поцеловала цветы. В это время дверь отворилась, и в комнату вошла целая толпа цветов. Ида никак не могла понять, откуда они взялись, – должно быть, из королевского дворца. Впереди

шли две прелестные розы с маленькими золотыми коронами на головах – это были король с королевой. За ними, раскладываясь во все стороны, шли чудесные левкой и гвоздики. Музыканты – крупные маки и пионы – дули в шелуху от горошка и совсем покраснели от натуги, а маленькие голубые колокольчики и беленькие подснежники звенели, точно на них были надеты бубенчики. Вот была забавная музыка! Затем шла целая толпа других цветов, и все они танцевали – и голубые фиалки, и красные ноготки, и маргаритки, и ландыши. Цветы так мило танцевали и целовались, что просто загляденье!

Наконец все пожелали друг другу спокойной ночи, а маленькая Ида тихонько пробралась в свою кроватку, и ей всю ночь снились цветы и все, что она видела.

Утром она встала и побежала к своему столику посмотреть, там ли ее цветочки. Она отдернула полог – да, они лежали в кроватке, но совсем, совсем завяли! Софи тоже лежала на своем месте в ящике и выглядела совсем сонной.

– А ты помнишь, что тебе надо передать мне? – спросила ее Ида.

Но Софи глупо смотрела на нее и не раскрывала рта.

– Какая же ты нехорошая! – сказала Ида. – А они еще танцевали с тобой!

Потом она взяла картонную коробочку с нарисованною на крышке хорошенькою птичкой, открыла коробочку и положила туда мертвые цветы.



– Вот вам и гробик! – сказала она. – А когда придут мои норвежские кузены, мы вас зароем в саду, чтобы на будущее лето вы выросли еще красивее!

Йонас и Адольф, норвежские кузены, были бойкие мальчуганы; отец подарил им по новому луку, и они пришли показать их Иде. Она рассказала им про бедные умершие цветы и позволила помочь их похоронить. Мальчики шли впереди с луками на плечах; за ними маленькая Ида с мертвыми цветами в коробке. Вырыли в саду могилу, Ида поцеловала цветы и опустила коробку в яму, а Йонас с Адольфом выстрелили над могилкой из луков, – ни ружей, ни пушек у них ведь не было.

# Дюймовочка

Жила-была женщина; очень ей хотелось иметь ребенка, да где его взять? И вот она отправилась к одной старой колдунье и сказала ей:

– Мне так хочется иметь ребеночка; не скажешь ли ты, где мне его достать?

– Отчего же! – сказала колдунья. – Вот тебе ячменное зерно; это не простое зерно, не из тех, что крестьяне сеют в поле или бросают курам; посади-ка его в цветочный горшок – увидишь, что будет!

– Спасибо! – сказала женщина и дала колдунье двенадцать скиллингов; потом пошла домой, посадила ячменное зерно в цветочный горшок, и вдруг из него вырос большой чудесный цветок вроде тюльпана, но лепестки его были еще плотно сжаты, точно у нераспустившегося бутона.

– Какой славный цветок! – сказала женщина и поцеловала красивые пестрые лепестки.

Что-то щелкнуло, и цветок распустился совсем. Это был точьв-точь тюльпан, но в самой чашечке на зеленом стульчике сидела крошечная девочка. Она была такая нежная, маленькая, всего с дюйм ростом, ее и прозвали Дюймовочкой.

Блестящая лакированная скорлупка грецкого ореха была ее колыбелькою, голубые фиалки – матрацем, а лепесток розы – одеяльцем; в эту колыбельку ее укладывали на ночь,

а днем она играла на столе. На стол женщина поставила тарелку с водою, а на края тарелки положила венок из цветов; длинные стебли цветов купались в воде, у самого же края плавал большой лепесток тюльпана. На нем Дюймовочка могла переправляться с одной стороны тарелки на другую, вместо весел у нее были два белых конских волоса. Все это было прелесть как мило! Дюймовочка умела и петь, и такого нежного, красивого голоса никто еще не слыхивал!

Раз ночью, когда она лежала в своей колыбельке, через разбитое оконное стекло пролезла большущая жаба, мокрая, безобразная! Она вспрыгнула прямо на стол, где спала под розовым лепестком Дюймовочка.

– Вот и жена моему сынку! – сказала жаба, взяла ореховую скорлупу с девочкой и выпрыгнула через окно в сад.

Там протекала большая, широкая река; у самого берега было топко и вязко; здесь-то, в тине, и жила жаба с сыном. У! Какой он был тоже гадкий, противный! Точь-в-точь мамаша.

– Коакс, коакс, брекке-ке-кекс! – только и мог он сказать, когда увидал прелестную крошку в ореховой скорлупке.

– Тише ты! Она еще проснется, пожалуй, да убежит от нас, – сказала старуха жаба. – Она ведь легче лебединого пуха! Высадим-ка ее посредине реки на широкий лист кувшинки – это ведь целый остров для такой крошки, оттуда она не сбежит, а мы пока приберем там, внизу, наше гнездышко. Вам ведь в нем жить да поживать.

В реке росло множество кувшинок; их широкие зеленые

листья плавали по поверхности воды. Самый большой лист был всего дальше от берега; к этому-то листу подплыла жаба и поставила туда ореховую скорлупу с девочкой.

Бедная крошка проснулась рано утром, увидала, куда она попала, и горько заплакала: со всех сторон была вода, и ей никак нельзя было перебраться на сушу!

А старая жаба сидела внизу, в тине, и убирала свое жилище тростником и желтыми кувшинками – надо же было приукрасить все для молодой невестки! Потом она поплыла со своим безобразным сынком к листу, где сидела Дюймовочка, чтобы взять прежде всего ее хорошенькую кроватку и поставить в спальне невесты. Старая жаба очень низко присела в воде перед девочкой и сказала:

– Вот мой сынок, твой будущий муж! Вы славно заживете с ним у нас в тине.

– Коакс, коакс, брекке-ке-кекс! – только и мог сказать сынок.

Они взяли хорошенькую кроватку и уплыли с ней, а девочка осталась одна-одинешенька на зеленом листе и горько-горько плакала, – ей вовсе не хотелось жить у гадкой жабы и выйти замуж за ее противного сына. Маленькие рыбки, которые плавали под водой, верно, видели жабу с сынком и слышали, что она говорила, потому что все повысунули из воды головки, чтобы поглядеть на крошку невесту. А как они увидели ее, им стало ужасно жалко, что такой миленькой девочке приходится идти жить к старой жабе в тину. Не бывать

этому! Рыбки столпились внизу, у стебля, на котором держался лист, и живо перегрызли его своими зубами; листок с девочкой поплыл по течению, дальше, дальше... Теперь уж жабе ни за что было не догнать крошку!

Дюймовочка плыла мимо разных прелестных местечек, и маленькие птички, которые сидели в кустах, увидав ее, пели: – Какая хорошенькая девочка!

А листок все плыл да плыл, и вот Дюймовочка попала за границу.

Красивый белый мотылек все время порхал вокруг нее и наконец уселся на листок – уж очень ему понравилась Дюймовочка! А она ужасно радовалась: гадкая жаба не могла теперь догнать ее, а вокруг все было так красиво! Солнце так и горело золотом на воде! Дюймовочка сняла с себя пояс, одним концом обвязала мотылька, а другой привязала к своему листку, и листок поплыл еще быстрее.

Мимо летел майский жук, увидел девочку, обхватил ее за тонкую талию лапкой и унес на дерево, а зеленый листок поплыл дальше, и с ним мотылек – он ведь был привязан и не мог освободиться.

Ах, как перепугалась бедняжка, когда жук схватил ее и полетел с ней на дерево! Особенно ей жаль было хорошенького мотылька, которого она привязала к листку: ему придется теперь умереть с голоду, если не удастся освободиться. Но майскому жуку и горя было мало.

Он уселся с крошкой на самый большой зеленый лист, по-

кормил ее сладким цветочным соком и сказал, что она прелесть какая хорошенькая, хоть и совсем не похожа на майского жука.

Потом к ним пришли с визитом другие майские жуки, которые жили на том же дереве. Они оглядывали девочку с головы до ног, и жучки-барышни шевелили усиками и говорили:

– У нее только две ножки! Жалко смотреть!

– У нее нет усиков!

– Какая у нее тонкая талия! Фи! Она совсем как человек!

Как некрасиво! – сказали в один голос все жуки женского пола.

Дюймовочка была премиленькая! Майскому жуку, который принес ее, она тоже очень понравилась сначала, а тут вдруг и он нашел, что она безобразна, и не захотел больше держать ее у себя – пусть идет куда знает. Он слетел с нею с дерева и посадил на ромашку. Тут девочка принялась плакать о том, что она такая безобразная: даже майские жуки не захотели держать ее у себя! А на самом-то деле она была прелестнейшим созданием: нежная, ясная, точно лепесток розы.

Целое лето прожила Дюймовочка одна-одинешенька в лесу. Она сплела себе колыбельку и подвесила ее под большой лопушиный лист – там дождик не мог достать ее. Ела крошка сладкую цветочную пыльцу, а пила росу, которую каждое утро находила на листочках. Так прошли лето и осень; но

вот дело пошло к зиме, длинной холодной зиме. Все певуны птички разлетелись, кусты и цветы увяли, большой лопушиный лист, под которым жила Дюймовочка, пожелтел, весь задох и свернулся в трубочку. Сама крошка мерзла от холода: платьице ее все разорвалось, а она была такая маленькая, нежная – замерзай, да и все тут! Пошел снег, и каждая снежинка была для нее то же, что для нас целая лопата снега; мы ведь большие, а она была всего-то с дюйм! Она завернулась было в сухой лист, но он совсем не грел, и бедняжка сама дрожала как лист.

Возле леса, куда она попала, лежало большое поле; хлеб давно был убран, одни голые, сухие стебельки торчали из мерзлой земли; для Дюймовочки это был целый лес. Ух! Как она дрожала от холода! И вот пришла бедняжка к дверям полевой мыши; дверью была маленькая дырочка, прикрытая сухими стебельками и былинками. Полевая мышь жила в тепле и довольстве: все амбары были битком набиты хлебными зернами; кухня и кладовая ломились от припасов! Дюймовочка стала у порога, как нищенка, и попросила подать ей кусочек ячменного зерна – она два дня ничего не ела!

– Ах ты, бедняжка! – сказала полевая мышь: она была, в сущности, добрая старуха. – Ступай сюда, погрейся да поешь со мною!

Девочка понравилась мыши, и мышь сказала:

– Ты можешь жить у меня всю зиму, только убирай хорошенько мои комнаты да рассказывай мне сказки – я до них

большая охотница.

И Дюймовочка стала делать все, что приказывала ей мышь, и зажила отлично.

– Скоро, пожалуй, у нас будут гости, – сказала как-то полевая мышь. – Мой сосед обычно навещает меня раз в неделю. Он живет еще куда лучше меня: у него огромные залы, а ходит он в чудесной бархатной шубке. Вот если бы тебе удалось выйти за него замуж! Ты бы зажила на славу! Беда только, что он слеп и не может видеть тебя; но ты расскажи ему самые лучшие сказки, какие только знаешь.

Но девочке мало было дела до всего этого: ей вовсе не хотелось выйти замуж за соседа – ведь это был крот. Он в самом деле скоро пришел в гости к полевой мыши. Правда, он носил черную бархатную шубку, был очень богат и учен; по словам полевой мыши, помещение у него было раз в двадцать просторнее, чем у нее, но он совсем не любил ни солнца, ни прекрасных цветов и отзывался о них очень дурно – он ведь никогда не видел их. Девочке пришлось петь, и она спела две песенки: «Майский жук, лети, лети» и «Бродит по лугам монах», да так мило, что крот прямо-таки в нее влюбился. Но он не сказал ни слова – он был такой степенный и солидный господин.

Крот недавно прорыл под землей длинную галерею от своего жилья к дверям полевой мыши и позволил мыши и девочке гулять по этой галерее сколько угодно. Крот просил только не пугаться мертвой птицы, которая лежала там. Это



была настоящая птица, с перьями, с клювом; она, должно быть, умерла недавно, в начале зимы, и была зарыта в землю как раз там, где крот прорыл свою галерею.

Крот взял в рот гнилушку – в темноте это ведь все равно что свечка, – и пошел вперед, освещая длинную темную галерею. Когда они дошли до места, где лежала мертвая птица, крот проткнул своим широким носом в земляном потолке дыру, и в галерею пробрался дневной свет. В самой середине галереи лежала мертвая ласточка; хорошенькие крылья были крепко прижаты к телу, лапки и головка спрятаны в перышки; бедная птичка, верно, умерла от холода. Девочке стало ужасно жаль ее, она очень любила этих милых птичек, которые целое лето так чудесно пели ей песенки, но крот толкнул птичку своей короткой лапой и сказал:

– Небось не свистит больше! Вот горькая участь родиться пичужкой! Слава Богу, что моим детям нечего бояться этого! Этакая птичка только и умеет что чирикать – поневоле замерзнешь зимой!

– Да, да, правда ваша, умные слова приятно слышать, – сказала полевая мышь. – Какой прок от этого чириканья? Что оно приносит птице? Холод и голод зимой? Много, нечего сказать!

Дюймовочка не сказала ничего, но, когда крот с мышью повернулись к птице спиной, нагнулась к ней, раздвинула перышки и поцеловала ее прямо в закрытые глазки. «Может быть, это та самая, что так чудесно распевала летом! – поду-

мала девочка. — Сколько радости доставила ты мне, милая, хорошая птичка!»

Крот опять заткнул дыру в потолке и проводил дам обратно. Но девочке не спалось ночью. Она встала с постели, сплела из сухих былинки большой славный ковер, снесла его в галерею и завернула в него мертвую птичку; потом отыскала у полевой мыши пуху и обложила им всю ласточку, чтобы ей было потеплее лежать на холодной земле.

— Прощай, миленькая птичка, — сказала Дюймовочка. — Прощай! Спасибо тебе за то, что ты так чудесно пела мне летом, когда все деревья были такие зеленые, а солнышко так славно грело!

И она склонила голову на грудь птички, но вдруг испугалась — внутри что-то застучало. Это забилося сердечко птички: она не умерла, а только окоченела от холода, теперь же согрелась и ожила.

Осенью ласточки улетают в теплые края, а если которая запоздает, то от холода окоченеет, упадет замертво на землю, и ее засыплет холодным снегом.

Девочка вся задрожала от испуга — птица ведь была в сравнении с крошкой просто великаном, — но все-таки собралась с духом, еще больше закутала ласточку, потом сбегала принесла листок мяты, которым закрывалась вместо одеяла сама, и покрыла им голову птички.

На следующую ночь Дюймовочка опять потихоньку пробралась к ласточке. Птичка совсем уже ожила, только была

еще очень слаба и еле-еле открыла глаза, чтобы посмотреть на девочку, которая стояла перед нею с кусочком гнилушки в руках – другого фонаря у нее не было.

– Благодарю тебя, милая крошка! – сказала больная ласточка. – Я так славно согрелась. Скоро я совсем поправлюсь и опять вылечу на солнышко.

– Ах, – сказала девочка, – теперь так холодно, идет снег! Останься лучше в своей теплой постельке, я буду ухаживать за тобой.

И Дюймовочка принесла птичке воды в цветочном лепестке. Ласточка попила и рассказала девочке, как поранила себе крыло о терновый куст и потому не могла улететь вместе с другими ласточками в теплые края, как упала на землю и... Да больше она уж ничего не помнила и как попала сюда – не знала.

Всю зиму прожила тут ласточка, и Дюймовочка ухаживала за ней. Ни крот, ни полевая мышь ничего не знали об этом – они ведь совсем не любили птичек.

Когда настала весна и пригрело солнышко, ласточка распрощалась с девочкой, и Дюймовочка ототкнула дыру, которую проделал крот.

Солнце так славно грело, и ласточка спросила, не хочет ли девочка отправиться вместе с ней, – пускай сядет к ней на спину, и они полетят в зеленый лес! Но Дюймовочка не захотела бросить полевую мышь – она ведь знала, что старуха очень огорчится.

– Нет, нельзя! – сказала девочка ласточке.

– Прощай, прощай, милая добрая крошка! – сказала ласточка и вылетела на солнышко.

Дюймовочка посмотрела ей вслед, и у нее даже слезы навернулись на глазах, – уж очень полюбила ее бедная птичка.

– Кви-вить, кви-вить! – прощепетала птичка и скрылась в зеленом лесу.

Девочке было очень грустно. Ей совсем не позволяли выходить на солнышко, а хлебное поле так все заросло высокими толстыми колосьями, что стало для бедной крошки дремучим лесом.

– Летом тебе придется готовить себе приданое! – сказала ей полевая мышь.

Оказалось, что скучный сосед в бархатной шубе посватался за девочку.

– Надо, чтобы у тебя всего было вдоволь, а там выйдешь замуж за крота и подавно ни в чем нуждаться не будешь!

И девочке пришлось прясть по целым дням, а старуха мышь наняла четырех пауков для тканья, и они работали день и ночь.

Каждый вечер крот приходил к полевой мыши в гости и все только и болтал о том, что вот скоро лету будет конец, солнце перестанет так палить землю, – а то она совсем уж как камень стала, – и тогда они сыграют свадьбу. Но девочка была совсем не рада: ей не нравился скучный крот. Каждое

утро на восходе солнышка и каждый вечер на закате Дюймовочка выходила на порог мышиной норки; иногда ветер раздвигал верхушки колосьев, и ей удавалось увидеть кусочек голубого неба. «Как светло, как хорошо там, на воле!» — думала девочка и вспоминала о ласточке; ей очень хотелось бы повидаться с птичкой, но ласточки нигде не было видно; должно быть, она летала там, далеко-далеко, в зеленом лесу!

К осени Дюймовочка приготовила все свое приданое.

— Через месяц твоя свадьба! — сказала девочке полевая мышь.

Но крошка заплакала и сказала, что не хочет выходить замуж за скучного крота.

— Пустяки! — сказала старуха мышь. — Только не капризничай, а то я укушу тебя — видишь, какой у меня белый зуб? У тебя будет чудеснейший муж. У самой королевы нет такой бархатной шубки, как у него! Да и в кухне и в погребе у него не пусто! Благодарите Бога за такого мужа!

Наступил день свадьбы. Крот пришел за девочкой. Теперь ей приходилось идти за ним в его нору, жить там, глубоко-глубоко под землей, и никогда не выходить на солнце, — крот ведь терпеть его не мог! А бедной крошке было так тяжело навсегда распрощаться с красным солнышком! У полевой мыши она все-таки могла хоть изредка любоваться на него.

И Дюймовочка вышла взглянуть на солнце в последний раз. Хлеб был уже убран с поля, и из земли опять торчали

одни голые, засохшие стебли. Девочка отошла от дверей подальше и протянула к солнцу руки:

– Прощай, ясное солнышко, прощай!

Потом она обняла ручонками маленький красный цветок, который рос тут, и сказала ему:

– Кланяйся от меня милой ласточке, если увидишь ее!

– Кви-вить, кви-вить! – вдруг раздалось над ее головой.

Дюймовочка подняла глаза и увидела ласточку, которая пролетала мимо. Ласточка тоже увидела девочку и очень обрадовалась, а девочка заплакала и рассказала ласточке, как ей не хочется выходить замуж за противного крота и жить с ним глубоко под землей, куда никогда не заглянет солнышко.

– Скоро придет холодная зима, – сказала ласточка, – и я улетаю далеко-далеко, в теплые края. Хочешь лететь со мной? Ты можешь сесть ко мне на спину – только привяжи себя покрепче поясом, – и мы улетим с тобой далеко от гадкого крота, далеко за синие моря, в теплые края, где солнышко светит ярче, где всегда лето и цветут чудные цветы! Полетим со мной, милая крошка! Ты ведь спасла мне жизнь, когда я замерзала в темной, холодной яме.

– Да, да, я полечу с тобой! – сказала Дюймовочка, села птичке на спину, уперлась ножками в ее распростертые крылья и крепко привязала себя поясом к самому большому перу.

Ласточка взвилась стрелой и полетела над темными лесами, над синими морями и высокими горами, покрытыми

снегом. Тут было страсть как холодно; Дюймовочка вся зарылась в теплые перья ласточки и только головку высунула, чтобы любоваться всеми прелестями, которые встречались в пути.

Но вот и теплые края! Тут солнце сияло уже гораздо ярче, небо стояло выше, а около канав и изгородей рос зеленый и черный виноград. В лесах зрели лимоны и апельсины, пахло миртами и душистой мятой, а по дорожкам бегали прелестные ребятишки и ловили больших пестрых бабочек. Но ласточка летела все дальше и дальше, и чем дальше, тем было все лучше. На берегу красивого голубого озера, посреди зеленых кудрявых деревьев, стоял старинный белый мраморный дворец. Виноградные лозы обвивали его высокие колонны, а наверху, под крышей, лепились ласточкины гнезда. В одном из них и жила ласточка, что принесла Дюймовочку.

– Вот мой дом! – сказала ласточка. – А ты выбери себе внизу какой-нибудь красивый цветок, я тебя посажу в него, и ты чудесно заживешь!

– Вот было бы хорошо! – сказала крошка и захлопала в ладоши.

Внизу лежали большие куски мрамора – это свалилась верхушка одной колонны и разбилась на три куска, между ними росли крупные белые цветы. Ласточка спустилась и посадила девочку на один из широких лепестков. Но вот диво! В самой чашечке цветка сидел маленький человечек, беленький и прозрачный, точно хрустальный. На голове у него си-

яла прелестная золотая корона, за плечами развевались блестящие крылышки, а сам он был не больше Дюймовочки.

Это был эльф. В каждом цветке живет эльф, мальчик или девочка, а тот, который сидел рядом с Дюймовочкой, был сам король эльфов.

– Ах, как он хорош! – шепнула Дюймовочка ласточке.

Маленький король совсем перепугался при виде ласточки.

Он был такой крошечный, нежный, и она показалась ему просто чудовищем. Зато он очень обрадовался, увидав нашу крошку, – он никогда еще не видывал такой хорошенькой девочки! И он снял свою золотую корону, надел ее Дюймовочке на голову и спросил, как ее зовут и хочет ли она быть его женой, королевой эльфов и царицей цветов? Вот это муж так муж! Не то что сын жабы или крот в бархатной шубе! И девочка согласилась. Тогда из каждого цветка вылетели эльфы – мальчики и девочки, – такие хорошенькие, что просто прелесть! Все они поднесли Дюймовочке подарки. Самым лучшим была пара прозрачных стрекозиных крылышек. Их прикрепили к спинке девочки, и она тоже могла теперь летать с цветка на цветок! Вот-то была радость! А ласточка сидела наверху, в своем гнездышке, и пела им, как только умела. Но самой ей было очень грустно: она крепко полюбила девочку и хотела бы век не расставаться с ней.

– Тебя больше не будут звать Дюймовочкой! – сказал эльф. – Это некрасивое имя, а ты такая хорошенькая! Мы



будем звать тебя Майей!

– Прощай, прощай! – прощобетала ласточка и опять полетела из теплых краев далеко, далеко – в Данию. Там у нее было маленькое гнездо, как раз над окном человека, большого мастера рассказывать сказки. Ему-то она и спела свое «кви-вить, кви-вить», а потом и мы узнали эту историю.

# Скверный мальчишка

Жил-был старый поэт, настоящий хороший поэт и очень добрый. Раз вечером сидел он дома, а на дворе разыгралась непогода. Дождь лил как из ведра, но старому поэту было так уютно и тепло возле кафельной печки, где ярко горел огонь и, весело шипя, пеклись яблоки.

– Плохо попасть в такую непогоду – нитки сухой не останется! – сказал он.

Он был очень добрый.

– Впустите, впустите меня! Я озяб и весь промок! – закричал вдруг за дверями ребенок.

Он плакал и стучал в дверь, а дождь так и лил, ветер так и бился в окна.

– Бедняжка! – сказал старый поэт и пошел отворять двери.

За дверями стоял маленький мальчик, совсем голенький. С его длинных золотистых волос стекала вода, он дрожал от холода; если бы его не пустили, он бы, наверное, погиб.

– Бедняжка! – сказал старый поэт и взял его за руку. – Пойдем ко мне, я обогрею тебя, дам тебе винца и яблоко; ты такой хорошенький мальчуган!

Он и в самом деле был прехорошенький. Глаза у него сияли, как две ярких звезды, а мокрые золотистые волосы вились кудрями – ну, совсем ангелочек! – хоть он весь и поси-  
нел от холода и дрожал как осиновый лист. В руках у него

был чудесный лук; беда только – он весь испортился от дождя, краска на длинных стрелах слиняла.

Старый поэт уселся поближе к печке, взял малютку на колени, выжал его мокрые кудри, согрел ручонки в своих руках и вскипятил ему сладкого вина. Мальчик повеселел, щеки у него зарумянились, он спрыгнул на пол и стал плясать вокруг старого поэта.

– Ишь, какой ты веселый мальчуган! – сказал старик поэт. – А как тебя зовут?

– Амур! – отвечал мальчик. – Ты разве не знаешь меня? Вот и лук мой. Я умею стрелять! Посмотри, погода разгулялась, месяц светит.

– А лук-то твой испортился! – сказал старый поэт.

– Вот было бы горе! – сказал мальчуган, взял лук и стал его осматривать. – Он совсем высох, и ему ничего не сделалось! Тетива натянута как следует! Сейчас я его испробую.

И он натянул лук, положил стрелу, прицелился и выстрелил старику поэту прямо в сердце!

– Вот видишь, мой лук совсем не испорчен! – закричал он, громко засмеялся и убежал.

Скверный мальчишка! Выстрелил в старика поэта, который пустил его обогреться, приласкал, напоил вином и дал самое лучшее яблоко!

Добрый старик лежал на полу и плакал: он был ранен в самое сердце. Потом он сказал:

– Фу, какой скверный мальчишка этот Амур! Я расскажу

о нем всем хорошим детям, чтобы они береглись, не связывались с ним, — он и их обидит.

И все хорошие дети — и мальчики и девочки — стали остерегаться этого Амура, но он все-таки умеет иногда обмануть их; такой плут!

Идут студенты с лекций, и он рядом: книжка под мышкой, в черном сюртуке, и не узнаешь его! Они думают, что он тоже студент, возьмут его под руку, а он и пустит им стрелу прямо в грудь.

Или вот идут девушки от священника или в церковь — он тоже тут как тут; вечно гоняется за людьми! А то заберется иногда в большую люстру в театре и горит там ярким пламенем; люди-то думают сначала, что это лампа, и уж потом только разберут, в чем дело. Бегает он и по королевскому саду, и по крепостной стене. А раз так он ранил в сердце твоих родителей! Спроси-ка у них, они тебе расскажут. Да, скверный мальчишка этот Амур, ты лучше не связывайся с ним! Он только и делает, что бегает за людьми. Подумай, раз он пустил стрелу даже в твою старую бабушку! Было это давно, давно прошло и быльем поросло, а все-таки не забылось, да и не забудется никогда! Фу! Злой Амур! Но теперь ты знаешь про него, знаешь, какой это скверный мальчишка!

# Русалочка

В открытом море вода совсем синяя, как лепестки самых красивых васильков, и прозрачная, как чистое стекло, — но зато и глубоко там! Ни один якорь не достанет до дна; на дно моря пришлось бы поставить одну на другую много-много колоколен, только тогда бы они могли высунуться из воды. На самом дне живут русалки.

Не подумайте, что там, на дне, один голый белый песок; нет, там растут невиданные деревья и цветы с такими гибкими стеблями и листьями, что они шевелятся, как живые, при малейшем движении воды.

Между ветвями шныряют рыбы большие и маленькие — точь-в-точь как у нас птицы. В самом глубоком месте стоит коралловый дворец морского царя с высокими стрельчатыми окнами из чистейшего янтаря и с крышей из раковин, которые то открываются, то закрываются смотря по тому, прилив или отлив; это очень красиво: ведь в каждой раковине лежит по жемчужине такой красоты, что любая из них украсила бы корону любой королевы.

Морской царь давным-давно овдовел, и хозяйством у него заправляла старуха мать, женщина умная, но очень гордая своим родом: она носила на хвосте целую дюжину устриц, тогда как вельможи имели право носить всего-навсего шесть. Вообще же она была особа, достойная всяческих похвал,

особенно потому, что очень любила своих маленьких вну-чек. Все шестеро принцесс были прехорошенькими русалоч-ками, но лучше всех была самая младшая, нежная и про-зрачная, как лепесток розы, с глубокими синими, как море, глазами. Но и у нее, как у других русалок, не было ножек, а только рыбий хвост.

День-деньской играли принцессы в огромных дворцовых залах, где по стенам росли живые цветы. В открытые янтар-ные окна всплывали рыбки, как у нас, бывает, влетают ласточ-ки; рыбки подплывали к маленьким принцессам, ели из их рук и позволяли себя гладить.

Возле дворца был большой сад; там росли огненно-крас-ные и темно-голубые деревья с вечно колеблющимися вет-вями и листьями; плоды их при этом сверкали, как золото, а цветы – как огоньки. Земля была усыпана мелким голу-боватым, как серное пламя, песком, и потому там на всем лежал какой-то удивительный голубоватый отблеск – можно было подумать, что витаешь высоко-высоко в воздухе, при-чем небо у тебя не только над головой, но и под ногами. В безветрие со дна можно было видеть солнце; оно казалось пурпуровым цветком, из чашечки которого лился свет.

У каждой принцессы был в саду свой уголок; тут они мог-ли копать и сажать что хотели. Одна сделала себе цветочную грядку в виде кита, другой захотелось, чтобы ее грядка бы-ла похожа на русалочку, а самая младшая сделала себе гряд-ку круглую, как солнце, и засадила ее ярко-красными цвета-

ми. Странное дитя была эта русалочка: такая тихая, задумчивая...

Другие сестры украшали свой садик разными разностями, которые доставались им с затонувших кораблей, а она любила только свои яркие, как солнце, цветы да прекрасного белого мраморного мальчика, упавшего на дно моря с какого-то погибшего корабля. Русалочка посадила у статуи красную плакучую иву, которая пышно разрослась; ветви ее обвивали статую и клонились к голубому песку, где колебалась их фиолетовая тень, – вершина и корни точно играли и целовались друг с другом!

Больше всего любила русалочка слушать рассказы о людях, живущих наверху, на земле. Старухе бабушке пришлось рассказать ей все, что она знала о кораблях и городах, о людях и о животных. Особенно занимало и удивляло русалочку то, что цветы на земле пахнут, – не то что тут, в море! – что леса там зеленые, а рыбы, которые живут в ветвях, звонко поют. Бабушка называла рыбками птичек, иначе внучки не поняли бы ее: они ведь сроду не видывали птиц.

– Когда вам исполнится пятнадцать лет, – говорила бабушка, – вам тоже разрешат всплывать на поверхность моря, сидеть при свете месяца на скалах и смотреть на плывущие мимо огромные корабли, на леса и города!

В этот год старшей принцессе как раз должно было исполниться пятнадцать лет, но другим сестрам – а они были погодки – приходилось еще ждать, и дольше всех – самой

младшей. Но каждая обещала рассказать остальным сестрам о том, что ей больше всего понравится в первый день, – рассказов бабушки им было мало, им хотелось знать обо всем поподробнее.

Никого не тянуло так на поверхность моря, как самую младшую, тихую, задумчивую русалочку, которой приходилось ждать дольше всех. Сколько ночей провела она у открытого окна, вглядываясь в синеву моря, где шевелили своими плавниками и хвостами целые стаи рыбок! Она могла разглядеть сквозь воду месяц и звезды; они, конечно, блестели не так ярко, но зато казались гораздо больше, чем кажутся нам. Случалось, что под ними скользило как будто большое темное облако, и русалочка знала, что это или проплывал кит, или проходил корабль с сотнями людей; они и не думали о хорошенькой русалочке, что стояла там, в глубине моря, и протягивала к килю корабля свои белые ручки.

Но вот старшей принцессе исполнилось пятнадцать лет, и ей позволили всплыть на поверхность моря.

Сколько было рассказов, когда она вернулась назад! Лучше же всего, по ее словам, было лежать в тихую погоду на песчаной отмели и нежиться при свете месяца, любясь раскинувшимся по берегу городом: там, точно сотни звезд, горели огни, слышались музыка, шум и грохот экипажей, виднелись башни со шпилями, звонили колокола. Да, именно потому, что ей нельзя было попасть туда, ей больше всего и манило это зрелище.



Как жадно слушала ее рассказы самая младшая сестра! Стоя вечером у открытого окна и вглядываясь в морскую синеву, она только и думала, что о большом шумном городе, и ей казалось даже, что она слышит звон колоколов.

Через год и вторая сестра получила позволение подниматься на поверхность моря и плыть, куда она захочет. Она вынырнула из воды как раз в ту минуту, когда солнце садилось, и нашла, что лучше этого зрелища ничего и быть не может. Небо сияло, как расплавленное золото, рассказывала она, а облака... да тут у нее уж и слов не хватало! Пурпуровые и фиолетовые, они быстро неслись по небу, но еще быстрее их несла к солнцу, точно длинная белая вуаль, стая лебедей; русалочка тоже поплыла было к солнцу, но оно опустилось в море, и по небу и воде разлилась розовая вечерняя заря.

Еще через год всплыла на поверхность моря третья принцесса; эта была смелее всех и проплыла в широкую реку, которая впадала в море. Тут она увидела зеленые холмы, покрытые виноградниками, дворцы и дома, окруженные густыми рощами, где пели птицы; солнце светило и грело так, что ей не раз приходилось нырять в воду, чтобы освежить свое пылающее лицо. В маленькой бухте она увидела целую толпу голеньких ребятишек, которые плескались в воде; она хотела было поиграть с ними, но они испугались ее и убежали, а вместо них появился какой-то черный зверек и так страшно принялся на нее тявкать, что русалка перепугалась и уплыла

назад в море; это была собака, но русалка ведь никогда еще не видала собак.

И вот принцесса все вспоминала эти чудные леса, зеленые холмы и прелестных детей, которые умеют плавать, хоть у них и нет рыбьего хвоста!

Четвертая сестра не была такой смелой; она держалась больше в открытом море и рассказывала, что это было лучше всего: куда ни глянь, на много-много миль вокруг одна вода да небо, опрокинувшееся, точно огромный стеклянный купол; вдали, как морские чайки, проносились большие корабли, играли и кувыркались веселые дельфины и пускали из ноздрей сотни фонтанов огромные киты.

Потом пришла очередь предпоследней сестры; ее день рождения был зимой, и поэтому она увидела то, чего не видели другие: море было зеленоватого цвета, повсюду плавали большие ледяные горы – ни дать ни взять жемчужины, рассказывала она, но такие огромные, выше самых высоких колоколен, построенных людьми! Некоторые из них были причудливой формы и блестели, как алмазы. Она уселась на самую большую, ветер развеивал ее длинные волосы, а моряки испуганно обходили гору подальше. К вечеру небо покрылось тучами, засверкала молния, загредел гром и темное море стало бросать ледяные глыбы из стороны в сторону, а они так и сверкали при блеске молнии. На кораблях убрали паруса, люди метались в страхе и ужасе, а она спокойно плыла на ледяной горе и смотрела, как огненные зигзаги молний,

прорезав небо, падали в море.

Вообще каждая из сестер была в восторге от того, что видела в первый раз, — все было для них ново и поэтому нравилось; но, получив, как взрослые девушки, позволение плавать повсюду, они скоро присмотрелись ко всему и через месяц стали говорить, что везде хорошо, а дома, на дне, лучше.

Часто по вечерам все пять сестер, взявшись за руки, подымались на поверхность; у всех были чудеснейшие голоса, каких не бывает у людей на земле, и вот, когда начиналась буря и они видели, что корабль обречен на гибель, они подплывали к нему и нежными голосами пели о чудесах подводного царства и уговаривали моряков не бояться опуститься на дно; но моряки не могли разобрать слов; им казалось, что это просто шумит буря; да им все равно и не удалось бы увидеть на дне никаких чудес — если корабль погибал, люди тонули и приплывали ко дворцу морского царя уже мертвыми.

Младшая же русалочка, в то время как сестры ее всплывали рука об руку на поверхность моря, оставалась одна-одинешенька и смотрела им вслед, готовая заплакать, но русалки не умеют плакать, и от этого ей было еще тяжелей.

— Ах, когда же мне будет пятнадцать лет? — говорила она. — Я знаю, что очень люблю и тот мир, и людей, которые там живут!

Наконец и ей исполнилось пятнадцать лет.

— Ну вот, вырастили и тебя! — сказала бабушка, вдовствующая королева. — Поди сюда, надо и тебя принарядить, как

других сестер!

И она надела русалочке на голову венок из белых лилий, – каждый лепесток был половинкой жемчужины – потом, для обозначения высокого сана принцессы, приказала прицепиться к ее хвосту восемью устрицам.

– Да это больно! – сказала русалочка.

– Ради красоты и потерпеть не грех! – сказала старуха.

Ах, с каким удовольствием скинула бы с себя русалочка все эти уборы и тяжелый венок, – красные цветы из ее сада шли ей куда больше, – но она не посмела!

– Прощайте! – сказала она и легко и плавно, точно пузырек воздуха, поднялась на поверхность.

Солнце только что село, но облака еще сияли пурпуром и золотом, тогда как в красноватом небе уже зажигались ясные вечерние звезды; воздух был мягок и свеж, а море – как зеркало. Неподалеку от того места, где вынырнула русалочка, стоял трехмачтовый корабль всего лишь с одним поднятым парусом, – не было ведь ни малейшего ветерка; на вантах и реях сидели матросы, с палубы неслись звуки музыки и песен; когда же совсем стемнело, корабль осветился сотнями разноцветных фонариков; казалось, что в воздухе замелькали флаги всех наций. Русалочка подплыла к самым окнам каюты, и когда волны слегка приподымали ее, она могла заглянуть в каюту. Там было множество разодетых людей, но лучше всех был молодой принц с большими черными глазами. Ему, наверное, было не больше шестнадцати лет; в тот

день праздновалось его рождение, оттого на корабле и шло такое веселье. Матросы плясали на палубе, а когда вышел туда молодой принц, кверху взвились сотни ракет, и стало светло как днем, так что русалочка совсем перепугалась и нырнула в воду, но скоро опять высунула голову, и ей показалось, что все звезды с небес попадали к ней в море. Никогда еще не видела она такой огненной потехи: большие солнца вертелись колесом, огромные огненные рыбы били в воздухе хвостами, и все это отражалось в тихой, ясной воде. На самом корабле было так светло, что можно было различить каждую веревку, а людей и подавно. Ах, как хорош был молодой принц!

Он пожимал людям руки, улыбался и смеялся, а музыка все гремела и гремела в тишине ясной ночи.

Становилось уже поздно, но русалочка глаз не могла оторвать от корабля и от красавца принца. Разноцветные огоньки потухли, ракеты больше не взлетали в воздух, не слышалось и пушечных выстрелов, зато загудело и застонало само море. Русалочка качалась на волнах рядом с кораблем и все заглядывала в каюту, а корабль стал набирать скорость, паруса разворачивались один за другим, ветер крепчал, заходили волны, облака сгустились, и где-то вдали засверкала молния. Начиналась буря! Матросы принялись убирать паруса; огромный корабль страшно качало, а ветер так и мчал его по бушующим волнам; вокруг корабля вставали высокие волны, словно черные горы, грозившие сомкнуться над мачта-

ми корабля, но он нырял между водяными стенами, как лебедь, и снова взлетал на хребет волн. Русалочку буря только забавляла, а морякам приходилось туго. Корабль скрипел и трещал, толстые доски разлетались в щепки, волны перекачивались через палубу; вот грот-мачта переломилась, как тростинка, корабль перевернулся набок, и вода хлынула в трюм. Тут русалочка поняла опасность; ей и самой приходилось остерегаться бревен и обломков, носившихся по волнам. На минуту сделалось вдруг так темно, что хоть глаз выколи; но вот опять блеснула молния, и русалочка вновь увидела на корабле людей; каждый спасался, как умел. Русалочка отыскала глазами принца и, когда корабль разбился на части, увидела, что он погрузился в воду. Сначала русалочка очень обрадовалась тому, что он попадет теперь к ним на дно, но потом вспомнила, что люди не могут жить в воде и что он может приплыть во дворец ее отца только мертвым. Нет, нет, он не должен умереть! И она поплыла между бревнами и досками, совсем забывая, что они во всякую минуту могут ее раздавить. Приходилось то нырять в самую глубину, то взлетать кверху вместе с волнами; но вот наконец она настигла принца, который уже почти совсем выбился из сил и не мог больше плыть по бурному морю; руки и ноги отказались ему служить, а прелестные глаза закрылись; он умер бы, не явись ему на помощь русалочка. Она приподняла над водой его голову и предоставила волнам нести их обоих куда угодно.

К утру непогода стихла; от корабля не осталось и щепки; солнце опять засияло над водой, и его яркие лучи как будто вернули щекам принца их живую окраску, но глаза его все еще не открывались.

Русалочка откинула со лба принца волосы и поцеловала его в высокий, красивый лоб; ей показалось, что принц похож на мраморного мальчика, что стоит у нее в саду; она поцеловала его еще раз и пожелала, чтобы он остался жив.

Наконец она завидела твердую землю и высокие, уходящие в небо горы, на вершинах которых, точно стаи лебедей, белели снега. У самого берега зеленела чудная роща, а повыше стояло какое-то здание, вроде церкви или монастыря. В роще росли апельсиновые и лимонные деревья, а у ворот здания – высокие пальмы. Море врезывалось в белый песчаный берег небольшим заливом; там вода была очень тиха, но глубока; сюда-то, к утесу, возле которого море намыло мелкий белый песок, и приплыла русалочка и положила принца, позаботившись о том, чтобы голова его лежала повыше и на самом солнце.

В это время в высоком белом доме зазвонили в колокола, и в сад высыпала целая толпа молодых девушек. Русалочка отплыла подальше, за высокие камни, которые торчали из воды, покрыла себе волосы и грудь морскою пеной – теперь никто не различил бы в этой пене ее лица – и стала ждать: не придет ли кто на помощь бедному принцу.

Ждать пришлось недолго: к принцу подошла одна из мо-

лодых девушек и сначала очень испугалась, но скоро собралась с духом и позвала на помощь людей. Затем русалочка увидела, что принц ожил и улыбнулся всем, кто был возле него. А ей он не улыбнулся, он даже не знал, что она спасла ему жизнь! Грустно стало русалочке, и, когда принца увели в большое белое здание, она печально нырнула в воду и уплыла домой.

И прежде она была тихой и задумчивой, теперь же стала еще тише, еще задумчивее. Сестры спрашивали ее, что она видела в первый раз на поверхности моря, но она ничего им не рассказала.

Часто и вечером и утром приплывала она к тому месту, где оставила принца, видела, как созревали в садах плоды, как их потом собирали, видела, как стоял снег на высоких горах, но принца так больше и не видала и возвращалась домой с каждым разом все печальнее и печальнее. Единственной отрадой было для нее сидеть в своем садике, обвивая руками красивую мраморную статую, похожую на принца, но за цветами она больше не ухаживала; они росли как хотели, по тропинкам и на дорожках, переплелись своими стеблями и листьями с ветвями дерева, и в садике стало совсем темно.

Наконец она не выдержала и рассказала обо всем одной из своих сестер; за ней узнали и все остальные сестры, но больше никто, кроме разве еще двух-трех русалок, ну, а те никому не сказали, разве уж самым близким подругам. Одна из них тоже знала принца, видела праздник на корабле и



даже знала, где находится королевство принца.

— Поплыли вместе, сестрица! — сказали русалочке сестры и рука об руку поднялись на поверхность моря близ того места, где стоял дворец принца.

Дворец был из светло-желтого блестящего камня, с большими мраморными лестницами; одна из них спускалась прямо в море. Великолепные вызолоченные купола высились над крышей, а в нишах, между колоннами, окружавшими все здание, стояли мраморные статуи, совсем как живые люди. Сквозь высокие зеркальные окна виднелись роскошные покои; всюду висели дорогие шелковые занавеси, были разостланы ковры, а стены украшены большими картинами. Загляденье, да и только! Посреди самой большой залы журчал большой фонтан; струи воды били высоко-высоко под самый стеклянный купол потолка, через который на воду и на диковинные растения, росшие в широком бассейне, лились лучи солнца.

Теперь русалочка знала, где живет принц, и стала приплывать ко дворцу почти каждый вечер или каждую ночь. Ни одна из сестер не осмеливалась подплывать к земле так близко, как она; она же заплывала и в узкий канал, который проходил как раз под великолепным мраморным балконом, бросающим на воду длинную тень. Тут она останавливалась и подолгу смотрела на молодого принца, а он-то думал, что гуляет при свете месяца один-одинешенек.

Много раз видела она, как он катался с музыкантами на

своей нарядной лодке, украшенной развевающимися флагами, – русалочка выглядывала из зеленого тростника, и если люди иной раз замечали ее длинную серебристо-белую вуаль, развевающуюся по ветру, то думали, что это лебедь машет крыльями.

Много раз слышала она, как говорили о принце рыбаки, ловившие по ночам рыбу; они рассказывали о нем много хорошего, и русалочка радовалась, что спасла ему жизнь, когда его полумертвого носило по волнам; она вспоминала, как его голова покоилась на ее груди и как нежно поцеловала она его тогда. А он-то ничего не знал о ней, она ему и присниться не могла!

Все больше и больше начинала русалочка любить людей, все сильнее и сильнее тянуло ее к ним; их земной мир казался ей куда больше, чем ее подводный; они могли ведь переплывать на своих кораблях море, взбираться на высокие горы к самым облакам, а их земля с лесами и полями тянулась далеко-далеко, ее и глазом не охватить! Русалочке очень хотелось побольше узнать о людях и об их жизни, но сестры не могли ответить на все ее вопросы, и она обращалась к бабушке: старуха хорошо знала «высший свет», как она справедливо называла землю, лежавшую над морем.

– Если люди не тонут, – спрашивала русалочка, – тогда они живут вечно, не умирают, как мы?

– Ну что ты! – отвечала старуха. – Они тоже умирают, их век даже короче нашего. Мы живем триста лет, но, когда

нам приходит конец, нас не хоронят среди близких, у нас нет даже могил, мы просто превращаемся в морскую пену. Нам не дано бессмертной души, и мы никогда не воскресаем; мы – как тростник: вырвешь его с корнем, и он не зазеленеет вновь!

У людей, напротив, есть бессмертная душа, которая живет вечно, даже и после того, как тело превращается в прах; она улетает на небо, прямо к мерцающим звездам! Как мы можем подняться со дна морского и увидеть землю, где живут люди, так и они могут подняться после смерти в неведомые блаженные страны, которых нам не видать никогда!

– А почему у нас нет бессмертной души? – грустно спросила русалочка. – Я бы отдала все свои сотни лет за один день человеческой жизни, чтобы потом тоже подняться на небо.

– Вздор! Нечего и думать об этом! – сказала старуха. – Нам тут живется куда лучше, чем людям на земле!

– Значит, и я умру, стану морской пеной, не буду больше слышать музыки волн, не увижу чудесных цветов и красного солнца! Неужели же я никак не могу обрести бессмертную душу?

– Можешь, – сказала бабушка, – пусть только кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты станешь ему дороже отца и матери, пусть отдастся он тебе всем своим сердцем и всеми помыслами и велит священнику соединить ваши руки в знак вечной верности друг другу; тогда частица его души сообщится тебе и когда-нибудь ты вкусишь вечного блажен-

ства. Он даст тебе душу и сохранит при себе свою. Но этому не бывать никогда! Ведь то, что у нас считается красивым, твой рыбий хвост, люди находят безобразным; они ничего не смыслят в красоте; по их мнению, чтобы быть красивым, надо непременно иметь две неуклюжие подпорки – ноги, как они их называют.

Русалочка глубоко вздохнула и печально посмотрела на свой рыбий хвост.

– Будем жить – не тужить! – сказала старуха. – Повеселимся вволю свои триста лет – срок немалый, тем слаще будет отдых после смерти! Сегодня вечером у нас во дворце бал!

Вот было великолепие, какого не увидишь на земле! Стены и потолок танцевальной залы были из толстого, но прозрачного стекла; вдоль стен рядами лежали сотни огромных пурпурных и травянисто-зеленых раковин с голубыми огоньками в середине; огни эти ярко освещали всю залу, а через стеклянные стены – и море вокруг. Видно было, как к стенам подплывают стаи и больших и маленьких рыб и чешуя их переливается золотом, серебром, пурпуром.

Посреди залы вода бежала широким потоком, и в нем танцевали водяные и русалки под свое чудное пение. Таких звучных, нежных голосов не бывает у людей. Русалочка пела лучше всех, и все хлопали ей в ладоши. На минуту ей было сделалось весело при мысли о том, что ни у кого и нигде, ни в море, ни на земле, нет такого чудесного голоса, как у нее; но потом она опять стала думать о надводном мире, о пре-

красном принце, и ей стало грустно, что у нее нет бессмертной души. Она незаметно ускользнула из дворца и, пока там пели и веселились, печально сидела в своем садике. Вдруг сверху до нее донеслись звуки валторн, и она подумала: «Вот он опять катается на лодке! Как я люблю его! Больше, чем отца и мать! Я принадлежу ему всем сердцем, всеми своими помыслами, ему я бы охотно вручила счастье всей моей жизни! На все бы я пошла – только бы мне быть с ним и обрести бессмертную душу! Пока сестры танцуют в отцовском дворце, поплыву-ка я к морской ведьме; я всегда боялась ее, но, может быть, она что-нибудь посоветует или как-нибудь поможет мне!»

И русалочка поплыла из своего садика к бурным водоворотам, за которыми жила ведьма. Ей еще ни разу не приходилось проплывать этой дорогой; тут не росли ни цветы, ни даже трава – кругом только голый серый песок; вода в водоворотах бурлила и шумела, как под мельничными колесами, и увлекала за собой в глубину всё, что только встречала на пути. Русалочке пришлось плыть как раз между такими бурлящими водоворотами; дальше путь к жилищу ведьмы лежал через пузырившийся ил; это место ведьма называла своим торфяным болотом. А там уж было рукой подать до ее жилья, окруженного диковинным лесом: вместо деревьев и кустов в нем росли полипы, полуживотные – полурастения, похожие на стоголовых змей, росших прямо из песка; ветви их были подобны длинным осклизлым рукам с пальцами,

извивающимися, как черви; полипы ни на минуту не переставали шевелить всеми своими суставами, от корня до самой верхушки, они хватали гибкими пальцами все, что только им попадалось, и уже никогда не выпускали. Русалочка испуганно приостановилась, сердечко ее забилося от страха, она готова была вернуться, но вспомнила о принце, о бессмертной душе и собралась с духом: крепко обвязала вокруг головы свои длинные волосы, чтобы в них не вцепились полипы, скрестила на груди руки, и, как рыба, поплыла между омерзительными полипами, которые тянули к ней свои извивающиеся руки. Она видела, как крепко, точно железными клещами, держали они своими пальцами все, что удавалось им схватить: белые скелеты утонувших людей, корабельные рули, ящики, кости животных, даже одну русалочку. Полипы поймали и задушили ее. Это было страшнее всего!

Но вот она очутилась на скользкой лесной поляне, где кувыркались, показывая противное желтоватое брюхо, большие, жирные водяные ужи. Посреди поляны был выстроен дом из белых человеческих костей; тут же сидела сама морская ведьма и кормила изо рта жабу, как люди кормят сахаром маленьких канареек. Омерзительных ужей она звала своими цыплятками и позволяла им ползать по своей большой ноздреватой, как губка, груди.

– Знаю, знаю, зачем ты пришла! – сказала русалочке морская ведьма. – Глупости ты затеваешь, ну да я все-таки помогу тебе – тебе же на беду, моя красавица! Ты хочешь отде-

латься от своего хвоста и получить вместо него две подпорки, чтобы ходить, как люди; хочешь, чтобы молодой принц полюбил тебя, а ты получила бы бессмертную душу!

И ведьма захохотала так громко и гадко, что и жаба и ужи попадали с нее и растянулись на песке.

– Ну ладно, ты пришла в самое время! – продолжала ведьма. – Приди ты завтра поутру, было бы поздно, и я не могла бы помочь тебе раньше будущего года. Я изготовлю тебе питье, ты возьмешь его, поплывешь с ним к берегу еще до восхода солнца, сядешь там и выпьешь все до капли; тогда твой хвост раздвоится и превратится в пару стройных, как сказали бы люди, ножек. Но тебе будет так больно, как будто тебя пронзят острым мечом. Зато все, кто тебя увидит, скажут, что такой прелестной девушки они еще не встречали! Ты сохранишь свою плавную, скользящую походку – ни одна танцовщица не сравнится с тобой; но помни, что ты будешь ступать как по острым ножам, так что изранишь свои ножки в кровь. Вытерпишь все это? Тогда я помогу тебе.

– Да! – сказала русалочка дрожащим голосом и подумала о принце и о бессмертной душе.

– Помни, – сказала ведьма, – что раз ты примешь человеческий облик, тебе уже не сделаться вновь русалкой! Не видать тебе ни морского дна, ни отцовского дома, ни сестер! А если принц не полюбит тебя так, что забудет для тебя и отца и мать, не отдастся тебе всем сердцем и не велит священнику соединить ваши руки, чтобы вы стали мужем и женой, ты не

получишь бессмертной души. С первой же зарей после его женитьбы на другой твое сердце разорвется на части, и ты станешь пеной морской!

– Пусть! – сказала русалочка и побледнела как смерть.

– А еще ты должна мне заплатить за помощь, – сказала ведьма. – И я недешево возьму! У тебя чудный голос, и им ты думаешь обворожить принца, но ты должна отдать этот голос мне. Я возьму за свой бесценный напиток самое лучшее, что есть у тебя: ведь я должна примешать к напитку свою собственную кровь, чтобы он стал остер, как лезвие меча.

– Если ты возьмешь мой голос, что же останется мне? – спросила русалочка.

– Твое прелестное лицо, твоя плавная походка и твои говорящие глаза – этого довольно, чтобы покорить человеческое сердце! Ну полно, не бойся; высунешь язычок, я и отрежу его в уплату за волшебный напиток!

– Хорошо! – сказала русалочка, и ведьма поставила на огонь котел, чтобы сварить питье.

– Чистота – лучшая красота! – сказала она и обтерла котел связкой живых ужей. Потом она расцарапала себе грудь; в котел закапала черная кровь, и скоро стали подниматься клубы пара, принимавшие такие причудливые формы, что просто страх брал. Ведьма поминутно подбавляла в котел новых и новых снадобий, и когда питье закипело, оно забулькала так, будто плакал крокодил. Наконец напиток был готов, на вид он казался прозрачайшей ключевой водой!



– Бери! – сказала ведьма, отдавая русалочке напиток; потом отрезала ей язычок, и русалочка стала немая – не могла больше ни петь, ни говорить!

– Если полипы схватят тебя, когда ты поплывешь назад, – сказала ведьма, – брызни на них каплю этого питья, и их руки и пальцы разлетятся на тысячи кусков!

Но русалочке не пришлось этого делать – полипы с ужасом отворачивались при одном виде напитка, сверкавшего в ее руках, как яркая звезда. Быстро проплыла она лес, миновала болото и бурлящие водовороты.

Вот и отцовский дворец; огни в танцевальной зале потушены, все спят. Русалочка не посмела больше войти туда, – ведь она была немая и собиралась покинуть отцовский дом навсегда. Сердце ее готово было разорваться от тоски и печали. Она проскользнула в сад, взяла по цветку с грядки у каждой сестры, послала родным тысячи воздушных поцелуев и поднялась на темно-голубую поверхность моря.

Солнце еще не вставало, когда она увидела перед собой дворец принца и присела на великолепную мраморную лестницу. Месяц озарял ее своим чудесным голубым сиянием. Русалочка выпила обжигающий напиток, и ей показалось, будто ее пронзили обоюдоострым мечом; она потеряла сознание и упала замертво. Когда она очнулась, над морем уже сияло солнце; во всем теле она чувствовала жгучую боль. Перед ней стоял красавец принц и смотрел на нее своими черными, как ночь, глазами; она потупилась и увидела, что

рыбий хвост исчез, а вместо него у нее две ножки, беленькие и маленькие, как у ребенка. Но она была совсем нагая и потому закуталась в свои длинные, густые волосы. Принц спросил, кто она и как сюда попала, но она только кротко и грустно смотрела на него своими темно-голубыми глазами. говорить ведь она не могла. Тогда он взял ее за руку и повел во дворец. Ведьма сказала правду: каждый шаг причинял русалочке такую боль, будто она ступала по острым ножам и иголкам; но она терпеливо переносила боль и шла об руку с принцем легкая, как пузырек воздуха; принц и все окружающие только дивились ее чудной, скользкой походке.

Русалочку раздели в шелк и муслин, и она стала первой красавицей при дворе, но оставалась по-прежнему немой, не могла ни петь, ни говорить. Как-то раз красивые рабыни, все в шелку и золоте, появились перед принцем и его царственными родителями и стали петь. Одна из них пела особенно хорошо, и принц хлопал в ладоши и улыбался ей; русалочке стало очень грустно: когда-то и она могла петь, и несравненно лучше! «Ах, если бы он знал, что я навсегда рассталась со своим голосом, чтобы только быть возле него!»

Потом рабыни стали танцевать под звуки чудеснейшей музыки; тут и русалочка подняла свои белые хорошенькие ручки, встала на цыпочки и понеслась в легком, воздушном танце; так не танцевал еще никто! Каждое движение подчеркивало ее красоту, а глаза ее говорили сердцу больше, чем пение всех рабынь.

Все были в восхищении, особенно принц, он назвал русалочку своим маленьким найденышем, и русалочка все танцевала и танцевала, хотя каждый раз, как ноги ее касались земли, ей было так больно, будто она ступала по острым ножам. Принц сказал, что она всегда должна быть возле него, и ей было позволено спать на бархатной подушке перед дверями его комнаты.

Он велел сшить ей мужской костюм, чтобы она могла сопровождать его на прогулках верхом. Они ездили по благоухающим лесам, где в свежей листве пели птички, а зеленые ветви касались ее плеч; они взбирались на высокие горы, и хотя из ее ног сочилась кровь и все видели это, она смеялась и продолжала следовать за принцем на самые вершины; там они любовались на облака, плывшие у их ног, точно стаи птиц, улетающих в чужие страны.

Когда же они оставались дома, русалочка ходила по ночам на берег моря, спускалась по мраморной лестнице, ставила свои пылавшие, как в огне, ноги в холодную воду и думала о родном доме и о дне морском.

Раз ночью всплыли из воды рука об руку ее сестры и запели печальную песню; она кивнула им, они узнали ее и рассказали ей, как огорчила она их всех. С тех пор они навещали ее каждую ночь, а один раз она увидела в отдалении даже свою старую бабушку, которая уже много-много лет не подымалась из воды, и самого морского царя с короной на голове; они простирали к ней руки, но не смели подплывать

к земле так близко, как сестры.

День ото дня принц привязывался к русалочке все сильнее и сильнее, но он любил ее только как милое, доброе дитя, сделать же ее своей женой и королевой ему и в голову не приходило, а между тем ей надо было стать его женой, иначе она не могла ведь обрести бессмертной души и должна была, в случае его женитьбы на другой, превратиться в морскую пену.

«Любишь ли ты меня больше всех на свете?» – казалось, спрашивали глаза русалочки, когда принц обнимал ее и целовал в лоб.

– Да, я люблю тебя! – говорил принц. – У тебя доброе сердце, ты предана мне больше всех и похожа на молодую девушку, которую я видел однажды и, верно, больше уж не увижу! Я плыл на корабле, корабль разбился, волны выбросили меня на берег вблизи какого-то храма, где служат Богу молодые девушки; самая младшая из них нашла меня на берегу и спасла мне жизнь; я видел ее всего два раза, но ее одну в целом мире мог бы я полюбить! Ты похожа на нее и почти вытеснила из моего сердца ее образ. Она принадлежит святому храму, и вот моя счастливая звезда послала мне тебя; никогда я не расстанусь с тобой!

«Увы! Он не знает, что это я спасла ему жизнь! – думала русалочка. – Я вынесла его из волн морских на берег и положила в роще, возле храма, а сама спряталась в морской пене и смотрела, не придет ли кто-нибудь к нему на помощь.

Я видела эту красивую девушку, которую он любит больше, чем меня! – И русалочка глубоко-глубоко вздыхала, плакать она не могла. – Но та девушка принадлежит храму, никогда не вернется в мир, и они никогда не встретятся! Я же нахожусь возле него, вижу его каждый день, могу ухаживать за ним, любить его, отдать за него жизнь!»

Но вот стали поговаривать, что принц женится на прелестной дочери соседнего короля и потому снаряжает свой великолепный корабль в плавание. Принц поедет к соседнему королю как будто для того, чтобы ознакомиться с его страной, а на самом-то деле, чтобы увидеть принцессу; с ним едет большая свита. Русалочка на все эти речи только покачивала головой и смеялась – она ведь лучше всех знала мысли принца.

– Я должен ехать! – говорил он ей. – Мне надо посмотреть прекрасную принцессу; этого требуют мои родители, но они не станут принуждать меня жениться на ней, а я никогда не полюблю ее! Она ведь не похожа на ту красавицу, на которую похожа ты. Если уж мне придется наконец избрать себе невесту, так я лучше выберу тебя, мой немой найденыш с говорящими глазами!

И он целовал ее в розовые губы, играл ее длинными волосами и клал свою голову на ее грудь, где билось сердце, жаждавшее человеческого счастья и бессмертной души.

– Ты ведь не боишься моря, моя немая крошка? – говорил он, когда они уже стояли на великолепном корабле, который должен был отвезти их в земли соседнего короля.

И принц стал рассказывать ей о бурях и о штиле, о диковинных рыбах, что живут в глубинах, и о том, что видели там водолазы, а она только улыбалась, слушая его рассказы, — она-то лучше всех знала, что есть на дне морском.

В ясную лунную ночь, когда все, кроме рулевого, спали, она села у самого борта и стала смотреть в прозрачные волны; и ей показалось, что она видит отцовский дворец; старуха бабушка в серебряной короне стояла на вышке и смотрела сквозь волнующиеся струи воды на киль корабля. Затем на поверхность моря всплыли ее сестры; они печально смотрели на нее и ломали свои белые руки, а она кивнула им головой, улыбнулась и хотела рассказать о том, как ей хорошо здесь, но тут к ней подошел корабельный юнга, и сестры нырнули в воду, юнга же подумал, что это мелькнула в волнах белая морская пена.

Наутро корабль вошел в гавань великолепной столицы соседнего королевства. В городе зазвонили в колокола, с высоких башен раздались звуки рогов, а на площадях стали строиться полки солдат с блестящими штыками и развевающимися знаменами. Начались празднества, балы следовали за балами, но принцессы еще не было, — она воспитывалась где-то далеко в монастыре, куда ее отдали учиться всем королевским добродетелям. Наконец прибыла и она.

Русалочка жадно смотрела на нее и не могла не признать, что лица милее и прекраснее она еще не видала. Кожа на лице принцессы была такая нежная, прозрачная, а из-за длин-

ных темных ресниц улыбались синие кроткие глаза.

— Это ты! — сказал принц. — Ты спасла мне жизнь, когда я полумертвый лежал на берегу моря!

И он крепко прижал к сердцу свою краснеющую невесту.

— Ах, я так счастлив! — сказал он русалочке. — То, о чем я не смел и мечтать, сбылось! Ты порадуешься моему счастью, ты ведь так любишь меня!

Русалочка поцеловала ему руку, и ей показалось, что сердце ее вот-вот разорвется от боли: его свадьба должна ведь убить ее, превратить в морскую пену!

Колокола в церквах звонили, по улицам разъезжали герольды, оповещая народ о помолвке принцессы. В алтарях в драгоценных сосудах курились благовония. Священники кадили ладаном, жених и невеста подали друг другу руки и получили благословение епископа. Русалочка, разодетая в шелк и золото, держала шлейф невесты, но уши ее не слышали праздничной музыки, глаза не видели блестящей церемонии, она думала о своем смертном часе и о том, что она теряет с жизнью.

В тот же вечер жених с невестой должны были отплыть на родину принца; пушки палили, флаги развевались, на палубе был раскинут роскошный шатер из золота и пурпура, устланный мягкими подушками; в шатре новобрачные должны были провести эту тихую, прохладную ночь.

Паруса надулись от ветра, корабль легко и плавно скользнул по волнам и понесся в открытое море.

Как только смерклось, на корабле зажглись сотни разноцветных фонариков, а матросы стали весело плясать на палубе. Русалочка вспомнила, как она впервые поднялась на поверхность моря и увидела такое же веселье на корабле. И вот она понеслась в быстром воздушном танце, точно ласточка, преследуемая коршуном. Все были в восторге: никогда еще она не танцевала так чудесно! Ее нежные ножки резало, как ножами, но она не чувствовала этой боли – сердцу ее было еще больнее. Она знала, что лишь один вечер осталось ей пробыть с тем, ради кого она оставила родных и отцовский дом, отдала свой чудный голос и ежедневно терпела невыносимые мучения, о которых он и не догадывался. Лишь одну ночь оставалось ей дышать одним воздухом с ним, видеть синее море и звездное небо, а там наступит для нее вечная ночь, без мыслей, без сновидений. Ей ведь не было дано бессмертной души! Далеко за полночь продолжались на корабле танцы и музыка, и русалочка смеялась и танцевала с смертельной мукой в сердце; принц же целовал красавицу жену, а она играла его черными кудрями; наконец рука об руку удалились они в свой великолепный шатер.

На корабле все стихло, только рулевой остался у руля. Русалочка оперлась своими белыми руками о борт и, повернувшись лицом к востоку, стала ждать первого луча солнца, который, как она знала, должен был убить ее. И вдруг она увидела, как из моря поднялись ее сестры; они были бледны, как и она, но их длинные, роскошные волосы не развевались



больше по ветру – они были обрезаны.

– Мы отдали наши волосы ведьме, чтобы она помогла нам избавить тебя от смерти! А она дала нам вот этот нож – видишь, какой он острый? Прежде чем взойдет солнце, ты должна вонзить его в сердце принца, и когда теплая кровь его брызнет тебе на ноги, они опять срастутся в рыбий хвост и ты опять станешь русалкой, спустишься к нам в море и проживешь свои триста лет, прежде чем превратишься в соленую морскую пену. Но спеши! Или он, или ты – один из вас должен умереть до восхода солнца! Наша старая бабушка так печалится, что потеряла от горя все свои седые волосы, а нам остригла волосы своими ножницами ведьма! Убей принца и вернись к нам! Поспешి, видишь, на небе показалась красная полоска? Скоро взойдет солнце, и ты умрешь!

С этими словами они глубоко вздохнули и погрузились в море.

Русалочка приподняла пурпуровую занавесь шатра и увидела, что головка прелестной новобрачной покоится на груди принца. Русалочка наклонилась и поцеловала его в прекрасный лоб, посмотрела на небо, где разгоралась утренняя заря, потом посмотрела на острый нож и опять устремила взор на принца, который во сне произнес имя своей жены – она одна была у него в мыслях! – и нож дрогнул в руках у русалочки. Еще минута – и она бросила его в волны, которые покраснели, точно окрасились кровью, в том месте, где он упал. Еще раз посмотрела она на принца полуугасшим взо-

ром, бросилась с корабля в море и почувствовала, как тело ее расплывается пеной.

Над морем поднялось солнце; лучи его любовно согревали мертвенно-холодную морскую пену, и русалочка не чувствовала смерти: она видела ясное солнце и каких-то прозрачных, чудных созданий, сотнями реявших над ней. Она видела сквозь них белые паруса корабля и красные облака в небе; голос их звучал как музыка, но такая возвышенная, что человеческое ухо не слышало бы ее, так же как человеческие глаза не видели их самих. У них не было крыльев, но они носились в воздухе, легкие и прозрачные. Русалочка увидела, что и у нее такое же тело, как у них, и что она все больше и больше отделяется от морской пены.

– К кому я иду? – спросила она, поднимаясь в воздух, и ее голос звучал такую же дивною музыкой, какой не в силах передать никакие земные звуки.

– К дочерям воздуха! – ответили ей воздушные создания. – У русалки нет бессмертной души, и обрести ее она может, только если ее полюбит человек. Ее вечное существование зависит от чужой воли. У дочерей воздуха тоже нет бессмертной души, но они могут заслужить ее добрыми делами. Мы прилетаем в жаркие страны, где люди гибнут от знойного, зачумленного воздуха, и навеваем прохладу. Мы распространяем в воздухе благоухание цветов и несем людям исцеление и отраду. Пройдет триста лет, во время которых мы будем посильно творить добро, и мы получим в на-

граду бессмертную душу и сможем изведать вечное блаженство, доступное людям. Ты, бедная русалочка, всем сердцем стремилась к тому же, что и мы, ты любила и страдала, подымись же вместе с нами в заоблачный мир. Теперь ты сама можешь добрыми делами заслужить себе бессмертную душу и обрести ее через триста лет!

И русалочка протянула свои прозрачные руки к солнцу и в первый раз почувствовала у себя на глазах слезы.

На корабле за это время все опять пришло в движение, и русалочка увидала, как принц с женой ищут ее. Печально смотрели они на волнующуюся морскую пену, точно знали, что русалочка бросилась в волны. Невидимая, поцеловала русалочка красавицу в лоб, улыбнулась принцу и поднялась вместе с другими детьми воздуха к розовым облакам, плававшим в небе.

– Через триста лет мы войдем в Божье царство!

– Может быть, и раньше! – прошептала одна из дочерей воздуха. – Невидимками влетаем мы в жилища людей, где есть дети, и если находим там доброе, послушное дитя, радующее своих родителей и достойное их любви, мы улыбаемся.

Ребенок не видит нас, когда мы летаем по комнате, и если мы радуемся, глядя на него, наш трехсотлетний срок сокращается на год. Но если мы увидим там злого, непослушного ребенка, мы горько плачем, и каждая слеза прибавляет к долгому сроку нашего испытания лишний день!

# Новое платье короля

Много лет назад жил-был на свете король; он так любил наряжаться, что тратил на новые платья все свои деньги, и парады, театры, загородные прогулки занимали его только потому, что он мог тогда показаться в новом наряде. На каждый час дня у него был особый наряд, и как про других королей часто говорят: «Король в совете», так про него говорили: «Король в гардеробной».

В столице этого короля жилось очень весело; почти каждый день приезжали иностранные гости, и вот раз явилось двое обманщиков. Они выдали себя за ткачей и сказали, что могут изготовлять такую чудесную ткань, лучше которой ничего и представить себе нельзя: кроме необыкновенно красивого рисунка и расцветки, она отличается еще удивительным свойством – становиться невидимой для всякого человека, который не на своем месте или непроходимо глуп.

«Да, вот это будет платье! – подумал король. – Тогда ведь я могу узнать, кто из моих сановников не на своем месте и кто умен, а кто глуп. Пусть поскорее изготовят для меня такую ткань».

И он дал обманщикам большой задаток, чтобы они сейчас же принялись за дело.

Те поставили два ткацких станка и стали делать вид, будто усердно работают, а у самих на станках ровно ничего не

было. Нимало не стесняясь, они требовали для работы тончайшего шелку и чистейшего золота, все это припрятывали в карманы и просиживали за пустыми станками с утра до поздней ночи.

«Хотелось бы мне посмотреть, как подвигается дело!» – думал король. Но тут он вспоминал о чудесном свойстве ткани, и ему становилось как-то не по себе. Конечно, ему нечего бояться за себя, но... все-таки лучше сначала пошел бы кто-нибудь другой! А между тем молва о диковинной ткани облетела весь город, и всякий горел желанием поскорее убедиться в глупости или непригодности своего ближнего.

«Пошлю-ка я к ним своего честного старика министра, – подумал король. – Уж он-то рассмотрит ткань: он умен и с честью занимает свое место».

И вот старик министр вошел в залу, где за пустыми станками сидели обманщики.

«Господи помилуй! – подумал министр, тараща глаза. – Да ведь я ничего не вижу!» Только он не сказал этого вслух.

Обманщики почтительно попросили его подойти поближе и сказать, как нравятся ему узор и краски. При этом они указывали на пустые станки, а бедный министр, как ни тарашил глаза, все-таки ничего не видел. Да и видеть было нечего.

«Ах ты, Господи! – думал он. – Неужели я глуп? Вот уж чего никогда не думал! Упаси Господь, кто-нибудь узнает!.. А может, я не гожусь для своей должности?.. Нет, нет, никак нельзя признаваться, что я не вижу ткани!»

– Что ж вы ничего не скажете нам? – спросил один из ткачей.

– О, это премило! – ответил старик министр, глядя сквозь очки. – Какой узор, какие краски! Да, да, я доложу королю, что мне чрезвычайно понравилась ваша работа!

– Рады стараться! – сказали обманщики и принялись расписывать, какой тут необычайный узор и сочетания красок. Министр слушал очень внимательно, чтобы потом повторить все это королю. Так он и сделал.

Теперь обманщики стали требовать еще больше денег, шелку и золота; но они только набивали себе карманы, а на работу не пошло ни одной нитки. Как и прежде, они сидели у пустых станков и делали вид, что ткут.

Потом король послал к ткачам другого достойного сановника. Он должен был посмотреть, как идет дело, и узнать, скоро ли работа будет закончена. С ним было то же самое, что и с первым. Уж он смотрел, смотрел, а все равно ничего, кроме пустых станков, не высмотрел.

– Ну, как вам нравится? – спросили его обманщики, показывая ткань и объясняя узоры, которых и в помине не было.

«Я не глуп, – думал сановник. – Значит, я не на своем месте? Вот тебе раз! Однако нельзя и виду подавать!»

И он стал расхваливать ткань, которой не видел, восхищаясь красивым рисунком и сочетанием красок.

– Премило, премило! – доложил он королю.

Скоро весь город заговорил о восхитительной ткани. На-

конец и сам король пожелал полюбоваться диковинкой, пока она еще не снята со станка.

С целою свитой избранных придворных и сановников, в числе которых находились и первые два, уже видевшие ткань, явился король к хитрым обманщикам, ткавшим из всех сил на пустых станках.

– *Magnifique!*<sup>32</sup> Не правда ли? – вскричали уже побывавшие здесь сановники. – Не угодно ли полюбоваться? Какой рисунок... а краски!

И они тыкали пальцами в пространство, воображая, что все остальные видят ткань.

«Что за ерунда! – подумал король. – Я ничего не вижу! Ведь это ужасно! Глуп я, что ли? Или не гожусь в короли? Это было бы хуже всего!»

– О да, очень, очень мило! – сказал наконец король. – Вполне заслуживает моего одобрения!

И он с довольным видом кивал головой, рассматривая пустые станки, – он не хотел признаться, что ничего не видит. Свита короля глядела во все глаза, но видела не больше, чем он сам; и тем не менее все в один голос повторяли: «Очень, очень мило!» – и советовали королю сделать себе из этой ткани наряд для предстоящей торжественной процессии.

– *Magnifique! Чудесно! Excellent!*<sup>33</sup> – только и слышалось со всех сторон; все были в таком восторге! Король наградил

---

<sup>32</sup> Чудесно! (*фр.*)

<sup>33</sup> Превосходно! (*фр.*)

обманщиков рыцарским крестом в петлицу и пожаловал им звание придворных ткачей.

Всю ночь накануне торжества просидели обманщики за работой и сожгли больше шестнадцати свечей, – всем было ясно, что они очень старались кончить к сроку новое платье короля. Они притворялись, что снимают ткань со станков, кроят ее большими ножницами и потом шьют иглками без ниток. Наконец они объявили:

– Готово!

Король в сопровождении свиты сам пришел к ним одеваться. Обманщики поднимали кверху руки, будто держали что-то, приговаривая:

– Вот панталоны, вот камзол, вот кафтан! Чудесный наряд! Легок, как паутина, и не почувствуешь его на теле! Но в этом-то вся и прелесть!

– Да, да! – говорили придворные, но они ничего не видали – нечего ведь было и видеть.

– А теперь, ваше королевское величество, соблаговолите раздеться и стать вот тут, перед большим зеркалом! – сказали королю обманщики. – Мы оденем вас!

Король разделся догола, и обманщики принялись наряжать его: они делали вид, будто надевают на него одну часть одежды за другой и наконец прикрепляют что-то в плечах и на талии, – это они надевали на него королевскую мантию! А король поворачивался перед зеркалом во все стороны.

– Боже, как идет! Как чудно сидит! – шептали в свите. –



Какой узор, какие краски! Роскошное платье!

– Балдахин ждет! – доложил обер-церемониймейстер.

– Я готов! – сказал король. – Хорошо ли сидит платье?

И он еще раз повернулся перед зеркалом: надо ведь было показать, что он внимательно рассматривает свой наряд.

Камергеры, которые должны были нести шлейф королевской мантии, сделали вид, будто приподняли что-то с пола, и пошли за королем, вытягивая перед собой руки, – они не смели и виду подать, что ничего не видят.

И вот король шествовал по улицам под роскошным балдахином, а люди, собравшиеся на улицах, говорили:

– Ах, какое красивое это новое платье короля! Как чудно сидит! Какая роскошная мантия!

Ни единый человек не сознался, что ничего не видит, никто не хотел признаться, что он глуп или сидит не на своем месте. Ни одно платье короля не вызывало еще таких восторгов.

– Да ведь он голый! – закричал вдруг какой-то маленький мальчик.

– Послушайте-ка, что говорит невинный младенец! – сказал его отец, и все стали шепотом передавать друг другу слова ребенка.

– Да ведь он совсем голый! Вот мальчик говорит, что он совсем не одет! – закричал наконец весь народ.

И королю стало жутко: ему казалось, что они правы, но надо же было довести церемонию до конца!

И он выступал под своим балдахином еще величавее, а камергеры шли за ним, поддерживая мантию, которой не было.

# Ромашка

Вот послушайте-ка!

За городом, у самой дороги, стояла дача. Вы, верно, видели ее? Перед ней еще небольшой садик, обнесенный крашеной деревянной решеткой.

Неподалеку от дачи, у самой канавы, росла в мягкой зеленой траве ромашка. Солнечные лучи грели и ласкали ее наравне с роскошными цветами, которые цвели в саду перед дачей, и наша ромашка росла не по дням, а по часам. В одно прекрасное утро она распустилась совсем – желтое, круглое, как солнышко, сердечко ее было окружено сиянием ослепительно белых мелких лучей-лепестков. Ромашку ничуть не заботило, что она такой бедненький, простенький цветочек, которого никто не видит и не замечает в густой траве; нет, она была довольна всем, жадно тянулась к солнцу, любовалась им и слушала, как поет где-то высоко-высоко в небе жаворонок.

Ромашка была так весела и счастлива, точно сегодня было воскресенье, а на самом-то деле был всего только понедельник; все дети смирно сидели на школьных скамейках и учились у своих наставников; наша ромашка тоже смирно сидела на своем стебельке и училась у ясного солнышка и у всей окружающей природы, училась познавать благодать божью. Ромашка слушала пение жаворонка, и ей казалось, что

в его громких, звучных песнях звучит как раз то, что таится у нее на сердце; поэтому ромашка смотрела на счастливую порхающую певунью птичку с каким-то особым почтением, но ничуть не завидовала ей и не печалилась, что сама не может ни летать, ни петь. «Я ведь вижу и слышу все! – думала она. – Солнышко меня ласкает, ветерок целует! Как я счастлива!»

В садике цвело множество пышных, гордых цветов, и чем меньше они благоухали, тем больше важничали. Пионы так и раздували щеки – им все хотелось стать побольше роз; да разве в величине дело? Пестрее, наряднее тюльпанов никого не было, они отлично знали это и старались держаться возможно прямее, чтобы больше бросаться в глаза. Никто из гордых цветов не замечал маленькой ромашки, росшей где-то у канавы. Зато ромашка часто заглядывалась на них и думала: «Какие они нарядные, красивые! К ним непременно прилетит в гости прелестная певунья птичка! Слава богу, что я расту так близко – увижу все, налюбуюсь вдоволь!» Вдруг раздалось «квир-квир-вит!», и жаворонок спустился... не в сад к пионам и тюльпанам, а прямехонько в траву, к скромной ромашке! Ромашка совсем растерялась от радости и просто не знала, что ей думать, как быть!

Птичка прыгала вокруг ромашки и распевала: «Ах, какая славная мягкая травка! Какой миленький цветочек в серебряном платице, с золотым сердечком!»

Желтое сердечко ромашки и в самом деле сияло, как зо-

лотое, а ослепительно белые лепестки отливали серебром.

Ромашка была так счастлива, так рада, что и сказать нельзя. Птичка поцеловала ее, спела ей песенку и опять взвилась к синему небу. Прошла добрая четверть часа, пока ромашка опомнилась от такого счастья. Радостно-застенчиво глянула она на пышные цветы – они ведь видели, какое счастье выпало ей на долю, кому же и оценить его, как не им! Но тюльпаны вытянулись, надулись и покраснели с досады, а пионы прямо готовы были лопнуть! Хорошо, что они не умели говорить – досталось бы от них ромашке! Бедняжка сразу поняла, что они не в духе, и очень огорчилась.

В это время в садике показалась девушка с острым блестящим ножом в руках. Она подошла прямо к тюльпанам и принялась срезать их один за другим. Ромашка так и ахнула. «Какой ужас! Теперь им конец!» Срезав цветы, девушка ушла, а ромашка порадовалась, что росла в густой траве, где ее никто не видел и не замечал. Солнце село, она свернула лепестки и заснула, но и во сне все видела милую птичку и красное солнышко.

Утром цветок опять расправил лепестки и протянул их, как дитя ручонки, к светлому солнышку. В ту же минуту послышался голос жаворонка; птичка пела, но как грустно! Бедняжка попала в западню и сидела теперь в клетке, висевшей у раскрытого окна. Жаворонок пел о просторе неба, о свежей зелени полей, о том, как хорошо и привольно было летать на свободе! Тяжело-тяжело было у бедной птички на

сердце – она была в плену!

Ромашке всей душой хотелось помочь пленнице, но чем? И ромашка забыла и думать о том, как хорошо было вокруг, как славно грело солнышко, как блестели ее серебряные лепестки; ее мучила мысль, что она ничем не могла помочь бедной птичке.

Вдруг из садика вышли два мальчугана; у одного из них в руках был такой же большой и острый нож, как тот, которым девушка срезала тюльпаны. Мальчики подошли прямо к ромашке, которая никак не могла понять, что им было тут нужно.

– Вот здесь можно вырезать славный кусок дерна для нашего жаворонка! – сказал один из мальчиков и, глубоко запустив нож в землю, начал вырезать четырехугольный кусок дерна; ромашка очутилась как раз в середине его.

– Давай вырвем цветок! – сказал другой мальчик, и ромашка затрепетала от страха: если ее сорвут, она умрет, а ей так хотелось жить! Теперь она могла ведь попасть к бедному пленнику!

– Нет, пусть лучше останется! – сказал первый из мальчиков. – Так красивее!

И ромашка попала в клетку к жаворонку.

Бедняжка громко жаловался на свою неволю, метался и бился о железные прутья клетки. А бедная ромашка не умела говорить и не могла утешить его ни словечком. А уж как ей хотелось! Так прошло все утро.

– Тут нет воды! – жаловался жаворонок. – Они забыли дать мне напиться, ушли и не оставили мне ни глоточка воды! У меня совсем пересохло в горлышке! Я весь горю, и меня знобит! Здесь такая духота! Ах, я умру, не видать мне больше ни красного солнышка, ни свежей зелени, ни всего божьего мира!

Чтобы хоть сколько-нибудь освежиться, жаворонок глубоко вонзил клюв в свежий, прохладный дерн, увидел ромашку, кивнул ей головой, поцеловал и сказал:

– И ты завянешь здесь, бедный цветок! Тебя да этот клочок зеленого дерна – вот что они дали мне взамен всего мира! Каждая травинка должна быть для меня теперь зеленым деревом, каждый твой лепесток – благоухающим цветком. Увы! Ты только напоминаешь мне, чего я лишился!

«Ах, чем бы мне утешить его!» – думала ромашка, но не могла шевельнуть ни листочком и только все сильнее и сильнее благоухала. Жаворонок заметил это и не тронул цветка, хотя повыщипал от жажды всю траву.

Вот и вечер пришел, а никто так и не принес бедной птичке воды. Тогда она распустила свои коротенькие крылышки, судорожно затрепетала ими и еще несколько раз жалобно пропищала:

– Пить! Пить!

Потом головка ее склонилась набок и сердечко разорвалось от тоски и муки.

Ромашка также не могла больше свернуть своих лепестков

и заснуть, как накануне: она была совсем больна и стояла, грустно повесив голову.

Только на другое утро пришли мальчики и, увидав мертвого жаворонка, горько-горько заплакали, потом вырыли ему могилку и всю украсили ее цветами, а самого жаворонка положили в красивую красненькую коробочку – его хотели похоронить по-царски! Бедная птичка! Пока она жила и пела, они забывали о ней, оставили ее умирать в клетке от жажды, а теперь устраивали ей пышные похороны и проливали над ее могилкой горькие слезы!

Дерн с ромашкой был выброшен на пыльную дорогу; никто и не подумал о той, которая все-таки больше всех любила бедную птичку и всем сердцем желала ее утешить.



# Стойкий оловянный солдатик

Было когда-то двадцать пять оловянных солдатиков, родных братьев по матери – старой оловянной ложке; ружье на плече, голова прямо, красный с синим мундир – ну, прелесть что за солдаты! Первые слова, которые они слышали, когда открыли их домик-коробку, были: «Ах, оловянные солдатики!» Это закричал, хлопая в ладоши, маленький мальчик, которому подарили оловянных солдатиков в день его рождения. И он сейчас же принялся расставлять их на столе. Все солдатики были совершенно одинаковы, кроме одного, который был с одной ногой. Его отливали последним, и олова немножко не хватило, но он стоял на своей одной ноге так же твердо, как другие на двух; и он-то как раз и оказался самым замечательным из всех.

На столе, где очутились солдатики, было много разных игрушек, но больше всего бросался в глаза чудесный дворец из картона. Сквозь маленькие окна можно было видеть дворцовые покои; перед самым дворцом, вокруг маленького зеркала, которое изображало озеро, стояли деревца, а по озеру плавали и любовались своим отражением восковые лебеди. Все это было чудо как мило, но милее всего была барышня, стоявшая на самом пороге дворца. Она тоже была вырезана из бумаги и одета в юбочку из тончайшего батиста; через плечо у нее шла узенькая голубая ленточка в виде шар-

фа, а на груди сверкала розетка величиною с лицо самой барышни. Барышня стояла на одной ножке, вытянув руки, — она была танцовщицей, — а другую ногу подняла так высоко, что наш солдатик ее и не увидел, и подумал, что красавица тоже одноногая, как он.

«Вот бы мне такую жену! — подумал он. — Только она, как видно, из знатных, живет во дворце, а у меня только и есть, что коробка, да и то в ней нас набито двадцать пять штук, ей там не место! Но познакомиться все же не мешает».

И он притаился за табакеркой, которая стояла тут же на столе; отсюда ему отлично было видно прелестную танцовщицу, которая все стояла на одной ноге, не теряя равновесия.

Поздно вечером всех других оловянных солдатиков уложили в коробку, и все люди в доме легли спать. Теперь игрушки сами стали играть в гости, в войну и в бал. Оловянные солдатiki принялись стучать в стенки коробки — они тоже хотели играть, да не могли приподнять крышки. Щелкунчик кувыркался, грифель плясал по доске; поднялся такой шум и гам, что проснулась канарейка и тоже заговорила, да еще стихами! Не трогались с места только танцовщица и оловянный солдатик: она по-прежнему держалась на вытянутом носке, простирая руки вперед, он бодро стоял под ружьем и не сводил с нее глаз.

Пробило двенадцать. Щелк! — табакерка раскрылась.

Там не было табаку, а сидел маленький черный тролль;

табакерка-то была с фокусом!

– Оловянный солдатик, – сказал тролль, – нечего тебе заглядываться!

Оловянный солдатик будто и не слышал.

– Ну постой же! – сказал тролль.

Утром дети встали и оловянного солдатика поставили на окно.

Вдруг – по милости ли тролля или от сквозняка – окно распахнулось, и наш солдатик полетел головой вниз с третьего этажа, – только в ушах засвистело! Минута – и он уже стоял на мостовой кверху ногой: голова его в каске и ружье застряли между камнями мостовой.

Мальчик и служанка сейчас же выбежали на поиски, но, сколько ни старались, найти солдатика не могли; они чуть не наступали на него ногами и все-таки не замечали его. Закричи он им: «Я тут!» – они, конечно, сейчас же нашли бы его, но он считал неприличным кричать на улице: он ведь носил мундир!

Начал накрапывать дождик; сильнее, сильнее, наконец хлынул ливень. Когда опять прояснилось, пришли двое уличных мальчишек.

– Гляди! – сказал один. – Вон оловянный солдатик! Отправим его в плавание!

И они сделали из газетной бумаги лодочку, посадили туда оловянного солдатика и пустили в канаву. Сами мальчишки бежали рядом и хлопали в ладоши. Ну и ну! Вот так волны

ходили по канавке! Течение так и несло, – не мудрено после такого ливня!

Лодочку бросало и вертело во все стороны, так что оловянный солдатик весь дрожал, но он держался стойко: ружье на плече, голова прямо, грудь вперед!

Лодку понесло под длинные мостки: стало так темно, точно солдатик опять попал в коробку.

«Куда меня несет? – думал он. – Да, это все штуки гадкого тролля! Ах, если бы со мною в лодке сидела та красавица – по мне, будь хоть вдвое темнее!»

В эту минуту из-под мостков выскочила большая крыса.

– Паспорт есть? – спросила она. – Давай паспорт!

Но оловянный солдатик молчал и еще крепче сжимал ружье. Лодку несло, а крыса плыла за ней вдогонку. У! Как она скрежетала зубами и кричала плывущим навстречу щепкам и соломинкам:

– Держи, держи его! Он не внес пошлины, не показал паспорта!

Но течение несло лодку все быстрее и быстрее, и оловянный солдатик уже видел впереди свет, как вдруг услышал такой страшный шум, что струсил бы любой храбрец. Представьте себе, у конца мостика вода из канавки устремлялась в большой канал! Это было для солдатика так же страшно, как для нас нестись на лодке к большому водопаду.

Но солдатика несло все дальше, остановиться было нельзя. Лодка с солдатиком скользнула вниз; бедняга держался

по-прежнему стойко и даже глазом не моргнул. Лодка завертелась... Раз, два – наполнилась водой до краев и стала тонуть. Оловянный солдатик очутился по горло в воде; дальше больше... вода покрыла его с головой! Тут он подумал о своей красавице: не видать ему ее больше. В ушах у него звучало:

Вперед стремись, о воин,  
И смерть спокойно встретить!

Бумага разорвалась, и оловянный солдатик пошел было ко дну, но в ту же минуту его проглотила рыба.

Какая темнота! Хуже, чем под мостками, да еще страх как тесно! Но оловянный солдатик держался стойко и лежал, вытянувшись во всю длину, крепко прижимая к себе ружье.

Рыба металась туда и сюда, выделявала самые удивительные скачки, но вдруг замерла, точно в нее ударила молния. Блеснул свет, и кто-то закричал: «Оловянный солдатик!» Дело в том, что рыбу поймали, свезли на рынок, потом она попала на кухню, и кухарка распоролла ей брюхо большим ножом. Кухарка взяла оловянного солдатика двумя пальцами за талию и понесла в комнату, куда сбежались посмотреть на замечательного путешественника все домашние. Но оловянный солдатик ничуть не загордился. Его поставили на стол, и – чего-чего не бывает на свете! – он оказался в той же самой комнате, увидал тех же детей, те же игрушки и чудесный

дворец с прелестной маленькой танцовщицей! Она по-прежнему стояла на одной ножке, высоко подняв другую. Вот так стойкость! Оловянный солдатик был тронут и чуть не заплакал оловом, но это было бы неприлично, и он удержался. Он смотрел на нее, она на него, но они не обмолвились ни словом.

Вдруг один из мальчиков схватил оловянного солдатика и ни с того ни с сего швырнул его прямо в печку. Наверное, это все тролль подстроил! Оловянный солдатик стоял охваченный пламенем: ему было ужасно жарко, от огня или от любви – он и сам не знал. Краски с него совсем слезли, он весь полинял; кто знает отчего – от дороги или от горя? Он смотрел на танцовщицу, она на него, и он чувствовал, что тает, но все еще держался стойко, с ружьем на плече. Вдруг дверь в комнате распахнулась, ветер подхватил танцовщицу, и она, как сифида, порхнула прямо в печку к оловянному солдатiku, вспыхнула разом и – конец! А оловянный солдатик растаял и сплавился в комочек. На другой день горничная выгребала из печки золу и нашла маленькое оловянное сердечко; от танцовщицы же осталась одна розетка, да и та вся обгорела и почернела, как уголь.

## Дикие лебеди

Далеко-далеко, в той стране, куда улетают от нас на зиму ласточки, жил король. У него было одиннадцать сыновей и одна дочка, Элиза. Одиннадцать братьев-принцев уже ходили в школу; на груди у каждого красовалась звезда, а сбоку гремела сабля; писали они на золотых досках алмазными грифелями и отлично умели читать, хоть по книжке, хоть наизусть – все равно. Сразу было слышно, что читают настоящие принцы! Сестрица их Элиза сидела на скамеечке из зеркального стекла и рассматривала книжку с картинками, за которую было заплачено полкоролевства.

Да, хорошо жилось детям, только недолго!

Отец их, король той страны, женился на злой королеве, которая невзлюбила бедных детей. Им пришлось испытать это в первый же день: во дворце шло веселье, и дети затеяли игру в гости, но мачеха вместо разных пирожных и печеных яблок, которых они всегда получали вдоволь, дала им чайную чашку песку и сказала, что они могут представить себе, будто это угощение.

Через неделю она отдала сестрицу Элизу на воспитание в деревню каким-то крестьянам, а прошло еще немного времени, и она успела столько наговорить королю о бедных принцах, что он больше и видеть их не хотел.

– Летите-ка подобиру-поздорову на все четыре стороны! –

сказала злая королева. – Летите большими птицами без голоса и промышляйте о себе сами!

Но она не могла сделать им такого зла, как бы ей хотелось, – они превратились в одиннадцать прекрасных диких лебедей, с криком вылетели из дворцовых окон и понеслись над парками и лесами.

Было раннее утро, когда они пролетали мимо избы, где спала еще крепким сном их сестрица Элиза. Они принялись летать над крышей, вытягивали свои гибкие шеи и хлопали крыльями, но никто не слышал и не видел их; так им и пришлось улететь ни с чем. Высоко-высоко взвились они к самым облакам и полетели в большой, темный лес, что тянулся до самого моря.

Бедняжка Элиза стояла в крестьянской избе и играла зеленым листочком – других игрушек у нее не было; она проткнула в листке дырочку, смотрела сквозь нее на солнышко, и ей казалось, что она видит ясные глаза своих братьев; когда же теплые лучи солнца скользили по ее щеке, она вспоминала их нежные поцелуи.

Дни шли за днями, один как другой. Колыхал ли ветер розовые кусты, росшие возле дома, и шептал розам: «Есть ли кто-нибудь красивее вас?» – розы качали головками и говорили: «Элиза красивее». Сидела ли в воскресный день у дверей своего домика какая-нибудь старушка, читавшая Псалтырь, а ветер переворачивал листы, говоря книге: «Есть ли кто набожнее тебя?» – книга отвечала: «Элиза набожнее!» И



розы и Псалтырь говорили сушную правду.

Но вот Элизе минуло пятнадцать лет, и ее отправили домой. Увидав, какая она хорошенькая, королева разгневалась и возненавидела падчерицу. Она с удовольствием превратила бы ее в дикого лебедя, да нельзя было сделать этого сейчас же, потому что король хотел видеть свою дочь.

И вот рано утром королева пошла в мраморную, всю убранный чудными коврами и мягкими подушками купальню, взяла трех жаб, поцеловала каждую и сказала первой:

– Сядь Элизе на голову, когда она войдет в купальню; пусть она станет такую же тупой и ленивой, как ты! А ты сядь ей на лоб! – сказала она другой. – Пусть Элиза будет такой же безобразной, как ты, и отец не узнает ее! Ты же ляг ей на сердце! – шепнула королева третьей жабке. – Пусть она станет злонравной и мучается от этого!

Затем она спустила жаб в прозрачную воду, и вода сейчас же вся позеленела. Позвав Элизу, королева раздела ее и велела ей войти в воду. Элиза послушалась, и одна жаба села ей на темя, другая на лоб, а третья на грудь; но Элиза даже не заметила этого, и, как только вышла из воды, по воде поплыли три красных мака. Если бы жабы не были отравлены поцелуем ведьмы, они превратились бы, полежа у Элизы на голове и на сердце, в красные розы; девушка была так набожна и невинна, что колдовство никак не могло подействовать на нее.

Увидав это, злая королева натерла Элизу соком грецко-

го ореха, так что она стала совсем коричневой, вымазала ей личико вонючей мазью и спутала ее чудные волосы. Теперь нельзя было и узнать хорошенькую Элизу. Даже отец ее испугался и сказал, что это не его дочь. Никто не признавал ее, кроме цепной собаки да ласточек, но кто же стал бы слушать бедных тварей!

Заплакала Элиза и подумала о своих выгнанных братьях, тайком ушла из дворца и целый день брела по полям и болотам, пробираясь к лесу. Элиза и сама хорошенько не знала, куда надо ей идти, но так истосковалась по своим братьям, которые тоже были изгнаны из родного дома, что решила искать их повсюду, пока не найдет.

Недолго пробыла она в лесу, как уже настала ночь, и Элиза совсем сбилась с дороги; тогда она улеглась на мягкий мох, прочла молитву на сон грядущий и склонила голову на пень. В лесу стояла тишина, воздух был такой теплый, в траве мелькали, точно зеленые огоньки, сотни светлячков, а когда Элиза задела рукой за какой-то кустик, они посыпались в траву звездным дождем.

Всю ночь снились Элизе братья: все они опять были детьми, играли вместе, писали грифелями на золотых досках и рассматривали чудеснейшую книжку с картинками, которая стояла полкоролевства. Но писали они на досках не черточки и нулики, как бывало прежде, – нет, они описывали все, что видели и пережили. Все картины в книжке были живые: птицы распевали, а люди сходили со страниц и разгова-

ривали с Элизой и ее братьями; но стоило ей захотеть перевернуть лист, – они впрыгивали обратно, иначе в картинках вышла бы путаница.

Когда Элиза проснулась, солнышко стояло уже высоко; она даже не могла хорошенько видеть его за густой листвой деревьев, но отдельные лучи его пробирались между ветвями и бегали золотыми зайчиками по траве; от зелени шел чудный запах, а птички чуть не садились Элизе на плечи. Невдалеке слышалось журчание источника; оказалось, что тут бежало несколько больших ручьев, вливавшихся в пруд с чудным песчаным дном. Пруд был окружен живой изгородью, но в одном месте дикие олени проломали для себя широкий проход, и Элиза могла спуститься к самой воде. Вода в пруду была чистая и прозрачная; не шевели ветер ветвей деревьев и кустов, можно было бы подумать, что и деревья и кусты нарисованы на дне, так ясно они отражались в зеркале вод.

Увидав в воде свое лицо, Элиза совсем перепугалась, такое оно было черное и гадкое; но вот она зачерпнула горстью воды, потерла глаза и лоб, и опять заблестела ее белая нежная кожа. Тогда Элиза разделась совсем и вошла в прохладную воду. Такой хорошенькой принцессы поискать было по белу свету!

Одевшись и заплетя свои длинные волосы, она пошла к журчащему источнику, напилась воды прямо из пригоршни и потом пошла дальше по лесу, сама не зная куда. Она дума-

ла о своих братьях и надеялась, что Бог не покинет ее: это он ведь повелел расти диким лесным яблокам, чтобы напитать ими голодных; он же указал ей одну из таких яблонь, ветви которой гнулись от тяжести плодов. Утолив голод, Элиза подперла ветви палочками и углубилась в самую чащу леса. Там стояла такая тишина, что Элиза слышала свои собственные шаги, слышала шуршанье каждого сухого листка, попадавшего ей под ноги. Ни единой птички не залетало в эту глушь, ни единый солнечный луч не проскальзывал сквозь сплошную чащу ветвей. Высокие стволы стояли плотными рядами, точно бревенчатые стены; никогда еще Элиза не чувствовала себя такой одинокой.

Ночью стало еще темнее; во мху не светилося ни единого светлячка. Печально улеглась Элиза на траву, и вдруг ей показалось, что ветви над ней раздвинулись и на нее глянул добрыми очами сам Господь Бог; маленькие ангелочки выглядывали из-за его головы и из-под рук.

Проснувшись утром, она и сама не знала, было ли то во сне или наяву.

Отправившись дальше, Элиза встретила старушку с корзинкой ягод; старушка дала девушке горсточку ягод, а Элиза спросила ее, не проезжали ли тут, по лесу, одиннадцать принцев.

– Нет, – сказала старушка, – но вчера я видела здесь на реке одиннадцать лебедей в золотых коронах.

И старушка вывела Элизу к обрыву, под которым проте-

кала река. По обоим берегам росли деревья, простиравшие навстречу друг другу свои длинные, густо покрытые листьями ветви. Те из деревьев, которым не удавалось сплести своих ветвей с ветвями их братьев на противоположном берегу, так вытягивались над водой, что корни их вылезали из земли, и они все же добивались своего.

Элиза простилась со старушкой и пошла к устью реки, впадавшей в открытое море.

И вот перед молодой девушкой открылось чудное безбрежное море, но на всем его просторе не виднелось ни одного паруса, не было ни единой лодочки, на которой бы она могла пуститься в дальнейший путь. Элиза посмотрела на бесчисленные валуны, выброшенные на берег морем, – вода отшлифовала их так, что они стали совсем гладкими и круглыми. Все остальные выброшенные морем предметы: стекло, железо и камни – тоже носили следы этой шлифовки, а между тем вода была мягче нежных рук Элизы, и девушка подумала: «Волны неустанно катятся одна за другой и наконец шлифуют самые твердые предметы. Буду же и я трудиться неустанно! Спасибо вам за науку, светлые быстрые волны! Сердце говорит мне, что когда-нибудь вы отнесете меня к моим милым братьям!»

На выброшенных морем сухих водорослях лежали одиннадцать белых лебединых перьев; Элиза собрала и связала их в пучок; на перьях еще блестели капли – росы или слез, кто знает? Пустынно было на берегу, но Элиза не чувство-

вала этого: море представляло собою вечное разнообразие; в несколько часов тут можно было насмотреться больше, чем в целый год где-нибудь на берегах пресных внутренних озер. Если на небо надвигалась большая черная туча и ветер крепчал, море как будто говорило: «Я тоже могу почернеть!» – начинало бурлить, волноваться и покрывалось белыми барашками. Если же облака были розоватого цвета, а ветер спал, – море было похоже на лепесток розы; иногда оно становилось зеленым, иногда белым; но какая бы тишь ни стояла в воздухе и как бы спокойно ни было само море, у берега постоянно было заметно легкое волнение, – вода тихо вздымалась, словно грудь спящего ребенка.

Когда солнце было близко к закату, Элиза увидала вереницу летевших к берегу диких лебедей в золотых коронах; всех лебедей было одиннадцать, и летели они один за другим, вытянувшись длинною белою лентой. Элиза взобралась на верх обрыва и спряталась за куст. Лебеди спустились недалеко от нее и захлопали своими большими белыми крыльями.

В ту же самую минуту, как солнце скрылось под водой, оперение с лебедей вдруг спало, и на земле очутились одиннадцать красавцев принцев, Элизиных братьев! Элиза громко вскрикнула; она сразу узнала их, несмотря на то, что они успели сильно измениться; сердце подсказало ей, что это они! Она бросилась в их объятия, называла их всех по именам, а они-то как обрадовались, увидав и узнав свою сестрицу, которая так выросла и похорошела. Элиза и ее братья

смеялись и плакали и скоро узнали друг от друга, как скверно поступила с ними мачеха.

— Мы, братья, — сказал самый старший, — летаем в виде диких лебедей весь день, от восхода до самого заката солнечного; когда же солнце заходит, мы опять принимаем человеческий образ. Поэтому ко времени захода солнца мы всегда должны иметь под ногами твердую землю: случись нам превратиться в людей во время нашего полета под облаками, мы тотчас же упали бы с такой страшной высоты. Живем же мы не тут; далеко-далеко за морем лежит такая же чудная страна, как эта, но дорога туда длинна, приходится перелетать через все море, а по пути нет ни единого острова, где бы мы могли провести ночь. Только по самой середине моря торчит небольшой одинокий утес, на котором мы кое-как и можем отдохнуть, тесно прижавшись друг к другу. Если море бушует, брызги воды перелетают даже через наши головы, но мы благодарим Бога и за такое пристанище: не будь его, нам вовсе не удалось бы навестить нашей милой родины — и теперь-то для этого перелета нам приходится выбирать два самых длинных дня в году. Лишь раз в год позволено нам прилетать на родину; мы можем оставаться здесь одиннадцать дней и летать над этим большим лесом, откуда нам виден дворец, где мы родились и где живет наш отец, и колокольня церкви, где покоится наша мать. Тут даже кусты и деревья кажутся нам родными; тут по равнинам по-прежнему бегают дикие лошади, которых мы видели в дни нашего дет-

ства, а угольщики по-прежнему поют те песни, под которые мы плясали детьми. Тут наша родина, сюда тянет нас всем сердцем, и здесь-то мы нашли тебя, милая, дорогая сестричка! Два дня еще можем мы пробыть здесь, а затем должны улететь за море, в чудную, но не родную нам страну! Как же нам взять тебя с собой? У нас нет ни корабля, ни лодки!

– Как бы мне освободить вас от чар? – спросила братьев сестра.

Так они проговорили почти всю ночь и задремали только на несколько часов.

Элиза проснулась от шума лебединых крыл. Братья опять стали птицами и летали в воздухе большими кругами, а потом и совсем скрылись из виду. С Элизой остался только самый младший из братьев; лебедь положил свою голову ей на колени, а она гладила и перебирала его перышки. Целый день провели они вдвоем, к вечеру же прилетели и остальные, и, когда солнце село, все вновь приняли человеческий образ.

– Завтра мы должны улететь отсюда и сможем вернуться не раньше будущего года, но тебя мы не покинем здесь! – сказал младший брат. – Хватит ли у тебя мужества улететь с нами? Мои руки довольно сильны, чтобы пронести тебя через лес, – неужели же мы все не сможем перенести тебя на крыльях через море?

– Да, возьмите меня с собой! – сказала Элиза.

Всю ночь провели они за плетеньем сетки из гибкого лоз-



няка и тростника; сетка вышла большая и прочная; в нее положили Элизу; превратившись на восходе солнца в лебедей, братья схватили сетку клювами и взвились с милой, спавшей еще крепким сном сестрицей к облакам. Лучи солнца светили ей прямо в лицо, поэтому один из лебедей полетел над ее головой, защищая ее от солнца своими широкими крыльями.

Они были уже далеко от земли, когда Элиза проснулась, и ей показалось, что она видит сон наяву, так странно было ей лететь по воздуху. Возле нее лежали ветка с чудесными спелыми ягодами и пучок вкусных кореньев; их набрал и положил к ней самый младший из братьев, и она благодарно улыбнулась ему, — она догадалась, что это он летел над ней и защищал ее от солнца своими крыльями.

Высоко-высоко летели они, так что первый корабль, который они увидели в море, показался им плавающей на воде чайкой. В небе позади них стояло большое облако — настоящая гора! — и на нем Элиза увидела движущиеся исполнинские тени одиннадцати лебедей и свою собственную. Вот была картина! Таких ей еще не приходилось видеть! Но по мере того как солнце подымалось выше и облако оставалось все дальше и дальше позади, воздушные тени мало-помалу исчезли.

Целый день летели лебеди, как пущенная из лука стрела, но все-таки медленнее обыкновенного; теперь ведь они несли сестру. День стал клониться к вечеру, поднялась непого-

да; Элиза со страхом следила за тем, как опускалось солнце, — одинокого морского утеса все еще не было видно. Вот ей показалось, что лебеди как-то усиленно машут крыльями. Ах, это она была виной того, что они не могли лететь быстрее! Зайдет солнце, они станут людьми, упадут в море и утонут! И она от всего сердца стала молиться Богу, но утес все не показывался. Черная туча приближалась, сильные порывы ветра предвещали бурю, облака собрались в сплошную грозную свинцовую волну, катившуюся по небу; молния сверкала за молнией.

Одним своим краем солнце почти уже касалось воды; сердце Элизы затрепетало; лебеди вдруг полетели вниз с невероятною быстротой, и девушка подумала уже, что все они падают; но нет, они опять продолжали лететь. Солнце наполовину скрылось под водой, и тогда только Элиза увидела под собой утес, величиною не больше тюленя, высунувшего из воды голову. Солнце быстро угасало; теперь оно казалось только небольшою блестящею звездочкой; но вот лебеди ступили ногой на твердую почву, и солнце погасло, как последняя искра догоревшей бумаги. Элиза увидела вокруг себя братьев, стоявших рука об руку; все они едва умещались на крошечном утесе. Море бешено билось об него и окатывало их целым дождем брызг; небо пылало от молний, и ежеминутно грохотал гром, но сестра и братья держались за руки и пели псалом, вливавший в их сердца утешение и мужество.

На заре буря улеглась, опять стало ясно и тихо; с восходом солнца лебеди с Элизой полетели дальше. Море еще волновалось, и они видели с высоты, как плыла по темно-зеленой воде, точно несметные стаи лебедей, белая пена.

Когда солнце поднялось выше, Элиза увидела перед собой как бы плавающую в воздухе гористую страну с массами блестящего льда на скалах; между скалами возвышался огромный замок, обвитый какими-то смелыми воздушными галереями из колонн; внизу под ним качались пальмовые леса и роскошные цветы, величиною с мельничные колеса. Элиза спросила, не это ли та страна, куда они летят, но лебеди покачали головами: она видела перед собой чудный, вечно изменяющийся облачный замок фата-морганы; туда они не смели принести ни единой человеческой души. Элиза опять устремила свой взор на замок, и вот горы, леса и замок сдвинулись вместе, и из них образовались двадцать одинаковых величественных церквей с колокольнями и стрельчатыми окнами. Ей показалось даже, что она слышит звуки органа, но это шумело море. Теперь церкви были совсем близко, но вдруг превратились в целую флотилию кораблей; Элиза вгляделась пристальнее и увидела, что это просто морской туман, подымавшийся над водой. Да, перед глазами у нее были вечно сменяющиеся воздушные образы и картины! Но вот наконец показалась и настоящая земля, куда они летели. Там возвышались чудные горы, кедровые леса, города и замки. Задолго до захода солнца Элиза сидела на скале перед большою пе-

щерой, точно обвешанной вышитыми зелеными коврами, — так обросла она нежно-зелеными ползучими растениями.

— Посмотрим, что приснится тебе тут ночью! — сказал младший из братьев и указал сестре ее спальню.

— Ах, если бы мне приснилось, как освободить вас от чар! — сказала она, и эта мысль так и не выходила у нее из головы.

Элиза стала усердно молиться Богу и продолжала свою молитву даже во сне. И вот ей пригрезилось, что она летит высоко-высоко по воздуху к замку фата-морганы и что фея сама выходит ей навстречу, такая светлая и прекрасная, но в то же время удивительно похожая на ту старушку, которая дала Элизе в лесу ягод и рассказала о лебедях в золотых коронах.

— Твоих братьев можно спасти, — сказала она. — Но хватит ли у тебя мужества и стойкости? Вода мягче твоих нежных рук и все-таки шлифует камни, но она не ощущает боли, которую будут ощущать твои пальцы; у воды нет сердца, которое бы стало изнывать от страха и муки, как твое. Видишь, у меня в руках крапива? Такая крапива растет здесь возле пещеры, и только она, да еще та крапива, что растет на кладбищах, может тебе пригодиться; заметь же ее! Ты нарвешь этой крапивы, хотя твои руки покроются волдырями от ожогов; потом разомнешь ее ногами, ссучишь из полученного волокна длинные нити, затем сплетишь из них одиннадцать рубашек-панцирей с длинными рукавами и набросишь их на ле-

бедей; тогда колдовство исчезнет. Но помни, что с той минуты, как ты начнешь свою работу, и до тех пор, пока не окончишь ее, хотя бы она длилась целые годы, ты не должна говорить ни слова. Первое же слово, которое сорвется у тебя с языка, пронзит сердца твоих братьев, как кинжалом. Их жизнь и смерть будут в твоих руках! Помни же все это!

И фея коснулась ее руки жгучею крапивой; Элиза почувствовала боль, как от ожога, и проснулась. Был уже светлый день, и рядом с ней лежал пучок крапивы, точно такой же, как та, которую она видела сейчас во сне. Тогда она упала на колени, поблагодарила Бога и вышла из пещеры, чтобы сейчас же приняться за работу.

Своими нежными руками рвала она злую, жгучую крапиву, и руки ее покрывались крупными волдырями, но она с радостью переносила боль: только бы удалось ей спасти милых братьев! Потом она размяла крапиву голыми ногами и стала сучить зеленое волокно.

С заходом солнца явились братья и очень испугались, видя, что она стала немой. Они думали, что это новое колдовство их злой мачехи, но, взглянув на ее руки, поняли, что она стала немой ради их спасения. Самый младший из братьев заплакал; слезы его падали ей на руки, и там, куда упала слезинка, исчезали жгучие волдыри, утихала боль.

Ночь Элиза провела за своей работой; отдых не шел ей на ум; она думала только о том, как бы поскорее освободить своих милых братьев. Весь следующий день, пока лебеди ле-

тали, она оставалась одна-одинешенька, но никогда еще время не бежало для нее с такой быстротой. Одна рубашка-панцирь была готова, и девушка принялась за следующую.

Вдруг в горах послышались звуки охотничьих рогов; Элиза испугалась; звуки все приближались, затем раздался лай собак. Девушка скрылась в пещеру, связала всю собранную ею крапиву в пучок и села на него.

В ту же минуту из-за кустов выпрыгнула большая собака, за ней другая и третья; они громко лаяли и бегали взад и вперед. Через несколько минут у пещеры собрались все охотники; самый красивый из них был король той страны; он подошел к Элизе, – никогда еще не встречал он такой красавицы!

– Как ты попала сюда, прелестное дитя? – спросил он, но Элиза только покачала головой; она ведь не смела говорить: от ее молчания зависела жизнь и спасение ее братьев. Руки свои Элиза спрятала под передник, чтобы король не увидал, как она страдает.

– Пойдем со мной! – сказал он. – Здесь тебе нельзя оставаться. Если ты так добра, как хороша, я наряжу тебя в шелк и бархат, надену тебе на голову золотую корону, и ты будешь жить в моем великолепном дворце! – И он посадил ее на седло перед собой; Элиза плакала и ломала себе руки, но король сказал: – Я хочу только твоего счастья. Когда-нибудь ты сама поблагодаришь меня!

И повез ее через горы, а охотники скакали следом. К вечеру показалась великолепная столица короля, с церквями и

куполами, и король привел Элизу в свой дворец, где в высоких мраморных покоях журчали фонтаны, а стены и потолки были изукрашены живописью. Но Элиза не смотрела ни на что, плакала и тосковала; безучастно отдалась она в распоряжение прислужниц, и те надели на нее королевские одежды, вплели ей в волосы жемчужные нити и натянули на обожженные пальцы тонкие перчатки.

Богатые уборы так шли к ней, она была в них так ослепительно хороша, что весь двор преклонился перед ней, а король провозгласил ее своей невестой, хотя архиепископ и покачивал головой, нашептывая королю, что лесная красавица, должно быть, ведьма, что она отвела им всем глаза и околдовала сердце короля.

Король, однако, не стал его слушать, подал знак музыкантам, велел вызвать прелестнейших танцовщиц и подавать на стол дорогие блюда, а сам повел Элизу через благоухающие сады в великолепные покои, она же оставалась по-прежнему грустною и печальною. Но вот король открыл дверцу в маленькую комнатку, находившуюся как раз возле ее спальни. Комнатка вся была увешана зелеными коврами и напоминала лесную пещеру, где нашли Элизу; на полу лежала связка крапивного волокна, а на потолке висела сплетенная Элизой рубашка-панцирь; все это, как диковинку, захватил с собой из леса один из охотников.

– Вот тут ты можешь вспоминать свое прежнее жилище! – сказал король. – Тут и работа твоя; может быть, ты пожела-

ешь иногда поразвлечься среди всей окружающей тебя пышности воспоминаниями о прошлом!

Увидав дорогую ее сердцу работу, Элиза улыбнулась и покраснела; она подумала о спасении братьев и поцеловала у короля руку, а он прижал ее к сердцу и велел звонить в колокола по случаю своей свадьбы. Немая лесная красавица стала королевой.

Архиепископ продолжал нашептывать королю злые речи, но они не доходили до сердца короля, и свадьба состоялась. Архиепископ сам должен был надеть на невесту корону; с досады он так плотно надвинул ей на лоб узкий золотой обруч, что всякому стало бы больно, но она даже не обратила на это внимания: что значила для нее телесная боль, если сердце ее изнывало от тоски и жалости к милым братьям! Губы ее по-прежнему были сжаты, ни единого слова не вылетело из них – она знала, что от ее молчания зависит жизнь братьев, – зато в глазах светилась горячая любовь к доброму красивому королю, который делал все, чтобы только порадовать ее. С каждым днем она привязывалась к нему все больше и больше. О! Если бы она могла довериться ему, высказать ему свои страдания, но – увы! – она должна была молчать, пока не окончит своей работы. По ночам она тихонько уходила из королевской спальни в свою потаенную комнатку, похожую на пещеру, и плела там одну рубашку-панцирь за другой, но когда принялась уже за седьмую, у нее вышло все волокно.

Она знала, что может найти такую крапиву на кладбище,



но ведь она должна была рвать ее сама; как же быть?

«О, что значит телесная боль в сравнении с печалью, терзающею мое сердце! — думала Элиза. — Я должна решиться! Господь не оставит меня!»

Сердце ее сжималось от страха, точно она шла на дурное дело, когда пробиралась лунною ночью в сад, а оттуда по длинным аллеям и пустынным улицам на кладбище. На широких могильных плитах сидели отвратительные ведьмы-ламии; они сбросили с себя лохмотья, точно собирались купаться, разрывали своими костлявыми пальцами свежие могилы, вытаскивали оттуда тела и пожирали их. Элизе пришлось пройти мимо них, и они так и таращили на нее свои злые глаза, но она сотворила молитву, набрала крапивы и вернулась домой.

Лишь один человек не спал в ту ночь и видел ее — архиепископ; теперь он убедился, что был прав, подозревая королеву; итак, она была ведьмой и потому сумела околдовать короля и весь народ.

Когда король пришел к нему в исповедальню, архиепископ рассказал ему о том, что видел и что подозревал; злые слова так и сыпались у него с языка, а резные изображения святых качали головами, точно хотели сказать: «Неправда, Элиза невинна!» Но архиепископ перетолковывал это по-своему, говоря, что и святые свидетельствуют против нее, неодобрительно качая головами. Две крупные слезы покатились по щекам короля, сомнение и отчаяние овладели его

сердцем. Ночью он только притворился, что спит, на самом же деле сон бежал от него. И вот он увидел, что Элиза встала и скрылась из спальни; в следующие ночи повторилось то же самое; он следил за ней и видел, как она исчезала в своей потаенной комнатке.

Чело короля становилось все мрачнее и мрачнее; Элиза замечала это, но не понимала причины; сердце ее ныло от страха и от жалости к братьям; на королевский пурпур ка- тились горькие слезы, блестевшие, как алмазы, а люди, видевшие ее богатые уборы, желали быть на месте королевы! Но скоро-скоро конец ее работе; недоставало всего одной рубашки, и тут у Элизы опять не хватило волокна. Еще раз, в последний раз, нужно было сходить на кладбище и нарвать несколько пучков крапивы. Она с ужасом подумала о пустынном кладбище и о страшных ведьмах; но решимость ее спасти братьев была непоколебима, как и вера в Бога.

Элиза отправилась, но король с архиепископом следили за ней и увидали, как она скрылась за кладбищенскою оградой; подойдя поближе, они увидели сидевших на могильных плитах ведьм, и король повернул назад: между этими ведьмами находилась ведь и та, чья голова только что покоилась на его груди!

– Пусть судит ее народ! – сказал он.

И народ присудил – сжечь королеву на костре. Из велико- лепных королевских покоев Элизу перевели в мрачное, сырое подземелье с железными решетками на окнах, в ко-

торые со свистом врывался ветер. Вместо бархата и шелка дали бедняжке связку набранной ею на кладбище крапивы; эта жгучая связка должна была служить Элизе изголовьем, а сплетенные ею жесткие рубашки-панцири – постелью и коврами; но дороже всего этого ей ничего и не могли дать, и она с молитвой на устах вновь принялась за свою работу. С улицы доносились до Элизы оскорбительные песни насмеявшихся над нею уличных мальчишек; ни одна живая душа не обратилась к ней со словом утешения и сочувствия.

Вечером у решетки раздался шум лебединых крыл – это отыскал сестру самый младший из братьев, и она громко зарыдала от радости, хотя и знала, что ей оставалось жить всего одну ночь; зато работа ее подходила к концу, и братья были тут!

Архиепископ пришел провести с нею ее последние часы, – так обещал он королю, – но она покачала головой и взором и знаками попросила его уйти; в эту ночь ей ведь нужно было кончить свою работу, иначе пропали бы задаром все ее страдания, и слезы, и бессонные ночи! Архиепископ ушел, понося ее бранными словами, но бедняжка Элиза знала, что она невинна, и продолжала работать.

Чтобы хоть немножко помочь ей, мышки, шмыгавшие по полу, стали собирать и приносить к ее ногам разбросанные стебли крапивы, а дрозд, сидевший за решетчатым окном, утешал ее своею веселою песенкой.

На заре, незадолго до восхода солнца, у дворцовых ворот

появились одиннадцать братьев Элизы и потребовали, чтобы их впустили к королю. Им отвечали, что этого никак нельзя: король еще спал и никто не смел его беспокоить. Они продолжали просить, потом стали угрожать; явилась стража, а затем вышел и сам король узнать, в чем дело. Но в эту минуту взошло солнце, и никаких братьев больше не было – над дворцом взвились одиннадцать диких лебедей. Народ валом повалил за город посмотреть, как будут жечь ведьму. Жалкая кляча везла телегу, в которой сидела Элиза; на нее накинули плащ из грубой мешковины; ее чудные длинные волосы были распущены по плечам, в лице не было ни кровинки, губы тихо шевелились, шепча молитвы, а пальцы плели зеленую пряжу. Даже по дороге к месту казни не выпускала она из рук начатой работы; десять рубашек-панцирей лежали у ее ног совсем готовые, одиннадцатую она плела. Толпа глумилась над нею.

– Посмотрите на ведьму! Ишь, бормочет! Небось не молитвенник у нее в руках – нет, все возится со своими колдовскими штуками! Вырвем-ка их у нее да разорвем в клочки.

И они теснились вокруг нее, собираясь вырвать из ее рук работу, как вдруг прилетели одиннадцать белых лебедей, сели по краям телеги и шумно захлопали своими могучими крыльями. Испуганная толпа отступила.

– Это знамение небесное! Она невинна, – шептали многие, но не смели сказать этого вслух.

Палач схватил Элизу за руку, но она поспешно наброси-

ла на лебедей одиннадцать рубашек, и... перед ней встали одиннадцать красавцев принцев, только у самого младшего не хватало одной руки, вместо нее было лебединое крыло: Элиза не успела закончить последней рубашки, и в ней недоставало одного рукава.

– Теперь я могу говорить! – сказала она. – Я невинна!

И народ, видевший все, что произошло, преклонился перед ней, как перед святой, но она без чувств упала в объятия братьев – так действовали на нее неустанное напряжение сил, страх и боль.

– Да, она невинна! – сказал самый старший брат и рассказал все, как было; и пока он говорил, в воздухе распространилось благоухание, точно от множества роз – это каждое полено в костре пустило корни и ростки, и образовался высокий благоухающий куст, покрытый красными розами. На самой же верхушке куста блестел, как звезда, ослепительно белый цветок. Король сорвал его, положил на грудь Элизы, и она пришла в себя на радость и на счастье!

Все церковные колокола зазвонили сами собой, птицы слетелись целыми стаями, и ко дворцу потянулось такое свадебное шествие, какого не видал еще ни один король!

# Райский сад

Жил-был принц; ни у кого не было столько хороших книг, как у него; он мог прочесть в них обо всем на свете, обо всех странах и народах, и все было изображено в них на чудесных картинках. Об одном только не было сказано ни слова: о том, где находится Райский сад, а вот это-то как раз больше всего и интересовало принца.

Когда он был еще ребенком и только что принимался за азбуку, бабушка рассказывала ему, что каждый цветок в Райском саду – сладкое пирожное, а тычинки налиты тончайшим вином; в одних цветах лежит история, в других – география или таблица умножения; стоило съесть такой цветок-пирожное – и урок выучивался сам собой. Чем больше, значит, кто-нибудь ел пирожных, тем больше узнавал из истории, географии и арифметики!

В то время принц еще верил всем таким рассказам, но по мере того как подрастал, учился и делался умнее, стал понимать, что в Райском саду должны быть совсем другие прелести.

– Ах, зачем Ева послушалась змия! Зачем Адам вкусил запретного плода! Будь на их месте я, никогда бы этого не случилось, никогда бы грех не проник в мир!

Так говорил он не раз и повторял то же самое теперь, когда ему было уже семнадцать лет; Райский сад заполнял все его

мысли.

Раз пошел он в лес один-одинешенек, — он очень любил гулять один. Дело было к вечеру; набежали облака, и полил такой дождь, точно небо было одною сплошною плотиною, которую вдруг прорвало и из которой зараз хлынула вся вода; настала такая тьма, какая бывает разве только ночью на дне самого глубокого колодца. Принц то скользил по мокрой траве, то спотыкался о голые камни, торчавшие из скалистой почвы; вода лила с него ручьями; на нем не оставалось сухой нитки. То и дело приходилось ему перебираться через огромные глыбы, обросшие мхом, из которого сочилась вода. Он уже чуть не падал от усталости, как вдруг услышал какой-то странный свист и увидел перед собой большую освещенную пещеру. Посреди пещеры был разведен огонь, над которым можно было изжарить целого оленя; да так оно и было: на вертеле, укрепленном между двумя срубленными соснами, жарился огромный олень с большими ветвистыми рогами. У костра сидела пожилая женщина, такая крепкая и высокая, словно это был переодетый мужчина, и подбрасывала в огонь одно полено за другим.

— Войди, — сказала она. — Сядь у огня и обсушись.

— Здесь ужасный сквозняк, — сказал принц, подсев к костру.

— Ужо, как вернутся мои сыновья, еще хуже будет! — отвечала женщина. — Ты ведь в пещере ветров; мои четверо сыновей — ветры. Понимаешь?

– А где твои сыновья?

– На глупые вопросы не легко отвечать! – сказала женщина. – Мои сыновья не на помочах ходят! Играют, верно, в лапту облаками, там, в большой зале!

И она указала пальцем на небо.

– Вот как! – сказал принц. – Вы выражаетесь несколько резко, не так, как женщины нашего круга, к которым я привык.

– Да тем, верно, и делать-то больше нечего! А мне приходится быть резкой и суровой, если хочу держать в повиновении моих сыновей! А я держу их в руках, даром что они у меня упрямые головы! Видишь, вон те четыре мешка, что висят на стене? Сыновья мои боятся их также, как ты, бывало, боялся пучка розог, заткнутого за зеркало! Я гну их в три погибели и сажаю в мешок без всяких церемоний! Они и сидят там, пока я не смилуюсь! Но вот один уж пожаловал!

Это был Северный ветер. Он внес с собой в пещеру леденящий холод; поднялась метель, и по земле запрыгал град. Одет он был в медвежьи штаны и куртку; на уши спускалась шапка из тюленьей шкуры; на бороде висели ледяные сосульки, а с воротника куртки скатывались градины.

– Не подходите сразу к огню! – сказал принц. – Вы отморозите себе лицо и руки!

– Отморожу! – сказал Северный ветер и громко захохотал. – Отморожу! Да лучше мороза, по мне, нет ничего на свете! А ты что за кислятина? Как ты попал в пещеру ветров?



– Он мой гость! – сказала старуха. – А если тебе этого объяснения мало, можешь отправляться в мешок! Понимаешь?

Угроза подействовала, и Северный ветер рассказал, откуда он явился и где пробыл почти целый месяц.

– Я прямо с Ледовитого океана! – сказал он. – Был на Медвежьем острове, охотился на моржей с русскими промысленниками. Я сидел и спал на руле, когда они отплывали с Нордкапа; просыпаясь время от времени, я видел, как под ногами у меня шныряли буревестники. Презабавная птица! Ударит раз крыльями, а потом распластает их, да так и держится на них в воздухе долго-долго!..

– Нельзя ли покороче! – сказала мать. – Ты, значит, был на Медвежьем острове, что же дальше?

– Да, был. Там чудесно! Вот так пол для пляски! Ровный, гладкий, как тарелка! Повсюду рыхлый снег пополам со мхом, острые камни да остовы моржей и белых медведей, покрытые зеленой плесенью, – ну, словно кости великанов! Солнце, право, туда никогда, кажется, и не заглядывало. Я слегка подул и разогнал туман, чтобы рассмотреть какой-то сарай; оказалось, что это было жилье, построенное из корабельных обломков и покрытое моржовыми шкурами, вывернутыми наизнанку; на крыше сидел белый медведь и ворчал. Потом я пошел на берег, видел там птичьи гнезда, а в них голых птенцов; они пищали и разевали рты; я взял да и дунул в эти бесчисленные глотки – небось живо отучились смотреть разинув рот! У самого моря играли, будто живые кишки или

исполинские черви с свиными головами и аршинными клыками, моржи!

– Славно рассказываешь, сынок! – сказала мать. – Просто слюнки текут, как послушаешь!

– Ну, а потом началась ловля! Как всадят гарпун моржу в грудь, так кровь и брызнет фонтаном на лед! Тогда и я задумал себя потешить, завел свою музыку и велел моим кораблям – ледяным горам – сдавить лодки промышленников. У! Вот пошел свист и крик, да меня не пересвистишь! Пришлось им выбрасывать убитых моржей, ящики и снасти на льдины! А я вытряхнул на них целый ворох снежных хлопьев и погнал их стиснутые льдами суда к югу – пусть похлебают солененькой водицы! Не вернуться им на Медвежий остров!

– Так ты порядком набедокурил! – сказала мать.

– О добрых делах моих пусть расскажут другие! – сказал он. – А вот и брат мой с запада! Его я люблю больше всех: он пахнет морем и дышит благодатным холодком.

– Так это маленький зефир? – спросил принц.

– Зефир-то зефир, только не из маленьких! – сказала старуха. – В старину и он был красивым мальчуганом, ну, а теперь не то!

Западный ветер выглядел дикарем; на нем была мягкая, толстая, предохраняющая голову от ударов и ушибов шапка, а в руках палица из красного дерева, срубленного в американских лесах, на другую он бы не согласился!

– Где был? – спросила его мать.

– В девственных лесах, где между деревьями повисли целые изгороди из колючих лиан, а во влажной траве лежат огромные ядовитые змеи и где, кажется, нет никакой надобности в человеке! – отвечал он.

– Что ж ты там делал?

– Смотрел, как низвергается со скалы большая, глубокая река, как поднимается от нее к облакам водяная пыль, служащая подпорой радуге. Смотрел, как переплывал реку дикий буйвол; течение увлекало его с собой, и он плыл вниз по реке вместе со стаей диких уток, но те вспорхнули перед самым водопадом, а буйволу пришлось полететь головой вниз; это мне понравилось, и я учинил такую бурю, что вековые деревья поплыли по воде и превратились в щепки.

– И это все? – спросила старуха.

– Еще я кувыркался в саваннах, гладил диких лошадей и рвал кокосовые орехи! О, у меня много о чем найдется порассказать, но не все же говорить, что знаешь. Так-то, старая!

И он так поцеловал мать, что та чуть не опрокинулась навзничь; такой уж он был необузданный парень.

Затем явился Южный ветер в чалме и развевающимся плаще бедуинов.

– Экая у вас тут стужа! – сказал он и подбросил в костер дров. – Видно, что Северный первым успел пожаловать!

– Здесь такая жарница, что можно изжарить белого медведя! – возразил тот.

– Сам-то ты белый медведь! – сказал Южный.

– Что, в мешок захотели? – спросила старуха. – Садись-ка вот тут на камень да рассказывай, откуда ты.

– Из Африки, матушка, из земли кафров! – отвечал Южный ветер. – Охотился на львов с готтентотами! Какая трава растет там на равнинах! Чудесного оливкового цвета! Сколько там антилоп и страусов! Антилопы плясали, а страусы бегали со мной наперегонки, да я побыстрее их на ногу! Я дошел и до желтых песков пустыни – она похожа на морское дно. Там настиг я караван. Люди зарезали последнего своего верблюда, чтобы из его желудка добыть воды для питья, да немногим пришлось им поживиться! Солнце пекло их сверху, а песок поджаривал снизу. Конца не было безграничной пустыне! А я принялся валяться по мелкому, мягкому песку и крутить его огромными столбами; вот так пляска пошла! Посмотрела бы ты, как столпились в кучу дромадеры, а купец накинул на голову капюшон и упал передо мною ниц, точно перед своим аллахом. Теперь все они погребены под высокой пирамидой из песка. Если мне когда-нибудь вздумается смести ее прочь, солнце выбелит их кости, и другие путники по крайней мере увидят, что тут бывали люди, а то трудно и поверить этому, глядя на голую пустыню!

– Ты, значит, только и делал одно зло! – сказала мать. – Марш в мешок!

И не успел Южный ветер опомниться, как мать схватила его за пояс и упрятала в мешок; он было принялся кататься

в мешке по полу, но она уселась на него, и ему пришлось лежать смиренно.

– Бойкие же у тебя сыновья! – сказал принц.

– Ничего себе! – отвечала она. – Да я умею управляться с ними! А вот и четвертый!

Это был Восточный ветер, одетый китайцем.

– А, ты оттуда! – сказала мать. – Я думала, что ты был в Райском саду.

– Туда я полечу завтра! – сказал Восточный ветер. – Завтра будет ведь ровно сто лет, как я не был там! Теперь же я прямо из Китая, плясал на фарфоровой башне, так что все колокольчики звенели! Внизу, на улице, наказывали чиновников; бамбуковые трости так и гуляли у них по плечам, а это все были мандарины от первой до девятой степени! Они кричали: «Великое спасибо тебе, отец и благодетель!» – про себя же думали совсем другое. А я в это время звонил в колокольчики и припевал: «Тзинг, тзанг, тзу!»

– Шалун! – сказала старуха. – Я рада, что ты завтра отправляешься в Райский сад, это путешествие всегда приносит тебе большую пользу. Напейся там из источника Мудрости, да зачерпни из него полную бутылку водицы и для меня!

– Хорошо! – сказал Восточный ветер. – Но за что ты посадила в мешок брата Южного? Выпусти его! Он мне расскажет про птицу Феникс, о которой все спрашивает принцесса Райского сада. Развяжи мешок, милая, дорогая мамаша, а я подарю тебе целых два кармана зеленого свежего чая, толь-

ко что с куста!

– Ну, разве за чай, да еще за то, что ты мой любимчик, так и быть, развяжу его!

И она развязала мешок; Южный ветер вылез оттуда с видом мокрой курицы: еще бы, чужой принц видел, как его наказали.

– Вот тебе для твоей принцессы пальмовый лист! – сказал он Восточному. – Я получил его от старой птицы Феникс, единственной в мире; она начертила на нем клювом историю своей столетней земной жизни. Теперь принцесса может прочесть обо всем, что ей захотелось знать. Птица Феникс на моих глазах сама подожгла свое гнездо и была охвачена пламенем, как индийская вдова! Как затрещали сухие ветки, какие пошли от них дым и благоухание! Наконец пламя пожрало все, и старая птица Феникс превратилась в пепел, но снесенное ею яйцо, горевшее в пламени, как жар, вдруг лопнуло с сильным треском, и оттуда вылетел молодой Феникс. Он проклюнул на этом пальмовом листе дырочку: это его поклон принцессе!

– Ну, теперь пора нам подкрепиться немножко! – сказала мать ветров.

Все уселись и принялись за оленя. Принц сидел рядом с Восточным ветром, и они скоро стали друзьями.

– Скажи-ка ты мне, – спросил принц у соседа, – что это за принцесса, про которую вы столько говорили, и где находится Райский сад?

– Ого! – сказал Восточный ветер. – Коли хочешь побывать там, полетим завтра вместе! Но я должен тебе сказать, что со времен Адама и Евы там не бывало ни единой человеческой души! А что было с ними, ты, наверное, уж знаешь?

– Знаю! – сказал принц.

– После того как они были изгнаны, – продолжал Восточный, – Райский сад ушел в землю, но в нем царит прежнее великолепие, по-прежнему светит солнце и в воздухе разлиты необыкновенные свежесть и аромат! Теперь в нем обитает королева фей. Там же находится чудно-прекрасный остров Блаженства, куда никогда не заглядывает Смерть! Сядешь мне завтра на спину, и я снесу тебя туда. Я думаю, что это удастся. А теперь не болтай больше, я хочу спать!

И все заснули.

На заре принц проснулся, и ему сразу стало жутко: оказалось, что он уже летит высоко-высоко под облаками! Он сидел на спине у Восточного ветра, и тот добросовестно держал его, но принцу все-таки было боязно: они неслись так высоко над землею, что леса, поля, реки и моря казались нарисованными на огромной раскрашенной карте.

– Здравствуй! – сказал принцу Восточный ветер. – Ты мог бы еще поспать, посмотреть-то пока не на что! Разве церкви вздумаешь считать! Видишь, сколько их? Стоят, точно меловые точки на зеленой доске!

Зеленою доской он называл поля и луга.

– Как это вышло невежливо, что я не простился с твоею

матерью и твоими братьями! – сказал принц.

– Сонному приходится извинить! – сказал Восточный ветер, и они полетели еще быстрее; это было заметно по тому, как шумели под ними верхушки лесных деревьев, как вздымались морские волны и как глубоко ныряли в них грудью, точно лебеди, корабли.

Под вечер, когда стемнело, было очень забавно смотреть на большие города, в которых то там, то сям вспыхивали огоньки, – казалось, это перебегают по зажженной бумаге мелкие искорки, словно дети бегут домой из школы. И принц, глядя на это зрелище, захлопал в ладоши, но Восточный ветер попросил его вести себя потише да держаться покрепче – не мудрено ведь было и свалиться да повиснуть на каком-нибудь башенном шпиле.

Быстро и легко неся на своих могучих крыльях дикий орел, но Восточный ветер неся еще легче, еще быстрее; по равнине вихрем мчался казак на своей маленькой лошадке, да куда ему было угнаться за принцем!

– Ну вот тебе и Гималаи! – сказал Восточный ветер. – Это высочайшая горная цепь в Азии; скоро мы доберемся и до Райского сада!

Они свернули к югу, и вот в воздухе разлились сильный пряный аромат и благоухание цветов. Финики, гранаты и виноград с синими и красными ягодами росли здесь. Восточный ветер спустился с принцем на землю, и оба улеглись отдохнуть в мягкую траву, где росло множество цветов, кивав-



ших им головками, как бы говоря: «Милости просим!»

– Мы уже в Райском саду? – спросил принц.

– Ну что ты! – отвечал Восточный ветер. – Но скоро попадем и туда! Видишь эту отвесную, как стена, скалу и в ней большую пещеру, над входом которой спускаются, будто зеленый занавес, виноградные лозы? Мы должны пройти через эту пещеру! Завернись хорошенько в плащ: тут палит солнце, но один шаг – и нас охватит мороз. У птицы, пролетающей мимо пещеры, одно крыло чувствует летнее тепло, а другое – зимний холод!

– Так вот она, дорога в Райский сад! – сказал принц.

И они вошли в пещеру. Брр... как им стало холодно! Но, к счастью, ненадолго.

Восточный ветер распростер свои крылья, и от них разлился свет, точно от яркого пламени. Нет, что это была за пещера! Над головами путников нависали огромные, имевшие самые причудливые формы каменные глыбы, с которых капала вода. Порой проход так суживался, что им приходилось пробираться ползком, иногда же своды пещеры опять поднимались на недостижимую высоту, и путники шли точно на вольном просторе под открытым небом. Пещера казалась какою-то гигантскою усыпальницей с немymi органами трубами и знаменами, выточенными из камня.

– Мы идем в Райский сад дорогой смерти! – сказал принц, но Восточный ветер не ответил ни слова и указал перед собою рукою: навстречу им струился чудный голубой свет; ка-

менные глыбы мало-помалу стали редеть, таять и превращаться в какой-то туман. Туман становился все более и более прозрачным, пока наконец не стал походить на пушистое белое облачко, сквозь которое просвечивает месяц. Тут они вышли на вольный воздух – чудный, мягкий воздух, свежий, как на горной вершине, и благоуханный, как в долине роз.

Тут же струилась река; вода в ней спорила прозрачностью с самим воздухом. А в реке плавали золотые и серебряные рыбки, и пурпурово-красные угри сверкали при каждом движении голубыми искрами; огромные листья кувшинок пестрели всеми цветами радуги, а чашечки их горели желто-красным пламенем, поддерживаемым чистой водой, как пламя лампы поддерживается маслом. Через реку был переброшен мраморный мост такой тонкой и искусной работы, что, казалось, был сделан из кружев и бус; мост вел на остров Блаженства, на котором находился сам Райский сад.

Восточный ветер взял принца на руки и перенес его через мост. Цветы и листья пели чудесные песни, которые принц слышал еще в детстве, но теперь они звучали такую дивную музыкой, какой не может передать человеческий голос.

А это что? Пальмы или гигантские папоротники? Таких сочных, могучих деревьев принц никогда еще не видел. Диковинные ползучие растения обвивали их, спускались вниз, переплетались и образовывали самые причудливые, отливавшие по краям золотом и яркими красками гирлянды; такие гирлянды можно встретить разве только в за-

ставках и начальных буквах старинных книг. Тут были и яркие цветы, и птицы, и самые затейливые завитушки. В траве сидела, блестя распушенными хвостами, целая стая павлинов. Да павлинов ли? Конечно, павлинов! То-то что нет: принц потрогал их, и оказалось, что это вовсе не птицы, а растения, огромные кусты репейника, блестящего самыми яркими красками! Между зелеными благоухающими кустами прыгали, точно гибкие кошки, львы и тигры; кусты пахли оливками, а звери были совсем ручные; дикая лесная голубка, с жемчужным отливом на перьях, хлопала льва крылышками по гриве, а антилопа, вообще такая робкая и пугливая, стояла возле них и кивала головой, словно давая знать, что и она не прочь поиграть с ними.

Но вот появилась сама фея; одежды ее сверкали, как солнце, а лицо сияло такою лаской и приветливою улыбкой, как лицо матери, радующейся на своего ребенка. Она была молода и чудо как хороша собой; ее окружали красавицы девушки с блестящими звездами в волосах.

Восточный ветер подал ей послание птицы Феникс, и глаза феи заблистали от радости. Она взяла принца за руку и повела его в свой замок; стены замка были похожи на лепестки тюльпана, если их держать против солнца, а потолок был блестящим цветком, опрокинутым вниз чашечкой, углублявшейся тем больше, чем дальше в нее всматривались. Принц подошел к одному из окон, поглядел в стекло, и ему показалось, что он видит дерево познания добра и зла;

в ветвях его пряталась змея, а возле стояли Адам и Ева.

– Разве они не изгнаны? – спросил принц.

Фея улыбнулась и объяснила ему, что на каждом стекле время начертало неизгладимую картину, озаренную жизнью: листья дерева шевелились, а люди двигались, – ну вот как бывает с отражениями в зеркале! Принц подошел к другому окну и увидел на стекле сон Иакова: с неба спускалась лестница, а по ней сходили и восходили ангелы с большими крыльями за плечами. Да, все, что было или совершилось когда-то на свете, по-прежнему жило и двигалось на оконных стеклах замка; такие чудесные картины могло начертать своим неизгладимым резцом лишь время.

Фея, улыбаясь, ввела принца в огромный, высокий покой, со стенами из прозрачных картин, – из них повсюду выглядывали головки, одна прелестнее другой. Это были сонмы блаженных духов; они улыбались и пели; голоса их сливались в одну дивную гармонию; самые верхние из них были меньше бутонов розы, если их нарисовать на бумаге в виде крошечных точек. Посреди этого покоя стояло могучее дерево, покрытое зеленью, в которой сверкали большие и маленькие золотистые, как апельсины, яблоки. То было дерево познания добра и зла, плодов которого вкусили когда-то Адам и Ева. С каждого листика капала блестящая красная роса, – дерево точно плакало кровавыми слезами.

– Сядем теперь в лодку! – сказала фея. – Нас ждет там такое угощение, что чудо! Представь, лодка только покачи-

вається на волнах, но не двигается, а все страны света сами проходят мимо!

И в самом деле, это было поразительное зрелище: лодка стояла, а берега двигались! Вот показались высокие снежные Альпы с облаками и темными сосновыми лесами на вершинах, протяжно-жалобно прозвучал рог, и раздалась звучная песня горного пастуха. Вот над лодкой свесились длинные гибкие листья бананов; поплыли стаи черных как смоль лебедей; показались удивительнейшие животные и цветы, а вдали поднялись голубые горы; это была Новая Голландия, пятая часть света. Вот слышалось пение жрецов, и под звуки барабанов и костяных флейт закружились в бешеной пляске толпы дикарей. Мимо проплыли вздымавшиеся к облакам египетские пирамиды, низверженные колонны и сфинксы, наполовину погребенные в песке. Вот осветились северным сиянием потухшие вулканы севера. Да, кто бы мог устроить подобный фейерверк? Принц был вне себя от восторга: еще бы, он-то видел ведь во сто раз больше, чем мы тут рассказываем.

– И я могу здесь остаться навсегда? – спросил он.

– Это зависит от тебя самого! – отвечала фея. – Если ты не станешь добиваться запрещенного, как твой прародитель Адам, то можешь остаться здесь навеки!

– Я не дотронусь до плодов познания добра и зла! – сказал принц. – Тут ведь тысячи других прекрасных плодов!

– Испытай себя, и если борьба покажется тебе слишком

тяжелою, улетай обратно с Восточным ветром, который вернется сюда опять через сто лет! Сто лет пролетят для тебя, как сто часов, но это довольно долгий срок, если дело идет о борьбе с греховным соблазном. Каждый вечер, расставаясь с тобой, буду я звать тебя: «Ко мне, ко мне!» Стану манить тебя рукой, но ты не трогайся с места, не иди на мой зов; с каждым шагом тоска желанья будет в тебе усиливаться и наконец увлечет тебя в тот покой, где стоит дерево познания добра и зла. Я буду спать под его благоухающими пышными ветвями, и ты наклонишься, чтобы рассмотреть меня поближе; я улыбнусь тебе, и ты поцелуешь меня... Тогда Райский сад уйдет в землю еще глубже и будет для тебя потерян. Резкий ветер будет пронизывать тебя до костей, холодный дождь – мочить твою голову; горе и бедствия будут твоим уделом!

– Я остаюсь! – сказал принц.

Восточный ветер поцеловал принца в лоб и сказал:

– Будь тверд, и мы свидимся опять через сто лет! Прощай, прощай!

И Восточный ветер взмахнул своими большими крылами, блеснувшими, как зарница во тьме осенней ночи или как северное сияние во мраке полярной зимы.

– Прощай! Прощай! – запели все цветы и деревья. Стаи аистов и пеликанов полетели, точно развевающиеся ленты, проводить Восточного ветра до границ сада.

– Теперь начнутся танцы! – сказала фея. – Но на закате солнца, танцуя с тобой, я начну манить тебя рукой и звать:

«Ко мне! Ко мне!» Не слушай же меня! В продолжение ста лет каждый вечер будет повторяться то же самое, но ты с каждым днем будешь становиться все сильнее и сильнее и под конец перестанешь даже обращать на мой зов внимание. Сегодня вечером тебе предстоит выдержать первое испытание! Теперь ты предупрежден!

И фея повела его в обширный покой из белых прозрачных лилий с маленькими, игравшими сами собою, золотыми арфами вместо тычинок. Прелестные стройные девушки в прозрачных одеждах понеслись в воздушной пляске и запели о радостях и блаженстве бессмертной жизни в вечно цветущем Райском саду.

Но вот солнце село, небо засияло, как расплавленное золото, и на лилии упал розовый отблеск. Принц выпил пеннистого вина, поднесенного ему девушками, и почувствовал прилив несказанного блаженства. Вдруг задняя стена покоя раскрылась, и принц увидел дерево познания добра и зла, окруженное ослепительным сиянием; из-за дерева неслась тихая, ласкающая слух песня; ему почудился голос его матери, певшей: «Дитя мое! Мое милое, дорогое дитя!»

И фея стала манить его рукой и звать нежным голосом: «Ко мне, ко мне!» Он двинулся за нею, забыв свое обещание в первый же вечер! А она все манила его и улыбалась... Пряный аромат, разлитый в воздухе, становился все сильнее; арфы звучали все слаще; казалось, что это пели хором сами блаженные духи: «Все нужно знать! Все надо изведать!

Человек – царь природы!» Принцу показалось, что с дерева уже не капала больше кровь, а сыпались красные блестящие звездочки. «Ко мне! Ко мне!» – звучала воздушная мелодия, и с каждым шагом щеки принца разгорались, а кровь волновалась все сильнее и сильнее.

– Я должен идти! – говорил он. – В этом ведь нет и не может еще быть греха! Зачем убегать от красоты и наслаждения? Я только полюбуюсь, посмотрю на нее спящую! Я ведь не поцелую ее! Я достаточно тверд и сумею совладать с собой!

Сверкающий плащ упал с плеч феи; она раздвинула ветви дерева и в одно мгновение скрылась за ним.

– Я еще не нарушил обещания! – сказал принц. – И не хочу его нарушать!

С этими словами он раздвинул ветви... Фея спала такая прелестная, какою может быть только фея Райского сада. Улыбка играла на ее устах, но на длинных ресницах дрожали слезинки.

– Ты плачешь из-за меня? – прошептал он. – Не плачь, очаровательная фея! Теперь только я понял райское блаженство; оно течет огнем в моей крови, воспламеняет мысли, я чувствую неземную силу и мощь во всем своем существе!.. Пусть же настанет для меня потом вечная ночь – одна такая минута дороже всего в мире!

И он поцеловал слезы, дрожавшие на ее ресницах, уста его прикоснулись к ее устам.



Раздался страшный удар грома, какого не слышал еще никогда никто, и все смешалось в глазах принца; фея исчезла, цветущий Райский сад ушел глубоко в землю. Принц видел, как он исчезал во тьме непроглядной ночи, и вот от него осталась только маленькая сверкающая вдали звездочка. Смертный холод сковал его члены, глаза закрылись, и он упал как мертвый.

Холодный дождь мочил ему лицо, резкий ветер леденил голову, и он очнулся.

– Что я сделал! – вздохнул он. – Я нарушил свой обет, как Адам, и вот Райский сад ушел глубоко в землю!

Он открыл глаза; вдали еще мерцала звездочка, последний след исчезнувшего рая. Это сияла на небе утренняя звезда.

Принц встал; он был опять в том же лесу, у пещеры ветров; возле него сидела мать ветров. Она сердито посмотрела на него и грозно подняла руку.

– В первый же вечер! – сказала она. – Так я и думала! Да, будь ты моим сыном, сидел бы ты теперь в мешке!

– Он еще попадет туда! – сказала Смерть – это был крепкий старик с косою в руке и большими черными крыльями за спиной. – И он уляжется в гроб, хоть и не сейчас. Я лишь отмечу его и дам ему время постранствовать по белу свету и искупить свой грех добрыми делами! Потом я приду за ним в тот час, когда он меньше всего будет ожидать меня, упрячу его в черный гроб, поставлю себе на голову и отнесу его вон

на ту звезду, где тоже цветет Райский сад; если он окажется добрым и благочестивым, он вступит туда, если же его мысли и сердце будут по-прежнему полны греха, гроб опустится с ним еще глубже, чем опустился Райский сад. Но каждую тысячу лет я буду приходить за ним, для того чтобы он погрузился еще глубже или остался бы навеки на сияющей небесной звезде!

# Сундук-самолет

Жил-был купец, такой богач, что мог бы вымостить серебряными деньгами целую улицу, да еще переулок в придачу; этого, однако, он не делал, — он знал, куда девать деньги, и уж если тратил скиллинг, то наживал целый далер. Так вот какой был купец! Но вдруг он умер, и все денежки достались его сыну.

Весело зажил сын купца: каждую ночь — в маскараде, змеев пускал из кредитных бумажек, а круги по воде — вместо камешков золотыми монетами. Не мудрено, что денежки прошли у него между пальцев и под конец из всего наследства осталось только четыре скиллинга, и из платья — старый халат да пара туфель-шлепанцев. Друзья и знать его больше не хотели — им ведь тоже неловко было теперь показаться с ним на улице; но один из них, человек добрый, прислал ему старый сундук с советом: укладываться! Отлично; одно горе — нечего ему было укладывать; он взял да уселся в сундук сам!

А сундук-то был не простой. Стоило нажать на замок — и сундук взвивался в воздух. Купеческий сын так и сделал. Фьють! — сундук вылетел с ним в трубу и понесся высоко-высоко, под самыми облаками, — только дно потрескивало! Купеческий сын поэтому крепко побаивался, что вот-вот сундук разлетится вдребезги; славный прыжок пришлось бы то-

гда совершить ему! Боже упаси! Но вот он прилетел в Турцию, зарыл свой сундук в лесу в кучу сухих листьев, а сам отправился в город, — тут ему нечего было стесняться своего наряда: в Турции все ведь ходят в халатах и туфлях. На улице встретилась ему кормилица с ребенком, и он сказал ей:

— Послушай-ка, турецкая мамка! Что это за большой дворец тут, у самого города, еще окна так высоко от земли?

— Тут живет принцесса! — сказала кормилица. — Ей предсказано, что она будет несчастной по милости своего жениха; вот к ней и не смеет являться никто иначе, как в присутствии самих короля с королевой.

— Спасибо! — сказал купеческий сын, пошел обратно в лес, уселся в свой сундук, прилетел прямо на крышу дворца и влез к принцессе в окно.

Принцесса спала на диване и была так хороша собою, что он не мог не поцеловать ее. Она проснулась и очень испугалась, но купеческий сын сказал, что он турецкий бог, прилетевший к ней по воздуху, и ей это очень понравилось.

Они уселись рядышком, и он стал рассказывать ей сказки: о ее глазах — это были два чудных темных озера, в которых плавали русалочки-мысли; о ее белом лбе — это была снежная гора, скрывавшая в себе чудные покои и картины; наконец, об аистах, которые приносят людям крошечных миленьких деток.

Да, чудесные были сказки! А потом он посватался за принцессу, и она согласилась.

– Но вы должны прийти сюда в субботу! – сказала она ему. – Ко мне придут на чашку чая король с королевой. Они будут очень польщены тем, что я выхожу замуж за турецкого бога, но вы уж постарайтесь рассказать им сказку получше – мои родители очень любят сказки. Только мамаша любит слушать что-нибудь поучительное и серьезное, а папаша – веселое, чтобы можно было посмеяться.

– Я и не принесу никакого свадебного подарка, кроме сказки! – сказал купеческий сын.

Принцесса же подарила ему на прощанье саблю, всю выложенную червонцами, а их-то ему и не доставало. С тем они и расстались.

Сейчас же полетел он, купил себе новый халат, а затем уселся в лесу сочинять сказку; надо ведь было сочинить ее к субботе, а это не так-то просто, как кажется.

Но вот сказка была готова, и настала суббота.

Король, королева и весь двор собрались к принцессе на чашку чая. Купеческого сына приняли как нельзя лучше.

– Ну-ка, расскажите нам сказку! – сказала королева. – Только что-нибудь серьезное, поучительное.

– Но чтобы и посмеяться можно было! – прибавил король.

– Хорошо! – отвечал купеческий сын и стал рассказывать.

Слушайте же хорошенько!

– Жила-была пачка серных спичек, очень гордых своим высоким происхождением: глава их семьи, то есть сосна, была одним из самых крупных и старейших деревьев в лесу.

Теперь спички лежали на полке между огнивом и старым железным котелком и рассказывали соседям о своем детстве.

– Да, хорошо нам жилось, когда мы были молоды-зелены (мы ведь тогда и в самом деле были зеленые!), – говорили они. – Каждое утро и каждый вечер у нас был бриллиантовый чай – роса, день-деньской светило на нас в ясную погоду солнышко, а птички должны были рассказывать нам свои сказки! Мы отлично понимали, что принадлежим к богатой семье: лиственные деревья были одеты только летом, а у нас хватало средств и на зимнюю и на летнюю одежду. Но вот явились раз дровосеки, и начались великие перемены! Погибла и вся наша семья! Глава семьи – ствол получил после того место грот-мачты на великолепном корабле, который мог бы объехать кругом всего света, если б только захотел; ветви же разбрелись кто куда, а нам вот выпало на долю служить светочами для черни. Вот ради чего очутились на кухне такие важные господа, как мы!

– Ну, со мной все было по-другому! – сказал котелок, рядом с которым лежали спички. – С самого моего появления на свет меня беспрестанно чистят, скребут и ставят на огонь. Я забочусь вообще о существенном и, говоря по правде, занимаю здесь в доме первое место. Единственное мое баловство – это вот лежать после обеда чистеньким на полке и вести приятную беседу с товарищами. Все мы вообще большие домоседы, если не считать ведра, которое бывает иногда во дворе; новости же нам приносит корзинка для провизии; она

часто ходит на рынок, но у нее уж чересчур резкий язык. Послушать только, как она рассуждает о правительстве и о народе! На днях, слушая ее, свалился от страха с полки и разбился в черепки старый горшок! Да, немножко легкомысленна она – скажу я вам!

– Уж больно ты разболтался! – сказало вдруг огниво, и сталь так ударила по кремню, что посыпались искры. – Не устроить ли нам лучше вечеринку?

– Конечно, конечно. Побеседуем о том, кто из нас всех важнее! – сказали спички.

– Нет, я не люблю говорить о самой себе, – сказала глиняная миска. – Будем просто вести беседу! Я начну и расскажу кое-что из жизни, что будет знакомо и понятно всем и каждому, а это ведь приятнее всего. Так вот: на берегу родного моря, под тенью датских буков...

– Чудесное начало! – сказали тарелки. – Вот это будет история как раз по нашему вкусу!

– Там в одной мирной семье провела я свою молодость. Вся мебель была полированная, пол чисто вымыт, а занавески на окнах сменялись каждые две недели.

– Как вы интересно рассказываете! – сказала метелка. – В вашем рассказе так и слышна женщина, чувствуется какая-то особая чистоплотность!

– Да, да! – сказало ведро и от удовольствия даже подпрыгнуло, плеснув на пол воду.

Глиняная миска продолжала свой рассказ, и конец был не

хуже начала.

Тарелки загремели от восторга, а метелка достала из ящика с песком зелень петрушки и увенчала ею миску; она знала, что это раздосадует всех остальных, да к тому же подумала: «Если я увенчаю ее сегодня, она увенчает меня завтра!»

– Теперь мы попляшем! – сказали угольные щипцы и пустились в пляс. И боже мой, как они вскидывали то одну, то другую ногу! Старая обивка на стуле, что стоял в углу, не выдержала такого зрелища и лопнула!

– А нас увенчают? – спросили щипцы, и их тоже увенчали. «Все это одна чернь!» – думали спички.

Теперь была очередь за самоваром: он должен был спеть. Но самовар отговорился тем, что может петь лишь тогда, когда внутри у него кипит, – он просто важничал и не хотел петь иначе, как стоя на столе у господ.

На окне лежало старое гусиное перо, которым обыкновенно писала служанка; в нем не было ничего замечательного, кроме разве того, что оно слишком глубоко было обмокнуто в чернильницу, но именно этим оно и гордилось!

– Что ж, если самовар не хочет петь, так и не надо! – сказало оно. – За окном висит в клетке соловей – пусть он споет! Положим, он не из ученых, но об этом мы сегодня говорить не будем.

– По-моему, это в высшей степени неприлично – слушать какую-то пришлую птицу! – сказал большой медный чайник, кухонный певец и сводный брат самовара. – Разве это патри-



отично? Пусть рассудит корзинка для провизии!

– Я просто из себя выхожу! – сказала корзинка. – Вы не поверите, до чего я выхожу из себя! Разве так следует проводить вечера? Неужели нельзя поставить дом на надлежащую ногу? Каждый бы тогда знал свое место, и я руководила бы всеми! Тогда дело пошло бы совсем иначе!

– Давайте шуметь! – закричали все.

Вдруг дверь отворилась, вошла служанка, и – все присмирели, никто ни гугу; но не было ни единого горшка, который бы не мечтал про себя о своей знатности и о том, что он мог бы сделать. «Уж если бы взялся за дело я, пошло бы веселье!» – думал про себя каждый.

Служанка взяла спички и зажгла ими свечку. Боже ты мой, как они зафыркали, загораясь!

«Вот теперь все видят, что мы здесь первые персоны! – думали они. – Какой от нас блеск, сколько света!»

Тут они и сгорели.

– Чудесная сказка! – сказала королева. – Я точно сама посидела в кухне вместе со спичками! Да, ты достоин руки нашей дочери.

– Конечно! – сказал король. – Свадьба будет в понедельник!

Теперь они уже говорили ему ты – он ведь скоро должен был сделаться членом их семьи.

Итак, день свадьбы был объявлен, и вечером в городе устроили иллюминацию, а в народ бросали пышки и крен-

дели. Уличные мальчишки поднимались на цыпочки, чтобы поймать их, кричали «ура» и свистели в пальцы; великолепие было несказанное.

«Надо же и мне устроить что-нибудь!» – подумал купеческий сын; он накупил ракет, хлопушек и прочего, положил все это в свой сундук и взвился в воздух.

Пиф, паф! Шш-пшш! Вот так трескотня пошла, вот так шипенье!

Турки подпрыгивали так, что туфли летели через головы; никогда еще не видывали они такого фейерверка. Теперь-то все поняли, что на принцессе женится сам турецкий бог.

Вернувшись в лес, купеческий сын подумал: «Надо пойти в город послушать, что там говорят обо мне!» И не мудрено, что ему захотелось узнать это.

Ну и рассказов же ходило по городу! К кому он ни обращался, всякий, оказывается, рассказывал о виденном по-своему, но все в один голос говорили, что это было дивное зрелище.

– Я видел самого турецкого бога! – говорил один. – Глаза у него что твои звезды, а борода что пена морская!

– Он летел в огненном плаще! – рассказывал другой. – А из складок выглядывали прелестнейшие ангелочки.

Да, много чудес рассказали ему, а на другой день должна была состояться и свадьба.

Пошел он назад в лес, чтобы опять сесть в свой сундук, да куда же он девался? Сгорел! Купеческий сын заронил в

него искру от фейерверка, сундук тлел, тлел, да и вспыхнул; теперь от него оставалась одна зола. Так и не удалось купеческому сыну опять прилететь к своей невесте.

А она весь день стояла на крыше, дожидаясь его, да ждет и до сих пор! Он же ходит по белу свету и рассказывает сказки, только уж не такие веселые, как была его первая сказка о серных спичках!

# Аисты

На крыше самого крайнего домика в одном маленьком городке приютилось гнездо аиста. В нем сидела мамаша с четырьмя птенцами, которые высовывали из гнезда свои маленькие черные клювы, – они у них еще не успели покраснеть. Неподалеку от гнезда, на самом коньке крыши, стоял, вытянувшись в струнку и поджав под себя одну ногу, сам папаша; ногу он поджимал, чтобы не стоять на часах без дела. Можно было подумать, что он вырезан из дерева, до того он был неподвижен.

«Вот важно, так важно! – думал он. – У гнезда моей жены стоит часовой! Кто же знает, что я ее муж? Могут подумать, что я наряжен сюда в караул. То-то важно!» И он продолжал стоять на одной ноге.

На улице играли ребяташки; увидав аиста, самый озорной из мальчуганов затащил, как умел и помнил, старинную песенку об аистах; за ним подхватили все остальные:

Аист, аист белый,  
Что стоишь день целый,  
Словно часовой,  
На ноге одной?  
Или деток хочешь  
Уберечь своих?  
Попусту хлопчешь, –

Мы изловим их!  
Одного повесим,  
В пруд швырнем другого.  
Третьего заколем,  
Младшего ж живого  
На костер мы бросим  
И тебя не спросим!

– Послушай-ка, что поют мальчишки! – сказали птенцы. – Они говорят, что нас повесят и утопят!

– Не нужно обращать на них внимания! – сказала им мать. – Только не слушайте, ничего и не будет!

Но мальчуганы не унимались, пели и дразнили аистов; только один из мальчиков, по имени Петер, не захотел пристать к товарищам, говоря, что грешно дразнить животных. А мать утешала птенцов.

– Не обращайтесь внимания! – говорила она. – Смотрите, как спокойно стоит ваш отец, и это на одной-то ноге!

– А нам страшно! – сказали птенцы и глубоко-глубоко запрятали головки в гнездо.

На другой день ребятишки опять высыпали на улицу, увидали аистов и опять запели:

Одного повесим,  
В пруд швырнем другого...

– Так нас повесят и утопят? – опять спросили птенцы.

– Да нет же, нет! – отвечала мать. – А вот скоро мы начнем ученье! Вам нужно выучиться летать! Когда же выучитесь, мы отправимся с вами на луг в гости к лягушкам. Они будут приседать перед нами в воде и петь: «Ква-ква-ква!» А мы съедем их – вот будет веселье!

– А потом? – спросили птенцы.

– Потом все мы, аисты, соберемся на осенние маневры. Вот уж тогда надо уметь летать как следует! Это очень важно! Того, кто будет летать плохо, генерал проколет своим острым клювом! Так вот, старайтесь изо всех сил, когда ученье начнется!

– Так нас все-таки заколют, как сказали мальчики! Слушай-ка, они опять поют!

– Слушайте меня, а не их! – сказала мать. – После маневров мы улетим отсюда далеко-далеко, за высокие горы, за темные леса, в теплые края, в Египет! Там есть треугольные каменные дома; верхушки их упираются в самые облака, а зовут их пирамидами. Они построены давным-давно, так давно, что ни один аист и представить себе не может! Там есть тоже река, которая разливается, и тогда весь берег покрывается илом! Ходишь себе по илу и кушаешь лягушек!

– О! – сказали птенцы.

– Да! Вот прелесть! Там день-деньской только и делаешь, что ешь. А вот в то время как нам там будет так хорошо, здесь на деревьях не останется ни единого листика, наступит такой холод, что облака застынут кусками и будут падать на

землю белыми крошками!

Она хотела рассказать им про снег, да не умела объяснить хорошенько.

– А эти нехорошие мальчики тоже застынут кусками? – спросили птенцы.

– Нет, кусками они не застынут, но померзнуть им придется. Будут сидеть и скучать в темной комнате и носу не посмеют высунуть на улицу! А вы-то будете летать в чужих краях, где цветут цветы и ярко светит теплое солнышко.

Прошло немного времени, птенцы подросли, могли уже вставать в гнезде и озираться кругом. Папаша-аист каждый день приносил им славных лягушек, маленьких ужей и всякие другие лакомства, какие только мог достать. А как потешал он птенцов разными забавными штуками! Доставал головою свой хвост, щелкал клювом, точно у него в горле сидела трещотка, и рассказывал им разные болотные истории.

– Ну, пора теперь и за ученье приниматься! – сказала им в один прекрасный день мать, и всем четверым птенцам пришлось вылезть из гнезда на крышу. Батюшки мои, как они шатались, балансировали крыльями. И все-таки чуть-чуть не свалились!

– Смотрите на меня! – сказала мать. – Голову вот так, ноги так! Раз-два! Раз-два! Вот что поможет вам пробить себе дорогу в жизни! – и она сделала несколько взмахов крыльями. Птенцы неуклюже подпрыгнули и – бац! – все так и растянулись! Они были еще тяжелы на подъем.

– Я не хочу учиться! – сказал один птенец и вскарабкался назад в гнездо. – Я вовсе не хочу лететь в теплые края!

– Так ты хочешь замерзнуть тут зимой? Хочешь, чтобы мальчишки пришли и повесили, утопили или сожгли тебя? Поймай, я сейчас позову их!

– Ай, нет, нет! – сказал птенец и опять выпрыгнул на крышу.

На третий день они уже кое-как летали и вообразили, что могут также держаться в воздухе на распластанных крыльях. «Незачем все время ими махать, – говорили они. – Можно и отдохнуть». Так и сделали, но... сейчас же шлепнулись на крышу. Пришлось опять работать крыльями.

В это время на улице собрались мальчишки и запели:

Аист, аист белый!

– А что, слетим да выключим им глаза? – спросили птенцы.

– Нет, не надо! – сказала мать. – Слушайте лучше меня, это куда важнее! Раз-два-три! Теперь полетим направо; раз-два-три! Теперь налево, вокруг трубы! Отлично! Последний взмах крыльями удался так чудесно, что я позволю вам завтра отправиться со мной на болото. Там соберется много других милых семейств с детьми, – вот и покажите себя! Я хочу, чтобы вы были самыми миленькими из всех. Держите головы повыше, так гораздо красивее и внушительнее!

– Но неужели мы так и не отомстим этим нехорошим



мальчикам? – спросили птенцы.

– Пусть они себе кричат что хотят! Вы-то полетите к облакам, увидите страну пирамид, а они будут мерзнуть здесь зимой, не увидят ни единого зеленого листика, ни сладкого яблочка!

– А мы все-таки отомстим! – шепнули птенцы друг другу и продолжали ученье.

Задорнее всех из ребятешек был самый маленький, тот, что первый затянул песенку об аистах. Ему было не больше шести лет, хотя птенцы-то и думали, что ему лет сто, – он был ведь куда больше их отца с матерью, а что же знали птенцы о годах детей и взрослых людей! И вот вся месть птенцов должна была обрушиться на этого мальчика, который был зачинщиком и самым неутомонным из насмешников. Птенцы были на него ужасно сердиты и чем больше подрастали, тем меньше хотели сносить от него обиды. В конце концов матери пришлось обещать им как-нибудь отомстить мальчугану, но не раньше, как перед самым отлетом их в теплые края.

– Посмотрим сначала, как вы будете вести себя на больших маневрах! Если дело пойдет плохо и генерал проколет вам грудь своим клювом, мальчики ведь будут правы. Вот увидим!

– Увидишь! – сказали птенцы и усердно принялись за упражнения. С каждым днем дело шло все лучше, и наконец они стали летать так легко и красиво, что просто любо!

Настала осень; аисты начали приготовляться к отлету на зиму в теплые края. Вот так маневры пошли! Аисты летали взад и вперед над лесами и озерами: им надо было испытать себя – предстояло ведь огромное путешествие! Наши птенцы отличились и получили на испытании не по нулю с хвостом, а по двенадцати с лягушкой и ужом! Лучше этого балла для них и быть не могло: лягушек и ужей можно ведь было съесть, что они и сделали.

– Теперь будем мстить! – сказали они.

– Хорошо! – сказала мать. – Вот что я придумала – это будет лучше всего. Я знаю, где тот пруд, в котором сидят маленькие дети до тех пор, пока аист не возьмет их и не отнесет к папе с мамой. Прелестные крошечные детки спят и видят чудные сны, каких никогда уже не будут видеть после. Всем родителям очень хочется иметь такого малютку, а всем детям – крошечного братца или сестрицу. Полетим к пруду, возьмем оттуда малюток и отнесем к тем детям, которые не дразнили аистов; нехорошие же насмешники не получают ничего!

– А тому злему, который первый начал дразнить нас, ему что будет? – спросили молодые аисты.

– В пруде лежит один мертвый ребенок, он заспался до смерти; его-то мы и отнесем злему мальчику. Пусть поплачет, увидав, что мы принесли ему мертвого братца. А вот тому доброму мальчику, – надеюсь, вы не забыли его, – который сказал, что грешно дразнить животных, мы принесем

зараз и братца и сестрицу. Его зовут Петер, будем же и мы в честь его зваться Петерами!

Как сказано, так и было сделано, и вот всех аистов зовут с тех пор Петерами.

# Оле-Лукойе

Никто на свете не знает столько сказок, сколько знает их Оле-Лукойе. Вот мастер-то рассказывать!

Вечером, когда дети преспокойно сидят за столом или на своих скамеечках, является Оле-Лукойе. В одних чулках он тихо-тихо подымается по лестнице; потом осторожно приотворит дверь, неслышно шагнет в комнату и слегка прыснет детям в глаза сладким молоком. В руках у него маленькая спринцовка, и молоко брызжет из нее тоненькой-тоненькой струйкой. Тогда веки у детей начинают слипаться, и они уж не могут разглядеть Оле, а он подкрадывается к ним сзади и начинает легонько дуть им в затылки. Подует – и головки у них сейчас отяжелеют. Это совсем не больно, – у Оле-Лукойе нет ведь злого умысла; он хочет только, чтобы дети утомонились, а для этого их непременно надо уложить в постель! Ну вот он и уложит их, а потом уж начинает рассказывать сказки.

Когда дети заснут, Оле-Лукойе присаживается к ним на постель. Одет он чудесно: на нем шелковый кафтан, только нельзя сказать, какого цвета – он отликает то голубым, то зеленым, то красным, смотря по тому, в какую сторону повернется Оле. Под мышками у него по зонтику: один с картинками, который он раскрывает над хорошими детьми, и тогда им всю ночь снятся чудеснейшие сказки, а другой совсем

простой, гладкий, который он разворачивает над нехорошими детьми; ну, они и спят всю ночь как чурбаны, и поутру оказывается, что они ровно ничего не видали во сне!

Послушаем же о том, как Оле-Лукойе навещал каждый вечер одного маленького мальчика, Яльмара, и рассказывал ему сказки! Это будет целых семь сказок, – в неделе ведь семь дней.

## ПОНЕДЕЛЬНИК

– Ну вот, – сказал Оле-Лукойе, уложив Яльмара в постель, – теперь украсим комнату!

И в один миг все комнатные цветы выросли, превратились в большие деревья, которые протянули свои длинные ветви вдоль стен к самому потолку; вся комната превратилась в чудеснейшую беседку. Ветви деревьев были усеяны цветами; каждый цветок по красоте и запаху был лучше розы, а вкусом (если бы только вы захотели его попробовать) слаще варенья; плоды же блестели, как золотые. Еще на деревьях были пышки, которые чуть не лопались от изюмной начинки. Просто чудо что такое! Вдруг поднялись ужасные стоны в ящике стола, где лежали учебные принадлежности Яльмара.

– Что там такое? – сказал Оле-Лукойе, пошел и выдвинул ящик.

Оказалось, что это рвала и метала аспидная доска: в решение написанной на ней задачи вкралась ошибка, и все вы-

числения готовы были распасться; грифель скакал и прыгал на своей веревочке, точно собачка; он очень желал помочь делу, да не мог. Громко стонала и тетрадь Яльмара; просто ужас брал, слушая ее! На каждой ее странице в начале каждой строки стояли чудесные большие и маленькие буквы, – это была пропись; возле же шли другие, воображавшие, что держатся так же твердо. Их писал сам Яльмар, и они, казалось, спотыкались об линейки, на которых должны были бы стоять.

– Вот как надо держаться! – говорила пропись. – Вот так, с легким наклоном вправо!

– Ах, мы бы и рады, – отвечали буквы Яльмара, – да не можем! Мы такие плохонькие!

– Так вас надо немного подтянуть! – сказал Оле-Лукойе.

– Ай, нет, нет! – закричали они и выпрямились так, что любо было глядеть.

– Ну, теперь нам не до сказок! – сказал Оле-Лукойе. – Будемка упражняться! Раз-два! Раз-два!

И он довел буквы Яльмара до того, что они стояли ровно и бодро, как любая пропись. Но когда Оле-Лукойе ушел и Яльмар утром проснулся, они выглядели такими же жалкими, как прежде.

## **ВТОРНИК**

Как только Яльмар улегся, Оле-Лукойе дотронулся своею

волшебную спринцовкой до мебели, и все вещи сейчас же начали болтать между собою; все, кроме плевательницы; эта молчала и сердилась про себя на их суетность: говорят только о себе да о себе и даже не подумают о той, что так скромно стоит в углу и позволяет в себя плевать!

Над комодом висела большая картина в золоченой раме; на ней была изображена красивая местность: высокие старые деревья, трава, цветы и широкая река, убегавшая мимо чудных дворцов, за лес, в далекое море.

Оле-Лукойе дотронулся волшебною спринцовкой до картины, и нарисованные на ней птицы запели, ветви деревьев зашевелились, а облака понеслись по небу; видно было даже, как скользила по картине их тень.

Затем Оле приподнял Яльмара к раме, и мальчик стал ногами прямо в высокую траву. Солнышко светило на него сквозь ветви деревьев, он побежал к воде и уселся в лодочку, которая колыбалась у берега. Лодочка была выкрашена красною и белую краской, паруса блестели как серебряные, и шесть лебедей в золотых коронах с сияющими золотыми звездами на головах повлекли лодочку вдоль зеленых лесов, где деревья рассказывали о разбойниках и ведьмах, а цветы – о прелестных маленьких эльфах и о том, что рассказывали им бабочки.

Чудеснейшие рыбы с серебристою и золотистою чешуей плыли за лодкой, ныряли и плескали в воде хвостами; красные, голубые, большие и маленькие птицы летели за Яль-

маром двумя длинными вереницами; комары танцевали, а майские жуки гудели «Бум! Бум!»; всем хотелось провожать Яльмара, и у каждого была для него наготове сказка.

Да, вот это было плаванье!

Леса то густели и темнели, то становились похожими на чудеснейшие сады, освещенные солнцем и усеянные цветами. По берегам реки возвышались большие хрустальные и мраморные дворцы; на балконах их стояли принцессы, и все это были знакомые Яльмару девочки, с которыми он часто играл.

Они протягивали ему руки, и каждая держала в правой руке славного обсахаренного пряничного поросенка, – такого редко купишь у торговки. Яльмар, проплывая мимо, хватался за один конец пряника, принцесса крепко держалась за другой, и пряник разламывался пополам; каждый получал свою долю: Яльмар побольше, принцесса поменьше. У всех дворцов стояли на часах маленькие принцы; они отдавали Яльмару честь золотыми саблями и осыпали его изюмом и оловянными солдатиками, – вот что значит настоящие-то принцы!

Яльмар плыл через леса, через какие-то огромные залы и города... Проплыл он и через тот город, где жила его старая няня, которая нянчила его, когда он был еще малюткой, и очень любила своего питомца. И вот он увидел ее; она кланялась, посылала ему рукою воздушные поцелуи и пела хорошенькую песенку, которую сама сложила и прислала Яль-



мару:

Мой Яльмар, тебя вспоминаю  
Почти каждый день, каждый час!  
Сказать не могу, как желаю  
Тебя увидеть вновь хоть раз!  
Тебя ведь я в люльке качала,  
Учила ходить, говорить,  
И в щечки и в лоб целовала,  
Так как мне тебя не любить!  
Люблю тебя, ангел ты мой дорогой!  
Да будет вовеки Господь Бог с тобой!

И птички подпевали ей, цветы приплясывали, а старые ивы кивали, как будто Оле-Лукойе и им рассказывал сказку.

## СРЕДА

Ну и дождь лил! Яльмар слышал этот страшный шум даже во сне; когда же Оле-Лукойе открыл окно, оказалось, что вода стояла вровень с подоконником. Целое озеро! Зато к самому дому причалил великолепнейший корабль.

– Хочешь прокатиться, Яльмар? – спросил Оле. – Побываешь ночью в чужих землях, а к утру – опять дома!

И вот Яльмар, разодетый по-праздничному, очутился на корабле. Погода сейчас же прояснилась, и они поплыли по улицам, мимо церкви, – кругом было одно сплошное огром-

ное озеро. Наконец они уплыли так далеко, что земля совсем скрылась из глаз. По поднебесью неслась стая аистов; они тоже собрались в чужие теплые края и летели длинною вереницей, один за другим. Они были в пути уже много-много дней, и один из них так устал, что крылья почти отказывались ему служить. Он летел позади всех, потом отстал и начал опускаться на своих распушенных крыльях все ниже и ниже, вот взмахнул ими еще раза два, но... напрасно! Скоро он задел за мачту корабля, скользнул по снастям и – бах! – упал прямо на палубу.

Юнга подхватил его и посадил в птичник к курам, уткам и индейкам. Бедняга аист стоял и уныло озирался кругом.

– Ишь какой! – сказали куры.

А индейский петух надулся, как только мог, и спросил у аиста, кто он таков; утки же пятились, подталкивая друг друга крыльями, и кричали: «Дур-рак! Дур-рак!»

И аист рассказал им о жаркой Африке, о пирамидах и о страусах, которые носятся по пустыне с быстротой диких лошадей, но утки ничего не поняли и опять стали подталкивать одна другую:

– Ну не дурак ли он?

– Конечно, дурак! – сказал индейский петух и сердито забормотал. Аист замолчал и стал думать о своей Африке.

– Какие у вас чудесные тонкие ноги! – сказал индейский петух. – Почем аршин?

– Кряк! Кряк! Кряк! – закричали смешливые утки, но аист

как будто и не слышал.

– Могли бы и вы посмеяться с нами! – сказал аисту индейский петух. – Очень забавно было сказано! Да куда, это, верно, слишком низменно для него! Вообще нельзя сказать, чтобы он отличался понятливостью! Что ж, будем забавлять себя сами!

И курицы кудахтали, утки крякали, и это их ужасно забавляло.

Но Яльмар подошел к птичнику, открыл дверцу, поманил аиста, и тот выпрыгнул к нему на палубу, – он уже успел отдохнуть. И вот аист как будто поклонился Яльмару в знак благодарности, взмахнул широкими крыльями и полетел в теплые края. А курицы закудахтали, утки закрякали, индейский же петух так надулся, что гребешок у него весь налился кровью.

– Завтра из вас сварят суп! – сказал Яльмар и проснулся опять в своей маленькой кровати.

Славное путешествие сделали они ночью с Оле-Лукойе!

## **ЧЕТВЕРТ**

– Знаешь что? – сказал Оле-Лукойе. – Только не пугайся! Я сейчас покажу тебе мышку! – И правда, в руке у него была прехорошенькая мышка. – Она явилась пригласить тебя на свадьбу! Две мышки собираются сегодня ночью вступить в брак. Живут они под полом в кладовой твоей матери. Чудес-

ное помещение, говорят!

— А как же я пролезу сквозь маленькую дырочку в полу? — спросил Яльмар.

— Уж положишься на меня! — сказал Оле-Лукойе. — Ты у меня сделаешься маленьким.

И он дотронулся до мальчика своею волшебною спринцовкой. Яльмар вдруг стал уменьшаться, уменьшаться и наконец сделался величиною всего с пальчик.

— Теперь можно будет одолжить мундир у оловянного солдата. Я думаю, этот наряд будет вполне подходящим: мундир ведь так красит, ты же идешь в гости!

— Ну хорошо! — согласился Яльмар, переоделся и стал похож на образцового оловянного солдата.

— Не угодно ли вам сесть в наперсток вашей матушки? — сказала Яльмару мышка. — Я буду иметь честь отвезти вас.

— Ах, неужели вы сами будете беспокоиться, фрёкен! — сказал Яльмар, и вот они поехали на мышиную свадьбу.

Проскользнув в дырочку, прогрызенную мышами в полу, они попали сначала в длинный узкий коридор, здесь как раз только и можно было проехать в наперстке. Коридор был ярко освещен гнилушками.

— Ведь чудный запах? — спросила мышка-возница. — Весь коридор смазан салом! Что может быть лучше?

Наконец добрались и до самой залы, где праздновалась свадьба. Направо, перешептываясь и пересмеиваясь между собой, стояли все мышки-дамы, а налево, покручивая лап-

ками усы, — мышки-кавалеры, а посередине, на выеденной корке сыра, возвышались сами жених с невестой и страшно целовались на глазах у всех. Что ж, они ведь были обручены и готовились вступить в брак.

А гости все прибывали да прибывали; мыши чуть не давили друг друга насмерть, и вот счастливую парочку оттеснили к самым дверям, так что никому больше нельзя было ни войти, ни выйти. Зала, как и коридор, вся была смазана салом; другого угощения и не было; а на десерт гостей обносили горошиной, на которой одна родственница новобрачных выгрызла их имена, то есть, конечно, всего-навсего первые буквы. Диво, да и только!

Все мыши объявили, что свадьба была великолепная и что время проведено очень приятно.

Яльмар поехал домой. Довелось ему побывать в знатном обществе, хоть и пришлось порядком съежиться и облечься в мундир оловянного солдатика.

## ПЯТНИЦА

— Просто не верится, сколько есть пожилых людей, которым страх как хочется залучить меня к себе! — сказал Оле-Лукойе. — Особенно желают этого те, кто сделал что-нибудь дурное. «Добренький, миленький Оле, — говорят они мне, — мы просто не можем сомкнуть глаз, лежим без сна всю ночь напролет и видим вокруг себя все свои дурные дела. Они,

точно гадкие маленькие тролли, сидят по краям постели и брызжут на нас кипятком. Хоть бы ты пришел и прогнал их. Мы бы с удовольствием заплатили тебе, Оле! – добавляют они с глубоким вздохом. – Спокойной же ночи, Оле! Деньги на окне!» Да что мне деньги! Я ни к кому не прихожу за деньги!

– Что будем делать сегодня ночью? – спросил Яльмар.

– Не хочешь ли опять побывать на свадьбе? Только не на такой, как вчера. Большая кукла твоей сестры, та, что одета мальчиком и зовется Германом, хочет повенчаться с куклой Бертой; кроме того, сегодня день рождения куклы, и потому готовится много подарков!

– Знаю, знаю! – сказал Яльмар. – Как только куклам понадобится новое платье, сестра сейчас празднует их рождение или свадьбу. Это уж было сто раз!

– Да, а сегодня ночью будет сто первый и, значит, последний! Оттого и готовится нечто необыкновенное. Взгляни-ка!

Яльмар взглянул на стол. Там стоял домик из картона; окна были освещены, и все оловянные солдатики держали ружья на караул. Жених с невестой задумчиво сидели на полу, прислонившись к ножке стола; да, им было о чем задуматься! Оле-Лукойе, нарядившись в бабушкину черную юбку, обвенчал их, и вот вся мебель запела на мотив марша забавную песенку, которую написал карандаш:

Затянем песенку дружной,

Как ветер пусть несется!  
Хотя чета наша, ей-ей,  
Ничем не отзовется.  
Из лайки оба и торчат  
На палках без движенья,  
Зато роскошен их наряд –  
Глазам на загляденье!  
Итак, прославим песней их:  
Ура, невеста и жених!

Затем молодые получили подарки, но отказались от всего съедобного: они были сыты своей любовью.

– Что ж, поехать нам теперь на дачу или отправиться за границу? – спросил молодой.

На совет пригласили опытную путешественницу ласточку и старую курицу, которая уже пять раз была наседкой. Ласточка рассказала о теплых краях, где зреют сочные, тяжелые виноградные кисти, где воздух так мягок, а горы расцвечены такими красками, о каких здесь не имеют и понятия.

– Там нет зато нашей кудрявой капусты! – сказала курица. – Раз я со всеми своими цыплятами провела лето в деревне; там была целая куча песку, в котором мы могли рыться и копаться сколько угодно! Кроме того, нам был открыт вход в огород с капустой! Ах, какая она была зеленая! Не знаю, что может быть красивее!

– Да ведь один кочан похож на другой как две капли воды! – сказала ласточка. – К тому же здесь так часто бывает

дурная погода.

– Ну, к этому можно привыкнуть! – сказала курица.

– А какой тут холод! Того и гляди, замерзнешь! Ужасно холодно!

– То-то и хорошо для капусты! – сказала курица. – Да, наконец, и у нас бывает тепло! Ведь четыре года тому назад лето стояло у нас целых пять недель! Да какая жарница-то была! Все задыхались! Кстати сказать, у нас нет тех ядовитых тварей, как у вас там! Нет и разбойников! Надо быть отщепенцем, чтобы не находить нашу страну самою лучшею в мире! Такой недостоин и жить в ней! – Тут курица заплакала. – Я ведь тоже путешествовала, как же! Целых двенадцать миль проехала в бочонке! И никакого удовольствия нет в путешествии!

– Да, курица – особа вполне достойная! – сказала кукла Берта. – Мне тоже вовсе не нравится ездить по горам – то вверх, то вниз! Нет, мы переедем на дачу в деревню, где есть песочная куча, и будем гулять в огороде с капустой.

На том и порешили.

## СУББОТА

– А сегодня будешь рассказывать? – спросил Яльмар, как только Оле-Лукойе уложил его в постель.

– Сегодня некогда! – ответил Оле и раскрыл над мальчиком свой красивый зонтик. – Погляди-ка вот на этих китай-



цев!

Зонтик был похож на большую китайскую чашу, распи-  
санную голубыми деревьями и узенькими мостиками, на ко-  
торых стояли маленькие китайцы и кивали головами.

– Сегодня надо будет принарядить к завтрашнему дню  
весь мир! – продолжал Оле. – Завтра ведь праздник, воскре-  
сенье! Мне надо пойти на колокольню – посмотреть, вычи-  
стили ли церковные карлики все колокола, не то они плохо  
будут звонить завтра; потом надо в поле – посмотреть, смел  
ли ветер пыль с травы и листьев. Самая же трудная работа  
еще впереди: надо снять с неба и перечистить все звездочки.  
Я собираю их в свой передник, но приходится ведь нумеро-  
вать каждую звездочку и каждую дырочку, где она сидела,  
чтобы потом разместить их все по местам, иначе они плохо  
будут держаться и посыпятся с неба одна за другой!

– Послушайте-ка вы, господин Оле-Лукойе! – сказал  
вдруг висевший на стене старый портрет. – Я прадедушка  
Яльмара и очень вам признателен за то, что вы рассказыва-  
ете мальчику сказки; но вы не должны извращать его поня-  
тий. Звезды нельзя снимать с неба и чистить. Звезды – такие  
же светила, как наша Земля, тем-то они и хороши!

– Спасибо тебе, прадедушка! – отвечал Оле-Лукойе. –  
Спасибо! Ты – глава фамилии, родоначальник, но я все-таки  
постарше тебя! Я старый язычник; римляне и греки звали  
меня богом сновидений! Я имел и имею вход в знатнейшие  
дома и знаю, как обходиться и с большими и с малыми! Мо-

жешь теперь рассказывать сам!

И Оле-Лукойе ушел, взяв под мышку свой зонтик.

— Ну уж, нельзя и высказать своего мнения! — сказал старый портрет.

Тут Яльмар проснулся.

## ВОСКРЕСЕНЬЕ

— Добрый вечер! — сказал Оле-Лукойе. Яльмар кивнул ему, вскочил и повернул прадедушкин портрет лицом к стене, чтобы он опять не вмешался в разговор.

— А теперь ты расскажи мне сказки про пять зеленых горошин, родившихся в одном стручке, про петушиную ногу, которая ухаживала за куриной ногой, и про штопальную иглу, что воображала себя швейной иглой.

— Ну, хорошенького понемножку! — сказал Оле-Лукойе. — Я лучше покажу тебе кое-что. Я покажу тебе своего брата, его тоже зовут Оле-Лукойе, но он ни к кому не является больше одного раза в жизни. Когда же явится, берет чело- века, сажает к себе на коня и рассказывает ему сказки. Он знает только две: одна так бесподобно хороша, что никто и представить себе не может, а другая так ужасна, что... да нет, невозможно даже и сказать — как!

Тут Оле-Лукойе приподнял Яльмара, поднес его к окну и сказал:

— Сейчас увидишь моего брата, другого Оле-Лукойе. Лю-

ди зовут его также Смертью. Видишь, он вовсе не такой страшный, каким рисуют его на картинках! Кафтан на нем весь вышит серебром, что твой гусарский мундир; за плечами развевается черный бархатный плащ! Гляди, как он скачет!

И Яльмар увидел, как мчался во весь опор другой Оле-Лукойе и сажал к себе на лошадь и старых и малых. Одних он сажал перед собою, других позади; но сначала всегда спрашивал:

– Какие у тебя отметки за поведение?

– Хорошие! – отвечали все.

– Покажи-ка! – говорил он.

Приходилось показать; и вот тех, у кого были отличные или хорошие отметки, он сажал впереди себя и рассказывал им чудную сказку, а тех, у кого были посредственные или плохие, – позади себя, и эти должны были слушать страшную сказку. Они тряслись от страха, плакали и хотели спрыгнуть с лошади, да не могли – они сразу крепко прирастали к седлу.

– Но ведь Смерть – чудеснейший Оле-Лукойе! – сказал Яльмар. – И я ничуть не боюсь его!

– Да и нечего бояться! – сказал Оле. – Смотри только, чтобы у тебя всегда были хорошие отметки!

– Вот это поучительно! – пробормотал прадедушкин портрет. – Все-таки, значит, не мешает иногда высказать свое мнение!

Он был очень доволен.

Вот тебе и вся история об Оле-Лукойе! А вечером пусть он сам расскажет тебе еще что-нибудь.

# Эльф розового куста

В саду красовался розовый куст, весь усыпанный чудными розами. В одной из них, самой прекрасной меж всеми, жил эльф, такой крошечный, что человеческим глазом его и не разглядеть было. За каждым лепестком розы у него было по спальне; сам он был удивительно нежен и мил, ну точь-в-точь хорошенький ребенок, только с большими крыльями за плечами. А какой аромат стоял в его комнатах, как красивы и прозрачны были их стены! То были ведь нежные лепестки розы.

Весь день играл эльф на солнышке, порхал с цветка на цветок, плясал на крыльях у резвых мотыльков и подсчитывал, сколько шагов пришлось бы ему сделать, чтобы обежать все дорожки и тропинки на одном липовом листе. За дорожки и тропинки он принимал жилки листа, да они и были для него бесконечными дорогами! Раз не успел он обойти и половины их, глядь — солнышко уж закатилось; он и начал-то, впрочем, не рано.

Стало холодно, пала роса, подул ветер, эльф рассудил, что пора домой, и заторопился изо всех сил, но когда добрался до своей розы, оказалось, что она уже закрылась и он не мог попасть в нее; успели закрыться и все остальные розы. Бедный крошка эльф перепугался: никогда еще не оставался он на ночь без приюта, всегда сладко спал между розовыми ле-

пестками, а теперь!.. Ах, верно, не миновать ему смерти!

Вдруг он вспомнил, что на другом конце сада есть беседка, вся увитая чудеснейшими каприфолиями; в одном из этих больших пестрых цветков, похожих на рога, он и решил проспать до утра.

И вот он полетел туда. Тсс! Тут были люди: красивый молодой человек и премиленькая девушка. Они сидели рядышком и хотели бы век не расставаться – они так горячо любили друг друга, куда горячее, нежели самый добрый ребенок любит своих маму и папу.

– Увы! Мы должны расстаться! – сказал молодой человек. – Твой брат не хочет нашего счастья и потому отсылает меня с поручением далеко-далеко за море! Прощай же, дорогая моя невеста! Ведь я все-таки имею право назвать тебя так!

И они поцеловались. Молодая девушка заплакала и дала ему на память о себе розу, но сначала запечатлела на ней такой крепкий и горячий поцелуй, что цветок раскрылся. Эльф сейчас же влетел в него и прислонился головкой к нежным, душистым стенкам.

Вот раздалось последнее «прощай», и эльф почувствовал, что роза заняла место на груди молодого человека. О, как билось его сердце! Крошка эльф просто не мог заснуть от этой стукотни.

Недолго, однако, пришлось розе покоиться на груди. Молодой человек вынул ее и, проходя по большой темной роще,

целовал цветок так часто и так крепко, что крошка эльф чуть не задохся. Он ощущал сквозь лепестки цветка, как горели губы молодого человека, да и сама роза раскрылась, словно под лучами полуденного солнца.

Тут появился другой человек – мрачный и злой, это был брат красивой молодой девушки. Он вытащил большой острый нож и убил молодого человека, целовавшего цветок, затем отрезал ему голову и зарыл ее вместе с туловищем в рыхлую землю под липой.

«Теперь о нем не будет и помина! – подумал злой брат. – Небось не вернется больше. Ему предстоял далекий путь за море, а в таком пути нетрудно проститься с жизнью; ну вот так оно и случилось! Вернуться он больше не вернется, и спрашивать о нем сестра меня не посмеет».

И он нашиврял ногами на то место, где схоронил убитого, сухих листьев и пошел домой. Но шел он во тьме ночной не один: с ним был крошка эльф. Эльф сидел в сухом, свернувшемся в трубочку липовом листке, упавшем злодею на голову в то время, как тот зарывал яму. Окончив работу, убийца надел на голову шляпу; под ней было страх как темно, и крошка эльф весь дрожал от ужаса и от негодования на злодея.

На заре злой человек воротился домой, снял шляпу и прошел в спальню сестры. Молодая цветущая красавица спала и видела во сне того, кого она так любила и кто уехал теперь, как она думала, за море. Злой брат наклонился над ней и

засмеялся злобным, дьявольским смехом; сухой листок выпал из его волос на одеяло сестры, но он не заметил этого и ушел к себе соснуть до утра. Эльф выкарабкался из сухого листка, забрался в ухо молодой девушки и рассказал ей во сне об ужасном убийстве, описал место, где оно произошло, цветущую липу, под которой убийца зарыл тело, и наконец добавил: «А чтобы ты не приняла всего этого за простой сон, я оставлю на твоей постели сухой листок». И она нашла этот листок, когда проснулась.

О, как горько она плакала! Но никому не смела бедняжка доверить своего горя. Окно стояло отворенным целый день, крошка эльф легко мог выпорхнуть в сад и лететь к розам и другим цветам, но ему не хотелось оставлять бедняжку одну. На окне в цветочном горшке росла роза; он уселся в один из ее цветов и глаз не сводил с убитой горем девушки. Брат ее несколько раз входил в комнату и был злобно-весел; она же не смела и заикнуться ему о своем горе. Как только настала ночь, девушка потихоньку вышла из дома, отправилась в рощу прямо к липе, разбросала сухие листья, разрыла землю и нашла убитого. Ах, как она плакала и молила Бога, чтобы он послал смерть и ей.

Она бы охотно унесла с собой дорогое тело, да нельзя было, и вот она взяла бледную голову с закрытыми глазами, поцеловала холодные губы и отряхнула землю с прекрасных волос.

– Оставлю же себе хоть это! – сказала она, зарыла тело и



опять набросала на то место сухих листьев, а голову унесла с собой, вместе с небольшою веточкой жасмина, который цвел в роще.

Придя домой, она отыскала самый большой цветочный горшок, положила туда голову убитого, засыпала ее землей и посадила жасминовую веточку.

– Прощай! Прощай! – прошептал крошка эльф: он не мог вынести такого печального зрелища и улетел в сад к своей розе, но она уже отцвела, и вокруг зеленого плода держалось всего два-три поблекших лепестка.

– Ах, как скоро приходит конец всему хорошему и прекрасному! – вздохнул эльф.

В конце концов он отыскал себе другую розу и уютно зажил между ее благоухающими лепестками. Но каждое утро летал он к окну несчастной девушки и всегда находил ее всю в слезах подле цветочного горшка. Горькие слезы ручьями лились на жасминовую веточку, и по мере того как сама девушка день ото дня бледнела и худела, веточка все росла да зеленела, пуская один отросток за другим. Скоро появились и маленькие белые бутончики; девушка целовала их, а злой брат сердился и спрашивал, не сошла ли она с ума; иначе он ничем не мог объяснить себе эти вечные слезы, которые она проливала над цветком. Он ведь не знал, чьи закрытые глаза, чьи розовые губы превратились в землю в этом горшке. А бедная сестра его склонила раз голову к цветку, да так и задремала; как раз в это время прилетел крошка эльф, при-

льнул к ее уху и стал рассказывать ей о последнем ее свидании с милым в беседке, о благоухании роз, о любви эльфов... Девушка спала так сладко, и среди этих чудных грез незаметно отлетела от нее жизнь. Она умерла и соединилась на небе с тем, кого так любила.

На жасмине раскрылись белые цветы, похожие на колокольчики, и по всей комнате разлился чудный, нежный аромат – только так могли цветы оплакать усопшую.

Злой брат посмотрел на красивый цветущий куст, взял его себе в наследство после умершей сестры и поставил у себя в спальне возле самой кровати. Крошка эльф последовал за ним и стал летать от одного колокольчика к другому: в каждом жил маленький дух, и эльф рассказал им всем об убитом молодом человеке, о злом брате и о бедной сестре.

– Знаем! Знаем! Ведь мы выросли из глаз и из губ убитого! – ответили духи цветов и при этом как-то странно покачали головками.

Эльф не мог понять, как могут они оставаться такими равнодушными, полетел к пчелам, которые собирали мед, и тоже рассказал им о злом брате. Пчелы пересказали это своей царице, и та решила, что все они на следующее же утро накажут убийцу.

Но ночью – это была первая ночь после смерти сестры, – когда брат спал близ благоухающего жасминового куста, каждый колокольчик раскрылся, и оттуда вылетел невидимый, но вооруженный ядовитым копьём дух цветка. Все они

подлетели к уху спящего и стали нашептывать ему страшные сны, потом сели на его губы и вонзили ему в язык свои ядовитые копыя.

— Теперь мы отомстили за убитого! — сказали они и опять спрятались в белые колокольчики жасмина.

Утром окно в спальне вдруг распахнулось, и влетели эльф и царица пчел с своим роем; они явились убить злого брата.

Но он уже умер. Вокруг постели толпились люди и говорили:

— Его убил сильный запах цветов.

Тогда эльф понял, что то была месть цветов, и рассказал об этом царице пчел, а она со всем своим роем принялась летать и жужжать вокруг благоухающего куста. Нельзя было отогнать пчел, и кто-то из присутствовавших хотел унести куст в другую комнату, но одна пчела ужалила его в руку, он уронил цветочный горшок, и тот разбился вдребезги.

Тут все увидали череп убитого и поняли, кто был убийца.

А царица пчел с шумом полетела по воздуху и жужжала о мести цветов, об эльфе и о том, что даже за самым крошечным лепестком скрывается кто-то, кто может рассказать о преступлении и наказать преступника.

# Свинопас

Жил-был бедный принц. Королевство у него было маленькое-премаленькое, но жениться все-таки было можно, а жениться-то принцу хотелось.

Разумеется, с его стороны было несколько смело спросить дочь императора: «Пойдешь за меня?» Впрочем, он носил славное имя и знал, что сотни принцесс с благодарностью ответили бы на его предложение согласием. Да вот, ждите-ка этого от императорской дочки!

Послушаем же, как было дело.

На могиле у отца принца вырос розовый куст несказанной красоты; цвел он только раз в пять лет, и распускалась на нем всего одна-единственная роза. Зато она разливала такой сладкий аромат, что, впивая его, можно было забыть все свои горести и заботы. Еще был у принца соловей, который пел так дивно, словно у него в горлышке были собраны все чудеснейшие мелодии, какие только есть на свете. И роза и соловей предназначены были в дар принцессе; их положили в большие серебряные ларцы и отослали к ней.

Император велел принести ларцы прямо в большую залу, где принцесса играла со своими фрейлинами в гости; других занятий у нее не было. Увидав большие ларцы с подарками, принцесса захлопала от радости в ладоши.

– Ах, если бы тут была маленькая киска! – сказала она.

Но появилась прелестная роза.

– Ах, как это мило сделано! – сказали все фрейлины.

– Больше чем мило! – сказал император. – Это прямо недурно!

Но принцесса потрогала розу и чуть не заплакала.

– Фи, папа! – сказала она. – Она не искусственная, а настоящая!

– Фи! – повторили все придворные. – Настоящая!

– Погодим сердиться! Посмотрим сначала, что в другом ларце! – возразил император.

И вот из ларца появился соловей и запел так чудесно, что нельзя было сейчас же найти какого-нибудь недостатка.

– *Superbe! Charmant!*<sup>34</sup> – сказали фрейлины; все они болтали по-французски, одна хуже другой.

– Как эта птичка напоминает мне органчик покойной императрицы! – сказал один старый придворный. – Да, тот же тон, та же манера давать звук!

– Да! – сказал император и заплакал, как ребенок.

– Надеюсь, что птица ненастоящая? – спросила принцесса.

– Настоящая! – ответили ей доставившие подарки послы.

– Так пусть она летит! – сказала принцесса и так и не позволила принцу явиться к ней самому.

Но принц не унывал, вымазал себе все лицо черной и бурой краской, нахлобучил шапку и постучался.

---

<sup>34</sup> Бесподобно! Прелестно! (*фр.*).

– Здравствуйте, император! – сказал он. – Не найдется ли у вас для меня во дворце какого-нибудь местечка?

– Много вас тут ходит да ищет! – ответил император. – Впрочем, стой, мне нужен свинопас! У нас пропасть свиней!

И вот принца утвердили придворным свинопасом и ответили ему жалкую, крошечную каморку рядом со свинными закусками. Весь день просидел он за работой и к вечеру смастерил чудесный горшочек. Горшочек был весь увешан бубенчиками, и когда в нем что-нибудь варили, бубенчики названивали старую песенку:

Ах, мой милый Августин,  
Все прошло, прошло, прошло!

Занимательнее же всего было то, что, держа руку над подымавшимся из горшочка паром, можно было узнать, какое у кого в городе готовилось кушанье. Да уж, горшочек был не чета какой-нибудь розе!

Вот принцесса отправилась со своими фрейлинами на прогулку и вдруг услышала мелодичный звон бубенчиков. Она сразу же остановилась и вся просияла: она тоже умела наигрывать на фортепиано «Ах, мой милый Августин». Только одну эту мелодию она и наигрывала, зато одним пальцем.

– Ах, ведь и я это играю! – сказала она. – Так свинопас-то

у нас образованный! Слушайте, пусть кто-нибудь из вас пойдет и спросит у него, что стоит этот инструмент.

Одной из фрейлин пришлось надеть деревянные башмаки и пойти на задний двор.

– Что возьмешь за горшочек? – спросила она.

– Десять принцессиних поцелуев! – отвечал свинопас.

– Как можно! – сказала фрейлина.

– А дешевле нельзя! – отвечал свинопас.

– Ну, что он сказал? – спросила принцесса.

– Право, и передать нельзя! – отвечала фрейлина. – Это ужасно!

– Так шепни мне на ухо!

И фрейлина шепнула принцессе.

– Вот невежа! – сказала принцесса и пошла было, но... бубенчики зазвенели так мило:

Ах, мой милый Августин,  
Все прошло, прошло, прошло!

– Послушай! – сказала принцесса фрейлине. – Пойди спроси, не возьмет ли он десять поцелуев моих фрейлин?

– Нет, спасибо! – ответил свинопас. – Десять поцелуев принцессы, или горшочек останется у меня.

– Как это скучно! – сказала принцесса. – Ну, придется вам стать вокруг, чтобы никто нас не увидал!

Фрейлины обступили ее и растопырили свои юбки; сви-

нопас получил десять принцессиных поцелуев, а принцесса – горшочек.

Вот была радость! Целый вечер и весь следующий день горшочек не сходил с очага, и в городе не осталось ни одной кухни, от камергерской до сапожниковой, о которой бы они не знали, что в ней стряпалось. Фрейлины прыгали и хлопали в ладоши.

– Мы знаем, у кого сегодня сладкий суп и блинчики! Мы знаем, у кого каша и свиные котлеты! Как интересно!

– Еще бы! – подтвердила обер-гофмейстерина.

– Да, но держите язык за зубами, я ведь императорская дочка!

– Помилуйте! – сказали все.

А свинопас (то есть принц, но для них-то он был ведь свинопасом) даром времени не терял и смастерил трещотку; когда ею начинали вертеть по воздуху, раздавались звуки всех вальсов и полек, какие только есть на белом свете.

– Но это superbe! – сказала принцесса, проходя мимо. – Вот так попури! Лучше этого я ничего не слыхала! Послушайте, спросите, что он хочет за этот инструмент. Но целоваться я больше не стану!

– Он требует сто принцессиных поцелуев! – доложила фрейлина, побывав у свинопаса.

– Да что он, в уме? – сказала принцесса и пошла своею дорогой, но сделала два шага и остановилась.

– Надо поощрять искусство! – сказала она. – Я ведь им-



ператорская дочь! Скажите ему, что я дам ему по-вчерашнему десять поцелуев, а остальные пусть дополучит с моих фрейлин!

– Ну, нам это вовсе не по вкусу! – сказали фрейлины.

– Пустяки! – сказала принцесса. – Уж если я могу целовать его, то вы и подавно! Не забывайте, что я кормлю вас и плачу вам жалованье!

И фрейлине пришлось еще раз отправиться к свинопасу.

– Сто принцессиних поцелуев! – повторил он. – А нет – каждый останется при своем.

– Становитесь вокруг! – скомандовала принцесса, и фрейлины обступили ее, а свинопас принялся ее целовать.

– Что это за сборище у свиних закутов? – спросил, выйдя на балкон, император, протер глаза и надел очки. – Э, да это фрейлины опять что-то затеяли! Надо пойти посмотреть.

И он расправил задники своих домашних туфель. Туфлями служили ему стоптанные башмаки. Эх ты, ну, как он быстро зашлепал в них!

Придя на задний двор, он потихоньку подкрался к фрейлинам, а те все были ужасно заняты счетом поцелуев, – надо же было следить за тем, чтобы расплата была честной и свинопас не получил ни больше, ни меньше, чем ему следовало. Никто поэтому не заметил императора, а он привстал на цыпочки.

– Это еще что за штуки! – сказал он, увидав целующихся, и швырнул в них туфлей как раз в ту минуту, когда свинопас

получал от принцессы восемьдесят шестой поцелуй. – Вон! – закричал рассерженный император и выгнал из своего государства и принцессу и свинопаса.

Принцесса стояла и плакала, свинопас бранился, а дождик так и лил на них.

– Ах, я несчастная! – плакала принцесса. – Что бы мне выйти за прекрасного принца! Ах, какая я несчастная!

А свинопас зашел за дерево, стер с лица черную и бурую краску, сбросил грязную одежду и явился перед ней во всем своем королевском величии и красе, и так он был хорош собой, что принцесса сделала реверанс.

– Теперь я только презираю тебя! – сказал он. – Ты не захотела выйти за честного принца! Ты не поняла толку в соловье и розе, а свинопаса целовала за игрушки! Поделом же тебе!

И он ушел к себе в королевство, крепко захлопнув за собой дверь. А ей оставалось стоять да петь:

Ах, мой милый Августин,  
Все прошло, прошло, прошло!

# Гречиха

Часто, когда после грозы идешь полем, видишь, что гречиху опалило дочерна, будто по ней пробежал огонь; крестьяне в таких случаях говорят: «Это ее опалило молнией!» Но почему?

А вот что я слышал от воробья, которому рассказывала об этом старая ива, растущая возле гречишного поля, – дерево такое большое, почтенное и старое-престарое, все корявое, с трещиною посредине. Из трещины растут трава и ежевика; ветви дерева, словно длинные зеленые кудри, свешиваются до самой земли.

Поля вокруг ивы были засеяны рожью, ячменем и овсом – чудесным овсом, похожим, когда созреет, на веточки, усеянные маленькими желтенькими канарейками. Хлеба стояли прекрасные, и чем полнее были колосья, тем ниже склоняли они в смирении свои головы к земле.

Тут же, возле старой ивы, было поле с гречихой; гречиха не склоняла головы, как другие хлеба, а держалась гордо и прямо.

– Я не беднее хлебных колосьев! – говорила она. – Да к тому же еще красивее. Мои цветы не уступят цветам ябло-ни. Любо-дорого посмотреть! Знаешь ли ты, старая ива, ко-го-нибудь красивее меня?

Но ива только качала головой, как бы желая сказать: «Ко-

нечно, знаю!» А гречиха надменно говорила:

– Глупое дерево, у него от старости из желудка трава растет!

Вдруг поднялась страшная непогода; все полевые цветы свернули лепестки и склонили свои головки; одна гречиха красовалась по-прежнему.

– Склони голову! – говорили ей цветы.

– Незачем! – отвечала гречиха.

– Склони голову, как мы! – закричали ей колосья. – Сейчас промчится под облаками ангел бури! Крылья его доходят до самой земли! Он снесет тебе голову, прежде чем ты успеешь взмолиться о пощаде!

– Ну, а я все-таки не склоню головы! – сказала гречиха.

– Сверни лепестки и склони голову! – сказала ей и старая ива. – Не гляди на молнию, когда она раздирает облака! Сам человек не дерзает этого: в это время можно заглянуть в самое небо Господне, а за такой грех Господь карает человека слепотой. Что же ожидает тогда нас? Ведь мы, бедные полевые злаки, куда ниже, ничтожнее человека!

– Ниже? – сказала гречиха. – Так вот же я возьму и загляну в небо Господне!

И она в самом деле решилась на это в своем горделивом упорстве. Тут такая сверкнула молния, как будто весь мир загорелся, когда же снова прояснилось, цветы и хлеба, освеженные и омытые дождем, радостно вдыхали в себя мягкий, чистый воздух. А гречиха была вся опалена молнией, она по-

гибла и никуда больше не годилась.

Старая ива тихо шевелила ветвями на ветру; с зеленых листьев падали крупные дождевые капли; дерево будто плакало, и воробьи спросили его:

– О чем ты? Посмотри, как славно кругом, как светит солнышко, как бегут облака! А что за аромат несется от цветов и кустов! О чем же ты плачешь, старая ива?

Тогда ива рассказала им о высокомерной гордости и о казни гречихи; гордость всегда ведь бывает наказана. От воробьев же услышал эту историю и я: они прощепетали мне ее как-то раз вечером, когда я просил их рассказать мне сказку.

# Новые сказки

## Ангел

Каждый раз, как умирает доброе, хорошее дитя, с неба спускается Божий ангел, берет дитя на руки и облетает с ним на своих больших крыльях все его любимые места. По пути они набирают целый букет разных цветов и берут их с собою на небо, где они расцветают еще пышнее, чем на земле. Бог прижимает все цветы к своему сердцу, а один цветок, который покажется ему милее всех, целует; цветок получает тогда голос и может присоединиться к хору блаженных духов.

Все это рассказывал Божий ангел умершему ребенку, унося его в своих объятиях на небо; дитя слушало ангела, как сквозь сон. Они пролетали над теми местами, где так часто играло дитя при жизни, пролетали над зелеными садами, где росло множество чудесных цветов.

— Какие же взять нам с собою на небо? — спросил ангел.

В саду стоял прекрасный, стройный розовый куст, но чья-то злая рука надломила его, так что ветви, усыпанные крупными полураспустившимися бутонами, почти совсем завяли и печально повисли.

— Бедный куст! — сказала дитя. — Возьмем его, чтобы он опять расцвел там, на небе.

Ангел взял куст и так крепко поцеловал дитя, что оно слегка приоткрыло глазки. Потом они нарвали еще много пышных цветов, но, кроме них, взяли и скромный златоцвет и простенькие анютины глазки.

— Ну вот, теперь и довольно! — сказал ребенок, но ангел покачал головой, и они полетели дальше.

Ночь была тихая, светлая; весь город спал; они пролетали над одной из самых узких улиц. На мостовой валялись солома, зола и всякий хлам: черепки, обломки алебаstra, тряпки, старые донышки от шляп, словом, все, что уже отслужило свой век или потеряло всякий вид; накануне как раз был день переезда.

И ангел указал на валявшийся среди этого хлама разбитый цветочный горшок, из которого вывалился ком земли, весь оплетенный корнями большого полевого цветка; цветок завял и никуда больше не годился, его и выбросили.

— Возьмем его с собою! — сказал ангел. — Я расскажу тебе про этот цветок, пока мы летим!

И ангел стал рассказывать:

— В этой узкой улице, в низком подвале, жил бедный больной мальчик. С самых ранних лет он вечно лежал в постели; когда же чувствовал себя особенно хорошо, то проходил на костылях по своей каморке раза два взад и вперед, вот и все. Иногда летом солнышко заглядывало на полчаса и в подвал; тогда мальчик садился на солнышке и, держа руки против света, любовался, как просвечивает в его тонких пальцах

алая кровь; такое сидение на солнышке заменяло ему прогулку. О богатом весеннем уборе лесов он знал только потому, что сын соседа приносил ему весною первую распутившуюся буковую веточку; мальчик держал ее над головой и переносился мыслью под зеленые буки, где сияло солнышко и распевали птички. Раз сын соседа принес мальчику и полевых цветов, между ними был один с корнем; мальчик посадил его в цветочный горшок и поставил на окно близ своей кровати. Видно, легкая рука посадила цветок: он принялся, стал расти, пускать новые отростки, каждый год цвел и был для мальчика целым садом, его маленьким земным сокровищем. Мальчик поливал его, ухаживал за ним и заботился о том, чтобы его не миновал ни один луч, который только пробирался в каморку. Ребенок жил и дышал своим любимцем, ведь тот цвел, благоухал и хорошел для него одного. К цветку повернулся мальчик даже в ту последнюю минуту, когда его отзывал к себе Господь Бог... Вот уже целый год, как мальчик у Бога; целый год стоял цветок, всеми забытый, на окне, завял, засох и был выброшен на улицу вместе с прочим хламом. Этот-то бедный, увядший цветок мы и взяли с собой: он доставил куда больше радости, чем самый пышный цветок в саду королевы.

– Откуда ты знаешь все это? – спросило дитя.

– Знаю! – отвечал ангел. – Ведь я сам был тем бедным калекою мальчиком, что ходил на костылях! Я узнал свой цветок!



И дитя широко-широко открыло глазки, взглядываясь в прелестное, радостное лицо ангела. В ту же самую минуту они очутились на небе у Бога, где царят вечные радость и блаженство. Бог прижал к своему сердцу умершее дитя – и у него выросли крылья, как у других ангелов, и он полетел рука об руку с ними. Бог прижал к сердцу и все цветы, поцеловал же только бедный, увядший полевой цветок, и тот присоединил свой голос к хору ангелов, которые окружали Бога; одни летали возле него, другие подальше, третьи еще дальше, и так до бесконечности, но все были равно блаженны. Все они пели – и малые, и большие, и доброе, только что умершее дитя, и бедный полевой цветочек, выброшенный на мостовую вместе с сором и хламом.

# Соловей

В Китае, как ты знаешь, и сам император и все его подданные – китайцы. Дело было давно, но потому-то и стоит о нем послушать, пока оно не забудется совсем! В целом мире не нашлось бы дворца лучше императорского; он весь был из драгоценного фарфора, зато такой хрупкий, что страшно было до него дотронуться. В саду росли чудеснейшие цветы; к самым лучшим из них были привязаны серебряные колокольчики; звон их должен был обращать на цветы внимание каждого прохожего. Вот как тонко было придумано! Сад тянулся далеко-далеко, так далеко, что и сам садовник не знал, где он кончается. Из сада можно было попасть прямо в густой лес; в чаще его таились глубокие озера, и доходил он до самого синего моря. Корабли проплывали под нависшими над водой вершинами деревьев, и в ветвях их жил соловей, который пел так чудесно, что его заслушивался, забывая о своем неводе, даже бедный, удрученный заботами рыбак. «Господи, как хорошо!» – вырывалось наконец у рыбака, но потом бедняк опять принимался за свое дело и забывал о соловье, на следующую ночь снова заслушивался его и снова повторял то же самое: «Господи, как хорошо!»

Со всех концов света стекались в столицу императора путешественники; все они дивились на великолепный дворец и на сад, но, услышав соловья, говорили: «Вот это лучше все-

го!»

Возвращаясь домой, путешественники рассказывали обо всем виденном; ученые описывали столицу, дворец и сад императора, но не забывали упомянуть и о соловье и даже ставили его выше всего; поэты слагали в честь крылатого певца, жившего в лесу, на берегу синего моря, чудеснейшие стихи.

Книги расходились по всему свету, и вот некоторые из них дошли и до самого императора. Он восседал в своем золотом кресле, читал-читал и поминутно кивал головой – ему очень приятно было читать похвалы своей столице, дворцу и саду. «Но соловей лучше всего!» – стояло в книге.

– Что такое? – удивился император. – Соловей? А я ведь и не знаю его! Как? В моем государстве и даже в моем собственном саду живет такая удивительная птица, а я ни разу и не слыхал о ней! Пришлось вычитать о ней из книг!

И он позвал к себе первого из своих приближенных; а тот напускал на себя такую важность, что, если кто-нибудь из людей попроще осмеливался заговорить с ним или спросить его о чем-нибудь, отвечал только: «Пф!» – а это ведь ровно ничего не означает.

– Оказывается, у нас здесь есть замечательная птица, по имени соловей. Ее считают главной достопримечательностью моего великого государства! – сказал император. – Почему же мне ни разу не доложили о ней?

– Я даже и не слыхал о ней! – отвечал первый приближенный. – Она никогда не была представлена ко двору!

– Я желаю, чтобы она была здесь и пела предо мною сегодня же вечером! – сказал император. – Весь свет знает, что у меня есть, а сам я не знаю!

– И не слыхивал о такой птице! – повторил первый приближенный. – Но я разыщу ее!

Легко сказать! А где ее разыщешь?

Первый приближенный императора бегал вверх и вниз по лестницам, по залам и коридорам, но никто из встречных, к кому он ни обращался с расспросами, и не слыхивал о соловье. Первый приближенный вернулся к императору и доложил, что соловьяде, верно, выдумали книжные сочинители.

– Ваше величество не должны верить всему, что пишут в книгах: все это одни выдумки, так сказать, черная магия!..

– Но ведь эта книга прислана мне самим могущественнейшим императором Японии, и в ней не может быть неправды! Я хочу слышать соловья! Он должен быть здесь сегодня же вечером! Я объявляю ему мое высочайшее благоволение! Если же его не будет здесь в назначенное время, я прикажу после ужина всех придворных бить палками по животу!

– Тзинг-пе! – сказал первый приближенный и опять забегал вверх и вниз по лестницам, по коридорам и залам; с ним бегала и добрая половина придворных, – никому не хотелось отведать палок. У всех на языке был один вопрос: что это за соловей, которого знает весь свет, а при дворе ни одна душа не знает.

Наконец на кухне нашли одну бедную девочку, которая

сказала:

– Господи! Как не знать соловья! Вот уж поет-то! Мне позволено относить по вечерам моей бедной больной матушке остатки от обеда. Живет матушка у самого моря, и вот, когда я иду назад и сяду отдохнуть в лесу, я каждый раз слышу пение соловья! Слезы так и потекут у меня из глаз, а на душе станет так радостно, словно матушка целует меня!..

– Кухарочка! – сказал первый приближенный императора. – Я определю тебя на штатную должность при кухне и выхлопочу тебе позволение посмотреть, как кушает император, если ты сведешь нас к соловью! Он приглашен сегодня вечером ко двору!

И вот все отправились в лес, где обыкновенно распевал соловей; отправилась туда чуть не половина всех придворных. Шли, шли, вдруг замычала корова.

– О! – сказали молодые придворные. – Вот он! Какая, однако, сила! И это у такого маленького созданища! Но мы положительно слышали его раньше!

– Это мычит корова! – сказала девочка. – Нам еще далеко до места.

В пруду заквакали лягушки.

– Чудесно! – сказал придворный бонза. – Теперь я слышу! Точь-в-точь наши колокольчики в молельне!

– Нет, это лягушки! – сказала опять девочка. – Но теперь, я думаю, скоро услышим и его!

И вот запел соловей.

– Вот это соловей! – сказала девочка. – Слушайте, слушайте! А вот и он сам! – И она указала пальцем на маленькую серенькую птичку, сидевшую в ветвях.

– Неужели! – сказал первый приближенный императора. – Никак не воображал себе его таким! Самая простая наружность! Верно, он потерял все свои краски при виде стольких знатных особ!

– Соловушка! – громко закричала девочка. – Наш милостивый император желает послушать тебя!

– Очень рад! – ответил соловей и запел так, что просто чудо.

– Словно стеклянные колокольчики звенят! – сказал первый приближенный. – Глядите, как трепещет это маленькое горлышко! Удивительно, что мы ни разу не слышали его раньше! Он будет иметь огромный успех при дворе!

– Спеть ли мне императору еще? – спросил соловей. Он думал, что тут был и сам император.

– Несравненный соловушка! – сказал первый приближенный императора. – На меня возложено приятное поручение пригласить вас на имеющий быть сегодня вечером придворный праздник. Не сомневаюсь, что вы очаруете его величество своим дивным пением!

– Пение мое гораздо лучше слушать в зеленом лесу! – сказал соловей, но, узнав, что император пригласил его во дворец, охотно согласился туда отправиться.

При дворе шли приготовления к празднику. В фарфоро-

вых стенах и в полу сияли отражения бесчисленных золотых фонариков; в коридорах рядами были расставлены чудеснейшие цветы с колокольчиками, которые от всей этой беготни, стукотни и сквозняка звенели так, что не слышно было человеческого голоса. Посреди огромной залы, где сидел император, возвышался золотой шест для соловья. Все придворные были в полном сборе; позволили стоять в дверях и кухарочке, – теперь ведь она получила звание придворной поварихи. Все были разодеты в пух и прах и глаз не сводили с маленькой серенькой птички, которой император милостиво кивнул головой.

И соловей запел так дивно, что у императора выступили на глазах слезы и покатались по щекам. Тогда соловей залился еще громче, еще слаще; пение его так и хватало за сердце. Император был очень доволен и сказал, что жалует соловью свою золотую туфлю на шею. Но соловей поблагодарил и отказался, говоря, что довольно награжден и без того.

– Я видел на глазах императора слезы – какой еще награды желать мне! В слезах императора дивная сила! Видит Бог – я награжден с избытком!

И опять зазвучал его чудный, сладкий голос.

– Вот самое очаровательное кокетство! – сказали придворные дамы и стали набирать в рот воды, чтобы она булькала у них в горле, когда они будут с кем-нибудь разговаривать. Этим они думали походить на соловья. Даже слуги и служанки объявили, что очень довольны, а это ведь много

значит: известно, что труднее всего угодить этим особам. Да, соловей положительно имел успех.

Его оставили при дворе, отвели ему особую комнатку, разрешили гулять на свободе два раза в день и раз ночью и поставили к нему двенадцать слуг; каждый держал его за привязанную к его лапке шелковую ленточку. Большое удовольствие было от такой прогулки!

Весь город заговорил об удивительной птице, и если встречались на улице двое знакомых, один сейчас же говорил: «соло», а другой подхватывал: «вей», после чего оба вздыхали, сразу поняв друг друга.

Одиннадцать сыновей мелочных лавочников получили имена в честь соловья, но ни у одного из них не было и признака голоса.

Раз императору доставили большой пакет с надписью: «Соловей».

– Ну, вот еще новая книга о нашей знаменитой птице! – сказал император.

Но то была не книга, а затейливая штучка: в ящике лежал искусственный соловей, похожий на настоящего, но весь осыпанный бриллиантами, рубинами и сапфирами. Стоило завести птицу – и она начинала петь одну из мелодий настоящего соловья и поводить хвостиком, который отливал золотом и серебром. На шейке у птицы была ленточка с надписью: «Соловей императора японского жалок в сравнении с соловьем императора китайского».



– Какая прелесть! – сказали все придворные, и явившегося с птицей посланца императора японского сейчас же утвердили в звании «чрезвычайного императорского поставщика соловьев».

– Теперь пусть-ка споют вместе, вот будет дуэт!

Но дело не пошло на лад: настоящий соловей пел по-своему, а искусственный – как заведенная шарманка.

– Это не его вина! – сказал придворный капельмейстер. – Он безукоризненно держит такт и поет совсем по моей методе.

Искусственного соловья заставили петь одного. Он имел такой же успех, как настоящий, но был куда красивее, весь так и блестел драгоценностями!

Тридцать три раза пропел он одно и то же и не устал. Окружающие охотно послушали бы его еще раз, да император нашел, что надо заставить спеть и живого соловья. Но куда же он девался?

Никто и не заметил, как он вылетел в открытое окно и унесся в свой зеленый лес.

– Что же это, однако, такое! – огорчился император, а придворные называли соловья неблагодарной тварью.

– Лучшая-то птица у нас все-таки осталась! – сказали они, и искусственному соловью пришлось петь то же самое в тридцать четвертый раз.

Никто, однако, не успел еще выучить мелодии наизусть, такая она была трудная. Капельмейстер расхваливал искус-

ственную птицу и уверял, что она даже выше настоящей не только платьем и бриллиантами, но и по внутренним своим достоинствам.

— Что касается живого соловья, высокий повелитель мой и вы, милостивые господа, то никогда ведь нельзя знать заранее, что именно споет он, у искусственного же все известно наперед! Можно даже отдать себе полный отчет в его искусстве, можно разобрать его и показать все его внутреннее устройство — плод человеческого ума, расположение и действие валиков, всё, всё!

— Я как раз того же мнения! — сказал каждый из присутствовавших, и капельмейстер получил разрешение показать птицу в следующее же воскресенье народу.

— Надо и народу послушать ее! — сказал император.

Народ послушал и был очень доволен, как будто вдосталь напился чаю, — это ведь совершенно по-китайски. От восторга все в один голос восклицали: «О!», поднимали вверх указательные пальцы и кивали головами. Но бедные рыбаки, слышавшие настоящего соловья, говорили:

— Недурно и даже похоже, но все-таки не то! Чего-то недостает в его пении, а чего — мы и сами не знаем!

Живого соловья объявили изгнанным из пределов государства.

Искусственная птица заняла место на шелковой подушке возле императорской постели. Кругом нее были разложены все пожалованные ей драгоценности. Величали же ее те-

перь «императорского ночного столика первым певцом с левой стороны», – император считал более важною именно ту сторону, на которой находит ся сердце, а сердце находится слева даже у императора. Капельмейстер написал об искусственном соловье двадцать пять томов, ученых-преученых и полных самых мудреных китайских слов.

Придворные, однако, говорили, что читали и поняли все, иначе ведь их прозвали бы дураками и отколотили палками по животу.

Так прошел целый год; император, весь двор и даже весь народ знали наизусть каждую нотку искусственного соловья, но потому-то пение его им так и нравилось: они сами могли теперь подпевать птице. Уличные мальчишки пели: «Ци-ци-ци! Клюк-клюк-клюк!» Сам император напевал то же самое. Ну что за прелесть!

Но раз вечером искусственная птица только что распелась перед императором, лежавшим в постели, как вдруг внутри ее зашипело, зажужжало, колеса завертелись, и музыка смолкла.

Император вскочил и послал за придворным медиком, но что же мог тот поделать! Призвали часовщика, и этот после долгих разговоров и осмотров кое-как исправил птицу, но сказал, что с ней надо обходиться крайне бережно: зубчики поистерлись, а поставить новые так, чтобы музыка шла по-прежнему, верно, было нельзя. Вот так горе! Только раз в год позволили заводить птицу. И это было очень грустно, но ка-

пельмейстер произнес краткую, зато полную мудреных слов речь, в которой доказывал, что птица ничуть не сделалась хуже. Ну, значит, так оно и было. Прошло еще пять лет, и страну постигло большое горе: все так любили императора, а он, как говорили, был при смерти. Провозгласили уже нового императора, но народ толпился на улице и спрашивал первого приближенного императора о здоровье своего старого повелителя.

– Пф! – отвечал приближенный и покачивал головой.

Бледный, похолодевший лежал император на своем великолепно-м леже; все придворные считали его умершим, и каждый спешил поклониться новому императору. Слуги бежали взад и вперед, перебрасываясь новостями, а служанки проводили приятные часы в болтовне за чашкой чая. По всем залам и коридорам были разостланы ковры, чтобы не слышно было шума шагов, и во дворце стояла мертвая тишина. Но император еще не умер, хотя и лежал на своем великолепно-м леже, под бархатным балдахином с золотыми кистями, совсем недвижимый и мертвенно-бледный. Сквозь раскрытое окно глядел на императора и искусственного соловья ясный месяц.

Бедный император почти не мог вздохнуть, и ему казалось, что кто-то сидит у него на груди. Он приоткрыл глаза и увидел, что на груди у него сидела Смерть. Она надела на себя корону императора, забрала в одну руку его золотую саблю, а в другую – богатое знамя. Из складок бархатного бал-

дахина выглядывали какие-то странные лица: одни гадкие и мерзкие, другие добрые и милые. То были злые и добрые дела императора, смотревшие на него, в то время как Смерть сидела у него на груди.

– Помнишь это? – шептали они по очереди. – Помнишь это? – и рассказывали ему так много, что на лбу у него выступал холодный пот.

– Я и не знал об этом! – говорил император. – Музыку сюда, музыку! Большие китайские барабаны! Я не хочу слышать их речей!

Но они все продолжали, а Смерть, как китаец, кивала на их речи головой.

– Музыку сюда, музыку! – кричал император. – Пой хоть ты, милая, славная золотая птичка! Я одарил тебя золотом и драгоценностями, я повесил тебе на шею свою золотую туфлю, пой же, пой!

Но птица молчала – некому было завести ее, а иначе она петь не могла. Смерть продолжала смотреть на императора своими большими пустыми глазницами. В комнате было тихо-тихо.

Вдруг за окном раздалось чудное пение. То прилетел, узнав о болезни императора, утешить и ободрить его живой соловей. Он пел, и призраки всё бледнели, кровь прилиwała к сердцу императора всё быстрее; сама Смерть заслушалась соловья и всё повторяла: «Пой, пой еще, соловушка!»

– А ты отдашь мне за это драгоценную саблю? А дорогое

знамя? А корону? – спрашивал соловей.

И Смерть отдавала одну драгоценность за другую, а соловей всё пел. Вот он запел наконец о тихом кладбище, где цветут белые розы, благоухает бузина и свежая трава орошается слезами живых, оплакивающих усопших... Смерть вдруг охватила такая тоска по своему саду, что она свилась в белый холодный туман и вылетела в окно.

– Спасибо, спасибо тебе, милая птичка! – сказал император. – Я помню тебя! Я изгнал тебя из моего государства, а ты отогнала от моей постели ужасные призраки, отогнала саму Смерть! Чем мне вознаградить тебя?

– Ты уже вознаградил меня раз и навсегда! – сказал соловей. – Я видел слезы на твоих глазах в первый раз, как пел перед тобою, – этого я не забуду никогда! Слезы – вот драгоценнейшая награда для сердца певца. Но засни теперь и просыпайся здоровым и бодрым! Я буду баюкать тебя своею песней!

И он запел опять, а император заснул здоровым, благодатным сном.

Когда он проснулся, в окна уже светило солнце. Никто из его слуг не заглядывал к нему; все думали, что он умер, один соловей сидел у окна и пел.

– Ты должен остаться у меня навсегда! – сказал император. – Ты будешь петь, только когда сам захочешь, а искусственную птицу я разобью вдребезги!

– Не надо! – сказал соловей. – Она принесла столько поль-

зы, сколько могла! Пусть она остается у тебя по-прежнему! Я же не могу жить во дворце. Позволь мне только прилетать к тебе, когда захочу. Тогда я каждый вечер буду садиться у твоего окна и петь тебе; моя песня и порадует тебя, и заставит задуматься. Я буду петь тебе о счастливых и о несчастных, о добре и о зле, что таятся вокруг тебя. Маленькая певчая птичка летает повсюду, залетает и под крышу бедного рыбака и крестьянина, которые живут вдали от тебя. Я люблю тебя за твое сердце больше, чем за твою корону, и все же корона окружена каким-то особым священным обаянием! Я буду прилетать и петь тебе! Но обещай мне одно!..

– Всё! – сказал император и встал во всем своем царственном величии; он успел надеть на себя свое императорское одеяние и прижимал к сердцу тяжелую золотую саблю.

– Об одном прошу я тебя – не говори никому, что у тебя есть маленькая птичка, которая рассказывает тебе обо всем. Так дело пойдет лучше!

И соловей улетел.

Слуги вошли поглядеть на мертвого императора и застыли на пороге, а император сказал им:

– Здравствуйте!

# Жених и невеста

Молодчик-кубарь и барышня-мячик лежали рядом в ящике с игрушками, и кубарь сказал соседке:

– Не пожениться ли нам? Мы ведь лежим в одном ящике.

Но мячик – сафьянового происхождения и воображавший о себе не меньше, чем любая барышня, – гордо промолчал.

На другой день пришел мальчик, хозяин игрушек, и выкрасил кубарь в красный с желтым цвет, а в самую серединку вбил медный гвоздик. Вот-то красиво было, когда кубарь завертелся!

– Посмотрите-ка на меня! – сказал он мячику. – Что вы скажете теперь? Не пожениться ли нам? Чем мы не пара? Вы прыгаете, а я танцую. Поискать такой славной парочки!

– Вы думаете? – сказал мячик. – Вы, должно быть, не знаете, что я веду свое происхождение от сафьяновых туфель и что внутри у меня пробка?

– А я из красного дерева, – сказал кубарь. – И меня выточил сам городской судья! У него свой собственный токарный станок, и он с таким удовольствием занимался мной!

– Так ли? – усомнился мячик.

– Пусть больше не коснется меня кнутик, если я лгу! – сказал кубарь.

– Вы очень красноречивы, – сказал мячик. – Но я все-таки не могу согласиться. Я уж почти невеста! Стоит мне взлететь



на воздух, как из гнезда высовывается стриж и все спрашивает: «Согласны? Согласны?» Мысленно я всякий раз говорю: «Да», значит дело почти слажено. Но я обещаю вам никогда вас не забывать!

– Вот еще! Очень нужно! – сказал кубарь, и они перестали говорить друг с другом.

На другой день мячик вынули из ящика. Кубарь смотрел, как он, точно птица, взвивался в воздух все выше, выше... и наконец совсем исчезал из глаз, потом опять падал и, коснувшись земли, снова взлетал кверху; потому ли, что его влекло туда, или потому, что внутри у него сидела пробка – неизвестно. В девятый раз мячик взлетел и – поминай как звали! Мальчик искал, искал – нет нигде, да и только!

– Я знаю, где мячик! – вздохнул кубарь. – В стрижином гнезде, замужем за стрижем!

И чем больше думал кубарь о мячике, тем больше влюблялся. Сказать правду, так он потому все сильнее влюблялся, что не мог жениться на своей возлюбленной, подумать только – она предпочла ему другого!

Кубарь плясал и пел, но не переставал думать о мячике, который представлялся ему все прекраснее и прекраснее.

Так прошло много лет; любовь кубаря стала уже старой любовью.

Да и сам кубарь был немолод... Раз его взяли и вызолотили. То-то было великолепие! Он весь стал золотой и кружился и жужжал так, что любо! Да уж, нечего сказать! Вдруг

он подпрыгнул повыше и – пропал!

Искали, искали, даже в погреб слазили, – нет, нет и нет!

Куда же он попал?

В помойное ведро! Оно стояло как раз под водосточным желобом и было полно разной дряни: обгрызенных кочерыжек, щепок, сора.

– Угодил, нечего сказать! – вздохнул кубарь. – Тут вся позолота разом сойдет! И что за рвань тут вокруг?

И он покосился на длинную обгрызенную кочерыжку и еще на какую-то странную круглую вещь вроде старого яблока. Но это было не яблоко, а старая барышня-мячик, который застрял когда-то в водосточном желобе, пролежал там много лет, весь промок и наконец упал в ведро.

– Слава богу! Наконец-то хоть кто-нибудь из нашего круга, с кем можно поговорить! – сказал мячик, посмотрев на вызолоченный кубарь. – Я ведь, в сущности, из сафьяна и сшита девичьими ручками, а внутри у меня пробка! А кто это скажет, глядя на меня? Я чуть не вышла замуж за стрижа, да вот попала в водосточный желоб и пролежала там целых пять лет! Это не шутка! Особенно для девицы!

Кубарь молчал; он думал о своей старой возлюбленной и все больше и больше убеждался, что это она. Пришла служанка, чтобы опорожнить ведро.

– А, вот где наш кубарь! – сказала она.

И кубарь опять попал в комнаты и в честь, а о мячике не было и помину. Сам кубарь никогда больше и не заикался о

своей старой любви: любовь как рукой снимет, если предмет ее пролежит пять лет в водосточном желобе, да еще встретится вам в помойном ведре! Тут его и не узнаешь!

# Гадкий утенок

Хорошо было за городом! Стояло лето, рожь уже пожелтела, овсы зеленели, сено было сметано в стога; по зеленому лугу расхаживал длинноногий аист и болтал по-египетски – он выучился этому языку от матери. За полями и лугами тянулись большие леса с глубокими озерами в самой чаще. Да, хорошо было за городом! На солнечном припеке лежала старая усадьба, окруженная глубокими канавами с водой; от самой ограды вплоть до воды рос лопух, да такой большой, что маленькие ребятинки могли стоять под самыми крупными из его листьев во весь рост. В чаще лопуха было так же глухо и дико, как в густом лесу, и вот там-то сидела на яйцах утка. Сидела она уже давно, и ей порядком надоело это сидение, ее мало навещали: другим уткам больше нравилось плавать по канавкам, чем сидеть в лопухе да крякать с нею.

Наконец яичные скорлупки затрещали. «Пи! пи!» – слышалось из них: яичные желтки ожили и повысунули из скорлупок носики.

– Живо! Живо! – закричала утка, и утята заторопились, кое-как выкарабкались и начали озираться кругом, разглядывая зеленые листья лопуха; мать не мешала им – зеленый свет полезен для глаз.

– Как мир велик! – сказали утята.

Еще бы! Тут было куда просторнее, чем в скорлупе.

– А вы думаете, что тут и весь мир? – сказала мать. – Нет! Он тянется далеко-далеко, туда, за сад, к полю священника, но там я отроду не бывала!.. Ну, все, что ли, вы тут? – И она встала. – Ах нет, не все! Самое большое яйцо целехонько! Да скоро ли этому будет конец! Право, мне уж надоело.

И она уселась опять.

– Ну, как дела? – заглянула к ней старая утка.

– Да вот, еще одно яйцо остается! – сказала молодая утка. – Сижу, сижу, а все толку нет! Но посмотри-ка на других! Просто прелесть! Ужасно похожи на отца! А он-то, негодный, и не навестил меня ни разу!

– Постой-ка, я взгляну на яйцо! – сказала старая утка. – Может статься, это индюшечье яйцо! Меня тоже надули раз! Ну и маялась же я, как вывела индюшат! Они ведь страсть боятся воды; уж я и крикала, и звала, и толкала их в воду – не идут, да и конец! Дай мне взглянуть на яйцо! Ну, так и есть! Индюшечье! Брось-ка его да ступай учи других плавать!

– Посижу уж еще! – сказала молодая утка. – Сидела столько, что можно посидеть и еще немножко.

– Как угодно! – сказала старая утка и ушла.

Наконец затрещала скорлупка и самого большого яйца. «Пи! пи-и!» – и оттуда вывалился огромный некрасивый птенец. Утка оглядела его.

– Ужасно велик! – сказала она. – И совсем непохож на остальных. Неужели это индюшонок? Ну, да в воде-то он у меня побывает, хоть бы мне пришлось столкнуть его туда

силой!

На другой день погода стояла чудесная, зеленый лопух весь был залит солнцем. Утка со всею своею семьей отправилась к канаве. Бултых! – и утка очутилась в воде.

– За мной! Живо! – позвала она утят, и те один за другим тоже бултыхнулись в воду.

Сначала вода покрыла их с головками, но затем они вынырнули и поплыли так, что любо. Лапки у них так и работали; некрасивый серый утенок не отставал от других.

– Какой же это индюшонок? – сказала утка. – Ишь как славно гребет лапками, как прямо держится! Нет, это мой собственный сын! Да он вовсе и недурен, как посмотришь на него хорошенько! Ну, живо, живо, за мной! Я сейчас введу вас в общество – мы отправимся на птичий двор. Но держитесь ко мне поближе, чтобы кто-нибудь не наступил на вас, да берегитесь кошек!

Скоро добрались и до птичьего двора. Батюшки! Что тут был за шум и гам! Две семьи дрались из-за одной угриной головки, и в конце концов она досталась кошке.

– Вот как идут дела на белом свете! – сказала утка и облизнула язычком клюв, – ей тоже хотелось отведать угриной головки. – Ну, ну, шевелите лапками! – сказала она утятам. – Крякните и поклонитесь вон той старой утке! Она здесь знатнее всех! Она испанской породы и потому такая жирная. Видите, у нее на лапке красный лоскуток? Как красиво! Это знак высшего отличия, какого только может удостоиться ут-

ка. Люди дают этим понять, что не желают потерять ее; по этому лоскутку ее узнают и люди и животные. Ну, живо! Да не держите лапки вместе! Благовоспитанный утенок должен держать лапки врозь и выворачивать их наружу, как папаша с мамашей! Вот так! Кланяйтесь теперь и крикайте!

Утята так и сделали; но другие утки оглядывали их и громко говорили:

– Ну вот, еще целая орава! Точно нас мало было! А одинок какой безобразный! Его уж мы не потерпим!

И сейчас же одна утка подскочила и клюнула его в шею.

– Оставьте его! – сказала утка-мать. – Он ведь вам ничего не сделал!

– Это так, но он такой большой и странный! – отвечала забияка. – Ему надо задать хорошенькую трепку!

– Славные у тебя детки! – сказала старая утка с красным лоскутком на лапке. – Все очень милы, кроме одного... Этот не удался! Хорошо бы его переделать!

– Никак нельзя, ваша милость! – ответила утка-мать. – Он некрасив, но у него доброе сердце, и плавает он не хуже, смею даже сказать – лучше других. Я думаю, что он вырастет, похорошеет или станет со временем поменьше. Он залезался в яйцо, оттого и не совсем удался. – И она провела носиком по перышкам большого утенка. – Кроме того, он селезень, а селезню красота не так ведь нужна. Я думаю, что он возмужает и пробьет себе дорогу!

– Остальные утята очень-очень милы! – сказала старая ут-

ка. – Ну, будьте же как дома, а найдете угриную головку – можете принести ее мне.

Вот они и стали вести себя как дома. Только бедного утенка, который вылутился позже всех и был такой безобразный, клевали, толкали и осыпали насмешками решительно все – и утки и куры.

– Он больно велик! – говорили все, а индейский петух, который родился со шпорами на ногах и потому воображал себя императором, надулся и, словно корабль на всех парусах, подлетел к утенку, поглядел на него и пресердито залопотал; гребешок у него так весь и налился кровью. Бедный утенок просто не знал, что ему делать, как быть. И надо же ему было уродиться таким безобразным, каким-то посмешищем для всего птичьего двора!

Так прошел первый день, затем пошло еще хуже. Все гнали бедняжку, даже братья и сестры сердито говорили ему:

– Хоть бы кошка утащила тебя, несносного уроды!

А мать прибавляла:

– Глаза бы мои тебя не видали!

Утки клевали его, куры щипали, а девушка, которая давала птицам корм, толкала ногою.

Не выдержал утенок, перебежал двор и – через изгородь! Маленькие птички испуганно вспорхнули из кустов.

«Они испугались меня, такой я безобразный!» – подумал утенок и пустился наутек, сам не зная куда. Бежал-бежал, пока не очутился в болоте, где жили дикие утки. Усталый и



печальный, он просидел тут всю ночь.

Утром утки вылетели из гнезд и увидали нового товарища.

– Ты кто такой? – спросили они, а утенок вертелся, раскланиваясь на все стороны, как умел.

– Ты пребезобразный! – сказали дикие утки. – Но нам до этого нет дела, только не думай породниться с нами!

Бедняжка! Где уж ему было и думать об этом! Лишь бы позволили ему посидеть в камышах да попить болотной водицы.

Два дня провел он в болоте, на третий день явились два диких гусака. Они недавно вылупились из яиц и потому выступали очень гордо.

– Слушай, дружище! – сказали они. – Ты такой урод, что, право, нравишься нам! Хочешь летать с нами и быть вольной птицей? Недалеко отсюда, в другом болоте, живут премиленькие дикие гусыни-барышни. Они умеют говорить: «Рап, рап!» Ты такой урод, что, чего доброго, будешь иметь у них большой успех!

«Пиф! паф!» – раздалось вдруг над болотом, и оба гусака упали в камыши мертвыми; вода окрасилась кровью. «Пиф! паф!» – раздалось опять, и из камышей поднялась целая стая диких гусей. Пошла пальба. Охотники оцепили болото со всех сторон; некоторые из них сидели в нависших над болотом ветвях деревьев. Голубой дым облаками окутывал деревья и стлался над водой. По болоту шлепали охотничьи со-

баки; камыш качался из стороны в сторону. Бедный утенок был ни жив ни мертв от страха и только что хотел спрятать голову под крыло, как глядь – перед ним охотничья собака с высунутым языком и сверкающими злыми глазами. Она приблизилась к утенку свою пасть, оскалила острые зубы и – шлеп, шлеп – побежала дальше.

– Слава Богу! – перевел дух утенок. – Слава Богу! Я так безобразен, что даже собаке противно укусить меня!

И он притаился в камышах; над головою его то и дело пролетали дробинки, раздавались выстрелы.

Пальба стихла только к вечеру, но утенок долго еще боялся пошевелиться. Прошло еще несколько часов, пока он осмелился встать, оглядеться и пуститься бежать дальше по полям и лугам. Дул такой сильный ветер, что утенок еле-еле мог двигаться.

К ночи он добежал до бедной избушки. Избушка так уж обветшала, что готова была упасть, да не знала, на какой бок, оттого и держалась. Ветер так и подхватывал утенка – приходилось упираться в землю хвостом!

Ветер, однако, все крепчал; что было делать утенку? К счастью, он заметил, что дверь избушки соскочила с одной петли и висит совсем криво; можно было свободно проскользнуть через эту щель в избушку. Так он и сделал.

В избушке жила старушка с котом и курицей. Кота она звала сыночком; он умел выгибать спинку, мурлыкать и даже испускать искры, если его гладили против шерсти. У курицы

были маленькие, коротенькие ножки, ее и прозвали Коротконожкой; она прилежно несла яйца, и старушка любила ее, как дочку.

Утром прищельца заметили; кот начал мурлыкать, а курица клохтать.

– Что там? – спросила старушка, осмотрелась кругом и заметила утенка, но по слепоте своей приняла его за жирную утку, которая отбилась от дому.

– Вот так находка! – сказала старушка. – Теперь у меня будут утиные яйца, если только это не селезень. Ну да увидим, испытаем!

И утенка приняли на испытание, но прошло недели три, а яиц все не было. Господином в доме был кот, а госпожою курица, и оба всегда говорили: «Мы и весь свет!» Они считали самих себя половиной всего света, притом – лучшею его половиной. Утенку же казалось, что можно на этот счет быть и другого мнения. Курица, однако, этого не потерпела.

– Умеешь ты нести яйца? – спросила она утенка.

– Нет!

– Так и держи язык на привязи!

А кот спросил:

– Умеешь ты выгибать спинку, мурлыкать и испускать искры?

– Нет!

– Так и не суйся с своим мнением, когда говорят умные люди!

И утенок сидел в углу нахохлившись. Вдруг вспомнились ему свежий воздух и солнышко, и ему страшно захотелось поплавать. Он не выдержал и сказал об этом курице.

– Да что с тобой?! – спросила она. – Бездельничаешь, вот тебе блажь в голову и лезет! Неси-ка яйца или мурлычь, дурь-то и пройдет!

– Ах, плавать по воде так приятно! – сказал утенок. – А что за наслаждение нырять в самую глубь с головой!

– Хорошо наслаждение! – сказала курица. – Ты совсем рехнулся! Спроси у кота, он умнее всех, кого я знаю, нравится ли ему плавать или нырять! О себе самой я уж не говорю! Спроси, наконец, у нашей старушки хозяйки, умнее ее нет никого на свете! По-твоему, и ей хочется плавать или нырять?

– Вы меня не понимаете! – сказал утенок.

– Если уж мы не понимаем, так кто тебя и поймет! Что ж, ты хочешь быть умнее кота и хозяйки, не говоря уже обо мне? Не дури, а благодари-ка лучше Создателя за все, что для тебя сделали! Тебя приютили, пригрели, тебя окружает такое общество, в котором ты можешь чему-нибудь научиться, но ты – пустая голова, и говорить-то с тобой не стоит! Уж поверь мне! Я желаю тебе добра, потому и браню тебя – так всегда узнаются истинные друзья! Старайся же нести яйца и выучись мурлыкать да пускать искры!

– Я думаю, мне лучше уйти отсюда куда глаза глядят! – сказал утенок.

– Скатертью дорога! – отвечала курица.

И утенок ушел. Он плавал и нырял, но все животные по-прежнему презирали его за безобразие.

Настала осень; листья на деревьях пожелтели и побурели; ветер подхватывал и кружил их; наверху, в небе, стало так холодно, что тяжелые облака сеяли град и снег, а на изгороди сидел ворон и каркал от холода во все горло. Брр! Замерзнешь при одной мысли о таком холоде! Плохо приходилось бедному утенку.

Раз вечером, когда солнце так красиво закатывалось, из-за кустов поднялась целая стая чудных, больших птиц; утенок сроду не видал таких красавцев: все они были белы как снег, с длинными, гибкими шеями! То были лебеди. Они испустили какой-то странный крик, взмахнули великолепными, большими крыльями и полетели с холодных лугов в теплые края, за синее море. Они поднялись высоко-высоко, а бедного утенка охватило какое-то смутное волнение. Он завертелся в воде, как волчок, вытянул шею и тоже испустил такой громкий и странный крик, что и сам испугался. Чудные птицы не шли у него из головы, и когда они окончательно скрылись из виду, он нырнул на самое дно, вынырнул опять и был словно вне себя. Утенок не знал, как зовут этих птиц, куда они летели, но полюбил их, как не любил до сих пор никого. Он не завидовал их красоте; ему и в голову не могло прийти пожелать походить на них; он рад бы был и тому, чтоб хоть утки-то его от себя не отталкивали. Бедный безоб-

разный утенок!

А зима стояла холодная-прехолодная. Утенку приходилось плавать без отдыха, чтобы не дать воде замерзнуть совсем, но с каждой ночью свободное ото льда пространство становилось все меньше и меньше. Морозило так, что ледяная кора трещала. Утенок без устали работал лапками, но под конец обессилел, приостановился и весь обмерз.

Рано утром мимо проходил крестьянин, увидел примерзшего утенка, разбил лед своим деревянным башмаком и принес птицу домой к жене. Утенка отогрели.

Но вот дети вздумали играть с ним, а он вообразил, что они хотят обидеть его, и шарахнулся со страха прямо в поддонник с молоком – молоко все расплескалось. Женщина вскрикнула и всплеснула руками; утенок между тем влетел в кадку с маслом, а оттуда в бочонок с мукой. Батюшки, на что он был похож! Женщина вопила и гонялась за ним с угольными щипцами, дети бегали, сшибая друг друга с ног, хохотали и визжали. Хорошо, что дверь стояла отворенной, утенок выбежал, кинулся в кусты, прямо на свежавыпавший снег и долго-долго лежал там почти без чувств.

Было бы чересчур печально описывать все злоключения утенка за эту суровую зиму. Когда же солнышко опять пригрело землю своими теплыми лучами, он лежал в болоте, в камышах. Запели жаворонки, пришла весна.

Утенок взмахнул крыльями и полетел; теперь крылья его шумели и были куда крепче прежнего. Не успел он опом-

ниться, как уже очутился в большом саду. Яблони стояли все в цвету; душистая сирень склоняла свои длинные зеленые ветви над извилистым каналом.

Ах, как тут было хорошо, как пахло весною! Вдруг из чащи тростника выплыли три чудных белых лебедя. Они плыли так легко и плавно, точно скользили по воде. Утенок узнал красивых птиц, и его охватила какая-то странная грусть.

«Полечу-ка я к этим царственным птицам; они, наверное, убьют меня за то, что я, такой безобразный, осмелился приблизиться к ним, но пусть! Лучше быть убитым ими, чем сносить щипки уток и кур, толчки птичницы, да терпеть холод и голод зимою!»

И он слетел на воду и поплыл навстречу красавцам лебедям, которые, завидя его, тоже устремились к нему.

– Убейте меня! – сказал бедняжка и опустил голову, ожидая смерти, но что же увидел он в чистой, как зеркало, воде? Свое собственное изображение, но он был уже не безобразною темно-серою птицей, а – лебедем!

Не беда появиться на свет в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца!

Теперь он был рад, что перенес столько горя и бедствий, – он лучше мог оценить свое счастье и все окружавшее его великолепие. Большие лебеди плавали вокруг него и ласкали его, гладили клювами.

В сад прибежали маленькие дети; они стали бросать лебедям хлебные крошки и зерна, а самый меньшой из них за-

кричал:

– Новый, новый!

И все остальные подхватили:

– Да, новый, новый! – хлопали в ладоши и приплясывали от радости; потом побежали за отцом и матерью и опять бросали в воду крошки хлеба и пирожного. Все говорили, что новый красивее всех. Такой молоденький, прелестный!

И старые лебеди склонили перед ним головы. А он совсем смутился и спрятал голову под крыло, сам не зная зачем. Он был чересчур счастлив, но нисколько не возгордился – доброе сердце не знает гордости, – помня то время, когда все его презирали и гнали. А теперь все говорят, что он прекраснейший между прекрасными птицами! Сирень склоняла к нему в воду свои душистые ветви, солнышко светило так славно... И вот крылья его зашумели, стройная шея выпрямилась, а из груди вырвался ликующий крик:

– Мог ли я мечтать о таком счастье, когда был еще гадким утенком!



# Ель

В лесу стояла чудесная елочка. Место у нее было хорошее, воздуха и света вдоволь; кругом росли подруги постарше – и ели, и сосны. Елочке ужасно хотелось поскорее вырасти; она не думала ни о теплом солнышке, ни о свежем воздухе, не было ей дела и до болтливых крестьянских ребятишек, что собирали в лесу землянику и малину; набрав полные кружки или нанизав ягоды, словно бусы, на тонкие прутики, они присаживались под елочку отдохнуть и всегда говорили:

– Вот славная елочка! Хорошенькая, маленькая!

Таких речей деревцо и слушать не хотело.

Прошел год – и у елочки прибавилось одно коленце, прошел еще год – прибавилось еще одно: так по числу коленцев и можно узнать, сколько ели лет.

– Ах, если бы я была такой же большой, как другие деревья! – вздыхала елочка. – Тогда бы и я широко раскинула свои ветви, высоко подняла голову, и мне бы видно было далеко-далеко вокруг! Птицы свили бы в моих ветвях гнезда, и я при ветре так же важно кивала бы головой, как другие!

И ни солнышко, ни пение птичек, ни розовые утренние и вечерние облака не доставляли ей ни малейшего удовольствия.

Стояла зима; земля была устлана сверкающим снежным ковром; по снегу нет-нет да пробежал заяц и иногда даже пе-

репрыгивал через елочку – вот обида! Но прошло еще две зимы, и к третьей деревцо подросло уже настолько, что зайцу приходилось обходить его.

«Да, расти, расти и поскорее сделаться большим, старым деревом – что может быть лучше этого!» – думалось елочке.

Каждую осень в лесу появлялись дровосеки и рубили самые большие деревья. Елочка каждый раз дрожала от страха при виде падавших на землю с шумом и треском огромных деревьев. Их очищали от ветвей, и они валялись на земле такими голыми, длинными и тонкими. Едва можно было узнать их! Потом их укладывали на дровни и увозили из леса.

Куда? Зачем?

Весною, когда прилетали ласточки и аисты, деревцо спросило у них:

– Не знаете ли, куда повезли те деревья? Не встречали ли вы их?

Ласточки ничего не знали, но один из аистов подумал, кивнул и сказал:

– Да, пожалуй! Я встречал на море, по пути из Египта, много новых кораблей с великолепными, высокими мачтами. От них пахло елью и сосной. Вот где они!

– Ах, поскорей бы и мне вырасти да пуститься в море! А каково это море, на что оно похоже?

– Ну, это долго рассказывать! – ответил аист и улетел.

– Радуйся своей юности! – говорили елочке солнечные лу-

чи. – Радуйся своему здоровому росту, своей молодости и жизненным силам!

И ветер целовал дерево, роса проливала над ним слезы, но ель ничего этого не ценила.

Около Рождества срубили несколько совсем молоденьких елок; некоторые из них были даже меньше нашей елочки, которой так хотелось скорее вырасти. Все срубленные деревца были прехорошенькие; их не очищали от ветвей, а прямо уложили на дровни и увезли из леса.

– Куда? – спросила ель. – Они не больше меня, одна даже меньше. И почему на них оставили все ветви? Куда их повезли?

– Мы знаем! Мы знаем! – прочирикали воробьи. – Мы были в городе и заглядывали в окна! Мы знаем, куда их повезли! Они попадут в такую честь, что и сказать нельзя! Мы заглядывали в окна и видели! Их ставят посреди теплой комнаты и украшают чудеснейшими вещами – золочеными яблоками, медовыми пряниками и множеством свечей!

– А потом?.. – спросила ель, дрожа всеми ветвями. – А потом?.. Что было с ними потом?

– А больше мы ничего не видали! Но это было неподобно!

– Может быть, и я пойду такую же блестящую дорогой! – радовалась ель. – Это получше, чем плавать по морю! Ах, я просто изнываю от тоски и нетерпения! Хоть бы поскорее пришло Рождество! Теперь и я стала такую же высокою и

раскидистою, как те, что были срублены прошлый год! Ах, если б я уже лежала на дровнях! Ах, если б я уже стояла разубранною всеми этими прелестями, в теплой комнате! А потом что?.. Потом, верно, будет еще лучше, иначе зачем бы и наряжать меня!.. Только что именно будет? Ах, как я тоскую и рвусь отсюда! Просто и сама не знаю, что со мной!

– Радуйся нам! – сказали ей воздух и солнечный свет. – Радуйся своей юности и лесному приволью!

Но она и не думала радоваться, а все росла да росла. И зиму и лето стояла она в своем зеленом уборе, и все, кто видел ее, говорили: «Вот чудесное деревцо!» Подошло наконец и Рождество, и елочку срубили первую. Жгучая боль и тоска не дали ей даже подумать о будущем счастье; грустно было расставаться с родным лесом, с тем уголком, где она выросла, – она ведь знала, что никогда больше не увидит своих милых подруг – елей и сосен, кустов, цветов, а может быть, даже и птичек! Как тяжело, как грустно!..

Деревцо пришло в себя только тогда, когда очутилось вместе с другими деревьями на дворе и услышало возле себя чей-то голос:

– Чудесная елка! Такую-то нам и нужно!

Явились двое разодетых слуг, взяли елку и внесли ее в огромную, великолепную залу. По стенам висели портреты, а на большой кафельной печке стояли китайские вазы со львами на крышках; повсюду были расставлены кресла-качалки, обитые шелком диваны и большие столы, заваленные альбо-

мами, книжками и игрушками на несколько сот далеров – так, по крайней мере, говорили дети. Елку посадили в большую кадку с песком, обвернули кадку материей и поставили на пестрый ковер. Как трепетала елочка! Что-то теперь будет? Явились слуги и молодые девушки и стали наряжать ее. Вот на ветвях повисли набитые сладостями маленькие сетки, вырезанные из цветной бумаги, выросли золоченые яблоки и орехи и закачались куклы – ни дать ни взять живые человечки; таких елка еще не видывала. Наконец к ветвям прикрепили сотни разноцветных маленьких свечек – красных, голубых, белых, а к самой верхушке ели – большую звезду из сусального золота. Ну, просто глаза разбегались, глядя на все это великолепие!

– Как заблестит, засияет елка вечером, когда зажгутся свечки! – сказали все.

«Ах! – подумала елка. – Хоть бы поскорее настал вечер и зажгли свечки! А что же будет потом? Не явятся ли сюда из лесу, чтобы полюбоваться на меня, другие деревья? Не прилетят ли к окошкам воробьи? Или, может быть, я вращу в эту кадку и буду стоять тут такою нарядной и зиму и лето?»

Да, много она знала!.. От напряженного ожидания у нее даже заболела кора, а это для дерева так же неприятно, как для нас головная боль.

Но вот зажглись свечи. Что за блеск, что за роскошь! Елка задрожала всеми ветвями, одна из свечек подпалила зеленые иглы, и елочка пребольно обожглась.

– Ай-ай! – закричали барышни и поспешно затушили огонь.

Больше елка дрожать не смела. И напугалась же она! Особенно потому, что боялась лишиться хоть малейшего из своих украшений. Но весь этот блеск просто ошеломлял ее... Вдруг обе половинки дверей распахнулись, и ворвалась целая толпа детей; можно было подумать, что они намеревались свалить дерево! За ними степенно вошли старшие. Малыши остановились как вкопанные, но лишь на минуту, а потом поднялся такой шум и гам, что просто в ушах звенело. Дети плясали вокруг елки, и мало-помалу все подарки с нее были сорваны.

«Что же это они делают? – думала елка. – Что это значит?»

Свечки догорели, их потушили, а детям позволили обобрать дерево. Как они набросились на него! Только ветви затрещали! Не будь верхушка с золотой звездой крепко привязана к потолку, они бы повалили елку.

Потом дети опять принялись плясать, не выпуская из рук своих чудесных игрушек. Никто больше не глядел на елку, кроме старой няни, да и та высматривала только, не осталось ли где в ветвях яблочка или финика.

– Сказку! Сказку! – закричали дети и подтащили к елке маленького, толстого человека. Он уселся под деревом и сказал:

– Вот мы и в лесу! Да и елка, кстати, послушает! Но я расскажу только одну сказку! Какую хотите: про Иведе-Аведе

или про Клумпе-Думпе, который, хоть и свалился с лестницы, все-таки прославился и добыл себе принцессу?

– Про Иведе-Аведе! – закричали одни.

– Про Клумпе-Думпе! – кричали другие.

Поднялся крик и шум; одна елка стояла смирно и думала.

«А мне разве нечего больше делать?»

Она уже сделала свое дело!

И толстенный человек рассказал про Клумпе-Думпе, который, хоть и свалился с лестницы, все-таки прославился и добыл себе принцессу.

Дети захлопали в ладоши и закричали:

– Еще, еще! – Они хотели послушать и про Иведе-Аведе, но остались при одном Клумпе-Думпе.

Тихо, задумчиво стояла елка, – лесные птицы никогда не рассказывали ничего подобного. «Клумпе-Думпе свалился с лестницы, и все же ему досталась принцесса! Да, вот что бывает на белом свете!» – думала елка; она вполне верила всему, что сейчас слышала, – рассказывал ведь такой почтенный человек. «Да, да, кто знает! Может быть, и мне придется свалиться с лестницы, а потом и я стану принцессой!» И она с радостью думала о завтрашнем дне: ее опять украсят свечками и игрушками, золотом и фруктами! «Завтра уж я не задрожу! – думала она. – Я хочу как следует насладиться своим великолепием! И завтра я опять услышу сказку про Клумпе-Думпе, а может статься, и про Иведе-Аведе». И деревцо смирно простояло всю ночь, мечтая о завтрашнем дне.

Поутру явились слуги и горничная. «Сейчас опять начнут меня украшать!» – подумала елка, но они вытащили ее из комнаты, поволокли по лестнице и сунули в самый темный угол чердака, куда даже не проникал дневной свет.

«Что же это значит? – думала елка. – Что мне здесь делать? Что я тут увижу и услышу?» И она прислонилась к стене и все думала, думала... Времени на это было довольно: проходили дни и ночи – никто не заглядывал к ней. Раз только пришли люди поставить на чердак какие-то ящики. Дерево стояло совсем в стороне, и о нем, казалось, забыли.

«На дворе зима! – думала елка. – Земля затвердела и покрылась снегом; нельзя, значит, снова посадить меня в землю, вот и приходится постоять под крышей до весны! Как это умно придумано! Какие люди добрые! Не будь только здесь так темно и так ужасно пусто!.. Нет даже единого зайчика!.. А в лесу-то как было весело! Кругом снег, а по снегу зайчики скачут! Хорошо было. Даже когда они прыгали через меня, хоть меня это и сердило! А тут как пусто!»

– Пи-пи! – пискнул вдруг мышонок и выскочил из норки, за ним еще один, маленький. Они принялись обнюхивать дерево и шмыгать меж его ветвями.

– Ужасно холодно здесь! – сказали мышата. – А то совсем бы хорошо было! Правда, старая елка?

– Я вовсе не старая! – отвечала ель. – Есть много деревьев постарше меня!

– Откуда ты и что ты знаешь? – спросили мышата; они



были ужасно любопытны. — Расскажи нам, где самое лучшее место на земле? Ты была там? Была ты когда-нибудь в кладовой, где на полках лежат сыры, а под потолком висят окорока и где можно плясать на сальных свечах? Туда войдешь тощим, а выйдешь оттуда толстым!

— Нет, такого места я не знаю! — сказала дерево. — Но я знаю лес, где светит солнышко и поют птички!

И она рассказала им о своей юности; мышата никогда не слыхали ничего подобного, выслушали рассказ елки и потом сказали:

— Как же ты много видела! Как ты была счастлива!

— Счастлива? — сказала ель и задумалась о том времени, о котором только что рассказывала. — Да, пожалуй, тогда мне жилось недурно!

Затем она рассказала им про тот вечер, когда была разубрана пряниками и свечками.

— О! — сказали мышата. — Как же ты была счастлива, старая елка!

— Я совсем еще не старая! — возразила елка. — Я взята из лесу только нынешнею зимой! Я в самой поре! Только что вошла в рост!

— Как ты чудесно рассказываешь! — сказали мышата и на следующую ночь привели с собой еще четырех, которым тоже надо было послушать рассказы елки.

А сама ель чем больше рассказывала, тем яснее припоминала свое прошлое, и ей казалось, что она пережила много

хороших дней.

– Но они же вернутся! Вернутся! И Клумпе-Думпе упал с лестницы, а все-таки ему досталась принцесса! Может быть, и я сделаюсь принцессой!

Тут дерево вспомнило хорошенькую березку, что росла в лесной чаще неподалеку от него, – она казалась ему настоящей принцессой.

– Кто это – Клумпе-Думпе? – спросили мышата, и ель рассказала им всю сказку: она запомнила ее слово в слово. Мышата от удовольствия прыгали чуть не до самой верхушки дерева. На следующую ночь явилось еще несколько мышей, а в воскресенье пришли даже две крысы. Этим сказка вовсе не понравилась, что очень огорчило мышат, но теперь и они перестали уже так восхищаться сказкою, как прежде.

– Вы только одну эту историю и знаете? – спросили крысы.

– Только! – отвечала ель. – Я слышала ее в счастливейший вечер моей жизни; тогда-то я, впрочем, еще не признавала этого!

– В высшей степени жалкая история! Не знаете ли вы чего-нибудь про жир или сальные свечи? Про кладовую?

– Нет! – ответило дерево.

– Так счастливо оставаться! – сказали крысы и ушли.

Мышата тоже разбежались, и ель вздохнула:

– А ведь славно было, когда эти резвые мышата сидели вокруг меня и слушали мои рассказы! Теперь и этому конец... Но уж теперь я не упущу своего, порадуюсь хорошенько, ко-

гда наконец снова выйду на белый свет!

Не так-то скоро это случилось!

Однажды утром явились люди прибрать чердак. Ящики были вытащены, а за ними и ель. Сначала ее довольно грубо бросили на пол, потом слуга выволок ее по лестнице вниз.

«Ну, теперь для меня начнется новая жизнь!» – подумала елка.

Вот на нее повеяло свежим воздухом, блеснул луч солнца – ель очутилась на дворе. Все это произошло так быстро, вокруг было столько нового и интересного для нее, что она не успела и поглядеть на самое себя. Двор примыкал к саду; в саду все зеленело и цвело. Через изгородь перевешивались свежие благоухающие розы, липы были покрыты цветом, ласточки летали взад и вперед и щебетали:

– Квир-вир-вит! Мой муж вернулся!

Но это не относилось к ели.

– Теперь я заживу! – радовалась она и расправляла свои ветви. Ах, как они поблекли и пожелтели!

Дерево лежало в углу двора, в крапиве и сорной траве; на верхушке его все еще сияла золотая звезда.

Во дворе весело играли те самые ребяташки, что прыгали и плясали вокруг разубранной елки в сочельник. Самый младший увидел звезду и сорвал ее.

– Поглядите-ка, что осталось на этой гадкой, старой елке! – крикнул он и наступил на ее ветви; ветви захрустели.

Ель посмотрела на молодую, цветущую жизнь вокруг, по-

том поглядела на самое себя и пожелала вернуться в свой темный угол на чердак. Вспомнились ей и молодость, и лес, и веселый сочельник, и мышата, радостно слушавшие сказку про Клумпе-Думпе.

– Все прошло, прошло! – сказала бедная елка. – И хоть бы я радовалась, пока было время! А теперь все прошло, прошло!

Пришел слуга и изрубил елку в куски, – вышла целая связка растопок. Как жарко запылали они под большим котлом! Дерево глубоко-глубоко вздыхало, и эти вздохи были похожи на слабые выстрелы. Прибежали дети, уселись перед огнем и встречали каждый выстрел веселым «пиф! паф!». А ель, испуская тяжелые вздохи, вспоминала ясные летние дни и звездные зимние ночи в лесу, веселый сочельник и сказку про Клумпе-Думпе, единственную слышанную ею сказку!.. Так она вся и сгорела.

Мальчики опять играли во дворе; у младшего на груди сияла та самая золотая звезда, которая украшала елку в счастливейший вечер ее жизни. Теперь он прошел, канул в вечность, елке тоже пришел конец, а с нею и нашей истории. Конец, конец! Все на свете имеет свой конец!

# **Снежная королева**

## ***Сказка в семи рассказах***

### ***Рассказ первый***

#### **Зеркало и его осколки**

Ну, начнем! Дойдя до конца нашей истории, мы будем знать больше, чем теперь. Так вот, жил-был тролль, злющий-презлющий; то был сам дьявол. Раз он был в особенно хорошем расположении духа: он смастерил такое зеркало, в котором все доброе и прекрасное уменьшалось донельзя, все же негодное и безобразное, напротив, выступало еще ярче, казалось еще хуже. Прелестнейшие ландшафты выглядели в нем вареным шпинатом, а лучшие из людей – уродами, или казалось, что они стоят кверху ногами, а животов у них во-все нет! Лица искажались до того, что нельзя было и узнать их; случись же у кого на лице веснушка или родинка, она расплывалась во все лицо. Дьявола все это ужасно потешало. Добрая, благочестивая человеческая мысль отражалась в зеркале невообразимой гримасой, так что тролль не мог не хохотать, радуясь своей выдумке. Все ученики тролля – у него была своя школа – рассказывали о зеркале, как о каком-то чуде.

– Теперь только, – говорили они, – можно увидеть весь мир и людей в их настоящем свете!

И вот они бегали с зеркалом повсюду; скоро не осталось ни одной страны, ни одного человека, которые бы не отразились в нем в искаженном виде. Напоследок захотелось им добраться и до неба, чтобы посмеяться над ангелами и самим Творцом. Чем выше поднимались они, тем сильнее кривлялось и корчилось зеркало от гримас; они еле-еле удерживали его в руках. Но вот они поднялись еще, и вдруг зеркало так перекосило, что оно вырвалось у них из рук, полетело на землю и разбилось вдребезги.

Миллионы, биллионы его осколков наделали, однако, еще больше бед, чем самое зеркало. Некоторые из них были не больше песчинки, разлетались по белу свету, попадали, случалось, людям в глаза и так там и оставались. Человек же с таким осколком в глазу начинал видеть все наизуворот или замечать в каждой вещи одни лишь дурные стороны – ведь каждый осколок сохранял свойство, которым отличалось самое зеркало. Некоторым людям осколки попадали прямо в сердце, и это было хуже всего: сердце превращалось в кусок льда. Были между этими осколками и большие, такие, что их можно было вставить в оконные рамы, но уж в эти окна не стоило смотреть на своих добрых друзей. Наконец, были и такие осколки, которые пошли на очки, только беда была, если люди надевали их с целью смотреть на вещи и судить о них вернее! А злой тролль хохотал до колик, так прият-

но щекотал его успех этой выдумки. Но по свету летало еще много осколков зеркала. Послушаем же про них.

## *Рассказ второй*

### **Мальчик и девочка**

В большом городе, где столько домов и людей, что не всем и каждому удастся отгородить себе хоть маленькое местечко для садика, и где поэтому большинству жителей приходится довольствоваться комнатными цветами в горшках, жили двое бедных детей, но у них был садик побольше цветочного горшка. Они не были в родстве, но любили друг друга, как брат и сестра. Родители их жили в мансардах смежных домов. Кровли домов почти сходились, а под выступами кровель шло по водосточному желобу, приходившемуся как раз под окошком каждой мансарды. Стоило, таким образом, шагнуть из какого-нибудь окошка на желоб, и можно было очутиться у окна соседей.

У родителей было по большому деревянному ящику; в них росли коренья и небольшие кусты роз — в каждом по одному, — осыпанные чудными цветами. Родителям пришлось в голову поставить эти ящики на дно желобов; таким образом, от одного окна к другому тянулись словно две цветочные грядки. Горох спускался из ящиков зелеными гирляндами, розовые кусты заглядывали в окна и сплетались ветвями; образовалось нечто вроде триумфальных ворот из зеле-

ни и цветов. Так как ящики были очень высоки и дети твердо знали, что им нельзя карабкаться на них, то родители часто позволяли мальчику с девочкой ходить друг к другу по крыше в гости и сидеть на скамеечке под розами. И что за веселые игры устраивали они тут!

Зимою это удовольствие прекращалось, окна зачастую покрывались ледяными узорами. Но дети нагревали на печке медные монеты и прикладывали их к замерзшим стеклам – сейчас же оттаивало чудесное кругленькое отверстие, а в него выглядывал веселый, ласковый глазок, – это смотрели, каждый из своего окна, мальчик и девочка, Кай и Герда. Летом они одним прыжком могли очутиться в гостях друг у друга, а зимою надо было сначала спуститься на много-много ступеней вниз, а затем подняться на столько же вверх. На дворе перепархивал снежок.

– Это роятся белые пчелки! – говорила старушка бабушка.

– А у них тоже есть королева? – спрашивал мальчик; он знал, что у настоящих пчел есть такая.

– Есть! – отвечала бабушка. – Снежинки окружают ее густым роем, но она больше их всех и никогда не остается на земле – вечно носится на черном облаке. Часто по ночам пролетает она по городским улицам и заглядывает в окошки; вот оттого-то они и покрываются ледяными узорами, словно цветами!

– Видели, видели! – говорили дети и верили, что все это сущая правда.



— А Снежная королева не может войти сюда? — спросила раз девочка.

— Пусть-ка попробует! — сказал мальчик. — Я посажу ее на теплую печку, вот она и растает!

Но бабушка погладила его по головке и завела разговор о другом.

Вечером, когда Кай был уже дома и почти совсем разделся, собираясь лечь спать, он вскарабкался на стул у окна и поглядел в маленький оттаявший на оконном стекле кружочек. За окном порхали снежинки; одна из них, побольше, упала на край цветочного ящика и начала расти, расти, пока наконец не превратилась в женщину, укутанную в тончайший белый тюль, сотканный, казалось, из миллионов снежных звездочек. Она была так прелестна, так нежна, вся из ослепительно белого льда и все же живая! Глаза ее сверкали, как звезды, но в них не было ни теплоты, ни кротости. Она кивнула мальчику и поманила его рукой. Мальчуган испугался и спрыгнул со стула; мимо окна промелькнуло что-то похожее на большую птицу.

На другой день был славный морозец, но затем сделалась оттепель, а там пришла и весна. Солнышко светило, цветочные ящики опять были все в зелени, ласточки вили под крышей гнезда, окна растворили, и детям опять можно было сидеть в своем маленьком садике на крыше.

Розы цвели все лето восхитительно. Девочка выучила псалом, в котором тоже говорилось о розах; девочка пела его

мальчику, думая при этом о своих розах, и он подпевал ей:

Розы цветут... Красота, красота!  
Скоро узрим мы младенца Христа.

Дети пели, взявшись за руки, целовали розы, смотрели на ясное солнышко и разговаривали с ним – им чудилось, что с него глядел на них сам младенец Христос. Что за чудное было лето, и как хорошо было под кустами благоухающих роз, которые, казалось, должны были цвести вечно!

Кай и Герда сидели и рассматривали книжку с картинками – зверями и птицами; на больших башенных часах пробило пять.

– Ай! – вскрикнул вдруг мальчик. – Мне кольнуло прямо в сердце, и что-то попало в глаз!

Девочка обвила ручонкой его шею, он мигал, но в глазу ничего как будто не было.

– Должно быть, выскочило! – сказал он.

Но в том-то и дело, что нет. В сердце и в глаз ему попали два осколка дьявольского зеркала, в котором, как мы, конечно, помним, все великое и доброе казалось ничтожным и гадким, а злое и дурное отражалось еще ярче, дурные стороны каждой вещи выступали еще резче. Бедняжка Кай! Теперь сердце его должно было превратиться в кусок льда! Боль в глазу и в сердце уже прошла, но самые осколки в них остались.

– О чем же ты плачешь? – спросил он Герду. – У! Какая ты сейчас безобразная! Мне совсем не больно! Фу! – закричал он вдруг. – Эту розу точит червь! А та совсем кривая! Какие гадкие розы! Не лучше ящиков, в которых торчат!

И он, толкнув ящик ногою, вырвал две розы.

– Кай, что ты делаешь? – закричала девочка, а он, увидя ее испуг, вырвал еще одну и убежал от миленькой маленькой Герды в свое окно.

Приносила ли после того ему девочка книжку с картинками, он говорил, что эти картинки хороши только для грудных ребят; рассказывала ли что-нибудь старушка бабушка, он придирался к словам. Да если бы еще только это! А то он дошел до того, что стал передразнивать ее походку, надевать ее очки и подражать ее голосу! Выходило очень похоже и смешило людей. Скоро мальчик научился передразнивать и всех соседей – он отлично умел выставить напоказ все их странности и недостатки, – и люди говорили:

– Что за голова у этого мальчугана!

А причиной всему были осколки зеркала, что попали ему в глаз и в сердце. Потому-то он передразнивал даже миленькую маленькую Герду, которая любила его всем сердцем.

И забавы его стали теперь совсем иными, такими мудреными. Раз зимою, когда шел снежок, он явился с большим зажигательным стеклом и подставил под снег полу своей синей куртки.

– Погляди в стекло, Герда! – сказал он.

Каждая снежинка казалась под стеклом куда больше, чем была на самом деле, и походила на роскошный цветок или десятиугольную звезду. Чудо что такое!

– Видишь, как искусно сделано! – сказал Кай. – Это куда интереснее настоящих цветов! И какая точность! Ни единой неправильной линии! Ах, если бы они только не таяли!

Немного спустя Кай явился в больших рукавицах, с санками за спиною, крикнул Герде в самое ухо:

– Мне позволили покататься на большой площади с другими мальчиками! – и убежал.

На площади каталось множество детей. Те, что были посмелее, привязывали свои санки к крестьянским саням и уезжали таким образом довольно далеко. Веселье так и кипело. В самый разгар его на площади появились большие сани, выкрашенные в белый цвет. В них сидел человек, весь ушедший в белую меховую шубу и такую же шапку. Сани объехали кругом площади два раза; Кай живо привязал к ним свои санки и покати́л. Большие сани понеслись быстрее и затем свернули с площади в переулок. Сидевший в них человек обернулся и дружески кивнул Каю, точно знакомому. Кай несколько раз порывался отвязать свои санки, но человек в шубе кивал ему, и он ехал дальше. Вот они выехали за городские ворота. Снег повалил вдруг хлопьями, стемнело так, что кругом не было видно ни зги. Мальчик поспешно отпустил веревку, которою зацепился за большие сани, но санки его точно приросли к большим саням и продолжали

нестись вихрем. Кай громко закричал – никто не услышал его! Снег валил, санки мчались, ныряя в сугробах, прыгая через изгороди и канавы. Кай весь дрожал, хотел прочесть «Отче наш», но в уме у него вертелась одна таблица умножения.

Снежные хлопья все росли и обратились под конец в больших белых куриц. Вдруг они разлетелись в стороны, большие сани остановились, и сидевший в них человек встал. Это была высокая, стройная, ослепительно белая женщина – Снежная королева; и шуба и шапка на ней были из снега.

– Славно проехались! – сказала она. – Но ты совсем замерз? Полезай ко мне в шубу!

И, посадив мальчика к себе в сани, она завернула его в свою шубу; Кай словно опустился в снежный сугроб.

– Все еще мерзнешь? – спросила она и поцеловала его в лоб.

У! Поцелуй ее был холоднее льда, пронизал его холодом насквозь и дошел до самого сердца, а оно и без того уже было наполовину ледяным. Одну минуту Каю казалось, что вот-вот он умрет, но нет, напротив, стало легче, он даже совсем перестал зябнуть.

– Мои санки! Не забудь мои санки! – спохватился он.

И санки были привязаны на спину одной из белых куриц, которая и полетела с ними за большими санями. Снежная королева поцеловала Кая еще раз, и он позабыл и Герду, и бабушку, и всех домашних.

– Больше я не буду целовать тебя! – сказала она. – А не то зацелую до смерти!

Кай взглянул на нее; она была так хороша! Более умного, прелестного лица он не мог себе и представить. Теперь она не казалась ему ледяною, как в тот раз, когда она сидела за окном и кивала ему головой; теперь она казалась ему совершенством. Он совсем не боялся ее и рассказал ей, что знает все четыре действия арифметики, да еще с дробями, знает, сколько в каждой стране квадратных миль и жителей, а она только улыбалась в ответ. И тогда ему показалось, что он и в самом деле знает мало, и он устремил свой взор в бесконечное воздушное пространство. В тот же миг Снежная королева взвилась с ним на темное свинцовое облако, и они понеслись вперед. Буря выла и стонала, словно распевая старинные песни; они летели над лесами и озерами, над морями и твердой землей; под ними дули холодные ветры, были волки, сверкал снег, летали с криком черные вороны, а над ними сиял большой ясный месяц. На него смотрел Кай всю долгую-долгую зимнюю ночь, – днем он спал у ног Снежной королевы.

### *Рассказ третий*

## **Цветник женщины, умевшей колдовать**

А что же было с Гердой, когда Кай не вернулся? Куда он девался? Никто не знал этого, никто не мог о нем ничего

сообщить. Мальчики рассказали только, что видели, как он привязал свои санки к большим великолепным саням, которые потом свернули в переулочек и выехали за городские ворота. Никто не знал, куда он девался. Много было пролито о нем слез; горько и долго плакала Герда. Наконец порешили, что он умер, утонул в реке, протекавшей за городом. Долго тянулись мрачные зимние дни.

Но вот настала весна, выглянуло солнышко.

– Кай умер и больше не вернется! – сказала Герда.

– Не верю! – отвечал солнечный свет.

– Он умер и больше не вернется! – повторила она ласточкам.

– Не верим! – ответили они.

Под конец и сама Герда перестала этому верить.

– Надену-ка я свои новые красные башмачки – Кай ни разу еще не видал их, – сказала она однажды утром, – да пойду к реке спросить про него.

Было еще очень рано; она поцеловала спящую бабушку, надела красные башмачки и побежала одна-одинешенька за город, прямо к реке.

– Правда, что ты взяла моего названного братца? Я подарю тебе свои красные башмачки, если ты отдашь мне его назад!

И девочке почудилось, что волны как-то странно кивают ей; тогда она сняла свои красные башмачки, первую свою драгоценность, и бросила их в реку. Но они упали как раз у берега, и волны сейчас же вынесли их на сушу, – река как

будто не хотела брать у девочки ее драгоценность, так как не могла вернуть ей Кая. Девочка же подумала, что бросила башмачки не очень далеко, влезла в лодку, качавшуюся в тростнике, стала на самый краешек кормы и опять бросила башмаки в воду. Лодка не была привязана и оттолкнулась от берега. Девочка хотела поскорее выпрыгнуть на сушу, но, пока пробиралась с кормы на нос, лодка уже отошла от берега на целый аршин и быстро понеслась по течению.

Герда ужасно испугалась и принялась плакать и кричать, но никто, кроме воробьев, не слышал ее криков; воробьи же не могли перенести ее на сушу и только летели за ней вдоль берега да щебетали, словно желая ее утешить: «Мы здесь! Мы здесь!»

Лодку уносило все дальше; Герда сидела смирно, в одних чулках; красные башмачки ее плыли за лодкой, но не могли догнать ее.

Берега реки были очень красивы; повсюду виднелись чудеснейшие цветы, высокие, раскидистые деревья, луга, на которых паслись овцы и коровы, но нигде не было видно ни одной человеческой души.

«Может быть, река несет меня к Каю?» – подумала Герда, повеселела, встала на нос и долго-долго любовалась красивыми зелеными берегами. Но вот она приплыла к большому вишневному саду, в котором приютился домик с цветными стеклами в окошках и соломенной крышей. У дверей стояли два деревянных солдата и отдавали ружьями честь всем, кто



проплывал мимо.

Герда закричала им – она приняла их за живых, – но они, понятно, не ответили ей. Вот она подплыла к ним еще ближе, лодка подошла чуть не к самому берегу, и девочка закричала еще громче. Из домика вышла, опираясь на клюку, старая-престарая старушка в большой соломенной шляпе, расписанной чудесными цветами.

– Ах ты, бедная крошка! – сказала старушка. – Как это ты попала на такую большую быструю реку да забралась так далеко?

С этими словами старушка вошла в воду, зацепила лодку своею клюкой, притянула ее к берегу и высадила Герду.

Герда была рада-радешенька, что очутилась наконец на суше, хоть и побаивалась чужой старухи.

– Ну, пойдем, да Расскажи мне, кто ты и как сюда попала, – сказала старушка.

Герда стала рассказывать ей обо всем, а старушка покачивала головой и повторяла: «Гм! Гм!» Но вот девочка кончила и спросила старуху, не видала ли она Кая. Та ответила, что он еще не проходил тут, но, верно, пройдет, так что девочке пока не о чем горевать – пусть лучше попробует вишен да полюбуется цветами, что растут в саду: они красивее нарисованных в любой книжке с картинками и все умеют рассказывать сказки! Тут старушка взяла Герду за руку, увела к себе в домик и заперла дверь на ключ.

Окна были высоко от полу и все из разноцветных – крас-

ных, голубых и желтых – стеклышек; от этого и сама комната была освещена каким-то удивительным ярким, радужным светом. На столе стояла корзинка со спелыми вишнями, и Герда могла есть их сколько душе угодно; пока же она ела, старушка расчесывала ей волосы золотым гребешком. Волосы вились, и кудри окружали свеженькое, круглое, словно роза, личико девочки золотым сиянием.

– Давно мне хотелось иметь такую миленькую девочку! – сказала старушка. – Вот увидишь, как ладно мы заживем с тобою!

И она продолжала расчесывать кудри девочки, и чем дольше чесала, тем больше Герда забывала своего названного братца Кая, – старушка умела колдовать. Она не была злою колдуньей и колдовала только изредка, для своего удовольствия; теперь же ей очень захотелось оставить у себя Герду. И вот она пошла в сад, дотронулась своей клюкой до всех розовых кустов, и те, как стояли в полном цвету, так все и ушли глубоко-глубоко в землю, и следа от них не осталось. Старушка боялась, что Герда при виде ее роз вспомнит о своих, а там и о Кае, да и убежит.

Сделав свое дело, старушка повела Герду в цветник. У девочки и глаза разбежались: тут были цветы всех сортов, всех времен года. Что за красота, что за благоухание! Во всем свете не сыскать было книжки с картинками пестрее, красивее этого цветника. Герда прыгала от радости и играла среди цветов, пока солнце не село за высокими вишневыми де-

ревьями. Тогда ее уложили в чудесную постельку с красными шелковыми перинками, набитыми голубыми фиалками; девочка заснула, и ей снились такие сны, какие видит разве только королева в день своей свадьбы.

На другой день Герде опять позволили играть на солнышке. Так прошло много дней. Герда знала каждый цветочек в саду, но как ни много их было, ей все-таки казалось, что какого-то недостает, только какого же? Раз она сидела и рассматривала соломенную шляпу старушки, расписанную цветами; самым красивым из них была как раз роза – старушка забыла ее стереть. Вот что значит рассеянность!

– Как! Тут нет роз? – сказала Герда и сейчас же побежала искать их по всему саду – нет ни одной!

Тогда девочка опустилась на землю и заплакала. Теплые слезы упали как раз на то место, где стоял прежде один из розовых кустов, и как только они смочили землю – куст мгновенно вырос из нее, такой же свежий, цветущий, как прежде. Герда обвила его ручонками, принялась целовать розы и вспомнила о тех чудных розах, что цвели у нее дома, а вместе с тем и о Кае.

– Как же я замешкалась! – сказала девочка. – Мне ведь надо искать Кая!.. Не знаете ли вы, где он? – спросила она у роз. – Верите ли вы тому, что он умер и не вернется больше?

– Он не умер! – сказали розы. – Мы ведь были под землею, где лежат все умершие, но Кая меж ними не было.

– Спасибо вам! – сказала Герда и пошла к другим цветам,

заглядывала в их чашечки и спрашивала: – Не знаете ли вы, где Кай?

Но каждый цветок грелся на солнышке и думал только о собственной своей сказке или истории; их наслушалась Герда много, но ни один из цветов не сказал ни слова о Кае.

Что же рассказала ей огненная лилия?

– Слышишь, бьет барабан? Бум! Бум! Звуки очень однообразны: бум, бум! Слушай заунывное пение женщин! Слушай крики жрецов!.. В длинном красном одеянии стоит на костре индийская вдова. Пламя вот-вот охватит ее и тело ее умершего мужа, но она думает о живом – о том, кто стоит здесь же, о том, чьи взоры жгут ее сердце сильнее пламени, которое сейчас испепелит ее тело. Разве пламя сердца может погаснуть в пламени костра!

– Ничего не понимаю! – сказала Герда.

– Это моя сказка! – отвечала огненная лилия.

Что рассказал выюнок?

– Узкая горная тропинка ведет к гордо возвышающемуся на скале старинному рыцарскому замку. Старые кирпичные стены густо увиты плющом. Листья его цепляются за балкон, а на балконе стоит прелестная девушка; она перевесилась через перила и смотрит на дорогу. Девушка свежее розы, воздушнее колеблемого ветром цветка яблони. Как шелестит ее шелковое платье! «Неужели же он не придет?»

– Ты говоришь про Кая? – спросила Герда.

– Я рассказываю свою сказку, свои грезы! – отвечал выю-

нок.

Что рассказал крошка подснежник?

– Между деревьями качается длинная доска – это качели. На доске сидят две маленькие девочки; платица на них белые как снег, а на шляпах развеваются длинные зеленые шелковые ленты. Братишка, постарше их, стоит на коленях позади сестер, опершись о веревки; в одной руке у него – маленькая чашечка с мыльной водой, в другой – глиняная трубочка. Он пускает пузыри, доска качается, пузыри разлетаются по воздуху, переливаясь на солнце всеми цветами радуги. Вот один повис на конце трубочки и колыхнется от дуновения ветра. Черненькая собачонка, легкая, как мыльный пузырь, встает на задние лапки, а передние кладет на доску, но доска взлетает кверху, собачонка падает, твоякает и сердится. Дети поддразнивают ее, пузыри лопаются... Доска качается, пена разлетается – вот моя песенка!

– Она, может быть, и хороша, да ты говоришь все это таким печальным тоном! И опять ни слова о Кае!

Что скажут гиацинты?

– Жили-были три стройные, воздушные красавицы сестрицы. На одной платье было красное, на другой голубое, на третьей совсем белое. Рука об руку танцевали они при ясном лунном свете у тихого озера. То не были эльфы, но настоящие девушки. В воздухе разлился сладкий аромат, и девушки скрылись в лесу. Вот аромат стал еще сильнее, еще слаще – из чащи леса выплыли три гроба; в них лежали краса-

вицы сестры, а вокруг них порхали, словно живые огоньки, светляки. Спят ли девушки, или умерли? Аромат цветов говорит, что умерли. Вечерний колокол звонит по усопшим!

– Вы навели на меня грусть! – сказала Герда. – Ваши колокольчики тоже пахнут так сильно!.. Теперь у меня из головы не идут умершие девушки! Ах, неужели и Кай умер? Но розы были под землей и говорят, что его нет там!

– Динь-дан! – зазвенели колокольчики гиацинтов. – Мы звоним не над Каем! Мы и не знаем его! Мы звоним свою собственную песенку; другой мы не знаем!

И Герда пошла к золотому одуванчику, сиявшему в блестящей, зеленой траве.

– Ты, маленькое ясное солнышко! – сказала ему Герда. – Скажи, не знаешь ли ты, где мне искать моего названного брата?

Одуванчик засиял еще ярче и взглянул на девочку. Какую же песенку спел он ей? Увы! И в этой песенке ни слова не говорилось о Кае!

– Ранняя весна; на маленький дворик приветливо светит ясное солнышко. Ласточки выются возле белой стены, примыкающей ко двору соседей. Из зеленой травки выглядывают первые желтенькие цветочки, сверкающие на солнышке, словно золотые. На двор вышла посидеть старушка бабушка; вот пришла из гостей ее внучка, бедная служанка, и крепко целует старушку. Поцелуй девушки дороже золота – он идет прямо от сердца. Золото на ее губах, золото в ее сердечке,

золото и на небе в утренний час! Вот и все! – сказал одуванчик.

– Бедная моя бабушка! – вздохнула Герда. – Как она скучает обо мне, как горюет! Не меньше, чем горевала о Кае! Но я скоро вернусь и приведу его с собой. Нечего больше и расспрашивать цветы – у них ничего не добьешься, они знают только свои песенки!

И она подвязала юбочку повыше, чтобы удобнее было бежать, но когда хотела перепрыгнуть через нарцисс, тот хлестнул ее по ногам. Герда остановилась, посмотрела на длинный цветок и спросила:

– Ты, может быть, знаешь что-нибудь?

И она наклонилась к нему, ожидая ответа.

Что же сказал нарцисс?

– Я вижу себя! Я вижу себя! О, как я благоухаю!.. Высоко-высоко в маленькой каморке, под самой крышей, стоит полуодетая танцовщица. Она то балансирует на одной ножке, то опять твердо стоит на обеих и попирает ими весь свет, – она ведь один обман зрения. Вот она льет из чайника воду на какой-то белый кусок материи, который держит в руках. Это ее корсаж. Чистота – лучшая красота! Белая юбочка висит на гвозде, вбитом в стену; юбка тоже выстирана водою из чайника и высушена на крыше! Вот девушка одевается и повязывает на шею ярко-желтый платочек, еще резче оттеняющий белизну платица. Опять одна ножка взвивается в воздух! Гляди, как прямо она стоит на другой, точно цветок

на своем стебельке! Я вижу себя, я вижу себя!

– Да мне мало до этого дела! – сказала Герда. – Нечего мне об этом и рассказывать!

И она побежала из сада.

Дверь была заперта лишь на задвижку; Герда дернула ржавый засов, он подался, дверь отворилась, и девочка так, бо-соножкой, и пустилась бежать по дороге! Раза три оглядывалась она назад, но никто не гнался за нею. Наконец она устала, присела на камень и огляделась кругом: лето уже прошло, на дворе стояла поздняя осень, а в чудесном саду старушки, где вечно сияло солнышко и цвели цветы всех времен года, этого и не было заметно!

– Господи! Как же я замешкалась! Ведь уж осень на дворе! Тут не до отдыха! – сказала Герда и опять пустилась в путь.

Ах, как болели ее бедные, усталые ножки! Как холодно, сыро было в воздухе! Листья на ивах совсем пожелтели, туман оседал на них крупными каплями и стекал на землю; листья так и сыпались. Один терновник стоял весь покрытый вяжущими, терпкими ягодами. Каким серым, унылым казался весь белый свет!

## ***Рассказ четвертый***

### **Принц и принцесса**

Пришлось Герде опять присесть отдохнуть. На снегу прямо перед ней прыгал большой ворон; он долго-долго смотрел



на девочку, кивая ей головою, и наконец заговорил:

– Кар-кар! Здррравствуй!

Чище этого он выговаривать по-человечески не мог, но, видимо, желал девочке добра и спросил ее, куда это она бредет по белу свету одна-одинешенька. Слова «одна-одинешенька» Герда поняла отлично и сразу почувствовала все их значение. Рассказав ворону всю свою жизнь, девочка спросила, не видал ли он Кая?

Ворон задумчиво покачал головой и сказал:

– Может быть, может быть!

– Как? Правда? – воскликнула девочка и чуть не задушила ворона поцелуями.

– Потихе, потихе! – сказал ворон. – Я думаю, что это был твой Кай! Но теперь он, верно, забыл тебя со своей принцессой!

– Разве он живет у принцессы? – спросила Герда.

– А вот послушай! – сказал ворон. – Только мне ужасно трудно говорить по-вашему! Вот если бы ты понимала повороньи, я рассказал бы тебе обо всем куда лучше.

– Нет, этому меня не учили! – сказала Герда. – Бабушка – та понимает. Хорошо бы и мне уметь!

– Ну, ничего! – сказал ворон. – Расскажу, как сумею, хоть и плохо.

И он рассказал обо всем, что только сам знал.

– В королевстве, где мы с тобой находимся, есть принцесса, такая умница, что и сказать нельзя! Она прочла все газе-

ты в свете и уж позабыла все, что прочла, — вот какая умница! Раз как-то сидела она на троне, — а веселья-то в этом ведь немного, как говорят люди, — и напевала песенку: «Отчего ж бы мне не выйти замуж?» «А ведь и в самом деле!» — подумала она, и ей захотелось замуж. Но в мужья она хотела выбрать себе такого человека, который бы сумел отвечать, когда с ним заговорят, а не такого, что умел бы только важничать, — это ведь так скучно! И вот созвали барабанным боем всех придворных дам и объявили им волю принцессы. Все они были очень довольны и сказали: «Вот это нам нравится! Мы и сами недавно об этом думали!» Все это истинная правда! — прибавил ворон. — У меня при дворе есть невеста, она ручная, разгуливает по дворцу, — от нее-то я и знаю все это.

Невестою его была ворона — каждый ведь ищет жену себе под стать.

— На другой день все газеты вышли с каймой из сердец и с вензелями принцессы. В газетах было объявлено, что каждый молодой человек приятной наружности может явиться во дворец и побеседовать с принцессой; того же, кто будет держать себя вполне свободно, как дома, и окажется всех красноречивее, принцесса изберет себе в мужья! Да, да! — повторил ворон. — Все это так же верно, как то, что я сижу здесь перед тобою! Народ повалил во дворец валом, пошли давка и толкотня, но толку не вышло никакого ни в первый, ни во второй день. На улице все женихи говорили отлично, но стоило им перешагнуть дворцовый порог, увидеть гвар-

дию всю в серебре, а лакеев в золоте и вступить в огромные, залитые светом залы, как их брала оторопь. Подступят к трону, где сидит принцесса, да и повторяют только ее последние слова, а ей вовсе не этого было нужно! Право, их всех точно опаивали дурманом! А вот выйдя за ворота, они опять обретали дар слова. От самых ворот до дверей дворца тянулся длинный-длинный хвост женихов. Я сам был там и видел! Женихам хотелось есть и пить, но из дворца им не выносили даже стакана воды. Правда, кто был поумнее, запасася бутербродами, но запасливые уже не делились с соседями, думая про себя: «Пусть себе поголодают, отощат – принцесса и не возьмет их!»

– Ну, а Кай-то, Кай? – спросила Герда. – Когда же он явился? И он пришел свататься?

– Постой! Постой! Теперь мы как раз дошли и до него! На третий день явился небольшой человечек, не в карете, не верхом, а просто пешком, и прямо вошел во дворец. Глаза его блестели, как твои; волосы у него были длинные, но одет он был бедно.

– Это Кай! – обрадовалась Герда. – Так я нашла его! – И она захлопала в ладоши.

– За спиной у него была котомка! – продолжал ворон.

– Нет, это, верно, были его саночки! – сказала Герда. – Он ушел из дома с санками!

– Очень возможно! – сказал ворон. – Я не разглядел хорошенько. Так вот, моя невеста рассказывала мне, что, войдя

в дворцовые ворота и увидав гвардию в серебре, а на лестницах лакеев в золоте, он ни капельки не смутился, кивнул головой и сказал: «Скучненько, должно быть, стоять тут, на лестнице, я лучше войду в комнаты!» Залы все были залиты светом; вельможи расхаживали без сапог, разнося золотые блюда, – торжественнее уж нельзя было! А его сапоги так и скрипели, но он и этим не смущался.

– Это, наверно, Кай! – воскликнула Герда. – Я знаю, что на нем были новые сапоги! Я сама слышала, как они скрипели, когда он приходил к бабушке!

– Да, они таки скрипели порядком! – продолжал ворон. – Но он смело подошел к принцессе; она сидела на жемчужине величиною с колесо прялки, а кругом стояли придворные дамы и кавалеры со своими горничными, служанками горничных, камердинерами, слугами камердинеров и прислужником камердинерских слуг. Чем дальше кто стоял от принцессы и ближе к дверям, тем важнее, надменнее держал себя. На прислужника камердинерских слуг, стоявшего в самых дверях, нельзя было и взглянуть без страха, такой он был важный!

– Вот страх-то! – сказала Герда. – А Кай все-таки женился на принцессе?

– Не будь я вороном, я бы сам женился на ней, хоть я и помолвлен. Он вступил с принцессой в беседу и говорил так же хорошо, как я, когда говорю по-вороньи, – так, по крайней мере, сказала мне моя невеста. Держался он вообще очень

свободно и мило и заявил, что пришел не свататься, а только послушать умные речи принцессы. Ну и вот, она ему понравилась, он ей тоже!

– Да, да, это Кай! – сказала Герда. – Он ведь такой умный! Он знал все четыре действия арифметики, да еще с дробями! Ах, проводи же меня во дворец!

– Легко сказать, – ответил ворон, – да как это сделать? Постой, я поговорю с моею невестой, она что-нибудь придумает и посоветует нам. Ты думаешь, что тебя вот так прямо и впустят во дворец? Как же, не очень-то пускают таких девочек!

– Меня впустят! – сказала Герда. – Только бы Кай услышал, что я тут, сейчас бы прибежал за мною!

– Подожди меня тут, у решетки! – сказал ворон, тряхнул головой и улетел.

Вернулся он уже совсем под вечер и закаркал:

– Кар, кар! Моя невеста шлет тебе тысячу поклонов и вот этот маленький хлебец. Она стащила его в кухне – там их много, а ты, верно, голодна!.. Ну, во дворец тебе не попасть: ты ведь босая – гвардия в серебре и лакеи в золоте ни за что не пропустят тебя. Но не плачь, ты все-таки попадешь туда. Невеста моя знает, как пройти в спальню принцессы с черного хода, и знает, где достать ключ.

И вот они вошли в сад, пошли по длинным аллеям, усыпанным пожелтевшими осенними листьями, и когда все огоньки в дворцовых окнах погасли один за другим, ворон

провел девочку в маленькую полуотворенную дверцу.

О, как билось сердечко Герды от страха и радостного нетерпения! Она точно собиралась сделать что-то дурное, а ведь она только хотела узнать, не здесь ли ее Кай! Да, да, он, верно, здесь! Она так живо представляла себе его умные глаза, длинные волосы, улыбку... Как он улыбался ей, когда они, бывало, сидели рядышком под кустами роз! А как обрадуется он теперь, когда увидит ее, услышит, на какой длинный путь решилась она ради него, узнает, как горевали о нем все домашние! Ах, она была просто вне себя от страха и радости.

Но вот они на площадке лестницы; на шкафу горела лампа, а на полу сидела ручная ворона и осматривалась по сторонам. Герда присела и поклонилась, как учила ее бабушка.

– Мой жених рассказывал мне о вас столько хорошего, фрёкен! – сказала ручная ворона. – Ваша *vita*<sup>35</sup> – как это принято выражаться – также очень трогательна! Не угодно ли вам взять лампу, а я пойду вперед. Мы пойдем прямою дорогой, тут мы никого не встретим!

– А мне кажется, кто-то идет за нами! – сказала Герда, и в ту же минуту мимо нее с легким шумом промчались какие-то тени: лошади с развевающимися гривами и тонкими ногами, охотники, дамы и кавалеры верхами.

– Это сны! – сказала ручная ворона. – Они являются сюда, чтобы мысли высоких особ унеслись на охоту. Тем луч-

---

<sup>35</sup> Жизнь (*лат.*).

ше для нас – удобнее будет рассмотреть спящих! Надеюсь, однако, что, войдя в честь, вы покажете, что у вас благодарное сердце!

– Есть о чем тут и говорить! Само собою разумеется! – сказал лесной ворон.

Тут они вошли в первую залу, всю обтянутую розовым атласом, затканым цветами. Мимо девочки опять пронеслись сны, но так быстро, что она не успела и рассмотреть всадников. Одна зала была великолепнее другой – просто оторопь брала. Наконец они дошли до спальни: потолок напоминал верхушку огромной пальмы с драгоценными хрустальными листьями; с середины его спускался толстый золотой стебель, на котором висели две кровати в виде лилий. Одна была белая, в ней спала принцесса, другая – красная, и в ней Герда надеялась найти Кая. Девочка слегка отогнула один из красных лепестков и увидела темно-русый затылок. Это Кай! Она громко назвала его по имени и поднесла лампу к самому его лицу. Сны с шумом умчались прочь; принц проснулся и повернул голову... Ах, это был не Кай!

Принц походил на него только с затылка, но был так же молод и красив. Из белой лилии выглянула принцесса и спросила, что случилось. Герда заплакала и рассказала всю свою историю, упомянув и о том, что сделали для нее вороны.

– Ах ты, бедняжка! – сказали принц и принцесса, похвалили ворон, объявили, что ничуть не гnevаются на них –

только пусть они не делают этого впредь, – и захотели даже наградить их.

– Хотите быть вольными птицами? – спросила принцесса. – Или желаете занять должность придворных ворон, на полном содержании из кухонных остатков?

Ворон с вороной поклонились и попросили должности при дворе – они подумали о старости и сказали:

– Хорошо ведь иметь верный кусок хлеба на старости лет!

Принц встал и уступил свою постель Герде; больше он пока ничего не мог для нее сделать. А она сложила ручонки и подумала: «Как добры все люди и животные!» – закрыла глазки и сладко заснула. Сны опять прилетели в спальню, но теперь они были похожи на Божьих ангелов и везли на маленьких саночках Кая, который кивал Герде головою. Увы! Все это было лишь во сне и исчезло, как только девочка проснулась.

На другой день ее одели с ног до головы в шелк и бархат и позволили ей оставаться во дворце, сколько она пожелает. Девочка могла жить да поживать тут припеваючи, но она прогостила всего несколько дней и стала просить, чтобы ей дали повозку с лошадыю и пару башмаков, – она опять хотела пуститься разыскивать по белу свету своего названного брата.

Ей дали и башмаки, и муфту, и чудесное платье, а когда она простилась со всеми, к воротам подъехала золотая карета с сияющими, как звезды, гербами принца и принцес-



сы; у кучера, лакеев и фореиторов – ей дали и фореиторов – красовались на головах маленькие золотые короны. Принц и принцесса сами усадили Герду в карету и пожелали ей счастливого пути. Лесной ворон, который уже успел жениться, провожал девочку первые три мили и сидел в карете рядом с нею, – он не мог ехать к лошадям спиною. Ручная ворона сидела на воротах и хлопала крыльями. Она не поехала провожать Герду, потому что страдала головными болями с тех пор, как получила должность при дворе и слишком много ела. Карета битком была набита сахарными крендельками, а ящик под сиденьем – фруктами и пряниками.

– Прощай! Прощай! – закричали принц и принцесса.

Герда заплакала, ворона тоже. Так проехали они первые три мили. Тут простился с девочкой и ворон. Тяжелое было расставание! Ворон взлетел на дерево и махал черными крыльями до тех пор, пока карета, сиявшая, как солнце, не скрылась из виду.

## ***Рассказ пятый***

### **Маленькая разбойница**

Вот Герда въехала в темный лес, но карета блестела, как солнце, и сразу бросилась в глаза разбойникам. Они не выдержали и налетели на нее с криками: «Золото! Золото!» Схватили лошадей под уздцы, убили маленьких фореиторов, кучера и слуг и вытащили из кареты Герду.

– Ишь, какая славненькая, жирненькая. Орешками откормлена! – сказала старуха разбойница с длинной жесткой бородой и мохнатыми, нависшими бровями. – Жирненькая, что твой барашек! Ну-ка, какова на вкус будет?

И она вытащила острый, сверкающий нож. Вот ужас!

– Ай! – закричала она вдруг: ее укусила за ухо ее собственная дочка, которая сидела у нее за спиной и была такая необузданная и своевольная, что любо!

– Ах ты дрянная девчонка! – закричала мать, но убить Герду не успела.

– Она будет играть со мной! – сказала маленькая разбойница. – Она отдаст мне свою муфту, свое хорошенькое платице и будет спать со мной в моей постельке.

И девочка опять так укусила мать, что та подпрыгнула и завертелась на одном месте. Разбойники захохотали:

– Ишь, как скачет со своей девчонкой!

– Я хочу сесть в карету! – закричала маленькая разбойница и настояла на своем – она была ужасно избалована и упряма.

Они уселись с Гердой в карету и помчались по пням и по кочкам в чащу леса. Маленькая разбойница была ростом с Герду, но сильнее, шире в плечах и гораздо смуглее. Глаза у нее были совсем черные, но какие-то печальные. Она обняла Герду и сказала:

– Они тебя не убьют, пока я не рассержусь на тебя! Ты, верно, принцесса?

– Нет! – отвечала девочка и рассказала, что пришлось ей испытать и как она любит Кая.

Маленькая разбойница серьезно поглядела на нее, слегка кивнула головой и сказала:

– Они тебя не убьют, даже если я рассержусь на тебя, – я лучше сама убью тебя!

И она отерла слезы Герде, а потом спрятала обе руки в ее хорошенькую, мягкую и теплую муфточку.

Вот карета остановилась; они въехали во двор разбойничьего замка. Он был весь в огромных трещинах; из них вылетали вороны и вороны; откуда-то выскочили огромные бульдоги и смотрели так свирепо, точно хотели всех съесть, но лаять не лаяли – это было запрещено.

Посреди огромной залы с полуразвалившимися, покрытыми копотью стенами и каменным полом пылал огонь; дым подымался к потолку и сам должен был искать себе выход; над огнем кипел в огромном котле суп, а на вертелах жарились зайцы и кролики.

– Ты будешь спать вместе со мной вот тут, возле моего маленького зверинца! – сказала Герде маленькая разбойница.

Девочек накормили, напоили, и они ушли в свой угол, где была постлана солома, накрытая коврами. Повыше сидело на жердочках больше сотни голубей; все они, казалось, спали, но, когда девочки подошли, слегка зашевелились.

– Все мои! – сказала маленькая разбойница, схватила одного голубя за ноги и так потрянула его, что тот забил крыльями.

ми. – На, поцелуй его! – крикнула она, ткнув голубя Герде прямо в лицо. – А вот тут сидят лесные плутишки! – продолжала она, указывая на двух голубей, сидевших в небольшом углублении в стене, за деревянной решеткой. – Эти двое – лесные плутишки! Их надо держать взаперти, не то живо улетят! А вот и мой милый старичина бьяшка! – И девочка потянула за рога привязанного к стене северного оленя в блестящем медном ошейнике. – Его тоже нужно держать на привязи, иначе удерет! Каждый вечер я щекочу его под шеей своим острым ножом – он смерть этого боится!

С этими словами маленькая разбойница вытащила из расщелины в стене длинный нож и провела им по шее оленя. Бедное животное забрыкалось, а девочка захохотала и потащила Герду к постели.

– Разве ты спишь с ножом? – спросила ее Герда, покосившись на острый нож.

– Всегда! – отвечала маленькая разбойница. – Как знать, что может случиться! Но Расскажи мне еще раз о Кае и о том, как ты пустилась странствовать по белу свету!

Герда рассказала. Лесные голуби в клетке тихо ворковали; другие голуби уже спали; маленькая разбойница обвила одною рукой шею Герды – в другой у нее был нож – и захрапела, но Герда не могла сомкнуть глаз, не зная, убьют ее или оставят в живых. Разбойники сидели вокруг огня, пели песни и пили, а старуха разбойница кувыркалась. Страшно было глядеть на это бедной девочке. Вдруг лесные голуби про-

ворковали:

– Курр! Курр! Мы видели Кая! Белая курица несла на спине его санки, а он сидел в санях Снежной королевы. Они летели над лесом, когда мы, птенчики, еще лежали в гнезде; онадохнула на нас, и все умерли, кроме нас двоих! Курр! Курр!

– Что вы говорите? – воскликнула Герда. – Куда же полетела Снежная королева?

– Она полетела, наверно, в Лапландию, – там ведь вечный снег и лед! Спроси у северного оленя, что стоит тут на привязи!

– Да, там вечный снег и лед, чудо как хорошо! – сказал северный олень. – Там прыгаешь себе на воле по бескрайним сверкающим ледяным равнинам! Там раскинут летний шатер Снежной королевы, а постоянные ее чертоги – у Северного полюса, на острове Шпицберген!

– О Кай, мой милый Кай! – вздохнула Герда.

– Лежи смирно! – сказала маленькая разбойница. – Не то я пырну тебя ножом!

Утром Герда рассказала ей, что слышала от лесных голубей. Маленькая разбойница серьезно посмотрела на Герду, кивнула головой и сказала:

– Ну, так и быть!.. А ты знаешь, где Лапландия? – спросила она затем у северного оленя.

– Кому же и знать, как не мне! – отвечал олень, и глаза его заблестели. – Там я родился и вырос, там прыгал по снежным

равнинам!

– Так слушай! – сказала Герде маленькая разбойница. – Видишь, все наши ушли; дома одна мать; немного погодя она хлебнет из большой бутылки и вздремнет – тогда я кое-что сделаю для тебя!

Тут девочка вскочила с постели, обняла мать, дернула ее за бороду и сказала:

– Здравствуй, мой маленький козлик!

А мать надавала ей по носу щелчков, так что нос у девочки покраснел и посинел, но все это делалось любя.

Потом, когда старуха хлебнула из своей бутылки и захрипела, маленькая разбойница подошла к северному оленю и сказала:

– Еще долго-долго можно было бы потешаться над тобой! Уж больно ты бываешь уморительным, когда тебя щекочат острым ножом! Ну, да так и быть! Я отвяжу тебя и выпущу на волю. Ты можешь убежать в свою Лапландию, но должен за это отнести ко дворцу Снежной королевы вот эту девочку, – там ее названный братец. Ты ведь, конечно, слышал, что она рассказывала? Она говорила довольно громко, а у тебя вечно ушки на макушке.

Северный олень подпрыгнул от радости. Маленькая разбойница посадила на него Герду, крепко привязала ее, ради осторожности, и подсунула под нее мягкую подушечку, чтобы ей удобнее было сидеть.

– Так и быть, – сказала она затем, – возьми назад свои

меховые сапожки – будет ведь холодно! А муфту уж я оставлю себе, больно она хороша! Но мерзнуть я тебе не дам; вот огромные матушкины рукавицы, они дойдут тебе до самых локтей! Сунь в них руки! Ну вот, теперь руки у тебя, как у моей безобразной матушки!

Герда плакала от радости.

– Терпеть не могу, когда хнычут! – сказала маленькая разбойница. – Теперь тебе надо смотреть весело! Вот тебе еще два хлеба и окорок! Что? Небось не будешь голодать!

И то и другое было привязано к оленю. Затем маленькая разбойница отворила дверь, заманила собак в дом, перерезала своим острым ножом веревку, которой был привязан олень, и сказала ему:

– Ну, живо! Да береги смотри девчонку!

Герда протянула маленькой разбойнице обе руки в огромных рукавицах и попрощалась с нею. Северный олень пустился во всю прыть через пни и кочки, по лесу, по болотам и степям. Волки выли, вороны каркали, а небо вдруг зафукало и выбросило столбы огня.

– Вот мое родное северное сияние! – сказал олень. – Гляди, как горит!

И он побежал дальше, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Хлебы были съедены, ветчина тоже, и вот Герда очутилась в Лапландии.

## *Рассказ шестой*

### **Лапландка и финка**

Олень остановился у жалкой избушки; крыша спускалась до самой земли, а дверь была такая низенькая, что людям приходилось проползать в нее на четвереньках. Дома была одна старуха лапландка, жарившая при свете жировой лампы рыбу. Северный олень рассказал лапландке всю историю Герды, но сначала рассказал свою собственную – она казалась ему гораздо важнее. Герда же так окоченела от холода, что и говорить не могла.

– Ах вы, бедняги! – сказала лапландка. – Долгий же вам еще предстоит путь! Придется сделать сто миль с лишком, пока доберетесь до Финмарка, где Снежная королева живет на даче и каждый вечер зажигает голубые бенгальские огни. Я напишу пару слов на сушеной треске – бумаги у меня нет, – а вы снесете ее финке, которая живет в тех местах и лучше моего сумеет научить вас, что надо делать.

Когда Герда согрелась, поела и попила, лапландка написала пару слов на сушеной треске, велела Герде хорошенько беречь ее, потом привязала девочку к спине оленя, и тот снова помчался. Небо опять фукало и выбрасывало столбы чудесного голубого пламени. Так добежал олень с Гердой и до Финмарка и постучался в дымовую трубу финки – у нее и дверей-то не было.



Ну и жара стояла в ее жилье! Сама финка, низенькая грязная женщина, ходила полуголая. Живо стащила она с Герды все платье, рукавицы и сапоги – иначе девочке было бы чересчур жарко, – положила оленю на голову кусок льда и затем принялась читать то, что было написано на сушеной треске. Она прочла все от слова до слова три раза, пока не заучила наизусть, и потом сунула треску в котел – рыба ведь годилась в пищу, а у финки ничего даром не пропадало.

Тут олень рассказал сначала свою историю, а потом историю Герды. Финка мигала своими умными глазками, но не говорила ни слова.

– Ты такая мудрая женщина! – сказал олень. – Я знаю, что ты можешь связать одной ниткой все четыре ветра; когда шкипер развяжет один узел – подует попутный ветер, развяжет другой – погода разыграется, а развяжет третий и четвертый – подымет такая буря, что поломает в щепки деревья. Не изготовишь ли ты для девочки такого питья, которое бы дало ей силу двенадцати богатырей? Тогда бы она одолела Снежную королеву!

– Силу двенадцати богатырей! – сказала финка. – Да, много в этом толку!

С этими словами она взяла с полки большой кожаный свиток и развернула его: на нем стояли какие-то удивительные письмена; финка принялась читать их и читала до того, что ее пот прошиб.

Олень опять принялся просить за Герду, а сама Герда

смотрела на финку такими умоляющими, полными слез глазами, что та опять заморгала, отвела оленя в сторону и, меняя ему на голове лед, шепнула:

– Кай в самом деле у Снежной королевы, но он вполне доволен и думает, что лучше ему нигде и быть не может. Причиной же всему осколки зеркала, что сидят у него в сердце и в глазу. Их надо удалить, иначе он никогда не будет человеком и Снежная королева сохранит над ним свою власть.

– Но не поможешь ли ты Герде как-нибудь уничтожить эту власть?

– Сильнее, чем она есть, я не могу ее сделать. Не видишь разве, как велика ее сила? Не видишь, что ей служат и люди и животные? Ведь она босая обошла полсвета! Не у нас занимать ей силу! Сила – в ее милом, невинном детском сердечке. Если она сама не сможет проникнуть в чертоги Снежной королевы и извлечь из сердца Кая осколки, то мы и по-прежнему ей не поможем! В двух милях отсюда начинается сад Снежной королевы. Отнеси туда девочку, спусти у большого куста, покрытого красными ягодами, и, не мешкая, возвращайся обратно!

С этими словами финка подсадила Герду на спину оленя, и тот бросился бежать со всех ног.

– Ай, я без теплых сапог! Ай, я без рукавиц! – закричала Герда, очутившись на морозе.

Но олень не смел остановиться, пока не добежал до куста с красными ягодами; тут он спустил девочку, поцеловал

ее в самые губы, и из глаз его покатались крупные блестящие слезы. Затем он стрелой пустился назад. Бедная девочка осталась одна-одинешенька, на трескучем морозе, без башмаков, без рукавиц.

Она побежала вперед что было мочи; навстречу ей несся целый полк снежных хлопьев, но они не падали с неба – небо было совсем ясное, и на нем пылало северное сияние, – нет, они бежали по земле прямо на Герду и, по мере приближения, становились все крупнее и крупнее. Герда вспомнила большие красивые хлопья под зажигательным стеклом, но эти были куда больше, страшнее, самых удивительных видов и форм и все живые. Это были передовые отряды войска Снежной королевы. Одни напоминали собой больших безобразных ежей, другие – стоголовых змей, третьи – толстых медвежат с взъерошенной шерстью. Но все они одинаково сверкали белизной, все были живыми снежными хлопьями.

Герда начала читать «Отче наш»; было так холодно, что дыхание девочки сейчас же превращалось в густой туман. Туман этот все сгущался и сгущался, но вот из него начали выделяться маленькие, светлые ангелочки, которые, ступив на землю, вырастали в больших грозных ангелов со шлемами на головах и копьями и щитами в руках. Число их все прибывало, и когда Герда окончила молитву, вокруг нее образовался уже целый легион. Ангелы приняли снежных страшилищ на копья, и те рассыпались на тысячи снежинок. Герда могла теперь смело идти вперед; ангелы гладили ее руки и

ноги, и ей не было уже так холодно. Наконец девочка добралась до чертогов Снежной королевы.

Посмотрим же, что делал в это время Кай. Он и не думал о Герде, а уж меньше всего о том, что она стоит перед замком.

## *Рассказ седьмой*

### **Что происходило в чертогах Снежной королевы и что случилось потом**

Стены чертогов Снежной королевы намела метель, окна и двери проделали буйные ветры. Сотни огромных, освещенных северным сиянием зал тянулись одна за другой; самая большая простиралась на много-много миль. Как холодно, как пустынно было в этих белых, ярко сверкающих чертогах! Веселье никогда и не заглядывало сюда! Хоть бы редкий раз устроилась бы здесь медвежья вечеринка с танцами под музыку бури, в которых могли бы отличиться грацией и умением ходить на задних лапах белые медведи, или составила партия в карты с ссорами и дракой, или, наконец, сошлись на беседу за чашкой кофе беленькие кумушки лисички – нет, никогда этого не случилось! Холодно, пустынно, мертво! Северное сияние вспыхивало и горело так правильно, что можно было с точностью рассчитать, в какую минуту свет усилится и в какую ослабеет. Посреди самой большой пустынной снежной залы находилось замерзшее озеро. Лед треснул на нем на тысячи кусков, ровных и правильных на

диво. Посреди озера стоял трон Снежной королевы; на нем она восседала, когда бывала дома, говоря, что сидит на зеркале разума; по ее мнению, это было единственное и лучшее зеркало в мире.

Кай совсем посинел, почти почернел от холода, но не замечал этого, – поцелуи Снежной королевы сделали его нечувствительным к холоду, да и самое сердце его стало куском льда. Кай возился с плоскими остроконечными льдинами, укладывая их на всевозможные лады. Есть ведь такая игра – складывание фигур из деревянных дощечек, которая называется «китайскою головоломкою». Кай тоже складывал разные затейливые фигуры из льдин, и это называлось «ледяной игрой разума». В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их – занятием первой важности. Это происходило оттого, что в глазу у него сидел осколок волшебного зеркала! Он складывал из льдин и целые слова, но никак не мог сложить того, что ему особенно хотелось, – слова «вечность». Снежная королева сказала ему: «Если ты сложишь это слово, ты будешь сам себе господин, и я подарю тебе весь свет и пару новых коньков». Но он никак не мог его сложить.

– Теперь я полечу в теплые края! – сказала Снежная королева. – Загляну в черные котлы!

Котлами она называла кратеры огнедышащих гор – Везувия и Этны.

– Я побелю их немножко! Это хорошо после лимонов и

винограда!

И она улетела, а Кай остался один в необозримой пустынной зале, смотрел на льдины и все думал, думал, так что в голове у него трещало. Он сидел на одном месте – такой бледный, неподвижный, словно неживой. Можно было подумать, что он замерз.

В это-то время в огромные ворота, проделанные буйными ветрами, входила Герда. Она прочла вечернюю молитву, и ветры улеглись, точно заснули. Она свободно вошла в огромную пустынную ледяную залу и увидела Кая. Девочка сейчас же узнала его, бросилась ему на шею, крепко обняла его и воскликнула:

– Кай, милый мой Кай! Наконец-то я нашла тебя!

Но он сидел все такой же неподвижный и холодный. Тогда Герда заплакала; горячие слезы ее упали ему на грудь, проникли в сердце, растопили его ледяную кору и расплавили осколок. Кай взглянул на Герду, а она запела:

Розы цветут... Красота, красота!

Скоро узрим мы младенца Христа.

Кай вдруг залился слезами и плакал так долго и так сильно, что осколок вытек из глаза вместе со слезами. Тогда он узнал Герду и очень обрадовался.

– Герда! Милая моя Герда!.. Где же это ты была так долго? Где был я сам? – И он оглянулся вокруг. – Как здесь холодно,

пустынно!

И он крепко прижался к Герде. Она смеялась и плакала от радости. Да, радость была такая, что даже льдины пустились в пляс, а когда устали, улеглись и составили то самое слово, которое задала сложить Каю Снежная королева; сложив его, он мог сделаться сам себе господином, да еще получить от нее в дар весь свет и пару новых коньков.

Герда поцеловала Кая в обе щеки, и они опять зацвели розами, поцеловала его в глаза, и они заблестали, как ее глаза; поцеловала его руки и ноги, и он опять стал бодрым и здоровым.

Снежная королева могла вернуться когда угодно, — его вольная лежала тут, написанная блестящими ледяными буквами.

Кай с Гердой рука об руку вышли из пустынных ледяных чертогов; они шли и говорили о бабушке, о своих розах, и на пути их стихали буйные ветры, проглядывало солнышко. Когда же они дошли до куста с красными ягодами, там уже ждал их северный олень. Он привел с собою молодую оленью матку, вымя ее было полно молока; она напоила им Кая и Герду и поцеловала их прямо в губы. Затем Кай и Герда отправились сначала к финке, отогрелись у нее и узнали дорогу домой, а потом к лапландке; та сшила им новое платье, починила свои сани и поехала их провожать.

Оленья парочка тоже провожала молодых путников вплоть до самой границы Лапландии, где уже пробивалась

первая зелень. Тут Кай и Герда простились с оленями и с лапландкой.

– Счастливого пути! – крикнули им провожатые. Вот перед ними и лес. Запели первые птички, деревья покрылись зелеными почками. Из леса навстречу путникам выехала верхом на великолепной лошади молодая девушка в ярко-красной шапочке и с пистолетами за поясом. Герда сразу узнала и лошадь – она была когда-то впряжена в золотую карету – и девушку. Это была маленькая разбойница; ей наскучило жить дома, и она захотела побывать на севере, а если там не понравится – и в других местах. Она тоже узнала Герду. Вот была радость!

– Ишь ты бродяга! – сказала она Каю. – Хотела бы я знать, стоишь ли ты того, чтобы за тобой бегали на край света!

Но Герда потрепала ее по щеке и спросила о принце и принцессе.

– Они уехали в чужие края! – отвечала молодая разбойница.

– А ворон с вороной? – спросила Герда.

– Лесной ворон умер; ручная ворона осталась вдовой, ходит с черной шерстинкой на ножке и жалуется на судьбу. Но все это пустяки, а ты вот Расскажи-ка лучше, что с тобой было и как ты нашла его.

Герда и Кай рассказали ей обо всем.

– Ну, вот и сказке конец! – сказала молодая разбойница, пожала им руки и обещала навестить их, если когда-нибудь



заедет в их город.

Затем она отправилась своей дорогой, а Кай и Герда своей. Они шли, и на их дороге расцветали весенние цветы, зеленела травка. Вот раздался колокольный звон, и они узнали колокольни своего родного городка. Они поднялись по знакомой лестнице и вошли в комнату, где все было по-старому: так же тикали часы, так же двигалась часовая стрелка. Но, проходя в низенькую дверь, они заметили, что успели за это время сделаться взрослыми людьми. Цветущие розовые кусты заглядывали с крыши в открытое окошко; тут же стояли их детские стульчики. Кай с Гердой сели каждый на свой и взяли друг друга за руки. Холодное, пустынное великолепие чертогов Снежной королевы было забыто ими, как тяжелый сон. Бабушка сидела на солнышке и громко читала Евангелие: «Если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное!»

Кай и Герда взглянули друг на друга и тут только поняли смысл старого псалма:

Розы цветут... Красота, красота!  
Скоро узрим мы младенца Христа.

Так сидели они рядышком, оба уже взрослые, но дети сердцем и душою, а на дворе стояло теплое, благодатное лето!

# Красные башмаки

Жила-была девочка, премиленькая, прехорошенькая, но очень бедная, и летом ей приходилось ходить босиком, а зимою – в грубых деревянных башмаках, которые ужасно натирали ей ноги.

В деревне жила старушка башмачница. Вот она взяла да и сшила, как умела, из обрезков красного сукна пару башмачков. Башмаки вышли очень неуклюжие, но сшиты были с добрым намерением, – башмачница подарила их бедной девочке. Девочку звали Карен.

Она получила и обновила красные башмаки как раз в день похорон своей матери. Нельзя сказать, чтобы онигодились для траура, но других у девочки не было; она надела их прямо на голые ноги и пошла за убогим соломенным гробом.

В это время по деревне проезжала большая старинная карета и в ней – важная старая барыня. Она увидела девочку, пожалела ее и сказала священнику:

– Послушайте, отдайте мне девочку, я позабочусь о ней.

Карен подумала, что все это вышло благодаря ее красным башмакам, но старая барыня нашла их ужасными и велела сжечь. Карен приодели и стали учить читать и шить. Все люди говорили, что она очень мила, зеркало же твердило: «Ты больше чем мила, ты прелестна».

В это время по стране путешествовала королева со своею

маленькой дочерью, принцессой. Народ сбежался ко дворцу; была тут и Карен. Принцесса, в белом платье, стояла у окошка, чтобы дать людям посмотреть на себя. У нее не было ни шлейфа, ни короны, зато на ножках красовались чудесные красные сафьяновые башмачки; нельзя было и сравнить их с теми, что сшила для Карен башмачница. На свете не могло быть ничего лучше этих красных башмачков!

Карен подросла, и пора было ей подтверждаться; ей сшили новое платье и собирались купить новые башмаки. Лучший городской башмачник снял мерку с ее маленькой ножки. Карен со старой госпожой сидели у него в мастерской; тут же стоял большой шкаф со стеклами, за которыми красовались прелестные башмачки и лакированные сапожки. Можно было залюбоваться на них, но старая госпожа не получила никакого удовольствия: она очень плохо видела. Между башмаками стояла и пара красных, они были точь-в-точь как те, что красовались на ножках принцессы. Ах, что за прелесть! Башмачник сказал, что они были заказаны для графской дочки, да не пришлись по ноге.

– Это ведь лакированная кожа? – спросила старая барыня. – Они блестят!

– Да, блестят! – ответила Карен.

Башмачки были примерены, оказались впору, и их купили. Но старая госпожа не знала, что они красные, – она бы никогда не позволила Карен идти подтверждаться в красных башмаках, а Карен как раз так и сделала.

Все люди в церкви смотрели на ее ноги, когда она проходила на свое место. Ей же казалось, что и старые портреты умерших пасторов и пасторш в длинных черных одеяниях и плоеных круглых воротничках тоже уставились на ее красные башмачки. Сама она только о них и думала, даже в то время, когда священник возложил ей на голову руки и стал говорить о святом крещении, о союзе с Богом и о том, что она становится теперь взрослой христианкой. Торжественные звуки церковного органа и мелодичное пение чистых детских голосов наполняли церковь, старый регент подтягивал детям, но Карен думала только о своих красных башмаках.

После обедни старая госпожа узнала от других людей, что башмаки были красные, объяснила Карен, как это неприлично, и велела ей ходить в церковь всегда в черных башмаках, хотя бы и в старых.

В следующее воскресенье надо было идти к причастию. Карен взглянула на красные башмаки, взглянула на черные, опять на красные и – надела их.

Погода была чудная, солнечная; Карен со старой госпожой прошли по тропинке через поле; было немного пыльно.

У церковных дверей стоял, опираясь на костыль, старый солдат с длинной, странною бородой: она была скорее рыжая, чем седая. Он поклонился им чуть не до земли и попросил старую барыню позволить ему смахнуть пыль с ее башмаков. Карен тоже протянула ему свою маленькую ножку.

– Ишь, какие славные бальные башмачки! – сказал солдат. – Сидите крепко, когда заплывете!

И он хлопнул рукой по подошвам.

Старая барыня дала солдату скиллинг и вошла вместе с Карен в церковь.

Все люди в церкви опять глядели на ее красные башмаки, все портреты – тоже. Карен преклонила колена перед алтарем, и золотая чаша приблизилась к ее устам, а она думала только о своих красных башмаках, – они словно плавали перед ней в самой чаше. И Карен забыла пропеть псалом, забыла прочесть «Отче наш».

Народ стал выходить из церкви; старая госпожа села в карету, Карен тоже поставила ногу на подножку, как вдруг возле нее очутился старый солдат и сказал:

– Ишь, какие славные бальные башмачки!

Карен не удержалась и сделала несколько па, и тут ноги ее пошли плясать сами собою, точно башмаки имели какую-то волшебную силу. Карен неслась все дальше и дальше, обогнула церковь и все не могла остановиться. Кучеру пришлось бежать за нею вдогонку, взять ее на руки и посадить в карету. Карен села, а ноги ее все продолжали приплясывать, так что доброй старой госпоже досталось немало пинков. Пришлось наконец снять башмаки, и ноги успокоились.

Приехали домой; Карен поставила башмаки в шкаф, но не могла не любоваться на них.

Старая госпожа захворала, и сказали, что она не проживет

долго. За ней надо было ухаживать, а кого же это дело касалось ближе, чем Карен. Но в городе давался большой бал, и Карен пригласили. Она посмотрела на старую госпожу, которой все равно было не жить, посмотрела на красные башмаки – разве это грех? – потом надела их – и это ведь не беда, а потом... отправилась на бал и пошла танцевать.

Но вот она хочет повернуть вправо – ноги несут ее влево, хочет сделать круг по зале – ноги несут ее вон из залы, вниз по лестнице, на улицу и за город. Так доплясала она вплоть до темного леса.

Что-то засветилось между верхушками деревьев. Карен подумала, что это месяц, так как виднелось что-то похожее на лицо, но это было лицо старого солдата с рыжею бородой. Он кивнул ей и сказал:

– Ишь, какие славные бальные башмачки!

Она испугалась, хотела сбросить с себя башмаки, но они сидели крепко; она только изорвала в клочья чулки; башмаки точно приросли к ногам, и ей пришлось плясать, плясать по полям и лугам, в дождь и в солнечную погоду, и ночью и днем. Ужаснее всего было ночью!

Танцевала она, танцевала и очутилась на кладбище; но все мертвые спокойно спали в своих могилах. У мертвых найдется дело получше, чем пляска. Она хотела присесть на одной бедной могиле, поросшей дикою рябинкой, но не тут-то было! Ни отдыха, ни покоя! Она все плясала и плясала... Вот в открытых дверях церкви она увидела ангела в длин-

ном белом одеянии; за плечами у него были большие, спускавшиеся до самой земли крылья. Лицо ангела было строго и серьезно, в руке он держал широкий блестящий меч.

– Ты будешь плясать, – сказал он, – плясать в своих красных башмаках, пока не побледнеешь, не похолодеешь, не высохнешь как мумия! Ты будешь плясать от ворот до ворот и стучаться в двери тех домов, где живут гордые, тщеславные дети; твой стук будет пугать их! Будешь плясать, плясать!..

– Смилуйся! – вскричала Карен.

Но она уже не слышала ответа ангела – башмаки повлекли ее в калитку, за ограду кладбища, в поле, по дорогам и тропинкам. И она плясала и не могла остановиться.

Раз утром она пронеслась в пляске мимо знакомой двери; оттуда с пением псалмов выносили гроб, украшенный цветами. Тут она узнала, что старая госпожа умерла, и ей показалось, что теперь она оставлена всеми, проклята ангелом Господним.

И она все плясала, плясала, даже темною ночью. Башмаки несли ее по камням, сквозь лесную чащу и терновые кусты, колючки которых царапали ее до крови. Так доплясала она до маленького уединенного домика, стоявшего в открытом поле. Она знала, что здесь живет палач, постучала пальцем в оконное стекло и сказала:

– Выйди ко мне! Сама я не могу войти к тебе, я пляшу!

И палач отвечал:

– Ты, верно, не знаешь, кто я? Я рублю головы дурным

людям, и топор мой, как вижу, дрожит!

— Не руби мне головы! — сказала Карен. — Тогда я не успею покаяться в своем грехе. Отруби мне лучше ноги с красными башмаками.

И она исповедала весь свой грех. Палач отрубил ей ноги с красными башмаками, — пляшущие ножки понеслись по полю и скрылись в чаще леса.

Потом палач приделал ей вместо ног деревяшки, дал костыли и выучил ее псалму, который всегда поют грешники. Карен поцеловала руку, державшую топор, и побрела по полю.

— Ну, довольно я настрадалась из-за красных башмаков! — сказала она. — Пойду теперь в церковь, пусть люди увидят меня!

И она быстро направилась к церковным дверям; вдруг перед нею заплясали ее ноги в красных башмаках, она испугалась и повернула прочь.

Целую неделю тосковала и плакала Карен горькими слезами; но вот настало воскресенье, и она сказала:

— Ну, довольно я страдала и мучилась! Право же, я не хуже многих из тех, что сидят и важничают в церкви!

И она смело пошла туда, но дошла только до калитки, — тут перед нею опять заплясали красные башмаки. Она опять испугалась, повернула обратно и от всего сердца покаялась в своем грехе.

Потом она пошла в дом священника и попросилась в услу-



жение, обещая быть прилежной и делать все, что сможет, без всякого жалованья, из-за куска хлеба и приюта у добрых людей. Жена священника сжалилась над ней и взяла ее к себе в дом. Карен работала не покладая рук, но была тиха и задумчива. С каким вниманием слушала она по вечерам священника, читавшего вслух Библию! Дети очень полюбили ее, но когда девочки болтали при ней о нарядах и говорили, что хотели бы быть на месте королевы, Карен печально качала головой.

В следующее воскресенье все собрались идти в церковь; ее спросили, не пойдет ли она с ними, но она только со слезами посмотрела на свои костыли. Все отправились слушать слово Божье, а она ушла в свою каморку. Там умещались только кровать да стул; она села и стала читать псалтырь. Вдруг ветер донес до нее звуки церковного органа. Она подняла от книги свое залитое слезами лицо и воскликнула:

– Помоги мне, Господи!

И вдруг ее всю осияло, как солнцем, – перед ней очутился ангел Господень в белом одеянии, тот самый, которого она видела в ту страшную ночь у церковных дверей.

Но теперь в руках он держал не острый меч, а чудесную зеленую ветвь, усеянную розами. Он коснулся ею потолка, и потолок поднялся высоко-высоко, а на том месте, до которого дотронулся ангел, заблистала золотая звезда. Затем ангел коснулся стен – они раздались, и Карен увидела церковный орган, старые портреты пасторов и пасторш и весь народ; все

сидели на своих скамьях и пел псалмы. Что это, преобразилась ли в церковь узкая каморка бедной девушки или сама девушка каким-то чудом перенеслась в церковь?.. Карен сидела на своем стуле рядом с домашними священника, и когда те окончили псалом и увидали ее, то ласково кивнули ей, говоря:

– Ты хорошо сделала, что тоже пришла сюда, Карен!

– По милости Божьей! – отвечала она.

Торжественные звуки органа сливались с нежными детскими голосами хора. Лучи ясного солнышка струились в окно прямо на Карен. Сердце ее так переполнилось всем этим светом, миром и радостью, что разорвалось. Душа ее полетела вместе с лучами солнца к Богу, и там никто не спросил ее о красных башмаках.

# Пастушка и трубочист

Видали ли вы когда-нибудь старинный-старинный шкаф, почерневший от времени и весь изукрашенный резьбою в виде разных завитушек, цветов и листьев? Такой вот точно шкаф – наследство после прабабушки – и стоял в комнате. Он был весь покрыт резьбой – розами, тюльпанами и самыми причудливыми завитушками. Между ними высывались маленькие оленьи головы с ветвистыми рогами, а по самой середине был вырезан целый человечек. На него невозможно было глядеть без смеха, да и сам он преуморительно скалил зубы – такую гримасу уж никак не назовешь улыбкой! У него были козлиные ноги, маленькие рожки на лбу и длинная борода. Дети звали его обер-унтер-генерал-комиссар-сержант Козлоног! Трудно выговорить такое имя, и немногие устаиваются подобного титула, зато и вырезать такую фигуру стоило немалого труда. Ну, да все-таки вырезали! Он вечно глядел на подзеркальный столик, где стояла прелестная фарфоровая пастушка. Башмачки на ней были вызолоченные, платье слегка приподнято и подколото алой розой, на головке красовалась золотая шляпа, а в руках пастуший посох. Ну, просто прелесть! Рядом с нею стоял маленький трубочист, черный как уголь, но, впрочем, тоже из фарфора и сам по себе такой же чистенький и миленький, как всякая фарфоровая статуэтка; он ведь только изображал трубочиста, и

мастер точно так же мог бы сделать из него принца, – все равно!

Он премило держал в руках свою лестницу; личико у него было белое, а щеки розовые, как у барышни, и это было немножко неправильно, следовало бы ему быть почернее. Он стоял рядом с пастушкой – так их поставили, так они и стояли; стояли, стояли, да и обручились: они были отличною парочкой, оба молоды, оба из фарфора и оба одинаково хрупки.

Тут же стояла и еще одна кукла, в три раза больше их. Это был старый китаец, который кивал головой. Он был тоже фарфоровый и называл себя дедушкой маленькой пастушки, но доказать этого, кажется, не мог. Он утверждал, что имеет над ней власть, и потому кивал головою обер-унтер-генерал-комиссар-сержанту Козлоногу, который сватался за пастушку.

– Вот так муж у тебя будет! – сказал старый китаец пастушке. – Я думаю даже, что он из красного дерева! Он сделает тебя обер-унтер-генерал-комиссар-сержантшей! И у него целый шкаф серебра, не говоря уже о том, что лежит в потайных ящичках!

– Я не хочу в темный шкаф! – сказала пастушка. – Говорят, у него там одиннадцать фарфоровых жен!

– Так ты будешь двенадцатой! – отвечал китаец. – Ночью, как только в старом шкафу затрещит, мы сыграем вашу свадьбу! Да, да, не будь я китайцем!

Тут он кивнул головой и заснул.

Пастушка плакала и смотрела на своего милого.

– Право, я попрошу тебя, – сказала она, – бежать со мной куда глаза глядят. Тут нам нельзя оставаться!

– Твои желания – мои! – ответил трубочист. – Пойдем хоть сейчас! Я думаю, что смогу прокормить тебя своим ремеслом!

– Только бы нам удалось спуститься со столика! – сказала она. – Я не успокоюсь, пока мы не будем далеко-далеко отсюда!

Трубочист успокаивал ее и показывал, куда лучше ступать ножкой, на какой выступ или золоченую завитушку резных ножек стола. Лестница его тоже сослужила им немалую службу; таким образом они благополучно спустились на пол. Но, взглянув на старый шкаф, они увидели там страшный переполох. Резные олени далеко-далеко вытянули вперед головы с рогами и вертели ими во все стороны, а обер-унтер-генерал-комиссар-сержант Козлоног высоко подпрыгнул и закричал старому китайцу:

– Бегут! Бегут!

Беглецы испугались немножко и поскорее шмыгнули в ящик предоконного возвышения.

Тут лежали три-четыре неполные колоды карт и кукольный театр; он был кое-как установлен в тесном ящике, и на сцене шло представление. Все дамы – и бубновые, и червонные, и трефовые, и пиковые – сидели в первом ряду и обма-

живались своими тюльпанами. Позади них стояли валеты, и у каждого было по две головы – сверху и снизу, как и у всех карт. В пьесе изображались страдания влюбленной парочки, которую разлучали. Пастушка заплакала: это была точь-в-точь их собственная история.

– Нет, я не вынесу! – сказала она трубочисту. – Уйдем отсюда!

Но, очутившись опять на полу, они увидали, что старый китаец проснулся и весь качается из стороны в сторону, – внутри его катался свинцовый шарик.

– Ай, старый китаец гонится за нами! – закричала пастушка и в отчаянии упала на свои фарфоровые коленки.

– Стой, мне пришла в голову мысль! – сказал трубочист. – Видишь вон там, в углу, большую вазу с сушеными душистыми травами и цветами? Влезем в нее! Там мы будем лежать на розах и лаванде, а если китаец подойдет к нам, засыплем ему глаза солью.

– Нет, это не годится! – сказала она. – Я знаю, что старый китаец и ваза были когда-то помолвлены, а в таких случаях всегда ведь сохраняются добрые отношения! Нет, нам остается только пуститься по белу свету куда глаза глядят!

– А хватит ли у тебя мужества идти за мною всюду? – спросил трубочист. – Подумала ли ты, как велик мир? Подумала ли о том, что нам нельзя будет вернуться назад?

– Да, да! – отвечала она.

Трубочист пристально посмотрел на нее и сказал:

– Моя дорога идет через печную трубу! Хватит ли у тебя мужества вскарабкаться со мной в печку и пробраться по коленчатым переходам трубы? Там-то уж я знаю, что мне делать! Мы заберемся так высоко, что нас не достанут! В самом же верху есть дыра, через нее можно выбраться на белый свет!

И он повел ее к печке.

– Как тут темно! – сказала она, но все-таки полезла за ним в печку и в трубу, где было темно, как ночью.

– Ну вот мы и в трубе! – сказал он. – Смотри, смотри! Прямо над нами сияет чудесная звездочка!

На небе и в самом деле сияла звезда, точно указывая им дорогу. А они все лезли и лезли, выше да выше! Дорога была ужасная. Но трубочист поддерживал пастушку и указывал, куда ей удобнее и лучше ставить фарфоровые ножки. Наконец они достигли края трубы и уселись, – они очень устали, и было от чего!

Небо, усеянное звездами, было над ними, а все домовые крыши под ними. С этой высоты глазам их открывалось огромное пространство. Бедная пастушка никак не думала, что свет так велик. Она склонилась головкою к плечу трубочиста и заплакала; слезы катились ей на грудь и разом смыли всю позолоту с ее пояса.

– Нет, это уж слишком! – сказала она. – Я не вынесу! Свет слишком велик! Ах, если бы я опять стояла на подзеркальном столике! Я не успокоюсь, пока не вернусь туда! Я пошла

за тобою куда глаза глядят, теперь проводи же меня обратно, если любишь меня!

Трубочист стал ее уговаривать, напоминал ей о старом китаецце и об обер-унтер-генерал-комиссар-сержанте Козлоноге, но она только рыдала и крепко целовала своего милого. Что ему оставалось делать? Пришлось уступить, хотя и не следовало.

И вот они с большим трудом спустились по трубе обратно вниз; не легко это было! Очутившись опять в темной печке, они сначала постояли несколько минут за дверцами, желая услышать, что творится в комнате. Там было тихо, и они выглянули. Ах! На полу валялся старый китаец: он свалился со стола, собираясь пуститься за ними вдогонку, и разбился на три части; спина так вся и отлетела прочь, а голова закатилась в угол. Обер-унтер-генерал-комиссар-сержант Козлоног стоял, как всегда, на своем месте и раздумывал.

– Ах, какой ужас! – воскликнула пастушка. – Старый дедушка разбился на куски, и мы всему виною! Ах, я не переживу этого!

И она заломила свои крошечные ручки.

– Его можно починить! – сказал трубочист. – Его отлично можно починить! Только не огорчайся! Ему приклеют спину, а в затылок забьют хорошую заклепку – он будет совсем как новый и успеет еще наделать нам много неприятностей.

– Ты думаешь? – спросила она.

И они опять вскарабкались на столик, где стояли прежде.



– Вот как далеко мы ушли! – сказал трубочист. – Стоило беспокоиться!

– Только бы дедушку починили! – сказала пастушка. – Или это очень дорого обойдется?

И дедушку починили: приклеили ему спину и забили хорошую заклепку в шею; он стал как новый, только кивать головой больше не мог.

– Вы что-то загордились с тех пор, как разбились! – сказал ему обер-унтер-генерал-комиссар-сержант Козлоног. – А мне кажется, тут гордиться особенно нечем! Что же, отдадут ее за меня или нет?

Трубочист и пастушка с мольбой взглянули на старого китайца, – они так боялись, что он кивнет, но он не мог, хоть и не хотел в этом признаться: не очень-то приятно рассказывать всем и каждому, что у тебя в затылке заклепка! Так фарфоровая парочка и осталась стоять рядышком. Пастушка и трубочист благословляли дедушкину заклепку и любили друг друга, пока не разбились.

# Хольгер датчанин

Есть в Дании старинный замок Кронборг; лежит он на самом берегу Эресунна, и мимо него ежедневно проходят сотни кораблей: и английские, и русские, и прусские. Все они приветствуют старый замок пушечными выстрелами: бум! Из замка тоже отвечают: бум! Это пушки говорят: «Здравия желаем!» – «Спасибо!» Зимой корабли не ходят, море замерзает вплоть до самого шведского берега, и устанавливается настоящая дорога. На ней развеваются датские и шведские флаги, и шведы с датчанами тоже говорят друг другу «Здравия желаем!» и «Спасибо!» – но уже не пушечными выстрелами, а просто дружески пожимая друг другу руки, и одни посылают на берег к другим за булками и кренделями, – чужая еда всегда ведь слаще! Но лучше всего здесь это все-таки старинный Кронборг. В его глубоком, мрачном подземелье, куда никто не заглядывает, сидит Хольгер Датчанин. Он весь закован в железо и сталь и подпирает голову могучими руками. Длинная борода его крепко приросла к мраморной доске стола. Он спит и видит во сне все, что делается в Дании. Каждый сочельник является к нему ангел Господень и говорит, что все виденное им во сне – правда и что он еще может пока спать спокойно: Дании не угрожает никакая серьезная опасность. А настань эта грозная минута – старый Хольгер Датчанин воспрянет, и мраморная доска стола трес-

нет, когда он потянет свою бороду. Он выйдет на волю и так ударит мечом, что гром раздастся по всему свету.

Так рассказывал старый дед своему маленькому внуку, и мальчик знал, что все это правда, – рассказывал ведь это дедушка. Старик же, рассказывая, вырезывал из дерева большую фигуру самого Хольгера Датчанина. Старый дед занимался вырезыванием фигур для украшения кораблей соответственно их названиям. Теперь вот он вырезал Хольгера Датчанина; герой с длинною седою бородой стоял прямо и гордо, держа в одной руке меч, а другою опираясь на датский герб. Много еще рассказал старый дед о других замечательных мужах и женах Дании, и под конец внуку стало казаться, будто и он знает теперь не меньше самого Хольгера Датчанина, который ведь видел все это только во сне. Головка мальчика была переполнена всеми этими рассказами, и, улегшись в постель, он крепко прижал свой подбородок к подушке, вообразив, что это у него борода, которая крепко приросла к постели.

А старый дед все еще сидел за своею работой, вырезывая последнюю часть фигуры – датский герб. Наконец работа была кончена, он взглянул на нее и стал припоминать все, что когда-то читал, слышал и сейчас сам рассказывал внуку; потом потрянул головой, снял и протер очки, опять надел их и промолвил:

– Да, в наши дни Хольгер Датчанин, пожалуй, и не придет, но мальчуган, может быть, увидит его и будет биться с ним

рядом, когда дело дойдет до серьезного!

Тут дедушка опять кивнул головой, не сводя глаз с фигуры; чем больше он смотрел на своего Хольгера Датчанина, тем яснее видел, что работа ему очень удалась. Ему стало даже казаться, что фигура вдруг покрылась красками, броня заблестела, сердца на датском гербе стали больше и заалели и львы с золотыми коронами на головах запрыгали.

– Все-таки у нас, у датчан, лучший герб в мире! – сказал старик. – Львы – эмблема силы, а сердце – кротости и любви.

Он взглянул на верхнего льва, и ему вспомнился король Кнуд Великий, который приковал к датскому трону великую Англию; взглянул на другого – вспомнился Вальдемар, который объединил Данию и покорил вендов; взглянул на третьего – вспомнилась Маргрете, объединившая Данию, Швецию и Норвегию. И алые сердца на гербе вдруг стали еще ярче, каждое обратилось под конец в колышущееся пламя, и мысли старика понеслись вслед за полыхавшим пламенем.

Первое пламя привело его в узкую, мрачную темницу, где сидела прекрасная пленница, дочь Кристиана Четвертого, Элеонора Ульфельдт; пламя расцвело на ее груди розой и слилось с сердцем этой лучшей, благороднейшей между датскими женами.

– Да, это живое, благородное сердце из датского герба! – проговорил старик.

И его мысли понеслись за пламенем второго сердца. Оно привело его к морю. Пушки палили, корабли исчезали в об-

лаках дыма, и пламя обвило, как орденскою лентой, грудь адмирала Витфельда, который, ради спасения датского флота, взорвал себя и свой корабль.

Третье пламя привело его к жалким хижинам Гренландии. Там проповедовал любовь и словом и делом миссионер Ханс Эгgede; пламя превратилось в звезду на его груди, в сердце на датском гербе.

И мысли старика опередили четвертое пламя, — он знал, куда оно приведет. В жалкой хижине бедной крестьянки стоял Фредрик Шестой и чертил мелом на балке свое имя; пламя заколебалось на его груди, слилось с его сердцем. В крестьянской хижине его сердце стало одним из сердец датского герба. И старый дед отер глаза: он лично знал этого доброго короля Фредрика, с серебристыми седыми волосами и честными голубыми глазами, и служил ему. Старик скрестил руки и задумался, молча глядя перед собою. Тут подошла к нему невестка и сказала, что уже поздно, — пора ему отдохнуть, да и ужин на столе.

— Но как хорошо у тебя получилось, дедушка! — сказала она. — Хольгер Датчанин и весь наш герб! Право, я как будто где-то видела это лицо!

— Нет, ты-то не видала! — ответил старый дед. — А вот я так видел, по памяти и вырезал его. Это было, когда англичане стояли у нас на рейде, второго апреля тысяча восемьсот первого года, и когда мы все опять почувствовали себя прежними молодцами датчанами! Я был на корабле «Дания», в эс-

кадре Стейна Билле, и рядом со мною стоял матрос. Право, ядра словно боялись его! Он весело распевал старинные песни, без усталости заряжал орудия и стрелял. Нет, что там ни говори, это был не простой смертный! Я еще вижу перед собою его лицо, но откуда он был, куда девался потом – никто не знал. Мне часто приходило в голову, что это был сам старик Хольгер Датчанин, который приплыл к нам из Кронборга и помог в час опасности. Вот я и вырезал его изображение.

Фигура бросала огромную тень на стены и даже на потолок; казалось, что за нею стоял живой Хольгер Датчанин, – тень шевелилась, но это могло быть и оттого, что свеча горела не совсем ровно. Невестка поцеловала старика и повела его к большому креслу; старик сел за стол, сели и невестка с мужем – сыном старика и отцом мальчугана, который был уже в постели. Дед и за ужином говорил о датских львах и сердцах, о силе и кротости, объясняя, что есть и другая сила, кроме той, что опирается на меч. При этом он указал на полку, где лежали старые книги, между прочим, все комедии Хольберга. Как видно, ими тут зачитывались; они ведь такие забавные, а выведенные в них лица и типы давней старины кажутся живыми и до сих пор.

– Вот он тоже умел наносить удары! – сказал дедушка. – Он старался обрубать все уродливости и угловатости людские. – Затем старик кивнул на зеркало, за которым был заткнут календарь с изображением Круглой башни, и сказал: – Тихо Браге тоже владел мечом, но он употреблял его не для

того, чтобы проливать кровь, а чтобы проложить верную дорогу к звездам небесным!.. А Торвальдсен, сын такого же простого резчика, как я; Торвальдсен, которого мы видели сами, седой, широкоплечий старец, чье имя известно всему свету! Вот он владел резцом; умел рубить, а я только строгаю! Да, Хольгер Датчанин является в различных видах, и слава Дании гремит по всему свету! Выпьем же за здоровье Бертеля Торвальдсена!

А мальчуган в это время так ясно видел во сне старинный Кронборг, подземелье и самого Хольгера Датчанина, сидящего с присосею к столу бороною. Он спит и видит во сне все, что совершается в Дании, видит и то, что делается в бедной комнатке резчика, слышит все, что там говорится, и кивает во сне головой:

– Да, только помните обо мне, датчане! Только помните обо мне! Я явлюсь в час опасности!

А над Кронборгом сияет ясный день; ветер доносит с соседней земли звуки охотничьих рогов; мимо плывут корабли и здороваются: бум! бум! И из Кронборга отвечают: бум! бум! Но Хольгер Датчанин не просыпается, как громко ни палят пушки, – это ведь только «Здравия желаем!» и «Спасибо!». Не такая должна пойти пальба, чтобы разбудить его, но тогда уж он пробудится непременно, – Хольгер Датчанин еще силен!

# Штопальная игла

Жила-была штопальная игла; она считала себя такой тонкой, что воображала, будто она швейная иголка.

– Смотрите, смотрите, что вы держите! – сказала она пальцам, когда они вынимали ее. – Не уроните меня! Упаду на пол – чего доброго, затеряюсь: я слишком тонка!

– Будто уж! – ответили пальцы и крепко обхватили ее за талию.

– Вот видите, я иду с целой свитой! – сказала штопальная игла и потянула за собой длинную нитку, только без узелка.

Пальцы ткнули иглу прямо в кухаркину туфлю, – кожа на туфле лопнула, и надо было зашить дыру.

– Фу, какая черная работа! – сказала штопальная игла. – Я не выдержу! Я ломаюсь!

И вправду сломалась.

– Ну вот, я же говорила, – сказала она. – Я слишком тонка!

«Теперь она никуда не годится», – подумали пальцы, но им все-таки пришлось крепко держать ее: кухарка накапала на сломанный конец иглы сургуч и потом заколола ею козынку.

– Вот теперь я – брошка! – сказала штопальная игла. – Я знала, что буду в чести: в ком есть толк, из того всегда выйдет что-нибудь путное.

И она засмеялась про себя, – ведь никто не видал, чтобы



штопальные иглы смеялись громко, — она сидела в косынке, словно в карете, и поглядывала по сторонам.

— Позвольте спросить, вы из золота? — обратилась она к соседке-булавке. — Вы очень милы, и у вас собственная головка... Только маленькая! Постарайтесь ее отрастить, — не всякому ведь достается сургучная головка!

При этом штопальная игла так гордо выпрямилась, что вылетела из платка в раковину, куда кухарка как раз выли-вала помои.

— Отправляюсь в плаванье! — сказала штопальная игла. — Только бы мне не затеряться!

Но она затерялась.

— Я слишком тонка, я не создана для этого мира! — сказала она, лежа в уличной канаве. — Но я знаю себе цену, а это всегда приятно.

И штопальная игла вытянулась в струнку, не теряя хорошего расположения духа.

Над ней проплывала всякая всячина: щепки, соломинки, клочки газетной бумаги...

— Ишь, как плывут! — говорила штопальная игла. — Они и понятия не имеют о том, кто скрывается тут под ними. Это я тут скрываюсь! Я тут сижу! Вон плывет щепка: у нее только и мыслей, что о щепках. Ну, щепкой она век и останется! Вот соломинка несется... Вертится-то, вертится-то как! Не задирай так носа! Смотри, как бы не наткнуться на камень! А вон газетный обрывок плывет. Давно уж забыть успели,

что на нем напечатано, а он, гляди, как развернулся!.. Я лежу тихо, смиренно. Я знаю себе цену, и этого у меня не отнимут!

Раз возле нее что-то заблестело, и штопальная игла вообразила, что это бриллиант. Это был бутылочный осколок, но он блестел, и штопальная игла заговорила с ним. Она назвала себя брошкой и спросила его:

– Вы, должно быть, бриллиант?

– Да, нечто в этом роде.

И оба думали друг про друга и про самих себя, что они настоящие драгоценности, и говорили между собой о невежественности и надменности света.

– Да, я жила в коробке у одной девицы, – рассказывала штопальная игла. – Девица эта была кухаркой. У нее на каждой руке было по пяти пальцев, и вы представить себе не можете, до чего доходило их чванство! А ведь занятие у них было только одно – вынимать меня и класть обратно в коробку!

– А они блестели? – спросил бутылочный осколок.

– Блестели? – отвечала штопальная игла. – Нет, блеску в них не было, зато сколько высокомерия!.. Их было пять братьев, все – урожденные «пальцы»; они всегда стояли в ряд, хоть и были различной величины. Крайний – Толстяк, – впрочем, отстоял от других, он был толстый коротышка, и спина у него гнулась только в одном месте, так что он мог кланяться только раз; зато он говорил, что если его отрубят, то человек не годится больше для военной службы. Второй

– Лакомка – тыкал свой нос всюду: и в сладкое и в кислое, тыкал и в солнце и в луну; он же нажимал перо, когда надо было писать. Следующий – Долговязый – смотрел на всех свысока. Четвертый – Златоперст – носил вокруг пояса золотое кольцо, и, наконец, самый маленький – Пер-музыкант – ничего не делал и очень этим гордился. Да, они только и знали, что хвастаться, и вот – я бросилась в раковину.

– А теперь мы сидим и блестим! – сказал бутылочный осколок.

В это время воды в канаве прибыло, так что она хлынула через край и унесла с собой осколок.

– Он продвинулся! – вздохнула штопальная игла. – А я осталась лежать! Я слишком тонка, слишком деликатна, но я горжусь этим, и это благородная гордость!

И она лежала, вытянувшись в струнку, и передумала много дум.

– Я просто готова думать, что родилась от солнечного луча, – так я тонка! Право, кажется, будто солнце ищет меня под водой! Ах, я так тонка, что даже отец мой солнце не может меня найти! Не лопни тогда мой глазок, я бы, кажется, заплакала! Впрочем, нет, плакать неприлично!

Однажды пришли уличные мальчишки и стали копать в канавке, выискивая старые гвозди, монетки и прочие сокровища. Перепачкались они страшно, но это-то и доставляло им удовольствие!

– Ай! – закричал вдруг один из них; он укололся о што-

пальную иглу. – Смотри, какая штука!

– Я не штука, а барышня! – заявила штопальная игла, но ее никто не расслышал. Сургуч с нее сошел, и она вся почернела, но в черном всегда выглядишь стройнее, и игла воображала, что стала еще тоньше прежнего.

– Вон плывет яичная скорлупа! – закричали мальчишки, взяли штопальную иглу и воткнули в скорлупу.

– Черное на белом фоне очень красиво! – сказала штопальная игла. – Теперь меня хорошо видно! Только бы не поддаться морской болезни, этого я не выдержу: я такая хрупкая!

Но она не поддалась морской болезни – выдержала.

– Против морской болезни хорошо иметь стальной желудок, и всегда надо помнить, что ты не то что простые смертные! Теперь я совсем оправилась. Чем ты благороднее, тем больше можешь перенести!

– Крак! – сказала яичная скорлупа: ее переехала ломовая телега.

– Ух, как давит! – завопила штопальная игла. – Сейчас меня стошнит! Не выдержу! Сломаюсь!

Но она выдержала, хотя ее и переехала ломовая телега; она лежала на мостовой, вытянувшись во всю длину, – ну и пусть себе лежит!

# Тень

Вот уж где жжет солнце – так это в жарких странах! Люди загорают там до того, что становятся краснокожими, а в самых жарких странах – черными, как негры. Но мы поговорим пока только о жарких странах; сюда приехал из холодных стран один ученый. Он было думал и тут бегать по городу, как у себя на родине, да скоро отучился от этого и, как все благоразумные люди, стал сидеть весь день дома с плотно закрытыми ставнями и дверями. Можно было подумать, что весь дом спит или что никого нет дома. Узкая улица, застроенная высокими домами, жарилась на солнце с утра до вечера; просто сил никаких не было терпеть эту жару! Ученому, приехавшему из холодных стран, – он был человек умный и молодой еще, – казалось, будто он сидит в раскаленной печке. Жара сильно влияла на его здоровье; он исхудал, и даже тень его как-то вся съежилась, стала куда меньше, чем была в холодных странах; жара повлияла и на нее. Оба они – и ученый и тень – оживали только с наступлением вечера.

И, право, любо было посмотреть на них! Как только в комнату вносили свечи, тень растягивалась во всю стену, захватывала даже часть потолка – ей ведь надо было потянуться хорошенько, чтобы расправить члены и вновь набраться сил. Ученый выходил на балкон и тоже потягивался, чтобы поразмяться, любовался ясным вечерним небом, в котором

зажигались золотые звездочки, и чувствовал, что вновь возрождается к жизни. На всех других балконах – а в жарких странах перед каждым окном балкон – тоже виднелись люди; дышать воздухом все же необходимо – даже тем, кого солнце сделало краснокожим. Оживление царило и внизу, на тротуарах улицы, иверху, на балконах. Башмачники, портные и другой рабочий люд – все высыпали на улицу, выносили туда столы и стулья и зажигали свечи. Жизнь закипала всюду; улицы освещались тысячами огней, люди – кто пел, кто разговаривал с соседом, по тротуарам двигалась масса гуляющих, по мостовой катились экипажи, тут пробирались, позванивая колокольчиками, выучные ослы, там тянулась, с пением псалмов, похоронная процессия, слышался треск хлопушек, бросаемых о мостовую уличными мальчишками, раздавался звон колоколов... Да, жизнь так и была ключом повсюду! Тихо было лишь в одном доме, стоявшем как раз напротив того, где жил ученый. Дом не был, однако, нежилым: на балконе красовались чудесные цветы; без поливки они не могли бы цвести так пышно, кто-нибудь да поливал их – стало быть, в доме кто-то жил. Выходившая на балкон дверь тоже отворялась по вечерам, но в самих комнатах было всегда темно, по крайней мере, в первой. Из задних же комнат слышалась музыка. Ученый находил ее дивно-прекрасною, но ведь может статься, что ему это только так казалось: по его мнению, здесь, в жарких странах, и все было прекрасно; одна беда – солнце! Хозяин дома, где жил ученый, сказал,

что и он не знает, кто живет в соседнем доме: там никогда не показывалось ни единой живой души; что же до музыки, то он находил ее страшно скучною.

— Словно кто сидит и долбит все одну и ту же пьесу. Дело не идет на лад, а он продолжает, дескать, — «добьюсь своего!» Напрасно, однако, старается, ничего не выходит!

Раз ночью ученый проснулся; дверь на балкон стояла отворенною, и ветер распахнул портьеры; ученый взглянул на противоположный дом, и ему показалось, что балкон озарен каким-то диковинным сиянием; цветы горели чудными разноцветными огнями, а между цветами стояла стройная, прелестная девушка, тоже, казалось, окруженная сиянием. Весь этот блеск и свет так и резнул широко раскрытые со сна глаза ученого. Он вскочил и тихонько подошел к двери, но девушка уже исчезла, блеск и свет — тоже. Цветы больше не горели огнями, а стояли себе преспокойно, как всегда. Дверь из передней комнаты на балкон была полуотворена, и из глубины дома неслись нежные, чарующие звуки музыки, которые хоть кого могли унести в царство сладких грез и мечтаний!..

Все это было похоже на какое-то колдовство! Кто же там жил? Где, собственно, был вход в дом? Весь нижний этаж был занят магазинами — не через них же постоянно ходили жильцы!

Однажды вечером ученый сидел на своем балконе; в комнате позади него горела свечка, и вполне естественно, что тень его расположилась на стене противоположного дома;

она даже поместилась на самом балконе, как раз между цветами; стоило шевельнуться ученому – шевелилась и тень, – это она умеет.

– Право, моя тень – единственное видимое существо в том доме! – сказал ученый. – Ишь, как славно уселась между цветами! А дверь-то ведь полуотворена; вот бы тени догадаться войти туда, высмотреть все, потом вернуться и рассказать обо всем мне! Да, следовало бы и тебе быть полезною! – сказал он шутя и затем добавил: – Ну-с, не угодно ли пойти туда! Ну? Идешь? – И он кивнул своей тени головой, тень тоже ответила кивком. – Ну и ступай! Только смотри не пропади там!

С этими словами ученый встал, тень его, сидевшая на противоположном балконе, – тоже; ученый повернулся – повернулась и тень, и если бы кто-нибудь внимательно наблюдал за ними в это время, то увидел бы, как тень скользнула в полуотворенную балконную дверь загадочного дома, когда ученый ушел с балкона в комнату и задвинул за собою портьеру.

Утром ученый пошел в кондитерскую напиться кофе и почитать газеты.

– Что это значит? – сказал он, выйдя на солнце. – У меня нет тени! Так она в самом деле ушла вчера вечером и не вернулась? Довольно-таки неприятная история!

И он рассердился, не столько потому, что тень ушла, сколько потому, что вспомнил известную историю о человеке без тени, которую знали все и каждый на его родине, в



холодных странах; вернись он теперь туда и Расскажи свою историю, все сказали бы, что он пустился подражать другим, а он вовсе в этом не нуждался. Поэтому он решил даже не заикаться о происшествии с тенью и умно сделал.

Вечером он опять вышел на балкон и поставил свечку позади себя, зная, что тень всегда старается загородиться от света своим господином; выманить этим маневром тень ему, однако, не удалось. Он и сажился и выпрямлялся во весь рост – тень все не являлась. Он задумчиво хмыкнул, но и это не помогло.

Досадно было, но, к счастью, в жарких странах все растёт и созревает необыкновенно быстро, и вот через неделю ученый, выйдя на солнце, заметил к своему величайшему удовольствию, что от ног его начала расти новая тень, – должно быть, корни-то старой остались. Через три недели у него была уже довольно сносная тень, которая во время обратного путешествия ученого на родину подросла еще и под конец стала уже такою большою и длинною, что хоть убавляй.

Ученый вернулся домой и стал писать книги, в которых говорилось об истине, добре и красоте. Так шли дни и годы, прошло много лет.

Раз вечером, когда он сидел у себя дома, слышался тихий стук в дверь.

– Войдите! – сказал он, но никто не входил; тогда он отворил дверь сам – перед ним стоял невероятно худощавый человек; одет он был, впрочем, очень элегантно, как знатный

господин.

– С кем имею честь говорить? – спросил ученый.

– Я так и думал, – сказал элегантный господин, – что вы не узнаете меня! Я обрел телесность, обзавелся плотью и платьем! Вы, конечно, и не предполагали встретить меня когда-нибудь таким благоденствующим. Но неужели вы все еще не узнаете свою бывшую тень? Да, вы, пожалуй, думали, что я уже не вернусь больше? Мне очень повезло с тех пор, как я расстался с вами. Я во всех отношениях завоевал себе прочное положение в свете и могу откупиться от службы, когда пожелаю!

При этих словах он забренчал целою связкой дорогих брегетов, висевших на цепочке для часов, а потом начал играть толстою золотою цепью, которую носил на шее. Пальцы его так и блеснули бриллиантовыми перстнями! И золото и камни были настоящие, а не поддельные!

– Я просто в себя не могу прийти от удивления! – сказал ученый. – Что это такое?

– Да, явление не совсем обыкновенное, это правда! – сказала тень. – Но вы ведь сами не принадлежите к числу обыкновенных людей, а я, как вы знаете, с детства ходил по вашим стопам. Как только вы нашли, что я достаточно созрел для того, чтобы зажить самостоятельно, я и пошел своею дорогой, добился, как видите, полного благосостояния, да вот взгрустнулось что-то по вас, захотелось повидаться с вами, пока вы еще не умерли – вы ведь должны же умереть! – и

кстати взглянуть еще разок на эти края. Всегда ведь сохранишь любовь к своей родине!.. Я знаю, что у вас теперь новая тень; скажите, не должен ли я что-нибудь ей или вам? Только скажите слово – и я заплачу.

– Нет, так это в самом деле ты?! – вскричал ученый. – Вот диво, так диво! Никогда бы я не поверил, что моя старая тень вернется ко мне, да еще человеком!

– Скажите же мне, не должен ли я вам? – спросила опять тень. – Мне не хотелось бы быть у кого-нибудь в долгу!

– Что за разговоры! – сказал ученый. – Какой там долг! Ты вполне свободен! Я несказанно рад твоему счастью! Садись же, старый дружище, и Расскажи мне, как все это вышло и что ты увидел в том доме напротив?

– Сейчас расскажу! – сказала тень и уселась. – Но с условием, что вы дадите мне слово не говорить никому здесь, в городе, – где бы вы меня ни встретили, – что я был когда-то вашею тенью! Я собираюсь жениться! Я в состоянии содержать и не одну семью!

– Будь спокоен! – сказал ученый. – Никто не будет знать, кто ты, собственно, такой! Вот моя рука! Даю тебе слово! А слово ведь человек...

– Слово – тень! – закончила тень – иначе ведь она не могла выразиться.

Вообще же ученому оставалось только удивляться, как много было в ней человеческого, начиная с самого платья: черная пара из тонкого сукна, на ногах лакированные сапо-

ги, а в руках цилиндр, который мог складываться, так что от него оставались только донышко да поля; о брелоках, золотой цепочке и бриллиантовых перстнях мы уже говорили. Да, тень была одета превосходно, и это-то, собственно, и придавало ей вид настоящего человека.

– Теперь я расскажу! – сказала тень и придавила ногами в лакированных сапогах рукав новой тени ученого, которая, как собачка, лежала у его ног.

Зачем она это сделала, из высокомерия ли, или, может быть, в надежде приклеить ее к своим ногам – неизвестно. Тень же, лежавшая на полу, даже не шевельнулась, вся превратившись в слух: ей очень хотелось знать, как это можно добиться свободы и сделаться самой себе госпожою.

– Знаете, кто жил в том доме? – спросила бывшая тень. – Нечто прекраснейшее в мире – сама Поэзия! Я провел там три недели, а это все равно, что прожить на свете три тысячи лет и прочесть все, что сочинено и написано поэтами, – уверяю вас! Я видел все и знаю все – и это сущая правда!

– Поэзия! – вскричал ученый. – Да, да! Она часто живет отшельницей в больших городах! Поэзия! Я видел ее только мельком, да и то я был еще сонным! Она стояла на балконе и сверкала, как северное сияние! Рассказывай же, рассказывай! Ты был на балконе, вошел в дверь и...?

– И попал в переднюю! – подхватила тень. – Вы ведь всегда сидели и смотрели на переднюю. Она не была освещена, и в ней стоял какой-то полумрак, но в отворенную дверь вид-

нелась целая анфилада освещенных покоев. Меня бы этот свет уничтожил вконец, если бы я сейчас же вошел к деде, но я был благоразумен и выждал время. Так и следует поступать всегда!

– И что же ты там увидел? – спросил ученый.

– Все, и я расскажу вам обо всем, но... Видите ли, я не из гордости, а... ввиду той свободы и знаний, которыми я располагаю, не говоря уже о моем положении в свете... я очень бы желал, чтобы вы обращались ко мне на «вы».

– Ах, прошу извинить меня! – сказал ученый. – Это я по старой привычке!.. Вы совершенно правы! И я постараюсь помнить это! Но расскажите же мне, что вы там видели?

– Все! – отвечала тень. – Я видел все и знаю все!

– Что же напоминали эти внутренние покои? – спросил ученый. – Свежий ли зеленый лес? Или святой храм? Или взору вашему открылось звездное небо, видимое лишь с нагорных высот?

– Все там было! – сказала тень. – Я, однако, не входил в самые покои, я оставался в передней, в полумраке, но там мне было отлично, я видел все, и я знаю все! Я ведь провел столько времени в передней при дворе Поэзии.

– Но что же вы видели там? Величавые шествия древних богов? Борьбу героев седой старины? Игры милых детей, лепечущих о своих чудных грезах?..

– Говорю же вам, я был там, следовательно и видел все, что только можно было видеть! Явись вы туда, вы бы не сде-

лались человеком, а я сделался им! Я познал там мою собственную натуру, мое природное сродство с поэзией. Да, в те времена, когда я был при вас, я еще и не думал ни о чем таком. Но припомните только, как я всегда удивительно вырастал на восходе и при закате солнца! При лунном же свете я был чуть ли не заметнее вас самих! Но тогда еще я не понимал своей натуры, меня озарило только в передней! Там я стал человеком, вполне созрел. Но вас уже не было в жарких странах; между тем я, в качестве человека, стеснялся уже показываться в своем прежнем виде: мне нужны были сапоги, приличное платье, словом, я нуждался во всем этом внешнем человеческом лоске, по которому признают вас человеком. И вот я нашел себе убежище... Да, вам я признаюсь в этом, вы ведь не напечатаете этого: я нашел себе убежище под юбкой торговки сладостями! Женщина и не подозревала, что она скрывала! Выходил я только по вечерам, бегал при лунном свете по улицам, растягивался во всю длину на стенах — это так приятно щекочет спину! Взбегал вверх по стенам, сбегал вниз, заглядывал в окна самых верхних этажей, заглядывал и в залы, и на чердаки, заглядывал и туда, куда никто не мог заглядывать, видел то, чего никто не должен был видеть! И я узнал, как, в сущности, низок свет! Право, я не хотел бы даже быть человеком, если бы только не было раз навсегда принято считать это чем-то особенным! Я подметил самые невероятные вещи у женщин, у мужчин, у родителей, даже у милых, бесподобных деток. Я видел то, —

добавила тень, — чего никто не должен был, но что всем так хотелось увидеть — тайные пороки и грехи людские. Пиши я в газетах, меня бы читали! Но я писал прямо самым заинтересованным лицам и нагонял на всех и повсюду, где ни появлялся, такой страх! Все так боялись меня и так любили! Профессора признавали меня своим коллегой, портные одевали меня — платья у меня теперь вдоволь, — монетчики чеканили для меня монету, а женщины восхищались моей красотой! И вот я стал тем, что я есть. А теперь я прощусь с вами; вот моя карточка. Живу я на солнечной стороне и в дождливую погоду всегда дома!

С этими словами тень ушла.

— Как это все же странно! — сказал ученый.

Шли дни и годы; вдруг тень опять явилась к ученому.

— Ну, как дела? — спросила она.

— Увы! — отвечал ученый. — Я пишу об истине, добре и красоте, а никому до этого нет и дела. Я просто в отчаянии; меня это так огорчает!

— А вот меня нет! — сказала тень. — Поэтому я все толстею, а это самое главное! Да, не умеете вы жить на свете! Еще заболете, пожалуй. Вам надо попутешествовать немножко. Я как раз собираюсь летом сделать небольшую поездку — хотите ехать со мной? Мне нужно общество в дороге, так не поедете ли вы... в качестве моей тени? Право, ваше общество доставило бы мне большое удовольствие; все издержки я, конечно, возьму на себя!

– Нет, это слишком! – рассердился ученый.

– Да ведь как взглянуть на дело! – сказала тень. – Поездка принесла бы вам большую пользу! А стоит вам согласиться быть моею тенью, – и вы поедете на всем готовом!

– Это уж из рук вон! – вскричал ученый.

– Таков свет, – сказала тень. – Таким он и останется!

И тень ушла.

Ученый чувствовал себя плохо, а горе и заботы по-прежнему преследовали его: он писал об истине, добре и красоте, а люди понимали во всем этом столько же, сколько коровы в розах. Наконец он совсем расхворался.

– Вы неузнаваемы, вы стали просто тенью! – говорили ученому люди, и по его телу пробегала дрожь от мысли, приходившей ему в голову при этих словах.

– Вам следует ехать куда-нибудь на воды! – сказала тень, которая опять завернула к нему. – Ничего другого вам не остается. Я готов взять вас с собою ради старого знакомства. Я беру на себя все издержки по путешествию, а вы опишете нашу поездку и будете приятно развлекать меня в дороге. Я собираюсь на воды; моя борода не растет, как бы следовало, а это ведь своего рода болезнь, – бороду надо иметь! Ну, будьте благоразумны, принимайте мое предложение; ведь мы же поедem как товарищи.

И они поехали. Тень стала господином, а господин тенью. Они были неразлучны: и ехали, и беседовали, и ходили всегда вместе – то бок о бок, то тень впереди ученого, то по-



зади, смотря по положению солнца. Но тень отлично умела держаться господином, а ученый, по доброте сердца, даже и не замечал этого. Он был вообще такой славный, сердечный человек, и раз как-то возьми да и скажи тени:

– Мы ведь теперь товарищи, да и выросли вместе – выпьем же на «ты», это будет по-приятельски!

– В ваших словах действительно много искреннего доброжелательства! – сказала тень, – господином-то теперь была, собственно, она. – И я тоже хочу быть с вами откровенным. Вы, как человек ученый, знаете, вероятно, какими странностями отличается натура человеческая! Некоторым, например, неприятно дотрагиваться до серой бумаги, другие вздрагивают всем телом, если при них провести гвоздем по стеклу. Вот такое же чувство овладевает и мною, когда вы говорите мне «ты». Я чувствую себя совсем подавленным, как бы низведенным до прежнего моего положения. Вы видите, что это просто болезненное чувство, а не гордость с моей стороны. Я не могу позволить вам говорить мне «ты», но сам охотно буду говорить вам «ты»; таким образом, ваше желание будет исполнено хоть наполовину.

И вот тень стала говорить своему прежнему господину «ты».

«Это, однако, из рук вон, – подумал ученый. – Я должен обращаться к нему на «вы», а он мне тыкает».

Но делать было нечего.

Наконец они прибыли на воды. На водах был большой

съезд иностранцев. В числе приезжих находилась и одна красавица принцесса, которая страдала чересчур зорким взглядом, а это ведь не шутка, хоть кого испугает.

Она сразу заметила, что вновь прибывший иностранец совсем не похож на всех других людей.

— Хотя и говорят, что он приехал сюда ради того, чтобы отрастить себе бороду, но меня-то не проведешь: я вижу, что он просто-напросто не может отбрасывать тени!

Любопытство ее было подзадорено, и она, не долго думая, подошла к незнакомцу на прогулке и вступила с ним в разговор. В качестве принцессы она, без дальнейших церемоний, сказала ему:

— Ваша болезнь заключается в том, что вы не можете отбрасывать от себя тени!

— А ваше королевское высочество, должно быть, уже близки к выздоровлению! — сказала тень. — Я знаю, что вы страдали слишком зорким взглядом, — теперь, как видно, вы исцелились от своего недуга! У меня как раз весьма необыкновенная тень. Или вы не заметили особу, которая постоянно следует за мной? У всех других людей — обыкновенные тени, но я вообще враг всего обыкновенного, и как другие одевают своих слуг в ливреи из более тонкого сукна, чем носят сами, так я нарядил свою тень настоящим человеком и даже приставил, как видите, и к ней тень! Все это обходится мне, конечно, недешево, но уж я в таких случаях за расходами не стою!

«Вот как! — подумала принцесса. — Так я в самом деле выздоровела? Да, эти воды — лучшие в мире! Надо признаться, что воды обладают в наше время поистине удивительною силой. Но я пока не уеду, — теперь здесь будет еще интереснее. Мне ужасно нравится этот иностранец. Только бы борода его не выросла, а то он уедет!»

Вечером был бал, и принцесса танцевала с тенью. Принцесса танцевала легко, но тень еще легче; такого танцора принцесса и не встречала. Она сказала ему, из какой страны прибыла, и оказалось, что он знал эту страну и даже был там, но принцесса как раз в то время уезжала. Он заглядывал в окна повсюду, видел кое-что и потому мог отвечать принцессе на все вопросы и даже делать такие намеки, от которых она пришла в полное изумление и стала считать его умнейшим человеком на свете. Знания его просто поражали ее, и она прониклась к нему глубочайшим уважением.

Протанцевав с ним еще раз, она окончательно влюбилась в него, и тень это отлично заметила: принцесса так и пронызывала своего кавалера взглядами. Протанцевав же с тенью еще раз, принцесса готова была признаться ей в своей любви, но рассудок все-таки одержал верх, она подумала о своей стране, государстве и народе, которым ей приходилось управлять. «Умен-то он умен, — сказала она самой себе, — и это прекрасно; танцует он восхитительно, и это тоже хорошо, но обладает ли он основательными познаниями, что тоже очень важно! Надо его проэкзаменовать».

И она опять завела с ним разговор и назадавала ему труднейших вопросов, на которые и сама не смогла бы ответить.

Тень скорчила удивленную мину.

– Так вы не можете ответить мне! – сказала принцесса.

– Все это я изучил еще в детстве! – отвечала тень. – Я думаю, даже тень моя, что стоит у дверей, сумеет ответить вам.

– Ваша тень?! – удивилась принцесса. – Это было бы просто поразительно!

– Я, видите ли, не утверждаю, – сказала тень, – но думаю, что она может, – она ведь столько лет неразлучна со мной и кое-чего наслушалась от меня! Но, ваше королевское высочество, позвольте мне обратить ваше внимание на одно обстоятельство. Тень моя очень гордится тем, что слывет человеком, и если вы не желаете привести ее в дурное расположение духа, вам следует обращаться с нею как с человеком! Иначе она, пожалуй, не будет в состоянии отвечать как следует!

– Что ж, это мне нравится! – ответила принцесса и, подойдя к ученому, стоявшему у дверей, заговорила с ним о солнце, о луне, о внешних и внутренних сторонах и свойствах человеческой природы.

Ученый отвечал на все ее вопросы хорошо и умно.

«Что это должен быть за человек, – подумала принцесса, – если даже тень его так умна! Для моего народа и государства будет сущим благодеянием, если я выберу его себе в супруги.

Да, я так и сделаю!»

И скоро они порешили между собою этот вопрос. Никто, однако, не должен был знать ничего, пока принцесса не вернется домой, в свое государство.

– Никто, никто, даже моя собственная тень! – настаивала тень, имевшая на то свои причины.

Наконец они прибыли в страну, которою управляла принцесса, когда бывала дома.

– Послушай, дружище! – сказала тут тень ученому. – Теперь я достиг высшего счастья и могущества человеческого и хочу сделать кое-что и для тебя! Ты останешься при мне, будешь жить в моем дворце, разъезжать со мною в королевской карете и получать сто тысяч риксдалеров в год. Но за то ты должен позволить называть тебя тенью всем и каждому. Ты не должен и заикаться, что был когда-нибудь человеком! А раз в год, в солнечный день, когда я буду восседать на балконе перед всем народом, ты должен будешь лежать у моих ног, как и подобает тени. Надо тебе сказать, что я женюсь на принцессе; свадьба – сегодня вечером.

– Нет, это уж из рук вон! – вскричал ученый. – Не хочу я этого и не сделаю! Это значило бы обманывать всю страну и принцессу! Я скажу все! Скажу, что я человек, а ты только переодетая тень – все, все скажу!

– Никто не поверит тебе! – сказала тень. – Ну, будь же благоразумен, не то я кликну стражу!

– Я пойду прямо к принцессе! – сказал ученый.

– Ну, я-то попаду к ней прежде тебя! – сказала тень. – А ты отправишься под арест.

Так и вышло: стража повиновалась тому, за кого, как все знали, выходила замуж принцесса.

– Ты дрожишь! – сказала принцесса, когда тень вошла к ней. – Что-нибудь случилось? Не захворай смотри! Ведь сегодня вечером наша свадьба!

– Ах, я пережил сейчас ужаснейшую минуту! – сказала тень. – Подумай... Да много ли, в сущности, нужно мозгам какой-нибудь несчастной тени!.. Подумай, моя тень сошла с ума, вообразила себя человеком, а меня называет – подумай только – своею тенью!

– Какой ужас! – сказала принцесса. – Надеюсь, ее заперли?

– Разумеется, но я боюсь, что она никогда не придет в себя!

– Бедная тень! – вздохнула принцесса. – Она очень несчастна! Было бы сущим благодеянием избавить ее от той частицы жизни, которая еще есть в ней. А как подумать хорошенько, то, по-моему, даже необходимо покончить с ней поскорее и без шума!

– Все-таки это жестоко! – сказала тень. – Она была мне верным слугой! – И тень притворно вздохнула.

– У тебя благородная душа! – сказала принцесса.

Вечером весь город был иллюминирован, гремели пушечные выстрелы, солдаты отдавали честь ружьями. Вот была свадьба! И принцесса с тенью вышли на балкон показаться на-

роду, который еще раз прокричал им «ура».

Ученый не слышал этого ликования – с ним уже покончили.

# Старый дом

На одной улице стоял старый-старый дом, выстроенный еще около трехсот лет тому назад, – год его постройки был вырезан на одном из оконных карнизов, по которым вилась затейливая резьба: тюльпаны и побеги хмеля; тут же было вырезано старинными буквами и с соблюдением старинной орфографии целое стихотворение. На других карнизах красовались уморительные рожи, корчившие гримасы. Верхний этаж дома образовывал над нижним большой выступ; под самую крышей шел водосточный желоб, оканчивавшийся драконовою головой. Дождевая вода должна была вытекать у дракона из пасти, но текла из живота – желоб был дырявый.

Все остальные дома на улице были такие новенькие, чистенькие, с большими окнами и прямыми, ровными стенами; по всему видно было, что они не желали иметь со старым домом ничего общего и даже думали: «Долго ли он будет торчать тут на позор всей улице? Из-за этого выступа нам не видно, что делается по ту сторону дома!

А лестница-то, лестница-то! Широкая, будто во дворце, и высокая, словно ведет на колокольню! Железные перила напоминают вход в могильный склеп, а на дверях блестят большие медные бляхи! Просто неприлично!»

Против старого дома, на другой стороне улицы, стояли такие же новенькие, чистенькие домики и думали то же, что их



собратья; но в одном из них сидел у окна маленький краснощекий мальчик с ясными, сияющими глазами; ему старый дом и при солнечном и при лунном свете нравился куда больше всех остальных домов. Глядя на стену старого дома с потрескавшеюся и местами пообвалившеюся штукатуркою, он рисовал себе самые причудливые картины прошлого, воображал всю улицу застроенной такими же домами, с широкими лестницами, выступами и остроконечными крышами, видел перед собою солдат с алебардами и водосточные желобы в виде драконов и змиев... Да, можно таки было заглядеться на старый дом! Жил в нем один старичок, носивший короткие панталоны до колен, кафтан с большими металлическими пуговицами и парик, про который сразу можно было сказать: вот это настоящий парик! По утрам к старику приходил старый слуга, который прибирал все в доме и исполнял поручения старичка хозяина; остальное время дня старик оставался в доме один-одинешенек. Иногда он подходил к окну взглянуть на улицу и на соседние дома; мальчик, сидевший у окна, кивал старику головой и получал в ответ такой же дружеский кивок. Так они познакомились и подружились, хоть и ни разу не говорили друг с другом, — это ничуть им не помешало!

Раз мальчик услышал, как родители его говорили:

– Старику живется вообще недурно, но он так одинок, бедный!

В следующее же воскресенье мальчик завернул что-то в

бумажку, вышел за ворота и остановил проходившего мимо слугу старика.

– Послушай! Снеси-ка это от меня старому господину! У меня два оловянных солдатика, так вот ему один! Пусть он останется у него, ведь старый господин так одинок, бедный.

Слуга, видимо, обрадовался, кивнул головой и отнес солдатика в старый дом. Потом тот же слуга явился к мальчику спросить, не пожелает ли он сам навестить старого господина. Родители позволили, и мальчик отправился в гости.

Медные бляхи на перилах лестницы блестели ярче обыкновенного, точно их вычистили в ожидании гостя, а резные трубачи – на дверях были ведь вырезаны трубачи, выглядывавшие из тюльпанов, – казалось, трубили изо всех сил, и щеки их раздувались сильнее, чем всегда. Они трубили: «Тра-та-та-та! Мальчик идет! Тра-та-та-та!» Двери отворились, и мальчик вошел в коридор. Все стены были увешаны старыми портретами рыцарей в латах и дам в шелковых платьях; рыцарские доспехи бряцали, а платья шуршали... Потом мальчик прошел лестницу, которая сначала шла высоко вверх, а потом опять вниз, и очутился на довольно-таки ветхой террасе с большими дырами и широкими щелями в полу, из которых выглядывали зеленая трава и листья. Вся терраса, весь двор и даже вся стена дома были увиты зеленью, так что терраса выглядела настоящим садом, а на самом-то деле это была только терраса! Тут стояли старинные цветочные горшки в виде голов с ослиными ушами; цветы росли в них как хоте-

ли. В одном горшке так и лезла через край гвоздика: зеленые ростки ее разбегались во все стороны, и гвоздика как будто говорила: «Ветерок ласкает меня, солнышко целует и обещает подарить мне в воскресенье еще один цветочек! Еще один цветочек в воскресенье!»

С террасы мальчика провели в комнату, обитую свиной кожей с золотым тиснением.

Да, позолота-то сотрется,  
Свиная ж кожа остается! –

говорили стены.

В той же комнате стояли разукрашенные резьбою кресла с высокими спинками.

– Садись! Садись! – приглашали они, а потом жалобно скрипели. – Ох, какая ломота в костях! И мы схватили ревматизм, как старый шкаф. Ревматизм в спине! Ох!

Затем мальчик вошел в комнату с большим выступом на улицу. Тут сидел сам старичок хозяин.

– Спасибо за оловянного солдатика, дружок! – сказал он мальчику. – И спасибо, что сам зашел ко мне!

«Так, так» или, скорее, «кхак, кхак!» – закричала и закрипела мебель. Стульев, столов и кресел было так много, что они мешали друг другу смотреть на мальчика.

На стене висел портрет прелестной молодой дамы с живым, веселым лицом, но причесанной и одетой по старин-

ной моде: волосы ее были напудрены, а платье стояло колом. Она не сказала ни «так», ни «кхак», но ласково смотрела на мальчика, и он сейчас же спросил старика:

– Где вы ее достали?

– В лавке старьевщика! – отвечал тот. – Там много таких портретов, но никому до них нет и дела: никто не знает, с кого они писаны, – все эти лица давным-давно умерли и похоронены. Вот и этой дамы нет на свете лет пятьдесят, но я знал ее в старину.

Под картиной висел за стеклом букетик засушенных цветов; им, верно, тоже было лет под пятьдесят, – такие они были старые! Маятник больших старинных часов качался взад и вперед, стрелка двигалась, и все в комнате старело с каждой минутой, само того не замечая.

– У нас дома говорят, что ты ужасно одинок! – сказал мальчик.

– О! Меня постоянно навещают воспоминания прошлого... Они приводят с собой столько знакомых лиц и образов!.. А теперь вот и ты навестил меня! Нет, мне хорошо!

И старичок снял с полки книгу с картинками. Тут были целые процессии, диковинные кареты, которых теперь уж не увидишь, солдаты, похожие на трефовых валетов, городские ремесленники с развевающимися знаменами. У портных на знаменах красовались ножницы, поддерживаемые двумя львами, у сапожников же не сапоги, а орел о двух головах – сапожники ведь делают всё парные вещи. Да, вот так

картинки были!

Старичок хозяин пошел в другую комнату за вареньем, яблоками и орехами. Нет, в старом доме, право, было прелесть как хорошо!

— А мне просто невмочь оставаться здесь! — сказал оловянный солдатик, стоявший на сундуке. — Тут так пусто и печально. Нет, кто привык к семейной жизни, тому здесь не житье. Сил моих больше нет! День тянется здесь без конца, а вечер и того дольше! Тут не услышишь ни приятных бесед, какие вели, бывало, между собою твои родители, ни веселой возни ребятишек, как у вас! Старый хозяин так одинок! Ты думаешь, его кто-нибудь целует? Глядит на него кто-нибудь ласково? Бывает у него елка? Получает он подарки? Ничего! Вот разве гроб он получит!... Нет, право, я не выдержу такого житья!

— Ну, ну, полно! — сказал мальчик. — По-моему, здесь чудесно; сюда ведь заглядывают воспоминания и приводят с собою столько знакомых лиц!

— Что-то не видал их, да они мне и незнакомы! — отвечал оловянный солдатик. — Нет, мне просто не под силу оставаться здесь!

— А надо! — сказал мальчик.

В эту минуту в комнату вошел с веселою улыбкой на лице старичок, и чего-чего он только не принес! И варенья, и яблок, и орехов! Мальчик перестал и думать об оловянном солдатике.

Веселый и довольный вернулся он домой. Дни шли за днями; мальчик по-прежнему посылал в старый дом поклоны, а оттуда получал тоже поклоны в ответ, и вот мальчик опять отправился туда в гости.

Резные трубачи опять затрубили: «Тра-та-та-та! Мальчик пришел! Тра-та-та-та!» Рыцари и дамы на портретах бряцали доспехами и шуршали шелковыми платьями, свиная кожа говорила, а старые кресла скрипели и кряхтели от ревматизма в спине: «Ох!» Словом, все было как и в первый раз, – в старом доме часы и дни шли один, как другой, без всякой перемены.

– Нет, я не выдержу! – сказал оловянный солдатик. – Я уже плакал оловом! Тут слишком печально! Пусть лучше пошлют меня на войну, отрубят там руку или ногу! Все-таки хоть перемена будет! Сил моих больше нет!.. Теперь и я знаю, что это за воспоминания, которые приводят с собою знакомых лиц! Меня они тоже посетили, и, поверь, им не обрадуешься! Особенно, если они станут посещать тебя часто. Под конец я готов был спрыгнуть с сундука!.. Я видел тебя и всех твоих!.. Вы все стояли передо мною, как живые!.. Это было утром в воскресенье... Все вы, ребяташки, стояли в столовой, такие серьезные, набожно сложив руки, и пели утренний псалом... Папа и мама стояли тут же. Вдруг дверь открылась, и вошла незваная двухгодовалая сестренка ваша Мари. А ей стоит только услышать музыку или пение – все равно какое, – сейчас начинает плясать. Вот она и принялась

приплясывать, но никак не могла попасть в такт – вы пели так протяжно... Она поднимала то одну ножку, то другую и вытягивала шейку, но дело не ладилось. Никто из вас даже не улыбнулся, хоть и трудно было удержаться. Я таки и не удержался, засмеялся про себя, да и слетел со стола! На лбу у меня вскочила большая шишка – она и теперь еще не прошла, и поделом мне было!.. Много и еще чего вспоминается мне... Все, что я видел, слышал и пережил в вашей семье, так и всплывает у меня перед глазами! Вот каковы они, эти воспоминания, и вот что они приводят с собой!.. Скажи, вы и теперь еще поете по утрам? Расскажи мне что-нибудь про малютку Мари! А товарищ мой, оловянный солдатик, как поживает? Вот счастливец!.. Нет, нет, я просто не выдержу!..

– Ты подарен! – сказал мальчик. – И должен оставаться тут! Разве ты не понимаешь этого?

Старичок хозяин явился с ящиком, в котором было много разных диковинок: какие-то шкатулочки, флакончики и колоды старинных карт – таких больших, расписанных золотом, теперь уж не увидишь! Старичок отпер для гостя и большие ящики старинного бюро и даже клавикорды, на крышке которых был нарисован ландшафт. Инструмент издавал под рукой хозяина тихие дребезжащие звуки, а сам старичок напевал при этом какую-то заунывную песенку.

– Эту песню певала когда-то она! – сказал он, кивая на портрет, купленный у старьевщика, и глаза его заблестели.

– Я хочу на войну! Хочу на войну! – завопил вдруг оло-

вянный солдатик и бросился с сундука.

Куда же он девался? Искал его и сам старичок хозяин, искал и мальчик – нет нигде, да и только.

– Ну, я найду его после! – сказал старичок, но так и не нашел. Пол весь был в щелях, солдатик упал в одну из них и лежал там, как в открытой могиле.

Вечером мальчик вернулся домой. Время шло; наступила зима; окна замерзли, и мальчику приходилось дышать на них, чтобы оттаяло хоть маленькое отверстие, в которое бы можно было взглянуть на улицу. Снег запорошил все завитушки и надпись на карнизах старого дома и завалил лестницу, – дом стоял словно нежилой. Да так оно и было: старичок, хозяин его, умер.

Вечером к старому дому подъехала колесница, на нее поставили гроб и повезли старичка за город, в фамильный склеп. Никто не шел за гробом – все друзья старика давным-давно умерли. Мальчик послал вслед гробу воздушный поцелуй.

Несколько дней спустя в старом доме назначен был аукцион. Мальчик видел из окошка, как уносили старинные портреты рыцарей и дам, цветочные горшки с длинными ушами, старые стулья и шкафы. Одно пошло сюда, другое туда; портрет дамы, купленный в лавке старьевщика, вернулся туда же, да так там и остался: никто ведь не знал этой дамы, никому и не нужен был ее портрет.

Весною стали ломать старый дом – этот жалкий сарай уже



мозолил всем глаза, и с улицы можно было заглянуть в самые комнаты с обоями из свиной кожи, висевшими клочьями; зелень на террасе разрослась еще пышнее и густо обвивала упавшие балки. Наконец место очистили совсем.

– Вот и отлично! – сказали соседние дома.

Вместо старого дома на улице появился новый, с большими окнами и белыми ровными стенами. Перед ним, то есть, собственно, на том самом месте, где стоял прежде старый дом, разбили садик, и виноградные лозы потянулись оттуда к стене соседнего дома. Садик был обнесен высокой железной решеткой, и вела в него железная калитка. Все это выглядело так нарядно, что прохожие останавливались и глядели сквозь решетку. Виноградные лозы были усеяны десятками воробьев, которые чирикали наперебой, но не о старом доме, – они ведь не могли его помнить; с тех пор прошло столько лет, что мальчик успел стать мужчиною. Из него вышел дельный человек на радость своим родителям. Он только что женился и переехал со своею молодою женой как раз в этот новый дом с садом.

Оба они были в саду; муж смотрел, как жена сажала на клумбу какой-то приглянувшийся ей полевой цветок. Вдруг молодая женщина вскрикнула:

– Ай! Что это?

Она укололась – из мягкой, рыхлой земли торчало что-то острое. Это был – да, подумайте! – оловянный солдатик,

тот самый, что пропал у старика, валялся в мусоре и наконец много-много лет пролежал в земле.

Молодая женщина обтерла солдатику сначала зеленым листком, а затем своим тонким носовым платком. Как чудесно пахло от него духами! Оловянный солдатик словно очнулся от обморока.

– Дай-ка мне посмотреть! – сказал молодой человек, засмеялся и покачал головой. – Ну, это, конечно, не тот самый, но он напоминает мне одну историю из моего детства!

И он рассказал своей жене о старом доме, о хозяине его и об оловянном солдатике, которого послал бедному одинокому старичку. Словом, он рассказал все, как было в действительности, и молодая женщина даже прослезилась, слушая его.

– А может быть, это и тот самый оловянный солдатик! – сказала она. – Я спрячу его на память. Но ты непременно покажи мне могилу старика!

– Я и сам не знаю, где она! – отвечал он. – Да и никто не знает! Все его друзья умерли раньше него, никому не было и дела до его могилы, я же в те времена был еще совсем маленьким мальчуганом.

– Как ужасно быть таким одиноким! – сказала она.

– Ужасно быть одиноким! – сказал оловянный солдатик. – Но какое счастье сознавать, что тебя не забыли!

– Счастье! – повторил чей-то голос совсем рядом, но никто не расслышал его, кроме оловянного солдатика.

Оказалось, что это говорил лоскуток свиной кожи, которую когда-то были обиты комнаты старого дома. Позолота с него вся сошла, и он был похож скорее на грязный комок земли, но у него был свой взгляд на вещи, и он высказал его:

Да, позолота-то сотрется,  
Свиная ж кожа остается!

Оловянный солдатик, однако, с этим не согласился.

# Капля воды

Вы, конечно, видали увеличительное стекло – круглое, выпуклое, через которое все вещи кажутся во сто раз больше, чем они на самом деле? Если через него поглядеть на каплю воды, взятую где-нибудь из пруда, то увидишь целые тысячи диковинных зверюшек, которых вообще никогда не видно в воде, хотя они там, конечно, есть. Смотришь на каплю такой воды, а перед тобой, ни дать ни взять, целая тарелка живых креветок, которые прыгают, копошатся, хлопочут, откусывают друг у друга то переднюю ножку, то заднюю, то тут уголок, то там кончик и при этом радуются и веселятся по-своему!

Жил-был один старик, которого все звали Копун Хлопотун, – такое уж у него было имя. Он вечно копался и хлопотал над всякою вещью, желая извлечь из нее все, что только вообще можно, а нельзя было достигнуть этого простым путем – прибегал к колдовству.

Вот сидит он раз да смотрит через увеличительное стекло на каплю воды, взятой прямо из лужи. Батюшки мои, как эти зверюшки копошились и хлопотали тут! Их были тысячи, и все они прыгали, скакали, кусались, щипались и пожирали друг друга.

– Но ведь это отвратительно! – вскричал старый Копун Хлопотун. – Нельзя ли их как-нибудь умиротворить, ввести

у них порядок, чтобы всякий знал свое место и свои права?

Думал-думал старик, а все ничего придумать не мог. Пришлось прибегнуть к колдовству.

– Надо их окрасить, чтобы они больше бросались в глаза! – сказал он и чуть капнул на них какою-то жидкостью, вроде красного вина; но это было не вино, а ведьмина кровь самого первого сорта. Все диковинные зверюшки вдруг приняли красноватый оттенок, и каплю воды можно было теперь принять за целый город, кишевший голыми дикарями.

– Что у тебя тут? – спросил старика другой колдун, без имени, – этим-то он как раз и отличался.

– А вот угадай! – отозвался Копун Хлопотун. – Угадаешь – я подарю тебе эту штуку. Но угадать не так-то легко, если не знаешь, в чем дело!

Колдун без имени поглядел в увеличительное стекло. Право, перед ним был целый город, кишевший людьми, но все они бегали нагишом! Ужас что такое! А еще ужаснее было то, что они немилосердно толкались, щипались, кусались и рвали друг друга в клочья! Кто был внизу – непременно выбивался наверх, кто был наверху – попадал вниз.

– Гляди, гляди! Вон у того нога длиннее моей! Долой ее! А вот у этого крошечная шишка за ухом, крошечная, невинная шишка, но ему от нее больно, так пусть будет еще больнее!

И они кусали беднягу, рвали на части и пожирали за то, что у него была крошечная шишка. Смотрят, кто-нибудь сидит себе смирно, как красная девица, никого не трогает,

лишь бы и его не трогали, так нет, давай его тормошить, таскать, теребить, пока от него не останется и следа!

– Ужасно забавно! – сказал колдун без имени.

– Ну, а что это такое, по-твоему? Можешь угадать? – спросил Копун Хлопотун.

– Тут и угадывать нечего! Сразу видно! – отвечал тот. – Это Копенгаген или другой какой-нибудь большой город, они все ведь похожи один на другой!.. Это большой город!

– Это капля воды из лужи! – промолвил Копун Хлопотун.

# История одной матери

Мать сидела у колыбели своего ребенка; как она горевала, как боялась, что он умрет! Лицо его совсем побледнело, глазки были закрыты, дышал он так слабо, а по временам тяжело-тяжело переводил дух, точно вздыхал...

И сердце матери сжималось еще сильнее при взгляде на маленького страдальца.

Вдруг в дверь постучали, и вошел бедный старик, закутанный во что-то вроде лошадиной попоны, – попона ведь греет, а ему того и надо было: стояла холодная зима, на дворе все было покрыто снегом и льдом, а ветер так и резал лицо.

Видя, что старик дрожит от холода, а дитя задремало на минуту, мать отошла от колыбели, чтобы налить для гостя в кружку пива и поставить его погреться в печку. Старик же в это время подсел к колыбели и стал покачивать ребенка. Мать опустилась на стул рядом, взглянула на больного ребенка, прислушалась к его тяжелому дыханию и взяла его за ручку.

– Ведь я не лишусь его, не правда ли? – сказала она. – Господь не отнимет его у меня!

Старик – это была сама Смерть – как-то странно кивнул головою; кивок этот мог означать и «да» и «нет». Мать опустила голову, и слезы потекли по ее щекам... Скоро голова ее отяжелела, – бедная не смыкала глаз вот уже три дня и три

ночи... Она забылась сном, но всего лишь на минуту; тут она опять встрепенулась и задрожала от холода.

– Что это!?! – воскликнула она, озираясь вокруг: старик исчез, а с ним и дитя; старик унес его.

В углу глухо шипели старые часы; тяжелая, свинцовая гиря дошла до полу... Бум! И часы остановились.

Бедная мать выбежала из дома и стала громко звать своего ребенка.

На снегу сидела женщина в длинном черном одеянии, она сказала матери:

– Смерть посетила твой дом, и я видела, как она скрылась с твоим малюткой. Она носится быстрее ветра и никогда не возвращает, что раз взяла!

– Скажи мне только, какую дорогой она пошла! – сказала мать. – Только укажи мне путь, и я найду ее!

– Я знаю, куда она пошла, но не скажу, пока ты не споешь мне всех песенок, которые певала своему малютке! – сказала женщина в черном. – Я очень люблю их. Я уже слышала их не раз, – я ведь Ночь и видела, как ты плакала, напевая их!..

– Я спою тебе их все, все! – отвечала мать. – Но не задерживай меня теперь, мне надо догнать Смерть, найти моего ребенка!

Ночь молчала, и мать, ломая руки и заливаясь слезами, запела. Много было спето песен – еще больше пролито слез. И вот Ночь промолвила:

– Ступай направо, прямо в темный сосновый бор; туда на-



правилась Смерть с твоим ребенком!

Дойдя до перекрестка в глубине бора, мать остановилась. Куда идти теперь? У самого перекрестка стоял голый терновый куст, без листьев, без цветов; была ведь холодная зима, и он почти весь обледел.

– Не проходила ли тут Смерть с моим ребенком?

– Проходила! – сказал терновый куст. – Но я не скажу, куда она пошла, пока ты не отогреешь меня на своей груди, у своего сердца. Я мерзну и скоро весь обледенею.

И она крепко прижала его к своей груди. Острые шипы глубоко вонзились ей в тело, и на груди ее выступили крупные капли крови... Зато терновый куст зазеленел и весь покрылся цветами, несмотря на холод зимней ночи, – так тепло у сердца скорбящей матери! И терновый куст указал ей дорогу.

Она привела мать к большому озеру; нигде не было видно ни корабля, ни лодки. Озеро было слегка затянуто льдом; лед этот не выдержал бы ее и в то же время он не позволял ей пуститься через озеро вброд; да и глубоко было! А ей все-таки надо было переправиться через него, если она хотела найти своего ребенка. И вот мать приникла к озеру, чтобы выпить его все до дна; это невозможно для человека, но несчастная мать верила в чудо.

– Нет, из этого толку не будет! – сказала озеро. – Давай-ка лучше сговоримся! Я собираю жемчужины, а таких ясных и чистых, как твои глаза, я еще и не видывало. Если ты со-

гласна выплакать их в меня, я перенесу тебя на тот берег, к большой теплице, где Смерть растит свои цветы и деревья: каждое растение – человеческая жизнь!

– О, чего я не отдам, чтобы только найти моего ребенка! – сказала плачущая мать, залилась слезами еще сильнее, и вот глаза ее упали на дно озера и превратились в две драгоценные жемчужины. Озеро же подхватило мать, и она одним взмахом, как на качелях, перенеслась на другой берег, где стоял огромный диковинный дом. И не разобрать было – гора ли это, обросшая кустарником и вся изрытая пещерами, или здание; бедная мать, впрочем, и вовсе не видела его, – она ведь выплакала свои глаза.

– Где же мне найти Смерть, похитившую моего ребенка? – проговорила она.

– Она еще не возвращалась! – отвечала старая садовница, присматривавшая за теплицей Смерти. – Но как ты нашла сюда дорогу, кто помог тебе?

– Господь Бог! – отвечала мать. – Он сжалился надо мною, сжался же и ты! Скажи, где мне искать моего ребенка?

– Да я ведь не знаю его! – сказала женщина. – А ты слепая! Сегодня в ночь завяло много цветов и деревьев, и Смерть скоро придет пересаживать их. Ты ведь знаешь, что у каждого человека есть свое дерево жизни или свой цветок, смотря по тому, каков он сам. С виду они совсем обыкновенные растения, но в каждом бьется сердце. Детское сердечко тоже бьется; обойди же все растения – может быть, ты и узнаешь

сердце своего ребенка. А теперь, что ж ты мне дашь, если я скажу тебе, как поступать дальше?

– Мне нечего дать тебе! – отвечала несчастная мать. – Но я готова пойти для тебя на край света!

– Ну, там мне нечего искать! – сказала женщина. – А ты вот отдай-ка мне свои длинные черные волосы. Ты сама знаешь, как они хороши, а я люблю хорошие волосы. Я дам тебе в обмен свои седые; это все же лучше, чем ничего!

– Только-то? – сказала мать. – Да я с радостью отдам тебе свои волосы!

И она отдала старухе свои прекрасные, черные волосы, получив в обмен седые.

Потом она вошла в огромную теплицу Смерти, где росли попеременно цветы и деревья; здесь цвели под стеклянными колпаками нежные гиацинты, там росли большие, пышные пионы, тут – водяные растения, одни свежие и здоровые, другие – полузачахшие, обвитые водяными змеями, стиснутые клешнями черных раков. Были здесь и великолепные пальмы, и дубы, и платаны; росли и петрушка и душистый тмин. У каждого дерева, у каждого цветка было свое имя; каждый цветок, каждое деревцо было человеческою жизнью, а сами-то люди были разбросаны по всему свету: кто жил в Китае, кто в Гренландии, кто где. Попадались тут и большие деревья, росшие в маленьких горшках; им было страшно тесно, и горшки чуть-чуть не лопались; зато было много и маленьких, жалких цветочков, росших в черноземе и об-

ложенных мхом, за ними, как видно, заботливо ухаживали, лелеяли их. Несчастливая мать наклонялась ко всякому, даже самому маленькому, цветочку, прислушиваясь к биению его сердечка, и среди миллионов узнала сердце своего ребенка!

– Вот он! – сказала она, протягивая руку к маленькому голубому крокусу, который печально свесил головку.

– Не трогай цветка! – сказала старуха. – Но стань возле него и, когда Смерть придет – я жду ее с минуты на минуту, – не давай ей высадить его, пригрози вырвать какие-нибудь другие цветы. Этого она испугается – она ведь отвечает за них перед Богом; ни один цветок не должен быть вырван без его воли.

Вдруг пахнуло ледящим холодом, и слепая мать догадалась, что явилась Смерть.

– Как ты нашла сюда дорогу? – спросила Смерть. – Как ты могла опередить меня?

– Я мать! – отвечала та.

И Смерть протянула было свою длинную руку к маленькому нежному цветочку, но мать быстро прикрыла его руками, стараясь не помять при этом ни единого лепестка. Тогда Смертьдохнула на ее руки; дыхание Смерти было холоднее северного ветра, и руки матери бессильно опустились.

– Не тебе тягаться со мною! – промолвила Смерть.

– Но Бог сильнее тебя! – сказала мать.

– Я ведь только исполняю его волю! – отвечала Смерть. – Я его садовник, беру его цветы и деревья и пересаживаю их

в великий Райский сад, в неведомую страну, но как они там растут, что делается в том саду – об этом я не смею сказать тебе!

– Отдай мне моего ребенка! – взмолилась мать, заливаясь слезами, а потом вдруг захватила руками два великолепных цветка и закричала: – Я повырву все твои цветы, я в отчаянии!

– Не трогай их! – сказала Смерть. – Ты говоришь, что ты несчастна, а сама хочешь сделать несчастною другую мать!..

– Другую мать! – повторила бедная женщина и сейчас же выпустила из рук цветы.

– Вот тебе твои глаза! – сказала Смерть. – Я выловила их из озера – они так ярко блестели там; но я и не знала, что это твои. Возьми их – они стали яснее прежнего – и взгляни вот сюда, в этот глубокий колодец! Я назову имена тех цветков, что ты хотела вырвать, и ты увидишь все их будущее, всю их земную жизнь. Посмотри же, что ты хотела уничтожить!

И мать взглянула в колодец: отрадно было видеть, каким благодеянием была для мира жизнь одного, сколько счастья и радости дарил он окружающим! Взглянула она и на жизнь другого – и увидела горе, нужду, отчаяние и бедствия!

– Обе доли – Божья воля! – сказала Смерть.

– Который же из двух – цветов несчастья и который – счастья? – спросила мать.

– Этого я не скажу! – отвечала Смерть. – Но знай, что в судьбе одного из них ты видела судьбу своего собственного

ребенка, все его будущее!

У матери вырвался крик ужаса.

– Какая же судьба ожидала моего ребенка? Скажи мне! Спаси невинного! Спаси мое дитя от всех этих бедствий! Лучше возьми его! Унеси его в царство Божье! Забудь мои слезы, мои мольбы, все, что я говорила и делала!

– Я не пойму тебя! – сказала Смерть. – Хочешь ты, чтобы я отдала тебе твое дитя или чтобы унесла его в неведомую страну?

Мать заломила руки, упала на колени и взмолилась Творцу:

– Не внемли мне, когда я прошу о чем-либо, несогласном с твоею всеблагою волей! Не внемли мне! Не внемли мне!

И она поникла головою...

А Смерть понесла ее ребенка в неведомую страну.

# Бузинная матушка

Один маленький мальчик раз простудился; где он промочил себе ноги – никто и понять не мог: погода стояла совсем сухая. Мать раздела его, уложила в постель и велела принести чайник, чтобы заварить бузинового чая – отличное потогонное! В это самое время в комнату вошел славный, веселый старичок, живший в верхнем этаже того же дома. Он был совсем одинок, не было у него ни жены, ни деток, а он так любил детей, умел рассказывать им такие чудесные сказки и истории, что просто чудо.

– Ну, вот, выпьешь свой чай, а потом, может быть, услышишь сказку! – сказала мать.

– То-то вот, если бы знать какую-нибудь новенькую! – отвечал старичок, ласково кивая головой. – Но где же это наш мальчуган промочил себе ноги?

– Да, вот где? – сказала мать. – Никто и понять не может!

– А сказка будет? – спросил мальчик.

– Сначала мне нужно знать, глубока ли водосточная канавка в переулке, где ваше училище? Можешь ты мне сказать это?

– Как раз мне по голенище! – отвечал мальчик. – Но это в самом глубоком месте!

– Вот отчего у нас и мокрые ноги! – сказал старичок. – Теперь следовало бы рассказать тебе сказку, да ни одной но-

вой не знаю!

– Вы сейчас же можете сочинить ее! – сказал мальчик. – Мама говорит, что вы на что ни взглянете, до чего ни дотронетесь, из всего у вас выходит сказка или история.

– Да, но такие сказки и истории никуда не годятся. Настоящие, те приходят сами! Придут и постучатся мне в лоб: «Вот я!»

– А скоро какая-нибудь постучится? – спросил мальчик. Мать засмеялась, засыпала в чайник бузинного чая и заварила.

– Ну, расскажите же! Расскажите какую-нибудь!

– Да, вот если бы пришла сама! Но они важные, приходят только, когда им самим вздумается! Стой, – сказал он вдруг. – Вот она! Гляди на чайник!

Мальчик посмотрел; крышка чайника начала приподыматься, и из-под нее выглянули свежие беленькие цветочки бузины, затем выросли и длинные зеленые ветви. Они росли даже из носика чайника, и скоро перед мальчиком был целый куст; ветви тянулись к самой постели и раздвигали занавески. Как славно цвела и благоухала бузина! Из зелени ее выглядывало ласковое лицо старушки, одетой в какое-то удивительное платье, зеленое, как листья бузины, и все усеянное белыми цветочками. Сразу даже не разобрать было – платье ли это, или просто зелень и живые цветочки бузины.

– Что это за старушка? – спросил мальчик.

– Римляне и греки звали ее Дриадой! – сказал старичок. –



Но для нас это слишком мудреное имя, и в Новой слободке ей дали прозвище получше: Бузинная матушка. Смотри же на нее хорошенько да слушай, что я буду рассказывать!

Такой же точно большой, покрытый цветами куст рос в углу одного бедного дворика в Новой слободке. Под кустом сидели в послеобеденный час и грелись на солнышке старичок со старушкой: старый отставной матрос и его жена. Старички были богаты детьми, внуками и правнуками и скоро должны были отпраздновать свою золотую свадьбу, да только не помнили хорошенько дня и числа. Из зелени глядела на них Бузинная матушка, такая же славная и приветливая, как вот эта, и говорила: «Я-то знаю день вашей золотой свадьбы!» Но старики были заняты разговором – они вспоминали старину – и не слышали ее.

– Да, помнишь, – сказал старый матрос, – как мы бегали и играли с тобой детьми! Вот тут, на этом самом дворе, мы сажали садик! Помнишь, втыкали в землю прутики и веточки?

– Да, да! – подхватила старушка. – Помню, помню! Мы усердно поливали эти веточки; одна из них была бузинная, пустила корни, ростки и вот как разрослась! Мы, старички, можем теперь сидеть в ее тени!

– Правда! – продолжал муж. – А вон в том углу стоял чан с водою. Там мы спускали в воду мой кораблик, который я сам вырезал из дерева. Как он плавал! А скоро мне пришлось пуститься и в настоящее плавание!

– Да, но прежде еще мы ходили в школу и кое-чему на-

учились! – перебила старушка. – А потом нас подтвермили. Мы оба прослезились тогда!.. А потом взялись за руки и пошли осматривать Круглую башню, взбирались на самый верх и любовались оттуда городом и морем. После же мы отправились в Фредриксберг и смотрели, как катались по каналам в своей великолепной лодке король с королевой.

– Да, и скоро мне пришлось пуститься в настоящее плавание! Много, много лет провел я вдали от родины!

– Сколько слез я пролила! Мне уж думалось, что ты умер и лежишь на дне морском! Сколько раз вставала я по ночам посмотреть, вертится ли флюгер. Флюгер-то вертелся, а ты все не приезжал! Я отлично помню, как раз, в самый ливень, во двор к нам приехал мусорщик. Я жила там в прислугах и вышла с мусорным ящиком, да остановилась в дверях. Погода-то была ужасная! В это самое время пришел почтальон и подал мне письмо от тебя. Пришлось же этому письму прогуляться по белу свету! Как я схватила его!.. И сейчас же принялась читать. Я смеялась и плакала зараз... Я была так рада. В письме говорилось, что ты теперь в теплых краях, где растет кофе! Вот-то, должно быть, благословенная страна! Ты много еще о чем рассказывал в своем письме, и я все это словно видела перед собою. Дождь так и поливал, а я все стояла в дверях с мусорным ящиком. Вдруг кто-то обнял меня за талию...

– Да, и ты закатила ему такую звонкую пощечину, что любо!

– Ведь я же не знала, что это ты! Ты догнал свое письмо! Какой ты был бравый, красивый, да ты и теперь все такой же! Из кармана у тебя торчал желтый шелковый платок, а на голове красовалась клеенчатая шляпа. Такой щеголь! Но что за погодка стояла, и на что была похожа наша улица!

– Потом мы поженились! – продолжал старый матрос. – Помнишь? А там пошли у нас детки: первый мальчуган, потом Мари, Нильс, Петер и Ганс Христиан!

– Как все они повзросли и какими стали славными людьми! Все их любят!

– Теперь уж и у их детей есть дети! – сказал старичок. – И какие крепыши наши правнуки!.. Сдается мне, что наша свадьба была как раз в эту пору.

– Как раз сегодня! – сказала Бужинная матушка и просушила голову между старичками, но те подумали, что это кивает им головой соседка. Они сидели рука в руку и любовно смотрели друг на друга. Немного погодя пришли к ним дети и внучата. Они-то отлично знали, что сегодня день золотой свадьбы стариков, и уже поздравляли их утром, но старички успели позабыть об этом, хотя отлично помнили все, что случилось много, много лет тому назад. Бузина так и благоухала, солнышко садилось и светило на прощанье старичкам прямо в лицо, разрумянивая их щеки. Младший из внуков плясал вокруг дедушки с бабушкой и радостно кричал, что сегодня вечером у них будет пир: за ужином подадут горячий картофель! Бужинная матушка кивала головой и крича-

ла «ура» вместе со всеми.

— Да ведь это вовсе не сказка! — сказал мальчуган, когда рассказчик остановился.

— Это ты так говоришь, — отвечал старичок, — а вот спроси-ка Бuzинную матушку!

— Это не сказка! — отвечала Бuzинная матушка. — Но сейчас начнется и сказка! Из действительности-то и вырастают чудеснейшие сказки. Иначе бы мой благоухающий куст не вырос бы из чайника.

С этими словами она взяла мальчика на руки; ветви бузины, покрытые цветами, вдруг сдвинулись, и мальчик со старушкой очутились словно в густой беседке, которая понеслась с ними по воздуху. Вот было хорошо! Бuzинная матушка превратилась в маленькую прелестную девочку, но платья на ней осталось то же — зеленое, все усеянное белыми цветочками. На груди девочки красовался живой бuzинный цветочек, на светло-русых кудрях — целый венок из тех же цветов. Глаза у нее были большие, голубые. Ах, она была такая хорошенькая, что просто загляденье! Мальчик поцеловался с девочкой, и оба стали одного возраста, одних мыслей и чувств.

Рука об руку вышли они из беседки и очутились в саду перед домом. На зеленой лужайке стояла прислоненная к дереву тросточка отца. Для детей и тросточка была живая; сидело сесть на нее верхом, и блестящий набалдашник стал великолепной лошадиной головой с длинной развевающейся

гровкой; затем выросли четыре тонкие крепкие ноги, и горячий конь помчал детей вокруг лужайки.

— Теперь мы поскачем далеко-далеко! — сказал мальчик. — В барскую усадьбу, где мы были в прошлом году!

И дети скакали вокруг лужайки, а девочка — мы ведь знаем, что это была сама Бузинная матушка, — приговаривала:

— Ну, вот мы и за городом! Видишь крестьянские домики? Огромные хлебные печи выступают из стен, словно какие-то исполинские яйца! Над домами раскинула свои ветви бузина. Вот бродит по двору петух! Знай себе разгребает сор и выискивает корм для кур! Гляди, как он важно выступает!.. А вот мы и на высоком холме, у церкви! Какие славные развесистые дубы растут вокруг нее! Один из них наполовину вылез из земли с корнями!.. Вот мы у кузницы! Гляди, как ярко пылает огонь, как работают тяжелыми молотами полунегие люди! Искры сыплются дождем!.. Но дальше, дальше, в барскую усадьбу!

И все, что ни называла девочка, сидевшая верхом на палке позади мальчика, мелькало перед их глазами. Мальчик видел все это, а между тем они только кружились по лужайке. Потом они отправились в боковую аллею и стали там устраивать себе маленький садик. Девочка вынула из своего венка один бузинный цветочек и посадила его в землю; он пустил корни и ростки и скоро вырос большой куст бузины, точь-в-точь как у старичков в Новой слободке, когда они были еще детьми. Мальчик с девочкой взялись за руки и тоже

пошли гулять, но отправились не на Круглую башню и не в Фредриксбергский сад; нет, девочка крепко обняла мальчика, поднялась с ним на воздух, и они полетели над Данией. Весна сменялась летом, лето – осенью и осень – зимою; тысячи картин отражались в глазах и запечатлевались в сердце мальчика, а девочка все приговаривала:

– Этого ты не забудешь никогда!

А бузина благоухала так сладко, так чудно! Мальчик вдыхал и аромат роз, и запах свежих буков, но бузина пахла всего сильнее, – ведь ее цветочки красовались у девочки на груди, а к ней он так часто склонялся головою.

– Как чудесно здесь весною! – сказала девочка, и они очутились в свежем, зеленом буковом лесу; у их ног цвела душистая белая буквица, из травки выглядывали прелестные бледно-розовые анемоны. – О, если бы вечно царила весна в благоухающих датских лесах!

– Как хорошо здесь летом! – сказала она, и они пронесли мимо старой барской усадьбы с древним рыцарским замком; красные стены и фронтоны отражались в прудах; по ним плавали лебеди, заглядывая в темные, прохладные аллеи сада. Нивы волновались, точно море, во рвах пестрели красненькие и желтенькие полевые цветочки, по изгородям вился дикий хмель и цветущий выюнок. А вечером высоко взошла круглая ясная луна, а с лугов понесся сладкий аромат свежего сена! – Это не забудется никогда!

– Как чудно здесь осенью! – снова говорила девочка, и

свод небесный вдруг стал вдвое выше и синее. Леса запестрели красными, желтыми и еще зелеными листьями. Охотничьи собаки вырвались на волю! Целые стаи дичи с криком полетели над курганами, где лежат старые камни, обросшие ежевикой. На темно-синем море забелели паруса, а старухи, девушки и дети чистили хмель и бросали его в большие чаны. Молодежь распевала старинные песни, а старухи рассказывали сказки про троллей и домовых. – Лучше не может быть нигде!

– А как хорошо здесь зимою! – говорила она затем, и все деревья покрылись инеем; ветви их превратились в белые кораллы. Снег захрустел под ногами, точно у всех были надеты новые сапоги, а с неба посыпались, одна за другою, падучие звездочки. В домах зажглись елки, обвешанные подарками; все люди радовались и веселились. В деревнях, в крестьянских домиках не умолкали скрипки, летели в воздух яблочные пышки. Даже самые бедные дети говорили: «Как хорошо зимою!»

Да, хорошо! Девочка показывала все это мальчику, и повсюду благоухала бузина, повсюду развевался красный флаг с белым крестом, флаг, под которым плавал старый матрос из Новой слободки. И вот мальчик стал юношею, и ему тоже пришлось отправиться в дальнее плавание в теплые края, где растет кофе. На прощанье девочка дала ему цветок с своей груди, и он спрятал его в псалтырь. Часто вспоминал он на чужбине свою родину и раскрывал книгу – всегда на том са-

мом месте, где лежал цветочек, данный ему на память! И чем больше юноша смотрел на цветок, тем свежее тот становился и сильнее пахнул, а юноше казалось, что до него доносится аромат датских лесов. В лепестках же цветка ему чудилось личико голубоглазой девочки; он как будто слышал ее шепот: «Как хорошо тут весной, летом, осенью и зимою!» И сотни картин проносились в его памяти.

Так прошло много лет; он состарился и сидел со своею старушкой женой под цветущим кустом бузины. Они держались за руки и говорили о былых днях и о своей золотой свадьбе, точь-в-точь как их прадед и прабабушка из Новой слободки. Голубоглазая девочка с бузинными цветочками в волосах и на груди сидела в ветвях бузины, кивала им головой и говорила: «Сегодня ваша золотая свадьба!» Потом она вынула из своего венка два цветочка, поцеловала их, и они заблестели сначала как серебряные, а потом как золотые. Когда же девочка возложила их на головы старичков, цветы превратились в короны, и муж с женой сидели под цветущим, благоухающим кустом, словно король с королевой.

И вот старик пересказал жене историю о Бузинной матушке, как сам слышал ее в детстве, и обоим казалось, что в той истории было так много похожего на историю их собственной жизни. И как раз то, что было в ней похожего, больше всего и нравилось им.

— Да, так-то! — сказала девочка, сидевшая в зелени. — Кто зовет меня Бузинной матушкой, кто Дриадой, а настоя-



щее-то мое имя Воспоминание. Я сижу на дереве, которое все растет и растет; я помню все и умею рассказывать обо всем! Покажи-ка, цел ли еще у тебя мой цветочек?

И старик раскрыл псалтырь: бузинный цветочек лежал такой свежий, точно его сейчас только вложили туда! Воспоминание дружески кивало старичкам, а те сидели в золотых коронах, освещенные пурпурным вечерним солнцем. Глаза их закрылись и, и... да тут и сказке конец!

Мальчик лежал в постели и сам не знал, видел ли он все это во сне или только слушал сказку. Чайник стоял на столе, но из него не росла бузина, а старичок уже собирался уходить и скоро ушел.

– Какая прелесть! – сказал мальчик. – Мама, я побывал в теплых краях!

– Верю, верю! – сказала мать. – После двух таких чашек крепкого бузиноного чая не мудрено побывать в теплых краях! – И она хорошенько укутала его, чтобы он не простудился. – Ты таки славно поспал, пока мы со старичком сидели да спорили о том, сказка это или быль!

– А где же Бузинная матушка? – спросил мальчик.

– В чайнике! – ответила мать. – И пусть себе там останется!

# Лен

Лен цвел чудесными голубенькими цветочками, мягкими и нежными, как крылья мотыльков, даже еще нежнее! Солнце ласкало его, дождь поливал, и льну это было так же полезно и приятно, как маленьким детям, когда мать сначала умоет их, а потом поцелует, дети от этого хорошеют, хорошошел и лен.

– Все говорят, что я уродился на славу! – сказал лен. – Говорят, что я еще вытянусь, и потом из меня выйдет отличный кусок холста! Ах, какой я счастливый! Право, я счастливее всех! Это так приятно, что и я пригожусь на что-нибудь! Солнышко меня веселит и оживляет, дождичек питает и освежает! Ах, я так счастлив, так счастлив! Я счастливее всех!

– Да, да, да! – сказали колья изгороди. – Ты еще не знаешь света, а мы так вот знаем, – вишь, какие мы сучковатые!

И они жалобно заскрипели:

Оглянуться не успеешь,  
Как уж песенке конец!

– Вовсе не конец! – сказал лен. – И завтра опять будет греть солнышко, опять пойдет дождик! Я чувствую, что расту и цвету! Я счастливее всех на свете!

Но вот раз явились люди, схватили лен за макушку и вырвали с корнем. Больно было! Потом его положили в воду, словно собирались утопить, а после того держали над огнем, будто хотели изжарить. Ужас что такое!

– Не вечно же нам жить в свое удовольствие! – сказал лен. – Приходится и потерпеть. Зато поумнеешь!

Но льну приходилось уж очень плохо. Чего-чего только с ним не делали: и мяли, и тискали, и трепали, и чесали – да просто всего и не упомнишь! Наконец он очутился на прялке. Жжж! Тут уж поневоле все мысли вразброд пошли!

«Я ведь так долго был несказанно счастлив! – думал он во время этих мучений. – Что ж, надо быть благодарным и за то хорошее, что выпало нам на долю! Да, надо, надо!.. Ох!»

И он повторял то же самое, даже попав на ткацкий станок. Но вот наконец из него вышел большой кусок великолепно-го холста. Весь лен до последнего стебелька пошел на этот кусок.

– Но ведь это же бесподобно! Вот уж не думал, не гадал-то! Как мне, однако, везет! А колья-то все твердили: «Оглянуться не успеешь, как уж песенке конец!» Много они смыслили, нечего сказать! Песенке вовсе не конец! Она только теперь и начинается. Вот счастье-то! Да, если мне и пришлось пострадать немножко, то зато теперь из меня и вышло кое-что. Нет, я счастливее всех на свете! Какой я теперь крепкий, мягкий, белый и длинный! Это небось лучше, чем просто расти или даже цвести в поле! Там никто за

мною не ухаживал, воду я только и видал, что в дождик, а теперь ко мне приставили прислугу, каждое утро меня переворачивают на другой бок, каждый вечер поливают из лейки! Сама пасторша держала надо мною речь и сказала, что во всем околотке не найдется лучшего куска! Ну, можно ли быть счастливее меня!

Холст взяли в дом, и он попал под ножницы. Ну, и досталось же ему! Его и резали, и кроили, и кололи иголками – да, да! Нельзя сказать, чтобы это было приятно! Зато из холста вышло двенадцать пар... таких принадлежностей туалета, которые не принято называть в обществе, но в которых все нуждаются. Целых двенадцать пар вышло!

– Так вот когда только из меня вышло кое-что! Вот какво было мое назначение! Да ведь это же просто благодать! Теперь и я приношу пользу миру, а в этом ведь вся и суть, в этом-то вся и радость жизни! Нас двенадцать пар, но все же мы одно целое, мы – дюжина! Вот так счастье!

Прошли года, и белье изнашивалось.

– Всему на свете бывает конец! – сказала оно. – Я бы и радо было послужить еще, но невозможное – невозможно!

И вот белье разорвали на тряпки. Они было уже думали, что им совсем пришел конец, так их принялись рубить, мять, варить, тискать... Ан глядь – они превратились в тонкую белую бумагу!

– Нет, вот сюрприз так сюрприз! – сказала бумага. – Теперь я тоньше прежнего, и на мне можно писать. Чего только

на мне не напишут! Какое счастье!

И на ней написали чудеснейшие рассказы. Слушая их, люди становились добрее и умнее, — так хорошо и умно они были написаны. Какое счастье, что люди смогли их прочесть!

— Ну, этого мне и во сне не снилось, когда я цвела в поле голубенькими цветочками! — говорила бумага. — И могла ли я в то время думать, что мне выпадет на долю счастье нести людям радость и знания! Я все еще не могу прийти в себя от счастья! Самой себе не верю! Но ведь это так! Господь Бог знает, что сама я тут ни при чем, я старалась только по мере слабых сил своих не даром занимать место! И вот он ведет меня от одной радости и почести к другой! Всякий раз, как я подумаю: «Ну, вот и песенке конец», — тут-то как раз и начинается для меня новая, еще высшая, лучшая жизнь! Теперь я думаю отправиться в путь-дорогу, обойти весь свет, чтобы все люди могли прочесть написанное на мне! Так ведь и должно быть! Прежде у меня были голубенькие цветочки, теперь каждый цветочек расцвел прекраснейшею мыслью! Счастливее меня нет никого на свете!

Но бумага не отправилась в путешествие, а попала в типографию, и все, что на ней было написано, перепечатали в книгу, да не в одну, а в сотни, тысячи книг. Они могли принести пользу и доставить удовольствие бесконечно большому числу людей, нежели одна та бумага, на которой были написаны рассказы: бегая по белу свету, она бы истрепалась на полпути.

«Да, конечно, так дело-то будет вернее! – подумала испи-  
санная бумага. – Этого мне и в голову не приходило! Я оста-  
нусь дома отдыхать, и меня будут почитать, как старую ба-  
бушку! На мне ведь все написано, слова стекали с пера пря-  
мо на меня! Я останусь, а книги будут бегать по белу свету!  
Вот это дело! Нет, как я счастлива, как я счастлива!

Тут все отдельные листы бумаги собрали, связали вместе  
и положили на полку.

– Ну, можно теперь и опочить на лаврах! – сказала бума-  
га. – Не мешает тоже собраться с мыслями и сосредоточить-  
ся! Теперь только я поняла как следует, что во мне есть! А  
познать себя самое – большой шаг вперед. Но что же будет  
со мной потом? Одно я знаю – что непременно двинусь впе-  
ред! Все на свете постоянно идет вперед, к совершенству.

В один прекрасный день бумагу взяли да и сунули в плиту;  
ее решили сжечь, так как ее нельзя было продать в мелочную  
лавочку на обертку масла и сахара.

Дети обступили плиту; им хотелось посмотреть, как бума-  
га вспыхнет и как потом по золе начнут перебегать и поту-  
хать одна за другою шаловливые, блестящие искорки! Точь-  
в-точь ребятишки бегут домой из школы! После всех выхо-  
дит учитель – это последняя искра. Но иногда думают, что  
он уже вышел – ан нет! Он выходит еще много времени спу-  
стя после самого последнего школьника!

И вот огонь охватил бумагу. Как она вспыхнула!

– Уф! – сказала она и в ту же минуту превратилась в столб

пламени, которое взвилось в воздух высоко-высоко, лен никогда не мог поднять так высоко своих голубеньких цветочных головок, и пламя сияло таким ослепительным блеском, каким никогда не сиял белый холст. Написанные на бумаге буквы в одно мгновение зарделись, и все слова и мысли обратились в пламя!

– Теперь я взовьюсь прямо к солнцу! – сказала пламя, словно тысячами голосов зараз, и взвилось в трубу. А в воздухе запорхали крошечные незримые существа, легче, воздушнее пламени, из которого родились. Их было столько же, сколько когда-то было цветочков на льне. Когда пламя погасло, они еще раз проплясали по черной золе, оставляя на ней блестящие следы в виде золотых искорок. Ребятишки выбежали из школы, за ними вышел и учитель; любо было поглядеть на них! И дети запели над мертвою золой:

Оглянуться не успеешь,  
Как уж песенке конец!

Но незримые крошечные существа говорили:  
– Песенка никогда не кончается – вот что самое чудесное! Мы знаем это, и потому мы счастливее всех!

Но дети не расслышали ни одного слова, а если б и расслышали, – не поняли бы. Да и не надо! Не все же знать детям!

# История года

Дело было в конце января; бушевала страшная метель; снежные вихри носились по улицам и переулкам; снег залеплял окна домов, валился с крыш комьями, а ветер так и подгонял прохожих. Они бежали, летели стремглав, пока не попадали друг другу в объятия и не останавливались на минуту, крепко держась один за другого. Экипажи и лошади были точно напудрены; лакеи стояли на запятках спиною к экипажам и к ветру, а пешеходы старались держаться за ветром под прикрытием карет, едва тащившихся по глубокому снегу. Когда же наконец метель утихла и вдоль домов прочистили узенькие дорожки, прохожие беспрестанно сталкивались и останавливались друг перед другом в выжидательных позах: никому не хотелось первому шагнуть в снежный сугроб, уступая дорогу другому. Но вот, словно по безмолвному соглашению, каждый жертвовал одною ногой, опуская ее в снег.

К вечеру погода совсем стихла; небо стало таким ясным, чистым, точно его вымели, и казалось даже как-то выше и прозрачнее, а звездочки, словно вычищенные заново, сияли и искрились голубоватыми огоньками. Мороз так и трещал, и к утру верхний слой снега настолько окреп, что воробьи прыгали по нему, не проваливаясь. Они шмыгали из сугроба в сугроб, прыгали и по прочищенным тропинкам, но ни



тут, ни там не попадалось ничего съедобного. Воробышки порядком иззябли.

– Пип! – говорили они между собою. – И это Новый год!? Да он хуже старого! Не стоило и менять! Нет, мы недовольны, и не без причины!

– А люди-то, люди-то, что шуму наделали, встречая Новый год! – сказал маленький иззябший воробышек. – И стреляли, и глиняные горшки о двери разбивали, ну, словом, себя не помнили от радости – и все оттого, что старому году пришел конец! Я было тоже обрадовался, думал, что вот теперь наступит тепло; не тут-то было! Морозит еще пуще прежнего! Люди, видно, сбились с толку и перепутали времена года!

– И впрямь! – подхватил третий, старый воробей с седым хохолком. – У них ведь имеется такая штука – собственно-го их изобретения – календарь, как они зовут ее, и вот они воображают, что все на свете должно идти по этому календарю! Как бы не так! Вот придет весна, тогда и наступит Новый год, а никак не раньше, так уж раз навсегда заведено в природе, и я придерживаюсь этого счисления.

– А когда же придет весна? – спросили другие воробьи.

– Она придет, когда прилетит первый аист. Но он не особенно-то аккуратен, и трудно рассчитать заранее, когда именно он прилетит! Впрочем, уж если вообще разузнавать об этом, то не здесь, в городе – тут никто ничего не знает толком, – а в деревне! Полетим-ка туда дожидаться весны!

Туда она все-таки скорее придет!

– Все это прекрасно! – сказала воробыха, которая давно вертелась тут же и чирикала, но в разговор не вступала. – Одно вот только: здесь, в городе, я привыкла к некоторым удобствам, а найду ли я их в деревне – не знаю! Тут есть одна человеческая семья; ей пришла разумная мысль – прибить к стене три-четыре пустых горшка из-под цветов. Верхним краем они плотно прилегают к стене, дно же обращено наружу, и в нем есть маленькое отверстие, через которое я свободно влетаю и вылетаю. Там-то мы с мужем и устроили себе гнездо, оттуда повывлетели и все наши птенчики. Понятное дело, люди устроили все это для собственного удовольствия, чтобы полюбоваться нами; иначе бы они и пальцем не шевельнули! Они бросают нам хлебные крошки, – тоже ради своего удовольствия, – ну, а нам-то все-таки корм! Таким образом, мы здесь до некоторой степени обеспечены, и я думаю, что мы с мужем останемся здесь! Мы тоже очень недовольны, но все-таки останемся.

– А мы полетим в деревню – поглядеть, не идет ли весна! – сказали другие и улетели.

В деревне стояла настоящая зима, и было, пожалуй, еще холоднее, чем в городе. Резкий ветер носился над снежными полями. Крестьянин в больших теплых рукавицах ехал на санях, похлопывая руками, чтобы выколотить из них мороз; кнут лежал у него на коленях, но исхудалые лошади бежали рысью; пар так и валил от них. Снег скрипел под полозьями,

а воробьи прыгали по санным колеям и мерзли.

– Пип! Когда же придет весна? Зима тянется что-то уж больно долго!

– Больно долго! – слышалось с высокого холма, занесенного снегом, и эхом прокатилось по полям. Может статья, это и было только эхо, а может быть, и голос диковинного старика, сидевшего на холме на куче сена. Старик был бел как лунь – с белыми волосами и бородою, и одет во что-то вроде белого крестьянского тулупа. На бледном лице его так и горели большие светлые глаза.

– Что это за старик? – спросили воробьи.

– Я знаю его! – сказал старый ворон, сидевший на плетне. Он снисходительно признавал, что «все мы – мелкие птички перед Творцом», и потому благосклонно взялся разъяснить воробьям их недоумение.

– Я знаю, кто он. Это Зима, старый прошлогодний повелитель. Он вовсе не умер еще, как говорит календарь, и назначен регентом до появления молодого принца, Весны. Да, Зима еще правит у нас царством! У! Что, продрогли небось, малыши?

– Ну, не говорил ли я, – сказал самый маленький воробышек, – что календарь – пустая человечья выдумка! Он совсем не приноровлен к природе. Да и разве у людей есть какое-нибудь чутье? Уж предоставили бы они распределять времена года нам – мы потоньше, почувствительнее их созданы!

Прошла неделя, другая. Лес уже почернел, лед на озере

стал походить на застывший свинец, облака... нет, какие там облака?! Сплошной туман окутал всю землю. Большие черные вороны летали стаями, но молча; все в природе словно погрузилось в тяжелый сон. Но вот по озеру скользнул солнечный луч, и лед заблестел, как расплавленное олово. Снежный покров на полях и на холмах уже потерял свой блеск, но белая фигура старика Зимы сидела еще на прежнем месте, устремив взор к югу. Он и не замечал, что снежная пелена все уходила в землю, что там и сям проглянули клочки зеленого дерна, на которых толклись кучи воробьев.

– Кви-вит! Кви-вит! Уж не весна ли?

– Весна! – прокатилось эхом над полями и лугами, пробежало по темно-бурым лесам, где стволы старых деревьев оделись уже свежим, зеленым мхом. И вот с юга показалась первая пара аистов. У каждого на спине сидело по прелестному ребенку: у одного – мальчик, у другого – девочка. Ступив на землю, дети поцеловали ее и пошли рука об руку, а по следам их расцветали прямо на снегу белые цветочки. Дети подошли к старику Зиме и прильнули к его груди. В то же мгновение все трое, а с ними и вся местность, исчезли в облаке густого, влажного тумана. Немного погодя подул ветер и разом разогнал туман; просияло солнышко – Зима исчезла, и на троне природы сидели прелестные дети Весны.

– Вот это так Новый год! – сказали воробьи. – Теперь, надо полагать, нас вознаградят за все зимние невзгоды!

Куда ни оборачивались дети – всюду кусты и деревья по-

крывались зелеными почками, трава росла все выше и выше, хлеба зеленели ярче. Девочка так и сыпала на землю цветами; у нее в переднике было так много цветов, что, как она ни торопилась разбрасывать их, передник все был полнехонек. В порыве резвости девочка брызнула на яблони и персиковые деревья настоящим цветочным дождем, и деревца стояли в полном цвету, даже не успев еще как следует одеться зеленым.

Девочка захлопала в ладоши, захлопал и мальчик, и вот, откуда ни возьмись, налетели, с пением и щебетанием, стаи птичек: «Весна пришла!»

Любо было посмотреть кругом! То из одной, то из другой избушки выползали за порог старые бабушки, поразмять на солнышке свои косточки и полюбоваться на желтые цветочки, золотившие луг точь-в-точь как и в дни далекой юности старушек. Да, мир вновь помолодел, и они говорили: «Что за благодатный денек сегодня!»

Но лес все еще оставался буро-зеленым, на деревьях не было еще листьев, а одни почки; зато на лесных полянах благоухал уже молоденький дикий яминник, цвели фиалки и анемоны. Все былинки налились живительным соком; по земле раскинулся пышный зеленый ковер, и на нем сидела молодая парочка, держась за руки. Дети Весны пели, улыбались и все росли да росли.

Теплый дождичек накрапывал с неба, но они и не замечали его: дождевые капли смешивались со слезами радости

жениха и невесты. Юная парочка поцеловалась, и в ту же минуту лес оделся зеленью. Встало солнышко – все деревья стояли в роскошном лиственном уборе.

Рука об руку двинулись жених с невестой под этот свежий густой навес, где зелень отливала, благодаря игре света и теней, тысячами различных оттенков. Девственно чистая, нежная листва распространяла живительный аромат, звонко и весело журчали ручейки и речки, пробираясь между бархатисто-зеленой осокой и пестрыми камушками. «Так было, есть и будет во веки веков!» – говорила вся природа. Чу! Закуковала кукушка, зазвенела песня жаворонка! Весна была в полном разгаре; только ивы все еще не снимали со своих цветочков пуховых рукавичек; такие уж они осторожные – просто скучно!

Дни шли за днями, недели за неделями, землю так и обдавало теплом; волны горячего воздуха проникали в хлебные колосья, и они стали желтеть. Белый лотос севера раскинул по зеркальной глади лесных озер свои широкие зеленые листья, и рыбки прятались под их тенью. На солнечной стороне леса, за ветром, возле облитой солнцем стены крестьянского домика, где пышно расцветали под жгучими ласками солнечных лучей роскошные розы и росли вишневые деревья, осыпанные сочными, черными, горячими ягодами, сидела прекрасная жена Лета, которую мы видели сначала девочкой, а потом невестой. Она смотрела на темные облака, громоздившиеся друг на друга высокими черно-синими,

угрюмыми горами; они надвигались с трех сторон и наконец нависли над лесом, как окаменелое, опрокинутое вверх дном море. В лесу все затихло, словно по мановению волшебного жезла; прилегли ветерки, замолкли пташки, вся природа замерла в торжественном ожидании, а по дороге и по тропинкам неслись сломя голову люди в телегах, верхом и пешком, — все спешили укрыться от грозы. Вдруг блеснул ослепительный луч света, словно солнце на миг прорвало тучи, затем вновь воцарилась тьма и прокатился глухой раскат грома. Вода хлынула с неба потоками. Тьма и свет, тишина и громовые раскаты сменяли друг друга. По молодому тростнику, с коричневыми султанами на головках, так и ходили от ветра волны за волнами; ветви деревьев совсем скрылись за частой дождевою сеткою; свет и тьма, тишина и громовые удары чередовались ежеминутно. Трава и колосья лежали пластом; казалось, они уже никогда не в силах будут подняться. Но вот ливень перешел в крупный, редкий дождь, выглянуло солнышко, и на былинках и листьях засверкали крупные перлы; запели птички, заплескались в воде рыбки, заплясали комары. На камне, что высовывался у самого берега из соленой морской пены, сидело и грелось на солнышке Лето, могучий, крепкий, мускулистый муж. С кудрей его стекали целые потоки воды, и он смотрел таким освеженным, словно помолодевшим после холодного купанья. Помолодела, освежилась и вся природа, все вокруг цвело с небывалою пышностью, силой и красотой! Наступило лето, теплое, бла-

годатное лето!

От густо взошедшего на поле клевера струился сладкий живительный аромат, и пчелы жужжали над местом древних собраний. Жертвенный камень, омытый дождем, ярко блестел на солнце; цепкие побеги ежевики одели его густою бахромой. К нему подлетела царица пчел со своим роем; они возложили на жертвенник плоды от трудов своих – воск и мед. Никто не видал жертвоприношения, кроме самого Лета и его полной жизненных сил подруги; для них-то и были уготованы жертвенные дары природы.

Вечернее небо сияло золотом; никакой церковный купол не мог сравниться с ним: от вечерней и до утренней зари сиял месяц. На дворе стояло лето.

И дни шли за днями, недели за неделями. На полях засверкали блестящие косы и серпы, ветви яблонь согнулись под тяжестью красных и золотистых плодов. Душистый хмель висел крупными кистями. В тени орешника, осыпанного орехами, сидевшими в зеленых гнездышках, отдыхали муж с женою – Лето со своею серьезною, задумчивою подругою.

– Что за роскошь! – сказала она. – Что за благодать, куда ни поглядишь! Как хорошо, как уютно на земле, и все-таки – сама не знаю почему – я жажду... покоя, отдыха... Других слов подобрать не могу! А люди уж снова вспахивают поля! Они вечно стремятся добыть себе больше и больше!.. Вон аисты ходят по бороздам вслед за плугом... Это



они, египетские птицы, принесли нас сюда! Помнишь, как мы прилетели сюда, на север, детьми?.. Мы принесли с собой цветы, солнечный свет и зеленую листву! А теперь... ветер почти всю ее оборвал, деревья побурели, потемнели и стали похожи на деревья юга; только нет на них золотых плодов, какие растут там!

– Тебе хочется видеть золотые плоды? – сказала Лето. – Любуйся! – Он махнул рукою – и леса запестрели красноватыми и золотистыми листьями. Вот было великолепие! На кустах шиповника засияли огненно-красные плоды, ветви бузины покрылись крупными темно-красными ягодами, спелые дикие каштаны сами выпадали из темно-зеленых гнезд, а в лесу снова зацвели фиалки.

Но царица года становилась все молчаливее и бледнее.

– Повеяло холодом! – говорила она. – По ночам встают сырые туманы. Я тоскую по нашей родине!

И она смотрела вслед улетающим на юг аистам и протягивала к ним руки. Потом она заглянула в их опустевшие гнезда; в одном вырос стройный василек, в другом – желтая сурепка, словно гнезда только для того и были свиты, чтобы служить им оградою! Залетели туда и воробьи.

– Пип! А куда же девались хозяева? Ишь, подуло на них ветерком – они и прочь сейчас! Скатертью дорога!

Листья на деревьях все желтели и желтели, начался листопад, зашумели осенние ветры – настала поздняя осень. Царица года лежала на земле, усыпанной пожелтевшими ли-

ствиями; кроткий взор ее был устремлен на сияющие звезды небесные; рядом с нею стоял ее муж. Вдруг поднялся вихрь и закрутил сухие листья столбом.

Когда вихрь утих – царицы года уже не было; в холодном воздухе кружилась только бабочка, последняя в этом году.

Землю окутали густые туманы, подули холодные ветры, потянулись долгие темные ночи. Царь года стоял с убеленною сединой головою; но сам он не знал, что поседел, – он думал, что кудри его только запушило снегом! Зеленые поля покрылись тонкою снежною пеленою.

И вот колокола возвестили наступление сочельника.

– Рождественский звон! – сказал царь года. – Скоро нарождается новая царственная чета, а я обрету покой, унесусь вслед за нею на сияющую звезду!

В свежем, зеленом сосновом лесу, занесенном снегом, появился рождественский ангел и освятил молодые деревца, предназначенные служить символом праздника.

– Радость в жилищах людей и в зеленом лесу! – сказал престарелый царь года; в несколько недель он превратился в белого как лунь старика. – Приближается час моего отдыха! Корона и скипетр переходят к юной чете.

– И все же власть пока в твоих руках! – сказал ангел. – Власть, но не покой! Укрой снежным покровом молодые ростки! Перенеси терпеливо торжественное провозглашение нового повелителя, хотя власть еще и в твоих руках! Терпеливо перенеси забвение, хотя ты и жив еще! Час твоего упо-

коения придет, когда настанет весна!

– Когда же настанет весна? – спросила Зима.

– Когда прилетят с юга аисты!

И вот седоволосая, седобородая, обледеневшая, старая, согбенная, но все еще сильная и могущественная, как снежные бури и метели, сидела Зима на высоком холме, на куче снега, и не сводила глаз с юга, как прошлогодняя Зима. Лед трещал, снег скрипел, конькобежцы стрелой скользили по блестящему льду озер, вороны и вороны чернели на белом фоне; не было ни малейшего ветерка. Среди этой тишины Зима сжала кулаки, и – толстый лед сковал все проливы.

Из города опять прилетели воробьи и спросили:

– Что это за старик там?

На плетне опять сидел тот же ворон или сын его – все едино – и отвечал им:

– Это Зима! Прошлогодний повелитель! Он не умер еще, как говорит календарь, а состоит регентом до прихода молодого принца – Весны!

– Когда же придет Весна? – спросили воробьи. – Может быть, у нас настанут лучшие времена, как переменится правительство! Старое никуда не годится!

А Зима задумчиво кивала голому черному лесу, где так ясно, отчетливо вырисовывались каждая веточка, каждый кустик. И землю окутали облака холодных туманов; природа погрузилась в зимнюю спячку.

Повелитель года грезил о днях своей юности и зрелости, и

к утру все леса оделись сверкающей бахромой из инея, – это был летний сон Зимы; взошло солнышко, и бахрома осыпалась.

– Когда же придет Весна? – опять спросили воробьи.

– Весна! – раздалось эхом с снежного холма.

И вот солнышко стало пригревать все теплее и теплее, снег стаял, птички защелкали: «Весна идет!»

Высоко-высоко по поднебесью неслись первый аист, за ним другой; у каждого на спине сидело по прелестному ребенку. Дети ступили на поля, поцеловали землю, поцеловали и безмолвного старика Зиму, и он, как Моисей на горе Синайской, исчез в тумане!

История года кончена.

– Все это прекрасно и совершенно верно, – заметили воробьи, – но не по календарю, а потому никуда не годится!

# С крепостного вала

Осень; стоим на валу, устремив взор на волнующуюся синеву моря. Там и сям белеют паруса кораблей; вдали виднеется высокий, весь облитый лучами вечернего солнца берег Швеции. Позади нас вал круто обрывается; он обсажен великолепными раскидистыми деревьями; пожелтевшие листья кружатся по ветру и засыпают землю. У подножия вала мрачное строение, обнесенное деревянным частоколом, за которым ходит часовой. Как там темно и мрачно, за этим частоколом! Но еще мрачнее в самом здании, в камерах с решетчатыми окнами. Там сидят заключенные, закоренелые преступники.

Луч заходящего солнца падает на голые стены камеры. Солнце светит и на злых и на добрых! Угрюмый, суровый заключенный злобно смотрит на этот холодный солнечный луч. Вдруг на оконную решетку садится птичка. И птичка поет для злых и для добрых! Песня ее коротка: «Кви-вит!» — вот и все! Но сама птичка еще не улетает; вот она машет крылышками, чистит перышки, топорщится и взъерошивает хохолок... Закованный в цепи преступник смотрит на нее, и злобное выражение его лица мало-помалу смягчается, какое-то новое чувство, в котором он и сам хорошенько не отдает себе отчета, наполняет его душу. Это чувство сродни солнечному лучу и аромату фиалок, которых так много рас-

тет там, на воле, весною!.. Но что это? Раздались жизнерадостные, мощные звуки охотничьих рогов. Птичка улетает, солнечный луч потухает, и в камере опять темно; темно и в сердце преступника, но все же по этому сердцу скользнул солнечный луч, оно отозвалось на пение птички. Не умолкайте же, чудные звуки охотничьего рога, раздавайтесь громче! В мягком вечернем воздухе такая тишь; море недвижно, словно зеркальное.

# Истинная правда

– Ужасное происшествие! – сказала курица, проживавшая совсем на другом конце города, а не там, где случилось происшествие. – Ужасное происшествие в курятнике! Я просто не смею теперь ночевать одна! Хорошо, что нас много на нашесте!

И она принялась рассказывать, да так, что у всех кур перышки повставали дыбом, а у петуха съежился гребешок. Да, да, истинная правда!

Но мы начнем сначала, а началось все в курятнике на другом конце города.

Солнце садилось, и все куры уже были на нашесте. Одна из них, белая коротконожка, курица во всех отношениях добропорядочная и почтенная, исправно несущая положенное число яиц, усевшись поудобнее, стала перед сном чиститься и расправлять клювом перышки. И вот одно маленькое перышко вылетело и упало на пол.

– Ишь, как полетело! – сказала курица. – Ну, ничего, чем больше я чищусь, тем делаюсь красивее!

Это было сказано так, в шутку, – курица вообще была веселого нрава, но это ничуть не мешало ей быть, как уже сказано, весьма и весьма почтенною курицей. С тем она и заснула.

В курятнике было темно. Куры все сидели рядом, и та, что

сидела бок о бок с нашей курицей, не спала еще; она не то чтобы нарочно подслушивала слова соседки, а так, слушала краем уха, – так ведь и следует, если хочешь жить в мире с ближними! И вот она не утерпела и шепнула другой своей соседке:

– Слышала? Я не желаю называть имен, но тут есть курица, которая готова выщипать себе все перья, чтобы только быть покрасивее. Будь я петухом, я бы презирала ее!

Как раз над курами сидела в гнезде сова с мужем и детками; у сов уши острые, и они не упустили ни одного слова соседки. Все они при этом усиленно вращали глазами, а совиха махала крыльями, точно опахалами.

– Тс-с! Не слушайте, детки! Впрочем, вы, конечно, уж слышали? Я тоже. Ах! Просто уши вянут! Одна из кур до того забылась, что принялась выщипывать себе перья прямо на глазах у петуха!

– Prenez garde aux enfants!<sup>36</sup> – сказал сова-отец. – Детям вовсе не следует слушать подобные вещи!

– Надо будет все-таки рассказать об этом нашей соседке сове, она такая милая особа!

И совиха полетела к соседке.

– У-гу, у-гу! – загукали потом обе совы прямо над соседней голубятней. – Вы слышали? Вы слышали? У-гу! Одна курица выщипала себе все перья из-за петуха! Она замерзнет, замерзнет до смерти! Если уже не замерзла! У-гу!

---

<sup>36</sup> Осторожнее, здесь дети (*фр.*)



– Кур-кур! Где, где? – ворковали голуби.

– На соседнем дворе! Это почти на моих глазах было! Просто неприлично и говорить об этом, но это истинная правда!

– Верим, верим! – сказали голуби и заворковали сидящим внизу курам:

– Кур-кур! Одна курица, говорят, даже две, выщипали себе все перья, чтобы отличиться перед петухом! Рискованная затея! Можно ведь простудиться и умереть, да они уж и умерли!

– Кукареку! – запел петух, взлетая на забор. – Проснитесь. – У него самого глаза еще совсем слипались от сна, а он уж кричал: – Три курицы погибли от несчастной любви к петуху! Они выщипали себе все перья! Такая гадкая история! Не хочу молчать о ней! Пусть разнесется по всему свету!

– Пусть, пусть! – запищали летучие мыши, закудахтали куры, закричали петухи. – Пусть, пусть!

И история разнеслась – со двора во двор, из курятника в курятник и дошла наконец до того места, откуда пошла.

– Пять куриц, – рассказывалось тут, – выщипали себе все перья, чтобы показать, кто из них больше исхудал от любви к петуху! Потом они заклевали друг друга насмерть, в позор и посрамление всему своему роду и в убыток своим хозяевам!

Курица, которая выронила одно перышко, конечно, не узнала своей собственной истории и, как курица во всех отношениях почтенная, сказала:

– Я презираю этих кур! Но таких ведь много! О подобных вещах нельзя, однако, молчать! И я, со своей стороны, сделаю все, чтобы история эта попала в газеты! Пусть разнесется по всему свету – эти куры и весь их род стоят того!

И в газетах действительно напечатали всю историю, и это истинная правда: одному маленькому перышку куда как не трудно превратиться в целых пять кур!

# Лебединое гнездо

Между Балтийским и Северным морями со времен седой древности лежит старое лебединое гнездо; зовут его Данией, в нем родились и рождаются лебеди с бессмертными именами.

Давно-давно вылетела оттуда целая стая лебедей, перелетела через Альпы и спустилась в зеленые долины благословенного юга; звали их лонгобардами.

Другая стая, в блестящем оперении, с ясными и честными глазами, улетела в Византию. Там лебеди уселись вокруг трона императора и распростерли на защиту его свои широкие белые крылья, словно щиты. Лебедей тех звали варягами.

С берегов Франции раздался крик ужаса: с огнем под крылами неслись с севера кровожадные лебеди, и народ молился: «Боже, храни нас от диких норманнов».

На зеленом дерне, покрывающем открытый берег Англии, стоял датский лебедь, увенчанный тремя коронами, протягивая над страной свой золотой скипетр.

Язычники на берегах Померании преклонились перед датскими лебедами, явившимися к ним со знаменем креста и с поднятыми мечами.

«Все это было во времена седой древности!» – скажешь, пожалуй, ты.

Но и ближайшие к нам времена видели вылетающих из гнезда могучих лебедей.

Вот дивный свет разлился в воздухе и озарил все части света – лебедь прорезал своими могучими крылами нависший над землею туман, и звездное небо явилось глазам людей во всей своей красе, стало к ним словно ближе. Лебедь этот был Тихо Браге.

«Да и это было давно! – говоришь ты. – А в наши дни?»

И в наши дни вылетают из гнезда могучие лебеди. Один скользнул крылами по струнам золотой арфы, и струны зазвенели на весь север, скалы Норвегии как будто стали еще выше и заблестели, освещенные солнцем седой древности, зашумели сосны и ели, и северные боги, герои и благородные жены ясно выступили на темном фоне дремучих лесов.

Другой лебедь ударил крылами по мраморной глыбе; она раскололась, и заключенные в камне образы вечной красоты вышли на свет Божий. Люди всех стран света подняли головы, чтобы узреть эти прекрасные творения.

А третий лебедь дал крылья мысли, сплел провод, который перекинули из страны в страну по всей земле, и теперь слова бегут по нему и облетают землю с быстротою молнии.

Господь возлюбил старое лебединое гнездо между Балтийским и Северным морями. Пусть-ка попробуют хищные птицы налететь и разорить его! «Не бывать этому!» Даже неоперившиеся еще птенцы усядутся по краям гнезда и – как мы уже видели не раз – грудью встретят врага, станут изо

всех сил защищаться клювами и когтями!

И долго еще будут вылетать из гнезда лебеди на диво всему миру! Века пройдут, прежде чем воистину можно будет сказать: «Вот последний лебедь, вот последняя песнь, раздавшаяся из лебединого гнезда!»

## «Всему свое место!»

Тому минуло уж больше ста лет.

За лесом у большого озера стояла старая барская усадьба; кругом шли глубокие рвы с водой, поросшие осокой и тростником. Возле мостика, перекинутого через ров перед главными воротами, росла старая ива, склонявшаяся ветвями к тростнику.

С дороги слышались звуки рогов и лошадиный топот, и маленькая пастушка поторопилась отогнать своих гусей с мостика в сторону. Охотники скакали во весь опор, и самой девочке пришлось поскорее прыгнуть с мостика на большой камень возле рва – не то бы ей несдобровать! Она была совсем еще ребенок, такая тоненькая и худенькая, с милым, добрым выражением лица и честными, ясными глазками. Но барину-то что за дело? На уме у него были одни грубые шутки, и вот, проносясь мимо девочки, он повернул хлыст рукояткой вперед и ткнул им пастушку прямо в грудь. Девочка потеряла равновесие и чуть не упала.

– Всяк знай свое место! Твое – в грязи! – прокричал барин и захохотал. Как же! Ему ведь удалось сострить! За ним захохотали и остальные; затем все общество с криком и гиканьем понеслось по мостику; собаки так и заливались. Вот уж подлинно, что

«Богатая птица шумно бьет крылами!»

Богат ли был барин, однако, еще вопрос.

Бедная пастушка, падая, ухватилась за ветку ивы и, держась за нее, повисла над тиной. Когда же господа и собаки скрылись за воротами усадьбы, она попробовала было опять вскарабкаться на мостик, но ветка вдруг обломилась у самого ствола, и девочка упала в тростник. Хорошо, что ее в ту же минуту схватила чья-то сильная рука. По полю проходил коробейник; он видел все и поспешил девочке на помощь.

– Всяк знай свое место! – пошутил он, передразнивая барина, и вытащил девочку на сушу. Отломанную ветку он тоже попробовал поставить на свое место, но не всегда-то ведь поговорка оправдывается! Пришлось воткнуть ветку прямо в рыхлую землю. – Расти, как сможешь, и пусть из тебя выйдет хорошая дудка для этих господ!

При этом он от души пожелал, чтобы на ней сыграли когда-нибудь для барина и всей его свиты хороший шпицрутен-марш. Затем коробейник направился в усадьбу, но не в парадную залу – куда такой мелкой сошке лезть в залы, – а в людскую. Слуги обступили его и стали рассматривать товары, а наверху, в зале, шел пир горой. Гости вздумали петь и подняли страшный рев и крик: лучше этого они петь не умели! Хохот, крики и собачий вой стоном стояли в воздухе; вино и старое пиво пенилось в стаканах и кружках. Любимые собаки тоже участвовали в трапезе, и то тот, то другой из молодых господ целовал их прямо в морду, предва-

рительно обтерев ее длинными, обвислыми ушами собаки. Коробейника тоже призывали в залу, но только ради потехи. Вино бросилось им в головы, а рассудок, конечно, и вон сейчас! Они налили коробейнику пива в чулок, – выпьешь, мол, и из чулка, торопись только! То-то хитро придумали! Было над чем зубоскалить! Целые стада, целые деревни вместе с крестьянами ставились на карту и проигрывались.

– Всяк знай свое место! – сказал коробейник, выбравшись из Содома и Гоморры, как он назвал усадьбу. – Мое место – путь-дорога, а в усадьбе мне совсем не по себе!

Маленькая пастушка ласково кивнула ему на прощанье из-за плетня.

Дни шли за днями, недели за неделями; сломанная ветка, посаженная коробейником у самого рва, не только не засохла и не пожелтела, но даже пустила свежие побеги; пастушка глядела на нее да радовалась: теперь у нее завелось как будто свое собственное дерево.

Да, ветка-то все росла и зеленела, а вот в господской усадьбе дела шли все хуже и хуже: кутежи и карты до добра не доводят.

Не прошло и шести лет, как барин пошел с сумою, а усадьбу купил богатый коробейник, тот самый, над которым господа потешались, наливая ему пива в чулок. Честность и трудолюбие хоть кого поставят на ноги, и вот коробейник сделался хозяином усадьбы, но с того же часа карты были изгнаны из нее навсегда.



– От них добра не жди! – говорил хозяин. – Выдумал их сам черт: увидал Библию, ну и давай подражать на свой лад!

Новый хозяин усадьбы женился, и на ком же? На бывшей пастушке! Она всегда отличалась добронравием, благочестием и добротой, а как нарядилась в новые платья, так стала ни дать ни взять красавицей барышней! Как же, однако, все это случилось? Ну, об этом больно долго рассказывать, а в наш недосужий век, известно, все торопятся! Случилось так, ну и все, а дальше-то вот пойдет самое важное.

Славно жилось в старой усадьбе; хозяйка сама вела все домашнее хозяйство, а хозяин заправлял всеми делами; благосостояние их все росло; недаром говорится, что деньга родит деньгу. Старый дом подновили, выкрасили, рвы очистили, всюду насадили плодовых деревьев, и усадьба выглядела как игрушечка. Пол в комнатах так и блестел; в большой зале собирались зимними вечерами все служанки и вместе с хозяйкой пряли шерсть и лен; по воскресным же вечерам юстиц-советник читал им из Библии. Да, да, бывший коробейник стал юстиц-советником, – правда, только на старости лет, но и то хорошо! Были у них и дети; дети подрастали, учились, но не у всех были одинаковые способности, – так оно бывает ведь и во всех семьях.

Ветка же стала славным деревцом; оно росло на свободе, его не подстригали, не подвязывали.

– Это наше, родовое дерево! – говорили старики и внушали всем детям, даже тем, которые не отличались особенны-

ми способностями, чтить и уважать его.

И вот с тех пор прошло сто лет.

Дело было уже в наше время. Озеро стало болотом, а старой усадьбы и вовсе как не бывало; виднелись только какие-то канавки с грязной водой да с камнями по краям — остатки прежних глубоких рвов. Зато старое родовое дерево красовалось по-прежнему. Вот что значит дать дереву расти на свободе! Правда, оно треснуло от самых корней до вершины, слегка покривилось от бурь, но стояло все еще крепко; из всех трещин и щелей, куда ветер занес разные семена, росли травы и цветы. Особенно густо росли они повыше, там, где ствол раздваивался. Тут образовался точно висячий садик: из середины дупла росли малина, мокричник и даже небольшая стройная рябинка. Старая ива отражалась в черной воде канавки, когда ветер отгонял зеленую ряску к другому краю. Мимо дерева вилась тропинка, уходившая в хлебное поле.

У самого же леса, на высоком холме, откуда открывался чудный вид на окрестность, стоял новый роскошный дом. Окна были зеркальные, такие чистые и прозрачные, что стекло словно и не было вовсе. Широкий подъезд казался настоящей беседкой из роз и плюща. Лужайка перед домом зеленела так ярко, точно каждую былинку охорашивали и утром и вечером. Залы увешаны были дорогими картинами, уставлены крытыми бархатом и шелком стульями и диванами, которые чуть только не катались на колесиках сами. Тут

же стояли столы с мраморными досками, заваленные альбомами в сафьяновых переплетах и с золотыми обрезами... Да, богатые, видно, тут жили люди! И богатые и знатные – тут жило семейство барона.

И все в доме было подобрано одно к одному. «Всяк знай свое место» или «всему свое место», – говорили владельцы, и вот картины, висевшие когда-то в старой усадьбе на почетном месте, были вынесены в коридор, что вел в людскую. Все они считались старым хламом, в особенности же два старинных портрета. На одном был изображен мужчина в красном кафтане и в парике, на другом – дама с напудренными, высоко взбитыми волосами, с розою в руках. Оба были окружены венками из ветвей ивы. Портреты были во многих местах продырявлены. Маленькие барончики стреляли в них из луков, как в мишень. А на портретах-то были нарисованы сам юстиц-советник и советница, родоначальница баронской семьи.

– Ну, они вовсе не из нашего рода! – сказал один из барончиков. – Он был коробейником, а она пасла гусей! Это совсем не то, что рара и тама.

Портреты, как сказано, считались хламом, а так как «всему свое место», то прабабушку и прадедушку и отправили в коридор.

Домашним учителем в семье был сын пастора. Раз как-то он отправился на прогулку с маленькими барончиками и их старшею сестрой, которая только недавно конфирмовалась.

Они шли по тропинке мимо старой ивы; молодая баронесса составляла букет из полевых цветов. Правило «всему свое место» соблюдалось и тут, и в результате вышел прекрасный букет. В то же время она внимательно прислушивалась к рассказам пасторского сына, а он рассказывал о чудесных силах природы, о великих исторических деятелях, о героях и героинях. Баронесса была здоровою, богато одаренною натурой, с благородною душой и сердцем, способным понять и оценить всякое живое создание.

Возле старой ивы они остановились – младшему барончику захотелось дудочку; ему не раз вырезали их из ветвей других ив, и пасторский сын отломил одну ветку.

– Ах, не надо! – сказала молодая баронесса, но дело было уже сделано. – Ведь это же наше знаменитое родовое дерево! Я так люблю его, хоть надо мною и смеются дома! Об этом дереве рассказывают...

И она рассказала все, что мы уже знаем о старой усадьбе, и о первой встрече пастушки и коробейника, родоначальников знатного баронского рода и самой молодой баронессы.

– Славные, честные старички не гнались за дворянством! – сказала она. – У них была поговорка: «Всяк знай свое место», а им казалось, что они не будут на своем, если купят себе дворянство за деньги. Сын же их, мой дедушка, сделался бароном. Говорят, он был такой ученый и в большой чести у принцев и принцесс; его постоянно приглашали на все придворные празднества. Его у нас дома особен-

но любят, я же, сама не знаю почему, больше симпатизирую двум старичкам. Могу себе представить их уютную патриархальную жизнь: хозяйка сидит и прядет вместе со своими служанками, а старик хозяин читает вслух Библию!

– Да, славные, достойные были люди! – сказал пасторский сын.

Завязался разговор о дворянстве и о мещанстве, и, слушая пасторского сына, право, можно было подумать, что сам он не из мещан.

– Большое счастье принадлежать к славному роду – тогда сама кровь твоя как бы прищипоривает тебя, подгоняет делать одно хорошее. Большое счастье носить благородное родовое имя – это входной билет в лучшие семьи! Дворянство означает благородство крови; это чеканка на золотой монете, означающая ее достоинство. Но теперь ведь в моде, и ей следуют даже многие поэты, считать все дворянство дурным и глупым, а в людях низших классов открывать тем большие достоинства, чем ниже их место в обществе. Я другого мнения и нахожу такую точку зрения ложною. У людей высших сословий можно подметить много поразительно прекрасных черт характера. Мать моя рассказывала мне об одной, и я сам могу привести их много. Мать была раз в гостях в одном знатном доме – бабушка моя, если не ошибаюсь, выкормила госпожу этого дома. Мать стояла в комнате, разговаривая со старым высокородным господином, и вдруг он увидел, что по двору ковыляет на костылях бедная старуха, которая

приходила к нему по воскресеньям за милостыней. «Бедняга! – сказал он. – Ей так трудно взбираться сюда!» И прежде чем мать успела оглянуться, он был уже за дверями и спустился по лестнице. Семидесятилетний старик генерал сам спустился во двор, чтобы избавить бедную женщину от труда подниматься за милостыней! Это только мелкая черта, но она, как «лепта вдовицы», шла прямо от сердца, из глубины человеческой души, и вот на нее-то должен был указать поэт, в наше-то время и следовало бы воспеть ее! Это принесло бы пользу, умиротворило и смягчило бы сердца! Если же какое-нибудь подобие человека считает себя вправе – только потому, что на нем, как на кровной арабской лошади, имеется тавро – становиться на дыбы и ржать на улице, а, входя в гостиную после мещанина, говорить: «Здесь пахнет человеком с улицы!», то приходится признаться, что в лице его дворянство пришло к разложению, стало лишь маской, вроде той, что употреблял Феспис. Над такою фигурой остается только посмеяться, хлестнуть ее хорошенько бичом сатиры!

Вот какую речь держал пасторский сын; длинновата она была, да зато он успел в это время вырезать дудку.

В баронском доме собралось большое общество, наехали гости из окрестностей и из столицы; было тут и много дам – и одетых со вкусом, и без вкуса. Большая зала была полна народа. Священники из окрестных приходов сбились в кучу в один угол. Можно было подумать, что люди собрались сюда на похороны, а на самом-то деле – на праздник, только гости

еще не разошлись как следует.

Предполагалось устроить большой концерт, и маленький барончик тоже вышел со своею дудкой, но ни он, ни даже сам рара не сумели извлечь из нее ни звука, – значит, она никуда не годилась!

Начались музыка и пение того рода, что больше всего нравятся самим исполнителям. Вообще же все было очень мило.

– А вы, говорят, виртуоз! – сказал один кавалер, папенькин и маменькин сынок. – Вы играете на дудке и даже сами вырезали ее. Вот это высший сорт гения! Помилуйте! Я вполне следую за веком; так ведь и должно! Не правда ли, вы доставите нам высокое наслаждение своею игрой?

И он протянул пасторскому сыну дудку, вырезанную из ветви старой ивы, и громко провозгласил, что домашний учитель сыграет соло на дудке.

Разумеется, над учителем только хотели посмеяться, и молодой человек отнекивался, как мог, хотя и умел играть. Но все ужасно пристали к нему, и вот он взял дудку и поднес ее ко рту.

Вот так дудка была! Она издала звук, протяжный и резкий, точно свисток паровоза, даже еще резче; он раздавался по всему двору, саду и лесу, прокатился эхом на много миль кругом, а вслед за ним пронесся бурный вихрь. Вихрь свистел: «Всяк знай свое место!» И вот, рара, словно на крыльях ветра, перелетел двор и угодил прямо в пастуший шалаш, пастух же перелетел – не в залу, там ему было не место, –

но в людскую, в круг разодетых лакеев, щеголявших в шелковых чулках.

Гордых лакеев чуть не хватил паралич от такой неожиданности. Как? Такое ничтожество и вдруг смеет садиться за стол рядом с ними!

Молодая баронесса между тем была перенесена вихрем на почетное место, во главе стола, которого она была вполне достойна, а пасторский сын очутился возле нее, и вот они сидели рядом, словно жених с невестой! Старый граф, принадлежавший к одной из древнейших фамилий, не был смещен со своего почетного места, – дудка была справедлива, да ведь иначе и нельзя. Остроумный же кавалер, маменькин и папенькин сынок, полетел вверх ногами в курятник, да и не он один.

За целую милю слышен был этот звук, и вихрь успел наделать бед. Один богатый глава торгового дома, ехавший на четверке лошадей, тоже был подхвачен вихрем, вылетел из экипажа и не мог потом попасть даже на запятки, а два богатых крестьянина, из тех, что разбогатели на наших глазах, угодили прямо в тину. Да, преопасная была дудка! Хорошо, что она дала трещину при первом же звуке, и ее спрятали в карман – «всему свое место».

На другой день о происшествии не было и помину, оттого и создалась поговорка: «Спрятать дудку в карман». Все опять пришло в порядок, только два старых портрета, корабейника и пастушки, висели уже в парадной зале; вихрь пе-



ренес их туда, а один из настоящих знатоков искусства сказал, что они написаны рукой великого мастера: вот их и оставили там и даже подновили. А то прежде и не знали, что они чего-нибудь стоят, – где ж было знать это! Таким образом, они все-таки попали на почетное место: «Всему свое место!» И так оно в конце концов всегда и бывает, – вечность ведь длинна, куда длиннее этой истории!

# Через тысячу лет

Да, через тысячу лет обитатели Нового Света прилетят в нашу старую Европу на крыльях пара, по воздуху! Они явятся сюда осматривать памятники и развалины, как мы теперь осматриваем остатки былого величия южной Азии.

Они прилетят в Европу через тысячу лет! Темза, Дунай, Рейн будут течь по-прежнему; Монблан все так же гордо будет поднимать свою снежную вершину, северное сияние – освещать полярные страны, но поколения за поколениями уже превратятся в прах, длинный ряд минутных знаменитостей будет забыт, как забыты имена тех, что почивают в кургане, на котором благодушный мельник, собственник его, поставил себе скамеечку, чтобы сидеть тут и любоваться волнующейся нивой.

– В Европу! – воскликнут юные поколения американцев. – В страну наших отцов, в страну чудных воспоминаний, в Европу!

Воздушный корабль прибывает; он переполнен пассажирами, – он ведь мчится куда быстрее парохода. Электромагнитный провод, протянутый под морем, уже передал, как велико число пассажиров воздушного поезда. Вот показалась и Европа, берега Ирландии, но пассажиры еще спят; они велели разбудить себя только над самой Англией. Тут они спустятся на землю и очутятся в стране Шекспира, как зовут ее

сыны муз, или в стране машин и политики, как называют ее другие.

Целый день стоит здесь поезд – вот сколько времени может занятое и непоседливое поколение уделить великой Англии и Шотландии!

Дальше путь идет по подводному туннелю; ведет он во Францию, страну Карла Великого и Наполеона. Вспоминается имя Мольера, ученые заводят разговор о классической и романтической школах седой древности, восхваляют героев, поэтов и людей науки, которых еще не знает наше время, но которые должны народиться в европейском кратере – Париже.

Из Франции воздушный корабль несется в страну, откуда вышел Колумб, где родился Кортес, где слагал звучными стихами свои драмы Кальдерон. В ее цветущих долинах еще живут черноокие красавицы, а в старинных песнях живет имя Сиды, упоминается Альгамбра.

Перелетают море, и вот путешественники в Италии, где лежал когда-то древний вечный город Рим. Он исчез с лица земли, Кампанья превратилась в пустыню, от собора Петра осталась одна полуразрушенная стена; ее показывают всем путешественникам, но подлинность ее подлежит сомнению.

Дальше – в Грецию, чтобы проспать ночь в роскошном отеле на вершине Олимпа; тогда дело сделано: были, дескать, и там! Поезд направляется к берегам Босфора, чтобы остановиться на несколько часов у того места, где некогда лежа-

ла Византия. Бедные рыбаки закидывают свои сети у тех берегов, где, по преданию, расстилались во времена турецкого владычества гаремные сады.

Пролетают над развалинами больших городов по берегам Дуная, – городов этих наше время еще не видало. То тут, то там спускается воздушный поезд, останавливаясь в местах, богатых воспоминаниями, которые еще породит время.

Вот внизу Германия, некогда сплошь опутанная густою сетью железных дорог и каналов, страна, где проповедовал Лютер, пел Гёте, держал композиторский скипетр Моцарт.

И другие великие имена сияют в науке и искусстве, имена, которых мы еще не знаем. Один день посвящается обозрению Германии, один – странам севера: родине Эрстеда, родине Линнея и Норвегии, стране древних героев и юных норвежцев; Исландию захватывают на обратном пути. Гейзер не кипит более, Гекла потухла, но могучий скалистый остров возвышается из пены морских волн, как вечный памятник саг.

– В Европе есть на что посмотреть! – говорят юные американцы. – И мы осмотрели все в одну неделю. Это вполне возможно, как уже доказал и великий наш путешественник – называют имя своего современника – в своем знаменитом сочинении: «Вокруг Европы в восемь дней».

## Под ивою

Окрестности Кёге довольно голы; правда, город лежит на самом берегу моря, а это уж само по себе красиво, но все же окрестности могли бы быть покрасивее. А то куда ни обернешься – плоское, ровное пространство, до леса не скоро и доберешься. Освоившись хорошенько с местностью, можно, впрочем, и тут напасть на такие красивые местечки, что потом будешь скучать о них даже в самом восхитительном уголке земного шара. Вот, например, на самой окраине города сбегали вниз к быстрой речке два простеньких, бедненьких садика, и летом здесь было прелесть как хорошо! Особенно для двух ребятешек: Кнуда и Йоханны, которые день-деньской играли тут; они были соседями и пролезали друг к другу сквозь кусты крыжовника, разделявшего их садики. В одном из садиков росла бузина, в другом – старая ива. Под ивою-то дети особенно и любили играть, – им позволяли, хотя дерево и стояло почти у самой речки, так что они легко могли упасть в воду. Ну, да Господь Бог сам охраняет «малых сих», а не то было бы плохо! Впрочем, дети были очень осторожны, а мальчик, так тот просто боялся воды: другие ребятешки весело плещутся себе, бывало, в заливе, бегают по воде, шалят, а его и не заманить туда. Зато Кнуду и приходилось сносить немало насмешек; но вот Йоханне раз пришло, что она плыла по заливу в лодке, и Кнуд преспокой-

но пошел к ней навстречу прямо по воде, а вода-то сначала была ему по шею, потом же покрыла его с головой! Полно с тех пор Кнуду терпеть насмешки! Назовут его трусом, а он сейчас и вспомнит сон Йоханны – вон я какой храбрый! Очень он гордился своею храбростью, но от воды все-таки держался подальше.

Бедняки родители ребятишек были соседями, виделись друг с другом ежедневно, а Кнуд и Йоханна целыми днями играли вместе в садиках и на дороге, обсаженной по обеим сторонам, вдоль канав, ивами. Красотой эти ивы не отличались, верхушки их были обломаны, ну да они и стояли-то тут не для красоты, а для пользы. Старая ива в саду была куда красивее, и под нею ребятишки провели немало веселых часов.

В Кёге есть большая площадь, и во время ярмарки на ней выстраивались целые улицы из палаток, в которых торговали лентами, сапогами и разную разностью. В эти дни здесь всегда бывала давка и суматоха и почти всегда шел дождик; во влажном воздухе так и пахло крестьянскими кафтанами и – что куда приятнее – медовыми коврижками. Целая лавка битком бывала набита коврижками! Славно! А что еще лучше – хозяин лавочки останавливался у родителей Кнуда, и мальчику, конечно, перепадало всякий раз по коврижке, которую он сейчас же делил с Йоханной. Важнее же всего было то, что продавец коврижек умел рассказывать чудесные истории почти обо всякой вещи, даже о своих коврижках. Од-

нажды вечером он и рассказал детям историю, которая произвела на них такое сильное впечатление, что они не могли забыть ее никогда. Не мешает, пожалуй, и нам послушать ее, тем более что она очень коротка.

– На прилавке лежало две коврижки, – рассказывал торговец. – Одна изображала кавалера в шляпе, другая – девуцу, без шляпы, но с полоской сусального золота на голове. Лицо у них было только на одной стороне, и этой стороной они лежали кверху. С этой-то лицевой стороны на них и надо было смотреть, а отнюдь не с оборотной, и так следует смотреть и на всех людей вообще. У кавалера в левом боку торчала горькая миндалинка, – это было его сердце, девица же была просто медовой коврижкой. Лежали они на прилавке как образцы, лежали долго, ну и полюбили друг друга, но ни тот, ни другая ни гу-гу об этом, а так нельзя, если хочешь, чтобы любовь привела к чему-нибудь!

«Он мужчина и должен заговорить первый!» – думала девица, хотя и была бы довольна одним сознанием, что любовь ее встречает взаимность.

Кавалер же, как и все мужчины, питал довольно кровава-жные замыслы. Он представлял себе, что он – живой уличный мальчишка, в кармане у него четыре скиллинга, и вот он покупает девицу и съедает ее!..

Так они лежали на прилавке дни за днями, недели за неделями и сохли; мысли девицы становились все нежнее и женственнее. «Я довольна и тем, что лежу на прилавке рядом с

ним!» — думала она и вдруг треснула пополам. «Знай она, что я люблю ее, она, пожалуй, еще продержалась бы!» — подумал он.

— Вот вам и вся история, а вот и сами коврижки! — добавил торговец сладостями. — Они замечательны историей своей жизни и своею немою любовью, которая никогда ни к чему не ведет! Ну, возьмите их себе!

И он дал Йоханне уцелевшего кавалера, а Кнуду — треснувшую девицу. Рассказ, однако, так подействовал на детей, что они не могли решиться съесть влюбленную парочку.

На другой день они отправились с коврижками на кладбище; церковные стены были густо обвиты и летом и зимою чудеснейшим плющом, — словно зеленый ковер был повешен! Дети положили коврижки на травку, на самое солнышко, и рассказали толпе ребятишек историю немой любви, которая никуда не годится, то есть любовь, а не история. История-то была прелестна, все согласилось с этим и поглядели на медовую парочку, но... куда же девалась девица? Ее съел под шумок один из больших мальчиков — вот какой злой! Дети поплакали о девице, а потом — верно, из жалости к бедному одинокому кавалеру — съели и его, но самой истории не забыли.

Кнуд и Йоханна были неразлучны, играли то под бузиною, то под ивою, и девочка распевала своим серебристым, звонким, как колокольчик, голосом прелестные песенки.

У Кнуда слуха не было никакого, зато он твердо помнил



слова песен, — все-таки хоть что-нибудь! Горожане останавливались послушать Йоханну; особенно же восхищалась ее голосом жена торговца скобяными изделиями.

— Соловьиное горлышко у этой малютки! — говорила она.

Да, славные то были денечки, но не вечно было им длиться!.. Соседям пришлось расстаться: мать Йоханны умерла, отец собирался жениться в Копенгагене на другой и, кстати, рассчитывал пристроиться там посыльным при одном учреждении, — должность, как говорили, была очень доходная. Соседи расстались со слезами; особенно плакали дети, но старики обещали писать друг другу по крайней мере раз в год. Кнуда отдали в учение к сапожнику, — не пристало такому большому мальчику слоняться без дела! А потом его и конфирмовали.

Как хотелось ему в этот торжественный день отправиться в Копенгаген, повидать Йоханну! Но, конечно, он не отправился ни в этот день, ни потом, хотя Копенгаген и лежит всего в пяти милях от Кёге и в ясную тихую погоду через залив видны были столичные башни. В день же конфирмации Кнуд ясно видел даже золотой купол собора Богоматери.

Ах, как он скучал по Йоханне! А вспоминала ли о нем она?

Да! К рождеству родители Кнуда получили письмо от ее отца. В нем говорилось, что в Копенгагене им повезло и что серебряный голосок Йоханны сулит ей большое счастье. Она была уже принята в театр, где поют, и даже зарабатывала кое-

что. Из заработка своего она и посылала дорогим соседям на рождественские удовольствия целый риксдалер! Пусть в Кёге выпьют за ее здоровье! В письме была и собственноручная приписка Йоханны: «Дружеский привет Кнуду!»

Все плакали от радости. У Кнуда только и дум было, что об Йоханне, а теперь выходило, что и она о нем думает! И вот чем ближе подходил срок его учению, тем яснее становилось, что он любит Йоханну; значит, она должна стать его женою! При этой мысли все лицо его озарялось улыбкой, и он еще усерднее продергивал дратву, в то время как нога натягивала ремень. Он проколол себе шилом палец и даже не заметил! Уж он-то не будет молчать, как те коврижки, — их история научила его кое-чему.

И вот он подмастерье. Теперь — котомку на спину, и марш в первый раз в жизни в Копенгаген! У него уже был там на примете один мастер. Вот Йоханна-то удивится и обрадуется ему! Ей уже теперь семнадцать лет, а ему девятнадцать.

Кнуд хотел было тут же, в Кёге, запастись золотым колечком для нее, да потом сообразил, что в Копенгагене можно купить получше. Простившись со стариками родителями, он бодро зашагал по дороге; пора стояла осенняя: дождь, непогода, листья с деревьев так и сыпались. Усталый, промокший до костей, добрался наконец Кнуд до столицы и до нового хозяина.

В первое же воскресенье он собрался навестить отца Йоханны, надел новое платье и — в первый раз в жизни — новую

шляпу, купленную еще в Кёге; она очень шла к нему; до сих же пор он ходил всегда в фуражке. Вот Кнуд отыскал дом и поднялся вверх по лестнице. Сколько тут было ступенек! Просто голова кружилась при одной мысли о том, что люди могут жить так, почти на головах друг у друга.

Зато в самой квартире было уютно, и отец Йоханны встретил Кнуда очень ласково. Для хозяйки дома Кнуд был совершенно посторонним человеком, но и она подала ему руку и угостила чашкой кофе.

– Вот Йоханна-то обрадуется тебе! – сказал отец. – Ишь ты, каким молодцом стал! Ну, сейчас увидишь ее! Да, вот так девушка. Она нас так радует и, Бог даст, порадует еще больше! У нее своя комната, она платит нам за нее!

И он очень вежливо, словно чужой, постучался в дверь дочки. Они вошли. Батюшки! Какая прелесть! Такой комнаты не нашлось бы во всем Кёге! У самой королевы вряд ли могло быть лучше! Тут были и ковер, и длинные занавеси до самого пола, бархатный стул, цветы, картины и большое зеркало, в которое можно было с разбега ткнуться лбом, приняв его за дверь. Все это сразу бросилось в глаза Кнуду, но видел он все-таки одну Йоханну. Она стала совсем взрослою девушкой, но вовсе не такою, какою воображал ее себе он, – куда лучше! Во всем Кёге не сыскать было такой девушки. Какая она была нарядная, изящная! Но как странно взглянула она на Кнуда – точно на чужого. Зато в следующую же минуту она так и бросилась к нему, словно хотела расцело-

вать. Поцеловать-то она не поцеловала, но готова была. Да, очень она обрадовалась другу детства! Слезы выступили у нее на глазах, а уж сколько вопросов она назадала ему – и о здоровье родителей его, и о бузине, и об иве, которых она звала, бывало, «матушкой» и «батюшкой», точно деревья были людьми. Впрочем, ведь смотрели же Кнуд с Йоханной когда-то и на коврижки, как на людей. Йоханна вспомнила и о них, об их немой любви, о том, как они лежали рядом на прилавке и как девица треснула пополам.

Тут Йоханна весело рассмеялась, а Кнуд вспыхнул, и сердце его так и застучало. Нет, она совсем не переменялась, не заважничала! И он отлично заметил, что это она заставила родителей попросить его остаться у них на целый вечер, Йоханна разливала чай и сама подала Кнуду чашку, а потом принесла книгу и прочла им из нее кое-что вслух. И Кнуду показалось, что она прочитала как раз историю его собственной любви, – так подходило каждое слово к его мыслям. Затем она спела простенькую песенку, которая, однако, превратилась в ее устах в настоящую поэму; казалось, в ней вылилась вся душа Йоханны. Разумеется, она любила Кнуда! Слезы текли по его щекам, он не мог справиться с собою, не мог даже слова выговорить. Самому ему казалось, что он выглядит таким глупым, но она пожала ему руку и сказала:

– У тебя доброе сердце, Кнуд! Оставайся таким всегда!

Что это был за чудный вечер! И мыслимо ли было заснуть после того? Кнуд так и не спал всю ночь. На прощанье отец

Йоханны сказал:

– Ну, не забывай же нас! Нехорошо, если и зима пройдет, а ты к нам так и не заглянешь!

Значит, ему можно было опять прийти к ним в воскресенье; так он и решил сделать. Но каждый вечер по окончании работ – а работали они еще долго и при огне – Кнуд отправлялся бродить по городу, заходил в улицу, где жила Йоханна, и смотрел на ее окно. В нем почти всегда виднелся свет, а раз он увидел на занавеске ее тень! Вот-то был чудный вечер! Жена его хозяина, правда, не очень была довольна «такими вечерними прогулками», как она выражалась, покачивая головой, но сам хозяин только посмеивался:

– Э, пусть себе! Человек он молодой!

«В воскресенье мы опять увидимся, – размышлял Кнуд, – и я скажу ей, что она не выходит у меня из головы и потому должна быть моею женой. Правда, я еще бедный подмастерье, но могу сделаться и мастером, по крайней мере «вольным мастером»; я буду работать, стараться!.. Да, да, я скажу ей все! Из немой любви ничего не выйдет! Я уж знаю это из истории о коврижках».

Воскресенье настало, и Кнуд явился к родителям Йоханны, но как неудачно! Все трое собирались куда-то, – так и не пришлось ему сказать; Йоханна же пожала ему руку и спросила:

– А ты был в театре? Надо побывать! Я пою в среду, и, если ты свободен вечером, я пришлю тебе билет. Отец знает,

где живет твой хозяин.

Как это было мило с ее стороны! В среду Кнуд получил запечатанный конверт, без всякого письма, но с билетом. Вечером Кнуд в первый раз в жизни отправился в театр. Кого же он увидел там? Йоханну! И как она была прелестна, обворожительна! Правда, она выходила замуж за какого-то чужого господина, но ведь это же было только так, представление. Кнуд отлично знал это, иначе разве она прислала бы ему билет на такое зрелище? Народ хлопал в ладоши и кричал, и Кнуд тоже закричал «ура».

Сам король улыбнулся Йоханне, как будто и он обрадовался ей. Каким маленьким, ничтожным показался теперь самому себе Кнуд! Но он так горячо любил ее, она его тоже, а первое слово ведь за мужчиной – так думали даже коврижки. О, в той истории было много поучительного!

Как только настало воскресенье, Кнуд пошел к Йоханне; он был в таком настроении духа, словно шел причащаться, Йоханна была дома одна и сама отворила ему дверь; случай был самый удобный.

– Как хорошо, что ты пришел! – сказала она ему. – Я чуть было не послала за тобой отца. Но у меня было предчувствие, что ты придешь сегодня вечером. Дело в том, что я уезжаю в пятницу во Францию. Это необходимо, если я хочу стать настоящей певицей.

Комната завертелась перед глазами Кнуда, сердце его готово было выпрыгнуть из груди, и хотя он и не пролил ни

одной слезы, видно было, как он огорчен. Йоханна заметила все и чуть не расплакалась сама.

– Верная, честная ты душа! – сказала она.

И тут уж язык у Кнуда развязался, и он сказал ей все, сказал, что горячо любит ее и что она должна выйти за него замуж. И вдруг он увидал, что Йоханна побледнела. Она выпустила его руку и сказала ему печально и очень серьезно:

– Не делай ни себя, ни меня несчастными, Кнуд! Я всегда буду для тебя верною, любящею сестрою, но... не больше! – И она провела своею мягкою ручкой по его горячему лбу. – Бог дает нам силы перенести многое, если только мы сами хотим того!

В эту минуту в комнату вошла ее мачеха.

– Кнуд просто сам не свой оттого, что я уезжаю! – сказала Йоханна. – Ну, будь же мужчиной! – И она потрепала его по плечу, как будто между ними только и разговору было, что об ее отъезде. – Дитя! – прибавила она. – Ну, будь же паинькой, как прежде под ивою, когда мы оба были маленькими!

Но Кнуду казалось, что мир рушится, а собственные мысли его, как разорванные нити, ветер треплет туда и сюда. Он остался сидеть, хоть и не знал, просили ли его остаться. Хозяйева были с ним, впрочем, очень милы и приветливы. Йоханна опять угощала его чаем и пела, – хотя и не по-прежнему, но все же очень хорошо, так что сердце Кнуда просто разрывалось на части. И вот они расстались. Кнуд не протянул ей руки, но она сама схватила его руку и сказала:

– Дай же на прощанье своей сестре руку, мой милый товарищ детства! – И она улыбнулась ему сквозь слезы и шепнула: – Мой брат!

Нашла тоже, чем утешить его! Так они и расстались. Йоханна отплыла во Францию, а Кнуд по-прежнему бродил вечерами по грязным улицам города. Другие подмастерья спрашивали его, чего это он все философствует, и звали его пойти с ними повеселиться, – ведь и в нем, небось, кипит молодая кровь.

И вот однажды он пошел с ними потанцевать. Он увидел много красивых девушек, но ни одной такой, как Йоханна, не было. И тут-то как раз, где он думал забыть ее, она не выходила у него из головы, стояла перед ним как живая. «Бог дает нам силы перенести многое, если только мы сами хотим того!» – сказала она ему, и душою его овладело серьезное, торжественное настроение, он даже сложил руки, как на молитве, а в зале визжали скрипки, кружились пары... И он весь затрепетал: в такое место ему не следовало бы водить Йоханну, – она всегда ведь была с ним, в его сердце! И он ушел, пустился бежать по улицам к тому дому, где она жила. В окнах было темно, кругом тоже темно, пусто, безотрадно. И никому не было дела до Кнуда; люди шли своею дорогою, а он свою.

Настала зима, реки замерзли, природа словно готовилась к смерти.

Но с наступлением весны и открытием навигации Кнуда



охватило вдруг тоскливое желание уйти отсюда, бежать куда глаза глядят – только не во Францию.

И вот он вскинул котомку на спину и пошел бродить по Германии, переходя из одного города в другой, не зная ни отдыха, ни покоя. Только в старинном прекрасном городе Нюрнберге тоска его как будто затихла немного, и он смог остановиться.

Нюрнберг – диковинный город, словно вырезанный из старинной книжки с картинками. Улицы идут, куда и как хотят сами, дома не любят держаться в ряд, повсюду выступы, какие-то башенки, завитушки, из-под сводов выглядывают статуи, а с высоты диковинных крыш сбегают на улицы водосточные желоба в виде драконов или собак с длинными туловищами.

Кнуд стоял с котомкою за плечами на нюрнбергской площади и смотрел на старый фонтан, на его библейские и исторические фигуры, орошаемые брызгами воды. К фонтану подошла зачерпнуть воды красивая девушка; она дала Кнуду напиться и подарила розу – в руках у нее был целый букет роз. Кнуд счел это добрым предзнаменованием и решил остаться в городе.

Из церкви доносились до него могучие звуки органа; что-то знакомое, родное слышалось в них – как будто они неслись из кёгской церкви. И он зашел в величественный собор. Солнышко светило сквозь расписные стекла окон, играло на стройных, высоких колоннах, и душой Кнуда овладело ти-

хое, благоговейное настроение.

Скоро он нашел себе хорошего хозяина, стал работать и учиться языку.

Рвы, окружавшие город в старину, давно были превращены жителями в маленькие огороды, но каменные крепостные стены с башнями возвышались еще по-прежнему. Канатный мастер вил свои канаты в старой бревенчатой галерее, тянувшейся вдоль одной из стен. Изо всех щелей и дыр галереи росла бузина; она свешивала свои ветви к маленьким, низеньким домикам, ютившимся внизу, а в одном-то из них как раз и жил хозяин Кнуда. Ветви бузины лезли прямо в окошко его каморки, помещавшейся под самою крышей.

Кнуд прожил тут лето и зиму, но когда пришла весна, здесь стало невыносимо: бузина зацвела, и аромат ее так напоминал Кнуду его родину и сад в Кёге, что он не выдержал и перебрался от своего хозяина к другому, жившему ближе к центру города, – тут уж бузины не было.

Новый хозяин жил возле старого каменного моста, перекинутого через бурную речку, словно ущемленную между двумя рядами домов; прямо против дома стояла вечно шумящая водяная мельница. У всех домов были балконы, но такие старые и ветхие, что дома, казалось, только и ждали удобной минуты, чтобы стряхнуть их с себя в воду. Тут, правда, не росло ни единого кустика бузины, на окнах не виднелось даже цветочных горшков с какой-нибудь зеленью, зато перед самыми окнами стояла большая, старая ива! Она

словно цеплялась за дом, чтобы не свалиться в реку, и свешивалась к воде своими гибкими ветвями – точь-в-точь как ива в саду в Кёге.

Кнуд убежал от «матушки» и наткнулся на «батюшку»! Дерево это, особенно лунными вечерами, казалось Кнуду таким родным, таким знакомым!

Но дело-то было вовсе не в лунном свете, а в старой иве.

И тут Кнуду стало невтерпеж, а почему? Спросите иву, спросите цветущую бузину! Кнуд распростился с хозяином и с Нюрнбергом и пошел дальше.

Ни с кем не говорил он об Йоханне, глубоко в сердце схоронил он свое горе; история же о двух коврижках приобрела теперь для него особенно глубокое значение. Теперь он понял, почему у кавалера сидела в груди горькая миндали-на: и у него самого вся душа была отравлена горечью; Йо-ханна же, всегда такая ласковая, приветливая, была просто медовой коврижкой!.. И ему стало не по себе; должно быть, ремень котомки слишком давил ему грудь, трудно было ды-шать. Он ослабил ремень, но толку не вышло: окружающий его мир давно ведь уже как-то сузился для него, как бы уба-вился на целую половину, и эту-то половину Кнуд носил в себе – вот оно что! Вот отчего ему было так тяжело.

Только при виде высоких гор он почувствовал, что на сердце у него стало как будто полегче, границы света опять как будто расширились, а мысли невольно обратились к окружающему, и на глазах выступили слезы. Альпы пока-

зались ему сложенными крыльями земли. Что, если бы она развернула, распустила эти огромные крылья, испещренные чудными рисунками: темными лесами, бурными водопадами, облаками и снежными шапками! «В день Страшного суда так и будет! Земля развернет свои широкие крылья, полетит к Богу и лопнет, как мыльный пузырь, в лучах его света! Ах, если бы это было сегодня!» – вздыхал Кнуд.

Тихо брел он по стране, казавшейся ему цветущим фруктовым садом. С деревянных балкончиков кивали ему головками девушки-кружевницы; вершины гор горели под лучами вечернего солнца, как жар. Он взглянул на зеленые озера, окруженные темными деревьями, и вспомнился ему берег Кёгского залива... Но в душе его уже не было прежней смертной тоски, она сменилась тихой грустью.

Там, где Рейн одною бесконечною волною стремится вперед, обрывается со скалы и, разбиваясь о камни, выбрасывает в воздух охапки белоснежной пены – как будто тут колыбель облаков, где радуга порхает над водою, словно выющаяся по ветру лента, Кнуду вспомнилась водяная мельница в Кёге, где вода тоже кипела и разбивалась в облачную пену под колесами.

Он охотно остался бы в тихом прирейнском городке, но здесь так много было ив и бузины! И он отправился дальше, за высокие, величественные горы, проходил по ущельям и по горным тропинкам, лепившимся возле отвесных, как стены, скал, словно ласточкины гнезда. В глубине пропастей шумел

ли водопады, облака ползли под его ногами, а он все шел да шел, под теплыми лучами солнца, по чертополоху, альпийским розам и снегам, дальше и дальше, и вот наконец – прощай, север! Кнуд спустился в долину и очутился в тени каштанов, дорога шла мимо виноградников и маисовых полей. Горы встали стеною между ним и всеми воспоминаниями; так оно и следовало.

Вот Кнуд и в большом, великолепном городе Милане; он нашел здесь немецкого мастера и стал у него работать. Хозяева его оказались славными, честными и трудолюбивыми людьми; они от души полюбили тихого, кроткого и набожного юношу, который мало говорил, но много работал. И у него самого на душе стало как будто полегче; казалось, Бог наконец сжалился над ним и снял с его души тяжелое бремя.

Первым удовольствием стало для Кнуда взбираться на самый верх величественного мраморного собора, который со всеми своими остроконечными башнями, шпилями, высокими сводами и лепными украшениями казался изваянным из снегов его родины. Из-за каждого выступа, из-под каждой арки улыбались ему белые мраморные статуи. Он взбирался на самый верх: над головою его расстиралось голубое небо, под ногами – город, а кругом вширь и вдаль раскинулась Ломбардская долина, ограниченная к северу высокими горами, вечно покрытыми снегом. Он вспоминал при этом кёгскую церковь, ее красные, увитые плющом стены, но воспоминание это не будило в нем тоски по родине. Нет, пусть

его схоронят тут, за горами!

Целый год прожил он в Милане; прошло уже три года с тех пор, как он покинул родину. И вот раз хозяин повел его на представление – не в цирк, смотреть наездников, а в оперу. Что это был за театр, какая зала! Стоило посмотреть! Во всех семи ярусах – шелковые занавеси и от самого пола до потолка – просто голова кружится, как поглядишь! – сидят разряженные дамы, с букетами в руках, словно на бал собрались. Мужчины тоже в полном параде; многие в серебре и золоте. Светло было в зале, как на ярком солнце, и вдруг загремела чудесная музыка. Да, тут было куда лучше, чем в копенгагенском театре, но там зато была Йоханна, а тут... Что это за колдовство? Занавес поднялся, и на сцене тоже стояла Йоханна, вся в шелку и золоте, с золотой короной на голове! Она запела, как могут петь разве только ангелы небесные, и выступила вперед... Она улыбалась так, как могла улыбаться одна Йоханна, она смотрела прямо на Кнуда!..

Бедняга схватил хозяина за руку и вскричал: «Йоханна!» Но крик его заглушила музыка; хозяин же кивнул в ответ головою и сказал: «Да, ее зовут Йоханной!» И он показал на печатный листок – там стояло ее полное имя.

Да, это был не сон! И весь народ ликовал; ей бросали цветы и венки, и стоило ей уйти, ее опять звали назад; она уходила и выходила, уходила и опять выходила.

На улице карету ее окружила толпа, выпрягла лошадей и повезла ее. Кнуд был впереди всех, веселее всех, и когда они

добрались до великолепно освещенного дома, где жила Йоханна, Кнуд встал перед самыми дверцами кареты. Дверцы отворились, и она вышла. Свет падал ей в лицо; она улыбалась и благодарила всех; она была растрогана... Кнуд не сводил с нее глаз, она тоже посмотрела на него, но не узнала. Господин со звездой на груди подал ей руку: это был ее жених, толковали в народе.

Кнуд пришел домой, и – котомку на плечи! Он хотел, он должен был вернуться на родину, к бузине, к иве... Ах, подиву!

Хозяева просили его остаться, но все уговоры были напрасны. Они говорили ему, что дело идет к зиме, что все горные проходы уже занесены снегом. Нужды нет, он мог идти за медленно двигающейся почтовой каретой, – для нее-то ведь уж расчистят дорогу!

И он побрел с котомкой за спиной, опираясь на свою палку, взбирался на горы, опять спускался; силы его уже начали слабеть, а он все еще не видел перед собою ни города, ни жилья; шел он все на север, над головой его загорались звезды, ноги его подкашивались, голова кружилась... В глубине долины тоже загорались звездочки, словно и под ногами у него расстиралось небо. Кнуду нездоровилось. Звездочки внизу все прибывали и прибывали, становились все светлее, двигались туда и сюда. Это блестели в одном маленьком городке огоньки в окнах домов, и когда Кнуд сообразил, в чем дело, он собрал последние силы и кое-как доплелся до постоянного

двора.

Целые сутки пробыл он тут; все тело его просило отдыха. Сделалась оттепель, в долине была страшная слякоть и грязь, но на другое утро явился шарманщик, заиграл датскую песню, и Кнуд сейчас же отправился в путь. Много дней он шел, не останавливаясь, торопясь изо всех сил, как будто дело шло о том, чтобы застать в живых домашних. Ни с кем не говорил он о своей тоске, никто не мог и подозревать о его глубочайшем сердечном горе; да и что за дело людям до такого горя – оно неинтересно; нет до него дела даже друзьям; у Кнуда, впрочем, и не было друзей. Чужой всем, он пробирался по чужой земле на родину, на север. В единственном, полученном им больше года назад из дому письме говорилось: «Ты не настоящий датчанин, как мы все: мы ужасно привязаны к своей родине, а тебя все тянет в чужие страны!» Да, родители могли так писать – они ведь знали его.

Смеркалось. Кнуд шел по большой дороге; воздух уже становился холоднее, а самая почва – ровнее, больше встречалось лугов и полей. У дороги стояла большая ива, и все вокруг казалось таким родным, совсем как в Дании! Кнуд сел под иву; он очень устал, голова его упала на грудь, глаза закрылись, но он ясно чувствовал, что ива ласково склонилась к нему ветвями. Дерево было похоже на могучего, сильного старца... на самого батюшку! Батюшка нагнулся к Кнуду, взял его в объятия, как усталого сына, и понес домой, в Данию, на открытый морской берег, в садик, где он играл еще



ребенком... Да, это был сам батюшка из Кёге, он пошел искать сына по белу свету, нашел его и принес в садик возле речки! Тут же стояла и Йоханна, разодетая, с короной на голове – какую Кнуд видел ее в последний раз. И она встретила его радостным «Добро пожаловать!».

Тут же, возле, стояли две чудные фигуры, и все же они походили теперь на людей куда больше, чем во времена детства Кнуда, – и они тоже изменились. То были две коврижки: кавалер и девица; они стояли к Кнуду лицевой стороной и были на вид хоть куда.

– Спасибо тебе! – сказали они. – Ты развязал нам язык! Ты объяснял нам, что нужно свободно высказывать свои мысли, а иначе не будет никакого толку! Ну вот теперь и вышел толк: мы жених и невеста!

И они пошли рука об руку по улицам Кёге и даже с оборотной стороны были ничего себе, вполне приличны! Они направились прямо в церковь; Кнуд с Йоханной – за ними, тоже рука об руку. Церковь ничуть не переменилась, чудесный плющ все так же вился по красным стенам. Главные двери были отворены настежь; слышались звуки органа. Коврижки вошли в церковь и вдруг отступили в сторону: «Господа, вперед!» – сказали они, и Кнуд с Йоханной очутились впереди. Оба преклонили колена, и Йоханна склонилась головкой к лицу Кнуда. Из глаз ее текли холодные, ледяные слезы, – это растаял от горячей любви Кнуда лед ее сердца. Слезы ее упали на его пылающие щеки, и он проснулся и увидел, что

сидит под старою ивой, в чужой стороне, в холодный зимний вечер, один-одинешенек... Ледяной град так и колот ему лицо.

– Я пережил сейчас блаженнейшие минуты в моей жизни! – сказал он. – Но это был сон! Боже, дай же мне опять заснуть! – И он закрыл глаза, заснул и снова увидел сон.

Утром пошел снег, совсем занес его ноги, а он все спал. Народ пошел в церковь и увидал на дороге мертвого подмастерья; он замерз под ивой.

# Пятеро из одного стручка

В стручке сидело пять горошин; сами они были зеленые, стручок тоже зеленый, ну, они и думали, что и весь мир зеленый; так и должно было быть! Стручок рос, росли и горошины; они приноравливались к помещению и сидели все в ряд. Солнышко освещало и пригревало стручок, дождик поливал его, и он делался все чище, прозрачнее; горошинам было хорошо и уютно, светло днем и темно ночью, как и следует. Они все росли да росли и все больше и больше думали, сидя в стручке, – что-нибудь да надо же было делать!

– Век, что ли, сидеть нам тут? – говорили они. – Как бы нам не зачерстветь от такого сидения!.. А сдается нам, есть что-то и за нашим стручком! Уж такое у нас предчувствие!

Прошло несколько недель; горошины пожелтели, стручок тоже пожелтел.

– Весь мир желтеет! – сказали они, и кто ж бы им помешал говорить так?

Вдруг они почувствовали сильный толчок; стручок был сорван человеческой рукой и сунут в карман, к другим стручкам.

– Ну, вот теперь скоро нас выпустят на волю! – сказали горошины и стали ждать.

– А хотелось бы мне знать, кто из нас пойдет дальше всех! – сказала самая маленькая. – Впрочем, скоро увидим!

– Будь что будет! – сказала самая большая.

Крак! – стручок лопнул, и все пять горошин выкатились на яркое солнце. Они лежали на детской ладони; маленький мальчик разглядывал их и говорил, что они как раз пригодятся ему для стрельбы из бузиновой трубочки. И вот одна горошина уже очутилась в трубочке, мальчик дунул, и она вылетела.

– Лечу, лечу, куда хочу! Лови, кто может! – закричала она, и след ее простыл.

– А я полечу прямо на солнце; вот настоящий-то стручок! Как раз по мне! – сказала другая.

Простыл и ее след.

– А мы куда придем, там и заснем! – сказали две следующие. – Но мы таки до чего-нибудь докатимся! – Они и правда прокатились по полу, прежде чем попасть в бузиновую трубочку, но все-таки попали в нее. – Мы дальше всех пойдем!

– Будь что будет! – сказала последняя, взлетела кверху, попала на старую деревянную крышу и закатилась в щель как раз под окошком чердачной каморки. В щели был мох и рыхлая земля, мох укрыл горошину; так она и осталась там, скрытая, но не забытая Господом Богом.

– Будь что будет! – говорила она.

А в каморке жила бедная женщина. Она ходила на поденную работу: чистила печи, пилила дрова, словом, исполняла всякую тяжелую работу; сил у нее было довольно, охоты работать тоже не занимать стать, но из нужды она все-таки

не выбивалась! Дома оставалась у нее ее единственная дочка, подросток. Она была такая худенькая, тщедушная; целый год уж лежала в постели: не жила и не умирала.

— Она уйдет к сестренке! — говорила мать. — У меня ведь их две было. Тяжеленько было мне кормить двоих; ну, вот Господь Бог и поделил со мною заботу, взял одну к себе! Другую-то мне хотелось бы сохранить, да он, видно, не хочет разлучать сестер! Заберет и эту!

Но больная девочка все не умирала; терпеливо, смиренно лежала она день-деньской в постели, пока мать была на работе.

Дело было весною, рано утром, перед самым уходом матери на работу. Солнышко светило через маленькое окошечко прямо на пол, и больная девочка посмотрела в оконце.

— Что это там зеленеет за окном? Так и колышется от ветра!

Мать подошла к окну и приотворила его.

— Ишь ты! — сказала она. — Да это горошинка пустила ростки! И как она попала сюда в щель? Ну, вот у тебя теперь будет свой садик!

Придвинув кровать поближе к окну, чтобы девочка могла полюбоваться зеленым ростком, мать ушла на работу.

— Мама, я думаю, что поправлюсь! — сказала девочка вечером. — Солнышко сегодня так пригрело меня. Горошинка, видишь, как славно растет на солнышке? Я тоже поправлюсь, начну вставать и выйду на солнышко.

– Дай-то Бог! – сказала мать, но не верила, что это случится.

Однако она подперла зеленый росток, подбодривший девочку, небольшою палочкой, чтобы он не сломался от ветра; потом взяла тоненькую веревочку и один конец ее прикрепила к крыше, а другой привязала к верхнему краю оконной рамы. За эту веревочку побеги горошины могли цепляться, когда станут подрастать. Так и вышло: побеги заметно росли и ползли вверх по веревочке.

– Смотри-ка, да она скоро зацветет! – сказала женщина однажды утром и с этой минуты тоже стала надеяться и верить, что больная дочка ее поправится.

Ей припомнилось, что девочка в последнее время говорила как будто живет, по утрам сама приподнималась на постели и долго сидела, любуясь своим садиком, где росла одна-единственная горошина, а как блестели при этом ее глазки! Через неделю больная в первый раз встала с постели на целый час. Как счастлива она была посидеть на солнышке! Окошко было отворено, а за окном покачивался распутившийся бело-розовый цветок. Девочка высунулась в окошко и нежно поцеловала тонкие лепестки. День этот был для нее настоящим праздником.

– Господь сам посадил и взрастил цветочек, чтобы ободрить и порадовать тебя, милое дитяtko, да и меня тоже! – сказала счастливая мать и улыбнулась цветочку, как ангелу небесному.

Ну, а другие-то горошины? Та, что летела, куда хотела, — лови, дескать, кто может, — попала в водосточный желоб, а оттуда в голубиный зоб и лежала там, как Иона во чреве кита. Две ленивицы ушли не дальше — их тоже проглотили голуби, значит, и они принесли немалую пользу. А четвертая, что собиралась залететь на солнце, упала в канаву и пролежала несколько недель в затхлой воде, пока не разбухла.

— Как я славно раздобрела! — говорила горошина. — Право, я скоро лопну, а уж большего, я думаю, не сумела достичь ни одна горошина. Я самая замечательная из всех пяти!

Канавка была с нею вполне согласна.

А у окна, выходявшего на крышу, стояла девочка с сияющими глазами, румяная и здоровая; она сложила руки и благодарила Бога за цветочек гороха.

— А я все-таки стою за мою горошину! — сказала канавка.

# Старая могильная плита

Все домашние одного почтенного горожанина, имевшего в маленьком провинциальном городке собственный дом, собрались вечером в кружок и вели приятную беседу. Дело было как раз в ту пору года, когда вечера становятся особенно длинными, но погода стояла еще мягкая и теплая. В комнате горела лампа, длинные оконные занавеси спускались до самого пола, закрывая собою стоявшие на окнах цветы. На дворе ярко сиял месяц, но разговор шел не о нем, а о большом старом камне, что лежал во дворе у самого кухонного порога; на него опрокидывала прислуга вычищенную медную посуду, чтобы она пообсохла на солнышке, на нем любили играть и ребятишки, на самом же деле камень этот был старою могильною плитой.

— Я думаю, — сказал хозяин дома, — что она со старого монастырского кладбища. Когда монастырь упразднили, все ведь пошло в продажу — и кафедры, и доски с эпитафиями, и могильные плиты. Покойный отец мой купил много таких плит; их разбивали в мелкие куски и мостили ими улицу, а эта вот одна уцелела, да так и осталась лежать на дворе.

— Сразу видно, что это могильная плита! — сказал старший из детей. — На ней еще можно разглядеть песочные часы и часть фигуры ангела; зато надпись почти совсем стерлась, и можно разобрать только имя «Пребен», затем большую бук-



ву «С», а пониже имя «Марта», — да и то лишь после дождя или после того, как плиту хорошенько вымоют.

— Ах, Господи! Так это плита с могилы Пребена Сване и его жены! — сказал один старичок, который по годам мог быть дедушкой всех присутствовавших в комнате. — Да, они чуть ли не последними были погребены на старом монастырском кладбище. Славные, почтенные были люди! Я помню их еще с детских лет. Все в городе знали и любили их; они были у нас тут старейшею супружескою четой — королем с королевой. Говорили, будто у них сундуки ломятся от золота, а они одевались всегда так просто, в платье из самой грубой материи, и только белье на них всегда отличалось ослепительною белизной. Славною парочкой были старики Пребен и Марта! Любо было посмотреть на них, когда они, бывало, сидят под тенью старой липы на скамеечке, стоявшей на площадке высокой каменной лестницы их дома, и так ласково, приветливо кивают всем прохожим! Они делали много добра, и делали его с толком и по-христиански, кормили и одевали десятки честных бедняков.

Первою умерла жена. Я так живо помню этот день! Я был тогда еще мальчишкой, и мы с отцом зашли к старому Пребену как раз в самый день ее смерти. Старик был в такой горе, плакал как ребенок. Тело умершей лежало в спальне, рядом с той комнатой, где мы сидели. Кроме нас с отцом, пришли еще двое-трое соседей, и старик стал говорить нам о том, как пусто, одиноко будет теперь в доме — она ведь была

душою его, — как счастливо жили они столько лет, а потом перешел к воспоминаниям о том времени, когда они только что познакомились и полюбили друг друга... Я, как сказано, был тогда еще очень мал, но все же слушал с большим вниманием, смешанным с каким-то удивлением. И не мудрено: старик с таким жаром рассказывал о днях помолвки, о красоте своей невесты, о том, к каким невинным хитростям он прибегал, чтобы встретить ее, и лицо его оживлялось все больше и больше, щеки зарумянились! Затем он стал рассказывать о свадьбе, и глаза его заблестали еще ярче. Он словно опять переживал счастливейшие годы своей жизни... А подруга-то его уже лежала в это время в соседней комнате мертвая, и сам он был дряхлым-дряхлым стариком!..

Да, так-то оно бывает на свете! Вот и я в те времена был мальчуганом, а теперь — такой же старик, каким помню Пребена Сване! Время идет, и все на свете меняется!.. Я так живо помню день похорон старушки! Пребен шел за гробом. Еще года за два до того старики заказали себе могильную плиту; на ней были уже вырезаны и надпись и имена, недоставало только года смерти. Вечером в тот же день плиту свезли на кладбище и положили на могилу старушки. Через год плиту приподняли, — старик Пребен лег рядом с женою.

После них не осталось никаких богатств, о которых болтали люди. А то, что осталось, отошло к какой-то дальней родне, про которую тут ничего и не знали. Домик стариков, со скамеечкой на площадке лестницы, под тенью липы, был сне-

сен по распоряжению магистрата, – больно уж он был ветх. Позже, когда пришел в ветхость и старый монастырь, кладбище упразднили, и могильная плита Пребена и Марты пошла в продажу вместе со всем остальным. И надо же было ей уцелеть! Теперь на ней играют дети, а прислуга сушит кухонную посуду! Новая же улица идет как раз над местом вечного успокоения старого Пребена и его супруги. И никто их больше не помнит!..

Тут старик, рассказывавший эту грустную историю, покачал головой.

– Забыты! Все на свете предается забвению! – добавил он.

Разговор перешел на другое, но самый младший мальчик с большими серьезными глазами вскарабкался на стул, откинул занавеси и стал смотреть на двор, где лежала вся залитая ясным лунным светом большая каменная плита. Прежде она казалась ему простым, гладким камнем, теперь же стала для него как бы страницей, вырванною из старой хроники. Старый камень хранил в себе все, что слышал сейчас мальчик о Пребене и Марте. И мальчуган смотрел на него, смотрел на ясный, светлый месяц, на чистый, прозрачный воздух, и ему казалось, что с месяца смотрит на землю лик самого Творца.

– Забыты! Все на свете предается забвению! – раздалось в комнате, и в ту же минуту незримый ангел поцеловал ребенка в грудь и в лоб и тихо прошептал:

– Сохрани в душе зароненные туда семена. Храни их, пока они не созреют. Знай, дитя, что, благодаря тебе, стертая над-

пись старой могильной плиты вновь засияет перед грядущими поколениями золотыми буквами! Старые супруги опять побредут рука об руку по улице, опять будут сидеть на скамеечке под тенью липы, такие же бодрые, свежие, с румянцем на щеках, и ласково кивать головою и бедному и богатому. Пройдут годы, и зароненные в твою душу семена взойдут поэтическим творением. Доброе и прекрасное не предается забвению, но вечно живет в преданиях и песнях!

# Ханс Чурбан

## *Старая история, пересказанная вновь*

Была в одной деревне старая усадьба, а у старика владельца ее было два сына, да таких умных, что и вполовину было бы хорошо. Они собирались посвататься к королевне; это было можно, — она сама объявила, что выберет себе в мужья человека, который лучше всех сумеет постоять за себя в разговоре. Оба брата готовились к испытанию целую неделю, — больше времени у них не было, да и того было довольно: знания у них ведь имелись, а это важнее всего. Один знал наизусть весь латинский словарь и местную газету за три года — одинаково хорошо мог пересказывать и с начала и с конца. Другой основательно изучил все цеховые правила и все, что должен знать цеховой старшина; значит, ему ничего не стоило рассуждать и о государственных делах, — думал он. Кроме того, он умел вышивать подтяжки, — вот какой был искусник!

— Уж я-то добуду королевскую дочь! — говорили и тот и другой.

И вот отец дал каждому по прекрасному коню: тому, что знал наизусть словарь и газеты, вороного, а тому, что обладал государственным умом и вышивал подтяжки, белого. Затем братья смазали себе уголки рта рыбьим жиром, чтобы рот быстрее и легче открывался, и собрались в путь. Все слу-

ги высыпали на двор поглядеть, как молодые господа сядут на лошадей. Вдруг является третий брат, – всего-то их было трое, да третьего никто и не считал: далеко ему было до своих ученых братьев, и звали его попросту Ханс Чурбан.

– Куда это вы так разрядились? – спросил он.

– Едем ко двору «выговорить» себе королевну! Ты не слышал разве, о чем барабанили по всей стране?

И ему рассказали, в чем дело.

– Эге! Так и я с вами! – сказал Ханс Чурбан.

Но братья только засмеялись и уехали.

– Отец, дай мне коня! – закричал Ханс Чурбан. – Меня страсть забрала охота жениться! Возьмет королевна меня – ладно, а не возьмет – я сам ее возьму!

– Пустомеля! – сказал отец. – Не дам я тебе коня. Ты и говорить-то не умеешь! Вот братья твои – те молодцы!

– Коли не даешь коня, я возьму козла! Он мой собственный и отлично довезет меня! – И Ханс Чурбан уселся на козла верхом, всадил ему в бока пятки и пустился вдоль по дороге. Эх ты, ну, как понесся!

– Знай наших! – закричал он и запел во все горло. А братья ехали себе потихоньку, молча; им надо было хорошенько обдумать все красные словца, которые они собирались подпустить в разговоре с королевной, – тут ведь надо было держать ухо востро.

– Го-го! – закричал Ханс Чурбан. – Вот и я! Гляньте-ка, что я нашел на дороге!

И он показал дохлую ворону.

– Чурбан! – сказали те. – Куда ты ее тащишь?

– В подарок королевне!

– Вот, вот! – сказали они, расхохотались и уехали вперед.

– Го-го! Вот и я! Гляньте-ка, что я еще нашел! Такие штуки не каждый день валяются на дороге!

Братья опять обернулись посмотреть.

– Чурбан! – сказали они. – Ведь это старый деревянный башмак, да еще без верха! И его ты тоже подаришь королевне?

– И его подарю! – ответил Ханс Чурбан. Братья засмеялись и уехали от него вперед.

– Го-го! Вот и я! – опять закричал Ханс Чурбан. – Нет, чем дальше, тем больше! Го-го!

– Ну-ка, что ты там еще нашел? – спросили братья.

– А, нет, не скажу! Вот обрадуется-то королева!

– Тьфу! – плюнули братья. – Да ведь это грязь из канавы!

– И еще какая! – ответил Ханс Чурбан. – Первейший сорт, в руках не удержишь, так и течет!

И он набил себе грязью полный карман.

А братья пустились от него вскачь и опередили его на целый час. У городских ворот они запаслись, как и все женихи, очередными билетами и стали в ряд. В каждом ряду было по шести человек, и ставили их так близко друг к другу, что им и шевельнуться было нельзя. И хорошо, что так, не то они распороли бы друг другу спины за то только, что один стоял

впереди другого.

Все остальные жители страны собрались около дворца. Многие заглядывали в самые окна, — любопытно было посмотреть, как королева принимает женихов. Женихи входили в залу один за другим, и как кто войдет, так язык у него сейчас и отнимется!

— Не годится! — говорила королева. — Вон его!

Вошел старший брат, тот, что знал наизусть весь словарь. Но, постояв в рядах, он позабыл решительно все, а тут еще полы скрипят, потолок зеркальный, так что видишь самого себя вверх ногами, у каждого окна по три писца, да еще один советник, и все записывают каждое слово разговора, чтобы тиснуть сейчас же в газету да продавать на углу по два скиллинга, — просто ужас. К тому же печку так натопили, что она раскалилась докрасна.

— Какая жара здесь! — сказал наконец жених.

— Да, отцу сегодня вздумалось жарить петушков! — сказала королева.

Жених и рот разинул, такого разговора он не ожидал и не нашелся, что ответить, а ответить-то ему хотелось как-нибудь позабавнее.

— Э-э! — проговорил он.

— Не годится! — сказала королева. — Вон!

Пришлось ему убраться восвояси. За ним явился к королеве другой брат.

— Ужасно жарко здесь! — начал он.



– Да, мы жарим сегодня петушков! – ответила королева.

– Как, что, ка..? – пробормотал он, и все писцы написали:

«как, что, ка..?»

– Не годится! – сказала королева. – Вон!

Тут явился Ханс Чурбан. Он въехал на козле прямо в залу.

– Вот так жарница! – сказал он.

– Да, я жарю петушков! – ответила королева.

– Вот удача! – сказал Ханс Чурбан. – Так и мне можно будет зажарить мою ворону?

– Можно! – сказала королева. – А у тебя есть в чем жарить? У меня нет ни кастрюли, ни сковородки!

– У меня найдется! – сказал Ханс Чурбан. – Вот посудинка, да еще с ручкой!

И он вытащил из кармана старый деревянный башмак и положил в него ворону.

– Да это целый обед! – сказала королева. – Но где ж нам взять подливку?

– А у меня в кармане! – ответил Ханс Чурбан. – У меня ее столько, что девать некуда, хоть бросай!

И он зачерпнул из кармана горсть грязи.

– Вот это я люблю! – сказала королева. – Ты скор на ответы, за словом в карман не лазишь, тебя я и возьму в мужья! Но знаешь ли ты, что каждое наше слово записывается и завтра попадет в газеты? Видишь, у каждого окна стоят три писца, да еще один советник? А советник-то хуже всех – ничего не понимает!

Это все она наговорила, чтобы испугать Ханса. А писцы заржали и посадили на пол кляксы.

– Ишь, какие господа! – сказал Ханс Чурбан. – Вот я сейчас угощу его!

И он, не долго думая, выворотил карман и залепил советнику все лицо грязью.

– Вот это ловко! – сказала королева. – Я бы этого не сумела сделать, но теперь выучусь!

Так и стал Ханс Чурбан королем, женился, надел корону и сел на трон. Мы узнали все это из газеты, которую издает муниципальный советник, а на нее не след полагаться.

## Иб и Кристиночка

Неподалеку от реки Гудено по Силькеборгскому лесу проходит горный кряж, вроде большого вала. У подножия его, с западной стороны, стоял, да и теперь стоит крестьянский домик. Почва тут скудная; песок так и просвечивает сквозь редкую рожь и ячмень. Тому минуло уже много лет. Хозяева домика засевали маленькое поле, держали трех овец, свинью да двух волов – словом, кормились кое-как: что есть – хорошо, а нет – и не спрашивай! Могли бы они держать и пару лошадей, да говорили, как и другие тамошние крестьяне:

– Лошадь сама себя съедает, – коли дает что, так и берет столько же!

Иеппе Иенс летом работал в поле, а зимою прилежно резал деревянные башмаки. Держал он и помощника, парня; тот умел выделывать такие башмаки, что они и крепки были, и легки, и фасонисты. Кроме башмаков, они резали и ложки, и зашибали-таки денежки, так что Иеппе Иенса с хозяйкой нельзя было назвать бедняками.

Единственный их сынишка, семилетний Иб, глядя на отца, тоже резал какие-то щепочки, конечно, резал себе при этом пальцы, но наконец вырезал-таки из двух обрубков что-то вроде маленьких деревянных башмачков – «в подарок Кристиночке», – сказал он. Кристиночка, дочка барочника, была такая хорошенькая, нежная, словно барышня; будь у

нее и платья под стать ей самой, никто бы не поверил, что она родилась в бедной хижине, крытой вереском, в степи Сейс. Отец ее был вдов и занимался сплавкой дров из лесу на Силькеборгские угринные тони, а иной раз и дальше, в Раннерс. Ему не на кого было оставлять шестилетнюю Кристиночку дома, и она почти всегда разъезжала с отцом взад и вперед по реке. Если же тому приходилось плыть в Раннерс, девочка оставалась у Иеппе Иенса.

Иб и Кристиночка были большими друзьями и в играх и за столом. Они копались и рылись в песке, ходили повсюду, а раз решились даже одни влезть на кряж и – марш в лес; там они нашли гнездо кулика и в нем яички. Вот было событие!

Иб сроду еще не бывал в степи, не случалось ему и проплывать из реки Гудено в озера; вот барочник и пригласил раз мальчика прокатиться с ними и еще накануне взял его к себе домой.

Ранним утром барка отплыла; на самом верху сложенных в поленницы дров восседали ребяташки, уплетая хлеб и малину; барочник и помощник его отталкивались шестами, течение помогало им, и барка летела стрелою по реке и озерам. Часто казалось, что выход из озера закрыт глухою стеной деревьев и тростника, но подплывали ближе, и проход находился, хотя старые деревья и нависали над водою сплошною сенью, а дубы старались преградить дорогу, простирая вперед обнаженные от коры ветви, – великаны деревья словно нарочно засучили рукава, чтобы показать свои голые жили-

стые руки! Старые ольхи, отмытые течением от берега, крепко цеплялись корнями за дно и казались маленькими лесными островками. По воде плавали кувшинки... Славное было путешествие! Наконец добрались и до тоней, где из шлюзов шумно бежала вода. Было на что посмотреть тут и Кристиночке и Ибу!

В те времена здесь еще не было ни фабрики, ни города, а стоял только старый дом, в котором жили рыбаки, и народу на тонях держали немного. Местность оживляли только шум воды да крики диких уток. Доставив дрова на место, отец Кристины купил большую связку угрей и битого поросенка; припасы уложили в корзинку и поставили на корме барки. Назад пришлось плыть против течения, но ветер был попутный, они поставили паруса, и барка задвигалась, словно ее везла пара добрых коней.

Доплыв до того места в лесу, откуда помощнику барочника было рукой подать до дому, мужчины сошли на берег, а детям велели сидеть смирно. Да, так они и усидели! Надо же было заглянуть в корзинку, где лежали угри и поросенок, вытащить поросенка и подержать его в руках. Держать, конечно, хотелось и тому и другому, и вот поросенок очутился в воде и поплыл по течению. Ужас что такое!

Иб спрыгнул на берег и пустился удирать, но едва пробежал несколько шагов, как к нему присоединилась и Кристина.

– И я с тобою! – закричала она, и дети живо очутились в

кустах, откуда уже не видно было ни барки, ни реки. Пробежав еще немножко, Кристиночка упала и заплакала. Иб поднял ее.

– Ну, пойдем вместе! – сказал он ей. – Дом-то ведь вон там!

То-то, что не там. Шли, шли они по сухим листьям и ветвям, которые так и хрустели под их ножонками, и вдруг раздался громкий крик, как будто звали кого-то. Дети остановились и прислушались. Тут закричал орел: какой неприятный крик! Детишки струхнули было, да увидали как раз перед собою невероятное множество чудеснейшей голубики. Как тут устоять? И оба взапуски принялись рвать да есть горстями, вымазали себе все руки, губы и щеки! Опять слышался оклик.

– А достанется нам за поросенка! – сказала Кристина.

– Пойдем лучше домой, к нам! – сказал Иб. – Это ведь здесь же, в лесу!

И они пошли, вышли на проезжую дорогу, но она не вела домой. Стемнело, жутко стало детям. В лесу стояла странная тишина; лишь изредка раздавался резкий, неприятный крик филина или другой какой-то незнакомой детям птицы... Наконец дети застряли в кустах и расплакались. Наплакавшись, они растянулись на сухих листьях и уснули.

Солнышко было уже высоко, когда они проснулись. Дрожь пробрала их от утренней свежести, но на холме между деревьями просвечивало солнышко; надо было взобрать-

ся туда, решил Иб: там они согреются, и оттуда же можно будет увидеть дом его родителей. Увы! Дети находились совсем в другом конце леса, и до дому было далеко! Кое-как вскарабкались они на холм и очутились над обрывом; внизу сверкало прозрачное, светлое озеро. Рыбки так и толклись на поверхности, блестя на солнце чешуей. Такого зрелища дети и не ожидали. Вдобавок, края обрыва все поросли орешником, усыпанным орехами; в некоторых гнездышках сидело даже по семи! Дети рвали, щелкали орехи и ели нежные ядрышки, которые уже начали поспевать. Вдруг – вот страх-то! – из кустов вышла высокая старуха с коричневым лицом и черными как смоль волосами; белки ее глаз сверкали, как у негра; за спиной у нее был узел, в руках суковатая палка. Это была цыганка. Дети не сразу разобрали, что она им говорила, а она вытащила из кармана три ореха и сказала, что это волшебные орехи – в каждом спрятаны чудеснейшие вещи!

Иб поглядел на нее; она смотрела так ласково; он собрался с духом и попросил у нее орехи. Она отдала и нарвала себе полный карман свежих.

Иб и Кристиночка таращились на волшебные орехи.

– Что ж, в нем карета и лошади? – спросил Иб, указывая на один.

– Да еще золотая, и лошади тоже золотые! – ответила старуха.

– Дай его мне! – сказала Кристиночка.

Иб отдал, и старуха завязала орех в шейный платочек де-

вочки.

– А в этом есть такой хорошенький платочек, как у Кристины? – спросил Иб.

– Целых десять! – ответила старуха. – Да еще чудесные платья, чулочки и шляпа!

– Так дай мне и этот! – сказала Кристина.

Иб отдал ей и другой, и у него остался лишь один, маленький, черненький.

– Этот оставь себе! – сказала Кристина. – Он тоже хороший.

– А что в нем? – спросил Иб.

– То, что для тебя будет лучше всего! – сказала цыганка.

И Иб крепко зажал орех в руке. Цыганка пообещала детям вывести их на дорогу, и они пошли, но совсем не туда, куда надо. Из этого, однако, вовсе не следовало, что цыганка хотела украсть детей.

Наконец уж дети наткнулись как-то на лесничего Крэна. Он знал Иба и привел детей домой, где все были в страшном переполохе. Детей простили, хоть они заслуживали хороших розог, впервых, за то, что упустили в воду поросенка, а во вторых, за то, что убежали.

Кристина вернулась домой в степь, а Иб остался в лесном домике. Первым его делом в тот же вечер было вытащить из кармана свой орешек. Он прищепил его дверью, и орех раскололся, но в нем не оказалось даже зернышка – одна черная пыль, земляца, вроде нюхательного табака. Орех-то был



с червоточинкой, как говорится.

– Так я и думал! – сказал себе Иб. – Как могло бы «то, что для меня лучше всего», уместиться в таком крошечном орешке? И Кристина не получит из своих ни платьев, ни золотой кареты!

Пришла зима, пришел и Новый год.

Прошло несколько лет. Иб начал готовиться к конфирмации и ходить к священнику, а тот жил далеко. Раз зашел к ним барочник и рассказал родителям Иба, что Кристиночка поступает в услужение, – пора ей зарабатывать свой хлеб. И счастье ей везет: она поступает к хорошим, богатым людям – подумайте, к самим хозяевам постоянного двора в Хернинг-ге! Сначала она просто будет помогать хозяйке, а потом, как привыкнет к делу и конфирмуется, они оставят ее у себя со- всем.

И вот Иб распрощался с Кристиной, а их давно уже про- звали женихом и невестой. Кристиночка показала Ибу на прощанье те два орешка, что он когда-то дал ей в лесу, и ска- зала, что бережет в своем сундучке и деревянные башмач- ки, которые он вырезал для нее еще мальчиком. С тем они и расстались.

Иба конфирмовали, но он остался жить дома с матерью, прилежно резал зимою деревянные башмаки, а летом рабо- тал в поле; у матери не было другого помощника – отец Иба умер.

Лишь изредка, через почтальона да через рыбаков, полу-

чал он известия о Кристине. Ей жилось у хозяев отлично, и после конфирмации она прислала отцу письмо с поклонами Ибу и его матери. В письме говорилось также о чудесном платье и полдюжине сорочек, что подарили ей хозяева. Вести были, значит, хорошие.

Следующею весною в один прекрасный день в дверь дома Иба постучали, и явился барочник с Кристиной. Она приехала навестить отца, – выдался случай доехать с кем-то до Тэма и обратно. Она была прехорошенькая, совсем барышня на вид и одета очень хорошо; платье сидело на ней ловко и очень шло к ней, словом – она была в полном параде, а Иб встретил ее в старом, будничном платье и от смущения не знал, что сказать. Он только взял ее за руку, крепко пожал, видимо, очень обрадовался, но язык у него как-то не ворочался. Зато Кристиночка щебетала без умолку; мастерица была поговорить! И, здороваясь, она поцеловала Иба прямо в губы!

– Разве ты не узнаешь меня? – спрашивала она его. А он, даже когда они остались вдвоем, сказал только:

– Право, ты словно важная дама, Кристина, а я такой растрепа! А как часто я вспоминал тебя... и доброе старое время!

И они пошли рука об руку на кряж, любовались оттуда рекою и степью, поросшею вереском, но Иб все не говорил ни слова, и только когда пришло время расставаться, ему стало ясно, что Кристина должна стать его женой; их ведь еще в

детстве звали женихом и невестой, и ему даже показалось, что они уже обручены, хотя ни один из них никогда и не обмолвился ни о чем таком ни словом.

Всего несколько часов еще оставалось им провести вместе: Кристине надо было торопиться в Тэм, откуда она на следующее утро должна была выехать обратно домой. Отец с Ибом проводили ее до Тэма; ночь была такая светлая, лунная. Когда они дошли до места, Иб стал прощаться с Кристиной и долго-долго не мог выпустить ее руки. Глаза его так и блестели, и он наконец заговорил. Немного он сказал, но каждое его слово шло прямо от сердца:

– Если ты еще не очень привыкла к богатой жизни, если думаешь, что могла бы поселиться у нас с матерью и выйти за меня замуж, то... мы могли бы когда-нибудь пожениться!.. Но, конечно, надо обождать немного!

– Конечно, подождем! – сказала Кристина и крепко пожала ему руку, а он поцеловал ее в губы. – Я верю тебе, Иб! – продолжала она. – И думаю, что люблю тебя сама, но все же надо подумать!

С тем они и расстались. Иб сказал ее отцу, что они с Кристиной почти сговорились, а тот ответил, что давно ожидал этого. Они вернулись вместе к Ибу, и барочник переночевал у него, но о помолвке больше не было сказано ни слова.

Прошел год. Иб и Кристина обменялись двумя письмами. «Верный – верная – до гроба», подписывались они оба. Но раз к Ибу зашел барочник передать ему от Кристины поклон

и... да, тут слова как будто застряли у него в горле... В конце концов дело, однако, выяснилось. Кристине жилось очень хорошо, она была такою красавицей, все ее любили и уважали, а старший сын хозяев, приезжавший навестить родителей – он занимал в Копенгагене большое место в какой-то конторе, – полюбил ее. Ей он тоже понравился, родители, казалось, были не прочь, но Кристину, видно, очень беспокоило то, что Иб так много думает о ней... «И вот она хочет отказаться от своего счастья», – закончил барочник.

Иб не проронил сначала ни словечка, только весь побелел как полотно, затем тряхнул головою и сказал:

– Кристина не должна отказываться от своего счастья!

– Так напиши ей несколько слов! – сказал отец Кристины.

Иб и написал, но не сразу; мысли все что-то не выливались у него на бумагу, как ему хотелось, и он перечеркивал и рвал письмо за письмом в клочки. Но к утру письмо все-таки было написано. Вот оно:

«Я читал твое письмо к отцу и вижу, что тебе хорошо и будет еще лучше. Посоветуйся с своим сердцем, Кристина, подумай хорошенько о том, что ожидает тебя, если выйдешь за меня. Достатков больших у меня ведь нет. Не думай поэтому обо мне и каково мне, а думай только о своем счастье! Я тебя не связывал никаким словом, а если ты и дала его мне мысленно, то я возвращаю тебе его. Да пошлет тебе Бог всякого счастья, Кристиночка! Господь же утешит и меня!

*Вечно преданный друг твой Иб»*

Письмо было отправлено, и Кристина получила его.

Около Мартынова дня в ближней церкви огласили помолвку Кристины; в одной из церквей в Копенгагене, где жил жених, тоже. И скоро Кристина с хозяйкой отправились в столицу, — жених не мог надолго бросать свое дело. Кристина должна была, по уговору, встретиться со своим отцом в местечке Фундер — оно лежало как раз на пути, да и старику было до него недалеко. Тут отец с дочерью свиделись и расстались. Барочник зашел после того к Ибу сообщить ему о свидании с дочерью; Иб выслушал его, но не проронил в ответ ни словечка. Он стал таким задумчивым, по словам его матери. Да, он много о чем думал, между прочим и о тех трех орехах, что дала ему в детстве цыганка. Два из них он отдал Кристине; то были волшебные орехи: в одном была золотая карета и лошади, в другом — чудеснейшие платья. Вот и сбылось все. Вся эта роскошь и ждет ее теперь в Копенгагене! Да, для нее все вышло, как по писаному, а Иб нашел в своем орешке только черную пыль, землю. «То, что для тебя будет лучше всего», — сказала ему цыганка; да, так оно и есть: теперь он понимал смысл ее слов — в черной земле, в могиле, ему и будет лучше всего!

Прошло еще несколько лет; как долго тянулись они для Иба! Старики хозяева постоянного двора умерли один за другим, и все богатство, много тысяч риксдалеров, досталось сыну. Теперь Кристина могла обзавестись даже золотой каретой, а не только чудесными платьями.

Потом целых два года о Кристине не было ни слуху ни духу; наконец отец получил от нее письмо, но не радостные оно принесло вести. Бедняжка Кристина! Ни она, ни муж ее не умели беречь денег, и богатство их как пришло, так и ушло; оно не пошло им впрок – они сами того не хотели.

Вереск в поле цвел и отцветал, много раз заносило снегом и степь, и горный кряж, и уютный домик Иба. Раз весною Иб шел по полю за плугом; вдруг плуг врезался во что-то твердое – камень, как ему показалось, и из земли высунулась как будто большая черная стружка. Но когда Иб взял ее в руки, он увидал, что это не дерево, а металл, блестящий в том месте, где его резануло плугом. Это было старинное, тяжелое и большое золотое кольцо героической эпохи. На том месте, где теперь расстиралось вспаханное поле, возвышался когда-то древний могильный курган. И вот пахарь нашел сокровище. Иб показал кольцо священнику, тот объяснил ему, какое оно дорогое, и Иб пошел к местному судье; судья дал знать о драгоценной находке в Копенгаген и посоветовал Ибу лично представить ее куда следует.

– Лучше этого земля не могла дать тебе ничего! – прибавил судья.

«Вот оно! – подумал Иб. – Так все-таки земля дала мне то, что для меня лучше всего! Значит, цыганка была права!»

Иб отправился из Орхуса морем в Копенгаген. Для него это было чуть не кругосветным плаваньем, – до сих пор он ведь плавал лишь по своей речке Гудено. И вот он добрал-

ся до Копенгагена. Ему выплатили полную стоимость находки, большую сумму: целых шестьсот риксдалеров. Несколько дней бродил степняк Иб по чужому, огромному городу и однажды вечером, как раз накануне отъезда обратно в Орхус, заблудился, перешел какой-то мост и вместо того, чтобы идти к Западным воротам, попал в Кристианову гавань. Он, впрочем, и теперь шел на запад, да только не туда, куда надо. На улице не было ни души. Вдруг из одного убогого домика вышла маленькая девочка. Иб попросил ее указать ему дорогу; она испуганно остановилась, поглядела на него, и он увидел, что она горько плачет. Иб сейчас же спросил – о чем; девочка что-то ответила, но он не разобрал. В это время они очутились у фонаря, и свет упал девочке прямо в лицо – Иб глазам своим не поверил: перед ним стояла живая Кристиночка, какою он помнил ее в дни ее детства!

Иб вошел вслед за малюткой в бедный дом, поднялся по узкой, скользкой лестнице на чердак, в маленькую каморку под самой крышей. На него пахнуло тяжелым, удушливым воздухом; в каморке было совсем темно и тихо; только в углу слышались чьи-то тяжелые вздохи. Иб чиркнул спичкою. На жалкой постели лежала мать ребенка.

– Не могу ли я помочь вам? – спросил Иб. – Малютка зазвала меня, но я приезжий и никого здесь не знаю. Скажите же, нет ли тут каких-нибудь соседей, которых бы можно было позвать к вам на помощь?

И он приподнял голову больной.

Это была Кристина из степи Сейс. Много лет при Ибе не упоминалось даже ее имени – это бы потревожило его, тем более что слухи о ней доходили самые неутешительные. Молва правду говорила, что большое наследство совсем вскружило голову мужу Кристины; он отказался от места, поехал за границу, прожил там полгода, вернулся обратно и стал прожигать денежки. Все больше и больше наклонялась телега и наконец опрокинулась вверх дном! Веселые друзья-собутыльники заговорили, что этого и нужно было ожидать, – разве можно вести такую сумасшедшую жизнь? И вот однажды утром его вытащили из дворцового канала мертвым!

Дни Кристины тоже были сочтены; младший ребенок ее, рожденный в нищете, уже умер, и сама она собиралась последовать за ним... Умирающая, всеми забытая, лежала она в такой жалкой каморке, какою могла еще, пожалуй, довольствоваться в дни юности, в степи Сейс, но не теперь, после того как успела привыкнуть к роскоши и богатству. И вот случилось, что старшая ее дочка, тоже Кристиночка, терпевшая холод и голод вместе с матерью, встретила Иба!

– Я боюсь, что умру, оставлю мою бедную крошку круглой сиротой! – простонала больная. – Куда она денется?!

Больше она говорить не могла.

Иб опять зажег спичку, нашел огарок свечки, зажег его и осветил жалкую каморку.

Потом он взглянул на ребенка и вспомнил Кристиночку –



подругу детских лет... Да, ради той Кристиночки он должен взять на себя заботы об этой, чужой для него девочке! Умирающая взглянула на него, глаза ее широко раскрылись... Узнала ли она его? Неизвестно; он не услышал от нее больше ни единого слова.

Мы опять в лесу, у реки Гудено, близ степи Сейс. Осень; небо серо, вереск оголился, западные ветры так и рвут с деревьев пожелтевшие листья, швыряют их в реку, разметывают по степи, где по-прежнему стоит домик, крытый вереском, но живут в нем уже чужие люди. А у подножия горного кряжа, в защищенном от ветра месте, за высокими деревьями, стоит старый домик, выбеленный и выкрашенный заново. Весело пылает огонек в печке, а сама комнатка озаряется солнечным сиянием: оно льется из двух детских глазок, из розового смеющегося ротика раздается щебетание жаворонка; весело, оживленно в комнате: тут живет Кристиночка. Она сидит у Иба на коленях; Иб для нее и отец и мать, настоящих же своих родителей она забыла, как давний сон. Иб теперь человек зажиточный и живет с Кристиночкой припеваючи. А мать девочки покоится на кладбище для бедных в Копенгагене.

У Иба водятся в сундуке деньжонки; он достал их себе из земли, – говорят про него. У Иба есть теперь и Кристиночка!

# Последняя жемчужина

То был богатый, счастливый дом! Все в доме – и господа, и слуги, и друзья дома – радовались и веселились: в семье родился наследник – сын. И мать и дитя были здоровы.

Лампа, висевшая в уютной спальне, была задернута с одной стороны занавеской; тяжелые, дорогие шелковые гардины плотно закрывали окна; пол был устлан толстым, мягким, как мох, ковром; все располагало к сладкой дремоте, ко сну, к отдыху. Не мудрено, что сиделка заснула; да и пусть себе – все обстояло благополучно. Гений домашнего очага стоял у изголовья кровати; головку ребенка, прильнувшего к груди матери, окружал словно венчик из ярких звезд; каждая была жемчужиной счастья. Все добрые феи принесли новорожденному свои дары; в венце блестели жемчужины: здоровья, богатства, счастья, любви – словом, всех благ земных, каких только может пожелать себе человек.

– Все дано ему! – сказал гений.

– Нет! – раздался близ него чей-то голос. То говорил ангел-хранитель ребенка. – Одна фея еще не принесла своего дара, но принесет его со временем, хотя, может быть, и не скоро. В венце недостает последней жемчужины!

– Недостает! Этого не должно быть! Если же это так, нам надо отыскать могущественную фею, пойти к ней сейчас же!

– Она явится в свое время и принесет свою жемчужину,

которая должна замкнуть венец!

— Где же обитает эта фея? Где ее жилище? Скажи мне, и я пойду за жемчужиной!

— Хорошо! — сказал ангел-хранитель ребенка. — Я сам проведу тебя к ней, все равно, где бы ни пришлось нам искать ее! У нее нет ведь постоянного жилища! Она появляется и в королевском дворце и в жалкой крестьянской хижине! Она не обойдет ни одного человека, каждому принесет свой дар — будь то целый мир или пустяк! И к этому ребенку она придет в свое время! Но, по-твоему, выжидание не всегда впрок, — хорошо, поспешим же отправиться за жемчужиной, последней жемчужиной, которой недостает в этом великолепном венце!

И они рука об руку полетели туда, где пребывала в тот час фея.

Они очутились в большом доме, но в коридорах было темно, в комнатах пусто и необыкновенно тихо; длинный ряд окон стоял отворенным, чтобы впустить в комнаты свежий воздух; длинные белые занавеси были спущены и колыхались от ветра.

Посреди комнаты стоял открытый гроб; в нем покоилась женщина в расцвете лет. Покойница вся была усыпана розами, виднелись лишь тонкие, сложенные на груди руки да лицо, хранившее светлое и в то же время серьезное, торжественное выражение.

У гроба стояли муж покойной и дети. Самого младшего

отец держал на руках; они подошли проститься с умершею. Муж поцеловал ее пожелтевшую, сухую, как увядший лист, руку, которая еще недавно была такою сильною, крепкою, с такою любовью вела хозяйство и дом. Горькие слезы падали на пол, но никто не проронил ни слова. В этом молчании был целый мир скорби. Молча, подавляя рыдания, вышли все из комнаты.

В комнате горела свеча; пламя ее колебалось от ветра и вспыхивало длинными красными языками. Вошли чужие люди, закрыли гроб и стали забивать крышку гвоздями. Гулко раздавались удары молота в каждом уголке дома, ударяя по сердцам, обливавшимся кровью.

– Куда ты привел меня? – спросил гений домашнего очага. – Тут нет феи, чей дар, жемчужина, принадлежал бы к лучшим благам жизни!

– Она тут! – сказал ангел-хранитель и указал на фигуру, сидевшую в углу. На том самом месте, где сживала, бывало, при жизни мать семейства, окруженная цветами и картинами, откуда она, как благодетельная фея домашнего очага, ласково улыбалась мужу, детям и друзьям, откуда она, ясное солнышко, душа всего дома, разливала вокруг свет и радость – там сидела теперь чужая женщина в длинном одеянии. То была скорбь; теперь она была госпожой в доме, она заняла место умершей. По щеке ее скатилась жгучая слеза и превратилась в жемчужину, отливавшую всеми цветами радуги. Ангел-хранитель подхватил ее, и она засияла яркою семи-

цветною звездою.

– Вот она, жемчужина скорби, последняя жемчужина, без которой не полон венец земных благ! Она еще ярче оттеняет блеск и красоту других. Видишь в ней сияние радуги – моста, соединяющего землю с небом? Теряя близкое, дорогое лицо здесь, на земле, мы приобретаем друга на небе, по которому будем тосковать. И в тихие звездные ночи мы невольно обращаем взор к небу, к звездам, где ждет нас иная, совершенная жизнь. Взгляни на жемчужину скорби: в ней скрыты крылья Психеи, которые уносят нас из этого мира!

## «Пропавшая»

Городской судья стоял у открытого окна; на нем была крахмальная рубашка, в манишке красовалась дорогая булавка, выбрит он был безукоризненно – сам всегда брился. На этот раз он, впрочем, как-то порезался, и царапинка была заклеена клочком газетной бумаги.

– Эй ты, малый! – закричал он.

«Малый» был не кто иной, как прачкин сынишка; он проходил мимо, но тут остановился и почтительно снял фуражку с переломанным козырьком, – тем удобнее было совать ее в карман. Одет мальчуган был бедно, но чисто; на все дыры были аккуратно наложены заплатки; обут он был в тяжелые деревянные башмаки и стоял перед городским судьей навытяжку, словно перед самим королем.

– Ты славный мальчик! – сказал городской судья. – Почтительный мальчик! Мать, верно, полощет белье на речке, а ты тащишь ей кое-что? Вишь, торчит из кармана! Скверная привычка у твоей матери! Сколько у тебя там?

– Полкосушки, – ответил мальчик тихо, испуганно.

– Да утром ты отнес ей столько же? – продолжал городской судья.

– Нет, это вчера! – сказал мальчуган.

– Две полкосушки – вот уже и целая! Пропавшая она женщина! Просто беда с этим народом! Скажи своей матери, что

стыдно ей! Да гляди, сам не сделайся пьяницей! Впрочем, что и говорить; конечно, сделаешься! Бедный ребенок... Ну, ступай!

Мальчик пошел; фуражка так и осталась у него в руках, и ветер развеивал его длинные белокурые волосы. Вот он прошел улицу, свернул в переулок и дошел до реки. Мать его стояла в воде и колотила вальком разложенное на деревянной скамье мокрое, тяжелое белье. Течение было сильное; мельничные шлюзы были открыты – простыню, которую женщина полоскала, так и рвало у нее из рук, скамья тоже грозила опрокинуться, и прачка просто из сил выбивалась.

– Я чуть-чуть не уплыла сама! – сказала она. – Хорошо, что ты пришел, надо мне подкрепиться маленько. Вода холодная-прехолодная, а я вот уже шесть часов стою тут! Принес ты что-нибудь?

Мальчик вытащил бутылочку; мать приложила ее ко рту и хлебнула.

– Как славно! Сразу согреешься, точно поешь чего-нибудь горяченького, а стоит-то куда дешевле! Хлебни и ты, мальчуган! Ишь ты, какой бледный! Холодно тебе в легоньком платишке! Осень ведь на дворе! У! Вода прехолодная! Только бы мне не захворать! Дай-ка мне еще глотнуть, да глотни и сам, только чуть-чуть! Тебе не надо привыкать к этому, бедняжка мой!

И она обошла мостки, на которых стоял мальчуган, и вышла на берег. Вода бежала с рогожки, которою она обвяза-

лась вокруг пояса, текла с подола юбки.

– Я работаю изо всех сил, кровь чуть не брызжет у меня из-под ногтей!.. Да пусть, только бы удалось вывести в люди тебя, мой голубчик!

В это время к ним подошла бедно одетая старуха; она прихрамывала на одну ногу, и один глаз у нее был прикрыт большим локоном, отчего изъян был еще заметнее. Старуха была дружна с прачкой, а звали ее соседи «хромою Марен с локоном».

– Бедняжка, вот как приходится тебе работать! Стоишь по колено в холодной воде! Как тут не глотнуть разок-другой, чтобы согреться! А люди-то считают каждый твой глоток!

И она пересказала прачке слова городского судьи. Марен слышала, что он говорил мальчику, и очень рассердилась на него, – можно ли говорить так с ребенком о его же собственной матери да считать всякий ее глоток, когда сам задаешь званый обед, где вино будет литься рекою, и вино-то дорогое, крепкое! Небось сами пьют – не считают, и все-таки они не пьяницы, люди достойные, а ты вот «пропащая»!

– Так он и сказал тебе, сынок? – спросила прачка, и губы ее задрожали. – Мать твоя – пропащая! Что ж, может быть, он и прав! Но не следовало бы говорить этого ребенку!.. Да, не впервой терпеть мне от этого семейства!

– Правда, вы ведь служили еще у родителей судьи! Давненько это было, много пудов соли съедено с тех пор, не мудрено, что и пить хочется! – И Марен рассмеялась. – Сегодня



у городского судьи назначен званый обед; хотели было отменить, да уж поздно было, все было готово. Я от дворника все это узнала. С час тому назад пришло письмо, что младший брат судьи умер в Копенгагене.

– Умер! – проговорила прачка и побледнела как смерть.

– Что с вами? – спросила Марен. – Неужто вы так близко принимаете это к сердцу? Ах да, ведь вы знавали его!

– Так он умер!.. Лучше, добрее его не было человека на свете. Не много у Господа Бога таких, как он! – И слезы потекли по ее щекам. – О Господи, голова так и кружится! Это оттого, что я выпила всю бутылку! Не следовало бы! Мне так скверно!

И она схватилась за забор.

– Ох, да вы совсем больны, матушка! – сказала Марен. – Ну, ну, придите же в себя!.. Нет, вам и взаправду плохо! Све-ду-ка я вас лучше домой!

– А белье-то!

– Ну, я возьмусь за него!.. Держитесь за меня! Мальчуган пусть покараулит тут, пока я вернусь и дополощу. Сушная безделица осталась!

Ноги у прачки подкашивались.

– Я слишком долго стояла в холодной воде! И с самого утра у меня не было во рту ни крошки! Лихорадка так и бьет! Господи Иисусе! Хоть бы до дому-то добраться! Бедный мой мальчик!

И она заплакала.

Мальчик тоже заплакал и остался у реки стеречь белье. Женщины продвигались вперед шаг за шагом, прачка едва тащилась, прошли переулок, улицу, но перед домом судьи больная вдруг свалилась на мостовую. Вокруг нее собралась толпа. Хромая Марен побежала во двор за помощью. Судья со своими гостями смотрел из окна.

– Это прачка! – сказал он. – Хлебнула лишнее! Пропавшая женщина! Жаль только славного мальчугана, сынишку ее! А мать-то пропавшая!

Прачку привели в себя, отнесли домой в ее жалкую каморку и уложили в постель. Марен приготовила для больной питье – теплое пиво с маслом и с сахаром, лучшее средство, какое она только знала, а потом отправилась дополаскивать белье. Выполоскала она его очень плохо, зато от доброго сердца; собственно говоря, она только повытаскала мокрое белье на берег и уложила в корзину.

Вечером Марен опять сидела в жалкой каморке возле прачки. Кухарка городского судьи дала ей для больной славный кусок ветчины и немножко жареного картофеля; все это пошло самой Марен и мальчику, а больная наслаждалась одним запахом.

– Он такой питательный! – говорила она. Мальчик улегся на ту же самую постель, на которой лежала и мать; он лег у нее в ногах, поперек кровати, и покрылся старым половиком, собранным из голубых и красных лоскутков.

Прачке стало немножко полегче; горячее пиво подкрепи-

ло ее, а запах теплого кушанья подбодрил.

– Спасибо тебе, добрая душа! – сказала она Марен. – Когда мальчик уснет, я расскажу тебе все! Да он уж и спит, кажется! Взгляни, какой он славный, хорошенький с закрытыми глазками! Он и не знает, каково приходится его бедной матери, да, Бог даст, и никогда не узнает!.. Я служила у советника и советницы, родителей судьи, и вот, случись, что самый младший из сыновей приехал на побывку домой; студент он был. Я в ту пору была еще молоденькою, шустрою, но честною девушкой, – вот как перед Богом говорю! И студент-то был такой веселый, славный, а уж честнее, благороднее его не нашлось бы человека во всем свете! Он был хозяйский сын, а я простая служанка, но мы все-таки полюбили друг друга... честно и благородно! Поцеловаться разок-другой ведь не грех, если любишь друг друга всем сердцем. Он во всем признался матери; он так уважал и почитал ее, чуть не молился на нее! И она была такая умная, ласковая, добрая. Он уехал, но перед отъездом надел мне на палец золотое кольцо. Как уехал он, меня и призывает сама госпожа и начинает говорить со мною так серьезно и вместе с тем так ласково, как ангел небесный. Она объяснила мне, какое между мною и им расстояние по уму и образованию. «Теперь он глядит лишь на твое личико, но красота ведь пройдет, а ты не так воспитана, не так образована, как он. Неровня вы – вот в чем вся беда. Я уважаю бедных, и в царствии небесном они, может быть, займут первые места, но тут-то, на земле,

нельзя заезжать в чужую колею, если хочешь ехать вперед – и экипаж сломается, и вы оба вывалитесь! Я знаю, что за тебя сватался один честный, хороший работник, Эрик-перчаточник. Он бездетный вдовец, человек дельный и не бедный, – подумай же хорошенько!» Каждое ее слово резало меня, как ножом, но она говорила правду, вот это-то и мучило меня! Я поцеловала у нее руку и заплакала... Еще горше плакала я в своей каморке, лежа на постели... Один Бог знает, что за ночьку я провела, как я страдала и боролась с собою! Утром – это было в воскресенье – я отправилась к причастию в надежде, что Бог просветит мой ум. И вот он точно послал мне свое знамение: иду из церкви, а навстречу мне Эрик. Тут уж я перестала и колебаться – и впрямь, ведь мы были парой, хоть он и был человеком зажиточным. Вот я и подошла к нему, взяла его за руку и сказала:

«Ты все еще любишь меня по-прежнему?»

«Люблю и буду любить вечно!» – отвечал он.

«А хочешь ли ты взять за себя девушку, которая уважает тебя, но не любит, хотя, может быть, и полюбит со временем?»

«Полюбит непременно!» – сказал он, и мы подали друг другу руки. Я вернулась домой к госпоже. Золотое кольцо, что дал мне студент, я носила на груди, – я не смела надевать его на палец днем и надевала только по вечерам, когда ложилась спать. Я поцеловала кольцо так крепко, что кровь брызнула у меня из губ, потом отдала его госпоже и сказа-

ла, что на следующей неделе в церкви будет оглашение, — я выхожу за Эрика. Госпожа обняла меня и поцеловала... Она вот не говорила, что я «пропащая». Но, может статься, я в те времена, и правда, была лучше, хоть и не испытала еще столько горя! Сыграли свадьбу, и первый год дела у нас шли отлично; мы держали подмастерья и мальчика, да ты, Марен, служила у нас...

— И какую славную хозяйскою были вы! — сказала Марен. — Оба вы с мужем были такие добрые! Век не забуду!..

— Да, ты жила у нас в хорошие годы! Детей у нас тогда еще не было... Студента я больше не видала... Ах нет, видала раз, но он-то меня не видел! Он приезжал на похороны матери. Я видала его у ее могилы. Какой он был бледный, печальный! Понятно — горевал по матери. Когда же умер его отец, был в чужих краях и не приезжал, да и после не бывал ни разу. Он так и не женился! Кажется, он сделался адвокатом. Обо мне он и не вспоминал, и если бы даже увидел меня, не узнал бы — такую я стала безобразною. Да так оно и лучше.

Потом она стала рассказывать про тяжелые дни, когда одна беда валилась на них за другою. У них было пятьсот талеров, а в их улице продавался дом за двести; выгодно было купить его да сломать и построить на том же месте новый. Вот они и купили. Каменщики и плотники сделали смету, и вышло, что постройка будет стоить тысячу двадцать риксдалеров. Эрик имел кредит, и ему ссудили эту сумму из Копенгагена, но шкипер, который вез ее, погиб в море, а с ним

и деньги.

— Тогда-то вот и родился мой милый сынок! А отец впал в тяжелую, долгую болезнь; девять месяцев пришлось мне одевать и раздевать его, как малого ребенка. Все пошло у нас прахом, задолжали мы кругом, все прожили; наконец умер и муж. Я из сил выбивалась, чтобы прокормиться с ребенком, мыла лестницы, стирала белье, и грубое и тонкое, но нужда одолевала нас все больше и больше... Так, видно, Богу угодно!.. Но когда-нибудь да он сжалится надо мною, освободит меня и призрит мальчугана!

И она уснула.

Утром она чувствовала себя бодрее и решила, что может идти на работу. Но едва она ступила в холодную воду, с ней сделался озноб, и силы оставили ее. Судорожно взмахнула она рукой, сделала шаг вперед и упала. Голова попала на сухое место, на землю, а ноги остались в воде; деревянные башмаки ее с соломенною подстилкой поплыли по течению. Тут ее и нашла Марен, которая принесла ей кофе.

А от судьи пришли в это время сказать прачке, чтобы она сейчас же шла к нему; ему надо было что-то сообщить ей. Поздно! Послали было за цирюльником, чтобы пустить ей кровь, но прачка уже умерла.

— Опилась! — сказал судья.

А в письме, принесшем известие о смерти младшего брата, было сообщено и о его завещании. Оказалось, что он отдал вдове перчаточника, служившей когда-то его родите-

лям, шестьсот риксдалеров. Деньги эти могли быть выданы сразу или понемножку – как найдут лучшим – ей и ее сыну.

– Значит, у нее были кое-какие дела с братцем! – сказал судья. – Хорошо, что ее нет больше в живых! Теперь мальчик получит все, и я постараюсь отдать его в хорошие руки, чтобы из него вышел дельный работник.

И Господь Бог благословил это решение.

Судья призвал к себе мальчика и обещал заботиться о нем, а мать, дескать, отлично сделала, что умерла, – пропадавшая была!

Прачку похоронили на кладбище для бедных. Марен посадила на могиле розовый куст; мальчик стоял тут же.

– Мамочка! – сказал он и заплакал. – Правда ли, что она была пропадающая?

– Неправда! – сказала старуха и взглянула на небо. – Я успела узнать ее, особенно за последнюю ночь! Хорошая она была женщина! И Господь Бог скажет то же самое, когда примет ее в царство небесное! А люди пусть себе называют ее пропащей!

# На краю моря

К Северному полюсу было послано несколько кораблей, чтобы отыскать крайнюю точку земли, на которую может ступить нога человеческая. Уже больше года плыли корабли среди туманов и льдов, преодолевая страшные трудности. Но вот наступила зима, солнце скрылось, и настала долгая-долгая полярная ночь. Все видимое пространство сплошь покрылось льдом, и корабли были словно закованы во льдах. Вся земля была занесена снегом; из него-то и понаделали себе моряки невысоких ульеобразных жилищ. Некоторые из них были большие, величиной с наши древние могильные курганы, другие поменьше, — так что вмещали не больше двух — четырех человек. Стояла ночь, но было довольно светло. Северное сияние разбрасывало целые снопы красных и голубых искр. Вечный величественный фейерверк! Снег так и сверкал, и ночь походила скорее на затянувшийся рассвет. Когда северное сияние горело особенно ярко, к морякам являлись туземцы в диковинных одеждах из тюленьих и оленьих шкур, вывороченных мехом наружу; приезжали они на салазках, сбитых из льдин, и привозили груды мехов. Моряки делали себе из них одеяла и постели и, зарывшись в них, отлично спали под своими снежными кровлями, не чувствуя холода. А на воле в это время трещал такой мороз, о котором мы здесь и понятия не имеем даже в самые суровые зимы. У



нас в то время стояла еще осень, и моряки вспоминали среди полярной природы теплое родное солнышко и ярко-желтую осеннюю листву.

Часы показывали поздний час вечера, время было ложиться спать. В одном из снежных жилищ двое матросов и улеглись уже. Младший из них привез с собою из родного дома лучшее его сокровище – Библию, которую подарила ему на прощанье бабушка, и ночью книга всегда лежала у юноши под изголовьем. С детства знал он каждое слово в ней, каждый день прочитывал из нее страницу-другую, и не раз, лежа, как теперь, в постели, вспоминал утешительные слова Священного Писания: «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя». Утешенный и подкрепленный верою, он закрыл глаза, заснул и увидел сон – откровение Божье. Тело покоилось, душа же бодрствовала и жила напряженной жизнью. Ему чудилось, что вокруг него раздаются звуки знакомых, любимых песен, он чувствовал над собою какое-то теплое, мягкое веяние, видел вверху какой-то белый свет, словно струившийся сквозь крышу. Он поднял голову – белое сияние исходило не от стен или потолка, но лилось от больших крыльев ангела. Матрос взглянул на его кроткий, светлый лик. Ангел поднялся из страниц Библии, словно из чашечки лилии, распростер руки, и стены хижины растаяли, как легкий туман. Взору матроса открылись зеленые поля и холмы, темно-коричневые леса, чудно освещенные осенним

солнышком. Гнезда аистов уж опустели, но на диких яблонях еще висели яблоки, хотя листья и опали. Ярко-красные плоды шиповника горели на солнышке, как жар; в маленькой зеленой клетке над окном крестьянской избушки насвистывал свою песенку скворец. Матрос узнал свой дом, свой родной дом! Скворец свистел заученную песенку, а бабушка давала ему свежего мокричника, как, бывало, делывал ее внук. Молоденькая, хорошенькая дочка кузнеца брала из колодца воду и поклонилась бабушке, а бабушка поманила ее к себе письмом. Оно пришло сегодня утром из холодных стран, с дальнего севера, где находился ее внук – под покровом десницы Господней. Женщины плакали и смеялись, читая письмо, а он, осененный крылами ангела, видел и слышал все из своей снежной хижины в минуту духовного просветления, смеялся и плакал вместе с ними! Были прочитаны из его письма и слова Священного Писания: «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя». Дивный псалом прозвучал в воздухе, и ангел накрыл спящего своим крылом, словно мягким покрывалом; видение исчезло, в снежном домике стало темно, но Библия по-прежнему лежала под головою матроса, вера и надежда жили в его сердце. И Бог был с ним, и родина была с ним всюду, даже «на краю моря».

# Свинья-копилка

Ну и игрушек было в детской! А высоко, на шкафу, стояла копилка – свинья. В спине у нее, конечно, была щель, и ее еще чуть-чуть расширили ножом, чтобы проходили и монеты покрупнее. В свинье лежали уже две серебряные монеты, да еще и много мелочи, – она была набита битком и даже не брякала больше, а уж дальше этого ни одной свинье с деньгами идти некуда! Стояла она на шкафу и смотрела на все окружающее сверху вниз, – ей ведь ничего не стоило купить все это: брюшко у нее было тугое, ну, а такое сознание удовлетворит хоть кого.

Все окружающие и имели это в виду, хоть и не говорили о том, – у них было о чем поговорить и без этого. Ящик комода стоял полуоткрытым, и оттуда высунулась большая кукла. Она была уже немолода и с подклеенною шеей. Поглядев по сторонам, она сказала:

– Будем играть в людей, – все-таки какое-то занятие!

Поднялась возня, зашевелились даже картины на стенах, показывая, что и у них есть обратная сторона, хотя вовсе не имели при этом в виду вступать с кем-либо в спор.

Была полночь; в окна светил месяц, предлагая всем даровое освещение. Участвовать в игре были приглашены все, даже детская коляска, хотя она и принадлежала к более громоздкому, низшему сорту игрушек.

– Всяк хорош по-своему! – говорила она. – Не всем же быть благородными, надо кому-нибудь и дело делать, как говорится!

Свинья с деньгами одна только получила письменное приглашение: она стояла так высоко, что устное могло и не дойти до нее – думали игрушки. Она и теперь не ответила, что придет, да и не пришла! Нет, уж если ей быть в компании, то пусть устроят так, чтобы она видела все с своего места. Так и сделали.

Кукольный театр поставили прямо перед ней, – вся сцена была как на ладони. Начать хотели комедией, а потом предполагалось общее угощение чаем и обмен мнениями. С этого, впрочем, и началось. Лошадь-качалка заговорила о тренировке и о чистоте породы, детская коляска – о железных дорогах и силе пара: все это было по их части, так кому же было и говорить об этом, как не им? Комнатные часы держались политики – тики-тики! Они знали, когда надо «ловить момент», но отставали, как говорили о них злые языки. Камышовая тросточка гордилась своим железным башмачком и серебряным колпачком: она была ведь обита и сверху и снизу. На диване лежали две вышитые подушки, премиленькие и преглупенькие. И вот началось представление.

Все сидели и смотрели; зрителей просили щелкать, хлопать и грохотать в знак одобрения. Но хлыстик сейчас же заявил, что не «щелкает» старухам, а только непросватанным барышням.

– А я так хлопаю всем! – сказал пистон.

«Где-нибудь да надо стоять!» – думала плевательница.

У каждого были свои мысли!

Комедия не стоила медного гроша, но сыграна была блестяще. Все исполнители показывались публике только раскрашенною стороною; с оборотной на них не следовало и смотреть. Все играли отлично, правда, уже не на сцене: нитки были слишком длинны; зато исполнителей было виднее. Склеенная кукла так расчувствовалась, что совсем расклеилась, а свинья с деньгами ощутила в брюшке такое благодушие, что решила сделать что-нибудь для одного из актеров – например, упомянуть его в своем завещании как достойного быть погребенным вместе с нею, когда придет время.

Все были в таком восторге, что отказались даже от чая и прямо перешли к обмену мнениями, – это и называлось играть в людей, и отнюдь не в насмешку. Они ведь только играли, причем каждый думал лишь о самом себе да о том, что подумает о нем свинья с деньгами. А свинья совсем задумалась о своем завещании и погребении: «Когда придет время...» Увы! Оно приходит всегда раньше, чем ожидают, – бац! Свинья свалилась со шкафа и разбилась вдребезги; монетки так и запрыгали по полу. Маленькие вертелись волчками, крупные солидно катились вперед. Особенно долго катилась одна – ей очень хотелось людей посмотреть и себя показать. Ну, и отправилась гулять по белу свету; отправились и все остальные, а черепки от свиньи бросили в помойное

ведро. Но на шкафу на другой же день красовалась новая свинья-копилка. У нее в желудке было еще пусто, и она тоже не брякала, – значит, была похожа на старую. Для начала и этого довольно; довольно и нам, кончим!

# Бутылочное горлышко

В узком, кривом переулке, в ряду других жалких домишек, стоял узенький, высокий дом, наполовину каменный, наполовину деревянный, готовый расползтись со всех концов. Жили в нем бедные люди; особенно бедная, убогая обстановка была в каморке, ютившейся под самую крышей. За окном каморки висела старая клетка, в которой не было даже настоящего стаканчика с водой: его заменяло бутылочное горлышко, заткнутое пробкой и опрокинутое вниз закупоренным концом. У открытого окна стояла старая девушка и угощала коноплянку свежим мокричником, а птичка весело перепрыгивала с жердочки на жердочку и заливалась песенкой.

«Тебе хорошо петь!» – сказала бутылочное горлышко, конечно не так, как мы говорим, – бутылочное горлышко не может говорить – оно только подумало, сказала это про себя, как иногда мысленно говорят сами с собою люди. «Да, тебе хорошо петь! У тебя небось все кости целы! А вот попробовала бы ты лишиться, как я, всего туловища, остаться с одной шеей да ртом, к тому же заткнутым пробкой, небось не запела бы! Впрочем, и то хорошо, что хоть кто-нибудь может веселиться! Мне не с чего веселиться и петь, да я и не могу нынче петь! А в былые времена, когда я была еще целою бутылкой, и я запевала, если по мне водили мокрою проб-

кой. Меня даже звали когда-то жаворонком, большим жаворонком! Я бывала и в лесу! Как же, меня брали с собою в день помолвки скорняковой дочки. Да, я помню все так живо, как будто дело было вчера! Много я пережила, как подумаю, прошла через огонь и воду, побывала и под землею и в поднебесье, не то что другие! А теперь я опять парю в воздухе и греюсь на солнышке! Мою историю стоит послушать! Но я не рассказываю ее вслух, да и не могу».

И горлышко рассказало ее самому себе, вернее, продумало ее про себя. История и в самом деле была довольно замечательная, а коноплянка в это время знай себе распевала в клетке. Внизу, по улице шли и ехали люди, каждый думал свое или совсем ни о чем не думал, – зато думало бутылочное горлышко!

Оно вспоминало огненную печь на стеклянном заводе, где в бутылку вдунули жизнь, помнило, как горяча была молодая бутылка, как она смотрела в бурлящую плавильную печь – место своего рождения, – чувствуя пламенное желание броситься туда обратно. Но мало-помалу она остыла и вполне примирилась с своим новым положением. Она стояла в ряду других братьев и сестер. Их был тут целый полк! Все они вышли из одной печки, но некоторые были предназначены для шампанского, другие для пива, а это разница! Впоследствии случается, конечно, что и пивная бутылка наполняется драгоценным *lacrimae Christi*, а шампанская – ваксою, но все же природное назначение каждой сразу выдается ее фасоном, –



благородная останется благородной даже с ваксой внутри!

Все бутылки были упакованы; наша бутылка тоже; тогда она и не предполагала еще, что кончит в виде бутылочно-го горлышка в должности стаканчика для птички, – должно-сти, впрочем, в сущности, довольно почтенной: лучше быть хоть чем-нибудь, нежели ничем! Белый свет бутылка увидела только в ренсковом погребе; там ее и других ее товарок распаковали и выполоскали – вот странное было ощущение! Бутылка лежала пустая, без пробки, и ощущала в желудке какую-то пустоту, ей как будто чего-то недоставало, а чего – она и сама не знала. Но вот ее налили чудесным вином, закупорили и запечатали сургучом, а сбоку наклеили ярлы-чок: «Первый сорт». Бутылка как будто получила высшую отметку на экзамене; но вино и в самом деле было хорошее, бутылка тоже. В молодости все мы поэты, вот и в нашей бу-тылке что-то так и играло и пело о таких вещах, о которых сама она и понятия не имела: о зеленых, освещенных солн-цем горах с виноградниками по склонам, о веселых девуш-ках и парнях, что с песнями собирают виноград, целуются и хохочут... Да, жизнь так хороша! Вот что бродило и пело в бутылке, как в душе молодых поэтов, – они тоже зачастую сами не знают, о чем поют.

Однажды утром бутылку купили, – в погреб явился маль-чик от скорняка и потребовал бутылку вина самого перво-го сорта. Бутылка очутилась в корзине рядом с окороком, сыром и колбасой, чудеснейшим маслом и булками. Дочка

скорняка сама укладывала все в корзинку. Девушка была молоденькая, хорошенькая; черные глазки ее так и смеялись, на губах играла улыбка, такая же выразительная, как и глазки. Ручки у нее были тонкие, мягкие, белые-пребелые, но грудь и шейка еще белее. Сразу было видно, что она одна из самых красивых девушек в городе и – представьте – еще не была просватана!

Вся семья отправлялась в лес; корзинку с припасами девушка везла на коленях; бутылочное горлышко высовывалось из-под белой скатерти, которою была накрыта корзина. Красная сургучная головка бутылки глядела прямо на девушку и на молодого штурмана, сына их соседа-живописца, товарища детских игр красотики, сидевшего рядом с нею. Он только что блестяще сдал свой экзамен, а на следующий день уже должен был отплыть на корабле в чужие страны. Об этом много толковали во время сборов в лес, и в эти минуты во взоре и в выражении личика хорошенькой дочки скорняка не замечалось особенной радости.

Молодые люди пошли бродить по лесу. О чем они беседовали? Да, вот этого бутылка не слыхала: она ведь оставалась в корзине и успела даже соскучиться, стоя там. Но наконец ее вытащили, и она сразу увидала, что дела успели за это время принять самый веселый оборот: глаза у всех так и смеялись, дочка скорняка улыбалась, но говорила как-то меньше прежнего, щечки же ее так и цвели розами.

Отец взял бутылку с вином и штопор... А странное ощу-

щение испытываешь, когда тебя откупоривают в первый раз! Бутылка никогда уже не могла забыть той торжественной минуты, когда пробку из нее точно вышибло и у нее вырвался глубокий вздох облегчения, а вино забулькало в стаканы: клю-клю-клюд!

— За здоровье жениха и невесты! — сказал отец, и все опорожнили свои стаканы до дна, а молодой штурман поцеловал красотку невесту.

— Дай бог вам счастья! — прибавили старики. Молодой моряк еще раз наполнил стаканы и воскликнул:

— За мое возвращение домой и нашу свадьбу ровно через год! — И когда стаканы были осушены, он схватил бутылку и подбросил ее высоко-высоко в воздух: — Ты была свидетельницей прекраснейших минут моей жизни, так не служи же больше никому!

Дочке скорняка и в голову тогда не приходило, что она опять увидит когда-нибудь ту же бутылку высоко-высоко в воздухе, а пришлось-таки.

Бутылка упала в густой тростник, росший по берегам маленького лесного озера. Бутылочное горлышко живо еще помнило, как она лежала там и размышляла: «Я угостила их вином, а они угощают меня теперь болотною водой, но, конечно, от доброго сердца!» Бутылке уже не было видно ни жениха, ни невесты, ни счастливых старичков, но она еще долго слышала их веселое ликование и пение. Потом явились два крестьянских мальчугана, заглянули в тростник,

увидали бутылку и взяли ее, — теперь она была пристроена.

Жили мальчуганы в маленьком домике в лесу. Вчера старший брат их, матрос, приходил к ним прощаться — он уезжал в дальнее плавание; и вот мать возилась теперь, укладывая в его сундук то то, то другое, нужное ему в дорогу. Вечером отец сам хотел отнести сундук в город, чтобы еще раз проститься с сыном и передать ему благословение матери. В сундук была уложена и маленькая бутылочка с настойкой. Вдруг явились мальчики с большою бутылкой, куда лучше и прочнее маленькой. В нее настойки могло войти гораздо больше, а настойка-то была очень хорошая и даже целебная — полезная для желудка. Итак, бутылку наполнили уже не красным вином, а горькою настойкой, но и это хорошо — для желудка. В сундук вместо маленькой была уложена большая бутылка, которая, таким образом, отправилась в плавание вместе с Петером Иенсенем, а он служил на одном корабле с молодым штурманом. Но молодой штурман не увидел бутылки, да если бы и увидел — не узнал бы; ему бы и в голову не пришло, что это та самая, из которой они пили в лесу за его помовку и счастливое возвращение домой.

Правда, в бутылке больше было не вино, но кое-что не хуже, и Петер Иенсен частенько вынимал свою «аптеку», как величали бутылку его товарищи, и наливал им лекарства, которое так хорошо действовало на желудок. И лекарство сохраняло свое целебное свойство вплоть до последней своей капли. Веселое то было времечко! Бутылка даже пела, когда

по ней водили пробкой, и за это ее прозвали «большим жаворонком» или «жаворонком Петера Иенсена».

Прошло много времени; бутылка давно стояла в углу пустою; вдруг стряслась беда. Случилось ли несчастье еще на пути в чужие края, или уже на обратном пути – бутылка не знала – она ведь ни разу не сходила на берег. Разразилась буря; огромные черные волны бросали корабль, как мячик, мачта сломалась, образовалась пробоина и течь, помпы перестали действовать. Тьма стояла непроглядная, корабль накренился и начал погружаться в воду. В эти-то последние минуты молодой штурман успел набросать на клочке бумаги несколько слов: «Господи помилуй! Мы погибаем!» Потом он написал имя своей невесты, свое имя и название корабля, свернул бумажку в трубочку, сунул в первую попавшуюся пустую бутылку, крепко заткнул ее пробкой и бросил в бушующие волны. Он и не знал, что это та самая бутылка, из которой он наливал в стаканы доброе вино в счастливый день своей помолвки. Теперь она, качаясь, поплыла по волнам, унося его прощальный, предсмертный привет.

Корабль пошел ко дну, весь экипаж тоже, а бутылка понеслась по морю, как птица: она несла ведь сердечный привет жениха невесте! Солнышко вставало и садилось, напоминая бутылке раскаленную печь, в которой она родилась и в которую ей так хотелось тогда кинуться обратно. Испытала она и штиль и новые бури, но не разбилась о скалы, не угодила в пасть акуле. Больше года носилась она по волнам туда

и сюда; правда, она была в это время сама себе госпожой, но и это ведь может надоест.

Исписанный клочок бумаги, последнее «прости» жениха невесте, принес бы с собой одно горе, попади он в руки той, кому был адресован. Но где же были те беленькие ручки, что расстилали белую скатерть на свежей травке в зеленом лесу в счастливый день обручения? Где была дочка скорняка? И где была самая родина бутылки? К какой стране она теперь приближалась? Ничего этого она не знала. Она носилась и носилась по волнам, так что под конец даже соскучилась. Носиться по волнам было вовсе не ее дело, и все-таки она носилась, пока наконец не приплыла к берегу чужой земли. Она не понимала ни слова из того, что говорилось вокруг нее: говорили на каком-то чужом, незнакомом ей языке, а не на том, к которому она привыкла на родине; не понимать же языка, на котором говорят вокруг, – большая потеря!

Бутылку поймали, осмотрели, увидали и вынули записку, вертели ее и так и сяк, но разобрать не разобрали, хоть и поняли, что бутылка была брошена с погибающего корабля и что обо всем этом говорится в записке. Но что именно? Да, вот в том-то вся и штука! Записку сунули обратно в бутылку, а бутылку поставили в большой шкаф, что стоял в большой горнице большого дома.

Всякий раз, как в доме появлялся новый гость, записку вынимали, показывали, вертели и разглядывали, так что буквы, написанные карандашом, мало-помалу стирались и под

конец совсем стерлись, – никто бы и не сказал теперь, что на этом клочке было когда-то что-либо написано. Бутылка же простояла в шкафу еще с год, потом попала на чердак, где вся покрылась пылью и паутиной. Стоя там, она вспоминала лучшие дни, когда из нее наливали красное вино в зеленом лесу, когда она качалась на морских волнах, нося в себе тайну, письмо, последнее «прости!...»

На чердаке она простояла целых двадцать лет; простояла бы и дольше, да дом вздумали перестраивать. Крышу сняли, увидели бутылку и заговорили что-то, но она по-прежнему не понимала ни слова – языку ведь не выучишься, стоя на чердаке, стой там хоть двадцать лет! «Вот если бы я оставалась внизу, в комнате, – справедливо рассуждала бутылка, – я бы, наверное, выучилась!»

Бутылку вымыли и выполоскали, – она в этом очень нуждалась. И вот она вся прояснилась, просветлела, словно помолодела вновь; зато записку, которую она носила в себе, выплеснули из нее вместе с водой.

Бутылку наполнили какими-то незнакомыми ей семенами; заткнули пробкой и так старательно упаковали, что ей не стало видно даже света Божьего, не то что солнца или месяца. «А ведь надо же что-нибудь видеть, когда путешествуешь», – думала бутылка, но так-таки ничего и не увидела. Главное дело было, однако, сделано: она отправилась в путь и прибыла куда следовало. Тут ее распаковали.

– Вот уж постарались-то они там, за границей! Ишь, как

упаковали, и все-таки она, пожалуй, треснула! – услышала бутылка, но оказалось, что она не треснула.

Бутылка понимала каждое слово; говорили на том же языке, который она слышала, выйдя из плавильной печи, слышала и у виноторговца, и в лесу, и на корабле, словом – на единственном, настоящем, понятном и хорошем родном языке! Она опять очутилась дома, на родине! От радости она чуть было не выпрыгнула из рук и едва обратила внимание на то, что ее откупорили, опорожнили, а потом поставили в подвал, где и позабыли. Но дома хорошо и в подвале. Ей и в голову не приходило считать, сколько времени она тут простояла, а ведь простояла она больше года! Но вот опять пришли люди и взяли все находившиеся в подвале бутылки, в том числе и нашу.

Сад был великолепно разукрашен; над дорожками перекидывались гирлянды из разноцветных огней, бумажные фонари светились, словно прозрачные тюльпаны. Вечер был чудный, погода ясная и тихая. На небе сияли звездочки и молодая луна; виден был, впрочем, не только золотой, серповидный краешек ее, но и весь серо-голубой круг, – виден, конечно, только тому, у кого были хорошие глаза.

В боковых аллеях тоже была устроена иллюминация, хоть и не такая блестящая, как в главных, но вполне достаточная, чтобы люди не спотыкались впотьмах. Здесь, между кустами, были расставлены бутылки с воткнутыми в них зажженными свечами; здесь-то находилась и наша бутылка, которой



суждено было в конце концов послужить стаканчиком для птички. Бутылка была в восторге; она опять очутилась среди зелени, опять вокруг нее шло веселье, раздавались пение и музыка, смех и говор толпы, особенно густой там, где качались гирлянды разноцветных лампочек и отливали яркими красками бумажные фонари. Сама бутылка, правда, стояла в боковой аллее, но тут-то и можно было помечтать; она держала свечу – служила и для красоты и для пользы, а в этом-то вся и суть. В такие минуты забудешь даже двадцать лет, проведенных на чердаке, – чего же лучше!

Мимо бутылки прошла под руку парочка, ну, точь-в-точь, как та парочка в лесу – штурман с дочкой скорняка; бутылка вдруг словно перенеслась в прошлое. В саду гуляли приглашенные гости, гуляли и посторонние, которым позволено было полюбоваться гостями и красивым зрелищем; в числе их находилась и старая девушка, у нее не было родных, но были друзья. Думала она о том же, о чем и бутылка; ей тоже вспоминался зеленый лес и молодая парочка, которая была так близка ее сердцу, – ведь она сама участвовала в той веселой прогулке, сама была тою счастливою невестой! Она провела тогда в лесу счастливейшие часы своей жизни, а их не забудешь, даже став старою девою! Но она не узнала бутылки, да и бутылка не узнала ее. Так случается на свете сплошь да рядом: старые знакомые встречаются и расходятся, не узнав друг друга, до новой встречи.

И бутылку ждала новая встреча со старою знакомою, – они

ведь находились теперь в одном и том же городе!

Из сада бутылка попала к виноторговцу, опять была наполнена вином и продана воздухоплавателю, который в следующее воскресенье должен был подняться на воздушном шаре. Собралось множество публики, играл духовой оркестр; шли большие приготовления. Бутылка видела все это из корзины, где она лежала рядом с живым кроликом. Бедняжка кролик был совсем растерян, — он знал, что его спустят вниз с высоты на парашюте! Бутылка же и не знала, куда они полетят — вверх или вниз; она видела только, что шар надувался все больше и больше, потом приподнялся с земли и стал порываться ввысь, но веревки все еще крепко держали его. Наконец их перерезали, и шар взвился в воздух вместе с воздухоплателем, корзиною, бутылкою и кроликом. Музыка гремела, и народ кричал «ура».

«А как-то странно лететь по воздуху! — подумала бутылка. — Вот новый способ плавания! Тут, по крайней мере, не наткнешься на камень!»

Многотысячная толпа смотрела на шар; смотрела из своего открытого окна и старая девушка; за окном висела клетка с коноплянкой, обходившейся еще, вместо стаканчика, чайною чашкой. На подоконнике стояло миртовое деревцо; старая девушка отодвинула его в сторону, чтобы не уронить, высунулась из окна и ясно различила в небе шар и воздухоплателя, который спустил на парашюте кролика, потом выпил из бутылки за здоровье жителей и подбросил бутылку вверх.

Девушке и в голову не пришло, что это та самая бутылка, которую подбросил высоко в воздух ее жених в зеленом лесу в счастливейший день ее жизни!

У бутылки же и времени не было ни о чем подумать, — она так неожиданно очутилась в зените своего жизненного пути. Башни и крыши домов лежали где-то там, внизу, люди казались такими крохотными!..

И вот она стала падать вниз, да куда быстрее, чем кролик; она кувыркалась и плясала в воздухе, чувствовала себя такою молодою, такою жизнерадостною, вино в ней так и играло, но недолго — вылилось. Вот так полет был! Солнечные лучи отражались на ее стеклянных стенках, все люди смотрели только на нее, — шар уже скрылся; скоро скрылась из глаз зрителей и бутылка. Она упала на крышу и разбилась. Осколки, однако, еще не сразу успокоились — прыгали и скакали по крыше, пока не очутились во дворе и не разбились о камни на еще более мелкие кусочки. Уцелело одно горлышко; его словно срезало алмазом!

— Вот славный стаканчик для птицы! — сказал хозяин погребка, но у самого у него не было ни птицы, ни клетки, а обзаводиться ими только потому, что попалось ему бутылочное горлышко, годное для стаканчика, было бы уж чересчур! А вот старой девушке, что жила на чердаке, оно могло пригодиться, и бутылочное горлышко попало к ней; его заткнули пробкой, перевернули верхним концом вниз — такие перемены часто случаются на свете, — налили в него свежей воды и

подвесили к клетке, в которой так и заливалась коноплянка.

– Да, тебе хорошо петь! – сказало бутылочное горлышко, а оно было замечательное – оно летало на воздушном шаре! Остальные обстоятельства его жизни не были известны никому. Теперь оно служило стаканчиком для птицы, качалось в воздухе вместе с клеткой, до него доносились с улицы грохот экипажей и говор толпы, из каморки же – голос старой девушки. К ней пришла в гости ее старая приятельница-ровесница, и разговор шел не о бутылочном горлышке, но о миртовом деревце, что стояло на окне.

– Право, тебе незачем тратить двух риксдалеров на свадебный венок для дочки! – говорила старая девушка. – Возьми мою мирту! Видишь, какая чудесная, вся в цветах! Она выросла из отростка той мирты, что ты подарила мне на дружгой день после моей помолвки. Я собиралась свить из нее венок ко дню своей свадьбы, но этого дня я так и не дождалась! Закрылись те очи, что должны были светить мне на радость и счастье всю жизнь! На дне морском спит мой милый жених!.. Мирта состарилась, а я еще больше! Когда же она начала засыхать, я взяла от нее последнюю свежую веточку и посадила ее в землю. Вот как она разрослась и попадет-таки на свадьбу: мы сошьем из ее ветвей свадебный венок для твоей дочки!

На глазах у старой девушки навернулись слезы; она стала вспоминать друга юных лет, помолвку в лесу, тост за их здоровье, подумала о первом поцелуе... но не упомянула о

нем, — она была ведь уже старою девою! О многом вспоминала и думала она, только не о том, что за окном, так близко от нее находится еще одно напоминание о том времени — горлышко той самой бутылки, из которой с таким шумом вышибло пробку, когда пили за здоровье обрученных. Да и само горлышко не узнало старой знакомой, отчасти потому, что оно и не слушало, что она рассказывала, а главным образом потому, что думало только о себе.

# Последний сон старого дуба

## *(Рождественская сказка)*

В лесу, на крутом берегу моря, рос старый-старый дуб; ему было ни больше ни меньше, как триста шестьдесят пять лет, но это ведь для дерева все равно, что для нас, людей, столько же суток. Мы бодрствуем днем, а спим и видим сны ночью, дерево же бодрствует три времени года и спит только зимою. Зима – время его сна, ночь, сменяющая длинный день, весну, лето и осень.

В теплые летние дни около дуба кружились и плясали мухи-поденки. Каждая жила, порхала и веселилась, а устав, опускалась в сладкой истоме отдохнуть на один из больших свежих листьев дуба. И дерево всякий раз говорило крошечному созданию:

– Бедняжка! Вся твоя жизнь – один день! Как коротко, как печально твое существование!

– Печально?! – отвечала муха. – Что ты говоришь? Гляди, как светло, тепло и чудесно! Мне так весело!

– Да ведь всего один день, и – конец!

– Конец! – говорила муха. – Кому конец? И тебе разве тоже?

– Нет, я-то проживу, может быть, тысячи твоих дней; мой день равен ведь трем четвертям года! Ты даже и представить себе не можешь, как это долго!

– Нет, я и не понимаю тебя вовсе! Ты живешь тысячи моих дней, а я живу тысячи мгновений, и каждое несет мне с собою радость и веселье!.. Ну, а с твоею смертью придет конец и всему этому великолепию, всему свету?

– Нет! – отвечало дерево. – Свет будет существовать куда дольше, так бесконечно долго, что я и представить себе не могу!

– Ну, так нам с тобою дана одинаково долгая жизнь, только мы считаем по-разному!

И муха-поденка плясала и кружилась в воздухе, радуясь своим нежным, изящным, прозрачно-бархатистым крылышкам, радуясь теплему воздуху, напоенному запахом клевера, шиповника, бузины и каприфолий; а как пахли дикий яминник, примулы и душистая мята! Воздух был такой душистый, что муха словно пьянела от него слегка. Что за длинный, чудный был день, полный радости и сладких ощущений! Когда же солнце заходило, мушка чувствовала такую приятную усталость, крылья отказывались ее носить, и она тихо опускалась на мягкую волнующуюся траву, кивала головой и сладко засыпала – навеки.

– Бедняжка! – говорил дуб. – Чересчур уж короткая у них жизнь!

И каждый летний день повторялась та же история: та же пляска, те же речи, вопросы и ответы; мухи-поденки жили и умирали у старого дуба, и все они были веселы и счастливы. Дерево бодрствовало весеннее утро, летний день и осенний

вечер; теперь дело шло к ночи, ко сну – приближалась зима.

Вот запели бури: «Покойной ночи, покойной ночи! Листья опали, листья опали! Их мы оборвали, их мы оборвали! Усни теперь, усни! Мы тебя убаюкаем, мы тебя укачаем! Старые ветви трещат от удовольствия! Спи же, усни! Скоро настанет твоя триста шестьдесят пятая ночь! Для нас же ты только годовалый ребенок! Спи, усни! Облака посыпят тебя снегом, накинут на твои ноги мягкое, теплое покрывало! Спи, усни!»

И дерево сбросило с себя свою зеленую одежду, собираясь на покой, готовясь уснуть, провести в грезах всю долгую зиму, видеть во сне картины пережитого, как видят их во сне люди.

И дуб когда-то был крошкой; колыбелью ему служил маленький желудь. По человеческому счету он переживал теперь четвертое столетие. Больше, великолепнее его не было дерева во всем лесу! Вершина его высоко возносилась над всеми деревьями и была видна с моря издалека, служила приметой для моряков. А дуб и не знал о том, сколько глаз искало его! В ветвях дуба гнездились лесные голуби, куковала кукушка, а осенью, когда листья его казались выкованными из меди, на ветви присаживались и другие перелетные птицы, отдохнуть перед тем, как пуститься через море. Но вот настала зима, дерево стояло теперь голое, без листьев, и было видно, какие у него кривые, сучковатые ветви; вороны и галки садились на них и толковали о тяжелых временах, о



том, как трудно будет зимою добывать прокорм!

В ночь под Рождество дубу приснился самый чудный сон из всех, виденных им в жизни. Послушаем же!

Дерево как будто чувствовало, что время праздничное, слышало звон колоколов, и ему грезился теплый, тихий летний день. Оно пышно раскинуло свою зеленую мощную верхушку; солнечные зайчики бегали между листьями и ветвями; воздух был напоен ароматом трав и цветов; пестрые бабочки гонялись друг за другом; мухи-поденки плясали, как будто все только существовало для их пляски и веселья. Все, что пережило и видело вокруг себя дерево за всю свою долгую жизнь, проходило теперь перед ним в торжественном шествии. Оно видело, как через лес проезжали верхом благородные рыцари и дамы; на шляпах их развевались перья; у каждого всадника, у каждой всадницы сидел на руке сокол; звучали охотничьи рога, лаяли собаки. Видело дерево и неприятельские войска в блестящих латах и пестрых одеждах; вооруженные копьями и алебардами воины разбивали и опять снимали палатки; ярко пылали сторожевые огни; воины располагались под деревом на ночлег, пели и отдыхали в тени его ветвей. Видело оно и влюбленных, встречавшихся около него при свете луны и вырезывавших свои инициалы на его серо-зеленой коре. На ветвях его как будто опять висели цитры и эоловы арфы, которые развешивали, бывало, веселые странствующие подмастерья, и ветер опять играл на них нежные мелодии. Лесные голуби ворковали, точно хоте-

ли рассказать, что чувствует могучее дерево, а кукушка куковала, сколько еще лет оставалось ему жить.

И вот словно новый, могучий поток жизни заструился по всем, даже мельчайшим корешкам, по всем ветвям и листьям дерева. Оно потянулось и почувствовало всеми своими корнями, что и внизу, под землею, струятся жизнь и тепло. Оно почувствовало прилив новых сил, почувствовало, что растет все выше и выше. Ствол быстро, безостановочно тянулся ввысь, вершина его становилась все раскидистее и кудрявее... Дерево росло, росла в нем и радостная жажда вырасти еще выше, подняться к самому горячему солнцу!

Вершина дуба уже поднялась выше облаков, которые, как стаи перелетных птиц или белых лебедей, неслись внизу.

Дерево видело каждым листком своим, словно в каждом были глаза. Оно видело и звезды, хотя стоял ясный день. Какие они были большие, блестящие! Каждая светилась, точно пара ясных, кротких очей. И дубу вспомнились другие знакомые милые глаза; глаза детей и глаза влюбленных, встречавшихся под его сенью в ясные, лунные ночи.

Дуб переживал чудные, блаженные мгновения. И все-таки ему не доставало его лесных друзей! Ему так хотелось, чтобы и все другие деревья, все кусты, растения и цветы поднялись так же высоко, ощутили бы ту же радость, видели тот же блеск, что и он! Могучий дуб даже и в эти минуты блаженного сна не был вполне счастлив: ему хотелось разделить свое счастье со всеми – и малыми и большими; он желал это-

го так страстно, так горячо, каждую свою ветвь, каждым листком, как желают иногда чего-нибудь люди всеми фибрами своей души!

Вершина дуба качалась в порыве тоскливого томления, смотрела вниз, словно ища чего-то, и вдруг до него явственно донеслось благоухание дикого яминника, потом сильный аромат каприфолй и фиалок; ему показалось даже, что он слышит кукование кукушки!

И вот сквозь облака проглянули зеленые верхушки леса! Дуб увидал под собою другие деревья; они тоже росли и тянулись к небу; кусты и травы тоже. Некоторые даже вырывали из земли свои корни, чтобы лететь к облакам быстрее. Впереди всех была береза; гибкий ствол ее, извилистый, как зигзаги молнии, тянулся все выше и выше, ветви развевались, как зеленые флаги. Все лесные растения, даже коричневые султаны тростника, поднимались к облакам; птицы с песнями летели за ними, а на стебельке травки, развевавшегося по ветру, как длинная зеленая лента, сидел кузнечик и наигрывал крылышком на своей тонкой ножке. Майские жуки гудели, пчелы жужжали, каждая птица заливалась песенкой; в небесах все пело и ликовало!

– А где же красный водяной цветочек? Пусть и он будет с нами! – сказал дуб. – И голубой колокольчик, и малютка ромашка! – Дуб всех хотел видеть возле себя.

– Мы тут, мы тут! – зазвучало со всех сторон.

– А прошлогодний дикий яминник? А чудный ковер лан-

дышей, что расстился в лесу три года тому назад? А прелестная дикая яблонька и все другие растения, украшавшие лес в течение этих многих, многих лет? Ах, если бы и они все дожили до этого мгновения, были бы вместе с нами!

— Мы тут, мы тут! — зазвучало в вышине, как будто отвечавшие были уже впереди.

— Нет, до чего же хорошо, просто не верится! — ликовал старый дуб. — Они все тут, со мной, и малые и большие! Ни один не забыт! Возможно ли такое блаженство?

— В небесах все возможно! — прозвучало в ответ.

И старый дуб, не перестававший расти, почувствовал вдруг, что совсем отделяется от земли.

— Вот это лучше всего! — сказал он. — Теперь я совсем свободен! Все узы порвались! Я могу взлететь к самому источнику света и блеска! И все мои дорогие друзья со мною! И малые и большие, все!

— Все!

Пока дуб грезил, над землей и морем разразилась в Рождественскую ночь страшная буря. Мощные волны морские дико бились о берег, дерево трещало, качалось и наконец было вырвано с корнями в ту самую минуту, когда ему снилось, что оно отделяется от земли. Дуб рухнул. Триста шестьдесят пять лет минули для него, как день для мухи-поденки.

В Рождественское утро, на рассвете буря утихла; слышался праздничный звон церковных колоколов; из всех труб, даже из трубы самого бедного домика, вился дымок, голу-

бой – словно жертвенный фимиам в праздник друидов. Море успокоилось, и на большом корабле, выдержавшем ночную бурю, взвились флаги.

– А дерева-то нет больше! Ночная буря сокрушила наш могучий дуб, нашу примету на берегу! – сказали моряки. – Кто нам заменит его? Никто!

Вот какую надгробную речь, краткую, но сказанную от чистого сердца, почтили моряки старый дуб, поверженный бурей на снежный ковер. Донесся до дерева и старинный псалом, пропетый моряками. Они пели о Рождестве, и звуки псалма возносились высоко-высоко к небу, как возносился к нему в своем последнем сне и старый дуб.

# Дочь болотного царя

Много сказок рассказывают аисты своим птенцам – все про болота да про трясины. Сказки, конечно, приноравливаются к возрасту и понятиям птенцов. Малышам довольно сказать «крибле, крабле, плурремурре», – для них и это куда как забавно; но птенцы постарше требуют от сказки кое-чего побольше, по крайней мере того, чтобы в ней упоминалось об их собственной семье. Одну из самых длинных и старых сказок, известных у аистов, знаем и мы все. В ней рассказывается о Моисее, которого мать пустила в корзинке по волнам Нила, а дочь фараона нашла и воспитала. Впоследствии он стал великим человеком, но где похоронен – никому неизвестно. Так оно, впрочем, сплошь да рядом бывает.

Другой сказки еще никто не знает, может быть, именно потому, что она родилась у нас, здесь. Вот уже с тысячу лет, как она переходит из уст в уста, от одной аистихи-мамаши к другой, и каждая аистиха рассказывает ее все лучше и лучше, а мы теперь расскажем лучше их всех!

Первая пара аистов, пустившая эту сказку в ход и сама принимавшая участие в описываемых в ней событиях, всегда проводила лето на даче в Дании, близ Дикого болота, в Венсусселе, то есть в округе Йёринг, на севере Ютландии – если уж говорить точно. Гнездо аистов находилось на крыше бревенчатого дома викинга. В той местности и до сих пор еще

есть огромное болото; о нем можно даже прочесть в официальном описании округа. Местность эта – говорится в нем – была некогда морским дном, но потом дно поднялось; теперь это несколько квадратных миль топких лугов, трясин и торфяных болот, поросших морошкой да жалким кустарником и деревцами. Над всей местностью почти постоянно клубится густой туман. Лет семь – десять тому назад тут еще водились волки – Дикое болото вполне заслуживало свое прозвище! Представьте же себе, что было тут тысячу лет тому назад! Конечно, и в те времена многое выглядело так же, как и теперь: зеленый тростник с темно-лиловыми султанчиками был таким же высоким, кора на березках так же белела, а мелкие их листочки так же трепетали; что же до живности, встречавшейся здесь, так мухи и тогда щеголяли в прозрачных платьях того же фасона, любимыми цветами аистов были, как и теперь, белый с черным, чулки они носили такие же красные, только у людей в те времена моды были другие. Но каждый человек, кто бы он ни был, раб или охотник, мог проваливаться в трясину и тысячу лет тому назад, так же как теперь; ведь стоит только ступить на зыбкую почву ногой – и конец, живо очутишься во владениях болотного царя! Его можно было бы назвать и трясинным царем, но болотный царь звучит как-то лучше. К тому же и аисты его так величали. О правлении болотного царя мало что и кому известно, да оно и лучше, пожалуй.

Недалеко от болота, над самым Лим-фьордом, возвышал-

ся бревенчатый замок викинга, в три этажа, с башнями и каменными подвалами. На крыше его свили себе гнездо аисты. Аистиха сидела на яйцах в полной уверенности, что сидит не напрасно!

Раз вечером сам аист где-то замешкался и вернулся в гнездо совсем взъерошенный и взволнованный.

– Что я расскажу тебе! Один ужас! – сказал он аистихе.

– Ах, перестань, пожалуйста! – ответила она. – Не забывай, что я сижу на яйцах и могу испугаться, а это отразится на них!

– Нет, ты послушай! Она таки явилась сюда, дочка-то нашего египетского хозяина! Не побоялась такого путешествия! А теперь и поминай ее как звали!

– Что? Принцесса, египетская принцесса? Да она ведь из рода фей! Ну, говори же! Ты знаешь, как вредно заставлять меня ждать, когда я сижу на яйцах!

– Видишь, она, значит, поверила докторам, которые сказали, что болотный цветок исцелит ее больного отца, – помнишь, ты сама рассказывала мне? – и прилетела сюда, в одежде из перьев, вместе с двумя другими принцессами. Эти каждый год прилетают на север купаться, чтобы помолодеть! Ну, прилететь-то она прилетела, да и тю-тю!

– Ах, как ты тянешь! – сказала аистиха. – Ведь яйца могут остыть! Мне вредно так волноваться!

– Я видел все собственными глазами! – продолжал аист. – Сегодня вечером хожу это я в тростнике, где трясина пона-



дежнее, смотрю, летят три лебедки. Но видна птица по полету! Я сейчас же сказал себе: гляди в оба, это не настоящие лебедки, они только нарядились в перья! Ты ведь такая же чуткая, мать! Тоже сразу видишь, в чем дело!

– Это верно! – сказала аистиха. – Ну, рассказывай же про принцессу, мне уж надоели твои перья!

– Посреди болота, ты знаешь, есть что-то вроде небольшого озера. Приподымись чуточку, и ты отсюда увидишь краешек его! Там-то, на поросшей тростником трясине, лежал большой ольховый пенёк. Лебедки уселись на него, захлопали крыльями и огляделись кругом; потом одна из них сбросила с себя лебединые перья, и я узнал нашу египетскую принцессу. Платья на ней никакого не было, но длинные черные волосы одели ее, как плащом. Я слышал, как она просила подруг присмотреть за ее перьями, пока она не вынырнет с цветком, который померещился ей под водою. Те пообещали, схватили ее оперение в клювы и взвились с ним в воздух. «Эге! Куда же это они?» – подумал я. Должно быть, и она спросила их о том же. Ответ был яснее ясного. Они взвились в воздух и крикнули ей сверху: «Ныряй, ныряй! Не летать тебе больше лебедкой! Не видать родины! Сиди в болоте!» – и расщипали перья в клочки! Пушинки так и запорхали в воздухе, словно снежинки, а скверных принцесс и след простыл!

– Какой ужас! – сказала аистиха. – Сил нет слушать!.. Ну, а что же дальше-то?

– Принцесса принялась плакать и убиваться! Слезы так и бежали ручьями на ольховый пенёк, и вдруг он зашевелился! Это был сам болотный царь – тот, что живет в трясине. Я видел, как пенёк повернулся, глядь – уж это не пенёк! Он протянул свои длинные, покрытые тиной ветви-руки к принцессе. Бедняжка перепугалась, прыгнула и пустилась бежать по трясине. Да где! Мне не сделать по ней двух шагов, не то что ей! Она сейчас же провалилась вниз, а за ней и болотный царь. Он-то и втянул ее туда! Только пузыри пошли по воде, и – все! Теперь принцесса похоронена в болоте. Не вернуть-ся ей с цветком на родину. Ах, ты бы не вынесла такого зрелища, женушка!

– Тебе бы и не следовало рассказывать мне такие истории! Ведь это может повлиять на яйца!.. А принцесса выпутается из беды! Ее-то уж выручат! Вот случись что-нибудь такое со мной, с тобой или с кем-нибудь из наших, тогда бы – пиши пропало!

– Я все-таки буду настороже! – сказал аист и так и сделал. Прошло много времени.

Вдруг в один прекрасный день аист увидел, что со дна болота тянется кверху длинный зеленый стебелек; потом на поверхности воды показался листочек; он рос, становился все шире и шире. Затем выглянул из воды бутон, и, когда аист пролетел над болотом, он под лучами солнца распустился, и аист увидел в чашечке цветка крошечную девочку, словно сейчас только вынутую из ванночки. Девочка была так похо-

жа на египетскую принцессу, что аист сначала подумал, будто это принцесса, которая опять стала маленькой, но, рассудив хорошенько, решил, что, вернее, это дочка египетской принцессы и болотного царя. Вот почему она и лежит в кувшинке.

«Нельзя же ей тут оставаться! – подумал аист. – А в нашем гнезде нас и без того много! Постой, придумал! У жены викинга нет детей, а она часто говорила, что ей хочется иметь малютку... Меня все равно обвиняют, что я приношу в дом ребятшек, так вот я и взаправду притащу эту девочку жене викинга, то-то обрадуется!»

И аист взял малютку, полетел к дому викинга, проткнул в оконном пузыре клювом отверстие, положил ребенка возле жены викинга, а потом вернулся в гнездо и рассказал обо всем жене. Птенцы тоже слушали – они уж подросли.

– Вот видишь, принцесса-то не умерла – прислала сюда свою дочку, а я ее пристроил! – закончил свой рассказ аист.

– А что я твердила тебе с первого же раза? – отвечала аистиха. – Теперь, пожалуйста, подумай и о своих детях! Отлет-то ведь на носу! У меня даже под крыльями чесаться начинает. Кукушки и соловьи уже улетели, а перепелки поговаривают, что скоро начнет дуть попутный ветер. Птенцы наши постоят за себя на маневрах, уж я-то их знаю!

И обрадовалась же супруга викинга, найдя утром у своей груди крошечную прелестную девочку! Она принялась целовать и ласкать малютку, но та стала кричать и отбиваться ру-

чонками и ножонками; ласки, видимо, были ей не по вкусу. Наплакавшись и накричавшись, она наконец уснула, и тогда нельзя было не залюбоваться прелестным ребенком! Жена викинга не помнила себя от радости; на душе у нее стало так легко и весело, — ей пришло на ум, что и супруг ее с дружиной явится так же неожиданно, как малютка. И вот она поставила на ноги весь дом, чтобы успеть подготовиться к приему желанных гостей. По стенам развешали ковры собственной ее работы и работы ее служанок, затканые изображениями тогдашних богов Одина, Тора и Фрейи. Рабы чистили старые щиты и тоже украшали ими стены; по скамьям были разложены мягкие подушки, а на очаг, находившийся посреди главного покоя, навалили груды сухих поленьев, чтобы сейчас же можно было развести огонь. Под вечер жена викинга так устала от всех этих хлопот, что уснула как убитая.

Проснувшись рано утром, еще до восхода солнца, она страшно перепугалась: девочка ее исчезла! Она вскочила, засветила лучину и осмотрелась: в ногах постели лежала не малютка, а большая отвратительная жаба. Жена викинга в порыве отвращения схватила тяжелый железный дверной болт и хотела убить жабу, но та устремила на нее такой странный, скорбный взгляд, что она не решилась ее ударить. Еще раз осмотрелась она кругом; жаба испустила тихий стон; тогда жена викинга отскочила от постели к отверстию, заменявшему окно, и распахнула деревянную ставню. В эту минуту как раз вошло солнце; лучи его упали на постель и на жабу...

В то же мгновение широкий рот чудовища сузился, стал маленьким, хорошеньким ротиком, все тело вытянулось и преобразилось – перед женой викинга очутилась ее красавица дочка, жабы же как не бывало.

– Что это? – сказала жена викинга. – Не злой ли сон приснился мне? Ведь тут лежит мое собственное дитя, мой эльф! – И она прижала девочку к сердцу, осыпая поцелуями, но та кусалась и вырывалась, как дикий котенок.

Не в этот день и не на другой вернулся сам викинг, хотя и был уже на пути домой. Задержал его встречный ветер, который теперь помогал аистам, а им надо было лететь на юг. Да, ветер, попутный одному, может быть противным другому!

Прошло несколько дней, и жена викинга поняла, что над ребенком тяготели злые чары. Днем девочка была прелестна, как эльф, но отличалась злым, необузданным нравом, а ночью становилась отвратительною жабой, но с кротким и грустным взглядом. В девочке как бы соединялись две натуры: днем ребенок, подкинутый жене викинга аистом, наружностью был весь в мать, египетскую принцессу, а характером в отца; ночью же, наоборот, внешностью был похож на последнего, а в глазах светились душа и сердце матери. Кто мог снять с ребенка злые чары? Жена викинга и горевала и боялась, и все-таки привязывалась к бедному созданию все больше и больше. Она решила ничего не говорить о колдовстве мужу: тот, по тогдашнему обычаю, велел бы выбросить бедного ребенка на проезжую дорогу – пусть берет кто хочет.

А жене викинга жаль было девочку, и она хотела устроить так, чтобы супруг ее видел ребенка только днем.

Однажды утром над замком викинга раздалось шумное хлопанье крыльев, – на крыше отдыхали ночью, после дневных маневров, сотни пар аистов, а теперь все они взлетели на воздух, чтобы пуститься в дальний путь.

– Все мужья готовы! – прокричали они. – Жены с детьми тоже!

– Как нам легко! – говорили молодые аисты. – Так и щекочет у нас внутри, будто нас набили живыми лягушками! Мы отправляемся за границу! Вот счастье-то!

– Держитесь стаей! – говорили им отцы и матери. – Да не болтайте так много – вредно для груди!

И все полетели.

В ту же минуту над степью прокатился звук рога: викинг с дружиной пристал к берегу. Они вернулись с богатою добычей от берегов Галлии, где, как и в Британии, народ в ужасе молился: «Боже, храни нас от диких норманнов!»

Вот пошло веселье в замке викинга! В большой покой вкатили целую бочку меда; запылал костер, закололи лошадей, готовился пир на весь мир. Главный жрец окропил теплою лошадиною кровью всех рабов. Сухие дрова затрещали, дым столбом повалил к потолку, с балок сыпалась на пирующих мелкая сажа, но к этому им было не привыкать стать. Гостей богато одарили; раздоры, вероломство – все было забыто; мед лился рекою; подвыпившие гости швыряли друг в

друга обглоданными костями в знак хорошего расположения духа. Скальд, нечто вроде нашего певца и музыканта, но в то же время и воин, который сам участвовал в походе и потому знал, о чем поет, пропел песню об одержанных ими в битвах славных победах. Каждый стих сопровождался припевом: «Имущество, родные, друзья, сам человек – все минет, все умрет; не умирает одно славное имя!» Тут все принимались бить в щиты и стучать ножами или обглоданными костями по столу; стон стоял в воздухе. Жена викинга сидела на почетном месте, разодетая, в шелковом платье; на руках ее красовались золотые запястья, на шее – крупные янтари. Скальд не забывал прославить и ее, воспел и сокровище, которое она только что подарила своему супругу. Последний был в восторге от прелестного ребенка; он видел девочку только днем во всей ее красе. Дикость ее нрава тоже была ему по душе. Из нее выйдет, сказал он, смелая воительница, которая сумеет постоять за себя. Она и глазом не моргнет, если опытная рука одним взмахом острого меча сбреет у нее в шутку густую бровь!

Бочка с медом опустела, вкатили новую, – в те времена люди умели пить! Правда, и тогда уже была известна поговорка: «Скотина знает, когда ей пора оставить пастбище и вернуться домой, а неразумный человек не знает своей меры!» Знать-то каждый знал, но ведь знать – одно, а применять знание к делу – другое. Знали все и другую поговорку: «И дорогой гость надоест, если засидится не в меру», и все-

таки сидели себе да сидели: мясо да мед – славные вещи! Веселье так и кипело! Ночью рабы, растянувшись на теплой золе, раскапывали жирную сажу и облизывали пальцы. Тот хорошее было времечко!

В этом же году викинг еще раз отправился в поход, хотя и начались уже осенние бури. Но он собирался нагрять с дружиной на берега Британии, а туда ведь было рукой подать: «Только через море махнуть», – сказал он. Супруга его опять осталась дома одна с малюткою, и скоро безобразная жаба с кроткими глазами, испускавшая такие глубокие вздохи, стала ей почти милее дикой красавицы, отвечавшей на ласки царапинами и укусами.

Седой осенний туман, «беззубый дед», как его называют, все-таки обгладывающий листву, окутал лес и степь. Бесперые птички-снежинки густо запорхали в воздухе; зима глядела во двор. Воробьи завладели гнездами аистов и судили да рядили о бывших владельцах. А где же были сами владельцы, где был наш аист со своею аистихой и птенцами?

Аисты были в Египте, где в это время солнышко светило и грело, как у нас летом. Тамаринды и акации стояли все в цвету; на куполах храмов сверкали полумесяцы; стройные минареты были облеплены аистами, отдохавшими после длинного перелета. Гнезда их лепились одно возле другого на величественных колоннах и полуразрушившихся арках заброшенных храмов. Финиковые пальмы высоко подымали свои



верхушки, похожие на зонтики. Темными силуэтами рисовались сероватые пирамиды в прозрачном голубом воздухе пустыни, где щеголяли быстротою своих ног страусы, а лев посматривал большими умными глазами на мраморного сфинкса, наполовину погребенного в песке. Нил снова вошел в берега, которые так и кишели лягушками, а уж приятнее этого зрелища для аистов и быть не могло. Молодые аисты даже глазам своим верить не хотели – уж больно хорошо было!

– Да, вот как тут хорошо, и всегда так бывает! – сказала аистиха, и у молодых аистов даже в брюшке защекотало.

– А больше мы уж ничего тут не увидим? – спрашивали они. – Мы разве не отправимся туда, вглубь, в самую глубь страны?

– Там нечего смотреть! – отвечала аистиха. – За этими благословенными берегами – лишь дремучий лес, где деревья растут чуть не друг на друге и опутаны ползучими растениями. Одни толстоногие слоны могут пролагать там себе дорогу. Змеи же там чересчур велики, а ящерицы – прытки. Если же вздумаете пробраться в пустыню, вам засыплет глаза песком, и это еще будет хорошо, а то прямо попадете в песочный вихрь! Нет, здесь куда лучше! Тут и лягушек и саранчи вдоволь! Я останусь тут, и вы со мною!

Они и остались. Родители сидели в гнездах на стройных минаретах, отдыхали, охорашивались, разглаживали себе перья и обтирали клювы о красные чулки. Покончив со

своим туалетом, они вытягивали шеи, величественно раскланивались и гордо подымали голову с высоким лбом, покрытую тонкими глянцевыми перьями; умные карие глаза их так и сверкали. Молоденькие барышни-аистихи степенно прохаживались в сочном тростнике, поглядывали на молодых аистов, знакомились и чуть не на каждом шагу глотали по лягушке, а иногда забирали в клюв змейку и ходили да помахивали ею, – это очень к ним шло, думали они, а уж вкусно-то как было!.. Молодые аисты заводили ссоры и раздоры, били друг друга крыльями, щипали клювами – даже до крови! Потом, глядишь, то тот, то другой из них становился женихом, а барышни одна за другою – невестами; все они для этого только ведь и жили. Молодые парочки принимались вить себе гнезда, и тут опять не обходилось без ссор и драк – в жарких странах все становятся такими горячими, – ну, а вообще-то жизнь текла очень приятно, и старики жили да радовались на молодых: молодежи все к лицу! Изю дня в день светило солнышко, в еде недостатка не было, – есть не хочу, живи да радуйся, вот и вся забота.

Но в роскошном дворце египетского хозяина, как звали его аисты, радостного было мало.

Могущественный владыка лежал в огромном покое с расписными стенами, похожими на лепестки тюльпана; руки, ноги его не слушались, он высох, как мумия. Родственники и слуги окружали его ложе. Мертвым его еще назвать было нельзя, но и живым тоже. Надежда на исцеление с помощью

болотного цветка, за которым полетела на далекий север та, что любила его больше всех, была теперь потеряна. Не дожидаться владыке своей юной красавицы дочери! «Она погибла!» – сказали две вернувшиеся на родину принцессы-лебедки. Они даже сочинили о гибели своей подруги целую историю.

– Мы все три летели по воздуху, как вдруг заметил нас охотник и пустил стрелу. Она попала в нашу подружку, и бедная медленно, с прощальной лебединою песнью, опустилась на воды лесного озера. Там, на берегу, под душистою плакучею березой, мы и схоронили ее. Но мы отомстили за ее смерть: привязали к хвостам ласточек, живших под крышей избушки охотника, пучки зажженной соломы, – избушка сгорела, а с нею и сам хозяин ее. Зарево пожара осветило противоположный берег озера, где росла плакучая березка, под которой покоилась в земле наша подруга. Да, не видать ей больше родимой земли!

И обе заплакали. Аист, услышав их речи, защелкал от гнева клювом.

– Ложь, обман! – закричал он. – Ох, так бы и вонзил им в грудь свой клюв!

– Да и сломал бы его! – заметила аистиха. – Хорош бы ты был тогда! Думай-ка лучше о себе самом да о своем семействе, а все остальное побоку!

– Я все-таки хочу завтра усесться на краю открытого купола того покоя, где соберутся все ученые и мудрецы сове-

щаться о больном. Может быть, они и доберутся до истины!

Ученые и мудрецы собрались и завели длинные разговоры, из которых аист не понял ни слова; да не много толку вышло из них и для самого больного, не говоря уже о его дочери. Но послушать речи ученых нам все же не мешает, – мало ли что приходится слушать!

Вернее, впрочем, будет послушать и узнать кое-что из предыдущего, тогда мы поближе познакомимся со всею историей; во всяком случае, узнаем из нее не меньше аиста.

«Любовь – родоначальница жизни! Высшая любовь рождает и высшую жизнь! Лишь благодаря любви может больной возродиться к жизни!» Вот что изрек мудрецы, когда дело шло об исцелении больного владыки; изречение было необыкновенно мудро и хорошо изложено – по уверению самих мудрецов.

– Мысль недурна! – сказал тогда же аист аистихе.

– А я что-то не возьму ее в толк! – ответила та. – И, уж конечно, это не моя вина, а ее! А, впрочем, меня все это мало касается; у меня есть о чем подумать и без того!

Потом ученые принялись толковать о различных видах любви: любовь влюбленных отличается ведь от любви, которую чувствуют друг к другу родители и дети, или от любви растения к свету – например, солнечный луч целует тину, и из нее выходит росток. Речи их отличались такою глубиной и ученостью, что аист был не в силах даже следить за ними, не то что пересказать их аистихе. Он совсем призадумался,

прикрыл глаза и простоял так на одной ноге весь день. Ученость была ему не по плечу.

Зато аист отлично понял, что болезнь владыки была для всей страны и народа большим несчастьем, а исцеление его, напротив, было бы огромным счастьем, — об этом толковал весь народ, все — и бедные и богатые. «Но где же растет целебный цветок?» — спрашивали все друг у друга, рылись в ученых рукописях, старались прочесть о том по звездам, спрашивали у всех четырех ветров — словом, добывались нужных сведений всевозможными путями, но все напрасно. Тут-то ученые и мудрецы, как сказано, и изрекли: «Любовь — родоначальница жизни; она же возродит к жизни и владыку!» В этом был глубокий смысл, и хоть сами они его до конца не понимали, но все-таки повторили его еще раз и даже написали вместо рецепта: «Любовь — родоначальница жизни!» Но как же приготовить по этому рецепту лекарство? Да, вот тут-то все и стали в тупик. В конце концов все единогласно решили, что помощи должно ожидать от молодой принцессы, так горячо, так искренно любившей отца. Затем додумались и до того, как следовало поступить принцессе. И вот ровно год тому назад, ночью, когда серп новорожденной луны уже скрылся, принцесса отправилась в пустыню к мраморному сфинксу, отгребла песок от двери, что находилась в цоколе, и прошла по длинному коридору внутрь одной из больших пирамид, где покоилась мумия древнего фараона, — принцесса должна была склониться головой на грудь умер-

шего и ждать откровения.

Она исполнила все в точности, и ей было открыто во сне, что она должна лететь на север, в Данию, к глубокому болоту – место было обозначено точно – и сорвать там лотос, который коснется ее груди, когда она нырнет в глубину. Цветок этот вернет жизнь ее отцу.

Вот почему принцесса и полетела в лебедином оперении на Дикое болото. Все это аист с аистихой давно знали, а теперь знаем и мы получше, чем раньше. Знаем мы также, что болотный царь увлек бедную принцессу на дно трясины и что дома ее уже считали погибшею навеки. Но мудрейший из мудрецов сказал то же, что и аистиха: «Она выпутается из беды!» Ну, и решили ждать, – иного ведь ничего и не оставалось.

– Право, я стащу лебединые оперения у этих мошенниц, – сказал аист. – Тогда небось не прилетят больше на болото да не выкинут еще какой-нибудь штуки! Перья же их я припрячу там на всякий случай!

– Где это там? – спросила аистиха.

– В нашем гнезде, близ болота! – ответил аист. – Наши птенцы могут помочь мне перенести их; если же будет чересчур тяжело, то ведь по дороге найдутся места, где их можно припрятать до следующего перелета в Данию. Принцессе хватило бы и одного оперения, но два все-таки лучше: на севере не худо иметь в запасе лишнюю одежду.

– Тебе и спасибо-то за все это не скажут! – заметила аисти-

ха. – Но ты ведь глава семьи! Я имею голос, лишь когда сижу на яйцах!

Девочка, которую приютили в замке викинга близ Дикого болота, куда каждую весну прилетали аисты, получила имя Хельга, но это имя было слишком нежным для нее. В прекрасном теле обитала жестокая душа. Месяцы шли за месяцами, годы за годами, аисты ежегодно совершали те же перелеты: осенью к берегам Нила, весной к Дикому болоту, а девочка все подрастала; не успели опомниться, как она стала шестнадцатилетнею красавицей. Прекрасна была оболочка, но жестко самое ядро. Хельга поражала своею дикостью и необузданностью даже в те суровые, мрачные времена. Она тешилась, купая руки в теплой, дымящейся крови только что зарезанной жертвенной лошади, перекусывала в порыве дикого нетерпения горло черному петуху, приготовленному в жертву богам, а своему приемному отцу сказала однажды совершенно серьезно:

– Приди ночью твой враг, поднимись по веревке на крышу твоего дома, сними самую крышу над твоим покоем, я бы не разбудила тебя, если бы даже могла! Я бы не слышала ничего – так звенит еще в моих ушах пощечина, которую ты дал мне много лет тому назад! Я не забыла ее!

Но викинг не поверил, что она говорит серьезно; он, как и все, был очарован ее красотой и не знал ничего о двойственности ее души и внешней оболочки. Без седла скака-

ла Хельга, словно приросшая, на диком коне, мчавшемся во весь опор, и не соскакивала на землю, даже если конь начал грызться с дикими лошадьми. Не раздеваясь, бросалась она с обрыва в быстрый фиорд и плыла навстречу ладье викинга, направлявшейся к берегу. Из своих густых, чудных волос она вырезала самую длинную прядь и сплела из нее тетиву для лука.

– Все надо делать самой! Лучше выйдет! – говорила она.

Годы и привычка закалили душу и волю жены викинга, и все же в сравнении с дочерью она была просто робкою, слабою женщиной. Но она-то знала, что виной всему были злые чары, тяготевшие над ужасною девушкой.

Хельга часто доставляла себе злое удовольствие помучить мать: увидав, что та вышла на крыльцо или на двор, она садилась на самый край колодца и сидела там, болтая руками и ногами, потом вдруг бросалась в узкую, глубокую яму, ныряла с головой, опять выплывала и опять ныряла, точно лягушка, затем с ловкостью кошки выкарабкивалась наверх и являлась в главный покой замка вся мокрая; потоки воды бежали с ее волос и платья на пол, смывая и унося устилавшие его зеленые листья.

Одно только немного сдерживало Хельгу – наступление сумерек. Под вечер она утихала, словно задумывалась, и даже слушалась матери, к которой влекло ее какое-то инстинктивное чувство. Солнце заходило, и превращение совершалось: Хельга становилась тихою, грустною жабою и, съежив-



шись, сидела в уголке. Тело ее было куда больше, чем у обыкновенной жабы, и тем ужаснее на вид. Она напоминала уродливого тролля с головой жабы и плавательною перепонкой между пальцами. В глазах светилась кроткая грусть, из груди вылетали жалобные звуки, похожие на всхлипывание ребенка во сне. В это время жена викинга могла брать ее к себе на колени, и невольно забывала все ее уродство, глядя в эти печальные глаза.

– Право, я готова желать, чтобы ты всегда оставалась моею немой дочкой-жабой! – нередко говорила она. – Ты куда страшнее, когда красота возвращается к тебе, а душа мрачнеет!

И она чертила руны, разрушающие чары и исцеляющие недуги, и перебрасывала их через голову несчастной, но толку не было.

– Кто бы поверил, что она умещалась когда-то в чашечке кувшинки! – сказал аист. – Теперь она совсем взрослая и лицом – вылитая мать, египетская принцесса. А ту мы так и не видали больше! Не удалось ей, видно, выпутаться из беды, как вы с мудрецом предсказывали. Я из года в год то и дело летаю над болотом вдоль и поперек, но она до сих пор не подала ни малейшего признака жизни! Да уж поверь мне! Все эти годы я ведь прилетал сюда раньше тебя, чтобы починить наше гнездо, поправить кое-что, и целые ночи напролет – словно я филин или летучая мышь – летал над болотом, да все без толку! И два лебединых оперения, что мы

с таким трудом в три перелета перетащили сюда, не пригодились! Вот уж сколько лет они лежат без пользы в нашем гнезде. Случись пожар, загорись этот бревенчатый дом – от них не останется и следа!

– И от гнезда нашего тоже! – сказала аистиха. – Но о нем ты думаешь меньше, чем об этих перьях да о болотной принцессе! Отправлялся бы уж и сам к ней в трясины. Дурной ты отец семейства! Я говорила это еще в ту пору, когда в первый раз сидела на яйцах! Вот подожди, эта шальная девчонка еще угодит в кого-нибудь из нас стрелою! Она ведь сама не знает, что делает! А мы-то здесь подольше живем, чем она, – хоть бы об этом вспомнила! И повинности наши мы уплачиваем честно: перо, яйцо и одного птенца в год, как положено! Думаешь, мне придет теперь в голову слететь вниз, во двор, как бывало в старые годы или как и нынче в Египте, где я держусь на дружеской ноге со всеми – нисколько не забываясь, впрочем, – и сую нос во все горшки и котлы? Нет, здесь я сижу в гнезде да злюсь на эту девчонку! И на тебя тоже! Оставил бы ее в кувшинке, пусть бы себе погибла!

– Ты гораздо добрее в душе, чем на словах! – сказал аист. – Я тебя знаю лучше, чем ты сама!

И он подпрыгнул, тяжело взмахнул два раза крыльями, вытянул ноги назад, распустил оба крыла, точно паруса, и полетел так, набирая высоту; потом опять сильно взмахнул крыльями и опять поплыл по воздуху. Солнце играло на белых перьях, шея и голова вытянулись вперед... Вот это был

полет!

– Он и до сих пор красивее всех! – сказала аистиха. – Но ему-то я не скажу этого!

В эту осень викинг вернулся домой рано. Много добычи и пленных привез он с собою. В числе пленных был молодой христианский священник, один из тех, что отвергали богов древнего Севера. В последнее время в замке викинга – и в главном покое и на женской половине – то и дело слышались разговоры о новой вере, которая распространилась по всем странам Юга и, благодаря святому Ансгарию проникла даже сюда, на Север. Даже Хельга уже слышала о Боге, пожертвовавшем собою из любви к людям и ради их спасения. Она все эти рассказы, как говорится, в одно ухо впускала, а в другое выпускала. Слово «любовь» находило доступ в ее душу лишь в те минуты, когда она в образе жабы сидела, съезжившись, в запертой комнате. Но жена викинга чутко прислушивалась к рассказам и преданиям, ходившим о сыне единого истинного Бога, и они будили в ней новые чувства.

Воины, вернувшись домой, рассказывали о великолепных храмах, высеченных из драгоценного камня и воздвигнутых в честь того, чьим заветом была любовь. Они привезли с собой и два тяжелых золотых сосуда искусной работы, из которых исходил какой-то удивительный аромат.

Это были две кадила, которыми кадили христианские священники перед алтарями, никогда не окроплявши-

мися кровью. На этих алтарях вино и хлеб превращались в кровь и тело Христово, принесенные им в жертву ради спасения всех людей – даже не родившихся еще поколений.

Молодого священника связали по рукам и ногам веревками из лыка и посадили в глубокий, сложенный из камней подвал замка. Как он был прекрасен! «Словно сам Бальдр!» – сказала жена викинга, тронутая бедственным положением пленника, а Хельге хотелось, чтобы ему продернули под коленками толстые веревки и привязали к хвостам диких быков.

– Я бы выпустила на них собак: то-то бы травля пошла! По лесам, по болотам, прямо в степь! Любо! А еще лучше – самой нестись за ними по пятам!

Но викинг готовил пленнику иную смерть: христианин, как отрицатель и поноситель могучих богов, был обречен в жертву этим самым богам. На жертвенном камне, в священной роще, впервые должна была пролиться человеческая кровь.

Хельга выпросила позволение обрызгать кровью жертвы изображения богов и народ, отточила свой нож и потом с размаху всадила его в бок пробежавшей мимо огромной свирепой дворовой собаке.

– Для пробы! – сказала она, а жена викинга сокрушенно поглядела на дикую, злую девушку. Ночью, когда красота и безобразие Хельги, по обыкновению, поменялись местами, мать обратилась к ней со словами горячей укоризны, кото-

рые сами собою вырвались из наболевшей души.

Безобразная, похожая на тролля жаба устремила на нее свои печальные карие глаза и, казалось, понимала каждое слово, как разумный человек.

– Никогда и никому, даже супругу моему, не проговори-  
лась я о том, что терплю из-за тебя! – говорила жена викин-  
га. – И сама не думала я, что так жалею тебя! Велика, видно,  
любовь материнская, но твоя душа не знает любви! Сердце  
твое похоже на холодную тину, из которой ты явилась в мой  
дом!

Безобразное создание задрожало, как будто эти слова за-  
тронули какие-то невидимые нити, соединявшие тело с ду-  
шой; на глазах жабы выступили крупные слезы.

– Настанет время и твоего испытания! – продолжала жена  
викинга. – Но много горя придется тогда изведать и мне!..  
Ах, лучше бы выбросили мы тебя на проезжую дорогу, когда  
ты была еще крошкой; пусть бы ночной холод усыпил тебя  
навек!

Тут жена викинга горько заплакала и ушла, полная гнева  
и печали, за занавеску из звериной шкуры, подвешенную к  
балке и заменявшую перегородку.

Жаба, съжившись, сидела в углу одна; мертвая тишина  
прерывалась лишь ее тяжелыми, подавленными вздохами;  
казалось, в глубине сердца жабы с болью зарождалась новая  
жизнь. Вдруг она сделала шаг к дверям, прислушалась, по-  
том двинулась дальше, схватилась своими беспомощными

лапами за тяжелый дверной болт и тихонько выдвинула его из скобы. В горнице стоял зажженный ночник; жаба взяла его и вышла за двери; казалось, чья-то могучая воля придавала ей силы. Вот она вынула железный болт из скобы, прокралась к спавшему пленнику и дотронулась до него своею холодною, липкою лапой. Пленник проснулся, увидел безобразное животное и задрожал, словно перед наваждением злого духа. Но жаба перерезала ножом связывавшие его веревки и сделала ему знак следовать за нею.

Пленник сотворил молитву и крестное знамение – наваждение не исчезало; тогда он произнес:

– Блажен, кто разумно относится к малым сим, – Господь спасет его в день несчастья!.. Но кто ты? Как может скрываться под оболочкой животного сердце, полное милосердного сострадания?

Жаба опять кивнула головой, провела пленника по уединенному проходу между спускавшимся с потолка до полу коврами в конюшню и указала на одну из лошадей. Пленник вскочил на лошадь, но вслед за ним вскочила и жаба и припустилась впереди него, уцепившись за гриву лошади. Пленник понял ее намерение и пустил лошадь вскачь по окольной дороге, которой никогда бы не нашел один.

Скоро он забыл безобразие животного, понял, что чудовище было орудием милости Божьей, и из уст его полились молитвы и священные псалмы. Жаба задрожала – от молитв ли, или от утреннего предрассветного холода? Что ощуща-

ла она – неизвестно, но вдруг приподнялась на лошади, как бы желая остановить ее и спрыгнуть на землю. Христианин силою удержал жабу и продолжал громко петь псалом, как бы думая победить им злые чары. Лошадь понеслась еще быстрее: небо заалело, и вот первый луч солнца прорвал облако. В ту же минуту произошло превращение: жаба стала молодой красавицей с демонски злою душой! Молодой христианин увидел, что держит в объятиях красавицу девушку, испугался, остановил лошадь и соскочил на землю, думая, что перед ним новое наваждение. Но и Хельга в один прыжок очутилась на земле; короткое платье едва доходило ей до колен; выхватив из-за пояса нож, она бросилась на остолбеневшего христианина.

– Пстой! – крикнула она. – Пстой, я проколю тебя ножом насквозь. Ишь, побледнел, как солома! Раб! Безбородый!

Между нею и пленником завязалась борьба, но молодому христианину, казалось, помогали невидимые силы. Он крепко стиснул руки девушки, а старый дуб, росший у дороги, помог ему одолеть ее окончательно: Хельга запуталась ногами в узловатых, переплетающихся корнях дуба, вылезших из земли. Христианин крепко охватил ее руками и повлек к протекавшему тут же источнику. Окропив водою грудь и лицо девушки, он произнес заклинание против нечистого духа, сидевшего в ней, и осенил ее крестным знаменiem, но одно крещение водою не имеет настоящей силы, если душа

не омыта внутренним источником веры.

И все-таки во всех действиях и словах христианина, совершавшего таинство, была какая-то особая, сверхчеловеческая сила, которая и покорила Хельгу. Она опустила руки и удивленными глазами, вся бледная от волнения, смотрела на молодого человека. Он казался ей могущественным волшебником, посвященным в тайную науку. Он ведь чертил над ней таинственные знаки, творил заклинания! Она не моргнула бы глазом перед занесенным над ее головой блестящим топором или острым ножом, но когда он начертил на ее челе и груди знак креста, она закрыла глаза, опустила голову на грудь и присмирела, как прирученная птичка.

Тогда он кротко заговорил с нею о подвиге любви, совершенном ею в эту ночь, когда она, в образе отвратительной жабы, явилась освободить его от уз и вывести из мрака темницы к свету и жизни. Но сама она – говорил он – опутана еще более крепкими узами, и теперь его очередь освободить ее и вывести к свету и жизни. Он повезет ее в Хедебю, к святому Ансгарию, и там, в этом христианском городе, чары с нее будут сняты. Но он уже не смел везти ее на лошади перед собою, хотя она и покорила ему.

– Ты сядешь позади меня, а не впереди! Твоя красота обладает злою силой, и я боюсь ее! Но с помощью Христа победа все-таки будет на моей стороне.

Тут он преклонил колена и горячо помолился; безмолвный лес как будто превратился в святой храм: словно члены



новой паствы, запели птички; дикая мята струила аромат, как бы желая заменить ладан. Громко прозвучали слова Священного Писания:

«Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране тени смертной воссиял свет!»

И он стал говорить девушке о духовной тоске, о стремлении к высшему всей природы, а ретивый конь в это время стоял спокойно, пощипывая листики ежевики; сочные, спелые ягоды падали в руку Хельги, как бы предлагая ей утолить ими жажду.

И девушка покорно дала христианину усадить себя на круп лошади; Хельга была словно во сне. Христианин связал две ветви наподобие креста и высоко поднял его перед собою. Затем они продолжали путь по лесу, который все густел и густел, дорожка становилась все уже и уже, а где и вовсе пропадала. Терновые кусты преграждали путь, точно опущенные шлагбаумы; приходилось объезжать их. Источник превратился не в быстрый ручей, а в стоячее болото; и его надо было объехать. В лесной чаще веяло отрадною, подкрепляющею и освежающею душу прохладой, но не меньше подкрепляли и освежали душу кроткие, дышащие верою и любовью, речи христианина, воодушевленного желанием вывести заблудшую из мрака к свету и жизни.

Говорят, дождевая капля долбит твердый камень, волны морские обтачивают и округляют оторванные обломки скал – роса Божьего милосердия, окропившая душу Хельги,

также продолбила ее жесткую оболочку, сгладила шероховатости. Но сама Хельга еще не отдавала себе отчета в том, что в ней совершается: ведь и едва выглянувший из земли росток, впивая благотворную влагу росы и поглощая теплые лучи солнца, тоже мало ведает о заложенном в нем семени жизни и будущем плоде.

И, как песня матери незаметно западает в душу ребенка, ловящего одни отдельные слова, не понимая их смысла, который станет ему ясным лишь с годами, так западали в душу Хельги и животворные слова христианина.

Вот они выехали из леса в степь, потом опять углубились в дремучий лес и под вечер встретили разбойников.

— Где ты подцепил такую красотку? — закричали они, остановили лошадь и стащили всадника и всадницу; сила была на стороне разбойников.

У христианина для защиты был лишь нож, который он вырвал в борьбе у Хельги. Один из разбойников замахнулся на него топором, но молодой человек успел отскочить в сторону, иначе был бы убит на месте. Топор глубоко врезался в шею лошади; кровь хлынула ручьем, и животное упало. Тут Хельга словно очнулась от глубокой задумчивости и припала к издыхающей лошади. Христианин тотчас заслонил девушку собою, но один из разбойников раздробил ему голову секирой. Кровь и мозг брызнули во все стороны, и молодой священник пал мертвым.

Разбойники схватили Хельгу за белые руки, но в эту ми-

нута солнце закатилось, и она превратилась в безобразную жабу. Бледно-зеленый рот растянулся до самых ушей, руки и ноги стали тонкими и липкими, а кисти рук превратились в веерообразные лапы с перепонкой между пальцами. Разбойники в ужасе выпустили ее. Чудовище стояло перед ними с минуту, затем высоко подпрыгнуло и скрылось в лесной чаще. Разбойники поняли, что это или Локи сыграл с ними злую шутку, или перед ними совершилось страшное колдовство, и в ужасе убежали прочь.

Полный месяц осветил окрестность, и безобразная жаба выползла из кустов. Она остановилась перед трупами христианина и коня и долго смотрела на них полными слез глазами; из груди ее вырвалось тихое кваканье, похожее на всхлипывание ребенка. Потом она начала бросаться то к тому, то к другому, черпала своею глубокою перепончатою горстью воду и брызгала на убитых. Но мертвых не воскресишь! Она поняла это. Скоро набегут дикие звери и растерзают их тела! Нет, не бывать этому! Она выроет для них такую глубокую могилу, какую только сможет. Но у нее был только толстый обломок ветви, а перепончатые лапы плохо рыли землю. В пылу работы она разорвала перепонку; из лап полилась кровь. Тут она поняла, что ей не справиться; она опять зачерпнула воды и обмыла лицо мертвого; затем прикрыла тела свежими, зелеными листьями, на них набросала больших ветвей, сверху еще листьев, на все это навалила тяже-

лые камни, какие только в силах была поднять, а все отверстия между ними заткнула мхом. Она надеялась, что под таким могильным курганом тела будут в безопасности. За эту тяжелую работу прошла вся ночь; выглянуло солнышко, и Хельга опять превратилась в красавицу девушку, но руки ее были все в крови, а по розовым девичьим щекам в первый раз в жизни струились слезы.

За минуту до превращения обе ее натуры словно слились в одну. Она задрожала всем телом и тревожно оглянулась кругом, словно только пробудясь от страшного сна, затем бросилась к стройному буку, крепко уцепилась за ветви, ища точку опоры, и в один миг, как кошка, вскарабкалась на вершину. Там она крепко примостилась на ветвях и сидела, как пугливая белка, весь день одна-одинешенька среди пустынного безмолвия леса. Пустынное безмолвие леса! Да, тут было и пустынно и безмолвно, только в воздухе кружились бабочки, не то играя, не то борясь между собою; муравьиные кучи кишмя кишели крохотными насекомыми; в воздухе плясали бесчисленные рои комаров, носились тучи жужжащих мух, божьих коровок, стрекоз и других крылатых созданий; дождевой червяк выползал из сырой почвы; кроты выбрасывали комья земли, – словом, тихо и пустынно здесь было лишь в том смысле, в каком принято говорить и понимать это. Никто из лесных обитателей не обращал на Хельгу внимания, кроме сорок, с криком летавших над вершиной дерева, где она сидела. Они даже перепрыги-

вали с ветки на ветку, подбираясь поближе к ней, — такие они смелые и любопытные! Но довольно было ей метнуть на них взгляд, и они разлетались; так им и не удалось разгадать это странное явление, да и сама Хельга не могла разгадать себя!

Перед закатом солнца предчувствие приближавшегося превращения заставило Хельгу слезть с дерева; последний луч погас, и она опять сидела на земле в виде съезжившейся жабы с разорванной перепонкою между пальцами. Но глаза безобразного животного сияли такою красотою, какую вряд ли отличались даже глаза красавицы Хельги. В этих кротких, нежных глазах светились глубоко чувствующая душа и человеческое сердце; ручьями лились из них слезы, облегчая переполненную горем душу.

На кургане лежал еще крест — последняя работа умершего христианина. Хельга взяла его, и ей сама собою пришла в голову мысль утвердить крест между камнями над курганом. При воспоминании о погребенном под ним слезы заструились еще сильнее, и Хельга, повинувшись какому-то внутреннему сердечному влечению, вздумала начертить знаки креста на земле вокруг всего кургана — вышла бы такая красивая ограда! Но едва она начертила обеими лапами первый же крест, перепонка слетела с них, как разорванная перчатка. Она омыла их в воде источника и удивленно посмотрела на свои белые тонкие руки, невольно сделала ими тот же знак в воздухе между собою и могилою, губы ее задрожали, и с языка слетело имя, которое она столько раз во время пути

слышала от умершего: «Господи Иисусе Христе»!

Мгновенно оболочка жабы слетела с Хельги, и она опять стала молодой красавицей девушкой; но голова ее устало склонилась на грудь, все тело просило отдыха – она заснула.

Недолго, однако, спала она; в полночь она пробудилась. перед нею стояла убитая лошадь, полная жизни, вся окруженная сиянием; глаза ее метали пламя; из глубокой раны на шее тоже лился свет. Рядом с лошадью стоял и убитый христианин, «прекраснее самого Бальдра» – сказала бы жена викинга. Он тоже был весь окружен сиянием.

Кроткие глаза его смотрели испытующе-серьезно, как глаза праведного судии, проникающего взглядом в самые сокровенные уголки души. Хельга задрожала, память ее пробудилась мгновенно, словно в день Последнего суда. Все доброе, что выпало ей на долю, каждое ласковое слово, слышанное ею, – все мгновенно ожило в ее памяти, и она поняла, что в эти дни испытаний ее, дитя живой души и мертвой тины, поддержала одна любовь. Она осознала, что повиновалась при этом лишь голосу внутреннего настроения, а сама для себя не сделала ничего. Все было ей дано, все она совершила не сама собою, а руководимая чьею-то высшею волею. Сознавая все свое ничтожество, полная стыда, смиренно преклонилась она перед тем, кто читал в глубине ее сердца. В ту же минуту она почувствовала, как зажглась в ней, как бы от удара молнии, светлая, божественная искра, искра Духа Святого.

— Дочь тины! — сказал христианин. — Из тины, из земли ты взята, из земли же ты и восстанешь! Солнечный луч, что животворит твоё тело, сознательно стремится слиться со своим источником; но источник его не солнце, а сам Бог! Ни одна душа в мире не погибает; но медленно течёт вся жизнь земная и есть лишь единый миг вечности. Я явился к тебе из обители мертвых; некогда и ты совершишь тот же путь через глубокие долины в горные светлые селения, где обитают Милость и Совершенство. Я поведу тебя теперь, но не в Хедэю для восприятия крещения, — ты должна сначала прорвать пелену, стелющуюся над глубоким болотом, и освободить живой корень твоей жизни и колыбели, выполнить своё дело, прежде нежели удостоишься посвящения!

И, посадив её на лошадь, он протянул ей золотую кадильницу, похожую на ту, что Хельга видела раньше в замке викинга; из кадильницы струился ароматный фимиам. Рана на лбу убитого христианина сияла, точно диадема. Он взял крест, возвышавшийся над курганом, и высоко поднял его перед собою; они понеслись по воздуху над шумящим лесом, над курганами, под которыми были погребены герои, верхом на своих добрых конях. И могучие тени поднялись, выехали и остановились на вершинах курганов; лунный свет играл на золотых обручах, красовавшихся на лбах героев; плащи их развевались по ветру. Дракон, страж сокровищ, поднял голову и смотрел воздушным путникам вслед. Карлики выглядывали на них из холмов, из борозд, проведенных плугом,

мелькая голубыми, красными и зелеными огоньками, — словно сотни искр перебежали по золе, оставшейся после сгоревшей бумаги.

Они пролетали над лесами, степями, озерами и трясинами, направляясь к Дикому болоту. Долетев до него, они принялись реять над ним: христианин высоко поднимал крест, блестящий, точно золотой, а из уст его лились священные песнопения; Хельга вторила ему, как дитя вторит песне матери, и кадила при этом золотою кадильницей. Из кадильницы струился такой сильный, чудодейственный фимиам, что осока и тростник зацвели, а со дна болота поднялись зеленые стебли, все, что только носило в себе зародыш жизни, пустило ростки и вышло на свет Божий. На поверхности воды раскинулся роскошный цветочный ковер из кувшинок, а на нем покоилась в глубоком сне молодая женщина дивной красоты. Хельга подумала, что видит в зеркале вод свое собственное отражение, но это была ее мать, супруга болотного царя, египетская принцесса.

Христианин повелел спящей подняться на лошадь, и та опустилась под новою тяжестью, точно свободно висящий в воздухе саван, но христианин осенил ее крестным знаменем, и тень вновь окрепла. Все трое выехали на твердую почву.

Пропел петух во дворе замка викинга, и видения рассеялись в воздухе, как туман от дуновения ветра. Мать и дочь очутились лицом к лицу.



– Не себя ли я вижу в глубокой воде? – спросила мать.

– Не мое ли это отражение в водяном зеркале? – промолвила дочь.

Они приблизились друг к другу и крепко обнялись. Сердце матери забилося сильнее, и она поняла почему.

– Мое дитя, цветок моего сердца, мой лотос из глубины вод!

И она опять обняла дочь и заплакала; эти слезы были для Хельги новым крещением, возрождавшим ее к жизни и любви.

– Я прилетела на болото в лебедином оперении и здесь сбросила его с себя! – начала свой рассказ мать. – Ступив на зыбкую почву, я погрузилась в болотную тину, которая сразу же сомкнулась над моею головой. Скоро я почувствовала приток свежей воды, какая-то неведомая сила увлекала меня все глубже и глубже; веки мои отяжелели, и я заснула... Во сне мне грезилось, что я опять внутри египетской пирамиды, но передо мной – колеблющийся ольховый пенек, который так испугал меня на поверхности болота. Я рассматривала трещины на его коре, и они вдруг засветились и стали иероглифами – передо мной очутилась мумия. Наружная оболочка ее вдруг распалась, и оттуда выступил древний царь, покоившийся тысячи лет, черный, как смола, лоснящийся, как лесная улитка или как жирная, черная болотная грязь. Был ли передо мною сам болотный царь или мумия – я уж перестала понимать. Он обвил меня руками, и мне показалось, что

я умираю. Очнулась я, почувствовав на своей груди что-то теплое: на груди у меня сидела, трепеща крылышками, птичка, щебетала и пела. Потом она взлетела с моей груди кверху, к черному, тяжелому своду, но длинная зеленая лента привязывала ее ко мне. Я поняла ее тоскливое щебетанье: «На волю, на волю, к отцу!» Мне вспомнился мой отец, залитая солнцем родина, вся моя жизнь, моя любовь... И я развязала узел, отпустила птичку на волю, к отцу! С той минуты я уже не видела никаких снов и спала непробудно, пока сейчас меня не вызвали со дна болота эти звуки и аромат!

Где же развевалась, где была теперь зеленая лента, привязывавшая птичку к сердцу матери? Видел ее лишь аист, лентой был ведь зеленый стебель, узлом – яркий цветок – колыбель малютки, которая теперь превратилась в юную красавицу девушку и опять покоилась на груди у матери.

А в то время, как они стояли обнявшись на берегу болота, над ними кружился аист. Он быстро слетал назад, в гнездо, за спрятанными там давным-давно оперениями и бросил их матери с дочерью. Они сейчас же накинули их на себя и поднялись на воздух в виде белых лебедей.

– Теперь поговорим! – сказал аист. – Теперь мы пойдем друг друга, хотя клюв и не у всех птиц скроен одинаково!.. Хорошо, что вы явились как раз сегодня ночью: днем нас бы уж не было тут. И я, и жена, и птенцы – все улетаем поутру на юг! Я ведь старый знакомый ваш с нильских берегов! И жена моя тут же, со мною; сердце у нее добрее, чем язык!

Она всегда говорила, что принцесса выпутается из беды! А я и птенцы наши перенесли сюда лебединые перья!.. Ну, очень рад! Ведь это просто счастье, что я еще здесь! На заре мы улетаем всей компанией! Мы полетим вперед, только не отставайте, и вы не собьетесь с дороги! Мы с птенцами будем, впрочем, присматривать за вами.

– И я принесу с собою на родину лотос! – сказала египетская принцесса. – Он летит рядом со мною в лебедином оперении! Цветок моего сердца со мною – вот как это все разрешилось! Домой теперь, домой!

Но Хельга сказала, что не может покинуть Данию, не повидавшись со своею приемною матерью, доброю женою викинга. Хельга припомнила всю ее доброту, каждое ее ласковое слово, каждую слезу, пролитую ею из-за приемной дочери, и в эту минуту девушке казалось даже, что она любит ту мать сильнее, чем эту.

– Да нам и надо слетать в замок викинга! – ответил аист. – Там ведь ждет нас жена с птенцами! Вот-то заворочают они глазами и затрещат! Жена – та, пожалуй, не много скажет! Она вообще скупа на слова, выражается кратко и вразумительно, а думает еще лучше! Сейчас я затрещу, чтобы предупредить их о нашем приближении!

И он затрещал, защелкал клювом. Скоро они подлетели к замку викинга.

В замке все было погружено в глубокий сон. Забылась сном и жена викинга, но только позднею ночью: страх и бес-

покойство долго не давали ей уснуть. Прошло ведь уже три дня, как Хельга исчезла вместе с пленным христианином; должно быть, это она помогла ему бежать: в конюшне недо-ставало именно ее лошади. Но как могло все это случиться? И жене викинга невольно припомнились рассказы о чудесах, которые творил сам белый Христос и веровавшие в него. Все эти мысли, бродившие в ее голове наяву, облеклись во сне в живые образы, и вот ей пригрезилось, что она по-прежнему сидит на постели, погруженная в думы о Хельге; все кругом тонет в сплошном мраке, надвигается буря. С обеих сторон – и со стороны Северного моря и со стороны Каттегата – слышится грозный шум прибоя. Чудовищная змея, обвива-ющая в глубине морской кольцом всю землю, бьется в судорогах. Приближается страшная ночь – рагнарёк, как древние называли последнюю ночь, когда рухнет мир и погибнут самые боги. Вот слышится громкий звук рога и по радуге выезжают верхом на конях боги, закованные в светлые доспехи, выезжают на последнюю битву! Перед ними летят крылатые валькирии, а замыкается поезд рядами умерших героев. Небо залито северным сиянием, но мрак победит. Прибли-жается ужасный час.

А рядом с испуганной женой викинга сидит на полу Хель-га в образе безобразной жабы, дрожит от страха и жмется к ней. Она берет жабу на колени и с любовью прижимает к себе, хоть она и безобразна. Вот воздух задрожал от ударов мечей и палиц, засвистели стрелы – словно град посыпался с

неба. Настал тот час, когда земля и небо должны были рухнуть, звезды упасть с неба, и все погибнуть в пламени Суртура.

Но жена викинга знала, что после того возникнут новое небо и новая земля, и хлебная нива заволнуется там, где прежде катило свои волны по желтому песчаному дну сердитое море. Она знала, что воцарится новый неведомый бог, и к нему вознесется кроткий, светлый Бальдр, освобожденный из царства теней. И вдруг она видит его перед собою! Она узнала его с первого взгляда – это был пленный христианин.

– Белый Христос! – воскликнула она и, произнося это имя, поцеловала в лоб свое безобразное дитя-жабу. В ту же минуту оболочка с жабы спала, и перед ней очутилась Хельга, прекрасная, как всегда, но такая кроткая и с таким сияющим любовью взглядом! Хельга поцеловала руки жены викинга, как бы благодаря ее за все заботы и любовь, которыми она окружала свою приемную дочь в тяжелое время испытания, за все добрые мысли и чувства, которые она пробудила в ее душе, и за произнесенное ею сейчас имя белого Христа. Хельга повторила это имя и вдруг поднялась на воздух в виде лебедя: белые крылья распустились и зашумели, словно взлетала на воздух целая стая птиц.

Тут жена викинга проснулась. На дворе в самом деле слышалось хлопанье крыльев. Она знала, что настала пора обычного отлета аистов, и догадалась, что это они шумели крыльями. Ей захотелось еще раз взглянуть на них и попрощать-

ся с ними. Она встала, подошла к отверстию, заменявшему окно, распахнула ставню и выглянула во двор. На крыше пристройки сидели рядышком сотни аистов, а над двором, над высокими деревьями, летали стаями другие; прямо же против окна, на краю колодца, где так часто сиживала, пугая свою приемную мать, красавица Хельга, сидели две лебедки, устремив свои умные глаза на жену викинга. Она вспомнила свой сон, который произвел на нее такое глубокое впечатление, что почти казался ей действительностью, вспомнила Хельгу в образе лебедя, вспомнила христианина, и сердце ее вдруг радостно забилося.

Лебедки захлопали крыльями и изогнули шеи, точно кланяясь ей, а она, как бы в ответ на это, протянула к ним руки и задумчиво улыбнулась им сквозь слезы.

Аисты, шумя крыльями и щелкая клювами, взвились в воздух, готовясь направить свой полет к югу.

– Мы не станем ждать этих лебедек! – сказала аистиха. – Коли хотят лететь с нами, пусть не мешкают! Не оставаться же нам тут, пока не соберутся лететь кулики! А ведь лететь так, как мы, семьями, куда пристойнее, чем так, как летят зяблики или турухтаны: у тех мужья летят сами по себе, а жены сами по себе! Просто неприлично! А у лебедей-то, у лебедей-то что за полет?!

– Всяк летит по-своему! – ответил аист. – Лебеди летят косою линией, журавли – треугольником, а кулики – змеею!

– Пожалуйста, не напоминай теперь о змеях! – Заметила

аистиха. — У птенцов может пробудиться аппетит, а чем их тут накормишь?

— Так вот они, высокие горы, о которых я слышала! — сказала Хельга, летевшая в образе лебедки.

— Нет, это плывут под нами грозовые тучи! — возразила мать.

— А что это за белые облака в вышине? — спросила дочь.

— Это вечно снежные вершины гор! — ответила мать, и они, перелетев Альпы, продолжали путь по направлению к Средиземному морю.

— Африка! Египет! — Ликовала дочь нильских берегов, заведя с высоты желтую волнистую береговую полосу своей родины.

Завидели берег и аисты и ускорили полет.

— Вот уж запахло нильскою тиной и влажными лягушками! — сказала аистиха птенцам. — Ох, даже защекотало внутри! Да, вот теперь сами попробуете, каковы они на вкус, увидите марабу, ибисов и журавлей. Они все нашего же рода, только далеко не такие красивые. А важничают! Особенно ибисы — их избаловали египтяне; они делают из ибисов мумии, набивая их душистыми травами. А по мне, лучше быть набитой живыми лягушками! Вот вы узнаете, как это приятно! Лучше при жизни быть сытым, чем после смерти попасть в музей! Таково мое мнение, а оно самое верное!

– Вот и аисты прилетели! – сказали обитатели дворца на нильском берегу. В открытом покое на мягком ложе, покрытом шкурой леопарда, лежал сам царственный владыка, по-прежнему ни живой, ни мертвый, ожидая целебного лотоса из глубокого северного болота. Родственники и слуги окружали ложе.

И вдруг в покой влетели две прекрасные белые лебедки, прилетевшие вместе с аистами. Они сбросили с себя оперения, и все присутствовавшие увидали двух красавиц, похожих друг на друга, как две капли воды. Они приблизились к бледному, увядшему старцу и откинули назад свои длинные волосы. Хельга склонилась к деду, и в ту же минуту щеки его окрасились румянцем, глаза заблестали, жизнь вернулась в окоченевшее тело. Старец встал помолодевшим, здоровым, бодрым! Дочь и внучка взяли его за руки, точно для утреннего приветствия после длинного тяжелого сна.

Что за радость воцарилась во дворце! В гнезде аистов тоже радовались – главным образом, впрочем, хорошему корму и обилию лягушек. Ученые впопыхах записывали историю обеих принцесс и целебного цветка, принесшего с собою счастье и радость всей стране и всему царствующему дому, аисты же рассказывали ее своим птенцам, но, конечно, по-своему, и не прежде, чем все наелись досыта, – не то у них нашлось бы иное занятие!

– Теперь и тебе перепадет кое-что! – шепнула аистиха мужу. – Уж не без того!



– А что мне нужно? – сказал аист. – И что я такое сделал? Ничего!

– Ты сделал побольше других! Без тебя и наших птенцов принцессам вовек не видать бы Египта и не исцелить старика. Конечно, тебе перепадет за это! Тебя, наверно, удостоят степени доктора, и наши следующие птенцы уже родятся в этом звании, их птенцы – тоже и так далее! По мне, ты и теперь ни дать ни взять – египетский доктор!

А ученые и мудрецы продолжали развивать основную мысль, проходившую, как они говорили, красною нитью через все событие, и толковали ее на разные лады. «Любовь – родоначальница жизни» – это была основная мысль, а истолковывали ее так: «Египетская принцесса, как солнечный луч, проникла во владения болотного царя, и от их встречи произошел цветок...»

– Я не сумею как следует передать их речей! – сказал подслушавший эти разговоры аист, когда ему пришлось пересказать их в гнезде. – Они говорили так длинно и так мудро, что их сейчас же наградили чинами и подарками; даже лейб-повар получил орден – должно быть, за суп!

– А ты что получил? – спросила аистиха. – Не следовало бы им забывать самое главное лицо, а самое главное лицо – это ты! Ученые-то только языком трепали! Но дойдет еще очередь и до тебя!

Позднею ночью, когда весь дворец, все его счастливые обитатели спали сладким сном, не спала во всем доме лишь

одна живая душа. Это был не аист — он хоть и стоял возле гнезда на одной ноге, но спал на страже, — не спала Хельга. Она вышла на террасу и смотрела на чистое, ясное небо, усеянное большими блестящими звездами, казавшимися ей куда больше и ярче тех, что она привыкла видеть на севере. Но это были те же самые звезды! И Хельге вспомнились кроткие глаза жены викинга и слезы, пролитые ею над своей дочкой-жабой, которая теперь любовалась великолепным звездным небом на берегу Нила, вдыхая чудный весенний воздух. Она думала о том, как умела любить эта язычница, какими нежными заботами окружала она жалкое создание, скрывавшее в себе под человеческою оболочкой звериную натуру, а в звериной — внушавшее такое отвращение, что противно было на него и взглянуть, не то что дотронуться! Хельга смотрела на сияющие звезды и вспоминала блеск, исходивший от чела убитого христианина, когда они летели вместе над лесом и болотом. В ушах ее снова раздавались те звуки и слова, которые она слышала от него тогда, когда сидела позади него на лошади: он говорил ей о великом источнике любви, высшей любви, обнимающей все поколения людские!..

Да, чего только не было ей дано, чего она не достигла! Дни и ночи думала Хельга о выпавшем на ее долю счастье, созерцала свою жизнь, которая вела ее чудесными путями все к высшей радости и блаженству, и так и застыла в этом созерцании, как ребенок, который быстро переносит взор от дарящего к подаркам. Она вся ушла в думы о своем настоя-

щем счастье и о будущем, которое ожидало ее, должно было ожидать ее впереди, и совсем забыла о том, кто даровал ей это счастье. В ней кипела отвага молодости, глаза ее блистали от восторга. Но вот слух ее был привлечен страшным шумом на дворе. Она взглянула туда и увидела двух больших, сильных страусов, бегавших сломя голову кругом по двору. Хельга в первый раз видела этих огромных, тяжелых, неуклюжих птиц с точно обрубленными крыльями. Они бежали, встревоженные, испуганные, словно их кто обидел. Хельга спросила, что с ними случилось, и впервые услышала египетское предание о страусе.

Когда-то страусы славилась красотой; крылья их были велики и сильны. Однажды вечером другие могучие лесные птицы сказали страусу: «Брат, завтра, бог даст, полетим к реке напиться!» И страус ответил: «Захочу и полечу!» На заре птицы полетели. Все выше и выше взвивались они, все ближе и ближе к солнцу, Божьему оку. Страус летел один, впереди всех, горделиво, стремясь к самому источнику света и полагаясь лишь на свои силы, а не на подателя их; он говорил не «бог даст», а «захочу», и вот ангел возмездия сдернул с раскаленного солнечного диска тонкую пелену – в ту же минуту крылья страуса опалило, как огнем, и он, бессильный, уничтоженный, упал на землю. Никогда больше он и весь его род не могли подняться с земли! Испугавшись чего-нибудь, они мечутся как угорелые, описывая все один и тот же узкий круг, и служат нам, людям, живым напоминанием и предо-

стережением.

Хельга задумчиво опустила голову, посмотрела на страусов, мечущихся не то от ужаса, не то от глупой радости при виде своей собственной тени на белой, освещенной луною, стене, и душою ее овладело серьезное настроение. Да, ей выпала на долю богатая счастьем жизнь, что же ждет ее впереди? Еще высшее счастье – «даст бог!»

Раннею весною, перед отлетом аистов на север, Хельга взяла золотое кольцо, начертила на нем свое имя и подозвала к себе своего знакомого аиста. Когда тот приблизился, Хельга надела ему кольцо на шею, прося отнести его жене викинга, – кольцо скажет ей, что приемная дочь ее жива, счастлива и помнит о ней.

«Тяжеленько это будет нести! – подумал аист. – Но золото и честь не выбросишь на дорогу! «Аист приносит счастье», – скажут там на севере!..»

– Ты несешь золото, а я яйца! – сказала аистиха. – Но ты-то принесешь его только раз, а я несу яйца каждый год! Благодарности же не дождется ни один из нас! Вот что обидно!

– Довольно и собственного сознания, женушка! – сказал аист.

– Ну, его не повесишь себе на шею! – ответила аистиха. – Оно тебе ни корму, ни попутного ветра не даст!

И они улетели.

Маленький соловей, распевавший в тамариндовой роще,

тоже собирался улететь на север; в былые времена Хельга часто слышала его возле Дикого болота. И она дала поручение и соловью: с тех пор, как она полетала в лебедином оперении, она могла объясняться на птичьем языке и часто разговаривала и с аистами и с ласточками, которые понимали ее. Соловей тоже понял ее: она просила его поселиться на Ютландском полуострове в буковом лесу, где возвышался курган из древесных ветвей и камней, и уговорить других певчих птичек ухаживать за могилой и, не умолкая, петь над нею свои песни.

Соловей полетел стрелой, полетело стрелой и время!

Осенью орел, сидевший на вершине пирамиды, увидел приближавшийся богатый караван; двигались нагруженные сокровищами верблюды, гарцевали на горячих арабских конях разодетые и вооруженные всадники. Серебристо-белые кони с красными раздувающимися ноздрями и густыми гривами, ниспадавшими до тонких стройных ног, горячились и фыркали. Знатные гости, в числе которых был и один арабийский принц, молодой и прекрасный, каким и подобает быть принцу, въехали во двор могучего владыки, хозяина аистов, гнездо которых стояло теперь пустым. Аисты находились еще на севере, но скоро должны были вернуться.

Они вернулись в тот самый день, когда во дворце царила шумная радость, кипело веселье – праздновали свадьбу. Невестой была разодетая в шелк, сиявшая драгоцен-

ными украшениями Хельга; женихом – молодой аравийский принц. Они сидели рядом за свадебным столом, между матерью и дедом.

Но Хельга не смотрела на смуглое мужественное лицо жениха, обрамленное черною курчавою бородой, не смотрела и в его огненные черные глаза, не отрывавшиеся от ее лица. Она устремила взор на усеянный светлыми звездами небесный свод.

Вдруг в воздухе послышались шум и хлопанье крыльев – вернулись аисты. Старые знакомые Хельги были тут же, и как ни устали они оба с пути, как ни нуждались в отдыхе, сейчас же спустились на перила террасы, зная, что за праздник идет во дворце. Знали они также – эта весть долетела до них, едва они приблизились к границам страны, – что Хельга велела нарисовать их изображение на стене дворца: аисты были ведь тесно связаны с историей ее собственной жизни.

– Очень мило! – сказал аист.

– Очень и очень мило! – объявила аистиха. – Меньшего уж нельзя было и ожидать!

Увидав аистов, Хельга встала и вышла к ним на террасу погладить их по спине. Старый аист наклонил голову, а молодые смотрели из гнезда и чувствовали себя польщенными.

Хельга опять подняла взор к небу и засмотрелась на блестящие звезды, сверкавшие все ярче и ярче. Вдруг она увидела, что между ними и ею витает прозрачный, светлый, светлее самого воздуха образ. Вот он приблизился к Хельге, и

она узнала убитого христианина. И он явился к ней в этот торжественный день, явился из небесных чертогов!

– Небесный блеск и красота превосходят все, что может представить себе смертный! – сказал он.

И Хельга стала просить его так кротко, так неотступно, как никогда еще никого и ни о чем не просила, взять ее туда, в небесную обитель, хоть на одну минуту, позволить ей бросить хоть один-единственный взгляд на небесное величие!

И он вознесся с нею в обитель блеска, света и гармонии. Дивные звуки и мысли не только звучали и светились вокруг Хельги в воздухе, но и внутри ее, в глубине ее души. Словами не передать, не рассказать того, что она чувствовала!

– Пора вернуться! Тебя ищут! – сказал он.

– Еще минутку! – молила она. – Еще один миг!

– Пора вернуться! Все гости уже разошлись!

– Еще одно мгновение! Последнее...

И вот Хельга опять очутилась на террасе, но... все огни и в саду и в дворцовых покоях были уже потушены, аистов не было, гостей и жениха – тоже; все словно ветер развеял за эти три кратких мгновения.

Хельгу охватил страх, и она прошла через огромную, пустынную залу в следующую. Там спали чужеземные воины! Она отворила боковую дверь, которая вела в ее собственный покой, и вдруг очутилась в саду, – все стало тут по-другому! Край неба алел, занималась заря.

В три минуты, проведенные ею на небе, протекла целая земная ночь!

Тут Хельга увидела аистов, подозвала их к себе, заговорила с ними на их языке, и аист, подняв голову, прислушался и приблизился к ней.

– Ты говоришь по-нашему! – сказал он. – Что тебе надо? Откуда ты, незнакомка?

– Да ведь это же я, Хельга! Ты не узнаешь меня? Три минуты тому назад я разговаривала с тобой тут, на террасе!

– Ты ошибаешься! – ответил аист. – Ты, верно, видела все это во сне!

– Нет, нет! – сказала она и стала напоминать ему о замке викингов, о Диком болоте, о полете сюда...

Аист заморгал глазами и сказал:

– А, это старинная история! Я слышал ее еще от моей прапрапрабабушки! Тут, в Египте, правда, была такая принцесса из Дании, но она исчезла в самый день своей свадьбы много-много лет тому назад! Ты сама можешь прочесть об этом на памятнике, что стоит в саду! Там же высечены лебедки и аисты, а на вершине памятника стоишь ты сама, изваянная из белого мрамора!

Так оно и было. Хельга увидела памятник, поняла все и пала на колени.

Взошло солнце, и как прежде с появлением его спадала с Хельги безобразная оболочка жабы и из нее выходила молодая красавица, так теперь из брэнной телесной оболочки,



очищенной крещением света, вознесся к небу прекрасный образ, чище, прозрачнее воздуха; солнечный луч вернулся к отцу!

А тело распалось в прах; на том месте, где стояла колено-преклоненная Хельга, лежал теперь увядший лотос.

– Новый конец истории! – сказал аист. – И совсем неожиданный! Но ничего, мне он нравится!

– А что-то скажут о нем детки? – заметила аистиха.

– Да, это, конечно, важнее всего! – сказал аист.

# Ветер рассказывает о Вальдемаре До и его дочерях

Пронесется ветер над травой, и по ней пробежит легкая зыбь, словно по водяной поверхности; пронесется над нивой, и она взволнуется, как море; это пляска ветра. А послушай его рассказы! Он поет их, и голос его звучит на разные лады: в лесу – так, в доме, куда он врывается через слуховые окна, щели и дыры, – иначе. Гляди, как ветер гонит облака; они несутся, точно стадо овец! А слышишь, как он воет в воротах? Будто сторож трубит в рог! Как странно свищет он в трубе и в камине! Дрова трещат и разбрасывают искры; яркий отблеск пламени забирается даже в самые дальние углы комнаты. Как тут тепло, как уютно, как приятно сидеть у камелька и слушать! Пусть только рассказывает сам ветер! Он один знает историй и сказок больше, чем мы все вместе. Слушай же, он начинает:

«У-у-у-у! Проносись!» – это его припев.

– На берегу Большого Бельта есть старая усадьба с красным кирпичным господским домом! – начал ветер. – Мне там знаком каждый кирпич: я видел их все, когда еще из них сложен был замок Марска Стига; замок разрушился, а кирпичи опять пошли в дело, – из них выстроили новые стены, новый дом в усадьбе Борребю; он стоит и по сейчас.

Знавал я и всех высокородных владетелей и владительниц

усадьбы; много поколений сменилось на моих глазах! Я расскажу теперь о Вальдемаре До и его дочерях!

Высоко держал он свою голову, – в нем текла королевская кровь! И умел он не только оленей травить да кубки осушать, а кое-что получше! Что же именно? «А вот со временем выяснится!» – говорил он.

Супруга его, разодетая в парчовое платье, гордо выступала по блестящему мозаичному полу; обстановка дома была роскошная: гобелены, дорогая резная мебель. А сколько серебряной и золотой посуды принесла госпожа с собой в приданое! В погребах хранилось немецкое пиво – пока там вообще что-то хранилось! В конюшнях ржали великолепные вороные кони. Да, богат был владелец Борребю – пока богатство не ушло.

Были у него и дети, три нежных цветка: Ида, Йоханна и Анна Дортея; я еще помню, как их звали!

Тут мне не случалось видеть, как в других старинных усадьбах, чтобы высокородная госпожа сидела в парадной зале вместе со своими девушками за прялкою. Нет, она играла на звучной лютне и пела, да не одни старые датские песни, а чужеземные, на чужих языках. В усадьбе жилось весело, наезжали знатные гости и из ближних и из дальних мест, раздавалась музыка, звенели бокалы, стон стоял в воздухе, и даже мне не под силу было заглушить его! Да, много тут было шума и треска, здесь царила господская спесь, тут были господа, но не было Господа!..

– Был майский вечер, – продолжал ветер, – я только что вернулся с запада; видел, как разбивались о ютландский берег корабли, пронесся над степью и покрытым зелеными лесами берегом, прошумел, просвистел над островом Фюн и водами Большого Бельта и успокоился только у берегов Зеландии. Здесь я улегся возле Борребю в великолепном дубовом лесу – он был еще цел тогда.

По лесу бродили молодые парни из окрестностей и собирали сухой хворост и сухие большие ветви. Набрав охапку, они возвращались в селение, складывали хворост и ветви в кучи, поджигали их и с песнями принимались плясать вокруг костров. Девушки не отставали от парней.

– Я лежал смирно, – рассказывал ветер, – и только тихонько дул на ветку, положенную самым красивым молодым парнем. Она вспыхнула ярче всех, и парня выбрали в майские короли, а он выбрал себе из девушек королеву. То-то было веселья, то-то радости! Побольше, чем в богатом господском доме!

А к господскому двору направлялась запряженная пятью лошадьми золоченая карета. В ней сидели сама госпожа и ее дочери, три нежных, юных, прелестных цветка: роза, лилия и бледный гиацинт. Сама мать была пышным тюльпаном; она сидела, вытянувшись в струнку, и не отвечала ни на один поклон, ни на один книксен, которыми приветствовали ее приостановившие пение и пляску поселяне; она словно боялась переломить свою стройную талию, если поклонится!

«А вы, роза, лилия и бледный гиацинт, – да, я, как сейчас, вижу их перед собою, – чьими королевами будете со временем вы? – подумал я. – Вашими избранниками будут благородные рыцари, может быть, принцы!»

У-у-у! Проносись, проносись!

Карета проехала, и поселяне вновь пустились в пляс. Так-то встречали лето в Борребю, в Тьеребю и других окрестных селениях!

– А ночью, когда я поднялся, – продолжал ветер, – высокородная госпожа слегла и уж больше не вставала. С нею случилось то же, что случается со всеми людьми, – нового тут нет ничего. Вальдемар До постоял с минуту в серьезном раздумье, но «гордое дерево лишь гнется, а не ломается», – звучало в его душе. Дочери плакали, дворня тоже ходила с мокрыми глазами. Но госпожа До все-таки унеслась, унесся и я! У-у-у! – прогудел ветер.

– Я вернулся назад – я часто возвращался назад, проносясь над островом Фюн и водами Бельта, – и улегся на берегу моря, в Борребю, возле великолепного дубового леса. В лесу вили себе гнезда морские орлы-рыболовы, лесные голуби, иссиня-черные вороны и даже черные аисты. Стояла ранняя весна; в одних гнездах лежали яйца, в других уже пищали птенцы, а птичьи стаи кричали и летали над лесом как шальные! В лесу раздавались удары топоров; высокие дубы были обречены на сруб: Вальдемар До собирался выстроить дорожкой трехпалубный военный корабль, – его, наверное, купит

король! Вот отчего и вырубили лес, примету моряков, убежище птиц. Сорокопуты в ужасе летали взад и вперед: гнезда их были опустошены; морские орлы и другие лесные птицы тоже лишились своих жилищ и кружились в воздухе, крича от страха и злобы. Я понимал их! А вороны и галки испускали насмешливые крики: «Крах! Разорение! Крах, крах!»

В лесу возле толпы рабочих стоял сам Вальдемар До с тремя дочерьми. Все они смеялись над дикими криками птиц, все, кроме младшей дочери, Анны Дортеи. Ей было жаль птиц, и когда дело дошло до полужасохшего дуба, на голых ветвях которого свил себе гнездо черный аист, она со слезами на глазах стала просить отца не давать рубить дерево, не губить птенцов, высовывавших из гнезда головки. И дуб был пощажен ради черного аиста, – стоило разговаривать об одном дереве!

Пошла рубка и пилка; строили трехпалубный корабль. Сам строитель был не из важного, но все-таки благородного рода. Глаза и лоб обличали его ум, и Вальдемар До охотно слушал рассказы молодого человека. Заслушивалась их и молоденькая Ида, старшая, пятнадцатилетняя дочка владельца Борребю. Строитель же, строя корабль для Вальдемара До, строил воздушный замок для самого себя и для Иды: они сидели в этом замке рядышком, как муж с женою! Оно бы так и случилось, будь его замок настоящим, с каменными стенами, валами, рвами, лесами и садами. Но куда уж воробью соваться в журавлиную пляску! Как ни умен был моло-

дой строитель, все же он был бедняком. У-у-у! Я умчался, и он умчался, — он не смел тут больше оставаться, а Ида примирилась с своею судьбой, что же ей было делать?

— В конюшнях ржали вороные кони, — продолжал ветер, — стоило на них посмотреть! На них и смотрели. Адмирал, посланный самим королем для осмотра и покупки нового военного корабля, громко восхищался ретивыми конями. Я отлично слышал все, — я ведь проходил вслед за господами в открытые двери и сыпал им под ноги золотую солому. Вальдемару До желательно было получить золото, адмиралу же — вороных коней, оттого-то он и выхвалял их. Но его не поняли, и покупка не состоялась. Корабль как стоял, так и остался стоять на берегу, прикрытый досками, как Ноев ковчег; не суждено было ему плавать по синему морю! У-у-у! Проносись! Проносись! — прогудел ветер. — Жалко было смотреть на него!

Зимою, когда снежный ковер покрыл поле, а по Бельту поплыли льдины, а я погнал волны на берег, на корабль налетали стаи черных воронов и ворон, одни чернее других; птицы садились на пустое, брошенное, одинокое судно и злобно шипели и вопили о срубленном лесе, о разоренных, дорогих им гнездах, о лишенных приюта старых птицах и молодых птицах. И все ради чего? Ради этого хлама, этого гордого корабля, которому никогда не суждено быть спущенным на воду!

Я поднял снежный вихрь, и хлопья ложились вокруг ко-

рабля волнами. Я дал ему послушать мое пение и музыку бури: пусть привыкает, на то он и корабль! У-у-у! Проносись!

Пронеслась и зима; зима и лето проносятся, как пронесуся я, как сыплется снег, осыпаются цветы яблони, опадает листва. Проноситесь! Проноситесь! И люди тоже!

Но дочери были еще молоды. Ида по-прежнему цвела, словно роза, как и в то время, когда любовался ею строитель корабля. Я часто играл ее длинными русыми локонами, когда она задумчиво стояла под яблонею, не замечая, что я осыпаю ее распустившиеся волосы дождем цветов. Она смотрела на красное солнышко и золотой небесный свод, просвечивавший между густыми деревьями сада.

Сестра ее Йоханна была похожа на стройную, блестящую лилию, с гордо откинутою назад головкой и такою же тонкою, хрупкою талией, какая была у матери. Она любила заходить в огромный покой, где висели на стенах портреты ее предков. Знатные дамы были изображены в бархатных и шелковых платьях и униженных жемчугом шапочках, прикрывавших заплетенные в мелкие косы волосы. Как они были прекрасны! Мужья их носили панцири и латы или плащи на белом меху с высокими стоячими голубыми воротниками. Мечи у них висели на бедрах, а не у пояса. Где-то будет красоваться со временем портрет Йоханны, и каков-то будет на вид ее благородный супруг? Да, вот о чем она думала, вот что тихо шептали ее губы. Я подслушал все это, носясь взад и вперед по длинному коридору и врываясь в огромный покой.



Анна Дортея, бледный гиацинт, еще четырнадцатилетняя девочка, была тиха и задумчива. Большие светло-голубые глаза смотрели серьезно и грустно, но на устах порхала улыбка. Я не мог ее сдуть, да и не хотел.

Я часто встречал Анну Дортею в саду, на дороге и в поле, она собирала цветы и травы, которые могли, как она знала, пригодиться ее отцу: он приготавливал из них питье и капли. Вальдемар До был горд и смел, но также и знающ! Он много знал! Все это видели, все об этом шептались. Огонь пылал в его комнате даже летом, а дверь всегда была на замке; он работал там дни и ночи, но не любил разговаривать о своей работе: силы природы нужно испытывать в тиши; скоро, скоро он найдет самое лучшее, самое драгоценное на свете – красное золото!

– Вот почему валил из трубы дым, тресали дрова и пылал в камине огонь! Я сам помогал раздувать его! – рассказывал ветер. – «Будет! Будет! – гудел я в трубу Вальдемару До. – Все станет дымом, сажей, золой, пеплом! Ты прогоришь! У-у-у! Проносись! Проносись! Будет! Будет!» Но Вальдемар До стоял на своем.

Куда же девались из конюшен великолепные лошади? Куда девалась из шкафов серебряная и золотая посуда, с полей – коровы, все добро и имение? Да, все это можно расплавить, растопить... расплавить в золотом тигле, но золота из того не получится!

Пусто стало в кладовых, в погребках и на чердаках. Убави-

лось людей, прибавилось мышей. Одно стекло треснет, другое лопнет, и мне уже не нужно входить непременно в двери! «Где дымится труба, там готовится еда», а тут дымилась такая труба, что пожирала всю еду ради красного золота!

Я гудел в воротах усадьбы, словно сторож трубил в рог, но тут не было больше сторожа! Я вертел башенный флюгер, и он скрипел, будто сторож храпел на вышке, но и там не было больше сторожа! Там были только крысы да мыши. Нищета накрывала в господском доме стол, нищета разместилась в шкафах и буфетах; двери соскочили с петель, всюду появились щели и дыры – мне на руку: доступ стал свободнее! Оттого-то я и знаю, что там творилось.

От дыма и пепла, от забот и бессонных ночей волосы и борода владельца Борребю поседели, кожа на лице сморщилась и пожелтела, но впалые глаза по-прежнему горели жадным блеском в ожидании золота, желанного золота!

Я дул и обдавал ему лицо и бороду дымом и пеплом; золото все не являлось, зато являлись долги. Я пел свои песни в разбитые окна, щели и дыры, пробирался и в сундуки дочерей, где лежали их полинявшие, изношенные платья, – носить их пришлось без конца, без перемены! Да, не то сулили девушкам песни, что пелись над их колыбелями! Господское житье стало горемычным житьем. Лишь я один пел там громко! – рассказывал ветер. – Я осыпал весь дом снегом, говорят, что снег греет; дров же у них не было, лес был ведь вырублен. Мороз так и трещал. Я носился взад и вперед по

всему дому, врывался в слуховые окна и щели, носился над крышей и стенами, – надо было поддержать в себе бодрость! А благородные девицы попрятались от холода в постели; сам отец заполз под меховое одеяло. Ни еды, ни топлива, – вот так господское житье! У-у-у! Проносись! Будет! Будет! Но господину До все было мало.

«За зимою идет весна! – говорил он. – Нужда сменится довольством! Но оно заставляет себя ждать! Теперь имение заложено, ждать больше нельзя, но золото явится скоро... к Пасхе!»

Я слышал, как он шептал пауку: «Ты прилежный, маленький ткач, ты учишь меня терпению! Разорвут твою ткань, ты начинаешь сначала и опять доводишь ее до конца! Разорвут опять – опять начинаешь сначала, сначала, сначала! Так и следует! Награда же впереди!»

Но вот и первый день Пасхи; зазвонили колокола, в небе заиграло солнышко. Вальдемар До лихорадочно работал всю ночь, варил, охлаждал, мешал, перегонял. Я слышал, как он тяжело вздыхал, как горячо молился, я видел, как он сидел за работой, боясь перевести дух. Лампа его потухла – он не замечал. Я раздул уголья, они затлели и осветили его бледное как мел лицо и впалые глаза. Вдруг они расширились, еще, еще... глаза готовы были выскочить!

Гляди в стеклянный сосуд! Блестит. Горит, как жар... Что-то яркое, тяжелое! Он подымает сосуд дрожащею рукою и, задыхаясь от волнения, восклицает: «Золото! Золото!» Он

штался, я мог бы свалить его с ног одним дуновением! Но я только раздул горячие угли и проводил его в комнату, где мерзли дочери. Платье его все было в золе, борода и всклокоченные волосы – тоже. Он выпрямился и высоко поднял сокровище, лежавшее в хрупком стеклянном сосуде. «Нашел! Нашел! Золото!» – закричал он и протянул им сосуд, заискрившийся на солнце, но... рука его дрогнула, сосуд упал на пол и разбился вдребезги! Последний радужный мыльный пузырь надежды лопнул! У-у-у! Проносись! И я унесся из дома алхимика.

Позднею осенью, когда настали короткие дни, а туман развесил свои мокрые лохмотья и выжимал их над красными ягодами и обнаженными ветвями деревьев, я вернулся, свежий и бодрый, подул и прочистил небо да, кстати, пообломал гнилые ветви – работа не бог весть какая, но сделать ее все-таки нужно. В господском доме в Борребю тоже было чисто, словно ветром выметено, но на другой лад. Недруг Вальдемара До, Ове Рамель из Баснеса, явился в Борребю с закладным листом на имение: теперь и дом и все имущество принадлежали ему! Я изо всех сил принялся гудеть в разбитые окна, хлопать сорвавшимися с петель дверями, свистеть в щели и дыры: у-у-у! Пусть не захочется господину Ове остаться тут! Ида и Анна Дортея заливались горькими слезами; Йоханна стояла, гордо выпрямившись, бледная как смерть, и так стиснула зубами свой палец, что брызнула кровь. Но помощи от этого было мало! Ове Рамель позволил

господину До остаться жить в доме до самой смерти, но ему и спасибо за это не сказали. Я ведь все слышал и видел, как бездомный дворянин гордо вскинул голову и выпрямился. Тут я с такою силою ударил по крыше и по старым липам, что сломал самую толстую и вовсе не гнилую ветвь; она упала возле ворот и осталась там лежать, словно метла, на случай, если понадобится что-нибудь вымести. И вымели – прежних владельцев!

Тяжелый выдался день, горький час, но душа была тверда, спина не гнулась.

Ничего у них не осталось, кроме того, что было на теле да вновь купленного стеклянного сосуда, в который собрали с пола рассыпавшееся сокровище, так много обещавшее, но не сдержавшее своих обещаний. Вальдемар До спрятал его на груди, взял посох в руки; и вот некогда богатый владелец поместья вышел со своими тремя дочерьми из Борребю. Я охлаждал своим дуновением его горячие щеки, гладил по бороде и длинным седым волосам и пел, как умел: «У-у-у! Проносись! Проносись!» Вот каков был конец дворянского великолепия!

Ида и Анна Дортея шли рядом с отцом; Йоханна, выходя из ворот, обернулась назад. К чему? Счастье ведь не обернется! Она посмотрела на красные кирпичные стены, выстроенные из кирпичей замка Марска Стига, и вспомнила о его дочерях.

И старшая, младшую за руку взяв,  
Пустилась бродить с ней по свету.

Вспомнила ли Йоханна эту песню? Теперь изгнанник было три да четвертый отец. И они поплелись по дороге, по которой, бывало, ездили в карете, поплелись в поле Смидструпа, к жалкой мазанке, нанятой ими за десять марок в год. Новое господское жилье, пустые стены, пустая посуда. Воронь и галки летали над ними и насмешливо кричали: «Крах! Крах! Разорение! Крах!» – так же кричали они в лесу Борребю, когда деревья падали под ударами топора.

Господин До и его дочери хорошо поняли эти крики, хотя я и дул им в уши изо всех сил, – стоило ли слушать?!

Они вошли в мазанку, а я понесся над болотами и полями, над голыми кустами и общипанными лесами, к открытому морю, в другие страны. У-у-у! Проносись! Проносись! И так из года в год.

Но что же случилось с Вальдемаром До, что случилось с его дочерьми? А вот сейчас ветер расскажет.

– Последней я видел Анну Дортею, бледный гиацинт, но она была уже сгорбленной старухой, – прошло ведь целых пятьдесят лет. Она пережила всех и знала обо всем.

В степи, близ города Виборга, стоял новый красивый красный кирпичный дом священника. Густой дым вился из трубы. Кроткая жена священника и красавицы дочери сидели у окна и смотрели через кусты садового терна в степь. Что же

они видели там? Они смотрели на гнездо аиста, лепившееся на крыше полуразвалившейся избушки.

Крыша вся поросла мхом и диким чесноком, и покрывала-то избушку главным образом не она, а гнездо аиста! Оно только одно ведь и чинилось; держал его в порядке сам аист.

— На избушку эту можно было только смотреть, но уж никак не дотрагиваться до нее! Даже мне приходилось дуть здесь с опаскою! — сказал ветер. — Только ради гнезда аиста избушку и оставляли стоять, а то бы такой хлам давно сломали. Семья священника не хотела выгонять аиста, и вот избушка уцелела, а в ней жила бедная старуха. За приют она могла благодарить египетскую птицу, или, может быть, это аист благодарил ее за то, что она вступилась когда-то за гнездо его черного брата, жившего в лесу Борребю? В те времена нищая старуха была нежным ребенком, бледным гиацинтом из дворянского цветника. И Анна Дортея помнила все.

«О-ох! — Да, и люди вздыхают, как ветер в тростнике и осоке. — О-ох! Не звонили колокола над твоею могилою, Вальдемар До! Не пели бедные школьники, когда бездомного владельца Борребю опускали в землю!.. Да, всему, всему наступает конец, даже несчастью!.. Сестра Ида вышла замуж за крестьянина. Вот это нанесло отцу жесточайший удар! Муж его дочери — жалкий раб, которого господин может посадить на кобылку!.. Теперь и он, наверно, в земле, и сестра Ида!.. Да, да! Только мне, бедной, Бог конца не посылает! Ох, освободи же меня, Иисусе Христе!»

Так молилась Анна Дортея в своей жалкой избушке, уцелевшей лишь благодаря аисту.

— О самой же здоровой и смелой из сестер я сам позаботился! — продолжал ветер. — Она надела платье, которое больше было ей по вкусу: переделалась парнем и нанялась в матросы на корабль. Скупая была она на слова, суровая на вид, но с делом своим справлялась, только лазить не умела! Ну, я и сдул ее в воду, пока не узнали, что она женщина, и хорошо сделал!

Был первый день Пасхи, как и тогда, когда Вальдемар До думал, что нашел золото, и я услышал под крышей с гнездом аиста пение псалма, последнюю песнь Анны Дортеи.

В избушке не было даже окна, а просто круглое отверстие в стене; взошло солнце, словно золотой шар, и лучи его проникли в отверстие. Что за блеск разлился по избушке! Взор Анны Дортеи не вынес и закрылся навеки, сердце перестало биться! Солнце, впрочем, было тут ни при чем; случилось бы то же, если бы оно и не всходило в то утро.

Аист давал Анне Дортее кров до самой ее смерти. Я пел и над ее могилою и над могилою ее отца, — я знаю, где и та и другая, а кроме меня, не знает никто.

Новые времена, другие времена! Старая проезжая дорога упирается теперь в огороженное поле, по могилам проходит новая, а скоро пронесется тут и паровоз, таща за собою ряд вагонов и шумно гремя над забытыми могилами. У-у-у! Проносись!



– Вот вам и вся история про Вальдемара До и его дочерей. Расскажи ее лучше, кто сумеет! – закончил ветер и повернул в другую сторону.

И след его простыл.

## Ребятчья болтовня

У богатого купца был детский вечер; приглашены были все дети богатых и знатных родителей. Дела купца шли отлично; сам он был человек образованный, даже в свое время окончил гимназию. На этом настоял его почтенный отец, который был сначала простым прасолом, но честным и трудолюбивым человеком и сумел составить себе капитал, а сын еще приумножил его. Купец был человек умный и добрый, хоть люди не так много говорили об этих качествах, как о его богатстве.

Он вел знакомство и с аристократами крови и с аристократами ума, как это говорится, а также с аристократами и крови и ума вместе, и, наконец, с теми, которые не могли похвалиться ни тем, ни другим аристократизмом.

Итак, у него в доме собралось большое общество, но исключительно детское; дети болтали без умолку; у них, как известно, что на уме, то и на языке. В числе детей была одна прелестная маленькая девочка, только ужасно спесивая. Спесь не вбили, а «вцеловали» в нее, и не родители, а слуги, – родители были для этого слишком разумны.

Отец малютки был камер-юнкером, и она знала, что это нечто «ужасно важное».

– Я камер-юнкерская дочка! – сказала она.

Она точно так же могла бы быть лавочниковой дочкой –

и то и другое одинаково не во власти самого человека. И вот она рассказывала другим детям, что в ней течет «настоящая кровь», а в ком ее нет, из того ничего и не выйдет. Читай, старайся, учись сколько хочешь, но, если в тебе нет настоящей крови, толку не выйдет.

– А уж из тех, чье имя кончается на «сен», – прибавила она, – никогда ничего не выйдет путного. Надо упереться руками в бока, да и держать себя подальше от всех этих «сен, сен»!

И она уперлась прелестными ручонками в бока и выставила острые локотки, чтобы показать, как надо держаться. Славные у нее были ручонки, да и сама она была премиленькая!

Но дочка купца обиделась: фамилия ее отца была Мадсен, а она знала, что эта фамилия тоже кончается на «сен», и вот она гордо закинула головку и сказала:

– Зато мой папа может купить леденцов на целых сто рикс-далеров и разбросать их народу! А твой может?

– Ну, а мой папа, – сказала дочка писателя, – может и твоего папу, и твоего, и всех пап на свете пропечатать в газете! Все его боятся, говорит мама: ведь это он распоряжается газетой!

И девочка прегордо закинула головку – ни дать ни взять принцесса крови!

А за полуотворенную дверь стоял бедный мальчик и поглядывал на детей в щелочку; мальчуган не смел войти в

комнату; куда было такому бедняку соваться к богатым и знатым детям! Он поворачивал на кухне для кухарки вертел, и теперь ему позволили поглядеть на разряженных, веселящихся детей в щелку; и это уж было для него огромным счастьем.

«Вот бы мне быть на их месте!» – думалось ему. Вдруг он услышал болтовню девочек, а слушая ее, можно было упасть духом. Ведь у родителей его не было в копилке ни гроша; у них не было средств даже выписать газету, а не то что самим издавать ее. Хуже же всего было то, что фамилия его отца, а значит, и его собственная, как раз кончалась на «сен»! Из него никогда не выйдет ничего путного! Вот горе-то! Но кровь в нем все-таки была самая настоящая, как ему казалось; иначе и быть не могло.

Так вот что произошло в тот вечер!

Прошло много лет, дети стали взрослыми людьми.

В том же городе стоял великолепный дом, полный сокровищ. Всем хотелось видеть его; для этого приезжали даже из других городов. Кто же из тех детей, о которых мы говорили, мог назвать этот дом своим? Ну, это легко угадать! Нет, не очень! Дом принадлежал бедному мальчугану. Из него таки вышло кое-что, хоть фамилия его и кончалась на «сен» – Торвальдсен.

А другие дети? Дети кровной, денежной и умственной спеси, из них что вышло? Да, все они друг друга стоили, все

они были дети как дети! Вышло из них одно хорошее: задатки-то в них были хорошие. Мысли же и разговоры их в тот вечер были ребячьей болтовней!

## На дюнах

Рассказ пойдет о ютландских дюнах, но начинается он не там, а далеко, далеко на юге, в Испании; море ведь соединяет все страны, перенесись же мыслью в Испанию! Как там тепло, как чудесно! Среди темных лавровых деревьев мелькают пурпуровые гранатные цветы; прохладный ветерок веет с гор на апельсиновые сады и великолепные мавританские галереи с золочеными куполами и расписными стенами. По улицам двигаются процессии детей со свечами и развевающимися знаменами в руках, а в вышине, над улицами города, раскинулось ясное, чистое небо, усеянное сияющими звездами! Льются звуки песен, щелкают кастаньеты, юноши и девушки кружатся в пляске под сенью цветущих акаций; нищий сидит на ступенях мраморной лестницы, утоляет жажду сочным арбузом и затем опять погружается в привычную дремоту, сладкий сон! Да и все здесь похоже на какой-то чудный сон! Все манит к сладкой лени, к чудным грезам! Таким грезам наяву предавалась и юная новобрачная чета, осыпанная всеми благами земными; все было ей дано: и здоровье, и счастье, и богатство, и почетное положение в обществе.

— Счастливее нас никого и быть не может! — искренне говорили они. И все же им предстояло подняться по лестнице человеческого благополучия еще на одну ступень, если бы Бог даровал им ожидаемое дитя, сына, живое физическое и

духовное изображение их самих.

Счастливого дитя! Его бы встретили общее ликование, самый нежный уход и любовь, все благополучие, какое только может дать человеку богатство и знатная родня.

Вечным праздником была для них жизнь.

– Жизнь – милосердный дар любви, почти необъятный! – сказала супруга. – И представить себе, что эта полнота блаженства должна еще возрасти там, за пределами земной жизни, возрасти до бесконечности! Право, я даже не в силах справиться с этою мыслью, до того она необъятна!

– Да она и чересчур самонадеянна! – ответил муж. – Ну, не самонадеянно ли, в сущности, воображать, что нас ожидает вечная жизнь, как богов? Стать подобными богам – ведь эту мысль внушил людям змий, отец лжи!

– Но не сомневаешься же ты в будущей жизни? – спросила молодая супруга, и словно темное облачко скользнуло впервые по безоблачному горизонту их мыслей.

– Религия обещает нам ее, священники подтверждают это обещание! – сказал молодой муж. – Но именно теперь, чувствуя себя наверху блаженства, я и сознаю, насколько надменно, самонадеянно с нашей стороны требовать после этой жизни еще другой, требовать продолжения нашего блаженства! Разве не дано нам уже здесь, в этой жизни, так много, что мы не только можем, но и должны вполне удовлетвориться ею?

– Да, нам-то дано много, – возразила жена, – но для

скольких тысяч людей земная жизнь – сплошное испытание; сколько людей от самого рождения бывают обречены на бедность, унижение, болезни и несчастье! Нет, если бы за эту жизнь не ждала людей другая, земные блага были бы распределены слишком неровно и Бог не был бы судьей всеправедным!

– И у нищего бродяги есть свои радости, по-своему не уступающие радостям короля, владельца пышного дворца! – ответил молодой человек. – И разве не чувствует, по-твоему, тяжести своей земной участи рабочий скот, которого бьют, морят голодом и работою? Значит, и животное может требовать себе загробной жизни, считать несправедливостью свое низкое положение в ряду других созданий?

– «В доме отца моего небесного есть много обителей», сказал Христос! – возразила молодая женщина. – Царство небесное беспредельно, как и любовь Божья! Животные – тоже его творения, и, по-моему, ни одно живое существо не погибнет, но достигнет той ступени блаженства, на какую только способно подняться!

– Ну, а с меня довольно и этой жизни! – сказал муж и обнял свою красавицу жену. Дым от сигареты уносился с открытого балкона в прохладный воздух, напоенный ароматом апельсиновых цветов и гвоздики; с улицы доносились звуки песен и шелканье кастаньет; над головами их сияли звезды, а в глаза мужу глядели нежные очи, сияющие огнем бесконечной любви, очи его супруги.



– Да, одна такая минута стоит того, чтобы человек родился, пережил ее и исчез! – продолжал он улыбаясь.

Молодая женщина ласково погрозила ему пальцем, и темное облачко пронеслось, – они были чересчур счастливы!

Обстоятельства складывались для них так благоприятно, что жизнь сулила им впереди еще большие блага. Правда, их ждала перемена, но лишь места, а не счастливого образа жизни. Король назначил молодого человека посланником при императорском российском дворе, – происхождение и образование делали его вполне достойным такого почетного назначения.

Молодой человек и сам имел большое состояние, да и молодая супруга принесла ему не меньшее: она была дочерью богатого, уважаемого коммерсанта. Один из его самых больших и лучших кораблей как раз должен был в этом году идти в Стокгольм. На нем-то и решили отправить дорогих детей, дочь и зятя, в Петербург. Корабль был разубран с королевскою роскошью, всюду мягкие ковры, шелк и бархат.

В одной старинной, всем нам, датчанам, известной песне об английском королевиче говорится, как королевич этот отплывает на богато разубранном корабле, с якорями из чистого золота и шелковыми снастями. Вот об этом-то корабле и вспоминалось, глядя на испанский корабль; та же роскошь, те же мысли при отплытии: «О, дай же нам, Боже, счастливо вернуться!»

Подул сильный попутный ветер, минута прощания была

коротка. Через несколько недель корабль должен был достигнуть конечной цели путешествия. Но когда он был уже далеко от земли, ветер улегся, сияющая ровная поверхность моря, казалось, застыла; вода блестела, звезды сияли, а в богатой каюте словно праздник шел.

Под конец, однако, все стали желать доброго попутного ветра, но он и не думал являться, если же временами и дул ветер, то не попутный, а встречный. Недели шли за неделями, прошло целых два месяца, пока дождались благоприятного ветра с юго-запада. Корабль находился в это время между Шотландией и Ютландией; ветер надул паруса и понес корабль – совсем как в старинной песне об английском королевиче:

И ветер подул, небеса потемнели;  
Куда им укрыться? Где берег, где порт?  
Свой якорь на дно золотой опустили,  
Но к Дании злобный их ветер несет!

Это было очень давно. В те времена на троне Дании сидел юный король Кристиан VII. Много событий совершилось за это время, многое изменилось, переменилось. Озера и болота стали сочными лугами, степи – обработанными полями, а на западном берегу Ютландии, под защитой стен крестьянских избушек, выросли яблоки и розы. Но их приходится отыскивать глазами, так ловко они прячутся от резкого западного ветра. И все же тут, на этом берегу, легко перене-

стись мыслью даже во времена еще более отдаленные, нежели царствование Кристиана VII: в Ютландии и теперь, как в старину, стелется необозримая бурая степь, родина миражей, усеянная могильными курганами, изрезанная перекрещивающимися кочковатыми песчаными дорогами. На западе же, где большие реки впадают в заливы, по-прежнему расстилаются луга и болота, защищенные со стороны моря высокими дюнами. Зубчатые вершины дюн тянутся по берегу, словно горная цепь, прерываемая в иных местах глинистыми откосами; море из года в год откусывает от них кусок за куском, так что выступы и холмы наконец рушатся, точно от землетрясения. Такова была Ютландия и в те времена, когда счастливая чета плыла на богатом корабле.

Сентябрь был на исходе; погода стояла солнечная; было воскресенье; звуки колоколов догоняли друг друга, разносясь вдоль берега Ниссум-фьорда. Церкви в этих местах напоминали обтесанные каменные глыбы, — каждая была высечена в скале. Море перекатывало через них свои волны, а они себе стояли да стояли. Большинство из них было без колоколен; колокола, укрепленные между двумя столбами, висели под открытым небом.

Служба в церкви кончилась, и народ высыпал на кладбище, на котором и тогда, как теперь, не виднелось ни деревца, ни кустика, ни цветка, ни даже венка на могилах. Только небольшие холмы указывали места, где покоились усопшие; все кладбище поросло острою, жесткою травой; ветер

так и трепал ее. Кое-где на могилах попадались и памятники – полусгнившие обломки бревен, обтесанные в виде гроба. Обломки эти доставлял «прибрежный лес» – открытое море. В море «растут» для берегового жителя и готовые балки, и доски, и деревья; доставляет же их на берег прибой. Но ветер и морской туман скоро заставляют их сгнить.

Такой обломок лежал и на детской могилке, к которой направилась одна из женщин, вышедших из церкви.

Она стояла молча, устремив взор на полуистлевший деревянный обломок. Немного погодя к ней присоединился ее муж. Они не обменялись ни словом, он взял ее за руку, и они пошли по бурой степи и болоту к дюнам. Долго шли они молча, наконец муж промолвил:

– Хорошая была сегодня проповедь! Не будь у нас Господа, у нас не было бы ничего!

– Да, – ответила жена, – он посылает нам радости, он же посылает и горе! И он прав всегда. А сегодня нашему мальчугану исполнилось бы пять лет, будь он жив.

– Право, напрасно ты так горюешь! – сказал муж. – Он счастливо отделался и находится теперь там, куда и нам надо проситься у Бога.

Больше они не говорили и направились к дому. Вдруг над одною из дюн, на которой песок не был укреплен никакой растительностью, поднялся как бы столб дыма: сильный вихрь взрыл и закрутил мелкий песок. Затем пронесся новый порыв ветра, и развешенная на веревках для просушки

рыба забарабанила в стены дома; потом опять все стихло; солнце так и пекло.

Муж с женой вошли в свою избушку и, живо поснимав с себя праздничные платья, поспешили опять на дюны, возвышавшиеся на берегу, словно чудовищные, внезапно остановившиеся на пути песчаные волны. Некоторое разнообразие красок вносили росшие на белом песке голубовато-зеленые острые стебельки песочного овса и песчанки. На берег собралось еще несколько соседей, и мужчины соединенными силами втащили лодки повыше на песок. Ветер все крепчал, становился все резче и холоднее, и, когда муж с женою повернули обратно домой, песок и острые камешки так и полетели им прямо в лицо. Сильные порывы ветра срезывали белые гребешки волн и рассыпали их мелкою пылью.

Свечерело; в воздухе как будто выл, свистел и стонал целый легион проклятых духов. Муж с женою не слышали даже грохота моря, а избушка их стояла чуть не на самом берегу. Песок так и летел в оконные стекла, порывы ветра грозили иногда повалить избушку. Стемнело, но около полуночи должна была проглянуть луна.

Небо прояснилось, но буря бушевала на море с прежнею силой. Муж и жена давным-давно улеглись в постели, но нечего было и думать заснуть в такую непогоду; вдруг в окно к ним постучали, дверь приотворилась, и кто-то сказал:

– На дальнем рифе стоит большой корабль!

В одну минуту муж и жена вскочили и оделись.

Луна светила довольно ярко, но бушующий песчаный вихрь слепил глаза. Ветер дул такой, что хоть ложись на него; только с большим трудом, чуть не ползком, пользуясь паузами между порывами урагана, можно было перебраться через дюны. На берег, словно лебяжий пух, летела с моря соленая пена; море с шумом и ревом катило кипящие волны. Надо было иметь опытный глаз, чтобы сразу различить в море судно. Это был великолепный двухмачтовый корабль; его несло к берегу через рифы, но на последнем он сел.

Подать помощь кораблю или экипажу нечего было и думать, – море слишком разбушевалось; волны нещадно хлестали корпус судна и перекатывались через него. Рыбакам чудились крики и вопли отчаяния; видно было, как люди на корабле беспомощно, растерянно суетились. Вот встал огромный вал и обрушился на бушприт. Миг – и бушприта как не бывало; корма высоко поднялась над водою, и с нее прыгнули в этот момент две обнявшиеся человеческие фигуры, прыгнули и исчезли в волнах... Миг еще, и огромная волна выкинула на дюны тело молодой женщины, по-видимому бездыханное. Несколько рыбачек окружили ее, и им показалось, что она еще подает признаки жизни. Сейчас перенесли ее в ближайшую избушку. Как хороша и нежна была бедняжка! Верно, знатная дама!

Ее уложили на убогую кровать без всякого белья, прикрытую одним шерстяным одеялом, но в него-то и следовало укутать незнакомку – чего уж теплее!

Ее удалось вернуть к жизни, но она оказалась в жару и не сознавала ничего: ни того, что случилось, ни того, куда попала. Да и слава богу: все, что было ей дорого в жизни, лежало теперь на дне морском. Все случилось, как в песне об английском королевиче:

Ужаснее вида и быть не могло:

Разбилось судно о риф, как стекло.

Море выбросило на берег обломки корабля, из людей же уцелела одна молодая женщина. Ветер все еще выл, но в избушке на несколько мгновений воцарилась тишина: молодая женщина забылась; потом начались боли и крики, она раскрыла свои дивные глаза и сказала что-то, но никто не понял ни единого слова.

И вот в награду за все перенесенные ею страдания в объятиях ее очутилось новорожденное дитя. Его ожидала великолепная колыбель с шелковым пологом, роскошное жилище, ликование, восторги и жизнь, богатая всеми благами земными, но Господь судил иначе: ему довелось родиться в бедной избушке, и даже поцелуя матери не суждено было ему принять.

Жена рыбака приложила ребенка к груди матери, и он очутился возле сердца, которое уже перестало биться, мать умерла. Дитя, которое должно было встретить в жизни одно богатство, одно счастье, было выброшено морем на дюны,

чтобы испытать нужду и долю бедняка.

Испанский корабль разбился немного южнее Ниссум-фьорда. Жестокие, бесчеловечные времена, когда береговые жители промышляли грабежом, обирая потерпевших кораблекрушение, давным-давно миновали. Теперь несчастные встречали тут любовное, сердечное отношение, широкую готовность прийти на помощь. Наше время может гордиться истинно благородными чертами характера! Умиравшая мать и несчастный ребенок нашли бы приют и уход в любом домике на берегу, но нигде не отнеслись бы к ним участливее, сердечнее, чем в том именно, куда они попали: у бедной рыбачки, так грустно стоявшей вчера возле могилы своего ребенка, которому в этот день должно было бы исполниться пять лет.

Никто не знал, кто такая была умершая женщина или откуда она. Корабельные обломки были немы.

В Испании, в доме богатого купца, так и не дождались ни письма, ни весточки о дочери или зяте. Узнали только, что они не достигли места назначения и что в последние недели на море бушевали страшные бури. Ждали месяцы, наконец пришла весть: «Корабль разбился; все погибли».

А в рыбачьей избушке на дюнах появился новый жилец.

Там, где Господь посылает пищу для двоих, хватит и на третьего; на берегу моря хватит рыбы для голодного рта. Мальчика называли Юргеном.

– Это, верно, еврейское дитя! – говорили про него. – Ишь,



какой смуглый!

— А может быть, он испанец или итальянец! — сказал священник.

Но все эти три народности были в глазах жены рыбака одним и тем же, и она утешалась, что дитя крещено. Ребенок подрастал; благородная кровь питалась бедною пищей; отпрыск благородного рода вырастал в бедной избушке. Датский язык, вернее, западно-ютландское наречие, стал для него родным языком. Гранатное зернышко с испанской почвы выросло на западном берегу Ютландии песчанкой. Вот как может приспособляться человек! Он сросся с новою родиной всеми своими жизненными корнями. Ему суждено было изведать и голод, и холод, и другие невзгоды, но также и радости, выпадающие на долю бедняка.

Детство каждого человека имеет свои радости, которые бросают светлый отблеск на всю его жизнь. В играх и забавах у Юргена недостатка не было. На морском берегу было раздолье для игр: весь берег был усеян игрушками, выложен, словно мозаикою, разноцветными камешками. Тут попадались и красные, как кораллы, и желтые, как янтари, и белые, кругленькие, как птичьи яички, словом, всевозможные мелкие обточенные и отшлифованные морем камешки. Высохшие остовы рыб, сухие водоросли и другие морские растения, белевшие на берегу и опутывавшие камни точно тесемками, тоже служили игрушками, забавой для глаз, пищей для ума. Юрген был мальчуган способный, богато ода-

ренный. Как он запоминал разные истории и песни! А уж что за руки у него были – просто золотые! Из камней и ракушек мастерил он кораблики и картинки для украшения стен. Мальчик мог, по словам его приемной матери, выразить свои мысли резьбой на кусочке дерева, а он был еще невелик. Как чудесно звенел его голосок; мелодии так сами собой и лились из его горлышка. Да, много струн было натянуто в его душе; они могли бы зазвучать на весь мир, сложись его судьба иначе, не забрось она его в эту глухую рыбацкую деревушку.

Однажды поблизости разбился корабль, и на берег выбросило волнами ящик с редкими цветочными луковицами. Некоторые из них были искрошены в похлебку – рыбаки сочли их съедобными, другие остались гнить на песке. Им не суждено было выполнить свое назначение – развернуть взорам всю скрытую в них роскошь красок. Будет ли Юрген счастливее? Луковицы скоро погибли, его же ожидали долгие годы испытания.

Ни ему, ни кому другому из окружающих никогда и в голову не приходило, что дни тянутся здесь скучно и однообразно: здесь было вдоволь работы и рукам, и глазам, и ушам. Море являлось огромным учебником и каждый день открывало новую страницу, знакомило береговых жителей то со штилем, то с легким волнением, то с ветром и штормом. Кораблекрушения были крупными событиями, а посещения церкви – настоящими праздниками. Из посещений же родных и знакомых особенную радость доставлял семейству ры-

бака приезд дяди, продавца угрей из Фьяльтринга, что близ Бовбьерга. Он приезжал сюда два раза в год на красной тележке, полной угрей; тележка представляла собою ящик с крышкой и была расписана по красному фону голубыми и белыми тюльпанами; тащила ее пара чалых волов. Юргену позволялось покататься на них.

Торговец угрями был остряк, весельчак и всегда привозил с собою бочонок водки. Всякому доставался полный стаканчик или кофейная чашечка, если не хватало стаканов; даже Юргену, как ни мал он был, давалась порция с добрый наперсток. Надо же выпить, чтобы удержать в желудке жирного угря, говорил торговец и при этом всякий раз рассказывал одну и ту же историю, а если слушатели смеялись, рассказывал еще раз сначала. Такая уж слабость у словоохотливых людей! И так как Юрген сам зачастую руководился этой историей и в отрочестве и даже в зрелом возрасте, то надо и нам познакомиться с нею.

«В реке плавали угри; дочери все просились у матери погулять на свободе, подняться вверх по реке, а мать говорила им: «Не заходите далеко! Не то придет злой рыбак и всех вас заколет!» Но они все-таки зашли слишком далеко, и из восьми дочерей вернулись к матери только три. Они принялись жаловаться: «Мы только чуть-чуть вышли из дома, как явился злой рыбак и заколол сестриц своим трезубцем до смерти!» – «Ну, они еще вернутся к нам!» – сказала мать. – «Нет! – ответили дочери. – Он ведь содрал с них кожу, раз-

резал их на куски и зажарил!» – «Вернутся!» – повторила мать. «Да ведь он съел их!» – «Вернутся!» – повторила мать. «Да он запил их водкой!» – сказали дочери. «Ай! Ай! Значит, они никогда не вернутся!» – завывала мать. – Водка хорошиит угрей!»

– Вот и следует всегда запивать это блюдо водочкою! – прибавлял торговец.

История эта прошла через всю жизнь Юргена красною нитью, давая обширный материал для забавных острот, поговорок и сравнений. И Юргену по временам страсть как хотелось выглянуть из дома, погулять по белу свету на корабле, а мать его тогда говорила: «На свете много злых людей – рыбаков!» Ну, а недалеко от дюн, в степи, побывать было можно, и он побывал. Четыре веселых дня осветили собой все его детство; в них отразилась для него вся красота Ютландии, вся радость и счастье родного края. Родителей Юргена пригласили на пир – правда, на похоронный.

Умер один из их состоятельных родственников. Жил он в степи, к северо-востоку от рыбацъей слободки. Родители взяли Юргена с собою. Миновав дюны, степь и болото, они пошли по зеленому лугу, где прорезывает себе путь река Скерум, изобилующая угрями. В ней-то и жила угриная матка со своими дочками, которых злые люди убили, ободрали и разрезали на куски. Но часто люди поступали не лучше и с себе подобными. Вот и рыцарь Бугге, о котором говорится в старинной песне, был убит злыми людьми, да и сам он, как

ни был добр, собирался убить строителя, что воздвигнул ему толстостенный замок с башнями. Замок этот стоял на том самом месте, где приостановился теперь Юрген со своими родителями, при впадении реки Скерум в Ниссум-фьорд. Валы еще виднелись, и на них – остатки кирпичных стен. Рыцарь Бугге, посылая своего слугу в погоню за ушедшим строителем, сказал: «Догони его и скажи: «Мастер, башня падает!» Если он обернется, сруби ему голову и возьми деньги, что он получил от меня, а если не обернется, оставь его идти с миром».

Слуга догнал строителя и сказал, что было велено, но тот, не оборачиваясь, ответил: «Башня еще не падает, но когда-нибудь придет с запада человек в синем плаще и заставит ее упасть». Так оно и случилось сто лет спустя: море затопило страну, и башня упала, но владелец замка Предбьёрн Гюльденстьерне выстроил себе новую, на более высоком месте; она стоит и посейчас в Северном Восборге.

Мимо этого замка им тоже пришлось проходить. Все эти места давно были знакомы Юргену по рассказам, услаждавшим для него долгие зимние вечера, и вот теперь он сам увидел и двор, окруженный двойными рвами, деревьями и кустами, и вал, поросший папоротником. Но лучше всего были здесь высокие липы, достававшие вершинами до крыши и наполнявшие воздух сладким ароматом. В северо-западном углу сада рос большой куст, осыпанный цветами, что снегом. Это была бузина, первая цветущая бузина, которую видел

Юрген. И она да цветущие липы запечатлелись в его памяти на всю жизнь; ребенок запасся на старость воспоминаниями о красоте и благоухании Дании.

Остальную часть пути совершили гораздо скорее и удобнее: как раз у Северного Восборга, где цвела бузина, Юргена с родителями нагнали другие приглашенные на пир, ехавшие в тележке, и предложили подвезти их. Конечно, всем трем пришлось поместиться позади, на деревянном сундуке, окованном железом, но это было все-таки лучше, чем идти пешком. Дорога шла по кочковатой степи; волы, тащившие тележку, время от времени останавливались, встретив среди вереска клочок земли, поросший свежей травкой; солнышко припекало, и над степью курился диковинный дымок. Он вился клубами и в то же время был прозрачнее самого воздуха; казалось, солнечные лучи клубились и плясали над степью.

– Это Локеман гонит свое овечье стадо! – сказали Юргену, и ему было довольно – он сразу перенесся в сказочную страну, но не терял из виду и окружающей действительности. Какая тишина стояла в степи!

Во все стороны разбегалась необозримая степь, похожая на драгоценный ковер; цвел вереск; кипарисово-зеленый можжевельник и свежие отпрыски дубков выглядывали из него как букеты. Так и хотелось броситься на этот ковер поваляться – не будь только тут множества ядовитых гадюк!.. Об них-то да о волках и пошла речь; последних водилось тут

прежде столько, что всю местность звали Волчьей округой. Старик возница рассказывал, что в старину, когда еще жив был его покойный отец, лошадям часто приходилось жестоко отбиваться от кровожадных зверей, а раз утром и ему самому случилось набрести на лошадь, попиравшую ногами убитого ею волка, но ноги ее были все изгрызены.

Слишком скоро для мальчика проехали они кочковатую степь и глубокие пески и прибыли в дом, где было полным-полно гостей. Повозки жались друг к другу; лошади и волы пощипывали тощую травку. За хутором возвышались песчаные дюны, такие же высокие и огромные, как и в родной слободке Юргена. Как же они попали сюда с берега, ведь оттуда три мили? Ветер поднял и перенес их; у них своя история.

Пропели псалмы, двое-трое старичков и старушек прослезились, а то было очень весело, по мнению Юргена: ешь и пей вволю, – угощали жирными угрями, а их надо было запивать водочкой. «Она удерживает угрей!» – говаривал старик торговец, и тут крепко держались его слов.

Юрген шнырял повсюду и на третий день чувствовал себя тут совсем как дома. Но здесь, в степи, было совсем не то, что у них в рыбацкой слободке, на дюнах: степь так и кише-ла цветочками и голубикой; крупные, сладкие ягоды прямо топтались ногами, и вереск орошался красным соком.

Там и сям возвышались курганы; в тихом воздухе курился дымок; горит где-нибудь степь, говорили Юргену. Вечером

же над степью подымалось зарево – вот было красиво!

На четвертый день поминки кончились, пора было и домой, на приморские дюны.

– Наши-то настоящие, – сказал отец, – а в этих никакой силы нет.

Зашел разговор о том, как они попали сюда, внутрь страны. Очень просто. На берегу нашли мертвое тело; крестьяне схоронили его на кладбище, и вслед за тем началась страшная буря, песок погнало внутрь страны, море дико лезло на берег. Тогда один умный человек посоветовал разрыть могилу и поглядеть, не сосет ли покойник свой большой палец. Если да, то это водяной, и море требует его. Могилу разрыли: покойник сосал большой палец. Сейчас же взвалили его на телегу, запрягли в нее двух волов, и те, как ужаленные, помчали ее через степь и болото прямо в море. Песчаная метель прекратилась, но дюны, как их намело, так и остались стоять внутри страны. Юрген слушал и сохранял все эти рассказы в своей памяти вместе с воспоминаниями о счастливейших днях детства, о поминках.

Да, то ли дело вырваться из дома, увидеть новые места и новых людей! И Юргену предстояло-таки вырваться опять. Ему еще не минуло четырнадцати лет, а он уже нанялся на корабль и отправился по белу свету. Узнал он и непогоду, и море, и злых, жестоких людей. Недаром он был юнгой! Скучная пища, холодные ночи, плеть и кулаки – всего пришлось ему отведать. Было от чего иногда вскипеть его благородной



испанской крови; горячие слова просились на язык; но умнее было прикусить его, а для Юргена это было то же, что для угря позволить себя ободрать и положить на сковороду.

«Ну, да я возьму свое!» – говорил он сам себе.

Довелось ему увидеть и испанский берег, родину его родителей, даже тот самый город, где они жили в счастье и довольстве, но он ведь ничего не знал ни о своей родине, ни о семье, а семья о нем и того меньше.

Парнишке не позволяли даже бывать на берегу, и он ступил на него в первый раз только в последний день стоянки: надо было закупить кое-какие припасы, и его взяли с собою на подмогу.

И вот Юрген, одетый в жалкое платьишко, словно выстиранное в канаве и высушенное в трубе, очутился в городе. Он, уроженец дюн, впервые увидел большой город. Какие высоченные дома, узенькие улицы, сколько народа! Толпы сновали туда и сюда; по улицам как будто неслась живая река: горожане, крестьяне, монахи, солдаты... Крик, шум, гам, звон бубенчиков на ослах и мулах, звон церковных колоколов, пение и щелканье кастаньет, стук и грохот: ремесленники работали на порогах домов, а то так и прямо на тротуарах. Солнце так и пекло, воздух был тяжел и удушлив; Юргену казалось, что он в раскаленной печи, битком набитой жужжащими и гудящими навозными и майскими жуками, пчелами и мухами; голова шла кругом. Вдруг он увидел перед собою величественный портал собора; в полутьме под

сводами мерцали свечи, курился фимиам. Даже самый оборванный нищий имел право войти в церковь. Матрос, с которым послали Юргена, и направился туда; Юрген – за ним. Яркие образа сияли на золотом фоне. На алтаре, среди цветов и зажженных свечей, красовалась Божья Мать с младенцем Иисусом. Священники в роскошных облачениях пели, а хорошенькие, нарядные мальчики кадили. Вся эта красота и великолепие произвели на Юргена глубокое впечатление; вера и религия его родителей затронули самые сокровенные струны его души; на глазах у него выступили слезы.

Из церкви они направились на рынок, закупили нужные припасы, и Юргену пришлось тащить часть их. Идти было далеко, он устал и приостановился отдохнуть перед большим великолепным домом с мраморными колоннами, статуями и широкими лестницами. Юрген прислонил свою ношу к стене, но явился раззолоченный швейцар в ливрее и, подняв на него палку с серебряным набалдашником, прогнал прочь – его, внука хозяина! Но никто ведь не знал этого. Сам Юрген – меньше всех.

Корабль отплыл. Опять потянулась та же жизнь, толчки, ругань, недосыпанье, тяжелая работа. Что ж, не мешает отведать всего! Это ведь, говорят, хорошо пройти суровую школу в юности. Хорошо-то хорошо – если потом ждет тебя счастливая старость!

Рейс кончился, корабль опять стал на якорь в Рингкёбинг-фьорде, и Юрген вернулся домой, в рыбацью слободку, но,

пока он гулял по свету, приемная мать его умерла.

Настала суровая зима. На море и суше бушевали снежные бури; просто беда была пробираться по степи. Как в самом деле разнятся между собою разные страны: здесь – леденящий холод и метель, а в Испании – страшная жара! И все же, увидав в ясный, морозный день большую стаю лебедей, летевших со стороны моря к Северному Восбору, Юрген почувствовал, что тут все-таки дышится легче, что тут по крайней мере можно насладиться прелестями лета. И он мысленно представил себе степь всю в цветах, усеянную спелыми, сочными ягодами, и цветущие липы у Северного Восбора. Ах, надо опять побывать там!

Подошла весна, началась ловля рыбы, Юрген помогал отцу. Он сильно вырос за последний год, и дело у него спорилось. Жизнь так и била в нем ключом; он умел плавать и сидя и стоя, даже кувыркаться в воде, и ему часто советовали остерегаться макрелей, – они плавают стадами и нападают на лучших пловцов, увлекают их под воду и пожирают. Вот и конец! Но Юргену судьба готовила иное.

У соседей был сын Мортен; Юрген подружился с ним, и они вместе нанялись на одно судно, которое отплывало в Норвегию, потом в Голландию. Серьезно ссориться между собою им вообще было не из-за чего, но мало ли что случается! У горячих натур руки ведь так и чешутся; случилось это раз и с Юргеном, когда он повздорил с Мортеном из-за каких-то пустяков. Они сидели в углу за капитанскою рубкой

и ели из одной глиняной миски; у Юргена был в руках нож, и он замахнулся им на товарища, причем весь побледнел и дико сверкнул глазами. А Мортен только промолвил:

– Так ты из тех, что готовы пустить в дело нож!

В ту же минуту рука Юргена опустилась; молча доел он обед и взялся за свое дело. По окончании же работ он подошел к Мортену и сказал: «Ударь меня по лицу – я стою! Кровь во мне, право, вечно так и бурлит, точно горшок с кипятком!»

– Ну ладно, забудем это! – отвечал Мортен, и с тех пор дружба их стала чуть не вдвое крепче. Вернувшись домой, в Ютландию, на дюны, они рассказывали о житье-бытье на море, рассказали и об этом происшествии. Да, кровь в Юргене бурлила через край, но все же он был славный надежный горшок.

– Только не ютландский – ютландцем его назвать нельзя! – сострил Мортен.

Оба были молоды и здоровы, оба – парни рослые, крепкого сложения, но Юрген отличался большею ловкостью.

На севере, в Норвегии, крестьяне пасут свои стада на горах, где и имеются особые пастушьи шалаши, а на западном берегу Ютландии, на дюнах, понастроены хижины для рыбаков; они сколочены из корабельных обломков и крыты торфом и вереском; по стенам внутри идут нары для спанья. У каждого рыбака есть своя девушка-помощница; обязанности ее – насаживать на крючки приманки, встречать хозяина,

возвращающегося с лова, теплым пивом, готовить ему кушанье, вытаскивать из лодок пойманную рыбу, потрошить ее и прочее.

Юрген, отец его и еще несколько рыбаков с их работниками помещались в одной хижине. Мортен жил в соседней.

Между девушками была одна, по имени Эльсе, которую Юрген знал с детства. Оба были очень дружны между собою; в их нравах было много общего, но наружностью они резко отличались: он был смугл и черноволос, а она беленькая; волосы у нее были желтые, как лен, а глаза светло-голубые, как освещенное солнцем море.

Раз они шли рядом; Юрген держал ее руку в своей и крепко пожимал ее. Вдруг Эльсе сказала ему:

– Юрген, у меня есть что-то на сердце! Лучше бы мне работать у тебя – ты мне все равно что брат, а Мортен, к которому я нанялась, мой жених. Не надо только болтать об этом другим!

Песок словно заколыхался под ногами Юргена, но он не проронил ни слова, только кивнул головой – согласен, мол. Большого от него и не требовалось. Но он-то в ту же минуту почувствовал, что всем сердцем ненавидит Мортена. Чем больше он думал о случившемся, – а раньше он никогда так много не думал об Эльсе, – тем яснее становилось ему, что Мортен украл у него любовь единственной девушки, которая ему нравилась, то есть Эльсе; вот оно как теперь выходило!

Стоит посмотреть, как рыбаки переносятся в свежую по-

году по волнам через рифы. Один из рыбаков стоит на носу, а гребцы не спускают с него глаз, выжидая знака положить весла и отдаться надвигающейся волне, которая должна перенести лодку через риф. Сначала волна подымает лодку так высоко, что с берега виден киль ее; минуту спустя она исчезает в волнах; не видно ни самой лодки, ни людей, ни мачты; море как будто поглотило все. Но еще минута, и лодка вновь показывается на поверхности по другую сторону рифа, словно вынырнувшее из воды морское чудовище; весла быстро шевелятся – ни дать ни взять ноги животного. Перед вторым, перед третьим рифом повторяется то же самое; затем рыбаки прыгивают в воду и подводят лодку к берегу; удары волны помогают им, подталкивая ее сзади.

Не подать вовремя знака, ошибиться минутой, и лодка разобьется о риф.

«Тогда бы конец и мне и Мортену!» – эта мысль мелькнула у Юргена, когда они были на море. Отец его вдруг серьезно занемог, лихорадка так и трепала его; между тем лодка приближалась к последнему рифу; Юрген вскочил и крикнул:

– Отец, пусти лучше меня! – и взгляд его скользнул с лица Мортена на волны. Вот приближается огромная волна. Юрген взглянул на бледное лицо отца и не мог исполнить злого намерения. Лодка счастливо миновала риф и достигла берега, но злая мысль крепко засела в голове Юргена; кровь в нем так и кипела; со дна души всплывали разные соринки и волокна, запавшие туда за время дружбы его с Мортеном,

но он не мог выпрясть из них цельную нить, за которую бы мог ухватиться, и он пока не приступал к делу. Да, Мортен испортил ему жизнь, он чувствовал это! Так как же ему было не возненавидеть его? Некоторые из рыбаков заметили эту ненависть, но сам Мортен не замечал ничего и оставался тем же добрым товарищем и словоохотливым – пожалуй, даже чересчур словоохотливым – парнем.

А отцу Юргена пришлось слечь; болезнь оказалась смертельной, и он через неделю умер. Юрген получил в наследство дом на дюнах, правда, маленький, но и то хорошо, у Мортена не было и этого.

– Ну, теперь не будешь больше наниматься в матросы! Останешься с нами навсегда! – сказал Юргену один из старых рыбаков.

Но у Юргена как раз было в мыслях другое – ему именно и хотелось погулять по белу свету. У торговца угрями был дядя, который жил в Старом Скагене. Он тоже занимался рыболовством, но был уже зажиточным купцом и владел собственным судном. Слыл он милым стариком; у такого стоило послужить. Старый Скаген лежит на крайнем севере Ютландии, далеко от рыбацкой слободки и дюн, но это-то обстоятельство особенно и было по душе Юргену. Он не хотел пировать на свадьбе Эльсе и Мортена, а ее готовились сыграть недели через две.

Старый рыбак не одобрял намерения Юргена, – теперь у него был собственный дом, и Эльсе, наверно, склонится ско-

рее на его сторону.

Юрген ответил на это так отрывисто, что не легко было добраться до смысла его речи, но старик взял да и привел к нему Эльсе. Не много сказала она, но все-таки сказала кое-что:

– У тебя дом... Да, тут задумаешься!..

И Юрген сильно задумался.

По морю ходят сердитые волны, но сердце человеческое волнуется иногда еще сильнее: его обуревают страсти. Много мыслей пронеслось в голове Юргена, наконец он спросил Эльсе:

– Если бы у Мортена был такой же дом, кого из нас двоих выбрала бы ты?

– Да ведь у Мортена нет и не будет дома!

– Ну, представь себе, что он у него будет?

– Ну, тогда я, верно, выбрала бы Мортена, – люб он мне!

Но этим сыт не будешь!

Юрген раздумывал об этом всю ночь. Что такое толкало его, он и сам не мог дать себе отчета, но безотчетное влечение оказалось сильнее его любви к Эльсе, и он повиновался ему – пошел утром к Мортену. То, что Юрген сказал Мортену при свидании, было строго обдуманно им в течение ночи. Он уступил товарищу свой дом на самых выгодных для того условиях, говоря, что сам предпочитает наняться на корабль и уехать. Эльсе, узнав обо всем, расцеловала Юргена прямо в губы – ей ведь был люб Мортен.



Юрген собирался отправиться в путь на другой же день рано утром. Но вечером, хотя и было уже поздно, ему вздумалось еще раз навестить Мортена. Он пошел и на пути, на дюнах, встретил старого рыбака, который не одобрял его намерения уехать. «У Мортена, верно, зашит в штанах утиный клюв, что девушки так льнут к нему!» – сказал старик. Но Юрген прервал разговор, простился и пошел к Мортену. Подойдя поближе, он услышал в доме громкие голоса; у Мортена кто-то был. Юрген остановился в нерешимости; с Эльсе ему вовсе не хотелось встречаться. Подумав хорошенько, он не захотел и выслушивать лишний раз изъявлений благодарности Мортена и повернул назад.

Утром, еще до восхода солнца, он связал свой узелок, взял с собой корзинку со съестными припасами и сошел с дюн на самый берег; там идти было легче, чем по глубокому песку, да и ближе: он хотел пройти сначала в Фьяльтринг к торговцу угрями, благо обещал навестить его.

Ярко синела блестящая поверхность моря; берег был усеян ракушками и раковинами; игрушки, забавлявшие его в детстве, так и хрустели под его ногами. Вдруг из носу у него брызнула кровь – пустячное обстоятельство, но и оно, случается, приобретает важное значение. Две-три крупные капли упали на рукав его рубашки. Он затер их, остановил кровь и почувствовал, что от кровотечения ему стало как-то легче и в голове и на сердце. В песке вырос кустик морской капусты; он отломил веточку и воткнул ее в свою шляпу. «Смело, ве-

село вперед! Белый свет посмотреть, выглянуть из дома, – как говорили угри. – Берегитесь людей! Они злые, убьют вас, разрежут и зажарят на сковороде!» – повторил он про себя и рассмеялся. – Ну, я-то сумею сберечь свою шкуру! Смелость города берет!»

Солнце стояло уже высоко, когда он подошел к узкому проливу, соединявшему западное море с Ниссум-фьордом. Оглянувшись назад, он увидал вдали двух верховых, а на некотором расстоянии за ними – еще нескольких пеших людей; все они, видимо, спешили. Ну, да ему-то что за дело?

Лодка была у другого берега; Юрген кликнул перевозчика; отчалили, но не успели выехать на середину пролива, как мчавшиеся во весь опор верховые доскакали до берега и принялись кричать, приказывая Юргену именем закона вернуться обратно. Юрген в толк не мог взять, что им от него надо, но рассудил, что лучше всего вернуться, сам взялся за одно весло и принялся грести обратно к берегу. Едва лодка причалила, люди, толпившиеся на берегу, вскочили в нее и скрутили Юргену руки веревкою; он и опомниться не успел.

– Погоди! Поплатишься головой за свое злодейство! – сказали они. – Хорошо, что мы поймали тебя!

Обвиняли его ни больше ни меньше, как в убийстве: Мортена нашли с перерезанным горлом. Один из рыбаков встретил вчера Юргена поздно вечером на пути к жилищу Мортена, Юрген уже не раз угрожал последнему ножом – значит, он и убийца! Следовало крепко стеречь его; в Рингкёбинге

– самое верное место, да не скоро туда доберешься. Дул как раз западный ветер; в какие-нибудь полчаса, а то и меньше, можно было переправиться через залив и выехать на реку Скерум, а оттуда уж всего четверть мили до Северного Восборга, где тоже есть крепкий замок с валами и рвами. В лодке был вместе с другими брат старосты, и он полагал, что им разрешат посадить Юргена в яму, где сидела вплоть до самой своей казни Долговязая Маргарита.

Оправданий Юргена не слушали: капли крови на рубашке уличали его. Сам-то он знал, что невинен, но другие этому не верили, и он решил покориться судьбе.

Лодка пристала как раз у того вала, где возвышался некогда замок рыцаря Бутге и где останавливались отдохнуть Юрген и его родители по пути на пир, на поминки. Ах, эти четыре счастливых, светлых дня детства! Теперь его вели по той же самой дороге, по тем же лугам к Северному Восборгу, где по-прежнему стояли осыпанная цветами бузина и цветущие, душистые липы. Он словно только вчера проходил тут.

В левом надворном крыле замка, под одною из высоких лестниц, открывался спуск в низкий сводчатый подвал. Оттуда выведена была на казнь Долговязая Маргарита. Она съела пять детских сердец и думала, что, если съест еще два, приобретет умение летать и делаться невидимкою. В стене была пробита крошечная отдушина, но освежающий аромат душистых лип не мог через нее пробраться. Сырость, плесень, голые доски вместо постели – вот что нашел Юрген в

подвале. Но чистая совесть, говорят, мягкая подушка, — значит, Юргену спалось хорошо.

Толстая дверь была заложена тяжелым железным болтом, но призраки суеверия проникают и через замочную скважину, проникают и в барские хоромы и в рыбацьи хижины, а сюда, к Юргену, пробирались и по давню. Он сидел и думал о Долговязой Маргарите, о ее злодеяниях.

В воздухе как будто витали еще ее последние мысли, мысли, которым она предавалась в ночь перед казнью. Приходили Юргену на ум и рассказы о чудесах, какие совершались тут при жизни помещика Сванведела: собаку, сторожившую мост, каждое утро находили повешенною на цепи на перилах моста. Все эти мрачные мысли осаждали и пугали Юргена, и лишь одно воспоминание озаряло подвал солнечным лучом — воспоминание о цветущей бузине и липах.

Впрочем, недолго сидел он тут: его перевели в Рингкёбинг, в такое же суровое заточение.

В те времена было не то, что в наши, — плохо приходилось бедному человеку. У всех еще в памяти было, как крестьянские дворы и целые селения обращались в новые господские поместья, как любой кучер или лакей становился судьей и присуждал бедняка крестьянина за самый ничтожный проступок к лишению надела или к плетям. Кое-что подобное и продолжало еще твориться в Ютландии. Вдали от королевской резиденции и просвещенных блюстителей порядка и права с законом поступали довольно произвольно. Так это

было еще с полгоря, что Юргену пришлось потомиться в заключении!

Что за холод стоял в помещении, куда его засадили! Когда же будет конец всему этому? Он невиновен, а его предали позору и бедствиям – вот его судьба! Да, тут он мог поразмыслить о ней на досуге. За что она так преследовала его?.. Все выяснится там, в будущей жизни, которая ждет нас всех! Юрген вырос с этою верою. То, чего не мог уяснить себе отец, окруженный роскошною, залитою солнцем природою Испании, то светило отрадным лучом сыну среди окружавшего его мрака и холода. Юрген твердо уповал на милость Божию, а это упование никогда не бывает обмануто.

Весенние бури опять давали себя знать. Грохот моря слышен на много миль кругом, даже в глубине страны, но лишь после того, как буря уляжется. Море грохотало, словно катились по твердому, взрытому грунту сотни тяжелых телег. Юрген чутко прислушивался к этому грохоту, который вносил в его жизнь хоть какое-нибудь разнообразие. Никакая старинная песня не доходила так до его сердца, как музыка катящихся волн, голос бурного моря. Ах море, дикое, вольное море! Ты да ветер носите человека из страны в страну, и всюду он носится вместе с домом своим, как улитка, всюду носит с собою часть своей родины, клочок родной почвы!

Как прислушивался Юрген к глухому ропоту волн, и как в нем самом волновались мысли и воспоминания! «На волю! На волю!» На воле – рай, блаженство, даже если на тебе баш-

маки без подошв и заплатанное грубое платье! Кровь вскипала в нем от гнева, и он ударял кулаком о стену.

Так проходили недели, месяцы, прошел и целый год. Вдруг поймали вора Нильса, по прозвищу Барышник, и для Юргена настали лучшие времена: выяснилось, как несправедливо с ним поступили.

К северу от Рингкёбингского залива была корчма; там-то и встретились вечером, накануне ухода Юргена из слободки, Нильс и Мортен. Выпили по стаканчику, выпили по другому, и Мортен не то чтобы опьянел, а так... разошелся больно, дал волю языку, – рассказал, что купил дом и собирается жениться. Нильс спросил, где он взял денег, и Мортен хвастливо ударил по карману:

– Там, где им и следует быть!

Хвастовство стоило ему жизни. Он пошел домой, Нильс прокрался за ним и всадил ему в шею нож, чтобы отобрать деньги, которых не было.

Все эти обстоятельства были изложены в деле подробно, но с нас довольно знать, что Юргена выпустили на волю. Ну, а чем же вознаградили его за все, что он вытерпел, – годовое заключение, холод и голод, отторжение от людей? Да вот, ему сказали, что он, слава богу, невиновен и может уходить. Бургомистр дал ему на дорогу десять марок, а несколько горожан угостили пивом и хорошею закуской. Да, водились там и добрые люди, не все они такие, что готовы «заколоть, ободрать да на сковородку положить»! Лучше же всего было то,

что в город приехал в это время по делам тот самый купец Бренне из Скагена, к которому Юргену хотелось поступить год тому назад.

Купец узнал всю историю и захотел вознаградить Юргена за все перенесенное им; сердце у старика было доброе, он понял, чего должен был натерпеться бедняга, и собирался показать ему, что есть на свете и добрые люди.

Из темницы на волю, на свет Божий, где его ожидали любовь и сердечное участие! Да, пора ему было испытать и это. Чаша жизни никогда не бывает наполнена одною полынью – такой не поднесет ближнему ни один добрый человек, а уж тем меньше сам Господь – любовь всеобъемлющая.

– Ну, поставь-ка ты на все это крест! – сказал купец Юргену. – Вычеркнем этот год, как будто его и не было, сожжем календарь, и через два дня – в путь, в наш мирный, богоспасаемый Скаген! Его зовут медвежьим углом, но это уголок уютный, благословенный, с открытыми окнами на весь белый свет!

Вот была поездка! Юрген вздохнул полною грудью. Из холодной темницы, из душного, спертého воздуха вновь очутиться на ярком солнышке!

Вереск цвел, вся степь была в цвету; на кургане сидел пас-тушонок и наигрывал на самодельной дудочке из бараньей кости. Фата-моргана, чудные воздушные видения степи: ви-сячие сады и плавающие в воздухе леса, диковинное коле-бание воздушных волн – явление, о котором крестьяне го-

ворят: «Это Локеман гонит свое стадо», – все это увидел он вновь.

Путь их лежал к Лимфиорду, к Скагену, откуда вышли «длиннобородые люди», лонгобарды. В царствование короля Снио здесь был голод, и порешили избить всех стариков и детей, но благородная женщина Гамбарук, владелица одного из северных поместий, предложила лучше выселить молодежь из пределов страны. Юрген знал это предание – настолько он был учен – и если не знал вдобавок и самой страны лонгобардов, лежащей за высокими Альпами, то знал по крайней мере, на что она приблизительно похожа. Он ведь еще мальчуганом побывал на юге, в Испании, и помнил сваленные грудями плоды, красные гранаты, шум, гам и колокольный звон в огромном городе, напоминавшем собою улей. Но самой лучшей страной остается все-таки родина, а родиной Юргена была Дания.

Наконец они достигли и Вендил-Скага, как называется Скаген в старинных норвежских и исландских рукописях. Уже и в те времена тянулась здесь по отмели, вплоть до маяка, необозримая цепь дюн, прерываемая обработанными полями, и находились города: Старый Скаген, Вестербю и Эстербю. Дома и усадьбы и тогда были рассыпаны между наносными, подвижными песчаными холмами, и тогда взметал буйный ветер ничем не укрепленный песок, и тогда оглушительно кричали здесь чайки, морские ласточки и дикие лебеди. Старый Скаген, где жил купец Бренне и должен был по-



селиться Юрген, лежит на милю юго-западнее мыса Скагена. Во дворе купца пахло дегтем; крышами на всех надворных строениях служили перевернутые кверху дном лодки; свиные хлева были сколочены из корабельных обломков; двор не был огорожен — не от кого и нечего было огораживать, хотя на длинных веревках, развешанных одна над другою, и сушилась распластанная рыба. Весь морской берег был покрыт гнилыми сельдями: не успевали закинуть в море невод, как он приходил битком набитый сельдями: их и девать было некуда — приходилось бросать обратно в море или оставлять гнить на берегу.

Жена, и дочь купца, и все домочадцы радостно встретили отца и хозяина, пошло пожимание рук, крик, говор. А что за славное личико и глазки были у дочки купца!

В самом доме было просторно и уютно. На столе появились рыбные блюда, — такие камбалы, какими бы полакомился сам король! А вина были из «скагенских виноградников» — из великого моря: виноградный сок притекает в Скаген прямо в бочках и бутылках.

Когда же мать и дочь узнали, кто такой Юрген, услышали, как жестоко и безвинно пришлось ему пострадать, они стали глядеть на него еще ласковее; особенно ласково смотрела дочка, милая Клара. Юрген нашел в Старом Скагене уютный, славный семейный очаг; теперь сердце его могло успокоиться, а много таки этому бедному сердцу пришлось изведать, даже горечь несчастной любви, которая либо оже-

сточает его, либо делает еще мягче, чувствительнее. Сердце Юргена не ожесточилось, оно было еще молодо, и теперь в нем оставалось незанятое местечко. Кстати подросла поездка Клары в гости к тетке, в Кристиансанн, в Норвегию. Она собиралась отправиться туда на корабле недели через три и прогостить там всю зиму.

В последнее воскресенье перед отъездом Клары все отправились в церковь причащаться. Церковь была большая, богатая; построили ее несколько столетий тому назад шотландцы и голландцы; недалеко от нее выстроился и самый город. Церковь уже несколько обветшала, а дорога к ней была очень тяжелая, с холма на холм, то вверх, то вниз, по глубокому песку, но жители все-таки охотно шли в Божий храм пропеть псалмы и послушать проповедь.

Песчаные заносы достигали уже вершины кладбищенской ограды, но могилы постоянно очищались.

Это была самая большая церковь к северу от Лим-фьорда. На алтаре, словно живая, стояла Божья Матерь с младенцем на руках; на хорах помещались резные деревянные изображения апостолов, а наверху, по стенам, висели портреты старых скагенских бургомистров и судей; под каждым портретом красовалась условная подпись данного лица. Кафедра тоже была вся резная. Солнце весело играло на медной люстре и на маленьком кораблике, подвешенном к потолку.

Юргена охватило то же чувство детского благоговения, которое он испытал еще мальчиком в богатом соборе в Ис-

паний, но здесь к этому чувству присоединялось еще сознание, что и он принадлежит к пастве.

После проповеди началось причащение. Юрген тоже вкусил хлеба и вина, и случилось так, что он преклонил колена как раз рядом с Кларою. Но мысли его были обращены к Богу, он всецело был занят совершавшимся таинством и заметил, кто была его соседка, только тогда, когда уже встал с колен. Взглянув на нее, он увидал, что по щекам ее струятся слезы.

Два дня спустя она уехала в Норвегию, а Юрген продолжал исправлять разные работы по дому, участвовал и в рыбной ловле, а в те времена там-таки было что ловить, побольше, чем теперь. Стада макрелей оставляли за собою по ночам светящийся след, выдававший их движение под водою; керцы хрипели, а крабы издавали жалобный вой, когда попадались ловцам; рыбы вовсе не так немые, как о них рассказывают. Вот Юрген, тот был помолчаливее их, хранил свою тайну глубоко в сердце, но когда-нибудь и ей суждено было всплыть наружу.

Сидя по воскресеньям в церкви, он набожно устремлял взоры на изображение Божьей Матери, красовавшееся на алтаре, но иногда переводил их ненадолго и на то место, где стояла рядом с ним на коленях Клара. Она не выходила у него из головы. Как она была добра к нему!

Вот и осень пришла; сырость, мгла, слякоть. Вода заставлялась на улицах города, песок не успевал ее всасывать, и

жителям приходилось пускаться по улицам вброд, если не вплавь. Бури разбивали о смертоносные рифы корабль за кораблем. Начались снежные и песчаные метели; песок заносил дома, и обывателям приходилось зачастую вылезать из них через дымовые трубы, но им это было не в диковинку. Зато в доме купца было тепло и уютно; весело трещали в очаге торф и корабельные обломки, а сам купец громко читал из старинной хроники сказание о датском принце Амлете, вернувшемся из Англии и давшем битву при Бовбьерге. Могила его находится близ Ромме, всего миль в двух от того места, где жил старый торговец угрями; в необозримой степи возвышались сотни курганов; степь являлась огромным кладбищем. Купец Бренне сам бывал на могиле Амлета. Наскучит читать, принимались за беседу; толковали о старине, о соседях, англичанах и шотландцах, и Юрген пел старинную песню об английском королевиче, о том, как был разубран корабль:

Борта золоченые ярко сияют,  
Написано слово Господне на них;  
А нос корабля галлион украшает:  
Принц девицу держит в объятьях своих.

Эту песню Юрген пел с особенным чувством; глаза его так и блестели; они уж с самого рождения были у него такие черные, блестящие.

Итак, пели, читали; в доме царила тишь да гладь да Бо-

ж्या благодать; все чувствовали себя как в родной семье, даже домашние животные. А уж что за порядок был в доме, что за чистота! На полках блестела ярко вычищенная оловянная посуда, к потолку были подвешены колбасы и окорочка – обильные зимние запасы. В наши времена все это можно увидеть на западном берегу Ютландии в богатых крестьянских домах: такое же обилие съестных припасов, такое же убранство в горницах, веселье и здравый смысл; вообще дела у них поправились. И гостеприимство здесь царит такое же, как в шатрах арабов.

Никогда еще не жилось Юргену так хорошо, так весело, если не считать тех веселых четырех дней детства, проведенных в гостях на поминках. А между тем здесь еще не было Клары. То есть не было ее дома, а в мыслях и разговорах она присутствовала постоянно.

В апреле купец решил послать в Норвегию свое судно; на нем отправлялся и Юрген. Вот-то повеселел он! Ну, да и в теле он за это время поправился, как говорила сама матушка Бренне, приятно было взглянуть на него.

– И на тебя тоже! – сказал ей муж. – Юрген оживил наши зимние вечера, да и тебя, старушка! Ты даже помолодела за этот год. Ишь, какая стала – любо посмотреть. Ну, да ведь ты и была когда-то первую красавицей в Виборге, а это много значит: нигде я не видал таких красивых девушек, как там.

Юрген не проронил ни слова, да и не следовало, а только подумал об одной девушке из Скагена. К ней-то он и отправ-

лялся теперь. Судно, подгоняемое свежим ветром, прибыло в Кристиансанн, пробыв в пути всего полдня.

Рано утром купец Бренне отправился на маяк, что возвышается далеко в море, близ самой крайней точки мыса Скагена. Когда он поднялся на вышку, огонь был уже давно потушен, солнце стояло высоко. На целую милю от берега тянулись в море песчаные мели. На горизонте показалось в этот день много кораблей, и купец надеялся с помощью подзорной трубы отыскать между ними и свою «Карен Бренне». В самом деле, она приближалась; на ней были и Клара с Юргеном. Вот они уже увидели вдаль Скагенский маяк и церковную колокольню, казавшиеся издали цаплей и лебедем на голубой воде. Клара сидела у борта и смотрела, как на горизонте вырисовывались одна за другою родные дюны. Продолжай дуть попутный ветер, они бы меньше чем через час были дома. Так близка была радость встречи – так близок был и страшный час смерти.

В одном из боков судна сделалась пробоина, и вода хлынула в трюм. Бросились выкачивать воду, затыкать отверстие, подняли все паруса, выкинули флаг, означавший, что судно в опасности. До берега оставалось плыть всего какую-нибудь милю, вдаль уже показались рыбацьи лодки, спешившие на помощь, ветер гнал судно к берегу, течение помогало, но судно погружалось в воду с ужасающей быстротою. Юрген обвил правою рукою стан Клары.

Как она посмотрела ему в глаза перед тем, как он, призы-

вая имя Божье, бросился с нею в волны! Она вскрикнула, но ей нечего было бояться – он не выпустит ее. Помните слова старинной песни:

Принц девицу держит в объятьях своих!

Юрген тоже решился на это в час страшной опасности. Умение плавать пригодилось ему теперь; он то работал обеими ногами и свободною рукой – другую он крепко прижимал к себе девушку, – то отдавался течению, лишь слегка шевеля ногами, словом, пользовался всеми приемами, какие знал, чтобы сберечь силы и достигнуть берега. Вдруг он почувствовал, что Клара глубоко вздохнула и судорожно затрепетала... Он прижал ее к себе еще крепче. Волны перекачивались через их головы; течение подымало их; вода была так чиста и прозрачна. Одну минуту ему казалось, что он видит в глубине стаю блестящих макрелей, или, может быть, это было само морское чудовище, готовившееся поглотить их?.. Облака, проплывая по небу, бросали на воду легкую тень, потом на ней опять играли лучи солнца. Стаи птиц с криком носились над головой Юргена; сонливо покачивавшиеся на волнах дикие утки при его приближении испуганно взлетали кверху. А силы пловца все падали... Он чувствовал это. До берега оставалось плыть еще немало, но помощь была близка, лодка подходила. Вдруг он ясно увидел под водою белую, смотревшую на него в упор фигуру... Волна подхватила его, фигура приблизилась... Он почувствовал удар... все померкло в глазах!..

На рифе под водою засел обломок корабля с галлионом, изображавшим женщину, опиравшуюся на якорь. Об его-то острие, торчавшее кверху, и ударился Юрген, подгоняемый течением. Без чувств погрузился он в воду вместе со своею ношей, но следующая волна опять вскинула их кверху.

Рыбаки втащили обоих в лодку; лицо Юргена было все в крови; он лежал как мертвый, но девушку держал так крепко, что ее едва высвободили у него из рук. Безжизненную, бледную положили ее на дно лодки и поплыли к Скагену.

Были пущены в ход все средства, но вернуть Клару к жизни не удалось. Давно уже плыл Юрген с трупом в объятиях, боролся и изнемогал, спасая мертвую.

А сам Юрген еще дышал, и его отнесли в ближайший дом за дюнами. Какой-то фельдшер, бывший в то же время и кузнецом и мелочным торговцем, перевязал его рану, а лекаря, за которым послали в Йёрринг, ждали только на следующий день.

У больного был затронут мозг; он лежал в бреду, испуская дикие крики, но на третий день впал в забытие. Жизнь, казалось, висела в нем на волоске, и, по словам лекаря, лучше было бы, если бы волосок этот порвался:

– Дай бог, чтобы он умер! Ему не бывать больше человеком!

Но он не умер, волосок не порвался; зато порвалась нить воспоминаний, были подрезаны в корне все умственные способности – вот что ужасно! Осталось одно тело, которое го-



товилось выздороветь и жить по-своему.

Купец Бренне взял Юргена к себе.

– Он пострадал, спасая наше дитя! – сказал старик. – Теперь он наш сын.

Юргена стали звать полоумным. Но это было не совсем верно; он походил на инструмент с ослабевшими, переставшими звучать струнами. Лишь на какое-нибудь мгновение, в редкие минуты, они обретали прежнюю упругость и звучали, да и то раздавалось всего несколько отдельных аккордов старых мелодий. Картины прошлого всплывали и опять исчезали, и Юрген снова сидел, бессмысленно вперив в пространство неподвижный взор. Надо думать, что он по крайней мере не страдал. Черные глаза утратили свой блеск, смотрели безжизненно, тускло.

«Бедный слабоумный Юрген!» – говорили про него.

Так вот до чего дожило дитя, которое мать носила под сердцем для жизни, столь богатой счастьем, что было бы «непростительной гордостью желать, не говоря уже – ожидать, за пределами ее другой!» Итак, все богатые способности души пошли прахом? Нужда, горе и бедствие были его уделом. Он, как роскошная цветочная луковица, был выдернут из богатой почвы и брошен на песок – гнить! Разве не достойно было лучшей участи творение, созданное по образу и подобию Божьему? Значит, все в жизни игра случая? Нет! Милосердный Господь, несомненно, готовил ему в другой жизни награду за все, что он выстрадал в этой. «Мило-

сердце Божье превыше всех дел Его!» Эти слова псалмопевца Давида с верою повторяла благочестивая жена купца, и сердечную молитвой ее была молитва о скорейшем переселении Юргена в царство Божьей милости, где царит вечная жизнь.

Клару похоронили на кладбище, которое все больше и больше заносило песком. Но Юрген, казалось, и не признавал этого; это не входило в узкую сферу его мыслей; они ловили только обрывки прошлого. Каждое воскресенье сопровождал он семейство купца в церковь и сидел смирно, уставившись перед собою бессмысленным взором. Но однажды, слушая пение псалмов, он вздохнул, глаза его заблестели и остановились на том месте близ алтаря, где он год тому назад стоял на коленях рядом со своею умершею возлюбленною. Он назвал ее имя, побледнел как полотно и заплакал.

Ему помогли выйти из церкви, и он сказал, что ему совсем хорошо. Он уже не помнил, что с ним случилось, не помнил ничего. Да, Господь тяжело испытывал его! Но может ли кто сомневаться в мудрости и милосердии Творца нашего? Наше сердце, наш разум говорят нам о его мудрости и милосердии, а Библия подтверждает: «Милосердие Его превыше всех дел Его!»

А в Испании, где теплый ветерок ласкает апельсиновые и лавровые деревья, веет на мавританские золоченые купола, где льются звуки песен, шелкают кастаньеты, где по улицам движутся процессии детей со свечами и развевающими-

ся знаменами, сидел в роскошном доме бездетный старик, богатейший купец. Чего ни отдал бы он из своего богатства, чтобы только вернуть своих детей, дочь или ее ребенка, которому, может быть, и не суждено было увидеть света, а следовательно, и жизни вечной? «Бедное дитя!»

Да, бедное дитя! Именно дитя, хотя ему и шел уже тридцатый год; вот до какого возраста дожил Юрген в Скагене.

Песчаные заносы уже покрывали кладбище до самой стены церкви, но умирающие все же хотели быть погребенными рядом с ранее отошедшими в вечность родными и милыми их сердцу. Купец Бренне и его жена тоже легли под белый песок возле своей дочери.

Пришла весна, время бурь; дюны курились, море высоко вздымало волны, птицы тучами летали над дюнами, испуская крики. О рифы разбивался корабль за кораблем.

Однажды вечером Юрген сидел в комнате один, и в его груди вдруг вспыхнуло какое-то беспокойное влечение, стремление вдаль, которое так часто увлекало его еще в детстве из дома на дюны и в степь.

– Домой, домой! – твердил он. Никто не слышал его; он вышел из дома и направился на дюны; песок и мелкие камешки летели ему в лицо, крутились вокруг него столбами. Вот он дошел до церкви. Песок занес всю стену и даже окна до половины, но проход к дверям был прочищен. Двери не были заперты и легко отворились; Юрген вошел.

Ветер выл над городом. Разразился страшный ураган, ка-

кого не запомнили жители, но Юрген был уже в доме Божьем. Вокруг стояла темная ночь, а на душе у него было светло, в ней разгорался духовный огонь, который никогда не потухает совсем. Он почувствовал, что тяжелая глыба, давившая его голову, вдруг с треском свалилась. Ему чудились звуки органа, но это была буря и стонало море. Юрген сел на свое место; церковь осветилась огнями; одна свеча вспыхивала за другою; такой блеск он видел только раз в жизни, в испанском соборе. Старые портреты бургомистров и судей ожили, сошли со стен, где висели годы, и заняли места на хорах. Церковные ворота и двери растворились, и вошли все умершие прихожане в праздничных платьях, какие носили в их время. Они шествовали под звуки чудной музыки и усаживались на свои места. Хор запел псалмы; мощными волнами полились звуки. Старики, приемные родители Юргена, купец Бренне с женою, тоже были тут, а рядом с Юргеном сидела и милая, любящая дочь их Клара. Она протянула Юргену руку, и они пошли вместе к алтарю, преклонили колена, и священник соединил их руки, благословил их жить в мире и любви! Раздались звуки труб; полные звуки блаженно рыдали, словно сотни детских голосов, разрастались в мощные, возвышающие душу, бурные аккорды органа и снова переходили в нежные, чарующие, но вместе с тем способные потрясти могильные склепы!

Кораблик, что висел под потолком, спустился вниз, стал вдруг таким большим, великолепно разубранным, с шелко-

выми парусами, золочеными реями, золотыми якорями и шелковыми канатами, как тот корабль, о котором поется в старинной песне. Новобрачные взошли на корабль, все остальные прихожане – за ними; всем нашлось место, всем было хорошо. Стены и своды церковные зацвели, как бузина и душистые липы, и ласково протянули к кораблю свои ветви и листья, сплелись над ним зеленою беседкою. Корабль поднялся и поплыл по воздуху. Все свечи в церкви превратились в звездочки, ветер пел псалмы, пели и самые небеса: «Любовь! Блаженство! Ни одна жизнь не погибнет, но спасется! Блаженство! Аллилуйя!...» Слова эти и были последними словами Юргена: порвалась нить, удерживавшая бессмертную душу... В темной церкви лежало только безжизненное тело, а вокруг него по-прежнему бушевала буря, вихрем крутился песок.

Следующий день был воскресный; утром прихожане и священник отправились в храм. Трудно было туда пробираться; дорога сделалась почти непроходимой. Наконец добрались, но церковные двери оказались заваленными песком; перед ними возвышался целый холм. Священник прочел краткую молитву и сказал, что Господь закрыл для них дверь этого своего дома, и им надо воздвигнуть ему в другом месте новый.

Пропели псалом и разошлись по домам.

Юргена не нашли ни в городе, ни на дюнах и решили, что

его смыло волнами.

А его тело было погребено в огромном саркофаге – в самом храме. Господь повелел буре забросать его гроб землею, и он остается под тяжелым песчаным покровом и поныне.

Пески покрыли величественные своды храма, и над ним растут теперь терн и дикие розы. Из песка выглядывает лишь одна колокольня – величественный памятник над могилой Юргена, видный издали за несколько миль. Ни один король не удостоивался более великолепного памятника! Никто не нарушит покоя умершего; никто и не знает, или по крайней мере не знал до сих пор, где он погребен. Мне же рассказал обо всем ветер, разгуливающий над дюнами.

# Навозный жук

Лошадь императора удостоилась золотых подков, по одной на каждую ногу.

За что?

Она была чудо как красива: с тонкими ногами, умными глазами и шелковистой гривой, ниспадавшей на ее шею длинной мантией. Она носила своего господина в пороховом дыму, под градом пуль, слышала их свист и жужжание и сама отбивалась от наступавших неприятелей. Она защищалась от них, одним прыжком перескочила со своим всадником через упавшую лошадь врага и тем спасла золотую корону императора и самую жизнь его, что подороже золотой короны. Вот за что она и удостоилась золотых подков, по одной на каждую ногу.

А навозный жук тут как тут.

– Сперва великие мира сего, потом уж малые! – сказал он. – Хотя и не в величине, собственно, тут дело! – И он протянул свои тощие ножки.

– Что тебе? – спросил кузнец.

– Золотые подковы! – ответил жук.

– Ты, видно, не в своем уме! – сказал кузнец. – И ты золотых подков захотел?

– Да! – ответил жук. – Чем я хуже этой огромной скотины, за которую еще надо ухаживать? Чисть ее, корми да пои!

Разве я-то не из императорской конюшни?

— Да за что лошади дают золотые подковы? — спросил кузнец. — Вдомек ли тебе?

— Вдомек? Мне вдомек, что меня хотят оскорбить! — сказал навозный жук. — Это прямая обида мне! Я не стерплю, уйду куда глаза глядят!

— Проваливай! — сказал кузнец.

— Невежа! — ответил навозный жук, выполз из конюшни, отлетел немножко и очутился в красивом цветнике, где благоухали розы и лаванда.

— Правда ведь, здесь чудо как хорошо? — спросила жука жесткокрылая божья коровка, красная и в черных крапинках. — Как тут сладко пахнет, как все красиво!

— Ну, я привык к лучшему! — ответил навозный жук. — Повашему, тут прекрасно?! Даже ни одной навозной кучи!..

И он отправился дальше, под сень большого левкоя. По стеблю ползла гусеница.

— Как хорош Божий мир! — сказала она. — Солнышко греет! Как весело, приятно! А после того как я наконец засну, или умру, как это говорится, я проснусь уже бабочкой!

— Да, да, воображай! — сказал навозный жук. — Так вот мы и полетим бабочками! Я из императорской конюшни, но и там никто, даже любимая лошадь императора, которая донашивает теперь мои золотые подковы, не воображает себе ничего такого. Получить крылья, полететь?! Да, вот мы так сейчас улетим! — И он улетел. — Не хотелось бы сердиться,



да поневоле рассердишься!

Тут он бухнулся на большую лужайку, полежал-полежал да и заснул.

Батюшки мои, какой припустил дождь! Навозный жук проснулся от этого шума и хотел было поскорее уползти в землю, да не тут-то было. Он барахтался, барахтался, пробовал уплыть и на спине и на брюшке – улететь нечего было и думать, но все напрасно. Нет, право, он не выберется отсюда живым! Он и остался лежать, где лежал.

Дождь приостановился немножко; жук смахнул воду с глаз и увидал невдалеке что-то белое: это был холст, что разложили белить. Жук добрался до него и заполз в складку мокрого холста. Конечно, это было не то что зарыться в теплый навоз в конюшне, но лучшего ничего здесь не представлялось, и он остался тут на весь день и на всю ночь, – дождь все лил. Утром навозный жук выполз; ужасно он сердит был на климат.

На холсте сидели две лягушки, глаза их так и блестели от удовольствия.

– Славная погодка! – сказала одна. – Какая свежесть! Этот холст чудесно задерживает воду! У меня даже задние лапки зачесались: так бы вот и поплыла!

– Хотела бы я знать, – сказала другая, – нашла ли где-нибудь ласточка, что летает так далеко, лучший климат, чем у нас? Этакие дожди, сырость – чудо! Право, словно сидишь в сырой канаве! Кто не радуется такой погоде, тот не сын

своего отечества!

– Вы, значит, не бывали в императорской конюшне? – спросил их навозный жук. – Там и сыро, и тепло, и пахнет чудесно! Вот к чему я привык! Там климат по мне, да его не возьмешь с собою в дорогу! Нет ли здесь, в саду, хоть парника, где бы знатные особы, вроде меня, могли найти приют и чувствовать себя как дома?

Но лягушки не поняли его или не хотели понять.

– Я никогда не спрашиваю два раза! – заявил навозный жук, повторив свой вопрос три раза и все-таки не добившись ответа.

Жук отправился дальше и наткнулся на черепок от горшка. Ему не следовало бы лежать тут, но раз он лежал, под ним можно было найти приют. Под ним и жило несколько семейств ухверток. Им простора не требовалось – было бы общество. Ухвертки необыкновенно нежные матери, и у них поэтому каждый малютка был чудом ума и красоты.

– Наш сынок помолвлен! – сказала одна мамаша. – Милая невинность! Его заветнейшая мечта – заползти в ухо к священнику. Он совсем еще дитя; помолвка удержит его от сумасбродств. Ах, какая это радость для матери!

– А наш сын, – сказала другая, – едва вылупился, а уж сейчас за шалости! Такой живчик! Ну, да надо же молодежи перебеситься! Дети – большая радость для матери!

– Не правда ли, господин навозный жук? – Они узнали пришельца по фигуре.

– Вы обе правы! – сказал жук, и ухвертки пригласили его проползти к ним, если только он мог подлезть под черепок.

– Надо вам взглянуть и на моих малюток! – сказала третья, а потом и четвертая мамаша. – Ах, это милейшие малютки и такие забавные! Они всегда ведут себя хорошо, если только у них не болит животик, а от этого в их возрасте не убережешься!

И каждая мамаша рассказывала о своих детках; детки тоже вмешивались в разговор и пускали в ход свои клещи на хвостиках – дергали ими навозного жука за усы.

– Чего только не выдумают эти шалунишки! – сказали мамы, потея от умиления; но все это уже надоело навозному жуку, и он спросил, далеко ли еще до парника.

– О, далеко, далеко! Он по ту сторону канавы! – сказали в один голос ухвертки. – Надеюсь, что ни один из моих детей не вздумает отправиться в такую даль, а то я умру!

– Ну, а я попробую добраться туда! – сказал навозный жук и ушел не прощаясь – это самый высший тон.

У канавы он встретил своих сродников, таких же навозных жуков.

– А мы тут живем! – сказали они. – У нас преуютно! Милости просим в наше злачное местечко! Вы, верно, утомились в пути?

– Да! – ответил жук. – Пока дождь лил, я все лежал на холсте, а такая чистота хоть кого уходит, не то что меня. Пришлось постоять и под глиняным черепком на сквозняке, ну и

схватил ревматизм в надкрылье! Хорошо наконец очутиться среди своих!

– Вы, может быть, из парника? – спросил старший из навозных жуков.

– Подымай выше! – сказал жук. – Я из императорской конюшни; там я родился с золотыми подковами на ногах. И путешествую я по секретному поручению. Но вы не спрашивайте меня, я все равно ничего не скажу.

И навозный жук уполз вместе с ними в жирную грязь. Там сидели три молодые барышни их же породы и хихикали, не зная, что сказать.

– Они еще не просватаны! – сказала мать, и те опять захихикали, на этот раз от смущения.

– Прекраснее барышень я не встречал даже в императорской конюшне! – сказал жук-путешественник.

– Ах, не испортьте мне моих девочек! И не заговаривайте с ними, если у вас нет серьезных намерений!.. Впрочем, они у вас, конечно, есть, и я даю вам свое благословение!

– Ура! – закричали остальные, и жук стал женихом. За помолвку последовала и свадьба – зачем откладывать?

Следующий день прошел хорошо, второй – так себе, а на третий уже приходилось подумать о пропитании жены, а может быть, и деток.

«Вот-то поддели меня! – сказал он себе. – Так и я ж их поддену!»

Так и сделал – ушел. День нет его, ночь нет его – же-

на осталась вдовою. Другие навозные жуки объявили, что приняли в семью настоящего бродягу. Еще бы! Жена теперь осталась у них на шее!

– Так пусть она опять считается барышней! – сказала мамаша. – Пусть живет у меня по-прежнему. Плюнем на этого негодяя, что бросил ее!

А он переплыл канаву на капустном листке. Утром явились двое людей, увидели жука, взяли его и принялись вертеть в руках. Оба были страсть какие ученые, особенно мальчик.

– «Аллах видит черного жука на черном камне черной скалы» – так ведь сказано в Коране? – спросил он и, назвав навозного жука по-латыни, сказал, к какому классу насекомых он принадлежит.

Старший ученый не советовал мальчику брать жука с собою домой – не стоило, у них уже имелись такие же хорошие экземпляры. Жуку такая речь показалась невежливою, он взял да и вылетел из рук ученых. Теперь крылья у него высохли, и он мог отлететь довольно далеко, долетел до самой теплицы и очень удобно проскользнул в нее, – одно окно стояло открытым. Забравшись туда, жук поспешил зарыться в свежий навоз.

– Ах, как славно! – сказал он.

Скоро он заснул и увидел во сне, что лошадь императора пала, а сам господин навозный жук получил ее золотые подковы, причем ему пообещали дать и еще две. То-то было

приятно! Проснувшись, жук выполз и огляделся. Какая роскошь! Огромные пальмы веерами раскинули в вышине свои листья, сквозь которые просвечивало солнце; внизу же всюду зеленела травка, пестрели цветы, огненно-красные, янтарно-желтые и белые, как свежесвыпавший снег.

— Бесподобная растительность! То-то будет вкусно, когда все это сгниет! — сказал навозный жук. — Знатная кладовая! Здесь, верно, живет кто-нибудь из моих родственников. Надо отправиться на поиски, найти кого-нибудь, с кем можно свести знакомство. Я ведь горд и горжусь этим! — И жук пополз, думая о своем сне, о павшей лошади и о золотых подковах.

Вдруг его схватила чья-то рука, стиснула, принялась вертеть и поворачивать...

В теплицу пришел сынишка садовника с товарищем; они увидели навозного жука и вздумали позабавиться с ним. Жука завернули в виноградный листок и положили в теплый карман панталон. Он было принялся там вертеться, карабкаться, но мальчик притиснул его рукой и побежал вместе с товарищем в конец сада, к большому пруду. Там они посадили жука в старый сломанный деревянный башмак, укрепили в середине его щепочку вместо мачты, привязали к ней жука шерстинкой и спустили башмак на воду. Теперь жук попал в шкиперы и должен был отправиться в плавание.

Пруд был большой-пребольшой; навозному жуку казалось, что он плывет по океану, и это до того его поразило,

что он упал навзничь и задрыгал ножками.

Башмак относило от берега течением, но как только он отплыл чуть подальше, один из мальчуганов засучивал штанишки, шлепал по воде и притягивал его обратно. Но вот башмак отплыл опять, и как раз в эту минуту мальчуганов так настойчиво позвали домой, что они впопыхах забыли и думать о башмаке. Башмак же уносило все дальше и дальше. Какой ужас! Улететь жук не мог – он был привязан к мачте.

В гости к нему прилетела муха.

– Какая славная погода! – сказала она. – У вас тут можно отдохнуть, погреться на солнышке! Вам тут очень хорошо.

– Болтаете, сами не знаете что! Не видите, что ли, я привязан?

– А я нет! – сказала муха и улетела.

– Вот когда я узнал свет! – сказал навозный жук. – Как он низок! Я один только порядочный! Сначала меня обходят золотыми подковами, потом мне приходится лежать на мокром холсте, стоять на сквозняке, и, наконец, мне навязывают жену! Едва же я делаю смелый шаг в свет, осматриваюсь и приглядываюсь, является мальчишка и пускает меня, связанного, в бурное море! А лошадь императора щеголяет себе в золотых подковах! Вот что меня больше всего мучит. Но на этом свете справедливости не жди! История моя очень поучительна, а что толку, если ее никто не знает? Да свет и недостоин знать ее, иначе он дал бы золотые подковы мне, когда лошадь императора протянула за ними ноги. Получи я

золотые подковы, я бы стал украшением конюшни, а теперь я погиб для всех, свет лишился меня, и всему конец!

Но конец всему, видно, еще не наступил: на пруду появилась лодка, а в ней сидели несколько молодых девушек.

– Вот плывет деревянный башмак! – сказала одна.

– И бедный жук привязан крепко-накрепко! – сказала другая.

Они поравнялись с башмаком, поймали его, одна из девушек достала ножницы и осторожно обрезала шерстинку, не причинив жуку ни малейшего вреда. Выйдя же на берег, она посадила его на траву.

– Ползи, ползи, лети, лети, коли можешь! – сказала она ему. – Свобода – великое благо!

И навозный жук полетел прямо в открытое окно какого-то большого строения, а там устало опустился на тонкую, мягкую, длинную гриву любимой лошади императора, стоявшей в конюшне, родной конюшне жука. Жук крепко вцепился в гриву лошади, стараясь отдышаться и прийти в себя от усталости.

– Ну, вот я и сижу на любимой лошади императора, как всадник! Что я говорю?! Теперь мне все ясно! Вот это мысль! И верная! «За что лошадь удостоилась золотых подков?» – спросил меня тогда кузнец. Теперь-то я понимаю! Она удостоилась их из-за меня!

И жук опять повеселел.

– Путешествие проясняет мысли! – сказал он. Солнышко



светило прямо на него и светило так красиво! – Свет, в сущности, не так-то уж дурен! – продолжал рассуждать навозный жук. – Надо только уметь за него взяться!

Да и как не быть свету хорошим, если любимая лошадь императора удостоилась золотых подков из-за того только, что на ней ездил верхом навозный жук?

– Теперь я поползу к другим жукам и расскажу, что для меня сделали! Расскажу и обо всех прелестях заграничного путешествия и скажу, что отныне буду сидеть дома, пока лошадь не износит своих золотых подков.

# Что муженек ни сделает, все хорошо

Расскажу я тебе историю, которую сам слышал в детстве. Всякий раз, как она мне вспоминалась потом, она казалась мне все лучше и лучше: и с историями ведь бывает то же, что со многими людьми, и они становятся с годами все лучше и лучше, а это куда как хорошо! Тебе ведь случалось бывать за городом, где ютятся старые-престарые крестьянские избышки с соломенными кровлями? Крыши у них поросли мхом, на коньке непременно гнездо аиста, стены покосились, окошки низенькие, и открывается всего только одно. Хлебные печи выпячивают на улицу свои толстенькие брюшка, а через изгородь перевешивается бузина. Если же где случится лужа, по которой плавают утка или утята, там уж, глядишь, приткнулась и корявая ива. Возле избышки есть, конечно, и цепная собака, что лает на всех и каждого.

Вот точь-в-точь такая-то избышка и стояла в одной деревне, а в ней жили старички, муж с женой. Как ни скромно было их хозяйство, а кое без чего они все же могли бы и обойтись, — была у них лошадь, целыми днями она щипала траву, что росла у придорожной канавы. Муж ездил на лошадке в город, одалживал ее соседям, ну, а уж известно, за услугу оплачивают услугой! Но все-таки выгоднее было бы продать эту лошадь или променять на что-нибудь более полезное. Только на что бы такое?

– Ну, уж тебе это лучше знать, муженек! – сказала жена. – Теперь как раз ярмарка в городе, поезжай туда да и продай лошадку или променяй с выгодой! Уж что ты сделаешь, то всегда хорошо! Поезжай с Богом!

И она повязала ему на шею платок – это-то она все-таки умела делать лучше мужа, завязала его двойным узлом; очень шикарно вышло! Потом она пригладила шляпу старика ладонью и поцеловала его прямо в губы. И вот он поехал на лошади, которую надо было или продать, или променять в городе. Уж он-то знал свое дело!

Солнце так и пекло, на небе не было ни облачка! Пыль на дороге стояла столбом, столько ехало и шло народу – кто в тележке, кто верхом, а кто и просто пешком. Жара была страшная; солнцепек, и ни малейшей тени по всей дороге.

Шел тут и какой-то человек с коровой; вот уж была корова так корова, чудесная! «Верно, и молоко дает чудесное! – подумал наш крестьянин. – То-то была бы мена, если бы сменить на нее лошадь!»

– Эй, ты там, с коровой! – крикнул он. – Поговорим-ка! Видишь мою лошадь? Я думаю, она стоит подороже твоей коровы! Но так и быть: мне корова нужнее! Поменяемся?

– Ладно! – ответил тот, и они поменялись.

Дело было слажено, и крестьянин мог повернуть восвояси – он ведь сделал, что было нужно. Но раз уж он вздумал побывать на ярмарке, так и надо было – хотя бы для того только, чтобы поглядеть на нее. Вот он и пошел с коровой даль-

ше. Шагал он быстро, корова не отставала, и они скоро нагнали человека, который вел овцу. Овца была добрая, в теле, с густою шерстью.

«Вот от такой бы я не отказался! – подумал крестьянин. – Этой бы хватило травы на нашем краю канавы, а зимою ее можно держать в избе. По правде-то, нам сподручнее держать овцу, чем корову. Поменяться разве?»

Владелец овцы охотно согласился, мена состоялась, и крестьянин зашагал по дороге с овцой. Вдруг у придорожного плетня он увидел человека с большим гусем под мышкой.

– Ишь, гусище-то у тебя какой! – сказал крестьянин. – У него и жира и пера вдоволь! А ведь любо было бы поглядеть, как он стоит на привязи у нашей лужи! И старухе моей было бы для кого собирать объедки да очистки! Она часто говорит: «Ах, кабы у нас был гусь!» Ну вот теперь есть случай добыть его... и она его получит! Хочешь поменяться? Я дам тебе за гуся овцу да спасибо в придачу!

Тот не отказался, и они поменялись; крестьянин получил гуся. Между тем он дошел до городской заставы. Тут была толкотня, всюду люди и скотина – ступить некуда; вот многие и шагали прямо по дну канавы и даже по картофельному полю сторожа. В поле бродила курица сторожа, но ее привязали к изгороди веревочкою, чтобы она не испугалась народа и не отбилась от дома. Она была короткохвостая, подмигивала одним глазом и вообще на вид была курица хоть куда. «Кок, кок!» – бормотала она; что хотела она этим сказать,

я не знаю, но крестьянин, увидев ее, подумал: «Лучше этой курицы я и не видывал. Она красивее наседки священника; вот бы нам ее! Курица везде сыщет себе зернышко, почитай что сама себя прокормит! Право, хорошо было бы сменять на нее гуся».

– Хочешь меняться? – спросил он у сторожа.

– Меняться? Отчего ж! – ответил тот, и они поменялись.

Сторож взял себе гуся, а крестьянин курицу.

Немало-таки дел сделал он на пути в город, а жара стояла ужасная, и он сильно умаялся. Не худо было бы теперь и перекусить да выпить! А постоялый двор тут как тут. К нему он и направился, а оттуда выходил в эту минуту работник с большим, туго набитым мешком, и они встретились в дверях.

– Что у тебя там? – спросил крестьянин.

– Гнилые яблоки! – ответил работник. – Несу полный мешок свиньям!

– Такую-то уйму?! Вот бы поглядела моя старуха! У нас в прошлом году уродилось на старой яблоне всего одно яблочко, так мы берегли его в сундуке, пока оно не сгнило! «Все же это говорит о достатке в доме!» – говорила старуха. – Вот бы посмотрела она, какой бывает достаток! Хотел бы я порадовать ее!

– А что вы дадите за мешок? – спросил парень.

– Что дам? Да вот курицу! – И он отдал курицу, взял мешок с яблоками, вошел в горницу и – прямо к прилавку, а

мешок свой прислонил к печке. Она топилась, но он и не подумал о том. В горнице было пропасть гостей: барышники, торговцы скотом и два англичанина. Эти были такие богатые, что карманы у них чуть не лопались от золота, и большие охотники до пари. Теперь слушайте!

«Зу-сс! Зу-сс!» Что это за звуки раздались у печки? А это яблоки начали печься.

— Что это такое? — спросили гости и сейчас же узнали всю историю о мене лошади на корову, коровы на овцу и так далее, — вплоть до мешка с гнилыми яблоками.

— Ну и попадет тебе от старухи, когда вернешься! — сказали они. — То-то крик поднимет!

— Поцелует она меня, вот и все! — сказал крестьянин. — Старуха моя скажет: «Что муженек ни сделает, все хорошо!»

— А вот посмотрим! — сказали англичане. — Ставим бочку золота! В мере сто фунтов!

— И полной мерки золота довольно! — сказал крестьянин. — А я могу поставить только полную мерку яблок да нас со старухой в придачу! Так мерка-то выйдет уж с верхом!

— Ну-ну! — сказали те и ударили по рукам.

Подъехала тележка хозяина, англичане влезли, крестьянин тоже, взвалили и яблоки, и тележка покатила к избешке крестьянина.

— Здравствуй, старуха!

— Здравствуй, муженек!

— Ну, я променял!

– Да ведь ты уж знаешь свое дело! – сказала жена, обняла его и забыла и о мешке, и об англичанах.

– Я променял лошадь на корову!

– Слава богу! С молоком будем! – сказала жена. – Будем кушать и масло и сыр. Вот это так мена!

– Так-то так, да я корову-то сменял на овцу!

– Да оно и лучше! – ответила жена. – Ты обо всем подумал! У нас и травы-то как раз на овцу! Теперь у нас будут овечье молоко и сыр, да еще шерстяные чулки и даже фуфайки! А от коровы-то этого не получишь! Она линяет! Вот какой ты, право, умный!

– Я и овцу променял – на гуся!

– Как, неужели у нас в этом году будет к Мартынову дню жареный гусь, муженек?! Все-то ты думаешь, чем бы порадовать меня! Как ты это славно придумал! Гуся можно будет держать на привязи, чтобы он еще больше разжирел к Мартынову дню!

– Я и гуся променял – на курицу! – сказал муж.

– На курицу! Вот это дело! Курица нанесет яиц, высидит цыплят, и обзаведемся мы целым птичником! Вот чего мне давно хотелось!

– А курицу-то я променял на мешок гнилых яблок!

– Ну, так дай же мне расцеловать тебя! – сказала жена. – Спасибо тебе, муженек! Вот ты послушай, что я расскажу тебе. Ты уехал, а я и подумала: «Дай-ка приготовлю ему к вечеру что-нибудь повкуснее – яичницу с луком! Яйца-то у меня

были, а луку не было. Я и пойди к жене школьного учителя. Я знаю, что у них есть лук, но она ведь скупая-прескупая, хоть и строит из себя святую! Я попросила ее одолжить мне луку, а она: «Луку? Ничего у нас в саду не растет, даже гнилого яблока не отыщешь!» Ну, а я теперь могу одолжить ей хоть десяток, хоть целый мешок! Вот смеху-то, муженек! – И она опять поцеловала мужа прямо в губы.

– Вот это нам нравится! – вскричали англичане. – Все хуже да хуже, а ей все нипочем! За это и деньги отдать не жаль! – И они отсыпали крестьянину за то, что ему достались поцелуи, а не трепка, целую мерку червонцев.

Да уж, если жена считает мужа умнее всех на свете и все, что он ни делает, находит хорошим, – это без награды не останется!

Так вот какая история! Я слышал ее в детстве, а теперь рассказал ее тебе, и ты теперь знаешь про то, «что муженек ни сделает, все хорошо!»



# Философский камень

Ты ведь знаешь сказание о Хольгере Датчанине? Мы не собираемся пересказывать его, а просто спрашиваем, помнишь ли ты, что Хольгер Датчанин покорил великую Индию до восточного края света, до самого «солнечного дерева», как рассказывает Кристьян Педерсен. Ты ведь знаешь, кто был Кристьян Педерсен? А и не знаешь – не беда! Хольгер Датчанин вручил власть над страной священнику Йоне. Знаешь ты что-нибудь о священнике Йоне? А и не знаешь – тоже не беда! Он не играет в нашем рассказе никакой роли. Мы расскажем тебе о солнечном дереве, растущем «в Индии, на восточном краю света», как толковали во время оно люди, – они не учились географии, как мы с тобою, но и это ведь не беда!

Солнечное дерево было чудо что за дерево, какого и мы не видывали, и ты никогда не увидишь. Густолиственная вершина его бросала тень на несколько миль кругом; дерево было, в сущности, настоящим лесом, каждая отдельная маленькая ветвь – целым деревом; тут были и пальмы, и буки, и платаны, и пихты; словом, всевозможные породы деревьев, какие только существуют на белом свете, росли в виде побегов на больших ветвях. Большие же ветви, извилистые и суковатые, являлись настоящими долинами и холмами, устланными мягким, как бархат, зеленым ковром, который пестрел

цветами. Каждая ветвь напоминала висящий в воздухе цветущий луг или чудеснейший сад. Солнышко вечно ласкало дерево своими благодатными лучами, — недаром же оно звалось солнечным деревом. К нему слетались птицы со всех концов света: из дальних девственных лесов Америки, из розовых садов Дамаска, даже из лесных пустынь Африки, где львы и слоны мнят себя полновластными хозяевами. Прилетали сюда и полярные птицы, и — само собою — и аисты с ласточками. Но не одни птицы обитали на дереве; олень, белка, антилопа и другие быстроногие, прекрасные животные тоже чувствовали себя здесь как дома. И немудрено: густая, кудрявая вершина дерева была ведь огромным, благоухающим садом. Посреди же этого сада, там, где раскинулись зеленые склоны самых больших ветвей, возвышался хрустальный замок; из окон его открывался вид на все четыре страны света.

Каждая башня замка напоминала лилию, по стебельку которой можно было подняться на самый верх — в стебельке была ведь внутренняя лестница, понимаешь? — и ступить на края отогнутых лепестков, изображавших балконы; в самой же чашечке находилась чудеснейшая, блестящая зала, но вместо потолка здесь служило голубое небо, озаренное солнцем или усеянное звездами. Хорошо было, хоть и на другой лад, и в нижних залах замка: на стенах отражался весь мир, все, что происходило на земле, — и газет не надо было; кстати, их в замке и не получали. Все можно было увидеть и узнать из этих живых картин, лишь бы хватило вре-

мении да охоты, но невозможное – невозможно даже для первого мудреца в свете, а в замке как раз и жил такой мудрец. Имя его трудно и произнести; тебе ни за что не выговорить, да и не велика беда. Он знал все, что только может знать или узнать человек на земле, был посвящен во все открытия прошлого, настоящего и будущего; но дальше этого его знания не простирались, – всему есть границы! Сам мудрый царь Соломон был лишь вполовину так умен, как он, а царь Соломон ведь очень умен; он повелевал силами природы и могучими духами; сама смерть обязана была каждое утро присылать ему список людей, которых собиралась похитить днем. И все-таки царь Соломон должен был умереть, – вот эта-то мысль и не давала покоя мудрецу, могущественному владетелю замка на солнечном дереве. И он, как ни возвышался своею мудростью над всеми людьми, должен был когда-нибудь умереть, и дети его – тоже. Все они должны были увянуть, опать и превратиться в прах, как древесные листья; он знал это, он видел, как осыпались и превращались в прах поколения людские. На месте опавших листьев вырастали на дереве новые, те же, что опали, никогда не возрождались вновь, а превращались в прах, переходили в другие растительные части; но что же происходило после смерти с людьми? Что такое самая смерть? Тело превращается в прах, а душа? Чем является душа в теле и чем она становится потом? Что ее ждет? «Жизнь вечная», – утешает нас религия, но как же свершается переход в эту жизнь? Где живет душа

и как? «На небе, – говорят благочестивые люди. – И мы пойдем туда же!» – «Туда! – повторял мудрец, глядя вверх на голубое небо, на солнце и на звезды. – Туда!»

Но, бросив с круглого шара земли испытующий взор в пространство, он нашел, что и верх, и низ тут безразличны, – все зависит от того, с какой точки земного шара смотреть в пространство! А поднявшись на высочайшие горы, он увидел, что самое воздушное пространство, которое кажется нам с земной плоскости таким голубым, прозрачным, это «ясное небо», как мы его называем, есть, в сущности, сплошной густой мрак, тяжело облегающий землю; увидел, что солнце – огромный раскаленный шар, без лучей, а наша земля – шарик, окутанный оранжевым туманом. Да, телесный взор человека везде встречает границы, и за них не в силах проникнуть даже духовный взор его. Как же ничтожны наши знания, если и мудрейший из людей знал о том, что для нас важнее всего, так мало!

В потайной комнате замка хранилось величайшее земное сокровище – «книга Истины». И мудрец читал из нее страницу за страницей. Эту книгу может читать каждый человек, но лишь отрывками: в иных местах буквы так прыгают перед глазами, что нельзя разобрать ни единого слова, а в иных они до того бледны, что глаз видит лишь чистую неисписанную страницу. Чем мудрее человек, тем больше он может прочесть из этой книги, и наш мудрец прочел ее почти всю.

Он умел собирать свет звезд, свет солнца, вызывать скры-

тый свет сокровенных сил природы и свет ума, и благодаря такому яркому освещению становились видимыми даже самые бледные буквы. Но в конце книги, в главе «Жизнь после смерти», и он не мог прочесть ничего, кроме самого заглавия. Это сильно огорчало мудреца. Неужели ему так и не удастся найти здесь на земле такого сильного источника света, который осветил бы содержание этих последних страниц «книги Истины»?

Мудрец, как и царь Соломон, понимал язык животных, умел вслушиваться в речи зверей и пение птиц, но толку от этого было мало. Он умел извлекать из растений и металлов целебные силы, которые могли изгонять болезни, даже отгонять смерть, но победить ее совсем не могли. Во всей природе, во всем, что было ему доступно, искал он света, который бы мог озарить для него будущую жизнь, но не находил, и последние страницы «книги Истины» оставались для него белыми страницами. Христианское учение, правда, предлагало ему утешение, обещая вечную жизнь за гробом, но про эту-то жизнь ему и хотелось прочесть не в Библии, а в своей книге, однако там его глаза видели лишь белую страницу.

У мудреца было пятеро детей, четверо сыновей, которым он дал такое воспитание и обучение, какое только может дать своим детям мудрейший из отцов, и дочь, красавица, кроткая, умная, но слепая. Она, впрочем, казалось, и не ощущала этого недостатка: отец и братья заменяли ей глаза, а необыкновенная душевная чуткость – непосредственные зритель-

ные ощущения.

Сыновья никогда не уходили далеко от дома, никогда не переступали черты, за которую уже не падала тень от ветвей солнечного дерева; сестра их и подавно. Хорошо жилось детям в родительском доме, под сенью чудесного, благоухающего солнечного дерева. Как и все дети, они очень любили слушать рассказы, и отец рассказывал им много, чего другие дети и не поняли бы, но эти были так умны, как у нас бывают разве только умудренные долгою жизнью старцы. Отец объяснял им живые картины, отражавшиеся на стенах замка, объяснял ход земных событий и деяния людей, и сыновья часто выражали желание побывать в свете, чтобы самим окунуться в водоворот жизни, но отец говорил им, что в свете живется трудно и горько, что действительность не совсем такова, какою они ее себе представляют отсюда, из своего чудесного детского мирка. Он говорил детям о Добре, Истине и Красоте, говорил, что из них-то, под тяжким давлением света, образуется драгоценный камень, светлее бриллианта самой чистейшей воды; блеск его угоден Богу и затмевает собою решительно все; этот-то камень, собственно, и есть то, что называют философским камнем. Затем он сказал им, что, как можно прийти до уверенности в существовании Творца, изучая сотворенное, так можно прийти до уверенности в существовании упомянутого камня, изучая людей. Большого о камне он рассказать им не мог, — большего он и сам не знал. Другим детям трудно было бы понять все

это, но дети мудреца поняли, а впоследствии поймут, может быть, и другие.

Выслушав отца, они начали расспрашивать его об Истине, Добре и Красоте подробнее, и он рассказал им все, что знал сам. Между прочим, он сказал им, что Бог, создав человека из земли, подарил его пятью огненными сердечными поцелуями и с каждым поцелуем человек получал одно из своих «пяти чувств», как мы их называем. Ими-то мы и познаем Красоту, Истину и Добро, ими Истина, Добро и Красота оцениваются, защищаются и поощряются; каждое из этих пяти чувств подразделяется на внешнее и внутреннее, духовное; одно из них корень, другое верхушка, одно тело, другое душа.

Дети много думали о словах отца; философский камень не выходил у них из головы ни днем, ни ночью. Наконец старшему приснился чудный сон, но – вот диво! – то же самое приснилось и второму, и третьему, и четвертому! Каждому брату снилось, что он отправляется странствовать по белу свету и находит философский камень, который горит у него во лбу ярким пламенем в то время, как он мчится по бархатным лугам к отцовскому саду на своем быстром, как ветер, коне обратно в отчий дом. И драгоценный камень отбросил на страницы «книги Истины» такой небесный свет, что стали видны и письма в главе «Жизнь после смерти». Сестре же не снилось ничего такого; ей и в голову не приходило пуститься странствовать по свету, – весь свет заключался для

нее в отцовском доме.

– Я отправлюсь в путь! – сказал старший. – Пора мне узнать, что творится на белом свете, и самому окунуться в море житейское. Я стремлюсь только к Добру и Истине, а благодаря им я стану защитником Красоты! Многое изменится в мире, когда я возьмусь за дело!

Да, замыслы-то у него были отважные и великие, как и у всех нас, пока мы сидим у себя в углу, за печкой, не испытав еще ни дождя, ни непогоды, не изранив себе ног терниями, растущими на пути жизни!

У каждого брата все пять чувств – и внешние, и внутренние – были развиты превосходно, но одно все-таки играло преобладающую роль. У старшего брата таким чувством являлось зрение. Оно-то и должно было сослужить ему главную службу. Он, по его словам, проникал взором во все времена, во все деяния людские, даже в недра земли, где скрываются сокровища, и в сердца людей, словно люди были из прозрачного стекла! Иначе говоря, он видел побольше, чем можем видеть мы, глядя на вспыхивающее румянцем или бледнеющее лицо и всматриваясь в смеющиеся или плачущие глаза. Олень и антилопа проводили старшего брата до западной границы, а там он увидел диких лебедей, летевших к северо-западу, и последовал за ними. Скоро он очутился далеко-далеко от родины, от «восточного края света».

Вот глаза-то у него и разбежались! Было-таки на что посмотреть тут! А видеть что-нибудь в действительности со-



всем иное, нежели на картинках, хоть бы и на хороших, – те, что были у него дома, в отцовском замке, были ведь необыкновенно хороши. В первую минуту он чуть не ослеп от удивления при виде всего того хлама, что выдавался людьми за прекрасное; но, видно, глаза ему еще могли пригодиться, – конечно, не для того же они были ему даны! – и он не ослеп.

Придя в себя, он решил основательно и добросовестно приступить к изучению Истины, Добра и Красоты; но что же, собственно, было Истиною, Добром и Красотой? Он увидел, что люди зачастую венчают цветами вместо Красоты уродство, истинного Добра не замечают, награждают посредственность рукоплесканиями, а не свистками, смотрят на имя, а не на достоинство, на платье, а не на самого человека, на должность, а не на призвание. Да и чего от них требовать?

«Да, надо мне хорошенько взяться за дело!» – подумал он и взялся.

Но пока он доискивался Истины, явился дьявол, отец лжи и сам ее воплощение. Он бы с удовольствием выцарапал провидцу оба глаза, но это был бы уж слишком резкий прием, дьявол обыкновенно приступает к делу более тонко. Он оставил провидца отыскивать Истину да разглядывать Добро, но пока тот разглядывал, вдунул ему сучок сперва в один глаз, а затем и в другой, ну, а это не послужит на пользу никакому зрению, даже самому острому! Потом дьявол принялся раздувать сучки в бревна, и тогда – прощай зрение! Провидец очутился на торжище жизни слепым и не хотел довериться

никому. Теперь он стал иного мнения о свете, отчаялся во всем и во всех, даже в самом себе, а раз человек дошел до такого отчаяния – он пропал.

– Пропал! – запели дикие лебеди, улетаая на восток.

– Пропал! – защелбеталя ласточки, тоже направлявшиеся к востоку, к солнечному дереву.

Недобрые вести дошли до дому.

– Провидцу, как видно, не повезло! – сказал второй брат. – Авось мне, с моим чутким слухом, посчастливится больше!

У него из всех чувств особенно изощрен был слух, он слышал, как растет трава, – вот до чего дошел!

Сердечно распрощавшись с семьей, отправился применить к делу свои богатые дарования, осуществить свои добрые намерения и второй брат. Ласточки провожали его далеко-далеко, а лебеди указывали путь. Наконец он очутился среди людской толпы.

Вот уж правда говорится, что «хорошенького – понемножку». Слух у него был ведь до того богат, что он слышал, как растет трава, различал биение человеческого сердца в минуты радости от биения его в минуты горя, слышал вообще каждое биение всех сердец, так что свет представился ему огромною мастерскою часовщика, где тикают и бьют часы всех сортов, и маленькие, и большие. Сил не было вынести эту стукотню! А он все-таки слушал в оба уха, пока мог, но наконец совсем обезумел от людского шума и гама. Еще бы! Чего стоили одни уличные шестидесятилетние мальчишки –

годы тут ведь ни при чем, – горланившие во всю мочь! Ну, да это-то еще было только смешно, но потом на смену простому крику и гаму являлась Сплетня и, шипя, ползла по всем домам, улицам, переулкам и дальше по большой дороге. Наконец, громогласно раздавалась Ложь и верховодила всем, а шутовские бубенчики звенели, как будто были церковными колоколами. Нет, это было уж слишком! Он заткнул себе уши пальцами, но все продолжал слышать фальшивое пение и злые речи. Языки людские не знали удержу, мололи всякий вздор, болтали без умолку о выеденном яйце, так что добрые отношения между людьми трескали по всем швам. Шум и гам, трескотня и стукотня, и внутри, и снаружи – ужас! Ничьих сил не хватило бы вынести все это! Просто с ума можно было сойти. И второй брат запускать пальцы в уши все глубже и глубже, пока наконец не прорвал барабанной перепонки. Теперь уж он стал глух ко всему, даже к Добру, Истине и Красоте. Он присмирел, стал подозрительным, не доверял никому, под конец – даже себе самому, а это большое несчастье. Не ему было отыскать и принести домой драгоценный камень! Он и махнул на свою задачу рукой, махнул рукой на всех и все, даже на самого себя, а уж хуже этого нет ничего. Птицы, летевшие на восток, принесли о том весть на родину его, в замок солнечного дерева, но письма от него никакого не пришло, да и почта-то в те времена еще не ходила.

– Теперь я попытаю счастья! – сказал третий брат. – У меня есть нюх!

Не особенно-то изящно он выражался, но таков уж он был, таким надо его и принимать. Он отличался веселым нравом и был поэтом, настоящим поэтом. Он мог спеть все, чего не мог высказать. О многом он догадывался куда раньше, чем другие.

– Уж такой у меня нюх! – говорил он, и правда, обоняние было у него развито в высшей степени; это чувство играло, по его мнению, весьма важную роль в царстве прекрасного.

– Одному приятен аромат яблони, другому аромат конюшни! – говорил он. – Каждая область ароматов в царстве прекрасного имеет свою публику. Одни люди чувствуют себя как дома в кабачке, дыша воздухом, пропитанным копотью и чадом сальных свеч, запахом сивухи и табачным дымом, другие предпочитают одуряющий аромат жасмина или умащают себя крепким гвоздичным маслом, – а это хоть кого прошибет! Третьи, наконец, ищут свежего морского ветерка, свежего воздуха, взбираются на вершины гор и смотрят оттуда вниз на мелочную людскую сутолоку!

Да, вот как рассуждал он. Казалось, он имел уже случай пожить в свете между людьми и узнать их, а на самом-то деле эти познания были результатом его внутренней мудрости, – он был поэтом. Господь одарил его поэтическим чутьем при самом рождении.

И вот он простился с родными и, выйдя за черту отцовских владений, сел на быстроногого страуса, который мчит-ся куда быстрее коня, а потом, увидав стаю диких лебедей,

пересел на спину к самому сильному, – он любил перемену. Перелетев море, он очутился в чужой стране, где расстилались огромные леса, сверкали глубокие озера, возвышались высокие горы и роскошные города. И куда он ни являлся – всюду словно восходило солнышко, каждый кустик, каждый цветочек начинал благоухать сильнее, почуяв приближение друга, защитника, который оценит и поймет аромат их. Даже зачахший, всеми забытый розовый куст расправил ветви, развернул листики, и на нем распустилась чудеснейшая роза. Всякому она бросалась в глаза, даже черная, скользкая лесная улитка, и та заметила ее красоту.

– Я хочу отметить этот цветок! – сказала улитка. – Ну вот, теперь я плюнула на него, – большего я уж не могу сделать.

– Вот что бывает на этом свете с прекрасным! – сказал поэт, сложил о том песню и пропел ее, как умел, но никто даже и не прислушался.

Тогда он дал барабанщику два скиллинга и павлинье перо и велел ему переложить песню для барабана да пробарабанить ее по всему городу, по всем улицам и переулкам. Тогда люди слышали песню и объявили, что поняли ее, – в ней, дескать, замечательно глубокий смысл! Теперь поэт мог продолжать слагать и петь свои песни. Он пел об Истине, Добре и Красоте, и его слушали и в кабачках, где чадили сальные свечи, и на свежем воздухе в поле, в лесу и в открытом море. Казалось, что этому брату повезло больше, чем первым двум, но дьявол этого не потерпел, живо явился и начал вос-

курять перед ним фимиам самый крепкий и благовонный, какой только может изготавливать из всех существующих на свете сам дьявол. А уж он мастер добывать такой удушливый фимиам, от которого закружится голова у любого ангела, не то что у бедного поэта. Дьявол знает, чем пронять человека! Поэта он пронял фимиамом, – бедняк совсем утонул в волнах его, забыл свою миссию и родину, все, даже себя самого, – все поглотил дым фимиама!

Все птички, услышав о том, затосковали и умолкли на целых три дня, а черная лесная улитка почернела пуще прежнего – не от горя, а от зависти.

– Ведь это мне, – сказала она, – следовало бы воскурять фимиам, – я ведь дала ему идею первой знаменитой песни, которую переложили на барабан! Я плюнула на розу и могу даже представить свидетелей!

А домой, на родину, не дошло даже и весточки о судьбе поэта; птички горевали и не раскрывали рта целых три дня, и скорбь их оказалась такой сильной, что к концу трехдневного срока ее они даже забыли, о чем горевали! Вот как!

– Ну, теперь пора и мне отправиться в путь! – сказал четвертый брат.

Он тоже был веселого нрава, как и предыдущий, притом же он не был поэтом, значит, ничто и не мешало ему сохранять свой веселый нрав. Оба этих брата были душой и весельем всей семьи; теперь из нее уходило и последнее веселье! Зрение и слух вообще считаются у людей главными чувства-

ми; на их развитие обращается особенное внимание, три же остальные чувства считаются менее существенными. Не так думал младший брат; у него особенно развит был вкус – в самом широком смысле этого слова. А вкус и в самом деле играет большую роль: он ведь руководит выбором всего, что поглощается и ртом, и умом. И младший брат не только перепробовал все, что вообще подается на сковородках, в горшках, в бутылках и других сосудах, – это была грубая физическая сторона дела, говорил он, – но и на каждого человека смотрел как на горшок, в котором что-нибудь варится, на каждую страну как на огромную кухню, и это являлось уже тонкою, духовною стороною его миссии. На эту-то сторону он теперь и собирался приналечь.

– Может быть, мне и посчастливится больше братьев! – сказал он. – Итак, я отправлюсь в путь, но какой же способ передвижения избрать мне? Что, воздушные шары изобретены? – спросил он отца – тот ведь знал о всех изобретениях и открытиях прошедшего, настоящего и будущего.

Оказалось, что воздушные шары еще не были изобретены так же, как пароходы и паровозы.

– Ну, так я отправлюсь на воздушном шаре! – решил он. – Отец-то ведь знает, как они снаряжаются и управляются, и научит меня! Людям эти шары еще неизвестны, и, увидя мой, они примут его за воздушное явление! Я же, воспользовавшись им, сожгу его, – отец должен снабдить меня несколькими штучками грядущего изобретения, так называ-

емыми химическими спичками.

Все это он получил и полетел. Птицы провожали его дальше, нежели старших братьев: им любопытно было поглядеть, что выйдет из его полета. К этим птицам приставали по пути все новые и новые, — птицы очень любопытны, а шар показался им новою диковинною птицей. И у младшего брата составила́сь такая птичья свита, что хоть убавляй! Птичья стая неслась черною тучей, точно египетская саранча; даже света дневного из-за нее не было видно. Наконец шар залетел далеко-далеко.

— У меня хороший друг и помощник — Восточный ветер! — сказал младший брат.

— То есть два — Восточный и Южный! — сказали оба ветра. — Мы попеременно направляли твой шар, а то как бы ты попал на северо-запад!

Но он и не слышал, что они ему говорили, да и не все ли равно!

Птицы больше не сопровождали его: когда их собралось уж очень много, двум-трем из них наскучило лететь.

— Нет, эту вещь слишком раздули! — объявили они. — И он, пожалуй, еще бог весть что вообразит о себе! Да и незачем лететь за ним! Все это пустое! Просто неловко даже!

И они отстали; за ними и все другие. Все нашли, что это — пустое.

А шар спустился в одном из самых больших городов, и воздухоплаватель очутился на высочайшей точке — на ба-



шенном шпиге. Шар опять поднялся на воздух, хотя это и не предполагалось, куда он улетел – сказать трудно, да и не все ли равно, раз он не был еще изобретен?

Итак, младший брат восседал на башенном шпиге, но птицы уже не слетались к нему: и он им надоел, и они ему. Все дымовые трубы в городе дымили и благоухали.

– Это все алтари, воздвигнутые тебе! – сказал ветер, – он хотел сказать гостю что-нибудь приятное.

А тот сидел себе преважно и посматривал вниз на улицы и прохожих. Один шел и чванился своим кошельком, другой – ключом, подвешенным сзади на поясе, хотя ему и нечего было этим ключом отпирать; третий – своим кафтаном, а его уж ела моль; четвертый – своим телом, а его уж точил червяк!..

– Суета сует! Да, пора мне сойти вниз, помешать в котле жизни да отведать, каково на вкус его содержимое! – сказал он. – Но я еще посижу тут немножко: ветер так чудесно щекочет мне спину; очень приятно! Я посижу здесь, пока ветер дует с той стороны. Надо же мне отдохнуть немножко. Хорошо подольше понежиться утром в постели, когда предстоит трудный день, говорят ленивцы, а леность – мать пороков, но ведь наша семья не заражена никакими пороками, говорю я, и то же скажет о своей семье любой прохожий! Я посижу тут только, пока ветер дует с той стороны, – он мне по вкусу!

И он остался сидеть, но сидел-то он на флюгере шпига, и тот все вертелся с ним, а он думал, что дует все тот же ветер;

он продолжал сидеть и мог сидеть так без конца!

А в индийской стране, в замке на солнечном дереве, стало так пусто и тихо, когда братья разошлись один за другим.

— Им не повезло! — говорил отец. — Никогда не принесут они домой сверкающего драгоценного камня, никогда я не обрету его! Они ушли, погибли!..

И он склонялся над «книгой Истины», впиваясь взглядом в страницу, на которой хотел прочесть о жизни после смерти, но по-прежнему ничего не видел на ней.

Слепая дочь была его утешением и отрадой; она так искренне была к нему привязана, так любила его, и, ради его счастья, она горячо желала, чтобы драгоценный камень был найден и принесен домой. Но о братьях она очень горевала: где они и что с ними? Как ей хотелось увидеть их хоть во сне, но, удивительно, даже во сне она не могла с ними свидеться! Но вот однажды ночью ей приснилось, что она слышит их голоса; они зовут ее, они кричат ей из пучины житейского моря, и она пускается в путь, уходит далеко-далеко и в то же время все-таки как будто не выходит из отцовского дома. Братьев она так и не встречает, но в руке чувствует какое-то пламя, которое, однако, не жжет ее... В руке у нее сверкающий драгоценный камень, и она приносит его отцу! В первую минуту по пробуждении ей показалось, что она все еще держит камень в руке, но оказалось, что рука ее крепко сжимала прялку. В долгие бессонные ночи она беспрерывно пряла, и на веретене была намотана нить тоньше той, что

прядет паук; человеческим глазом нельзя было и разглядеть ее. Но девушка смачивала нить своими слезами, и нить становилась крепче якорного каната.

Слепая встала; она решилась, сон должен был сбыться. Была ночь, отец ее спал, она поцеловала его руку, прикрепила конец нити к отцовскому дому, – иначе как бы она, бедная слепая, нашла дорогу домой? За эту нить она должна была крепко держаться, – ей она доверялась, а не самой себе, не другим людям. Потом она сорвала с солнечного дерева четыре листочка; она хотела, в случае, если сама не встретит братьев, пустить эти листья по ветру, чтобы тот отнес по одному каждому брату вместо письма-поклона от нее.

Что-то будет с бедняжкой слепой, как станет она пробираться по белу свету? Но она ведь держалась за невидимую путеводную нить и, кроме того, над всеми пятью чувствами преобладала у нее внутренняя, душевная чуткость, благодаря чему она как бы видела кончиками пальцев, слышала сердцем.

И вот она отправилась бродить по белу свету. Море житейское шумело и гудело вокруг нее, но где только ни проходила она – всюду на небе сияло солнышко, ласкавшее ее своими теплыми лучами, всюду из черных облаков исходила сияющая радуга, всюду девушка слышала пение птичек, вдыхала аромат апельсиновых и яблоневых садов; аромат был так силен, что ей казалось даже, будто она вкушает самые плоды. До слуха ее доносились нежные ласкающие звуки, див-

ное пение, но доносились также завыванье и дикие крики; мысли и чувства людские вступали между собою в борьбу, и в глубине ее сердца сталкивались отзвуки двух мелодий: задушевной сердечной мелодии и мелодии рассудка. Один людской хор пел:

Земная жизнь – борьба и слезы,  
Сплошная тьма, просвета нет!  
Другой:  
Нет, люди рвут и счастья розы,  
Их взор ласкает солнца свет!  
Опять доносилась горькая жалоба:  
Мир жив лишь злом, враждой, гоненьем,  
Брат губит брата, сын – отца!  
В ответ звучало:  
Любовью, благостью, прощеньем  
Людей исполнены сердца!  
Потом слышалось:  
Мир тонет в мраке лжи, притворства,  
Вся жизнь – лишь суета сует!  
Но вот раздавалось:  
Но с тьмой и ложью в ратоборство  
Вступают Истина и Свет!  
Тут хор дико грянул:  
Махни рукой на все и смейся,  
Людей и мир весь презирай!  
Но в сердце слепой девушки звучало:  
На Бога и себя надейся,

Ему судьбу свою вверяй!

И стоило девушке появиться в кругу мужчин и женщин, старых и молодых, души всех загорались светом Истины, Добра и Красоты; повсюду, где она ни появлялась – в мастерской ли художника, в богатом ли, празднично убранном покое, на фабрике ли среди жужжащих машин – всюду словно восходило солнышко, звучали невидимые струны, благоухали цветы, ниспадала на изнывающие от жажды листья живительная роса.

Но дьявол не мог с этим примириться, а он ведь умнее целых десятков тысяч умных людей, вместе взятых, и додумался-таки, чем помочь горю. Он отправился в болото, взял пузырей стоячей воды, велел прозвучать над ними семикратному эху Лжи, чтобы они окрепли, потом истолок в порошок всевозможные, оплаченные похвальные оды и лживые надгробные речи, какие только мог достать, сварил порошок вместе с пузырями в слезах, пролитых Завистью, посыпал полученную смесь румянцем, соскобленным с увядшей щеки старой девы, и создал из всего этого девушку по образу и подобию богатой благодатью слепой. Люди стали звать создание дьявола «Кротким ангелом душевной чуткости», и все пошло теперь как по маслу, – дьявол одолел: свет не знал, которая из двух была настоящею, да и где ему было знать это!

На Бога и себя надейся,  
Ему судьбу свою вверяй! –

раздавалось между тем в сердце слепой, но просветленной твердою верой девушки. Четыре зеленых листка солнечного дерева она отдала ветру, чтобы тот отнес их, вместо письма-поклона, ее братьям, и твердо верила, что ветер доставит листья по назначению. Так же твердо верила она и в то, что драгоценный камень, затмевающий блеском все земное великолепие, будет ею найден. С чела человечества должен он сиять дивным блеском, озаряя и дом ее отца.

– Дом моего отца! – повторила она. – Да, на земле обретается этот камень, и я принесу домой не одну уверенность в его существовании; я уже ощущаю его пламя; оно пышет все сильнее и сильнее в моей зажатой руке! Я подхватывала ведь каждое крошечное зерно Истины, носившейся по ветру, и крепко берегла его; я давала ему пропитаться ароматом всего прекрасного, чего немало на земле – даже для слепой. Я ловила каждое биение человеческого сердца во имя Добра и вкладывала их в зернышки Истины. Я несу домой одни песчинки, но все они в совокупности и составят драгоценный камень, который я искала; у меня их полная горсть!

И она протянула руку отцу, – она была уже дома; с быстротою мысли очутилась она там: она ведь не выпускала из рук невидимой путеводной нити, связывавшей ее с отцовским домом.

Злые духи налетели на солнечное дерево с грохотом урагана, с шумом и свистом ворвались в открытые ворота и в

потайную комнату.

– Вихрь развеет песчинки! – вскричал отец, хватая ее разжатую руку.

– Нет! – с твердою уверенностью возразила она. – Их нельзя развеять. Я чувствую, как от них струится луч света, согревающий мою душу!

И отец увидел, что сверкающие песчинки бросали яркий луч на белую страницу «книги Истины», на ту страницу, где он искал доказательств жизни вечной. Он взглянул на страницу – на ней ослепительным блеском сияли четыре буквы, составлявшие одно-единственное слово:

ВЕРА

В ту же минуту рядом с отцом очутились и четверо его сыновей. Зеленый листок, брошенный ветром на грудь каждому, пробудил в них тоску по родине, и они вернулись вместе с перелетными птицами, оленями, антилопами и другими лесными обитателями. Животные тоже хотели принять участие в радости, и почему же нет, раз они способны были радоваться?

И вот как солнечный луч, пробравшийся в пыльную комнату через узенькую щелочку в двери, образует косой столб сияющей пыли, так и тут, но куда легче, воздушней и ярче – сама радуга померкла бы перед этим зрелищем – подымался от сияющего слова «Вера» светозарный столб песчинок Истины. Каждая песчинка соединяла в себе свет Истины, блеск Красоты и сияние Добра, отчего столб и светился ярче ог-

ненного столба – путеводаителя Моисея и народа израильского в пустыне; он был мостом Надежды, перекинутым от Веры к всеобъемлющей, бесконечной Любви.



# Снеговик

– Так и хрустит во мне! Славный морозище! – сказал снеговик. – Ветер-то, ветер-то так и кусает! Просто любо! А эта что глазеет, пучеглазая? – Это он про солнце говорил, которое как раз заходило. – Нечего, нечего! Я и не моргну! Устойм!

Вместо глаз у него торчали два осколка кровельной черепицы, вместо рта – обломок старых граблей; значит, он был и с зубами.

На свет он появился при радостных «ура» мальчишек, под звон бубенчиков, скрип полозьев и щелканье извозчичьих кнутов.

Солнце зашло, и на голубое небо выплыла луна, полная, ясная!

– Ишь, с другой стороны ползет! – сказал снеговик. Он думал, что это опять солнце показалось. – Я все-таки отучил ее паялить на меня глаза! Пусть себе висит и светит потихоньку, чтобы мне видно было себя!.. Ах, кабы мне ухитриться как-нибудь сдвинуться! Так бы и побежал туда на лед покататься, как давеча мальчишки! Беда – не могу двинуться с места!

– Вон! Вон! – залаял старый цепной пес; он немножко охрип – ведь когда-то он был комнатною собачкой и лежал у печки. – Солнце выучит тебя двигаться! Я видел, что было в прошлом году с таким, как ты, и в позапрошлом тоже! Вон!

Вон! Все убрались вон!

– Что ты толкуешь, дружище? – сказал снеговик. – Вон та пучеглазая выучит меня двигаться? – Снеговик говорил про луну. – Она сама-то удрала от меня давеча: я так пристально посмотрел на нее в упор! А теперь вон опять выползла с другой стороны!

– Много ты смыслишь! – сказал цепной пес. – Ну да, ведь тебя только что вылепили! Та, что глядит теперь, луна, а то, что ушло, солнце; оно опять вернется завтра. Ужо оно подвинет тебя – прямо в канаву! Погода переменится! Я чую – левая нога заныла! Переменится, переменится!

– Не пойму я тебя что-то! – сказал снеговик. – А сдается, ты сулишь мне недоброе! Та пучеглазая, что зовут солнцем, тоже не друг мне, я уж чую!

– Вон! Вон! – пролаяла цепная собака, три раза повернулась вокруг самой себя и улеглась в своей конуре спать.

Погода и в самом деле переменилась. К утру вся окрестность была окутана густым, тягучим туманом; потом подул резкий, леденящий ветер и затрещал мороз. А что за красота была, когда взошло солнышко!

Деревья и кусты в саду стояли все осыпанные инеем, точно лес из белых кораллов! Все ветви словно покрылись блестящими белыми цветочками! Мельчайшие разветвления, которых летом и не видно из-за густой листвы, теперь ясно вырисовывались тончайшим кружевным узором ослепительной белизны; от каждой ветки как будто лилось сияние!

Плакучая береза, колеблемая ветром, казалось, ожила; длинные ветви ее с пушистою бахромой тихо шевелились – точно-точно как летом! Вот было великолепие! Встало солнышко... Ах, как все вдруг засверкало и загорелось крошечными ослепительно белыми огоньками! Все было точно осыпано алмазною пылью, а на снегу переливались крупные бриллианты!

– Что за прелесть! – сказала молодая девушка, вышедшая в сад с молодым человеком. Они остановились как раз возле снеговика и смотрели на сверкающие деревья.

– Летом такого великолепия не увидишь! – сказала она, вся сияя от удовольствия.

– И такого молодца – тоже! – сказал молодой человек, указывая на снеговика. – Он бесподобен!

Молодая девушка засмеялась, кивнула головкой снеговика и пустилась с молодым человеком по снегу вприпрыжку; так и захрустело у них под ногами, точно они бежали по крахмалу.

– Кто такие приходили эти двое? – спросил снеговик цепную собаку. – Ты ведь живешь тут подольше меня; знаешь ты их?

– Знаю! – сказала собака. – Она гладила меня, а он бросал косточки; таких я не кусаю.

– А что же они из себя изображают? – спросил снеговик.

– Паррочку! – сказала цепная собака. – Вот они поселятся в конуре и будут вместе глодать кости! Вон! Вон!

– Ну, а значат они что-нибудь, как вот я да ты?

– Да ведь они господа! – сказал пес. – Куда как мало смыслит тот, кто только вчера вылез на свет Божий! Это я по тебе вижу! Вот я так богат и годами и знанием! Я всех, всех знаю здесь! Да, я знавал времена получше!.. Не мерз тут в холоде на цепи! Вон! Вон!

– Славный морозец! – сказал снеговик. – Ну, ну, рассказывай, рассказывай! Только не греми цепью, а то меня просто коробит!

– Вон! Вон! – залаял цепной пес. – Я был щенком, крошечным хорошеньким щенком, и лежал на бархатных креслах там, в доме, лежал на коленях у знатных господ! Меня целовали в мордочку и вытирали лапки вышитыми платками! Звали меня Милкой, Крошкой!.. Потом я подрос, велик для них стал, и меня подарили ключнице, я попал в подвальный этаж. Ты можешь заглянуть туда; с твоего места отлично видно. Так вот, в той каморке я и зажил как барин! Там хоть и пониже было, да зато спокойнее, чем наверху: меня не таскали и не тискали дети. Ел я тоже не хуже, если еще не лучше! У меня была своя подушка и еще... там была печка, самая чудеснейшая вещь на свете в такие холода! Я совсем уползал под нее!.. О, я и теперь еще мечтаю об этой печке! Вон! Вон!

– Разве уж она так хороша, печка-то? – спросил снеговик. – Похожа она на меня?

– Ничуть! Вот сказал тоже! Печка черна как уголь; у нее

длинная шея и медное пузо! Она так и пожирает дрова, огонь пышет у нее изо рта! Рядом с нею, под нею – настоящее блаженство! Ее видно в окно, погляди!

Снеговик посмотрел и в самом деле увидал черную блестящую штуку с медным животом; в животе светился огонь. Снеговика вдруг охватило какое-то странное желание, – в нем как будто зашевелилось что-то... Что такое нашло на него, он и сам не знал и не понимал, хотя это понял бы всякий человек, если, разумеется, он не снеговик.

– Зачем же ты ушел от нее? – спросил снеговик пса, он чувствовал, что печка – существо женского пола. – Как ты мог уйти оттуда?

– Пришлось поневоле! – сказал цепной пес. – Они вышвырнули меня и посадили на цепь. Я укусил за ногу младшего барчука – он хотел отнять у меня кость! – «Кость за кость!» – думаю себе... А они осердились, и вот я на цепи! Потерял голос... Слышишь, как я хриплю? Вон! Вон! Вот тебе и вся недолга!

Снеговик уж не слушал; он не сводил глаз с подвального этажа, с каморки ключницы, где стояла на четырех ножках железная печка величиной с самого снеговика.

– Во мне что-то так странно шевелится! – сказал он. – Неужели я никогда не попаду туда? Это ведь такое невинное желание, отчего ж бы ему и не сбыться? Это мое самое заветное, мое единственное желание! Где же справедливость, если оно не сбудется? Мне надо туда, туда, к ней... Прижаться

к ней во что бы то ни стало, хоть бы пришлось разбить окно!

— Туда тебе не попасть! — сказал цепной пес. — А если бы ты и добрался до печки, то тебе конец! Вон! Вон!

— Мне уж и так конец подходит, того и гляди свалюсь!

Целый день снеговик стоял и смотрел в окно; в сумерки каморка выглядела еще приветливее: печка светила так мягко, как не светить ни солнцу, ни луне! Куда им! Так светит только печка, если брюшко у нее набито. Когда дверцу открыли, из печки так и метнулось пламя и заиграло ярким отблеском на белом лице снеговика. В груди у него тоже горело пламя.

— Не выдержу! — сказал он. — Как мило она высовывает язык! Как это идет к ней!

Ночь была длинная, длинная, только не для снеговика; он весь погрузился в чудные мечты, — они так и трещали в нем от мороза.

К утру все окна подвального этажа покрылись чудесным ледяным узором, цветами; лучших снеговiku нечего было и требовать, но они скрывали печку! Стекла не оттаивали, и он не мог видеть печку! Мороз так и трещал, снег хрустел, снеговiku радоваться бы да радоваться, так нет! Он тосковал о печке! Он был положительно болен.

— Ну, это опасная болезнь для снеговика! — сказал пес. — Я тоже страдал этим, но поправился. Вон! Вон! Будет перемена погоды!

И погода переменялась, началась оттепель.

Капли поприбавилось, а снеговик поубавился, но он не говорил ничего, не жаловался, а это плохой признак.

В одно прекрасное утро он рухнул. На месте его торчало только что-то вроде железной согнутой палки; на ней-то мальчишки и укрепили его.

– Ну, теперь я понимаю его тоску! – сказал цепной пес. – У него внутри была кочерга! Вот что шевелилось в нем! Теперь все прошло! Вон! Вон!

Скоро прошла и зима.

– Вон! Вон! – лаял цепной пес, а девочки на улице пели:

Цветочек лесной, поскорей распускайся!  
Ты, вербочка, мягким пушком одевайся!

Кукушки, скворцы прилетайте,  
Весну нам красну воспевайте!  
И мы вам подтянем: ай, люли-люли,  
Деньки наши красные снова пришли!  
О снеговике же и думать забыли!

# Муза нового века

Когда же проявит свое существование Муза нового века, которую узрят наши правнуки, а может быть, и еще более поздние поколения? Какова будет она? О чем споет? Каких душевных струн коснется? На какую высоту подымет свой век?

Да можно ли задавать столько вопросов в наше суетливое время, когда поэзия является чуть ли не помехой, когда ясно сознают, что от большинства «бессмертных» произведений современных поэтов останется в будущем много-много что-то вроде надписей углем, встречающихся на тюремных стенах и привлекающих внимание разве некоторых случайных любопытных?

При таком положении дел поэзии поневоле приходится принимать известное участие в политике, играть хотя бы роль пыжа в борьбе партий, когда люди проливают кровь или чернила.

Это односторонний взгляд, скажут многие; поэзия не забыта и в наше время.

Нет, нет. Находятся еще люди, у которых в «ленивые по-недельникники» просыпается потребность в поэзии; испытывая от голода духовное урчание в соответствующих благородных частях своего организма, они посылают слугу в книжный магазин купить поэзии, особенно рекомендуемой, на целых че-



тыре скиллинга! Некоторые же довольствуются и тою поэзией, которую могут получить в придачу к покупкам, или удовлетворяются чтением тех листков, в которые лавочники заворачивают им покупки. Так выходит дешевле, а в наше сутливое время нельзя не обращать внимания на дешевизну. Итак, существующие потребности удовлетворяются – чего же еще? Поэзия же будущего, как и музыка будущего, – только донкихотство, и говорить о них, все равно что говорить о путешествии с научною целью на Уран!

Время слишком дорого, чтобы тратить его на фантазии, а ведь что такое, в сущности, если рассуждать трезво, что такое поэзия? Эти звучные излияния чувств и мыслей – только игра и колебание нервов. Восторг, радость, боль, даже материальные стремления – все это, по словам ученых, только колебание нервов. Каждый из нас, в сущности, нечто вроде арфы или другого струнного инструмента.

Но кто же затрагивает эти струны? Кто заставляет их колебаться и дрожать? Дух, незримый божественный дух; его голос приводит их в колебание; они колеблются, звучат, и мелодия их или сливается с основным звуком в один гармонический аккорд, или образует могучий диссонанс. Так оно было, так и будет всегда в великом прогрессе человечества на пути свободного сознания.

Каждый век, можно даже сказать – каждое тысячелетие, находит свое высшее выражение в поэзии. Рожденная в конце одной эпохи, она выступает и царствует только в следую-

щую.

Муза нового века родилась в наше суетливое время под грохот и стук машин. Привет ей! Она услышит или, может быть, прочтет его когда-нибудь между только что упомянутыми надписями, сделанными углем.

Колыбель ее раскачивалась в пространстве, ограниченном с одной стороны крайнею точкой, которой касалась нога человека в его изысканиях на севере, а с другой – крайними пределами видимого человеку темного полярного горизонта. Мы не слышали скрипа ее колыбели из-за шума стучащих машин, свиста паровозов, взрывов скал материализма и грохота сбрасываемых духовных оков.

Она родилась на великой фабрике, представляемой ныне нашею землею, в эпоху господства пара, в эпоху неустанной работы мастера «Бескровного» и его подручных.

У нее великое любвеобильное сердце женщины; в ее душе горит священное пламя весталки и огонь страсти. Одарена она быстрым, ярким, как молния, умом, проникающим через тьму тысячелетий; в нем, как в призме, отражаются все оттенки господствовавших когда-либо людских мнений, сменявшихся согласно моде. Силу и сокровище новой Музы составляет лебединое оперение фантазии, вытканное наукой и оживленное первобытными силами природы.

Она дитя народа по отцу; здравомыслящая, со здоровою душою, серьезными глазами и улыбкой на устах. По матери же она ведет род от знатных, академически образованных

эмигрантов, хранящих память о золотой эпохе рококо. Муза нового века уродилась душой и телом в обоих.

На зубок ей положили в колыбель великолепные дары. В изобилии были насыпаны туда, словно лакомства, загадки природы с их разгадками; из водолазного колокола высыпали ей разные безделушки и диковинки морского дна. На пологе была отпечатана карта неба, напоминающего океан с мирадами островов – миров. Солнце рисовало ей картинки; фотография должна была доставлять игрушки.

Кормилица пела ей песни северного скальда Эйвинда и восточного певца Фирдоуси, песни миннезингеров и те песни, что выливались из глубины истинно поэтической души шаловливого Гейне. Много, даже слишком много рассказывала ей кормилица. Муза знает и наводящие ужас предания прапрабабушки Эдды, предания, в которых как бы слышится свист кровавых крыл проклятий. Она прослушала в четверть часа и всю восточную фантазию – «Тысячу и одну ночь».

Муза нового века еще дитя, но она уже выпрыгнула из колыбели; она полна стремления, но еще и сама не знает, к чему ей стремиться.

Она еще играет в своей просторной детской, наполненной сокровищами искусств и безделушками стиля рококо. Тут же и чудные мраморные изваяния греческой трагедии и римской комедии; по стенам развешаны, словно сухие травы, народные песни разных стран; стоит ей поцеловать их, и они пышно распускаются, свежие, благоухающие! Вокруг нее раз-

даются бессмертные созвучия Бетховена, Глюка, Моцарта и других великих мастеров. На книжной полке теснятся произведения авторов, считавшиеся в свое время бессмертными, но на ней хватило бы места и для трудов всех тех, чьи имена передаются нам по телеграфной проволоке бессмертия, но замирают вместе с передачей телеграммы.

Много, слишком много она читала; она ведь родилась в наше время, многое придется ей забыть, и она сумеет позабыть.

Она еще не думает о своей песне, которая будет жить в новом веке, как живут теперь вдохновенные творения Моисея и золотые басни Бидпая о хитростях лиса. Она еще не думает о своей миссии, о своем будущем, она играет под шум борьбы наций, потрясающий воздух и образующий разные звуковые фигуры из гусиных перьев или из ядер – руны, которые трудно разгадать.

Она носит гарибальдийскую шапочку, читает Шекспира, и у нее мелькает мысль: «А ведь его еще можно будет ставить, когда я вырасту!» Кальдерон покоится в саркофаге своих произведений; надпись на нем говорит о его славе. Хольберга же – да, Муза ведь космополитка – она переплела в один том с Мольером, Плавтом и Аристофаном, но охотнее всего она читает все-таки Мольера.

Ей незнакомо то беспокойство, которое гонит горную серну, но и ее душа жаждет соли жизни, как горная серна – раздолья гор. В сердце ее разлит такой же покой, каким дышат

сказания древних евреев, этих номадов, кочевавших в тихие звездные ночи по зеленым равнинам, и все же, когда она поет их, сердце ее бьется сильнее, чем билось оно у вдохновенного древнего воина с фессалийских гор.

Ну, а насчет ее религии как? Она изучила все философские таблицы, сломала себе на «происхождении первоначальных сил» один из молочных зубов, но получила взамен новый, вкусила плода познания еще в колыбели и стала так умна, что бессмертие кажется ей гениальнейшей мыслью человечества.

Когда же настанет новый век поэзии? Когда выступит его Муза? Когда мы услышим ее?

В одно прекрасное весеннее утро она примчится на паровом драконе, с шумом пронесется по туннелям, по мостам над пропастями, или по бурному морю на пыхтящем дельфине, или по воздуху на птице Рок, созданной Монгольфье, и спустится на землю, откуда и раздастся впервые ее приветствие человечеству. Откуда же? Не из земли ли Колумба, страны свободы, где туземцы стали гонимыми зверями, а африканцы – выючными животными, страны, откуда прозвучала «Песнь о Гайавате»? Или из земли наших антиподов, золотого острова в южном море, страны контрастов, где наша ночь является днем, где в мимозовых лесах поют черные лебеди? Или из той страны, где звенит и поет нам колосс Мемнона, хотя мы и не понимаем пения сфинкса пустыни? С каменноугольного ли острова, где со времен Елизаветы гос-

подствует Шекспир? Из отчизны ли Тихо Браге, где его не оценили, или из страны сказочных приключений, Калифорнии, где возносит к небу свою главу царь лесов – Веллингтоново дерево?

Когда же заблестит звезда с чела Музы? Когда распустится цветок, на лепестках которого будет начертан символ красоты века, красоты форм, красок и благоухания?

«А какова будет программа новой Музы? – спросят сведущие депутаты от нашего времени. – Чего она хочет?»

Спросите лучше, чего она не хочет.

Она не хочет выступить тенью истекшего времени! Не хочет мастерить новые драмы из сданных в архив сценических эффектов или прикрывать убожество драматической архитектуры ослепительными лирическими драпировками! Она на наших же глазах шагнет в этой области так же далеко, как далеко шагнул мраморный амфитеатр от колесницы Фесписа. Она не хочет разбивать в куски естественную человеческую речь и потом лепить из них затейливые колокольчики с вкрадчивыми звуками времен состязаний трубадуров. Она не захочет признать поэзию дворянкой, а прозу мешанкой – она сделает и стихи и прозу равными по звучанию, полноте и силе. Не захочет она и вновь взять старых богов из могучих, как скалы, исландских саг! Те боги умерли, и у нового века нет к ним сочувствия; они чужды ему! Не захочет она и приглашать своих современников отдыхать мыслью в вертепах французских романов. Не захочет и усыплять их «обычно-

венными историями»! Она хочет поднести современникам жизненный эликсир! Песнь ее и в стихах и в прозе будет сжата, ясна и богата содержанием! Биение сердца каждой национальности явится для нее лишь буквою в великой азбуке мирового развития, и она возьмет каждую букву с одинаковой любовью, составит из них слова, и они ритмично польются в гимне, который она воспоет своему веку! Когда же наступит это время?

Для нас, еще живущих здесь, на земле, не скоро, а для улетевших вперед – очень скоро.

Скоро рухнет китайская стена; железные дороги Европы достигнут недоступных культурных архивов Азии, и два потока культуры сольются! Они зашумят, может быть, так грозно, что мы, престарелые представители современности, затрепещем, почуяв наступление рагнарёка, гибель старых богов. Но нам не следовало бы забывать, что эпохи и поколения человеческие должны сменяться и исчезать, что от них остаются лишь миниатюрные отражения, заключенные в рамки слова, которые и плывут по потоку вечности, словно цветы лотоса, говоря нам, что все эти поколения таких же людей, как и мы, только одетых иначе, действительно жили. Картина жизни древних евреев предстает со страниц Библии, греков – из «Илиады» и «Одиссеи», а нашей жизни? Спроси у Музы нового века, спроси у нее во время рагнарёка, когда возникнет новая, преображенная Гимле.

Вся сила пара, всякое давление современности послужат

для Музы рычагами! Мастер «Бескровный» и его юркие подручные, которые казались могучими господами нашего времени, явятся лишь слугами, черными рабами, украшающими залы, подносящими сокровища и накрывающими столы для великого празднества, на котором Муза, невинная, как дитя, восторженная, как молодая девушка, и спокойная, опытная, как матрона, высоко поднимет дивный светоч поэзии, этот бездонный сосуд – человеческое сердце, в котором горит божественный огонь.

Привет тебе, Муза поэзии нового века! Привет наш вознесется и будет услышан, как бессловесный гимн червя, перерезанного плугом. Когда настанет новая весна, плуг опять пойдет взрезывать землю и перерезывать нас, червей, ради удобрения почвы для новой богатой жатвы, нужной грядущим поколениям.

Привет тебе, Муза нового века!



## «Блуждающие огоньки в городе!»

Жил-был человек. Он когда-то знал много-много новых сказок, но теперь запас их, по словам его, истощился. Сказка, которая является сама собою, не приходила больше и не стучалась к нему в двери. Почему? По правде-то сказать, он сам несколько лет не вспоминал о ней и не поджидал ее к себе в гости. Да она, конечно, и не приходила: была война, и в стране несколько лет стояли плач и стон, как и всегда во время войны.

Аисты и ласточки вернулись из дальнего странствования, — они не думали ни о какой опасности; но явиться-то они явились, а гнезд их не оказалось больше: они сгорели вместе с домами. Границы страны были почти стерты, неприятельские кони топтали древние могилы. Тяжелые, печальные то были времена! Но и им пришел конец.

Да, им пришел конец, а сказка и не думала стучаться в двери к сказочнику; и слуха о ней не было!

«Пожалуй, и сказкам пришел конец, как многому другому! — вздыхал сказочник. — Но нет, сказка ведь бессмертна!»

Прошел год с чем-то, и сказочник стал тосковать.

«Неужели же сказка так и не придет, никогда больше не постучится ко мне?» И она воскресла в его памяти, как живая. В каких только образах она ему не являлась! То в образе прелестной молодой девушки, олицетворенной весны,

с сияющими, как глубокие лесные озера, очами, увенчанной диким яминником, с буковою ветвью в руке. То в образе коробейника, который, открыв свой короб с товарами, развешивал перед ним ленты, испещренные стихами и преданиями старины. Милее же всего было ему ее появление в образе старой, убеленной сединами бабушки с большими, умными, светлыми глазами. Вот у нее так был запас рассказов о самых древнейших временах, куда древнее тех, когда принцессы еще пряли на золотых прялках, а их сторожили драконы и змеи! И она передавала их так живо, что у слушателя темнело в глазах, а на полу рисовались кровавые пятна. Жутко было слушать, и все-таки куда как занятно! Все это было ведь так давно-давно!

«Неужели же она так-таки и не постучится больше?» — спрашивал себя сказочник, не сводя взгляда с двери. Под конец у него потемнело в глазах, а на полу замелькали черные пятна; он и сам не знал, что это — кровь или траурный креп, в который облеклась страна после тяжелых, мрачных дней скорби.

Сидел он, сидел, и вдруг ему пришла мысль: а что, если сказка скрывается, как принцесса добрых старинных сказок, и ждет, чтобы ее разыскали? Найдут ее, и она засияет новою красою, лучше прежнего!

«Кто знает! Может быть, она скрывается в брошенной соломинке, колеблющейся вон там, на краю колодца? Тише! Тише! Может быть, она спряталась в высохший цветок, что

лежит в одной из этих больших книг на полке?»

Сказочник подошел к полке и открыл одну из новейших просветительных книг. Не тут ли сказка? Но там не было даже ни единого цветка, а только исследование о Хольгере Датчанине. Сказочник стал читать и прочел, что история эта – плод фантазии одного французского монаха, роман, который потом взяли да перевели и «тиснули на датском языке», что Хольгера Датчанина вовсе и не существовало никогда, а следовательно, он никогда и не появится опять, о чем мы поем и чему так охотно верим. Итак, Хольгер Датчанин, как и Вильгельм Телль, оказывался одним вымыслом! Все это было изложено в книге с подобающею ученостью.

– Ну, а я во что верю, в то и верю! – сказал сказочник. – Без огня и дыма не бывает!

И он закрыл книгу, поставил ее на полку и подошел к живым цветам, стоявшим на подоконнике. Не тут ли спряталась сказка? Не в красном ли тюльпане с желтыми краешками, или, может быть, в свежей розе, или в яркой камелии? Но между цветами прятались только солнечные лучи, а не сказка.

«Цветы, росшие тут в тяжелое, скорбное время, были куда красивее, но их срезали все до единого, сплели из них венок и положили в гроб, который накрыли распущенным знаменем. Может быть, с теми цветами схоронили и сказку? Но цветы знали бы о том, самый гроб, самая земля почувствовали бы это! Об этом рассказала бы каждая пробившаяся из-

под земли былинка! Нет, сказка умереть не может! Она бессмертна!..

А может быть, она и приходила сюда, стучалась в дверь, но кому было услышать ее стук, кому было дело до нее? В то мрачное время и на весеннее солнышко-то смотрели чуть ли не с озлоблением, сердились, кажется, даже на щебетание птишек, на жизнерадостную зелень! Язык не поворачивался тогда пропеть хоть одну из старых, неувядающих народных песен, их схоронили вместе со многим, что было так дорого сердцу! Да, сказка отлично могла стучаться в двери, но никто не слышал этого стука, никто не пригласил ее войти, она и ушла!

Придется пойти поискать ее!

Скорее за город! В лес, на берег моря!»

За городом стоит старый замок; стены сложены из красного кирпича, на башне развевается флаг. В тонковырезной листве буковых деревьев поет соловей, любуясь на цветы яблони и думая, что перед ним розы. Летом здесь суется пчелы, носясь гудящим роем вокруг своей царицы, а осенью бури рассказывают о дикой охоте, об увядающих и опадающих человеческих поколениях и листьях. На Рождестве сюда доносится с моря пение диких лебедей, а в самом старом доме в это время так уютно, так приятно сидеть у изразцовой печки и слушать сказки и предания!

В нижней, старой части сада находилась каштановая ал-

лея, так и манившая своим полумраком. Туда-то и направился сказочник. Здесь некогда прогудел ему ветер о Вальдема-ре До и его дочерях, а дриада, обитавшая в дереве – это и была сама бабушка-сказка, – рассказала последний сон старого дуба. Во времена прабабушки здесь росли подстриженные кусты, теперь же – только папоротник да крапива. Они разрослись над валявшимися тут обломками старых каменных статуй. Глаза статуй заросли мхом, но видели они не хуже прежнего, а вот сказочник и здесь не увидел сказки.

Куда же, однако, она девалась?

Высоко над его головой и над старыми деревьями носились стаи ворон и каркали: «Кра-кра! Прочь! Прочь!»

Он и ушел из сада на вал, окружавший дом, а оттуда – в ольховую рощу. Здесь стоял шестиугольный домик, при котором был птичий двор. В горнице сидела старуха, смотревшая за птицею; у нее было на счету каждое снесенное яйцо, каждый вылупившийся цыпленок, но все-таки она не была сказкой, которую разыскивал наш сказочник, – на это у нее имелись доказательства: метрическое свидетельство и свидетельство о привитии оспы; оба хранились в ее сундуке.

Неподалеку от домика возвышался холм, поросший терном и желтою акацией. Тут же лежал старый могильный памятник, привезенный сюда много лет тому назад со старого кладбища как память об одном из честных отцов города. Памятник изображал его самого, а вокруг него были высечены из камня его супруга и пять дочерей, все со сложенными

руками и в высоких стоячих воротничках. Долгое, пристальное созерцание памятника действовало на мысли, а мысли, в свою очередь, действовали на камень, и тот начинал рассказывать о старине. Так, по крайней мере, бывало с человеком, разыскивавшим сказку. Придя сюда, он увидел на лбу каменного отца города живую бабочку. Вот она взмахнула крылышками, полетела-полетела и уселась на травку неподалеку от памятника, как бы желая обратить внимание сказочника на то, что там росло. А рос там четырехлистный клевер; да и не одна такая былинка, а целых семь, одна подле другой. Да, счастье коли привалит, так уж привалит разом! Сказочник сорвал их все и сунул себе в карман. Счастье ведь не хуже наличных, но новая хорошая сказка была бы, однако, еще лучше, думалось сказочнику. Сказки-то он, однако, так и не нашел.

Солнце садилось, большое, красное; луга дымились – болотница варила пиво.

Свечерело. Сказочник был один в своей комнате и смотрел через сад и луг на болото и морской берег. Ярко светил месяц; над лугами стоял такой туман, что луг казался огромным озером. Он и был им когда-то, гласили предания; теперь же благодаря лунному свету предание превратилось в действительность. Сказочнику вспомнилось то, что он прочел сегодня в книге о Вильгельме Телле и Хольгере Датчанине – будто они никогда не существовали. Они, однако, жили в

народном поверье, как вот и это озеро, вновь ставшее вдруг действительностью! Значит, и Хольгер Датчанин может воскреснуть!

В эту минуту что-то сильно стукнуло в окно. Что это? Птица, летучая мышь, сова? Ну, таким гостям не отворяют, даже если они стучатся в дом! Но вдруг окно распахнулось само собою, и в него просунулась старушечья голова.

– Это еще что? – спросил сказочник. – Кто это? И как она может заглянуть в окно второго этажа? Что она, на лестнице стоит?

– У вас в кармане четырехлистный клевер! – отозвалась старуха. – У вас даже целых семь таких былинков, и одна из них шестилистная!

– Кто ты? – спросил ее сказочник.

– Болотница! – ответила она. – Болотница, что варит пиво. Я и возилась с пивом, да один из болотных чертенят расшалился, выдернул из бочки втулку и бросил ее сюда во двор, прямо в окно. Теперь пиво так и бежит из бочки, а это невыгодно.

– А скажите... – начал было сказочник.

– Постойте маленько! – прервала его болотница. – Теперь у меня есть дело поважнее! – И она исчезла.

Сказочник только что собрался затворить окно, как старуха показалась опять.

– Ну вот дело и сделано! – сказала она. – Остальную половину пива я доварю завтра, коли погода будет хороша. О

чем же вы хотели спросить меня? Я вернулась потому, что всегда держу слово, да к тому же у вас в кармане семь былинков четырехлистного клевера, из которых одна даже шестилистная, – это внушает уважение! Такой четырехлистник – что твой орден; правда, он растет прямо у дороги, но находит-то его не всякий! Так что же вы хотели спросить? Ну, не мямлите же, я тороплюсь!

Сказочник и спросил о сказке, спросил, не встречала ли ее болотница.

– Ох ты, пиво мое, пиво! – сказала старуха. – Вы все еще не сыты сказками? А я так думаю, что они всем уж набили оскмину. Теперь у людей есть чем заняться другим! Даже дети-то, и те переросли сказки. Теперь подавайте мальчикам сигары, а девочкам кринолины, вот что им по вкусу! А то сказки?! Нет, теперь есть чем заняться поважнее!

– Что вы хотите сказать? – спросил сказочник. – И что вы знаете о людях? Вы ведь имеете дело только с лягушками да блуждающими огоньками!

– Да, берегитесь-ка этих огоньков! – сказала старуха. – Они теперь на воле! Вырвались! Об них-то мы и поговорим с вами! Только приходите ко мне на болото, а то меня там дело ждет. Там я и расскажу вам обо всем. Но торопитесь, пока ваши четырехлистные да одна шестилистная былинки клевера не завяли и месяц не зашел.

И болотница исчезла.

Башенные часы пробили двенадцать, и не успели еще они



пробить четверть первого, как сказочник, выйдя из дома и миновав сад, стоял на лугу. Туман улегся. Болотница кончила варку пива.

— Долгонько же вы собирались! — сказала ему она. — Нечистая сила куда проворнее людей; я рада, что родилась болотницей!

— Ну, что же вы мне скажете? — спросил сказочник. — Что-нибудь о сказке?

— Вы ни о чем другом и говорить не можете? — ответила старуха.

— Так речь пойдет о поэзии будущего?

— Только не залетайте слишком высоко! — сказала болотница. — Тогда я и буду с вами разговаривать. Вы только и бредите поэзией, говорите только о сказке, точно она всему миру голова. А она хоть и постарше всех, да считается-то самой младшею, вечно юною! Я хорошо знаю ее! И я когда-то была молода, а молодость ведь не то, что детская болезнь. И я когда-то была хорошенькою лесною девой, плясала вместе с подругами при лунном свете, заслушивалась соловья, бродила по лесу и не раз встречала девицу-сказку, — она вечно шатается по свету. То она ночует в полураспустившемся тюльпане, то в желуде, то шмыгнет в церковь и закутается там в креп, ниспадающий с подсвечников на алтарь!

— Да, вы очень сведущи! — заметил сказочник.

— Должна же я знать по крайней мере с ваше! — отозвалась болотница. — Поэзия и сказка — обе одного поля ягоды, и по-

ра им обеим убираться подобру-поздорову! Их теперь можно отлично подделать; и дешево и сердито выходит! Хотите, я дам вам их сколько вам угодно задаром! У меня полный шкаф поэзии в бутылках. В них налита эссенция, самый экстракт поэзии, извлеченный из разных корней – и горьких и сладких. У меня имеются все сорта поэзии, в которой нуждаются люди. По праздникам я употребляю эти эссенции вместо духов – лью несколько капель на носовой платок.

– Удивительные вещи вы рассказываете! – проговорил сказочник. – Так у вас поэзия разлита по бутылкам?

– И у меня ее столько, что вам и не переварить! – ответила старуха. – Вы ведь знаете историю о девочке, наступившей на хлеб, чтобы не запачкать новых башмачков? Она и написана и напечатана.

– Я сам рассказал ее! – сказал сказочник.

– Ну, так вы знаете ее и знаете, что девочка провалилась сквозь землю, ко мне в пивоварню, как раз в то время, когда у меня была в гостях чертова прабабушка; она пришла посмотреть, как варят пиво, увидела девочку и выпросила ее себе в истуканы, на память о посещении пивоварни. Чертова прабабушка получила что желала, меня же отдала такую вещь, которая мне совсем не ко двору! Она изволила подарить мне дорожную аптечку, шкаф, полнехонький бутылок с поэзией! Прабабушка сказала, где надо поставить шкаф, – там он и стоит до сих пор. Взгляните! У вас в кармане семь четырехлистных былинков клевера, из которых одна даже ше-

стилистная, так вам можно взглянуть!

И в самом деле, посреди болота лежало что-то вроде большого ольхового пня, но оказалось, что это-то и есть прабабушкин шкаф. Он был открыт для самой болотницы и для всякого, кто только знал, где должен стоять шкаф, сказала болотница.

Шкаф открывался и спереди и сзади, со всех сторон и углов. Прехитрая штука! И все же на вид он был ни дать ни взять старый ольховый пенёк! Тут имелись в искусных подделках всевозможные поэты, но преобладали все-таки наши, местные. Из творений каждого был извлечен самый их дух, квинтэссенция их содержания; затем добытое было раскрытиковано, обновлено, сконцентрировано и закупорено в бутылку. Руководимая высоким инстинктом, — как принято говорить в тех случаях, когда нежелательно назвать это гениальностью, — чертова прабабушка отыскивала в природе то, что отзывалось тем или другим поэтом, прибавляла немножко чертовщины и таким образом запасалась поэзией данного рода.

— Ну, покажите же мне эту поэзию! — попросил сказочник.

— Сперва вам надо послушать кое о чем поважнее! — возразила болотница.

— Да ведь мы как раз у шкафа! — сказал сказочник и заглянул в шкаф. — Э, да тут бутылки всех размеров! Что в этой? Или в этой?

— В этой так называемые майские духи. Я еще не нюхала

их, но знаю, что стоит чуть плеснуть из этой бутылки на пол, и сейчас перед тобой будет чудное лесное озеро, поросшее кувшинками и дикой мятой. Если же капнуть всего капельки две на тетрадку ученика, хотя бы из самого младшего класса, в тетрадке окажется такая душистая комедия, что хоть сейчас ставь ее на сцену да засыпай под нее – так сильно от нее пахнет! На бутылке написано: «По рецепту болотницы» – вероятно, из вежливости ко мне!

А вот бутылка со скандальной поэзией. С виду в ней налита одна грязная вода. Так оно и есть, но к этой воде подмешан шипучий порошок из городских сплетен, три лота лжи и два грана истины, все это перемешано березовым прутом – не из розог, помоченных в рассоле и обрызганных кровью преступника, даже не из пучка школьных розог, нет, просто из метлы, которою прочищали сточную канаву.

Вот бутылка с минорно-набожной поэзией. Каждая капля издает визг, напоминающий скрипение ржавых петель в воротах ада; извлечена же эта эссенция из пота и крови самобичующихся. Поговаривают, правда, что это только голу-биная желчь, но другие спорят, что голубь – птица благочестивая, и в ней даже желчи нет; видно, что эти мудрецы не учились естественной истории!

Потом сказочник увидал еще бутылку. Вот так была бутылка! Из бутылок бутылка! Она занимала чуть не половину шкафа; это была бутылка с «Обыкновенными историями». Горлышко ее было обвязано свиною кожею и обтяну-

то пузырем, чтобы эссенция не выдохлась. Каждый народ мог добыть из нее свой национальный суп, – все зависело от того, как повернуть и потряхнуть бутылку. Тут был и старинный немецкий кровяной суп с разбойничьими клетками, и жиденький датский супец, сваренный из настоящих надворных советников вместо корней; на поверхности его плавали философские жирные точки. Был тут также и английский гувернантский суп, и французский *potage à la Коск*, сваренный из петушьей ноги и воробьиного яйца и на датском языке носящий название «суп канкан». Лучшим же из всех супов был копенгагенский. Так, по крайней мере, считали сами копенгагенцы.

В бутылке из-под шампанского содержалась трагедия; она могла и должна была вышибать пробку и хлопать; комедия же была похожа на мелкий-мелкий песок, пыль, которую можно было бы пустить людям в глаза; это была, конечно, высокая комедия. Низкая комедия, впрочем, тоже имелась в особой бутылке, но она состояла из одних афиш будущего репертуара, в которых название пьесы играло главную роль. И тут попадались замечательные названия, например: «В морду!», «Душка-скотина!», «Пьяна в стельку!».

Сказочник слушал, слушал и совсем задумался, но мысли болотницы забегали вперед, и ей хотелось поскорее положить этому думанью конец.

– Ну, теперь насмотрелись на это сокровище! Знаете теперь, в чем тут дело! Но есть кое-что поважнее, чего вы еще

не знаете: блуждающие огоньки в городе! Это поважнее всякой поэзии и сказки. Мне бы следовало, конечно, держать язык за зубами, но судьба сильнее меня, на меня точно нашло что-то, язык так вот и чешется! Блуждающие огоньки в городе! Вырвались на волю! Берегитесь их, люди!

– Ни слова не понимаю! – сказал сказочник.

– Присядьте, пожалуйста, на шкаф! – сказала старуха. – Только не провалитесь в него да не перебейте бутылок! Вы ведь знаете, что в них. Я расскажу вам сейчас о великом событии; случилось оно не далее, как вчера, но случалось и прежде. Длиться же ему еще триста шестьдесят четыре дня. Вы ведь знаете, сколько дней в году? – И она повела рассказ. – Вчера в болоте была такая суета! Праздновали рождение малюток! Родилось двенадцать блуждающих огоньков из того сорта, что могут по желанию вселяться в людей и действовать между ними как настоящие люди. Это великое событие в болоте, вот почему по болоту и лугу и началась пляска. Плясали все блуждающие огоньки – и мужского и женского пола. Среди них есть и женский пол, но о нем не принято упоминать. Я сидела на шкафу, держа на коленях двенадцать новорожденных огоньков. Они светились, как светлячки, начинали уже подпрыгивать и с каждой минутой становились все больше и больше. Не прошло и четверти часа, как все они стали величиной со своих папаш или дядюшек. По древнему закону блуждающие огоньки, родившиеся в такой-то час и минуту, при таком именно положении

месяца, какое было вчера, и при таком ветре, какой дул вчера, пользуются особым преимуществом принимать человеческий образ и действовать как человек — но, конечно, сообразно с своею натурой — целый год. Такой блуждающий огонек может обежать всю страну, даже весь свет, если только не боится упасть в море или погаснуть от сильного ветра. Он может прямехонько вселиться в человека, говорить за него, двигаться и действовать по своему усмотрению. Он может избрать для себя любой образ, вселиться в мужчину или женщину, действовать в их духе, но сообразно своей натуре. Зато в продолжение года он должен совратить с прямого пути триста шестьдесят пять человек, да совратить основательно. Тогда блуждающий огонек удостоивается у нас высшей награды: его жалуют в скороходы, что бегут перед парадною колесницей черта, одевают в огненно-красную livree и даруют ему способность изрыгать пламя прямо изо рта! А простые-то блуждающие огоньки глядят на это великолепие да только облизываются! Но честолюбивому огоньку предстоит тоже немало хлопот и забот и даже опасностей. Если человек разгадает, с кем имеет дело, и сможет задуть огонек — тогда этот пропал: полезай назад в болото! Если же сам огонек не выдержит срока испытания, соскучится по семье, он тоже пропал: не может уже гореть так ярко, скоро потухает, и — навсегда. Если же год пройдет, а он не успеет за это время совратить с пути истинного триста шестьдесят пять человек, его наказывают заключением в гнилушку: ле-

жи себе там да свети, не шевелись! А это для шустрого блуждающего огонька хуже всякого наказания. Все это я знала и рассказала двенадцати молодым огонькам, которых держала на коленях, а они так и бесились от радости. Я сказала им, что вернее, удобнее всего отказаться от чести и ничего не делать. Но огоньки не захотели этого: все они уже видели себя в огненной ливрее и с пламенем изо рта! «Оставайтесь-ка дома!» – советовали им некоторые из старших. «Подурачьте людей!» – говорили другие. – Люди осушают наши луга! Что будет с нашими потомками?»

– Мы хотим гореть, пламя нас возьми! – сказали новорожденные огоньки, и слово их было твердо.

Сейчас же устроился минутный бал, – короче балы уже не бывают! Лесные девы сделали по три тура со всеми гостями, чтобы не показаться спесивыми; вообще же они охотнее танцуют одни. Потом начали дарить новорожденным на зубок, как это называется. Подарки летели со всех сторон, словно в болото швыряли камушки. Каждая из лесных дев дала огонькам по клочку от своего воздушного шарфа.

– Возьмите их, – сказали они, – и вы сейчас же выучитесь труднейшим танцам и изворотам, которые могут понадобиться в минуту трудную, а также приобретете надлежащую осанку, так что не ударите лицом в грязь в самом чопорном обществе!

Ночной ворон выучил всех новорожденных огоньков говорить: «Браво! Браво!» – и говорить всегда кстати, а это



ведь уж такое искусство, которое никогда не остается без награды. Сова и аист тоже кое-что обрели в болото, но «о такой малости не стоит и говорить», – заявили они сами, мы и не будем говорить. Тут как раз мимо проносились «дикая охота короля Вальдемара». Господа узнали, что за пир у нас идет, и прислали в подарок двух лучших собак; они мчатся с быстротою ветра и могут снести на спине хоть трех блуждающих огоньков. Две старые бабы-кошмарихи, которые промышляют ездой, тоже присутствовали на пиру и научили огоньков искусству пролезать в замочную скважину, – таким образом, перед ними были открыты все двери. Они предложили также отвезти молоденьких огоньков в город, где знали все ходы и выходы. Обыкновенно кошмарихи ездят, сидя верхом на собственных косах, – они связывают их концы узелком, чтобы сидеть тверже. Теперь же они уселись верхом на диких охотничьих собаках, взяли на руки молоденьких огоньков, которые отправлялись в свет соблазнять людей, и – марш! Все это было вчера ночью. Теперь блуждающие огоньки в городе и взялись за дело, но как, где? Да, вот скажите-ка мне! Впрочем, у меня большой палец на ноге что твой барометр и кое о чем да дает мне знать.

– Да это целая сказка! – воскликнул сказочник.

– Нет, только присказка, а сказка-то еще впереди! – ответила болотница. – Вот вы и расскажите мне, как ведут себя огоньки, какие личины на себя надевают, чтобы свращать людей?

– Я думаю, что об огоньках можно написать целый роман в двенадцати частях, по одной о каждом, или, еще лучше, народную комедию! – сказал сказочник.

– Ну и напишите! – сказала старуха. – Или лучше отложите попечение!

– Да, оно, пожалуй, и удобнее и приятнее! – отозвался сказочник. – По крайней мере тебя не будут трепать в газетах, а от этого ведь приходится иной раз так же тяжело, как блуждающему огоньку – от сидения в гнилушке!

– Мне-то все едино! – сказала старуха. – А лучше все-таки предоставьте писать об этом другим – и тем, кто может, и тем, кто не может! Я же дам им старую втулку от моей бочки; ею закрыт теперь шкаф с поэзией, разлитою по бутылкам. Пусть черпают оттуда все, чего у них самих не хватает. Ну, а вы, милый человек, по-моему, довольно попачкали себе пальцы чернилами, да и в таких уже годах, что пора вам перестать круглый год гоняться за сказкой! Теперь есть чем заняться поважнее. Вы ведь слышали, что случилось?

– Блуждающие огоньки в городе! – ответил сказочник. – Слышать-то я слышал и понял! Но что же мне, по-вашему, делать? Меня забросают грязью, если я скажу людям: «Берегитесь, вон идет блуждающий огонек в почетном мундире!»

– Они ходят и в юбках! – сказала болотница. – Блуждающие огоньки могут принимать на себя всякие личины и являться во всех местах. Они ходят и в церковь – не ради молитвы, конечно! Пожалуй, кто-нибудь из них вселится в са-

мого пастора! Они произносят речи и на выборах, но не ради пользы страны и государства, а ради своей собственной пользы. Они вмешиваются и в искусство, но удастся им утвердить там свою власть – прощай искусство! Однако я все болтаю да болтаю, язык у меня так и чешется, и я говорю во вред своей же семье! Но мне, видно, на роду написано быть спасительницей рода человеческого! Конечно, я действую не по доброй воле и не ради медали! Что ни говори, однако, я творю глупости: рассказываю все поэту – скоро об этом узнает и весь город!

– Очень ему нужно знать это! – сказал сказочник. – Да ни один человек и не поверит этому! Скажи я людям: «Берегитесь! Блуждающие огоньки в городе!» – они подумают, что я опять сказки рассказывать принялся!

# Серебряная монетка

Жила-была монетка. Она только что вышла из чеканки, чистенькая, светленькая, покатилась и зазвенела:

– Ура! Теперь пойду гулять по белу свету! – И пошла.

Ребенок крепко сжимал ее в своем тепленьком кулачке, скряга тискал холодными, липкими пальцами, люди постарше вертели и поворачивали в руках много раз, а молодежь живо ставила ребром и катила дальше. Монетка была серебряная, меди в ней было очень мало, и вот она уже целый год гуляла по белу свету, то есть по той стране, где была отчеканена. Потом она отправилась путешествовать за границу и оказалась последнею родной монеткою в кошельке путешественника. Но он и не подозревал о ее существовании, пока она сама не попалась ему под руку.

– Вот как! У меня еще осталась одна наша родная монетка! – сказал он. – Ну, пусть едет со мною путешествовать! – И монетка от радости подпрыгнула и зазвенела, когда он сунул ее обратно в кошелек. Тут ей пришлось лежать с иностранными товарками, которые все сменялись: одна уступала место другой, а наша монетка все оставалась в кошельке; это уж было некоторого рода отличием!

Прошло много недель. Монетка заехала далеко-далеко от родины, но куда – не знала. Она только слышала от соседок, что они француженки или итальянки, что они теперь в та-

ком-то или таком-то городе, но сама не имела о том никакого представления: не много увидишь, сидя в мешке, как она! Но вот однажды монетка заметила, что кошелек не закрыт; ей вздумалось хоть одним глазком поглядеть на мир, и она проскользнула в щелочку. Не следовало бы ей этого делать, да она была любопытна, ну и это не прошло ей даром! Она упала в карман брюк. Вечером кошелек из кармана вынули, а монетка осталась лежать там, где лежала. Брюки вынесли в коридор чистить, и тут монетка вывалилась из кармана на пол; никто не слышал, никто не видал этого.

Утром платье опять внесли в комнату; путешественник оделся и уехал, а монетка осталась. Вскоре ее нашли на полу, и ей предстояло опять поступить на службу; она очутилась вместе с тремя другими монетками.

«Вот славно-то! Опять пойду гулять по свету, увижу новых людей, новые обычаи!» – подумала монетка.

– Это что за монетка? – послышалось в ту же минуту. – Это не наша монета. Фальшивая! Никуда не годится!

Тут-то и началась для монетки история, о которой она сама потом рассказывала.

– «Фальшивая! Никуда не годится!» Меня так и пронизало насквозь! – рассказывала она. – Я же знала, что я чисто серебряная, хорошего звона и настоящей чеканки! Верно, люди ошиблись, – не могли они так отзываться обо мне! Однако они говорили именно про меня! Это меня называли фальшивой, это я никуда не годилась! «Ну, я сбуду ее с рук в су-

мерках!» – сказал мой хозяин и сбыл-таки. Но при дневном свете меня опять принялись бранить: «Фальшивая!», «Никуда не годится!», «Надо ее поскорее сбыть с рук!».

И монетка дрожала от стыда и страха всякий раз, как ее подсовывали кому-нибудь вместо местной монеты.

– Ах, несчастная я монетка! Что толку в моем серебре, в моем достоинстве, чеканке, когда все это ни к чему! В глазах света останешься тем, за кого он тебя примет! Как же, должно быть, ужасно иметь нечистую совесть, пробиваться вперед нечистыми путями, если мне, ни в чем не повинной, так тяжело потому только, что я кажусь виновною!.. Переходя в новые руки, я всякий раз трепещу от того взгляда, который упадет на меня сейчас: я ведь знаю, что меня сейчас же отшвырнут в сторону, бросят, точно я обманщица!

Раз я попала к одной бедной женщине; она получила меня в уплату за тяжелую поденную работу. Но ей-то уж никак не удавалось сбыть меня с рук, – никто не хотел брать меня; я была для бедняги сущим несчастьем.

«Право, поневоле придется обмануть кого-нибудь! – сказала женщина. – Где мне, при моей бедности, беречь фальшивые деньги! Отдам-ка ее богатому булочнику, он-то не разорится от этого! Но все-таки нехорошо это! Сама знаю, что нехорошо!»

«Ну, вот теперь я буду лежать на совести у бедной женщины! – вздохнула я. – Неужели же я в самом деле так изменилась от времени?»

И женщина отправилась к богатому булочнику, но он слишком хорошо знал все монеты, и мне не пришлось долго лежать там, куда меня положили, — он швырнул меня бедной женщине в лицо. Ей не дали за меня хлеба, и мне было так грустно, так грустно сознавать, что я отчеканена на горе другим! Это я-то, я, когда-то такая смелая, уверенная в себе, в своей чеканке, в хорошем звоне! И я так пала духом, как только может пасть монетка, которую никто не хочет брать. Но женщина принесла меня обратно домой, добродушно-ласково поглядела на меня и сказала:

«Не хочу я никого обманывать! Я пробью в тебе дырку, пусть каждый знает, что ты фальшивая... А впрочем... Поймай, мне пришло на ум — может быть, ты счастливая монетка? Право, так! Я пробью в тебе дырочку, продерну шнурок и повешу на шейку соседкиной девочке — пусть носит на счастье!»

И она пробила во мне дырочку. Не особенно-то приятно быть пробитою, но ради доброй цели можно перенести многое. Через дырочку продернули шнурок, и я стала похожа на медаль. Меня повесили на шейку малютки; малютка улыбалась мне, целовала меня, и я всю ночь провела на тепленькой невинной детской груди.

Утром мать девочки взяла меня в руки, поглядела на меня и что-то задумала, — я сейчас же догадалась! Потом она взяла ножницы и перерезала шнурок.

— Счастливая монетка! — сказала она. — Посмотрим! — И

она положила меня в кислоту, так что я вся позеленела, потом затерла дырку, немножко почистила меня и в сумерках пошла к продавцу лотерейных билетов купить на счастье билетик.

Ах, как мне было тяжело! Меня точно в тисках сжимали, ломали пополам! Я ведь знала, что меня обзовут фальшивою, осрамят перед всеми другими монетами, что лежат и гордятся своими надписями и чеканкою. Но нет! Я избежала позора! В лавке была такая толпа, продавец был так занят, что, не глядя, бросил меня в выручку, к другим монетам. Выиграл ли купленный за меня билет – не знаю, но знаю, что на другой же день меня признали фальшивою, отложили в сторону и опять отправили обманывать – все обманывать! А ведь это просто невыносимо при честном характере – его-то уж у меня не отнимут! Так переходила я из рук в руки, из дома в дом больше года, и всюду-то меня бранили, всюду-то на меня сердились. Никто не верил в меня, и я сама больше не верила ни в себя, ни в свет. Тяжелое выдалось для меня времечко!

Но вот однажды явился путешественник; ему, конечно, сейчас же подсунули меня, и он был так прост, что взял меня за здешнюю монету. Но когда он, в свою очередь, хотел расплатиться мною, я опять услышала крик: «Фальшивая! Не годится!»

«Мне дали ее за настоящую! – сказал путешественник и взгляделся в меня пристальнее. Вдруг на лице его появилась



улыбка; а ведь, глядя на меня, уже давно никто не улыбался. – Нет, что же это! – сказал он. – Ведь это наша родная монетка, хорошая, честная монетка с моей родины, а в ней пробили дырку и зовут ее фальшивую! Вот забавно! Надо будет сберечь тебя и взять с собою домой!»

То-то я обрадовалась! Меня опять называют хорошею, честной монеткою, хотят взять домой, где все и каждый узнают меня, будут знать, что я чисто серебряная, настоящей чеканки! Я бы засверкала от радости искрами, да это не в моей натуре: искры испускает сталь, а не серебро.

Меня завернули в тонкую белую бумажку, чтобы не смешать с другими монетами и не затерять; вынимали меня только в торжественных случаях, при встречах с земляками, и тогда обо мне отзывались необыкновенно хорошо. Все говорили, что я очень интересна. Забавно, что можно быть интересною, не говоря ни слова!

И вот я попала домой! Миновали мои мытарства, потекла счастливая жизнь. Я ведь была чисто серебряная, настоящей чеканки, и мне совсем не вредило, что во мне была пробита дырка, как в фальшивой: что за беда, если на самом деле ты не фальшивая! Да, надо иметь терпение: пройдет время, и все встанет на свои места. Уж в это я твердо верю! – заключила свой рассказ монетка.

# Епископ Бёрглумский и его родич

Вот мы и на севере Ютландии, севернее Дикого болота. Тут уже слышится вой моря. Слышно, как с грохотом катятся волны. Море ведь отсюда близехонько, но его загораживает от нас высокий песчаный холм. Холм этот давно у нас перед глазами, но мы все еще не доехали до него, медленно подвигаясь вперед по глубокому песку. На холме возвышается большое старинное здание – это бывший Бёрглумский монастырь. В самом большом флигеле его до сих пор церковь. Мы доберемся до вершины холма лишь поздно вечером, но погода стоит ясная, ночи светлые, так что можно видеть на много-много миль кругом. С холма открывается вид на поля и болота, на Ольборгский фьорд, на степи и луга и на темно-синее море.

Ну, вот мы и на холме, с грохотом катимся между гумном и овином и заворачиваем в ворота старого замка. Вдоль стен его – ряды лип; тут они защищены от ветра и непогоды и разрослись так, что почти закрыли все окна.

Мы поднимаемся по каменной витой лестнице, проходим по длинным коридорам под бревенчатыми потолками. Как странно гудит здесь ветер: снаружи или внутри – не разберешь. Жутко... А тут еще эти рассказы... Ну, да мало ли что рассказывают, мало ли что видят, когда боятся сами или хотят напугать других. Рассказывают, что давно умершие мо-

нахи скользят по коридорам в церковь, где идет обедня; звуки молитв прорываются сквозь вой ветра. Наслушаешься таких рассказов, и душою овладевает странное настроение: начинаешь думать о старине и так задумаешься, что невольно перенесешься в те времена.

О берег разбился корабль; слуги епископа уже на берегу; они не щадят тех, кого пощадило море: море смывает с берега красную кровь, струящуюся из проломленных черепов. Выброшенный морем груз становится добычею епископа, а груза тут немало. Море выкатывает на берег бочки и бочонки с дорогим вином; все идет в погреба епископа, и без того битком набитые бочками с медом и пивом. Кухня его полным-полна битоею дичью, колбасами и окороками, в прудах плавают жирные лещи и караси. Богат и могуществен епископ Бёрглумский! Много у него земли и поместий, но ему все мало! Все должно преклоняться перед Олуфом Глобом!

В Тю умер его богатый родич. «Родич родичу хуже врага» — справедливость этой пословицы может подтвердить вдова умершего. Муж ее владел всеми землями в крае, кроме монастырских. Единственный сын находился в чужих краях; он был отослан туда еще мальчиком познакомиться с чужими нравами и обычаями, к чему так лежала его душа, но вот уже несколько лет о нем не было ни слуху ни духу. Может быть, он давно лежит в могиле и никогда не вернется больше на родину хозяйничать там, где хозяйничает его

мать.

– Что смыслит в хозяйстве баба? – сказал епископ и послал ей вызов на народный суд – тинг. Но что из того толку? Вдова никогда не преступала законов, и сила права на ее стороне.

Епископ Олуф Бёрглумский, что замышляешь ты? Что пишешь на гладком пергаменте? Что запечатываешь восковою печатью и перевязываешь шнурком? Что за грамоту отсылаешь с рыцарем и оруженосцем далеко-далеко, в папскую столицу?

Начался листопад, завывли бури, настала пора кораблекрушений, а вот и зима на дворе.

Два раза приходила она; в конце второй вернулись посланцы. Они вернулись из Рима с буллой от папы, предававшей проклятию вдову, оскорбительницу благочестивого епископа. «Пусть ляжет проклятие на нее и на все ей принадлежащее! Она отлучается от церкви и от людей! Да не протянет ей никто руки помощи, родные и друзья да бегут от нее, как от чумы и проказы!»

– Не гнется дерево, так его ломают! – сказал епископ Бёрглумский.

Все отвернулись от вдовы, но она не отвернулась от Бога – он остался ее покровителем и защитником.

Только одна служанка, старая дева, осталась ей верна, и госпожа сама ходила вместе с нею за плугом. И хлеб уродился, даром что земля была проклята папою и епископом.

– Ах ты, исчадие ада! Постой! Будет же по-моему! – говорит епископ. – Рукою папы я достану тебя и привлеку на суд!

Тогда вдова впрягает в телегу двух последних волов, садится на нее вместе со служанкою и едет по степи прочь из датской земли, в чужую страну, где все и всё ей чуждо. и люди, и язык, и нравы, и обычаи. Далеко-далеко заехала она, туда, где тянутся высокие зеленые горные склоны, растет виноград. Купцы, едущие с товарами, боязливо озираются со своих нагруженных возов, опасаясь нападения разбойничьих рыцарских шаек. А две бедные женщины на жалкой телеге, запряженной двумя черными волами, едут по опасной дороге и по густым лесам совершенно спокойно. Они теперь во Франции. Тут встречается им богато одетый рыцарь в сопровождении двенадцати оруженосцев. Он останавливается и смотрит на странную повозку, затем спрашивает женщин, откуда, куда и зачем они едут. Младшая из них называет датский город Тю, рассказывает про свое горе и обиду. Но тут и конец ее невзгодам! Так было угодно Богу! Чужестранный рыцарь – сын ее! Он протягивает ей руки, обнимает ее, и мать плачет от радости, а она не плакала вот уже много лет – только кусала себе губы до крови.

Начался листопад, завывли бури, настала пора кораблекрушений; море катит в погреба епископа бочки с вином.

На вертелах в кухне жарится дичь. Уютно, тепло в замке, а на дворе мороз так и кусает. И вот разносится весть: Йенс Глоб из Тю вернулся домой вместе с матерью, Йенс Глоб вы-

зывает епископа на суд Божий и людской!

— Много он возьмет этим! — говорит епископ. — Оставь-ка лучше попечение, рыцарь Йенс Глоб!

Опять начался листопад, снова завывали бури, опять настала пора кораблекрушений; вот и зима на дворе. В воздухе порхают белые пчелы и жалят в лицо, пока не растают.

— Холодно сегодня! — говорят люди, побывав на дворе, Йенс Глоб стоит у огня, думает думу и прожигает большую дыру на своем широком плаще.

— Ну, епископ Бёрглумский! Я таки осилю тебя! Закон не может достать тебя под плащом папы, но Йенс Глоб достанет!

И он пишет своему зятю Олуфу Хасе Саллингскому письмо, назначает ему в сочельник утром свидание в Видбергской церкви. Епископ сам будет служить мессу, для чего и отправляется из Бёрглума в Тю. Йенс Глоб знает это.

Луга и болота покрыты льдом и снегом. Лед и снег окрепли настолько, что могут сдержать лошадей со всадниками, целый поезд; то едет епископ с канониками и слугами. Они едут кратчайшею дорогою между хрупким тростником; печально шелестит в нем ветер.

Труби в свой медный рог, трубач в лисьей шубе! Звуки гулко разнесутся в морозном, ясном воздухе. Поезд подвигается вперед по степям и болотам, где летом расстилаются луга фата-морганы; направляется он к югу, к Видбергской церкви.

А ветер трубит в свой рог сильнее трубача. Вот завывала буря, разыгралась непогода. Путь епископа лежит к Божьему дому. Дом Божий стоит крепко, как ни свирепствует вокруг него над полями, над болотами, над фьордом и морем страшная буря. Епископ Бёрглумский доехал до церкви вовремя, а вот Олуфу Хасе вряд ли это удастся, хоть он и гонит лошадь изо всех сил. Он спешит со своей свитой на помощь Йенсу Глобу, вызвавшему епископа на суд Всевышнего. И вот Олуф Хасе подъезжает к фьорду... Скоро дом божий станет судилищем, престол – судейским столом, в тяжелых медных подсвечниках затеплятся свечи, буря прочтет жалобу и приговор. Отголоски их разнесутся по воздуху – над болотами, степью и бурным морем. Но через фьорд в такую погоду нет переправы!

Олуф Хасе останавливается у Оттесунна, отпускает своих людей, дарит им лошадей и вооружение, дает отпускные листы и велит свезти поклон своей супруге. Один хочет он довериться бушующим волнам, а слуги пусть засвидетельствуют, что не его вина, если Йенс Глоб останется в Видбергской церкви без подкрепления. Но верные слуги не хотят отстать от своего господина и бросаются вслед за ним в глубокие волны. Десятеро из них тонут, но сам Олуф Хасе и еще двое отроков выплывают на противоположный берег. Им остается еще четыре мили пути.

За полночь. Канун Рождества. Ветер улегся; церковь освещена. Яркий свет льется сквозь окна на луга и степь. Заут-

рения давно отошла. В церкви тишина; слышно, как каплет воск со свечей на каменный пол. Является Олуф Хасе.

В притворе встречает его Йенс Глоб.

— Здравствуй! Я помирился с епископом!

— Вот как! — отвечает Олуф. — Так ни ты, ни епископ не выйдете живыми из церкви!

И меч Олуфа Хасе сверкает из ножен, вонзается и расщепляет дверь, которую успел захлопнуть между собой и зятем Йенс Глоб.

— Повремени, дорогой зять! Погляди сперва, каково примирение! Я убил епископа со всеми его людьми! Ни слова больше не проронят они, да и я не стану больше говорить о той обиде, что понесла моя мать!

Фитили восковых свечей горят красными языками; еще краснее свет разливается по полу. Тут плавает в крови епископ с раздробленным черепом; убиты и все его спутники. Тихо, безмолвно в Видбергской церкви в ночь под Рождество.

На третий день праздника в Бёрглумском монастыре зазвонили в колокола. Убитый епископ и его слуги выставлены напоказ в церкви; тела покоятся под балдахином, кругом стоят обернутые крепом подсвечники. В парчовой ризе, с посохом в безжизненной руке, лежит епископ, некогда могущественный повелитель края. Курится ладан, монахи поют. В пении их звучат жалоба, злоба и осуждение. Ветер подтягивает им и разносит эти звуки по всей стране. Ветер ути-



хает, успокаивается на время, но не навеки. Снова и снова он просыпается и опять принимается за свои песни. Он распеваает их и в наше время, поет здесь, на севере Ютландии, о епископе Бёрглумском и его родиче. Песни его слышатся темною ночью; испуганно внемлет им крестьянин, проезжающий по тяжелой песчаной дороге мимо Бёрглумского монастыря; внемлет им и бессонный обитатель толстостенных покоев Бёрглума. Вот почему так странно и шелестит по длинным, гулким коридорам, ведущим к церкви. Вход в нее давно заложен, закрыт, но не для суеверных очей. Им мерещатся открытые двери: ярко горят свечи в паникадилах, курится ладан, церковь блещет прежним великолепием, монахи отпевают умершего епископа, что лежит в парчовой ризе, с посохом в бессильной руке. На бледном гордом челе зияет кровавая рана; она горит, как огонь; это пылают огнем грехи и дурные помыслы.

Прочь! Скройтесь в землю, покройте мраком забвения, ужасные воспоминания старины!

Прислушайся к порывам ветра; они заглушают шум катящихся волн морских. Разыгралась буря. Многим людям будет она стоять жизни! Нрав моря не изменился с годами. В эту ночь оно является всепоглощающею пастью, утром же, может быть, опять станет ясным оком, в котором можно видеть себя, как в зеркале. Так же бывало и в старину, которую мы только что схоронили. Спи же спокойно, если можешь!

Вот и утро.

Новые времена светят в нашу комнату вместе с лучами солнца. Ветер все еще бушует. Приносят весть о кораблекрушении, – то же бывало и в старину.

Ночью у Лёкке, маленькой рыбацкой слободки, застроенной домиками с красными черепичными крышами – ее видно отсюда, из окон, – разбился корабль. Он сел на мель далеко от берега, но спасительная ракета перебросила мост между тонущим судном и твердою землею. Все спасены, все на берегу и нашли себе приют и ночлег у рыбаков. Сегодня же их перевели в Бёрглумский монастырь. В уютных покоях их встречает радушный прием и привет на родном языке. С клавиш льются звуки родных мелодий, и не успеют еще они замереть, как зазвучит иная струна, безмолвная и в то же время полная звуков: вестник мыслей сообщит семьям потерпевших крушение в чужой земле об их спасении. Родные успокоены; с души спасенных сваливается бремя, и в замке Бёрглум поднимаются пляс и веселье. Протанцуем же старинный вальс, споем песни о Дании и о «храбром ополченце» нового времени!

Благословенно будь ты, новое время! Вступай в страну, как новое лето! Свети своими лучами в сердца людей! Быстро промелькнут на твоём светлом фоне воспоминания о старых, суровых, жестоких временах!

# Буря перемещает вывески

В старину, когда дедушка, отец моей матери, был еще совсем маленьким мальчуганом, щеголял в красных штанишках, в красной курточке с кушачком и в шапочке с перышком, – вот как тогда наряжали маленьких мальчиков, – так в то время и все было иначе, чем теперь. Тогда часто устраивались такие уличные торжества, каких нам уж не видать: мода на них прошла, устарели они. Но куда как занятно послушать о них!

Что было за торжество, когда сапожники меняли свое главное цеховое помещение и переносили цеховую вывеску на новое место! Они шли целую процессией; впереди несли цеховое знамя, на котором красовался большой сапог и двуглавый орел; затем шли младшие подмастерья с «заздравным кубком» и «цеховым ларцом»; на рукавах у них развевались красные и белые ленты; старшие же несли шпаги с воткнутыми на острие лимонами. Музыка гремела всюду, и лучшим из инструментов была «птица», как называл дедушка большой шест с полумесяцем на верхушке; на шесте были навешаны всевозможные бубенчики и позвонки, – настоящая турецкая музыка! Шест подымали кверху и потряхивали им: динг-данг! В глазах рябило от сияющих на солнце золотых, серебряных и медных погремушек и украшений!

Перед шествием бежал арлекин в платье, сшитом из раз-

ноцветных лоскутков; лицо его было вымазано сажей, на голове колпак с бубенчиками – ну, словно лошадь во время карнавала! Он раздавал своею складною палкой удары направо и налево; треску было много, а совсем не больно. В толпе же просто давили друг друга! Мальчишки и девчонки шныряли повсюду и шлепались прямо в канавы; пожилые кумушки проталкивали себе дорогу локтями, хмурились и бранились. Повсюду говор и смех; на всех лестницах, во всех окнах, даже на крышах виднелись люди. Солнышко так и сияло; случилось, что процессию вспрыскивал и дождичек, но дождик – благодать для земледельца, так не беда, если даже горожане промокнут насквозь!

Ах, как дедушка рассказывал! Он ведь сам видел все эти торжества во всем их блеске. Цеховой старшина взбирался на помост под повешенною на новое место вывеской и держал речь в стихах, будто сам был стихотворцем. Да оно так и было: он сочинял эти стихи вместе с двумя другими товарищами, а чтобы дело шло на лад, они предварительно осушали целую миску пунша. Народ кричал ему в ответ «ура», но еще громче раздавалось «ура» в честь арлекина, когда тот выходил и передразнивал оратора.

Шут презабавно острил, попивая мед из водочных рюмок, которые потом бросал в толпу, а люди ловили их; у дедушки даже хранилась такая рюмочка; ее поймал один каменщик и подарил ему. То-то было веселье! И вот вывеска висела на новом доме вся в зелени и цветах.

«Такого торжества не забудешь никогда, до какой бы глубокой старости ни дожил!» – говаривал дедушка; и он таки не забыл, хотя и много хорошего видел на своем веку. Много о чем мог он порассказать, но забавнее всего рассказывал о том, как распорядилась вывесками в большом городе буря.

Дедушке еще мальчиком довелось побывать в этом городе вместе со своими родителями, и это было в первый раз в его жизни. Увидя на улице толпы народа, он вообразил, что здесь тоже готовится торжество перемещения вывесок, а сколько их тут было! Если бы собрать да развесить их по стенам, понадобилась бы сотня комнат! На вывеске портного были нарисованы всевозможные костюмы; он мог перекрыть любого человека из грубого в изящного. На вывеске табачного торговца красовались прелестные мальчуганы с сигарами во рту, – ну совсем как живые! На некоторых вывесках было намалевано масло, на других – селедки, на третьих – пасторские воротнички, гробы и всевозможные надписи. Можно было с утра до вечера ходить взад и вперед по улицам и досыта налюбоваться этими картинками да кстати и разузнать, где какие живут люди, – они ведь сами вывешивали свои вывески. А это очень хорошо в таком большом городе, – говорил дедушка: очень полезно знать, что делается за стенами домов!

И надо же было случиться с вывесками такой оказии, какая случилась с ними как раз к прибытию в город дедушки. Он сам рассказывал об этом, и без всяких плутовских ужи-

мок, означавших – как уверяла мама, – что он собирался по-  
дурачить меня. Нет, тут он смотрел совсем серьезно.

В первую же ночь по прибытии его в город разыгралась та-  
кая буря, о какой и в газетах никогда не читали, какой не за-  
помнили и старожилы. Кровельные черепицы летали в воз-  
духе, старые заборы ложились плашмя, а одна тачка так пря-  
мо покатила по улице, чтобы спастись от бури. В воздухе  
шумело, гудело, выло, буря свирепствовала. Вода выступала  
из каналов, – она просто не знала, куда ей деваться в та-  
кой ветер. Буря проносилась над городом и срывала с крыш  
дымовые трубы. Сколько покривилось в ту ночь церковных  
шпилей! И они не выпрямились уже никогда!

Против дома старого, почтенного и вечно опаздывавше-  
го брандмайора стояла караульная будка; буря не захотела  
оставить ему этот знак почета, сорвала будку со шкворня,  
покатила по улице и – что всего удивительнее – оставила ее  
перед домом, где жил бедняк плотник, спасший на послед-  
нем пожаре из огня трех человек. Конечно, сама-то будка не  
имела при этом никакого злого умысла!

Вывеску цирюльника, большой медный таз, сорвало и за-  
несло в оконное углубление дома советника. Это уж смахи-  
вало на злой умысел, – говорили соседи – все ведь, даже бли-  
жайшие приятельницы, называли госпожу советницу «брит-  
вою». Она была так умна и знала о людях куда больше, чем  
они сами о себе!

Вывеска с нарисованною на ней сушеною треской переле-

тела на дверь сотрудника одной из газет. Со стороны бури это было плоской шуткой: буря, видно, забыла, что с сотрудником газет шутки плохие, — он царь в своей газете и в собственных глазах.

Флюгерный же петух перелетел на крышу соседнего дома да там и остался — в виде злейшей насмешки, — говорили соседи.

Бочка бочара перенеслась к мастерской дамских нарядов. Меню кухмистра, висевшее в тяжелой рамке над его дверью, буря поместила над входом в театр, мало посещаемый публикою. Забавная вышла афиша: «Суп из хрена и фаршированная капуста». Но тут-то публика и повалила в театр.

Лисья шкурка, вывеска честного скорняка, повисла на ручке колокольчика у дверей одного молодого человека, который не пропускал ни одной церковной службы, был скромным и незаметным, как сложенный дождевой зонтик, стремился к истине и был «примерным молодым человеком», по отзыву своей тетки.

Вывеска с надписью «Высшее учебное заведение» перенеслась на бильярдный клуб, а самое учебное заведение получило вывеску с надписью: «Здесь вскармливают детей на рожке». И остроумного в том ничего не было, — одна неучтивость, но с бурей ведь ничего не поделаешь — вздумала и сделала!

Ужасная выдалась ночь! К утру — подумайте только! — все вывески в городе были перемещены, причем в иных ме-

стах вышла такая злая насмешка, что дедушка даже и говорить о том не хотел, а только посмеивался про себя – я это отлично заметил, – значит, у него было что-то на уме!

Бедные городские жители, особенно же приезжие, совсем сбились с толку, попадали совсем не туда, куда хотели, и что мудреного, если они руководились только вывесками! Иным хотелось, например, попасть в серьезное собрание пожилых людей, занимающихся обсуждением дельных вопросов, и вдруг они попадали в школу к мальчишкам-крикунам, готовым прыгать по столам!

Многие ошибались церковью и театром, а это ведь ужасно!

Подобной бури в наши дни уже не было, это только дедушке довелось пережить такую, да и то мальчуганом. Подобной бури, может быть, и вовсе не случится в наше время, а разве при наших внуках. Но уж надеемся и пожелаем, чтобы они благоразумно оставались по домам, пока буря будет перемещать вывески!



# Скрыто – не забыто!

Стоял старый замок, окруженный тинистыми рвами; вел к нему подъемный мост, который чаще бывал поднят, чем опущен, – не всякий гость приятен! В стенах под крышей были бойницы; из них стреляли, лили кипяток и даже расплавленный свинец на головы врагов, если те подступали чересчур близко. Потолки в замковых покоех были высокие, и хорошо, что так, – по крайней мере было куда деваться дыму, выходившему из камина, где шипели огромные сырые коряги. По стенам висели портреты закованных в латы мужчин и гордых дам в платьях из тяжелой материи. Но стройнее и величественнее всех была сама нынешняя владетельница замка, Метте Могенс.

Раз вечером на замок напали разбойники, убили трех слуг и цепную собаку, а вместо нее посадили на цепь госпожу. Сам же расселись в зале и начал бражничать, попивая доброе вино и пиво из погребов замка.

И вот госпожа Метте сидела на цепи и даже лаять не могла.

Вдруг явился слуга разбойников; он подкрался к ней потихоньку, чтобы не заметили разбойники, – они бы убили его.

– Госпожа Метте Могенс! – сказал он. – Помнишь ли ты, как твой муж посадил на кобылку моего отца? Ты просила

за него, но просьбы не помогли, он должен был сидеть, пока не искалечится; тогда ты подкралась к нему, как я теперь к тебе, и сама подложила ему камешек сперва под одну, потом под другую ногу, чтобы дать ему отдохнуть. Никто не заметил этого, или все сделали вид, что не заметили, — ты была ведь молодой доброю госпожой их! Вот что рассказывал мне мой отец, и я скрыл это в моем сердце, скрыл, но не забыл! Теперь я освобожу тебя, госпожа Метте Могенс.

Они вывели из конюшни лошадей и помчались в дождь и ветер прочь от замка, за помощью.

— Ты щедро платишь за мою маленькую услугу старику! — сказала Метте Могенс.

— Скрыто — не забыто! — сказал слуга.

Разбойников повесили.

Стоял старый замок; стоит он и посейчас, но владеет им не Метте Могенс, а другой дворянский род.

Было это уже в наше время. Золоченые шпили башен сияли на солнце, маленькие лесные островки выглядывали из воды словно букеты, а вокруг них плавали белые лебеди. В саду цвели розы, но сама владетельница замка была свежее, прекраснее лепестка розы. Она вся сияла от радости, от сознания сделанного ею доброго дела. Добрые дела ее не кричат о себе по свету, но находят себе приют в сердцах людей; там они скрыты, но не забыты.

Вот она идет из замка к одинокой лачужке в поле. В ней

живет бедная параличная девушка. Единственное окошечко ее каморки было обращено на север, и солнце не заглядывало к ней никогда. Она видела в окно только краешек поля, ограниченного высокою насыпью. Но сегодня в комнатке сияет солнышко, теплое Господне солнышко! Оно светит с юга в новое окошко, прорубленное в прежде глухой стене.

Параличная сидит и греется на солнышке, любитесь лесом и берегом морским; свет вдруг так расширился для нее, приобрел новую красоту, и все это – по одному слову ласковой владительницы замка.

– Мне ничего не стоило сказать его и сделать это маленькое доброе дело! – говорит она. – А оно доставило мне такую огромную, бесконечную радость!

Вот почему она и продолжает творить добро, думать обо всех нуждающихся в утешении и в бедных хижинах и в богатых домах – и там находятся такие. Добрые дела ее остаются скрытыми, но не забытыми Господом Богом.

В большом, шумном городе стоял старый дом. В нем было много комнат и зал, но мы туда не пойдем, а останемся в кухне. Тут светло, уютно, чисто и мило. Медная посуда так и блестит, стол чисто выскоблен, лоханка тоже. Все это дело рук служанки. Она одна служанка в доме и все-таки находит еще время, убравшись по дому, приодеться, словно собирается в церковь. На голове у нее чепчик с черным бантиком; это означает траур, скорбь. Но у нее нет никого, о ком бы

ей печалиться, — ни отца, ни матери, ни родственников, ни милого; она бедная одинокая девушка. Когда-то, впрочем, у нее был жених, такой же бедняк, как и она сама; они горячо любили друг друга, но вот однажды он сказал ей:

— У нас с тобой нет ничего! А богатая вдова-трактирщица давно нашептывает мне ласковые слова. Она хочет мне добра! Но мое сердце полно тобою! Что ты присоветуешь мне?

— Делай так, как, по-твоему, будет для тебя лучше! — сказала она. — Будь добр и ласков с нею, но помни, что, раз мы расстаемся, больше уж не увидимся!

Прошло несколько лет; и вот она встретила на улице своего прежнего жениха. Он выглядел так плохо, что она не могла пройти мимо него, не спросив:

— Что с тобою? Как тебе живется?

— Хорошо и богато! — ответил он. — Жена моя добрая, славная женщина, но в моем сердце одна ты. Я отстрадал свое, скоро конец! Мы свидимся теперь только на том свете!

Прошла неделя, и сегодня утром в газете появилось извещение о его смерти; вот почему у девушки черный бантик на чепчике. Жених ее умер, «потерян для жены и трех пасынков», — как сказано в извещении. Звучит-то оно как-то фальшиво, но самый колокол из чистого металла.

Черный бантик говорит о горе; лицо девушки говорит о нем еще сильнее. В сердце ее он скрыт и никогда не будет забыт!

Вот и все три истории, три листка, выросшие на одном стебельке. Хочешь еще таких трилистников? Их много хранится в памятной книжке сердца.

Многое там скрыто, но не забыто!

## «День переезда»

Ты ведь помнишь колокольного сторожа Оле? Я рассказывал тебе о двух своих посещениях Оле, теперь расскажу и о третьем, но еще не последнем.

Обыкновенно я навещал его около Нового года, но на этот раз взобрался на колокольню в самый «день переезда». Внизу, на улицах, в этот день пренеприятно: всюду сор, осколки, черепки, обломки, не говоря уже о ворохах соломы, выкинутой из негодных матрацев!.. Шагаешь, шагаешь по ним!.. Да! Пришлось-таки мне пошагать! И вот вижу: в опрокинутой мусорной бочке играют двое ребятишек. Они затеяли игру «в спанье», – бочка так и манила улечься в нее. Они и влезли туда, зарылись в гнилую солому и накрылись вместо одеяла куском старых, ободранных обоев – то-то любо! Но с меня было уже довольно, и я поспешил наверх, к Оле.

– Сегодня «день переезда»! – сказал он. – Улицы и переулки превращаются в гигантские мусорные бочки, а мне довольно бывает и одного ящика: я и из него могу выловить кое-что, и выловил-таки однажды, вскоре после сочельника. Я спустился на улицу; было сыро, грязно, серо и холодно. Мусорщик остановился со своим возом у одного дома. Ящик его был полнехонек и мог бы послужить примерным образцом того, во что превращаются копенгагенские улицы в «день переезда». Сзади на возу торчала елка, совсем еще

зеленая, на ветвях уцелела мишура; она покрасовалась в сочельник, а затем ее выбросили на улицу, и вот мусорщик водрузил ее на свой воз. Смеяться было или плакать, глядя на эту картину? Это зависит, конечно, от того, что думать при этом. Я смотрел на нее и думал; думали, вероятно, и кое-какие из сваленных в кучу предметов, или по крайней мере могли думать, а это ведь почти одно и то же. Лежала там, между прочим, разорванная дамская перчатка. О чем она думала? Сказать ли вам? Она лежала, указывая мизинчиком прямо на елку, и думала: «Мне жаль это деревцо! И я тоже была создана блистать при свете огней! И моя жизнь продолжалась одну бальную ночь! Пожатие руки – и я лопнула! Тут обрывается нить моих воспоминаний; больше мне не для чего было жить!» Вот что думала или могла думать перчатка!

«Глупая эта елка! – думал черепок от горшка. Черепки всегда и все находят глупым. – Уж раз попала в мусорную кучу, нечего нос задирать и чваниться своею мишурой! Я-то вот знаю, что приносил пользу на свете, не то что эта зеленая розга!»

Что ж, и такое мнение имеет много сторонников, но елка все-таки выглядела очень красиво, вносила хоть немножко поэзии в эту мусорную кучу, а сколько таких куч на улицах в «день переезда»!.. Мне стало тяжело бродить по улицам, и потянуло наверх, на колокольню. Тут я сижу себе да благодушно посматриваю вниз.

Вот теперь хорошие люди играют там в перемену квартир!

Они возятся, перетаскивают свое добро, а домовый сидит на возу и переезжает вместе с ними: домашние дразги, семейные неурядицы, печали и заботы – все перебирается из старого жилища в новое. Так какой же смысл во всей этой кутерье? В «Справочной газете» давным-давно как-то было напечатано старое доброе изречение: «Помни о великом переезде в страну вечности!»

Вот серьезная мысль, и, надеюсь, вам не будет неприятно послушать кое-что на эту тему? Смерть, несмотря на кучу дел, была и останется самым исправным чиновником. Вы когда-нибудь думали об этом?

Смерть – кондуктор, паспортист, выдающий нам аттестаты, и директор великой сберегательной кассы человечества. Понимаете вы меня? Все наши земные деяния, и большие и малые, составляют наш вклад в эту кассу, а вот, когда Смерть подъедет к нам со своим дилижансом, в котором мы должны отправиться в страну вечности, она выдаст нам на границе вместо паспорта наш аттестат! Вместо же суточных кормовых денег мы получим из сберегательной кассы то или другое наиболее характерное деяние наше. Для иного это очень приятно, для иного же ужасно!

Никто еще не избегнул этого переезда в дилижансе Смерти. Правда, рассказывают, что был один такой – иерусалимский башмачник, которому не позволили сесть в него. Ему пришлось бежать позади дилижанса. Но, случись ему попасть туда, он бы ускользнул от поэтов! Загляните же ко-



гда-нибудь мысленно в дилижанс Смерти. В нем самое смешанное общество! Тут сидят рядом и король и нищий, гений и идиот. Всем приходится пуститься в дальний путь налегке, без всякого багажа, без денег, с одним аттестатом, да с тем, что выдаст им из сберегательной кассы Смерть. Какое же из всех деяний человека вынимает она из сберегательной кассы и дает ему в дорогу? Может быть, самое маленькое, незаметное, как горошинка! Но ведь из горошинки вырастает длинный цветущий стебель!

Жалкий горемыка, сидевший всю жизнь в углу на кособокой скамейке и знавший только толчки да пинки, получит, может быть, в дорогу эту самую скамейку. Но она сейчас же превратится в паланкин, в золотой трон или в цветущую беседку, в которой беднягу и отнесут в страну бессмертия.

Тот же, кто постоянно пил из роскошной чаши наслаждения, чтобы забывать содеянное им зло, получит в дорогу простую плошку с чистым, прозрачным питьем, проясняющим мысли. Человек пьет его и видит то, чего прежде не хотел или не мог видеть. Наказание его в том гложущем черве совести, который никогда не умирает.

Если на чаше земных наслаждений была надпись – «забвение», то на этой плошке будет написано – «вспоминание».

Когда я читаю хорошую книгу, историческое сочинение, я всегда задумываюсь над тем, какое деяние вынула Смерть из сберегательной кассы и дала в дорогу такому-то или такому-то лицу, о котором я читаю. Вот, например, жил один

французский король; имя его я позабыл, — имена добрых всегда забываются, но дела их нет-нет, да и всплывут в памяти. Этот король явился в голодный год благодетелем своего народа, и народ воздвиг ему памятник из снега с надписью: «Помощь твоя являлась быстрее, чем тает этот памятник!» Я думаю, что Смерть дала этому королю одну снежинку из его памятника, которая никогда не может растаять, и она проводила короля, порхая над его головой белою бабочкою, в страну вечности. А вот еще жил другой король, Людовик XI; его имя я помню, — люди не забывают зла. Мне особенно памятно одно его деяние, и всякий раз, как я вспоминаю о нем, мне так и хочется назвать историю ложью. Он велел казнить своего коннетабля; ну, это он мог, справедливо или несправедливо — его дело; но у коннетабля были невинные дети, один восьми, другой семи лет; так король велел и их привести на эшафот и обрызгать теплою кровью отца! Затем он приказал посадить детей в Бастилию, в железную клетку; бедняжкам не дали даже одеяла, чтобы покрываться ночью. А король присылал к ним каждую неделю палача, которому было приказано вырывать у детей по зубу, чтобы им жилось «не слишком вольготно». И старший мальчик сказал однажды палачу: «Матушка умерла бы с горя, если бы знала, что мой маленький брат так страдает! Выдерни же лучше два зуба у меня и оставь его в покое!» У палача выступили на глазах слезы, но воля короля была сильнее слез, и королю еженедельно продолжали подавать на серебряном блюде по

два детских зуба. Он требовал их и получал. Так вот, я думаю, что эти-то два зуба Смерть и вынула из сберегательной кассы человечества и вручила их королю Людовику XI в дорогу, когда он отправился в страну вечности. И зубы невинных детей летели над ним двумя огненными пчелами, жгли, жалили его всю дорогу!

Да, серьезный путь предстоит нам в день великого переезда в дилижансе Смерти! Когда-то он придет за нами?

Вспомнишь, что мы можем ожидать его каждый день, каждый час, каждую минуту, и невольно призадумашься. Которое-то из наших деяний вынет тогда Смерть из сберегательной кассы и даст нам в дорогу? Да, поразмыслим-ка об этом! День этого последнего переезда не обозначен ведь в календаре!

# Судьба репейника

Перед богатой усадьбой был разбит чудесный сад с редкостными деревьями и цветами. Гости, наезжавшие в усадьбу, громко восхищались садом; горожане и окрестные деревенские жители нарочно приезжали сюда по воскресеньям и праздникам просить позволения осмотреть его; являлись сюда с тою же целью и ученики разных школ со своими учителями.

За решеткой сада, отделявшею его от поля, вырос репейник; он был такой большой, густой и раскидистый, что по всей справедливости заслуживал название репейного куста. Но никто не любовался на него, кроме старого осла, возившего тележку молочницы. Он вытягивал свою длинную шею и говорил репейнику:

– Как ты хорош! Так бы и съел тебя!

Но веревка была коротка, и ослу не удавалось дотянуться до репейника.

Как-то раз в саду собралось большое общество: к хозяевам приехали знатные гости из столицы, молодые люди, прелестные девушки, и между ними одна барышня издалека, из Шотландии, знатного рода и очень богатая.

«Завидная невеста!» – говорили холостые молодые люди и их маменьки.

Молодежь резвилась на лужайке, играла в крокет; затем

все отправились гулять по саду; каждая барышня сорвала цветок и воткнула его в петлицу одного из молодых людей. А юная шотландка долго озиралась кругом, выбирала, выбирала, но так ничего и не выбрала: ни один из садовых цветков не пришелся ей по вкусу. Но вот она глянула за решетку, где рос репейник, увидела его иссиня-красные пышные цветы, улыбнулась и попросила сына хозяина дома сорвать ей один из них.

– Это цветок Шотландии! – сказала она. – Он красуется в шотландском гербе. Дайте мне его!

И он сорвал самый красивый, уколол себе при этом пальцы, словно цветок рос на колючем шиповнике.

Барышня продела цветок молодому человеку в петлицу, и он был очень польщен этим, да и каждый из остальных молодых людей охотно бы отдал свой роскошный садовый цветок, чтобы только получить из ручек прекрасной шотландки хоть репейник. Но уж если был польщен хозяйский сын, то что же почувствовал сам репейник? Его как будто окропило росой, осветило солнышком.

«Однако я поважнее, чем думал! – сказал он про себя. – Место-то мое, пожалуй, в саду, а не за решеткою. Вот, право, как странно играет нами судьба! Но теперь хоть одно из моих детищ перебралось за решетку, да еще угодило в петлицу!»

И с тех пор репейник рассказывал об этом событии каждому вновь распускавшемуся бутону. Не прошло затем и недели, как репейник услышал новость – не от людей, не от ще-

бетунный пташек, а от самого воздуха, который воспринимает и разносит повсюду малейший звук, раздавшийся в самых глухих аллеях сада или во внутренних покоях дома, где окна и двери отворены настежь.

Ветер сообщил, что молодой человек, получивший из прекрасных рук шотландки цветок репейника, удостоился наконец получить и руку и сердце красавицы. Славная вышла парочка, вполне приличная партия.

– Это я их сосватал! – решил репейник, вспоминая свой цветок, попавший в петлицу. И каждый вновь распускавшийся цветок должен был выслушивать эту историю.

– Меня, конечно, пересадят в сад! – рассуждал репейник. – Может быть, даже посадят в горшок; тесновато будет, ну, да зато почетно!

И репейник так увлекся этою мечтою, что уже с полной уверенностью говорил: «Я попаду в горшок!» – и обещал каждому своему цветочку, который появлялся вновь, что и он тоже попадет в горшок, а может быть, даже и в петлицу, – выше этого уж попасть было некуда! Но ни один из цветов не попал в горшок, не говоря уже о петлице. Они впивали в себя воздух и свет, солнечные лучи днем и капельки росы ночью, цвели, принимали визиты женихов – пчел и ос, которые искали приданого, цветочного сока, получали его и покидали цветы.

– Разбойники этакие! – говорил про них репейник. – Так бы и проколол их насквозь, да не могу!

Цветы поникали головками, блекли и увядали, но на смену им распускались новые.

— Вы являетесь как раз вовремя! — говорил им репейник. — Я с минуты на минуту жду пересадки туда, за решетку.

Невинные ромашки и мокричник слушали его с глубоким изумлением, искренно веря каждому его слову.

А старый осел, таскавший тележку молочницы, стоял на привязи у дороги и любовно косился на цветущий репейник, но веревка была коротка, и он никак не мог добраться до куста.

А репейник так много думал о своем родиче, шотландском репейнике, что под конец уверовал в свое происхождение из Шотландии и в то, что именно его-то родители и красовались в гербе страны. Великая то была мысль, но отчего бы такому большому репейнику и не иметь великих мыслей?

— Иной раз происходишь из такой знатной семьи, что не смеешь и догадываться о том! — сказала крапива, росшая неподалеку, у нее тоже было какое-то смутное ощущение, что при надлежащем уходе и она могла бы превратиться в кисею!

Лето прошло, прошла и осень, листья с деревьев пооблетели, цветы приобрели более яркую окраску, но почти утратили свой запах. Ученик садовника распевал в саду по ту сторону решетки:

Вверх на горку,

Вниз под горку  
Времечко бежит!

Молоденькие елочки в лесу начали уже томиться пред-  
рождественскою тоской, но до Рождества было еще далеко.

– А я-то все еще здесь стою! – сказал репейник. – Нико-  
му как будто и дела до меня нет, а ведь я устроил свадьбу!  
Они обручились, да и поженились вот уже неделю тому на-  
зад! Что ж, сам я шагу не сделаю – не могу!

Прошло еще несколько недель. На репейнике красовал-  
ся уже только один цветок, последний, но большой и пыш-  
ный. Вырос он почти у самых корней, ветер обдавал его холо-  
дом, краски его поблекли, и чашечка, такая большая, словно  
у цветка артишока, напоминала теперь высеребренный под-  
солнечник.

В сад вышла молодая парочка, муж с женою. Они шли  
вдоль садовой решетки, и молодая женщина взглянула через  
нее.

– А вот он, большой репейник! Все еще стоит! – восклик-  
нула она. – Но на нем нет больше цветов!

– Нет, видишь вон блаженную тень последнего! – сказал  
муж, указывая на высеребренный остаток цветка.

– А он все-таки красив! – сказала она. – Надо велеть вы-  
резать такой на рамке вокруг нашего портрета.

И молодому мужу опять пришлось перелезть через решет-  
ку и сорвать цветок репейника. Цветок уколол ему пальцы



– молодой человек ведь обозвал его «блаженною тенью». И вот цветок попал в сад, в дом и даже в залу, где висел портрет молодых супругов, написанный масляными красками. В петлице у молодого был изображен цветок репейника. Поговорили и об этом цветке и о том, который только что принесли; его решено было вырезать на рамке.

Ветер подхватил эти речи и разнес их далеко-далеко по всей окрестности.

– Чего только не приходится пережить! – сказал репейник. – Мой первенец попал в петлицу, мой последыш попадет в рамку! Куда же попаду я?

А осел стоял у дороги и косился на него:

– Подойди же ко мне, сладостный мой! Я не могу подойти к тебе – веревка коротка!

Но репейник не отвечал; он все больше и больше погружался в думы. Так он продумал вплоть до Рождества и наконец расцвел мыслью:

«Коли детки пристроены хорошо, родители могут постоять и за решеткою!»

– Вот это благородная мысль! – сказал солнечный луч. – Но и вы займете почетное место!

– В горшке или в рамке? – спросил репейник.

– В сказке! – ответил луч.

Вот она, эта сказка!

# **И в щепке порою скрывается счастье!**

Теперь я расскажу вам историю о счастье. Все знакомы со счастьем, но иным оно улыбается из года в год, иным только в известные годы, а бывают и такие люди, которых оно дарит улыбкою лишь раз в их жизни, но таких, которым бы оно не улыбнулось хоть раз, – нет.

Я не стану рассказывать о том, что маленьких детей присылает на землю Господь Бог, что он кладет их прямо к груди матери, что это может случиться и в богатом замке, в уютной комнате, и в чистом поле, на холоде и ветре, – это знает всякий. Но вот что знает не всякий, а между тем это вернее верного: Господь Бог, ниспосылая на землю ребенка, ниспосылает вместе с ним и его счастье. Только счастье это не кладется на виду, рядом с ребенком, а прячется обыкновенно в каком-нибудь таком местечке, где меньше всего ожидают найти его. Найдись же оно всегда, рано или поздно, найдется, и это лучше всего! Оно может скрываться в яблоке, как, например, счастье одного великого ученого по имени Ньютон.

Яблоко шлепнулось перед ним на землю, и он нашел в нем свое счастье. Если ты не знаешь этой истории, то попроси рассказать тебе ее того, кто знает, я же хочу рассказать дружную историю – о груше.

Жил-был бедняк; он и родился и вырос в нужде и в при-

даное за женою взял нужду. По ремеслу же он был токарь и точил главным образом ручки да колечки для зонтиков, но работа эта только-только позволяла ему перебиваться с семьей.

– Нет мне счастья! – говаривал он.

История эта – настоящая быль; я мог бы даже назвать и страну и местность, где жил наш токарь, но не все ли равно?

Первым и главным украшением его садика служила красная кислая рябина, но росло в саду и одно грушевое дерево, да только без плодов. И все же счастье токаря скрывалось как раз в этом дереве, в его невидимых грушах!

Раз ночью поднялась сильная буря; в газетах писали даже, что ветер подхватил большой дилижанс и швырнул его оземь, как щепку. Не мудрено, что таким ветром обломило и сук у грушевого дерева.

Сук принесли в мастерскую, и токарь, ради шутки, выточил из него большую грушу, потом поменьше, еще меньше и, наконец, несколько совсем крохотных.

– Пора было дереву принести груши! – сказал он шутя и роздал груши детям – пусть играют.

К числу вещей, необходимых в сырых, дождливых странах, относится, конечно, зонтик, но вся семья токаря обходилась одним зонтиком. В сильный ветер зонтик выворачивало наизнанку, иногда даже ломало, но токарь сейчас же приводил его в порядок. Одно было досадно – пуговка, на которую застегивалось колечко шнура, охватывавшего сложен-

ный зонтик, часто выскакивала или ломалось самое колечко.

Раз пуговка отскочила, токарь стал искать ее на полу и нашел вместо нее одну из маленьких точеных груш, которые отдал играть детям.

– Пуговики теперь не найти! – сказал токарь. – Но можно воспользоваться вот этою штучкой! – И он просверлил в груше дырочку, прoderнул сквозь нее шнурок, и маленькая груша плотно вошла в полуколечко. Так хорошо застежка еще никогда не держалась!

Посылая на следующий год в столицу ручки для зонтиков, токарь послал также вместо застежек и несколько выточенных груш с полуколечками к ним и просил хозяина магазина испробовать новые застежки. Последние попали в Америку; там скоро смекнули, что маленькие груши лучше, удобнее всяких пуговок, и потребовали от поставщика, чтобы впредь и все зонтики высылались с такими застежками.

Вот когда закипела работа! Груш понадобились тысячи! Токарь принялся за дело, точил, точил, все грушевое дерево пошло на маленькие груши. А груши приносили скиллинги и далеры!

– Так счастье мое скрывалось в грушевом дереве! – сказал токарь. У него теперь была уже большая мастерская, он держал подмастерьев и учеников, вечно был весел и приготавливал: «И в щепке порою скрывается счастье!»

Скажу то же самое и я.

Говорят же ведь: «Возьми в рот белую щепочку и станешь

невидимкою!» Но для этого нужно взять настоящую щепочку, которая дается нам на счастье от Господа Бога. Вот и мне дана такая, и я тоже могу извлечь из нее, как и токарь, звонкое, блестящее, лучшее в свете золото, то золото, что блесстит огоньком в детских глазках, звенит смехом из детских уст и из уст их родителей. Они читают мои сказки, а я стою посреди комнаты невидимкою, – у меня во рту белая щепочка! И если вижу я, что они довольны моею сказкою, я тоже говорю: «Да, и в щепке порою скрывается счастье!»

# Самое невероятное

Тот, кто сделает самое невероятное, возьмет за себя принцессу, а за ней в приданое полкоролевства!

Как только объявили это, все молодые люди, да и старики за ними, принялись ломать себе головы. Все из кожи вон лезли: двое объелись, двое опились до смерти – в надежде совершить самое невероятное на свой лад, да не так взялись за дело! Уличные мальчишки всячески изворачивались, чтобы плюнуть самим себе в спину, – невероятнее этого они ничего и представить себе не могли.

Назначен был день для представления на суд всего того, что каждый считал самым невероятным. В число судей попали люди всех возрастов, от трехлетних детей до девяностолетних старцев. Взорам судей представилась целая выставка невероятных вещей, но скоро все единогласно решили, что самым невероятным из них были большие столовые часы удивительного и внутреннего и внешнего устройства. Каждый раз, как часы били, появлялись живые картины, показывавшие, который час. Таких картин было двенадцать, каждая с движущимися фигурами, пением и разговорами.

– Это самое невероятное! – говорили все.

Било час – и показывался Моисей на горе и чертил на скрижали первую заповедь.

Било два – взорам представлялся райский сад; жилище

Адама и Евы, двух счастливицев, утопавших в блаженстве, хоть у них и не было ничего – даже шкафа для платья; ну, да они в нем и не нуждались!

В три часа появлялись трое царей, шедших с востока на поклонение Иисусу; один из них был черен, как голенище, но не по своей вине, – это солнце так наваксило его! Все трое держали в руках драгоценные дары и благовонные курения.

В четыре показывались четыре времени года: весна с только что распутившеюся буковою ветвью, на которой сидела кукушка; лето с колосом спелой ржи, к которому прицепился кузнечик; осень с пустым гнездом аиста, означавшим, что все птицы улетели; и зима со старою вороной-сказочницей, умевшею рассказывать в уголке за печкою старые предания.

Часы били пять – выходили пять чувств: зрение – в образе оптика, слух – медника, обоняние – продавщицы фиалок и дикого яминника, вкус – повара, а осязание, или чувствительность – распорядителя похоронной процессии в траурной мантии, спускавшейся до самых пят.

Било шесть – выскакивал игрок, подбрасывал кость кверху, она падала и показывала высшее очко – шесть.

Затем следовали семь дней недели, или семь смертных грехов; насчет этого шли разногласия, да и впрямь трудно было различить их.

После этого выходил хор монахов – восемь человек – и пел заутреню.

Било девять – и являлись девять муз; одна занималась аст-

рономиею, другая служила в историческом архиве, а остальные посвятили себя театру.

Било десять – и опять выступал Моисей с двумя скрижалями, на которых были начертаны все десять заповедей.

Било одиннадцать – и выскакивали одиннадцать мальчиков и девочек и начинали играть в игру под названием «Пробил одиннадцатый час»!

Наконец, било двенадцать – и являлся ночной сторож, в шлеме, с «утреннюю звездою» в руках, и пел старинную песенку ночных сторожей:

Полночь настала,  
Спаситель родился!

А в то время как он пел, вокруг расцветали розы и превращались в головки ангелочков, парящих на радужных крыльшках.

Было тут что послушать, на что посмотреть! Вообще часы являлись настоящим чудом, «самым невероятным» – по общему мнению.

Художник, творец часов, был человек еще молодой, сердечный, с детски веселою душою, добрый товарищ и примерный сын, заботившийся о своих бедных родителях. Он вполне заслуживал и руки принцессы и полкоролевства.

День присуждения награды наступил; весь город убрался по-праздничному; сама принцесса сидела на троне; подуш-



ки его набили новым волосом, но трон от этого не стал ни удобнее, ни покойнее. Судьи лукаво поглядывали на юношу, который должен был получить награду, а он стоял такой веселый, бодрый, уверенный в своем счастье, – он ведь сделал самое невероятное.

– Нет, это вот я сейчас сделаю! – закричал высокий, muscularный парень. – Я совершу самое невероятное!

И он занес над чудесными часами тяжелый топор.

Трах! – и все было разбито вдребезги! Колеса и пружины разлетелись по полу, все было разрушено!

– Вот вам я! – сказал силач. – Один удар, и я поразил и его творение и вас всех! Я сделал самое невероятное!

– Разрушить такое чудо искусства! – толковали судьи. – Да, это самое невероятное!

Весь город повторил то же, и вот принцесса, а с нею и полкоролевства должны были достаться силачу, – закон остается законом, как бы он ни был невероятен.

С вала, со всех башен города было оповещено о свадьбе. Сама принцесса вовсе не радовалась такому обороту дела, но была чудно хороша в подвенечном наряде. Церковь была залита огнями; венчание назначено было поздно вечером – эффектнее выходит. Знатнейшие девушки города с пением повели невесту; рыцари тоже с пением окружили жениха, а он так задира л голову, словно и знать не знал, что такое споткнуться.

Пение умолкло, настала такая тишина, что слышно бы-

ло бы падение иголки на землю, и вдруг церковные двери с шумом и треском растворились, а там... Бум! Бум!.. В двери торжественно вошли чудесные часы и стали между женихом и невестою. Умершие люди не могут восстать из могилы – это мы все хорошо знаем, но произведение искусства может возродиться, и оно возродилось: вдребезги была разбита лишь внешность, форма, но идея, одухотворявшая произведение, не погибла.

Произведение искусства вновь стояло целым и невредимым, как будто рука разрушителя и не касалась его. Часы начали бить, сначала пробили час, потом два, и так далее – до двенадцати, и картина являлась за картиною. Прежде всех явился Моисей; от чела его исходил пламень; он уронил тяжелые скрижали прямо на ноги жениха и пригвоздил его к месту.

– Поднять их снова я не могу! – сказал Моисей. – Ты обрубил мне руки. Стой же, где стоишь!

Затем явились Адам и Ева, восточные цари и четыре времени года; каждое лицо обратилось к нему со справедливым укором:

«Стыдись!»

Но он и не думал стыдиться.

Остальные фигуры и группы продолжали выступать из часов по порядку и вырастали в грозные гигантские образы; казалось, что скоро в церкви не останется места для настоящих людей. Когда же наконец пробило двенадцать и высту-

пил ночной сторож в шлеме и с «утреннею звездой», в церкви произошло смятение: сторож прямо направился к жениху и хватил его своим жезлом по лбу.

– Лежи! – сказал он. – Мера за меру! Теперь и мы отомщены и художник! Исчезнем!

И произведение искусства исчезло, но свечи в церкви превратились в большие светящиеся цветы; золотые звезды, рассыпанные по потолку, засияли; орган заиграл сам собою. И все сказали, что вот это-то и есть «самое невероятное»!

– Так не угодно ли вызвать сюда настоящего виновника торжества! – молвила принцесса. – Моим мужем и господином будет художник, творец чуда!

И он явился в церковь в сопровождении всего народа. Все радовались его счастьем, не нашлось ни одного завистника. Да, вот это-то и было «самое невероятное»!